Г.И.УСПЕНСКИЙ
СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ

9

Г.И.УСПЕНСКИЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

Г. И. УСПЕНСКИЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ДЕВЯТИ ТОМАХ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1957

Г. И. УСПЕНСКИЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ 9

СТАТЬИ

ПИСЬМА



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1957

Издание осуществляется
под общей редакцией
В. П. ДРУЗИНА

*Подготовка текста
и примечания*
А. В. ЗАПАДОВА
и Н. И. СОКОЛОВА

СТАТЬИ

ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ РЕШЕТНИКОВ

(*Биографический очерк*)

I

Федор Михайлович Решетников родился в г. Екатеринбурге, Пермской губернии, 5 сентября 1841 года. Отец его до женитьбы служил в этом городе дьячком и вел нетрезвую жизнь. Чтобы избавить его от погибели, родной брат, женатый и служивший в екатеринбургской почтовой конторе, женил его на дьяконской сироте, девушке тихой и кроткой, после чего отец Ф. М. вышел из дьячков и поступил также в почтальоны, но пить все-таки не перестал и жил с женой до того плохо, что, когда брат его с женой переехали в Пермь, мать Ф. М., которому было в ту пору около девяти месяцев, не выдержала тяжкой жизни и вскоре ушла вслед за ними.

В Пермь она пришла во время страшного пожара и так была этим испугана, что заболела и умерла; девятимесячный мальчик остался на попечении дяди и тетки; отца же своего он *первый раз* увидал, будучи уже *десяти лет* от роду.

Таким образом, Ф. М. начал жизнь круглым сиротой. Но кроме сиротства, ему почти со дня рождения суждено было испытывать непрерывное влияние материальной бедности и великой нравственной забитости, запуганности окружавшей его среды. Бедность материальная в этом кругу была поистине потрясающая. В переписке близких к Ф. М. лиц, в письмах его самого к ним почти постоянно идут жалобы на крайне стесненное материальное положение: «А об огурцах, — как бы в отчаянии неоднократно восклицает дядя Ф. М., — и не поминай! . .» «Живу, плачу огромную сумму без чаю, а с чаем

нехватает моего жалования. . .» «Лечиться времени нет,— пишет родной отец Ф. М., — а о таком расходе, чтобы покупать масло (для леченья), дорого; почтмейстер денег не дал!..» «Не можете ли вы одолжить мне три копейки на пиво, *ежели у вас есть?»* — пишет к Ф. М. его знакомый и друг, а другой весьма серьезно доказывает, что на пятнадцать рублей *в год* жить нельзя. «*Живем между нищими и средними»*, — определяет свое положение в одном из писем дядя Ф. М., и определение это вполне верно.

Кроме бедности, всех этих людей крепко пригнетала запуганность перед начальством, которое в сущности хотя и возвышалось над ними не более как на вершок, но могло сделать все, что хотело. В немногих письмах бедного отца Ф. М. эта сила маленького высшего начальства рисуется довольно ярко: «*Не знаю, за что* преследует почтмейстер с самого моего прибытия. Живу как должно; как у денщика или у крепостного, сюртук не слезает с плеч.. Я месяца с три *всяко вытягался* для почтмейстера, а он меня так уважил... что лучше нельзя.. А живу как денщик. .» «Покорно прошу, любезный братец, — говорится в конце того же письма, — чтобы письмо это не узнал кто дальше, не услыхал бы почтмейстер наш, *то он меня съест»*. Или в другом письме: «Почтмейстер просит, чтобы меня (отца Ф. М.) перевели к нему; *но сохрани меня небесная сила от такого ига; он там вдосталь из меня оставшийся сок вытянет»*. Отрывки эти мы привели потому, что в них с полною искренностию высказана та беспомощность перед маленьким высшим начальством, которую испытывали все близкие родственники Ф. М. Все они «вытягаются» перед этим начальством, а начальство из них «вытягивает оставшийся сок», и притом *неизвестно за что*. Все они ходят как сонные, забитые и убитые... «Так и живу, ни здесь, ни там, ни здоровый, ни больной. . а лечиться времени нет... *посему* прошу, любезный братец, выспросить у Г Т., *как пить крепкую водку...»*

Подавленный бедностию, забитостию, этот круг людей «*между нищими и средними»* во всем полагался только на бога, на всевидящее око, о котором в переписке родственников и знакомых Ф. М. упоминается чуть

не в каждом письме, и главным образом — на *терпение.* «И верно уже такой рок, — находим мы в письме одного из самых *начитанных* людей этого круга, — что все предвидится только сражаться с терпением, и *хорошо бы было и то, ежели бы тому хотя* предвиделся *конец,* но ожидать того, по *моему мнению,* не предвидится никакой надежды».

Мы могли бы привести здесь множество примеров, доказывающих громадную, железную силу терпения и глубокую, искреннюю преданность провидению, которыми только и поддерживалась кое-как эта забитая и вконец обезличенная среда; но и приведенных выписок уже достаточно, чтобы видеть, в какой мере среда эта могла благоприятствовать умственному развитию Ф. М.

II

Дядя и тетка Ф. М., ставшие его воспитателями, всецело разделяли как материальные, так и нравственные недостатки своего круга, с тою только разницею, что сам дядя-воспитатель смотрел на свое положение несколько определеннее других. Он не позволял себе иметь «мнений», хотя бы и о том, «что хорошо бы, ежели бы терпению предвиделся конец»; не унывал так, как унывал отец Решетникова, не знавший, «*за что*» все это суждено нести. Никаких колебаний мысли в воспитателе Ф. М. не было: из материалов, имеющихся у нас, видно, что человек этот раз навсегда порешил, что надеяться надо только на бога, что бедность и подневольность неизбежны и что терпению конца не будет. Порешив с этим, он всю жизнь, неуклонно и не оглядываясь по сторонам, тянул служебную лямку, тяжким трудом зарабатывая кусок хлеба, и, приняв на свое воспитание маленького Решетникова, не мог воспитывать его иначе, как в приучении к тому же терпению, повиновению, искренно веря, что для него, как для сироты, предлежит та же самая тяжелая забота о куске хлеба и та же самая жизнь «между нищими и средними», в которой «терпение» играет первую роль.

На беду, питомец их с первых дней детства оказался мальчиком бойким, веселым, резвым, обнаруживая

необыкновенную впечатлительность.[1] И с первых же дней обнаружения этой резвости воспитатели, побуждаемые, разумеется, не чем иным, как только желанием своему питомцу добра, стали искоренять эти врожденные в нем и непригодные среди скучного влачения жизни качества. И вот, благодаря тому, что Решетников уродился натурою одаренной, и тому, что одаренные натуры в этом кругу действительно совершенно ненужны, целые *десять* первых *лет* посвящены, со стороны воспитателей, самому тщательному и неусыпному *битью* и *дранью* их воспитанника. Кроме желания ему добра, повторяем, этими бедными людьми не руководило ничто другое; но в то же время нельзя не видеть, что это желание добра выражалось способом поистине варварским. В повести Ф. М. «Между людьми» автор, поместивший в ней множество случаев своей жизни, рисует картину своего детства весьма подробно и обстоятельно, и, читая их, нельзя не дивиться необыкновенной выносливости Решетникова. Били его положительно *за все,* и притом *все,* кто хотел и считал нужным, а иной раз и без всякой надобности. Ребенок везде «лез», и колотили его тоже везде. Дядя принес лубочную картину и стал рассматривать, воспитанника разобрало любопытство, он потянул картину к себе и разорвал пополам... «За это дядя меня так ударил, что я ударился головой об пол; изо рта пошла кровь». Одна «Священная история ветхого и нового завета» с картинами, книга, единственная во всем доме, сколько неисчислимых бед причинила Ф. М.! Картинки постоянно привлекали к ней маленького Решетникова, и постоянно, аккуратно каждый раз, как только книга попадала ему в руки, он непременно получал удар этой же книгой в голову. Чтобы отделаться от нее, он засунул ее в печку; книгу вытащили, но за это, — говорит Решетников, — «дядя *долго драл* меня *ремнем*». Били его также и за то, что он любит сказки, а не молится за отца и мать, которых он никогда не видал. Захочет он, например, подделаться к дяде, оказать ему услугу, чтобы поехать за Каму «рыбачить», примется чистить ему сапоги, чистит и старается до тех пор, пока тетка не выхватит из его

---

[1] Это свойство натуры перешло к Решетникову, повидимому, от матери; она заболела и умерла *от испуга.*

рук щетки и не ударит ею по голове. За такие же провинности колотил его весь почтовый двор, где он, так же как и дома, всюду лез, чтобы посмотреть, нет ли где «хороших картинок, хороших книг с картинками?» «Мне нравилось, — говорит он, — все, что я видел в *первый раз, — мебель, платье,* и вещь, особенно понравившуюся, я норовил припрятать». Недовольные им, проучив его у себя, на месте преступления, шли, кроме того, жаловаться к воспитателям, которые еще раз учили его за шалости у чужих. «Пес», «ножовое востреё», «балбес», «безрогая скотина» — вот названия, которым величали его в это время все.

Словом, не будь натура Решетникова исключительна, он бы давно мог сделаться вполне забитым, заколоченным ребенком; но у него, в отместку за обиды, развилась злоба и жажда мести. Впоследствии он сам, вспоминая об этом времени, называет себя — «злое дитя». И действительно, природная даровитость его показала себя в выдумывании удивительнейших мерзостей, которыми он мстил. Ему ничего, например, не стоило засунуть в квашню или кадку с водой дохлую кошку, измазать в грязи чистое, развешанное белье, вытащить из самовара кран, забросить его через забор и распаять самовар. Он сделался истинным божеским наказанием целому двору, истинным врагом всем и каждому; вскоре ему не было другого имени, кроме «вор», «поганая рожа»; его вихры, уши и щеки сделались общим достоянием. Били и ругали все, и он ругал всех, воевал со всеми, запуская камнями, кусался, бил врагов «по лицу», — и в то же время не уставал изобретать еще новые и новые пытки врагам своим. «Лишь только отдерут меня, — говорит Решетников, — я сяду куда-нибудь в угол и думаю: что бы мне еще такое сделать? да так, чтобы не узнал никто?»

III

Это обоюдное безобразие тянулось, как мы уже сказали, десять лет. По временам на маленького Решетникова находили минуты ужаснейшей тоски, он плакал и думал о том, чтобы «убежать отсюда». Десяти лет (1851 г.) его отдали в бурсу, и, стало быть, к битью

воспитателей и соседей прибавилось еще битье училищное, школьное. Переносить все это стало уже решительно невозможно, и тайное желание избавиться от этого мучения определилось в Ф. М. как настоятельная необходимость — «бежать». И скоро Решетников действительно убежал. Прямо из бурсы он ушел на колокольню и просидел здесь целый день с раннего утра. К ночи его охватил страх; он убежал с колокольни на реку и здесь ночевал. «Поутру, — говорит Решетников, — я ходил как помешанный от голода». В каком-то рыбачьем шалаше нашел он полковриги хлеба, взял его себе, и тут же, не зная зачем, провертел в лодке дыру, распластал невод, обрезал несколько удочек. «Этот день я провел хорошо, — говорит он в упомянутой повести, — прогуливаясь по траве и по лесу и напевая песни. Я радовался, что я на свободе, что меня никто не стесняет и я могу делать все, что только хочу. Я торжествовал над тем, что я один из всех бурсаков убежал далеко, что их дерут. «Пусть вас дерут!» — говорил я громко и хохотал. Я очень был счастлив и счастливее себя не находил человека; я думал: «А как хорошо! Ни за что я не пойду отсюда никуда, ни за что не пойду... Я и к дяде не пойду!» Мне ничего не нужно было, хотя и казалось мне, что в каждом кусте дерева кто-то сторожит меня, а на некоторые кусты я даже и смотреть-то боялся. Когда проходил мой страх, я думал: а хорошо бы здесь состроить дом. Я бы тогда дядю и тетку взял с собою жить, они *не стали бы меня бить*... Потом мне вдруг захотелось плыть куда-то дальше». Он сел в чью-то лодку и стал грести вверх, но силы были слабы, лодку несло вниз и прибило к берегу. Здесь, сидя в лодке и доедая остаток хлеба, беглец мечтал и поглядывал на город, как вдруг на него налетел с ругательствами и проклятиями какой-то мещанин и принялся тузить — *не на милость, а на смерть. На лице была кровь, голова страшно болела, волосы лезли.* Скоро вслед за мещанином явилась целая флотилия бурсаков, разыскивавших беглеца, и когда последний убежал от них, они настигли его, связали и безжалостно поволокли по кочкам в бурсу, награждая палочными ударами! В заключение этого тиранства беглецу, по возвращении в бурсу, была задана *баня,* после которой Решетников пластом пролежал в больнице *два месяца.*

Но этим дело не кончилось. Потребность бегства не умерла в Решетникове. Несмотря на всевозможные истязания, лежа в больнице, он уже обдумывал план нового бегства, и действительно, как только поправился, убежал опять. Прежде всего он отправился на так называемую «Мотовилиху» — завод, отстоящий от г. Перми версты за три. Бурсацкий сюртук свой он бросил в воду, чтобы не узнали, что он бурсак, вымазал грязью лицо, рубашку, панталоны и пошел по заводским домам и кабакам просить хлеба, «христа ради».

— Чей ты, парнюга? — спрашивали его.

— Материн, — уклончиво отвечал бегун.

Долго он шатался здесь между простым народом и мастеровыми, которые давали ему кров и кормили его. «Много, — говорит он, — увидел я здесь хорошего; мне так понравилась простота ихняя, что я хотел на всю жизнь остаться у них...» Много в то же время он увидел и дурного, особенно в быту нищих, с которыми он невольно должен был столкнуться, как человек, бродящий без пристанища, которые, наконец, просто насильно таскали его с собою, заставляли плясать, поили водкой. Бывали минуты, когда он кричал и просил встречных, чтобы кто-нибудь спас его от них; но никто не давал помощи. На работу его принимали без имени, а имя свое он скрывал. «И бог знает, что бы было со мною, если бы не спасла меня одна женщина». Женщина эта, часто бывавшая у дяди в городе, узнала беглеца и привела домой. «Дело известное, что было после этого», — заканчивает Решетников историю этого побега, намекая на неизбежное дранье.

Эти два побега имели и на мысль и на характер Решетникова самое существенное влияние: во-первых, он познакомился с народною жизнию, узнал в ней *дурное и хорошее,* что дало много пищи его любознательному уму, который до настоящего времени истощался только на изобретение «злых проделок», — и во-вторых, за этими побегами неизбежное возвращение опять к тем же мучительным истязаниям и скуке заставило его сильно призадуматься о своей печальной судьбе и судьбе окружавших его людей. Целый год после второго бегства он провел в доме дяди, сидя в углу за дверью и думая о себе и своем прошлом, и здесь впервые зародилась в нем

та симпатичная и дорогая черта его будущих произведений, которая определяется простым словом — «*правда*». Всеобщая ненависть, которою он был окружен после второго побега, и одиночество, как последствие этой ненависти, были так сильны, что подавили в бедном ребенке всякую возможность быть злым, а пробудившаяся мысль привела его к полному раскаянию перед всеми, кому только он делал что-нибудь худое. В нем начался процесс глубокого внимания к окружающим, близким к нему людям, принимавший благотворное направление *прощения их*. Понятно, что такая масса несчастия, хотя бы в виде всеобщего презрения, такая масса новых мыслей, полная беспомощность в разрешении их, отсутствие какого-нибудь утешения до того измучили душу мальчика, что часто, сидя в своем углу, он рыдал. И в это-то время вдруг ему говорят, что он увидит своего отца, в первый раз. Не видя его никогда, он теперь, одинокий и всеми обиженный, возлагал на своего отца великие надежды, радости его не было предела.

И вот однажды вечером, когда Ф. М. уже лег спать, дядя привел с собою какого-то человека в почтальонской одежде, обрюзглого, с отекшим лицом. Человек этот постоянно болезненно кашлял и рассказывал о том, как он несчастлив, как к нему несправедливы, как его бьют. «Ты не поверишь, — говорил он дяде, — что этот смотритель каждый день топтал меня ногами, бил меня в грудь...» Страх и радость охватили Решетникова при виде отца, но когда сын подошел к нему, бедный отец не знал, что сказать... «Большой вырос», — произнес он. — «Что же ты не целуешь отца?» — «Да что мне его целовать-то? .» И больше ничего. На другой день, разговорившись с теткой о сыне, отец упрашивал ее: «Дери ты его, что есть мочи дери». Когда ему предложили взять сына с собой, он отвечал: «Куда мне с ним? не надо! мне и одному горько жить». Уезжая совсем, он мог сказать сыну только: «Ну, прощай! слушайся!» — и пошел прочь. «Мне тяжело было, — говорит Ф. М., — что отец уехал, а я не высказал ему своего горя».

Таким образом, встреча с отцом не только не облегчила души маленького Решетникова, но, напротив, уяснив ему полное его сиротство и одиночество, сделала его еще более несчастным в своих глазах. Он так был подавлен

всеми событиями последних лет, что на него напала апатия, равнодушие ко всему — и к науке и к порке. Он словно окаменел. Бежать он уже не думал, а когда драли (он опять стал с некоторого времени ходить в училище), каковое дранье производилось аккуратно в конце каждого месяца, то он старался только стать в конце шеренги, предназначенной к сечению, потому что к концу ее сторож уставал. Иногда он отделывался гривенником, который зарабатывал, занимаясь в почтовой конторе составлением крестьянам писем, что тоже немало помогло ему узнать народную жизнь. От учителей он отделывался тоже своего рода взятками: он отправлял им задаром письма (благодаря дяде), доставлял письма, полученные на их имя, а главное, что впоследствии обрушилось на его голову целою грудой несчастий, таскал тайком с почты газеты, каковое таскание учителя поощряли тем, что оставляли измученного ребенка в покое. Такое апатическое состояние продолжалось довольно долго, и, не имея попрежнему никакой поддержки, возбужденная предшествовавшими обстоятельствами мысль его могла бы заснуть понемногу и принять общее направление мыслей бедного, запуганного класса людей, его окружавших; но одно неожиданное обстоятельство не дало возможности умереть раз пробужденной мысли, хотя и разразилось над ним жестоким образом.

Неожиданно открылась покража газет и журналов в почтовой конторе. Таская эти газеты и конверты,[1] он, по прочтении их господами учителями, имел обыкновение забрасывать их чрез соседний забор в снег; бывали случаи, что он со страху забрасывал туда пакеты, не рассматривая и не читая их, и в числе таких-то нечитанных пакетов забросил один весьма важный манифест (1855 г.). Дело было нешуточное, виновника разыскали и предали формальному суду (Ф. М. был четырнадцатый год). Дело тянулось два года.

Что же должен был чувствовать бедный Решетников, сидя эти два года в том же углу, за дверью? Сознание

---

[1] В числе причин, объясняющих это таскание газет, Ф. М. между прочим упоминает о том, что ему *нравилась форма* конвертов, *гладенькая* бумажка, хороший почерк на конверте. Поощрения учителей сделали это баловство необходимостью, а потом привычкою.

собственной виновности, пробудившейся, как мы уже упоминали, после первого побега, здесь возросло до высшей степени. Еще тогда, познакомившись с настоящей нищетой, от которой, как мы видели, он кричал и просил людей *спасти его,* — Ф. М. стал чувствовать себя глубоко виноватым перед воспитателями, которые, несмотря на свою бедность, ограждают его от этой нищеты, его, не имеющего ни отца, ни матери и, кроме зла, ничего не сделавшего для своих благодетелей. В самом деле, сколько переплатил бедный дядя Ф. М. за эти распаянные самовары, за украденные вещи, квашни, опоганенные всунутой туда кошкой? И тогда уже Ф. М. насчитывал на своей душе великое множество грехов и зла; что же должен был он чувствовать теперь, ежеминутно видя перед собою дядю, который лез из кожи, тратил последние копейки, чтобы помочь делу своего «злого» дитяти?

Эгоизм Ф. М. был совершенно раздавлен, разбит этим происшествием; на ругательства тетки он отвечал рыданиями и *бог знает, как был готов благодарить ее;* он удивлялся, как дядя и тетка *не боятся* держать его у себя. Он старался душою и телом услужить им, носил дрова, воду, исполнял все, что они ни прикажут.

Это происшествие, этот удар, как ни был он тяжел и неожидан, вывел Ф. М. из начинавшей одолевать его апатии, пробудил его мысль, снова обратил ее на путь внимания к человеческим поступкам. Сделав своим родным такое зло, какого ни один из них не думал делать ему, он со времени этого происшествия навеки сохранил великую и дорогую потребность — не осуждать ближнего, не верить личному впечатлению, если оно нехорошо, а разбирать его беспристрастно, правдиво, не урезывая в нем ни малейшей черточки.

Это была самая дорогая минута в развитии Ф. М. Мысль его была возбуждена до высшей степени. В самом деле, чтобы от ненависти к врагам дойти не только до прощения их, но даже до боязни, как они могут его держать, оправдать их и благодарить со слезами, — мысль маленького Решетникова должна была коснуться массы общественных вопросов, должна была работать над всем механизмом окружавшей его жизни. Минута, повторяем, была драгоценная для самого плодотворного воспринятия знания.

Но минута эта пропала даром, как впоследствии пропадало много еще таких минут; жизнь Ф. М., как бы на зло, постоянно и настойчиво не давала ему того, чего нужно, и надо удивляться, как еще уцелело в нем то непосредственное чувство правды, какое после многих лет тяжких испытаний с такою силою проявилось в его произведениях.

IV

Уголовное дело, измучившее как самого Решетникова, так и его родственников, кончилось ссылкою виновника в Соликамский монастырь на епитимию. Пребывание в этом монастыре было весьма неблагоприятно для хода развития Решетникова. Ехал он сюда, как сам говорит в одном месте записок, «с радостию печальною». Покидая, хоть и на время, место стольких страданий, можно было действительно ощущать некоторую радость, но печаль и раскаяние заглушали ее. Ф. М. рыдал, обливался слезами, расставаясь с своими воспитателями, и не переставал питать к ним глубокой преданности, называя их в записках своих «единокровными, милыми родственниками», «защитниками, *которые хотя и надоели своими ворчаньями, но все-таки* всегда лучше *знаменитых властителей земли*». Задушевною мыслию его в это время было поступить в монахи.

Этим прекрасным возбуждением мысли Ф. М. родственники и воспитатели его не только не успели и не могли воспользоваться, не только не направили к знанию, но даже просто не дали своему воспитаннику опомниться, одуматься, отдохнуть. Квартирные хозяева, тоже приходившиеся ему родней, у которых он поселился в Соликамске, кроме бабушки, старой и больной, которая любила рассказывать своему внучку сказки, чуть не с первого же дня приезда не упускали случая упомянуть ему о его деле, грубо затронуть каким-нибудь грубым упреком. То, например, хозяйка квартиры советует своему мужу (родственнику Ф. М., служившему тоже по почтовой части) не класть его спать в конторе, «а то он украдет пакеты»; то упрекают его в том, что он даром живет, курит хозяйские папиросы. От этих новых хозяев Решетникова не отставали и старые его воспитатели, к которым

он в настоящую минуту питал такие благодарные чувства. Они именно принялись, что называется, *бить лежачего*, хотя, не скроем, все с тою же целью и желанием ему добра. В каждом письме непременно идут вопросы о том, «не нужно ли тебе (то есть Решетникову) чего-нибудь? есть ли чай? доволен ли? сыт ли?» Но зато самая большая часть этих писем посвящена самым жестким и оскорбительным упрекам за прошлое. «Подумай, — пишет ему воспитатель вслед за приездом Решетникова в монастырь, — чтобы тебе кончить курс ученья; знай, что ты, не кончивши курс, нигде не можешь поступить на службу коронную и должен записаться в податное состояние, а после того, по приговору общества и злых людей, отдадут тебя в военную службу, и тем опозоришь природу мою. Ты, имея дядю, который с детства твоего пекся о твоем благополучии и *науках*, не пощадил его! Даже и теперь еще пекусь, чтобы тебе доставить счастие; но если ты этого не чувствуешь, *то накажет тебя всевидящее око* за обиды, мне нанесенные, и тем сокращаешь дни моей жизни».

Такого-то рода упреки, приходившие к нему в письмах чуть не каждую почту, не могли повлиять благотворно на его мысль; впечатлительность Решетникова начинает как-то грубеть от этих слишком уже частых толчков, и он по необходимости начинает примиряться со многим, с чем незадолго перед этим честно настроенная мысль его ни за что бы не примирилась.

«Когда я жил в Перми, — пишет он в своих записках, — я имел величайшее хотение, чтобы мне остаться в монастыре; но в Соликамске я в одну неделю познал нечестие монахов, как они пьют вино, ругаются, едят говядину, ходят по ночам, ломают ворота».

В другом месте тех же записок он пишет: «Жизнь моя стремилась к истинному познанию, чтобы быть истинным христианином, но ожидания мои не исполнились; я ходил каждый день в монастырь и смотрел на их образ жизни, и все они, кроме... (имена четырех монахов), не похожи на монахов и делают разные непристойности». В доказательство этих непристойностей Решетников приводит разговор:

«— Есть у тебя чем опохмелиться?

— На вот, я уж выпил все.

— Неужели ты в ночь выпил ведро пива?

— Да, у меня вчера был дьякон, и мы с ним погуляли славно!

— Ай да славно, проклятые, вы пируете, нет чтобы мне оставить!»

Сцены, приводимые Решетниковым, действительно не особенно привлекательны, но сам он так утомился от оскорблений и жизненных ударов, что готов был искать отдыха и в этом, не совсем опрятном, обществе и мало-помалу стал проникаться его интересами. Учиться уже он не хочет; хотя его и принимают вновь в училище, но он не идет, он начинает якшаться с почтальонами, ходит с ними, в *почтальонском сюртуке,* собирать *новогоднее* и выпрашивает этим хожденьем деньги, сначала один рубль пятнадцать копеек, потом сорок пять копеек. На эти деньги, не умея еще истратить их так, как тратили новые его знакомцы, он покупает себе помады, за каковой покупкой следует тотчас же грозное внушение от родственников.

«Осведомился я, — пишет воспитатель, — что ты взял в привычку шататься и в карты играть с почтальонами, и *примазываться помадой,* и свадьбы смотреть, а за этим откроются и другие пакости, за которые ты подвергнулся хотя и не тяжкому, но все-таки наказанию и *до смерти твоей нарицанию и пороку.* Не лучше ли тебе было и будет заниматься науками, или ты хочешь быть и вести жизнь в дурацком положении, которое для тебя будет лучше, — выбирай то или другое. Я уж не могу тебе дать заочно какое-либо наставление, потому что ты и в глазах моих вот как уже насолил, что я по гроб не должен позабыть сделанные тобою пакости, за добродетель мою, мое воспитание и хорошее содержание... Впрочем, ведь ты мне родной, и я еще не имею каменное сердце...»

Но как ни часты и ни энергичны были эти громы, они уже не могли отклонить Решетникова от удовольствия, которое он стал находить в обществе хотя и грубых людей, но в то же время таких, которые не оскорбляли его за прошлое (один монах, узнав его историю, даже расцеловал его), которые смотрели на него не только как на равного, но и как на человека, развитого больше, нежели развиты они. И вот начинаются у Решетникова с этими людьми дружба и панибратство. В дневнике его мы

поминутно встречаем страницы, весьма ярко характеризующие этот период жизни Решетникова.

«13 числа 1857 года был на похоронах у станового пристава первого стана, у которого умерла мать Мария. Казначей позвал меня, чтобы я держал ризы, а Ивану не велел ездить, и я простоял обедню. По окончании литургии протоиерей К—в сказывал проповедь, похваляя жизнь новопреставленной усопшей Марии... С кладбища мы, то есть я и... (здесь имена нескольких монастырских послушников), возвратившись в квартиру станового, сели за одним столом. Потчевали меня и ерофеичем и простой водкой. Тут еще В. прятал вино простое под стол, а И. почти один выпил графин ерофеичу, и уже пьян очень был, и они с М. кричали всю дорогу».

Вот какого рода было времяпрепровождение с этими приятелями. Этим заняты все три месяца, на которые был он сослан в монастырь, и о других занятиях его за это время мы не имеем никаких сведений, исключая того, что по временам он читал книги духовного содержания, пел на клиросе, за что, как говорит сам в записках, «снискивал любовь монашествующих». Под конец пребывания своего в монастыре он с каждым днем все больше и больше привязывался к нему и к новым знакомым.

«И так я чудно и весело проводил время с монахами; они меня поили пивом, и я часто приходил домой пьяным. Да и все меня любили сердечно, и я тоже питал свою любовь к ним. Иногда обедал и спал в кельях... Словом, очень весело я провел время с доброю братиею, и в особенности тогда, как пили пиво...» [1]

«Мрачно и печально, — пишет он перед истечением срока своей ссылки, — что я разлучаюсь с моими друзьями, *истинными христианами.* Но что делать, дядя мой единокровный хочет этого. Но я еще когда-нибудь могу поступить в монастырь, и мне хочется кончить жизнь там, где живут только мирно».

В бумагах Ф. М. мы находим письмо к настоятелю, отцу Леониду, в котором Решетников просит определить его в послушники. Вот это письмо:

---

[1] Пиво это обыкновенно настаивалось на листовом табаке. Это рассказывал сам Решетников.

«Ваше преподобие,
отец Леонид!

Мне желательно быть послушником вашего монастыря. Отца и матери у меня нет, а после двадцать третьего марта (после истечения срока наказания) я куда хочу, туда и поступлю на службу. Я еще давно этого желаю, я даже клялся богу, чтобы по окончании дела поступить в монастырь. Итак, всечестный отец, прошу, *придайте* мне благий совет. . .» — и проч.

Письмо это написано, по всей вероятности, во время самого разгара дружбы с монастырскими людьми. Несмотря на эту дружбу, через три месяца Решетникову пришлось расстаться с ними.

«В среду я простился с. . . (имена друзей) и в 11 часов отправился из Соликамска. И тут, поровнявшись с монастырем, невольно слеза выкатилась у меня (когда я вспомнил), что я разлучаюсь навеки с монастырем сим и его доброй братией. И вот последний взгляд на этот монастырь, и, наконец, показались только крестики и потом совсем из виду потерялись».

Ф. М. возвратился в Пермь в 1857 году. Ему в это время было шестнадцать лет.

V

Это трехмесячное пребывание Решетникова в монастыре имело весьма дурное влияние на его развитие. Помирившись по необходимости, как видели мы, с непривлекательными монастырскими нравами, он должен был невольно подчиниться и философии этих нравов, мудро примиряющей ломание заборов со спасением души; вследствие чего простота и искренность его суждений о людях, их поступках и самом себе на долгое время, лет по крайней мере на пять, затемняются вычурностию и неискренностию семинарской полуобразованности. Упомянув в своих записках с полною откровенностию о том, что пиво пить было весьма приятно, он тут же прибавляет: *«но видит бог,* что я, во время жития моего, хоть бы одну каплю вина выпил». Эта приписка, это возвращение к богу при упоминании только о вине,

тогда как при упоминании о пиве воззвание это оказывается не нужным, — эта приписка явно монастырского происхождения; три месяца назад Решетников не написал бы этой лжесмиренной фразы. Таким странным оттенком отмечены все дальнейшие заметки его, писанные по возвращении в Пермь. Так, например, в доме дяди, где поселился он снова, жила девушка, дочь бедной вдовы, вместе с своею матерью. С этой девушкой Решетников был знаком с самого детства, и она ему очень нравилась. Впоследствии мы скажем об ней подробнее, так как она еще раз встретится нам в жизни Ф. М. Теперь достаточно сказать, что она ему нравилась. Но когда это заметили и дядя в шутку сказал ему однажды, что он отдаст ее за него замуж, то Решетников, под влиянием лжецеломудренных монастырских взглядов, приходит в негодование и пишет: «Я не могу взять за пример женщин и не могу соблазняться примером их. Бог знает, что я имею усердие к его великой церкви и в век буду стремиться к его церкви, и будет время, когда я уйду в монастырь, в уединение, и там буду молиться небесной невесте, пресвятой богородице и приснодеве Марии. .» Между тем как до монастырского житья он бы просто, искренно сказал, что ему «стыдно» толковать об этих предметах.

Жизнь в доме дяди и тетки пошла прежним порядком, и хотя о битье нет уже помину, но также не видно, чтобы с ним обращались особенно ласково. Решетникова опять отдали в то самое училище, из которого его услали в монастырь, и притом он должен был поступить снова в первый класс.

Вот отрывок из его записок, из которого читатель может судить о том, какова была жизнь Решетникова у родственников и, главное, до какой степени три месяца ссылки исказили в нем прежнюю искренность взглядов на себя, на родных и на товарищей.

«Здесь (то есть по возвращении в Пермь) я видел все неприятное. Опять тетка ругает меня, и бог знает за что она меня ненавидит, насказывает дяде то и се, и тот ей верит, ругает и проклинает, и при сих-то горьких счастиях я дома все молчал. я занимался богомыслием и терпел... когда уже чуть-чуть слеза не выпала из глаз.

Когда-либо тетке скажешь слово, она говорит: «Что ты на меня кричишь?» и ругается, что я неладно говорю и не могу ей лучше говорить. Как же тут не молчать, ежели я говорю неладно? Но ежели же молчать, то она ругается, что я молчу, и вот какое положение мое! Да еще не дают учить мои уроки: «Делай то и другое», — и потом ругается. Кто ни придет к ней, всякому наговаривает на меня, что я не говорю с ней или не делаю ничего. Но ежели кто вообразил и был бы на моем месте, то узнал бы и поверил, в чем дело состоит: но они верят ее словам и думают, что это правда. Бог с ними, а пока у меня есть силы и возможность, буду терпеть и в молчании призывать моего господа и просить его милости, ибо к кому нам, грешным, прибегать, как не к нему. Боже, спаси меня ныне и даждь терпение мне во дни скорби моея, да не погибнет душа моя до конца; *спаси мя* и *тетку,* и обидящих мя, спаси и помилуй, и вечной их обители сотвори, помилуй по милости твоея, *якоже* помиловал праотец *Адама* и *Еву,* да к тебе всегда вопием: помилуй нас, господи, владыко наш и благодетелю, и тебе славу воссылаем вовеки. Аминь».

«Но вот случилось в жизни моей происшествие. Не только в новейшее время, но даже и в древние времена, по заведению иностранцев, открыто и у нас в России играть в карты. Этим *основывается* наша публика господ. В этом кругу был и дядя мой, и он иногда для увеселения скуки занимался сим увеселением. Тетка очень не любила это. Странно очень то, что тетка, лишь мужа ее не будет дома, скучает и не спит, хоть он приди в восемь часов утра. Когда же он придет, она начинает его ругать, зачем он играл в карты. Кому такие выговоры, *особенно от женщины,* понравятся? Подумать надобно, сколько тяжело сносить тому укоризны, кто своим трудом кормит все семейство. Не один мой дядя играет (он не играет, но еще учится), но и все почтальоны. *Что же учить женам мужей,* которые вполне по своему образованию, частию от наставников, частию от публики могут дать тысячи наставлений и полезных предметов своей жене?»

Далее описывается весьма неприятная сцена, происшедшая между родственниками Ф. М., причем были и удары, наносимые *долготерпеливым и кротким* мужем

своей жене, и требование последнего, чтобы жена шла вон, куда ей угодно.

«Но, — продолжает Решетников, — она *улестила* его, и он *помиловал* еще ее. Я, *взирая на жизнь их,* жалел их обоих и *укреплялся на молитвы,* которые, может быть, помогут мне и ихнему прощению во грехах. (Смотри сочиненную мною молитву.)» [1]

Далее вот что говорит он о своих училищных товарищах:

«Кроме того, печально мне смотреть на братию мою, учащуюся со мною: все наполнены хитрости, обмана и богохульства, что должно быть непростительно в наших летах. Но бог милостив еще к нам. Даже К. (ученик) уже прилепился к сетям дьявола. О, сколь ныне свет развратился! *Даже младенцы, недавно выступившие в свет божий, и те хулят имя господне и не страшатся суда всевышнего»*.

Мы с намерением привели целиком эти отрывки, чтобы читатель сам мог судить, до какой степени упал и извратился в Решетникове даже и тот уровень развития и понимания, который был заметен у него прежде. Мы могли бы привести здесь целые десятки страниц его рассуждений о грехах, которые он научился видеть чуть не на каждом шагу; его рассуждений о возвышеннейших предметах, изложенных им со слов монастырских послушников, если бы в этих рассуждениях было возможно понять хоть две-три строки, поставленные рядом. Читая эти страницы, совершенно понимаешь, почему тетка возненавидела Ф. М. Это была простая женщина, не понимавшая умозрений своего питомца, который, пожив в монастыре, настроился смотреть на таких бедных людей, как его воспитатели, свысока и безучастно, повторяя по временам: «Боже, прости им, не видят бо, что творят». Такое искажающее влияние ссылки было тем особенно пагубно для развития Ф. М., что он искренно веровал в эту вынесенную из монастыря мораль и действительно полагал, что теперешние мнения и мысли его — сама истина.

От такого изуродования своей мысли Ф. М. освободился не скоро, равно как и от другого, не менее губи-

---

[1] Молитва эта находится в приведенном отрывке.

тельного влияния среды мелкого чиновничества, о котором мы скажем ниже.

В этих «богомыслиях и умозрениях» прошли 1857 и 1858 годы. Эти два года посвящены были чтению книг духовного содержания, переписке с одним из родственников по тем же возвышенным и обоим им недостаточно ясным и доступным вопросам. Мы не приводим этих писем, боясь утомить читателя, ибо, при неясности и запутанности самой мысли, изложение этих писем и рассуждений есть верх неестественности и вычурности. В продолжение этих двух лет любимыми занятиями Ф. М. было ходить по церквам, петь на клиросе, слушать проповеди и сочинять такие же проповеди самому. Впрочем, даже и в это время нельзя сказать, чтобы такое якобы религиозное настроение поглощало собою всего Решетникова.

Иногда любил он отправиться порыбачить на Каму, где сходился с народом и узнавал жизнь и нравы крестьян, бурлаков.

В 1859 году воспитатели его переехали в Екатеринбург, где дядя получил место помощника почтмейстера. Ф. М. поместился на частной квартире. Оставшись теперь на свободе, не затрудняясь ученьем, так как приходилось повторять старое, Ф. М. как будто очнулся, ожил; в записках его нет уже рассуждений о непостижимом, а, напротив, идут живые очерки лиц, с которыми ему теперь пришлось жить одному. Он делается простым и спокойным летописцем окружающей его жизни, описывает городские происшествия, пожары, [1] ездит рыбачить на Каму, где с простым народом проводит целые ночи. «Часто в это время, — говорит Ф. М., — случалось, что я, сидя в лодке, глядел куда-нибудь вдаль; глаза останавливались, в голове чувствовалась тяжесть, и вертелись слова: как же это? отчего это? И в ответ — ни одного слова. Очнешься — и плюнешь в воду. Начнешь удить и думаешь: ах, если бы я был богат, я бы накупил книг много-много, я бы все выучил!»

---

[1] Во время пожаров, бывших в Перми в 1859 году, Ф. М. нанимался по ночам караулить дома обывателей, за что получал двадцать копеек — «потому что, — говорит он, — у меня не было денег». От этой работы он «нажил» рубль двадцать копеек.

Эти немногие месяцы пятьдесят девятого года были весьма благотворны для него. Несколько извратившаяся мысль отдохнула на непосредственном восприятии жизненных впечатлений, из которых, быть может, вышли впоследствии лучшие его произведения. Но, к несчастию Решетникова, это благодатное время, когда мысль его начала снова выходить на настоящую дорогу, продолжалось не более полугода, а именно с февраля 1859 года по июнь. 25 июня он кончил курс уездного училища и «получил аттестат с отличными, хорошими, а из арифметики и геометрии достаточными успехами», после чего ему опять нужно было вернуться в дом родственников, живших в Екатеринбурге.

VI

Ему, повидимому, сильно не хотелось этого; он норовил поотдохнуть лето, поглядеть на других своих родственников, живших в разных местах Пермской губернии; но в том кругу, который так хорошо характеризовал себя вышеприведенной фразой — «между нищими и средними», — для отдыха не было свободной минуты и, следовательно, такие мечтания Ф. М. не могли осуществиться. Еще прежде, нежели он успел окончить курс и получить аттестат, воспитатель поспешил разрушить эти мечтания письмом, в котором говорилось:

«Душевно радуюсь, что оканчивается учение твое, но теперь надо подумать об определении твоем, а не о гулянке. Тебе хочется повидать А<лексея> в Тагиле, но что из этого выйдет, я наперед скажу: то, что ты, на первый даже день, должен иметь свою пищу по случаю бедности и нетрезвости его... Думай-ко лучше о службе, а не о прогулке своей».

Таким образом, ехать в Екатеринбург и тотчас поступать на службу для Ф. М. было делом неизбежным, и на другой день по окончании курса он, скрепя сердце, отправился в дорогу. «Не могу вспомнить, — пишет он в своих заметках, — в каком положении я находился. Ужасная скорбь и скука находили на меня каждый день. Мысль, что я лишился любимого мне города (Перми), может быть навсегда, ужасно давила мое сердце... Все любимое исчезло из моей памяти. Новый,

чуждый город, новые лица, вещи, служба, *которую я не любил с самого детства,* все это сделало Екатеринбург для меня отвратительным».

Почти тотчас по приезде в Екатеринбург он подал прошение об определении его в уездный суд (28 июля 1859 года) и стал заниматься в этом суде с жалованьем по три рубля серебром в месяц.

Мелкая чиновничья среда, в которой пришлось жить Ф. М., не менее среды монастырской повредила его развитию. Мысль его должна была тратиться на понимание мелких чиновничьих интересов, дрязг, забот, словом всего «подьяческого» обихода, в то время, как известно, заплесневелого, затхлого. Мысли его стали волновать мелкие чиновничьи интриги, взятки, мелочные и беспрерывные огорчения и обиды. Как бы презрительно ни смотрел он на все это, но, как человек, поставленный в эту среду необходимостью иметь насущный кусок хлеба, он невольно должен был проникаться ее интересами, должен был много терять от неразвитости и дикости новых товарищей.

Мы не приводим характеристик, которые делал Ф. М. своим многочисленным сослуживцам. Достаточно сказать, что все эти характеристики крайне для них нелестны.

Главным образом (как и в первых впечатлениях монастырской жизни) Решетников в своих новых сотоварищах был возмущен отсутствием понимания лежавших на них обязанностей. Как ни скучна была ему чиновничья жизнь, но в то же время он «гордился тем, что служит в таком месте, где решаются дела о людях», которым он может (как он полагал) сделать пользу, тогда как из канцелярских братий никто об этом и не думал.

Но покуда он переписывал бумаги, трудно было приносить пользу, и волей-неволей приходилось бессильно негодовать на грязь и плутни окружающей среды. Жил он в это время у своего воспитателя, которому отдавал получаемые три рубля, помещаясь на полатях, куда по временам дядя адресовал ему: «Я тебе, шельма! Что ты там не сидишь?» Но и сидя смирно, Ф. М. мог сколько угодно думать, читать все что попадалось, вспоминать прошлое и обсуждать настоящее, словом — быть

до известной степени покойным, то есть «одним». Результатом этого одинокого сиденья в 1860 году явилась поэма в трех частях, в стихах, под названием — «Приговор». Поэма эта, написанная совершенно неудобными для чтения стихами, как нельзя лучше изображает беспомощное состояние дарования Решетникова, связанного по рукам и по ногам всеми одуряющими влияниями целых девятнадцати лет его прошлой жизни. Содержание этой поэмы таково. В уездном городе, описанном довольно подробно и хорошо, живет судья; в доме у него живут дворник и воспитанница, и все эти три лица, то есть судья, дворник и воспитанница, мрачны, скучны, угрюмы; а судья и дворник, кроме угрюмости, носят еще какую-то тайну в душе. Начало поэмы написано, очевидно, под влиянием последних, самых свежих впечатлений, вынесенных из знакомства с грязной чиновничьей жизнью, и потому герой поэмы, таинственный и молчаливый судья, является сначала простым взяточником, у которого на душе есть грешки и который очень хорошо знает, что есть так называемые ревизоры. Но, думает Ф. М., поэм на тему о взятках, и притом таких таинственных, какую начал он, никто из настоящих писателей не писывал, да и наказать взяточника, обирающего народ, просто ревизором ему, глубоко возмущенному господствовавшим в то время грабежом, кажется малым, и вот тут-то на помощь ему являются взгляды, вынесенные из монастыря, вследствие чего выходит, что дом судьи потому так мрачен, что воспитанница, живущая у него и не знающая, кто ее отец, есть не воспитанница, а родная дочь, прижитая судьей с замужней женщиной, которая уже умерла. Этот грех мучает судью со дня рождения дочери. Дворник потому мрачен и «вздрагивает, оставшись один», что он помогал судье спровадить беременную женщину (мать воспитанницы), вместо богомолья, в деревню, где она и родила. Все это — мораль монастырская, и, судя по окончанию этой поэмы, нельзя не сказать, что мораль эта сильно изувечила простоту и искренность мысли Ф. М. Конец поэмы такой: на судью, который запутан во взятках и в проступках против вышеупомянутой морали, автор насылает, во-первых, ревизора, во-вторых, в день появления ревизора сгорает дом судьи, подожженный дворником.

Мучимый совестью, дворник решился сжечь место, где было столько обманов, и потом сам удавился в лесу. Судью разбивает паралич, и его отвозят в больницу. Воспитанница выходит замуж за штатного смотрителя, которого она давно любила, и перевозит судью к себе; последний, умирая, рассказывает ей (все с ужасом и необыкновенно длинно), что она его дочь, и речь его постоянно прерывается появлением бесов с вилами, крюками. За минуту до смерти является частный пристав, тащит судью в острог, но судья умирает. Во время похорон его поднимается страшная буря, гроб срывает с катафалка, судья вываливается. Но и этого все еще кажется мало: на могиле его потом постоянно видны две черные кошки.

Сам автор чувствовал, что все написанное им не совсем ладно. «Любезный читатель! — пишет он в предисловии к поэме. — Прежде всего прошу у вас полного внимания к каждому предмету, и потом терпения, потому что я наперед знаю нетерпение с вашей стороны. Несмотря на огромный объем поэмы, *вы найдете все ни к чему не годным»*. Причину, побудившую его к написанию поэмы, он изображает в том же предисловии так:

«Человек, любящий честность и правду, свидетель многих сцен в разных бытах человечества, может сказать что-нибудь о людях, достойных или похвалы, или порицания. Стыдно мне показать *«Приговор»* в настоящем его виде, теперь, когда я думаю об его переделке. А много, много, *должно быть,* и лишнего, чего я сам не могу приметить, думая, что все связано с предыдущим и последующим, поэтому-то я и прошу вас, читатель, быть снисходительным к *«Приговору»,* читая, делать заметки, подчеркивая те слова, которые не нужны, грубы, без энергии и не обработаны рифмой, как это сделал один читатель в начале ее. Я прошу об этом читателя с истинным уважением. Судить умеет всякий без различия, и я буду очень рад послушать мнение всех моих читателей».

Но на это воззвание о нравственной помощи отзывов последовало очень мало. Один читатель подчеркнул два слова карандашом, другой написал сбоку: «Это что-то серьезное», а третий сделал весьма неопределенное замечание на словах. «К сожалению, — пишет Ф. М., — один

читатель, прочитавши эту поэму, не сделал ни одной заметки, а только на словах сказал: *«в середине много лишку»,* а что именно лишнее, того не потрудился указать. Это очень досадно для меня. *Я бы рад был сказать ему благодарность, если бы он положил зачеркнуть все строчки поэмы, что было бы для меня легче, нежели его чтение про себя, без всяких для меня нужных заключений».* В конце поэмы он просит читателя *пожалеть* [1] его, если она плоха и если в ней много наврано.

Такой же характер трудной работы мысли носит и драма в *шести* действиях, написанная стихами (там же, на полатях), под названием — *«Панич»* (фамилия действующего лица), с тою только разницею, что здесь монастырским взглядам дано гораздо менее места, чем в *«Приговоре»*. Герой поэмы — злодей, разбойник и убийца, сосланный за грабежи и разбои на каторгу, возвращается благополучно на родину, с целию добить остальных своих врагов, и потом столь же благополучно уходит назад.

И все-таки свободный угол на полатях сделал ему большую пользу. «Сидя смирно» в этом углу, Решетников получил возможность одуматься, прийти в себя. Хорошо уже и то, что он стал писать. Кроме упомянутых двух пьес, в письмах и дневнике его говорится еще о многих произведениях, которых мы не нашли в бумагах Решетникова и которые написаны все-таки здесь же, на полатях: «Черное озеро», «Деловые люди». Эти произведения, насколько можно судить по дневнику Решетникова, имеют уже чисто обличительный характер и относятся по времени к 1860 и началу 1861-го года.

Переход в новых произведениях к направлению чисто обличительному совершился в Решетникове под влиянием перемены должности. В 1860-м году его определили, в том же уездном суде, помощником столоначальника горнорабочего стола. Это обстоятельство сделало его более самостоятельным, чем прежде, и дало возможность, хотя отчасти, применить на деле собственные взгляды на

---

[1] ...Виноватого меня
Вы, ради бога, пожалейте!

(*Окончание поэмы «Приговор».*)

службу, на важность обязанностей перед людьми, участь которых он теперь мог решать сам. «Мне страшно казалось, — рассказывает Ф. М., — решать участь человека, и я стал читать бумаги и дела, заглядывал в разные места, читал разные копии, реестры и все то, что ни попадалось на глаза. Когда я бывал дежурным, то рылся везде, где не заперто, и узнал здесь очень многое».

Натолкнувшись при этих поисках на множество плутней, послуживших потом темою для вышеупомянутых обличительных произведений, Решетников в то же время пополнил свое знакомство с народом, узнав из этих канцелярских бумаг всю подневольность простого человека, всю зависимость этого человека от маленькой высшей власти, подобно тому как прежде в побегах, при личном знакомстве, на Каме, на заводе и даже в школе, где он учился и дружился с детьми этого же самого простого народа, он узнал его бедность и труд.

Таким образом, благодаря относительной свободе, приобретенной им на полатях и в перемене должности, в сознании Ф. М. начинает понемногу выступать совершенно ясная цель и потребность — приносить ближнему *пользу,* помощью другой, не менее сильной и настоятельной потребности — литературной деятельности. Сильное влияние относительно укрепления в Ф. М. этой потребности и необходимости *делать пользу* бедному человеку имел один мастеровой екатеринбургского монетного двора. Он очень любил Ф. М., знакомил его с бытом рабочего люда, советовал ему жить честно, не якшаться с пьянчужками и взяточниками. По мере того как в нем укреплялось сознание, что помощию своих писаний он может сделать кое-что *полезное,* уездный суд и Екатеринбург ему стали надоедать, и явилось желание (которое, впрочем, едва ли не было у него с первого дня приезда в этот город) переменить службу и жить в Перми: там можно читать книги, там у него школьные товарищи, там, наконец, та самая девушка, которою он два года тому назад «не хотел соблазняться», но которую теперь, опомнившись от монастырского чада, снова любил так, как любил, когда она была еще ребенком. И вот он задумывает перейти в Пермь.

К этому времени относится длинное письмо Ф. М. к своему дяде, на время командированному из Екатерин-

бурга в Кунгур. В этом письме Решетников высказывает своему воспитателю вещи, которых никогда бы, по его словам, «не сказал в лицо».

Вот отрывки из этого письма:

«Простите меня, если я пишу вам огромное письмо; оно будет коротко (в сравнении) с тем, что я хотел бы написать, излив вам все мое чувство, что я чувствую теперь, чего желаю, чего не сказал бы в лицо и что я в своем положении могу только написать...

Пишу вам то, чего вы не видели во мне, рассуждая обо мне людям напротив. В вас я более, чем в другом, вижу сторону рассудительности и потому хочу сказать то, что уже могу сказать. Я вижу в вас сторону добродушия, а иногда (может быть, и всегда) любовь отца.

Теперь я взрослый юноша и понимаю себя и других, и хоть не обучался в гордых салонах и не знаком с паркетами, однако могу по крайней мере писать не хуже других. А за это я должен отдать вам, любезный тятенька, справедливую благодарность и благодарить со слезами.

Вы знаете мою жизнь, как и я ныне ее узнал, и знаете, какое широкое поле горестей было в ней, сколько бедствий извлекалось из одного источника этого зла, и зло это — я. Но вы исцелили все это; теперь остается светлый путь впереди. Благодарю вас, благодарю.

Но посмотрим внимательнее на оставшееся семя этой горести и путь впереди.

Я освободился от несчастий посредством вас; направил себе дорогу к жизни вами, поступил в общество людей, себе равных по образованию, служу с ними и заслуживаю любовь. Это внешняя сторона. А внутренняя? Совсем не то! Во мне нет тех наклонностей, какие (были) до девятнадцатилетнего возраста, когда я был обуздываем другими и не обуздывал себя; (теперь) у меня обязанности, неся которые на себе, я должен оберегать собственность других, — это обязанность служебная.

Но проступки наши наносят нам порчу и гнетут всю нашу жизнь. Так и со мной. Освободившись от бедствий, находясь уже на службе, и *чего бы, кажется? всем доволен*; но когда вспомню прошедшее, то внутренно негодую на себя, за прежние годы, более за то, что они лишили меня, во-первых, вашей любви и, во-вторых, пути

к просвещению, — *знать больше и все*. В этом единственно виновен я, и если бы знал, что я должен быть чиновником через шесть лет, то наверное на тринадцатилетнем возрасте не сделал бы того, чем теперь я душевно страдаю. Это другая сторона моей жизни. Я ею скучен при своем взгляде на вещи. В служебном отношении я чувствую еще более горечи. Во-первых, мне скучно. Не знаю, отчего скучать молодому человеку, *огражденному всеми средствами довольства*. Многие смеются над тем, что расстаться с милым городом не беда, что в нем давно скучно, что лучше искать новых приключений, что это глупо. Все это, господа, я знаю, но кто может понять глубину (моего) расстройства? Во-вторых, я даже потерял всякую надежду на перемещение меня из Екатеринбурга в Пермь. Губернатор не был, да если и будет, то к нему не доступишься. Впрочем, я к доступам смел, но он едва ли будет в наш город...

Потом, служа в суде, я кроме столоначальства никакой не вижу впереди карьеры. Я вполне понял службу уездного суда, и она давно мне наскучила. Мне желательно знать больше в других местах, служить в виду губернского начальства. В низшей инстанции не научишься доброму, кроме взяток, которые марают нашу честь и совесть. Итак, вот в каком положении я нахожусь. *Не знаю, как мне вырваться из этого хаоса!*

Далее, домашняя жизнь не очень красна. Я не виню ни вас, ни маменьки, зная, что всему виной я, но я давно исправился, и, кажется, можно (меня) полюбить. Не думайте, что я молчалив, то значит горд... Веселость моя исчезла вместе с горем, постигшим очень рано... Я уважаю и люблю вполне обоих вас, и не рассчитывайте на мое молчание, звуки голоса[1] и не печальтесь этим. Верьте, я с вами не расстанусь, пока (живу) в Екатеринбурге, и если по вашему ходатайству я буду в Перми служить, то, поверьте, я никогда не забуду вас. Это моя верная и искренняя любовь, которой вы можете несомненно верить, и я ее сохраню до гроба».

Письмо это переполнено самыми нежными излияниями и признаниями в любви, обращенными к дяде и

[1] То есть не обижайтесь моим *молчанием*, суровым звуком голоса. *(Примеч. Г. И. Успенского.)*

тетке в стихах и прозе. Несмотря на общий грустный тон письма, в конце его у Решетникова вдруг вырывается наружу целый поток самых живых, веселых желаний. Как будто забыв суровость своего дяди, который вообще не любил этих длинных разглагольствований, он начинает его расспрашивать, как живет такой-то дедушка, как живет его семейство, подросли ли и хороши ли собой какие-то девушки, которые живут в Кунгуре и которых он с детства знал маленькими. «Теперь, — пишет он, — я думаю, они уже большие или замужем, особенно та, которая в наших детских играх била меня, конечно в шутку, по лицу. Напишите имена всех их. Что эти девушки, умны или глупы? Я думаю, вы взглядом можете отличить доброту и невинность, которая пленяет, ласкает собою человека... Ту прелестную улыбку, которая придает окраску хорошо сложенной голове, талии».

Таких задушевных, сердечных писем, в которых, помимо уяснения собственной личности, Решетников хлопотал о том, чтобы склонить дядю на согласие отпустить его в Пермь, таких писем, судя по количеству ответов на них, должно быть было написано немало. Но успех этих посланий, повидимому, был невелик, так как ответы на них были примерно такого рода:

«Неужели я-то думал, давая тебе по своей силе и возможности учение и образование, получить от тебя благодарность, только излитую пером на бумаге, а не в лице моем и твоей тетки, которая нянчилась с тобою, оставляя все прочие попечения, и оба хотели нажить себе под старость утешение и замену в покойной жизни? А видим, что наклонность твоя явственно, как в письмах, так и лично, нам говорит, есть от нас удалиться. Впрочем, и я принимал старания о приискании тебе должности в Перми, но всему делается препятствие; видно, так угодно всевышнему. Прими себе в соображение, что неужели бы ты получил себе воспитание, если бы были живы твои родители? Право, это никак бы не могло случиться. Вот пример: посмотри в Тагиле на сына твоего дяди Алексея, коего он так хорошо воспитал, что и писать вовсе не умеет, и ко мне же преклонил голову, чтобы не сделать его прописным. Теперь он в поте лица трудится, тяжелою черною работою снискивает себе кусок хлеба и вдобавок еще оплачивает за себя подати

и разные повинности. А ты у меня от этого ига и бремя изъят, да еще жалуешься на провидение всевышнего и судьбу и на то самое, что тебе дал я образование в низшем учебном заведении. Я не ладил и даже не желал *сделать из тебя поэта или какого-нибудь дурака,* а всегда старался сделать из тебя умного и образованного человека. Сознайся, не правду ли я теперь тебе пишу дрожащею своею рукою, которая, может быть, столько на свете перевела чернил и бумаги, что я сообразить теперь себе не могу! А для кого именно? Ведь в том числе есть и на твое воспитание и учение. Тоже и это все уносило мое здоровье и сокращало жизнь мою, но я на то не ропщу, а прославляю бога, что он во всем этом мне помог!»

Такие письма, искренность которых Ф. М. никак не мог заподозрить, потому что хорошо знал, что дядя говорит сущую правду, что он действительно обманулся в своем воспитаннике и искренно огорчен этим, производили на Решетникова впечатление глубоко тягостное. Но несмотря на это, он никак не мог расстаться со своими мечтами и желаниями; они были точно так же искренни, как и огорчения дяди. Долгое время каждый из них отстаивал себя и свои взгляды, но, наконец, дядя понемногу начал сдаваться и уступать. Видя, что племянник продолжает еще прилежнее сидеть над своими сочинениями, он стал задумываться над этим несокрушимым постоянством, как будто начинал верить, что это племянник делает неспроста. Он уже не говорил ему — «какую черную немочь пишешь?», как говаривал это год тому назад, а кротко замечал: «Смотри, парень, как бы тебе не было худо». Мало-помалу дядя до того озаботился этими непрестанными писаниями своего племянника, что решился пригласить и угостить какого-то местного литератора, лишь бы тот принял участие в угрюмом и мучающемся юноше, посоветовал бы ему, как сочинять. Сочинитель не посоветовал ничего хорошего, напротив, через несколько времени дядя узнал, что сочинитель, несмотря на угощение, задумал всех их, то есть и дядю, и его жену, и самого Ф. М., описать в газетах. Это сильно разозлило дядю, он вновь вознегодовал на сочинительство племянника и однажды сгоряча «засветил ему оплеуху».

VII

Почти целый год тянулась эта борьба племянника с дядей; наконец в первой половине 1861 года Федору Михайловичу удалось взять из уездного суда отпуск и уехать в любимую им Пермь, на которую он смотрел как на обетованную землю. Он надеялся отыскать здесь хорошее место, с жалованьем, которое даст ему возможность не нуждаться, с занятиями, от которых будет оставаться свободное время; это свободное время он надеялся посвятить ученью и сочинительству; кроме того, в Перми он рассчитывал найти строгих и понимающих литературное дело судей, которые бы дали ему благой совет, вывели его «из хаоса», в котором блуждали его беспомощная мысль и неопределившаяся сила.

Но Пермь на первых же порах плохо ответила этим надеждам.

По приезде в Пермь он поселился на квартире у какого-то родственника, отставного чиновника, и стал хлопотать прежде всего о месте.

До какой степени эти хлопоты, этот первый шаг к осуществлению заветных мечтаний, были трудны и утомительны, можно судить из того, что через два месяца по приезде в Пермь Ф. М. пишет в своем дневнике следующее: «Милый мне в Екатеринбурге губернский город стал теперь постылым». Мелкий канцелярский служитель, застенчивый, молчаливый и притом без всякой протекции, он в течение этих двух месяцев с раннего утра терся без всякого толку в передних начальников разных канцелярий, испытывая на каждом шагу унижение от той же самой канцелярской бедноты, которая позволяла себе смотреть на него свысока, потому что была мелкота «губернская». Обширный дневник Ф. М. на громадном количестве страниц переполнен описаниями этих мучительных скитальчеств по передним, вроде следующего:

«Целый час я дожидался, пока отворят двери (в квартире председателя палаты государственных имуществ), и целый час ходил от одних дверей к другим, прося лакея отворить двери к его высокородию, но лакей говорил: «подождите!» Везде эта дьявольская фамильярность лакеев, чуть если видят — человек не чиновный, то и думают: «Чорт тебя бей! Не великая ты штука, подождешь, а мне

все-таки любо смотреть, как я себя тешу, как ты поклоняешься мне!» А ты стоишь да думаешь: «Ишь ты как заважничался, собака этакой!» Но что ни говори сам с собой, а все-таки ждешь да ждешь — и, наконец, думаешь: «пожалуй, придется воротиться назад, домой!» Однако досадно... Лакей не пускает, а барин забился в кабинет, бреется поди еще или пьет чай, как наш губернатор, целый час один стакан. Вот мука!»

Или вот другой отрывок:

«20 мая 1861 года. С рассветом мне представилось двадцатое число. Сегодняшний день был последним днем моего отпуска. Я ужаснулся тому, что я еще в Перми и никуда не определился. А между тем сколько было трудов и хлопот об этом переводе. В Екатеринбурге я надеялся на отпуск как на отдохновение. Но здесь пришлось не до отдыха; постоянные заботы, ходьба к знаменитым лицам (надежда моих мыслей), отказы этих лиц со всеми неприятностями к моей личности и, наконец, бедственная известность об моей прежней подсудности, спавшей четыре года и проснувшейся вдруг, при моей просьбе о переводе, — подсудность, теперь вполне известная в Екатеринбурге, — все это ужасно сравнительно со всеми неприятностями службы в суде (уездном), где если и слышали о моей подсудности, но не верили. Это воспоминание надолго будет в моей голове, и надолго я должен стыдиться как товарищей моих по училищу, служивших в губернском правлении, так и товарищей по службе в уездном суде.

Но срок кончился, и мне надо ехать обратно или подавать просьбу в казенную палату. Что если суд (екатеринбургский) за просрочку поступит со мной по закону из недоброжелательности ко мне?»

Недоброжелательность суда, о которой упоминает Решетников в приведенном отрывке, возбудилась после его отъезда в Пермь по следующему обстоятельству. Мы уже упоминали об одном его произведении, под названием «Черное озеро»; это произведение было послано Ф. М. в Пермь, в редакцию «Пермских губернских ведомостей»; но там его не поместили, и в отсутствие Решетникова из Екатеринбурга произведение это пришло назад, в тот же самый уездный суд, который, вероятно, узнал себя в этом произведении и вознегодовал, и потому, быть может,

вслед за этим в Перми узнали о подсудности Ф. М. Это известие свалилось совершенно неожиданно. Он ходил в это время в канцелярию уголовной палаты и занимался уже там, хотя и без жалованья, как вдруг однажды один из его «врагов» (которые совершенно непонятным образом окружали в одно мгновенье всякого новичка, едва показавшего нос в мелкую чиновничью среду) явился в эту канцелярию и торжественно объявил всем сослуживцам тайну Ф. М. В описаниях своих встреч с людьми Решетников никогда не делал резких, необдуманных приговоров; никогда не поддавался личному ощущению, особливо негодованию, беспристрастно изображая вместе с дурными и хорошие черты встретившегося ему лица; но последнее происшествие, должно быть, так сильно потрясло его, что он не выдержал своего хладнокровия.

«Один раз, — пишет он в дневнике, — прибежал к нам в правление Г—н, эта шельма в белых брюках и жилете, как дьявол. Секретаря не было. Забежал в присутствие с докладной (Решетникова) запиской и кричит: «Вот какие люди к нам просятся. Смеют они проситься! Где секретарь? Пусть он выведет на справку его подсудность». И вывели подсудность без всяких постановлений!»

К этому огорчению, заставившему Ф. М. оставить службу в уголовной палате, присоединились и огорчения от воспитателя его, который в письмах своих из Екатеринбурга продолжал доказывать, что мысль племянника служить в губернском городе и сочинять — мысль глупая и, кроме вреда, ничего последнему не принесет. На его жалобы относительно трудности достать место и на разные оскорбления, которые приходится терпеть во время этих исканий, он пишет:

«Ты бы должен принимать за благо уже и то, как с тобою обошлись председатели (таких-то и таких-то палат)... Знай, что казенные должности ныне ужасно дороги, и я не советую тебе волонтерствовать из одного места в другое. Ведь волонтерство и ораторство ныне, право, мало в ходу; найдется несколько тысяч народа во сто раз ученее и умнее нас, (которые) тебе все-таки прямо скажут: «Мальчишка и даже болтун, помолчи».

И вслед за тем, не более как через два дня:

«Что же делать (что дела Ф. М. идут плохо), потерпи и перенеси с мое. Я вполне уверен, что тебя на половину века моего недостанет, потому что *поэзия твоя для жизни служит вредом*... Я даю тебе совет, — с начальниками и старшими себе будь уважительнее и почитай их, а с товарищами будь развязнее. Если так же будешь обходиться в Перми, как жил в Екатеринбурге, то и там тебя не будут любить и уважать, и через это ты будешь несчастлив. Прощай — и много писем от меня не ожидай. Я принял тебя сорока недель, какие средства мне позволяли, по возможности, все тебе доставил. Не ходил к родным помощи просить для твоего пропитания. Прощай».

В дневнике Ф. М., соответственно числу этого письма, помещено следующее:

«. .Поэзия моя будто бы только вредит. Не знаю! Но если я пишу, то чувствую отраду... Я тогда спокоен и весел... Я пишу, не надеясь на барыши... Когда я умру, то пусть меня читают, судят, ругают... Если я пишу плохо, мысль моя не обработана, везде сухо и горько, то пусть всякий поймет меня и мою жизнь, которую я испытал во всех видах... Что же делать, если я необразован, неотесан, груб, невежа, грубиян, забияка! Но что же делать, если неправда у нас ввелась уже в форму, люди сделались гордыми, своенравными... Остается только плакать. Молиться о них (о людях) не будет никакой *пользы*».

В этом отрывке Ф. М., несмотря на множество разного рода неприятностей, все еще стоит за свое дело, за свое писанье; но история с «Черным озером» и последовавшее за ним открытие подсудности до того потрясли его, что он как бы потерял и последнюю надежду на себя и свои литературные труды.

Воспитатель написал ему громовое письмо.

Вот отрывки из него:

«Я виделся с А. С. (сослуживец Ф. М. по екатеринбургскому уездному суду), который мне объявил, что на докладную твою записку получено в полиции (уведомление), что по случаю подсудности твоей ты не можешь быть перемещен. Вдобавок А. С. сказал мне, что ты составил сочинение о «Грязном или Черном озере», где ты описал много поступков *губернских* начальников, за что тебя, эдакого поэта, даже вызывали через припеча-

тание в газетах»...[1] *«Из этого видно, к чему ведет наша поэзия, как не к погибели человеческой.* Напрасно строишь ты воздушные замки, которых нам состареться, а не видать; а этими неприятностями сокращались дни моей жизни. Неужели я с тою целию учил тебя, воспитал и определил на службу, чтобы из потомков моих кто-либо сделался клеветником на начальников? Поэтому еще нахожу средство последнее: окопировать тебя и не желать себе более поэтов из племянников».

Это письмо, вместе с катастрофой в уголовной палате (когда г. Г—н объявил о подсудности), письмо, полученное Ф. М. дня через два после происшествия, когда он еще не успел опомниться и прийти в себя, совершенно обессилило его.

Выписав подчеркнутые слова, он пишет в дневнике: «Поистине это правда... и подобные сочинения могут хоть какого отца огорчить и опечалить! Дурак Г — н! Пусть это имя клеймит его!.. Это письмо так поразило меня, что я весь день был в каком-то горе и печали.. Даже у обедни, где служил архиерей, мысли мои блуждали по сторонам «Черного озера», готовили письмо оправдания дяде, рисовали образы бедных любимых моих тятеньки и маменьки! (О, как я их люблю! Скучно без них.) В этой катастрофе я часто забывал о службе, и только громкое и хорошее пение здешних певчих выводило меня из этого хаоса моих мыслей».

Несмотря на огорченья, возвратиться в Екатеринбург, о чем не раз приходило Ф. М. в голову, было невозможно: одна мысль о возможности опять очутиться на полатях ужасала его, и волей-неволей он опять отправлялся искать места, и везде вслед за ним шла его подсудимость. Из уголовной палаты она перешла по следам его в казенную, куда он уже подал прошение об определении, занимался там в канцелярии и ждал этого определения со дня на день.

Долго, утомительно долго тянутся эти хлопоты, эти беспрерывные отказы, это убийственное равнодушие, пустые, но мучительные придирки.

---

[1] Все это выдумано, по всей вероятности, сослуживцем Ф. М. Описаны были уездные начальники, а не *губернские*; А. С. присочинил это ради того, чтобы через дядю, который знал хорошо чиновничью иерархию, посильнее отмстить Ф. М—чу. *(Примеч. Г. И. Успенского.)*

Наконец, после всевозможных мучений, Решетников пишет в своем дневнике следующее:

«10 июня 1861 года. Слава богу, я определился. 9 числа об определении моем записали в книгу, касающуюся до службы канцелярских служителей казенной палаты, и вчера просмотрел прокурор. Наконец мои многолетние желания исполнились, и я, с помощию божиею, определен в казенную палату по канцелярии. Один только бог был моим ходатаем. Ходатаем потому, что заступничеством его я, несмотря на все несчастия со мной, сколько враги мои ни старались не дать мне ходу по службе и самый доступ к лицам палаты, — он руководил теперешним моим переводом, вразумляя их о моем принятии. Эту руку милосердия его я признаю! благодарю его своей ничтожною верою в него и верую с надеждою на будущее его покровительство, что все это он делает к лучшему. Я восторгаюсь его благодеяниями и плачу от восторга, от тесноты чувств, вспоминая его ко мне милости»

Из этого отрывка видно, до чего измучился и исстрадался Решетников и с каким восторгом приветствует он пристанище, добытое такими трудами. В довершение его восторга даже воспитатель его, в ответ на извещение об определении, написал ласковое и радостное письмо, в котором между прочим говорится: «Наконец, поздравляю тебя с переменою службы; как ты желал, чтобы тебе быть и служить в Перми,— то и исполнилось. Но, *пожалуйста, поэзию свою оставь; она не совсем у места; и если надо за нее заняться, то совершенно основательно и с разбором каждое слово надобно одумавши вставить, так чтобы остатков от него не было.* Советую тебе заботиться о службе и уважать старших себе, на развратных людей не гляди, горячих напитков убегай и будь во всем вежлив и обходителен, тогда и тебя будут все любить и уважать. Одежу береги; на помощь мою не надейся, ты знаешь, что я тебя обучил» — и т. д.

Какую же собственно благодать приветствовали и Ф. М. и его родственники (есть письма других родственников), и чего же добился Ф. М. после стольких трудов и беспокойств?

Очень и очень немногого. «Меня посадили,— пишет Решетников,—в регистратуру. Вся моя работа не умственная,

а машинная, состоит в записывании входящих бумаг, надписках на конвертах, отправляемых из палаты, и печатании их. Эта работа обременительна одному, и при получении пяти или шести рублей жалованья кажется вдвойне обременительной. Для ума же никакой нет пищи».

В конце того же июня месяца того же 1861 года он пишет: «За июнь месяц я получил пять рублей серебром. Это неутешительно. Худо то, что работа машинная и не требует никакого ума». Наконец, в одной из последующих страниц своего дневника, он определяет свое положение одним, но весьма веским словом — «му́ка». «Думал было ехать в Екатеринбург, чтобы наглядеться на него, порыбачить. Но меня не пустили из канцелярии. . .» Все эти несчастные пять рублей он отдавал своему родственнику за стол и квартиру, оставляя себе несколько копеек на табак, который он курил постоянно. На книги, которых он так жаждал, у него не оставалось ни копейки, хотя в той же самой казенной палате была библиотека, где книги отпускались для чтения с платою один рубль серебром в год. Этот необходимый рубль Ф. М. приобрел, послужив еще месяц, за который ему заплатили шесть рублей. Жизнь его тянулась вяло, скучно.

«В палате мы сидим до четвертого часу и выходим только тогда, когда выходит председатель. Придешь домой, разумеется, после шестичасового сиденья устанешь, и, как отобедаешь, невольно клонит тебя ко сну. Ляжешь и пробудишься часу в шестом. Тут чай и опять тягость. Сядешь у окна и думаешь, — что бы делать? Писать. И лишь станешь обдумывать, явится дедушка (так Ф. М. называл своего хозяина-родственника), начнет рассказ, или супруга его заведет с ним какую-нибудь сцену, невольно принужден будешь слушать и прослушать до десятого часу, а там темнота. Надо заметить, что если дедушка начнет рассказывать, то вступлениям нет конца. Скучно слушать иной его рассказ, но должно слушать, не огорчая старика. Старик этот великодушен, и таких милых характеров редко где можно найти. Со мною он добр до бесконечности, что видно из его ко мне расположения и ласк. Не знаю, что он чувствует внутренно, я (с своей стороны) всегда могу сказать ему: «О добрый дедушка, лучше тебя я еще не находил людей! Только

одно мне неприятно, что он смеется над моими сочинениями и *советует их бросить совсем*. По его понятиям, я непременно должен сойти с ума. Я ложусь спать в двенадцать часов, а до этого времени хожу в нашем садике. Несмотря на тесноту (садика), я вечером хожу из угла в угол по маленькой тропинке, сделанной мною, или сижу на железном ведре. Любя уединение, я доволен и этою скучною, простою природою... В уединении душа настраивается, сердце бьется сильнее, самому кажется легче и свободнее, и в этой тишине, прерываемой разговорами соседей или бранью, ум работает и углубляется в беспредельное высшее; и во всем этом не чувствуешь утомления; когда же очнешься от этих фантазий, то чувствуешь силу сверхъестественную, силу поэзии, и тут непременно подумаешь, зачем не имеешь тех средств, которыми бы можно было жить, сведя концы с концами; теперь же, получая жалованья шесть рублей, едва находишь в ящике какие-нибудь несколько копеек... А что подумать о платье, о будущем? Дрянь ты как есть и живешь не лучше нищего! Невольно приходит мысль, зачем я способен и зачем в голову идут идеи и не дают покою? Все-таки у меня надежда на бога. Пусть он делает, как знает и как его святой воле нужно... Утром в пять часов я опять хожу по палисаднику, хотя есть одна неприятность — это роса, от которой мочатся сапоги и халат, но зато я хожу собственно уже для своего здоровья... Так и идет время... Если не слушаю рассказов дедушки, когда он молчалив и грустен, то читаю книги, книжонки и «Московские ведомости», полученные недели три тому назад... От скуки рад заняться чем-нибудь».

Это однообразное времяпрепровождение изредка разнообразилось прогулками далеко за город за грибами или на любимую Ф. М. Мотовилиху, в которой он узнал всю подноготную жизни заводского рабочего; прогулки эти сопровождались разными встречами и рассказами, которые Ф. М. описывает с обычною ему обстоятельностию и которые еще более обогащали его знанием жизни. Посещал он также своих знакомых, старых товарищей по училищу, сделавшихся чиновниками, и новых сослуживцев, и тоже подробно описывал эти посещения и встречи. Каждого встречавшегося ему человека он изображал

в своем дневнике с полным беспристрастием, с полною любовью только к правде, инстинктивно боясь упустить какую-нибудь крошечную черточку. Но эта черта его ума, неизгладимо врезанная в него обстоятельствами жизни в период самого раннего детства, черта, которая была у него еще тогда, когда ему было десять или двенадцать лет от роду, оставалась и до настоящего времени в той же силе, как была и в детстве. И тогда, прощая своих врагов, он умел уже относиться к людям так, как относился теперь. Десять лет, которые прожил с тех пор Ф. М. — в монастыре, в Перми и в Екатеринбурге, — не только бы не оплодотворили ее знанием, но, напротив, как уже видели мы, постоянно искажали ее, заваливая разным хламом, из-под которого ей стоило великих трудов выбраться опять на божий свет.

Как видим теперь, не много помогла и Пермь.

Материального благосостояния, при котором он мог бы сводить «концы с концами», он не имел, и в этом отношении ему было даже хуже здесь, в Перми, чем на полатях в Екатеринбурге. Служба, от которой он всегда хотел научиться чему-нибудь, была самая мертвая, не дававшая никакой пищи уму, и, наконец, «знать все» или хоть что-нибудь, — что собственно и нужно было ему, — на рубль серебром в год было едва ли возможно. Мечтания о «беспредельном высшем», которые могли быть определены и уяснены одним только знанием, продолжали попрежнему бесплодно волновать его мысль, мешая простому и сердечному взгляду на жизнь и на людей, который, как мы уже сказали выше, был у него и десяти лет отроду, был и теперь. Ничто с десяти лет в сущности не подвинулось в его развитии; ничто существенным образом не успело испариться даже из того, что забило и затормозило его развитие. Так, например, поэму свою *«Приговор»* он и теперь, будучи в Перми, считает чем-то, о чем можно долго думать, советоваться; это показывает, что в эту пору он не отделался еще окончательно от странной морали, вложенной в нее.

Несчастливилось ему также и насчет руководителей, которых он искал с терпением и настойчивостию ничуть не меньшими тех, какие обнаружил он в необходимости найти место и кусок хлеба.

Необходимость узнать самого себя была также ничуть не меньшая. «Напишу И. К. П., — пишет он в дневнике,—объясню ему свое положение (относительно жажды литературной деятельности) и попрошу его прочитать мое сочинение и сделать на него строгую критику, а более всего сказать: могу ли я сочинять прозой или стихами?» П—в, бывший учитель Ф. М. в уездном училище и теперь служивший в одной с ним казенной палате, охотно согласился прочесть произведение своего питомца, причем написал в ответ на его письмо следующую записку:

«Извините, что я несколько замедлил ответом на ваше письмо. Благодарю вас за старую обо мне память и за то доверие, с которым вы высказываете предо мной свои глубокие думы. Я с удовольствием готов прочитать ваши сочинения, но считаю в этом случае нужным предупредить вас, что мой суд, как суд очень обыкновенного человека, не должен быть для вас путеводною звездою. Относительно внешней отделки я еще могу быть полезен вам, что же касается до внутреннего построения, то здесь всякое стороннее влияние потребует переделки, а это излишний расход на труды, часто приходящиеся не по сердцу автору. Н. П.».

«...Слава богу! — восклицает Ф. М., — я получил от П. письмо; теперь остается только отдать ему сочинение».

Сочинение это было — «Деловые люди», о котором, к несчастию, мы не знаем ничего, кроме того, что это произведение было обличительного характера.[1] В то же время другое его произведение, «Приговор», он отдал на суд сослуживцу М., «который, — пишет Решетников, — очень дружен со мной, заметно любит меня, *зовет постоянно курить* и непременно что-нибудь расскажет о своей прошлой жизни или о палатской службе. Вот почему я и решился отдать ему прочитать «Приговор»... М—в похвалил поэму, сказал, что она ему понравилась, но что «надо убавить, много лишнего».

[1] В рукописях Ф. М. мы нашли комедию «Судейкин». Комедия эта написана прозой и, судя по содержанию, очень подходит к «Деловым людям», о которых мы кое-что знаем из дневника. Одно ли это и то же, сказать трудно, но направление найденной комедии точно так же вполне обличительное.

Отзыв П—ва о «Деловых людях» был более обстоятелен и произвел на Ф. М. более благоприятное впечатление. Он сказал, что «прочитал и собирается написать рецензию, но все некогда...» «Написано, говорит, порядочно, и высказывал свои заметки... Советует ее (комедию) положить пока, для того чтобы созрели мысли, и продолжать свое образование, пописывая что-нибудь... Советует писать лучше прозой... Впрочем, говорит, написана недурно, а все-таки надо продолжать свое образование. Советует написать какую-нибудь статейку и послать в редакцию. Слава богу! — думал я,— один человек подал мне добрый совет в мою пользу. Теперь покажу ему другое сочинение, хоть «Приговор».

Совет был действительно добрый, но, к несчастию Ф. М., П—в, который даже и такими советами сделал бы для него несомненную пользу, очень скоро оставил службу в казенной палате и переехал в другой город.

Ф. М. глубоко сожалел об этом.

По отъезде П—ва он снова стал обращаться за советом к кому попало и иной раз попадал в ужасный просак.

В такой просак попал он, отдав свое сочинение председателю.

«Каюсь, — пишет он в августе 1861 года, — что отдал ему (председателю) мое сочинение «Деловые люди». Цель моя была та, что, во-первых, он обещался убавить жалованье, во-вторых, он, как умный человек, быть может, обратит на меня внимание и подаст благой совет. Поэтому я написал ему письмо, похвалил его за библиотеку, как за благодетельную меру для служащих, выставил свое бедственное положение, просил прочитать мои сочинения, из которых одно принес с собой, и, если можно, (просил) прибавить мне жалованья. К этому же меня понудило и то, что я сбираюсь искать другую квартиру. Двенадцатого числа дедушка, бывши выпивши и *наскучив видеть, как я пишу сочинения, велел мне искать другую квартиру*. Четырнадцатого числа я был у председателя и ждал его целых два часа. Он ходил на дворе, играл с собаками и смотрел в амбаре свои вещи, которые он продает, надеясь скоро уехать. Увидав меня, он спросил, что мне нужно? Я подал ему свое письмо. Он прочитал и сказал: «Мне, батюшка, некогда читать, я

собираюсь в церковь, и вам советую тоже идти. Ступайте!» — и он поворотил меня. Я повторил ему свою просьбу на словах. «Мне некогда читать, — сказал он опять. — Я лучше вам советую заниматься, чем сочинять. Занимались бы больше в палате».

Кое-как Решетников настоял-таки на том, что председатель взял его сочинение и обещал передать его для просмотра редактору «Губернских ведомостей» П—ну. Председатель приказал ему зайти за ответом через несколько дней, но когда в назначенный день Ф. М. явился к нему, то председатель сказал:

— Что вам нужно?

Решетников сказал.

— Мне некогда! — ответил председатель. — Вы видите — я занимаюсь? Ступайте к обедне... Я сам принесу (сочинение), — и не велел приходить. «Дурак же я, — говорит Ф. М., — что отдал ему мое сочинение. Теперь он не только будет смеяться надо мной, но еще не обратит никакого внимания на мое бедственное положение. Пожалуй, еще и за этот месяц даст только пять рублей».

Возвращая через несколько дней комедию вместе с письмом, при котором была она доставлена Решетниковым, председатель сказал:

— Вы какие-то кляузы написали? Тут какая-то женщина учит мужа? Вам надо выбрать одно из двух: или сочинять, или служить.

Ф. М. всеми возможными способами старался скрыть от своих сослуживцев как свою просьбу к председателю, так и его суждения о его произведениях, но сослуживцы узнали — и Решетников опять убит и огорчен.

«Ужасно тяжело мне было в этот день (день возвращения председателем рукописи). Сцена в палате (с председателем) мне и вечером почти не давала покоя. То слышались слова председателя: «кляузы», то недоверчивость служащих. Все вышло дрянь! Все говорят, что я глупец и больше ничего, да еще хочу выиграть перед начальством. Ах, если бы деньги! бросил бы я эту службу и все эти связи с служащим миром».

Вот какие были судьи и руководители Ф. М., которых он так желал и на которых так надеялся. В течение года он услышал одно доброе слово от г. П—ва, а этот год был *двадцатый* в его жизни, и его не могла не угнетать

мысль, что года эти проходят бесследно и дают ему одни только страдания.

Вот какими строками в своем дневнике заканчивает он этот год:

«Сегодня, 5 сентября 1861 года, я поздравил себя с двадцать первым годом моей жизни. А что я сделал в эти двадцать лет? Ничего, кроме нескольких черновых сочинений... Кроме горя — ничего не было. Дай бог созреть моим мыслям и исполниться желаниям людей, читавших мои сочинения, и быть из них (сочинений) дельному, не для себя только, но и для пользы нашего русского народа. Дай бог мне терпение сносить ярем моей бедной жизни и жить в труде, без гордости, самообольщения, не увлекаясь мелькающими в воображении мечтами, а жить, веря в провидение, и так, как бог велит».

VIII

Так прошел 1861 год.

В течение следующего, 1862 года, материальная обстановка Ф. М., повидимому, стала еще хуже. С переходом на новую квартиру, к «чужим людям», получаемое им жалованье оказалось в высшей степени ничтожным. Вот его бюджет на новой квартире: «за квартиру — один рубль пятьдесят копеек. На говядину, тридцать фунтов по три копейки серебром за фунт — девяносто копеек. Хлеба на шестьдесят копеек и молока на шестьдесят копеек... Буду жить как бог велит».

«Служба становится трудная, — пишет он через месяц после вышеприведенной выписки, — сижу в палате до четырех часов, обедаю почти в шестом, да еще дома занимаюсь палатскими делами. А все за семь рублей. Дядя А—н писал мне: «Что за философия, что жалованья мало, я и женатый получал по три рубля, да жил же как-то». Поживи-ко ныне, попробуй! Впрочем, я доволен тем, что из семи рублей у меня остается два с половиной рубля в месяц. *Зато я не ем уже ничего мясного»*.

Не представляя никаких существенных перемен к лучшему в материальном отношении, 1862 год был для Ф. М. весьма полезен в отношении нравственном. В тече-

ние этого года ему удалось-таки найти двух весьма хороших критиков: одним из них была любовь.

Как и в прошлом году, продолжая в свободное от занятий время посещать своих старых знакомых и товарищей, Ф. М. однажды вздумал пойти в семейство той девушки, о которой мы раз уже упоминали по возвращении Ф. М. из ссылки, когда он «не хотел соблазняться примерами женщин».

Девушка эта жила с старушкой матерью довольно бедно, зарабатывая деньги шитьем на гостиный двор и занимая каморку. И мать и дочь обрадовались Ф. М. Он просидел у них целый вечер и, воротившись, пишет:

«Не знаю почему, а она (девушка) мне понравилась, в ней видна была робость, когда она глядела на меня, и если что говорила, то голос ее дрожал. Она ни о чем меня не спрашивала. Я долго любовался ее темнокаштановыми волосами, обвитыми вокруг маленькой головки, вспоминая время, когда она, бывало (в детстве), расплетала их и чесала. В простом сереньком платьице она казалась безукоризненно хороша.

В моей памяти мелькнули слова наших родителей, обещавшихся (в детстве) соединить нас навеки, от чего я тогда отстранялся... Я ужаснулся своего прошедшего. Зачем я дичился девушки, зачем ненавидел ее за ее длинные волосы, большие глаза? Мне сильно хотелось поговорить с нею наедине, но где и как, это трудно определить... И теперь, оканчивая записки, я вижу перед собой ее милый образ...»

С этих пор всякая новая встреча с этой девушкой, как бы они ни были редки и молчаливы, все более и более укрепляет в сердце Ф. М. любовь к ней.

«Она мне еще больше понравилась, — пишет он после следующей встречи, — я начинаю на нее теперь поглядывать не шутя, и, кажется, я люблю ее...

..Я начинаю любить ее... Я ежедневно больше и больше думаю о ней...

...Вот уже двадцать дней, как я не видал ее; боже мой, как я измучился в первые дни, на первой неделе поста. Мне так и хотелось ее увидеть, отдать ей письмо, написанное стихами, в котором я объяснял, почему я прежде казался ей гордым, почему ныне стал чувствовать

к ней влечение и что, несмотря на прежнее горе, я все-таки любил ее, хоть и молчал об этом. Часто-часто из Екатеринбурга я переносился мыслью в их хижину, часто мне казалось, как бы хорошо полюбить ее...»

Очень скоро, при содействии матери любимой девушки, дело любви было поставлено на практическую почву, и возник вопрос о женитьбе. При необыкновенно однообразных и утомительных занятиях, при сильном отвращении к образу жизни своих сослуживцев, таскавшихся по трактирам, женитьба на любимой девушке могла бы казаться Ф. М. необыкновенным счастием, нравственным отдыхом, и он наверное бы не устоял против этого счастия, если б в нем давно уже сильно и прочно не был вкоренен страх — опрометчиво решать «участь людей»... Жениться, взять девушку и, вместе с тем, взять на себя все ее будущее — это казалось Ф. М. делом весьма серьезным. Потребность обсудить это дело основательно, беспристрастно, рассмотреть его со всех сторон, вновь воскресила в нем опять-таки ту же черту «правды», которая до настоящего времени продолжала теряться в мечтаниях о «беспредельном высшем», «сверхъестественном», в котором критики Ф. М. хоть и находили много «лишку», но все-таки хвалили и за эти «сверхъестественные» мысли.

Любовь и мысль об участи любимой девушки отстранили весь этот хлам на задний план. И надо удивляться нравственной силе Ф. М., с которою он обуздывает свою страсть, чтобы правдиво всмотреться в нее, в ее будущее, не церемонясь ни с собой, ни с предметом своей любви.

28 мая 1862 года он между прочим пишет: «— Я согласна (сказала мать девушки)... Я поговорю... Приходите завтра.

Великий господи!.. Постой! Постой! Дай опомниться! Я дома теперь. Не мешай, пожалуйста, В. М. (сосед по квартире)! Ты уж больно выпил: кричишь, поешь, плачешь... Хорошо тебе, ты уже женат, живешь с женой как живется, не чувствуешь сердечной тревоги. А я? Зачем как будто я не люблю ее? А как она прекрасна, мила! Два раза уговаривала остаться посидеть... как горячо, крепко пожала мне руку на прощанье! Зачем я не отдал ей письмо? Нет, я не пойду завтра! Я не хочу,

чтобы мать сама устроила нас... Нет, я сам узнаю ее! Что мне в ее красоте? ..»

Через несколько дней Решетников продолжает:

«Дай наперед посмотрю на нее как знаю... Она резва... В ее молчании заметно развитие... Из рассказов матери я заключил, что она успела воспитаться сама собой, иначе зачем бы ей пришла мысль идти в монастырь? Может быть, она только начинает любить меня. И вдруг слово о браке может удивить ее. Нет, ей не нужно говорить о браке. Ей скучно становится, если мать ее станет вспоминать мое детство. Ей надоело мое прошлое. Ей необходимо говорить со мной... Может быть, она ненавидит меня? Что за сватовство? .. И к чему оно? Я хочу только любить... может, все изменится. Прав ли я, или нет? Сам не знаю. Что нужды! Пусть мы будем жених и невеста, пусть! Нам тогда будет свобода в разговорах. Что-то я, право, рехнулся совсем. Но она красива; я люблю ее... Но так ли я ее люблю, настоящею ли любовью? Нет! кажется, я мало люблю ее... Я только увлекаюсь ею. Я хочу ее любить истинной любовью... видеть в ней постоянного, настоящего друга... Я хочу, чтобы и она во мне видела такого же друга, чтобы нам не роптать... Пусть подумает. Через неделю я схожу, а теперь пусть подумает. За шитьем в молчании много можно передумать».

Этой критикой самого себя, своих ощущений, основанной на желании быть справедливым к другому человеку, переполнены страницы дневника Ф. М. в течение многих месяцев, в продолжение которых мысль его делается свежей и проще, желание определеннее. Наряду с любовью этой определенности и простоте мысли помогло еще и то обстоятельство, что Ф. М. в том же 1862 году удалось найти такого ценителя своих произведений, какого он сам всегда желал. Этот ценитель был некто Т., сослуживец Ф. М., человек отчасти знакомый с литературой и вообще понимавший больше, нежели все до сих пор бывшие судьи произведений Ф. М. Этот судья был хорош для Ф. М. тем, что хоть и любил и был ласков с ним, но к произведениям его относился строго.

«В сочинении «Два барина» Т. не нашел ничего хорошего. Разбирая каждое слово, он говорил: «Вот тут нет стиха. Здесь непонятно. Нельзя понять, что такое *два*

барина? Да и сочинение написано не стихами, а только под рифму». Одним словом, он выказал много ума. Говорил о Лермонтове, Пушкине... а мое сочинение для печати не годится! О драматических сочинениях он сказал, что я еще не могу писать драмы, тем более стихами, каких (драмы стихами) никто еще у нас в России не писал. Советовал на первый раз написать небольшую повесть или рассказ... Советовал написать пока статью о библиотеке в казенной палате... Из его слов я замечал, что сочинения мои дрянь, одно увлеченье, без всякой цели... Не бросить ли их? Нет, я буду писать! Ах, если бы деньги! бросил бы я службу.

...Драму «Панич» он не читал: «тут много написано, не хочется... Да вы оставьте их! Вы не можете писать драмы».

Как ни суровы эти проговоры и как ни грустно было переносить их Ф. М., однако он не может не сознаться, что в них есть доля правды.

«Т. прав, — пишет он через несколько дней после знакомства с новым критиком, — «Два барина» дрянь... Они давно мне самому такими казались. Еще когда писал, то думал бросить... Однако попытаюсь послать (в какую-нибудь редакцию), есть же и незанимательные стихотворения... Да! стихотворения, стихи, — а у меня-то что? Все говорят: не стихи и не проза... Что же такое? Господи боже мой! Как плохо быть бедному человеку со способностями!.. Опять: «со способностями». А кто знает, есть ли во мне способности? Может быть, это бред, глупость, как говорит мой дядя? О, если это скажет мне один из будущих моих редакторов и рецензентов, — я брошу все и уйду! Буду жить в одной любви к всеблагому отцу моему и творцу...»

Есть строчки в дневнике Ф. М., где как будто проскальзывает обидчивость на приговоры Т., но скоро он убеждается, что Т. прав, и не может не слушаться его советов. Покоряясь им, он пишет рассказ *из заводской жизни*, повидимому уж без «неестественных» фантазий, под заглавием «Скрипач», [1] и статью о библиотеке, которую Т. переделывает по-своему. Эту статью Ф. М. несет к редактору «Губернских ведомостей» г. П. — и приобре-

---

[1] Этого рассказа мы в бумагах Ф. М. не нашли.

тает в его лице нового советника, который хотя и «посмотрел с недоумением» на Ф. М., когда тот принес ему для прочтения свои драмы, но все-таки был полезен ему, действуя в том же духе, как и Т. Он задал ему работу этнографическую: описать Пермь, ее нравы и обычаи, начиная со святок. [1]

Таким образом, 1862 год в жизни Ф. М. можно считать одним из самых лучших. Любовь воскресила в нем и довела до высшей степени способность и потребность «не осудить» человека, а встреча с гг. Т. и П. направила эту способность на явления, которые толпились у Ф. М. перед глазами, на материал, которого у него было накоплено слишком много и который до настоящего времени Ф. М., повидимому, считал ненужным. Результатом этих влияний является драма в пяти действиях «Раскольник». Некоторые сцены в ней, правда, носят еще печать прошлых искажающих влияний. Так, речь раскольника написана стихами (чтобы стихи выходили вернее, Ф. М. купил курс стихосложения и проверял по правилам каждый стих), и в объяснении таинственной жизни этого человека в уединении, среди леса, примешана доля монастырской морали. Но Ф. М. уже тотчас по написании драмы сознается, что не совсем хорошо знает общественные и религиозные причины одиночества отшельника, говоря только, что он «слыхал, что есть старцы». Самая личность раскольника, впрочем, нужна автору для того, чтобы сгруппировать вокруг него недовольные типы из простого и рабочего народа, и здесь Ф. М. в первый раз является тем, что он есть. Заводские нравы, которым отдано в драме две трети места, изображены ярко, правдиво. В побуждениях, руководящих этим народом в побегах с завода в лес к раскольнику, все реально, просто, без малейшей примеси чего-нибудь из области «сверхъестественного».

«. . .«Раскольника» я кончил, — пишет Ф. М. в своем дневнике. — Стихосложение Перевлесского мне много помогло, без него я решительно не мог писать стихов. . . *но все-таки они не стихи. . .* Мне надо свободу! Мне надо запереться для сочинений. . . Материала у нас очень

---

[1] Статья эта помещена в 52 № «Пермских губернских ведомостей» 1862 года.

много... Наш край обилен характерами. У нас всякий, кажется, живет на особицу (на свой образец), чиновник, купец, горнорабочий, крестьянин... *А сколько тайн из жизни бурлаков неизвестно миру?* Отчего это до сих пор никто не описал их? Отчего наш край молчит, когда даже и Сибирь отзывается? Я не могу в себе отличить таланта, пусть это скажут люди. Я знаю только, так по крайней мере мне кажется, что «Скрипач» и драма «Раскольник» написаны дельно. Это только для опыта. В них мало смелости. Пусть только эти два сочинения выйдут в свет, я буду знать, что я могу писать, и буду писать смело».

IX

Из этого отрывка видно, что Ф. М. начинает, наконец, выбираться на ту дорогу, с которой он уже не сходил в течение всей последующей литературной деятельности своей.

Нам остается поэтому сказать еще очень немного о переменах во внешней обстановке жизни Ф. М., так как весь путь, пройденный его талантом, нами очерчен.

По мере того как Ф. М. стал уяснять себе, что именно может сделать он с своим дарованием, по мере того как он стал верить, что дарование это у него есть, жить в Перми стало для него скучно и бесполезно. Явилась мысль ехать в Петербург, приняться за дело серьезно, учиться, служить.

Особенно пусто показалось ему в Перми после неожиданной развязки романа. По случаю приезда в казенную палату ревизора Ф. М. должен был проводить на службе дни и ночи, не имея времени часто посещать семью любимой девушки. Виделись они очень редко, хотя Ф. М. ни на минуту не забывал о предмете своей любви, продолжая анализировать свои к нему отношения. Среди этих-то размышлений и служебных хлопот он неожиданно узнает, что девушка, которую он любил, выходит замуж. «Господи! как мучительно и тяжело, — пишет он, — видеть ту, которую ты любишь, в тот день, когда подруги снаряжают ее к свадьбе, шутят исподтишка над тобой и она сама вовсе не обращает на тебя внимания! Что я ее люблю, вижу из того, что каждый день думаю

о ней, жалею, что не могу на ней жениться, потому что не узнал ее, хотя и писал в дневнике иной раз совсем другое... Быть может, она выходит замуж совсем не по любви?»

Чтоб удостовериться в этом, он отправляется в любимый домик; но визит этот был весьма неудачен. Мать и дочь приняли его так, что ему казалось, будто они хотели сказать: «Зачем вы пришли?» Невеста была весела, а одна из подруг ее, кивнув на Ф. М., довольно громко сказала: «Всё еще похаживают?» Все это глубоко его опечалило. Просидев молча четверть часа, он ушел и более уже не встречался с этой девушкой.

Пусто и одиноко стало ему в Перми. Единственная надежда на исход был ревизор, который полюбил Ф. М., занимавшегося у него на дому перепиской бумаг. Ревизор ценил в Решетникове хорошего писца и способного чиновника и обещал ему перевод в Петербург. Как и всякому, кого Ф. М. считал образованным и могущим дать ему «благой совет», он представил и ревизору для прочтения свои сочинения, прося похлопотать о помещении. В ответ на эту просьбу ревизор, уезжая в Петербург, сказал ему между прочим следующее: «Что касается сочинений, то вот что, Решетников, я вам скажу: *вы писать не можете*. Я сам писал когда-то, но к чему это повело? Ровно ни к чему! Всех литераторов, таких как вы, ожидает нужда и голод... Вы не учились в высшем учебном заведении, вы нигде не бывали. Что вы можете написать? И для чего? Я не знаю, впрочем, ваших способностей, не знаю ваших сочинений, потому что вовсе не читал их». Ф. М. сказал, что он и жить не может без сочинений, что у него страсть. «Мало ли что! — возразил ревизор. — Но надо надеяться и на рассудок». И в доказательство страсти, побежденной рассудком, ревизор привел себя, сказав, что и у него была страсть к картам, однако он преодолел, а теперь вот уже сколько лет не берет их в руки. Этот разговор кончился следующими словами ревизора: «Я вас постараюсь определить... Но теперь, через десять дней, вы должны сказать мне: будете вы сочинять или нет? Если вы будете сочинять, — вы останетесь здесь; если нет, — я вас переведу». Трудно было Ф. М. решить эту задачу. «Я не могу жить в Перми, — пишет он после вышеприведенного разговора, — мне надо новой

жизни... Что сказать (ревизору)? Сказать, что я не буду писать, — я должен его обмануть, и что тогда будет со мною? Сказать, что буду, — значит остаться в Перми... И бог знает, что будет со мною... Нет! Скажу лучше: «не буду» — и стану ждать на это ответа... Сделаю для него все, соглашусь, и тогда — будь что будет! Уеду... но тихонько буду писать, *пока обстоятельства* службы и жизни *не прекратят* эту охоту... Ах, если бы знали, что это за страсть! Что делать! Я так наделен судьбой, что не мог образоваться... Разве я не могу еще писать лучше? Я могу научиться... Мне хочется... Но служба? О, я не долго проживу этою мучительною жизнью!..»

Ревизор уехал в 1862 году, осенью. Целую зиму и весну Ф. М. терпеливо дожидался от него письма, скучая, волнуясь за будущность своего дела, с горечью вспоминая утраченную любовь. Наконец весной 1863 года долгожданное письмо, с разрешением ехать и обещанием места, пришло. Ф. М. распродал свои вещи, выпросил у родственников позволения разыграть свои часы, побывал у них, простился и, несмотря на то, что ему отсоветовали ехать, в июле месяце все-таки уехал в Петербург.

«Когда я простился с друзьями, — пишет Ф. М. с парохода, на котором ехал в Петербург, — и когда пароход стал отплывать от берега, мне стало крепко грустно... От меня удаляется и милый город, удалялась и милая река (Кама), которую я любил с детства, с ее бурлаками... Я любил на ней плавать и, когда рыбачил в детстве, подолгу задумывался над природой, мне чего-то хотелось, куда-то меня тянуло... На ней я провел горькую пору моей жизни, на ней узнал себя, сличая людей... Я был туп в то время, но я рвался быть лучше... В Перми я ничего для себя не сделал... Мое воспитание, забитость... даже любовь не принесла мне ничего хорошего... Был ли хоть один день с какой-нибудь надеждой? А любил я берег Камы, любил просиживать подолгу ночью у Архиерейского Ключика и любоваться тихою Камою, звездами и серо-темными тучами, отражающимися в воде, всплески рыболовов, закамские огоньки и лед, когда он шумит и ломает все по пути... Да, любил я твою природу, Кама! Теперь ты катишь меня далеко, и бог весть, — ворочусь ли я?»

В начале августа 1863 года Ф. М. приехал в Петербург, но и тут не сразу стало ему лучше; хотя, по протекции ревизора, он и получил занятия в одном из департаментов министерства финансов, но жалованья ему пришлось получать меньше, нежели он получал в последнее время в Перми, а именно девять рублей вместо десяти пермских. Жил он поэтому в каморке, рядом с кабаком, и чтобы как-нибудь сводить концы с концами, стал писать небольшие очерки в *«Северную пчелу»*. Платили ему за них мало и неаккуратно. Один из сослуживцев его, брат Н. Г. Помяловского, уже умиравшего тогда в клинике, человек, знакомый с литературным делом, надоумил его снести только что написанных *«Подлиповцев»* в редакцию «Современника», и с этого времени имя Решетникова сразу заняло высокое место. Материальные обстоятельства его изменились к лучшему, гонорар за литературный труд обеспечивал жизнь помимо службы, и вследствие этого скоро он вышел в отставку, а через несколько времени после того и женился.

X

С тех пор в течение восьми лет он постоянно работал в больших и маленьких журналах, и каждое более или менее крупное произведение его возбуждало в обществе и литературе самые разнообразные толки. То он оказывался слишком большим, то слишком малым, то художником, то писарем, то мог — «проникать до корня», то оказывался необыкновенно поверхностным, скучным, длинным. Личное знакомство с Ф. М. для заинтересовавшегося в разъяснении этого запутанного таланта было почти бесполезно, а сам Ф. М. положительно терял некоторую долю своей литературной интересности. Он был угрюм, неразговорчив, необщителен, порой груб. От всех он сторонился, смотрел волком, ко всему и всем был подозрителен; редко-редко добродушная улыбка осветит это угрюмое лицо. Никаких блестящих фраз он не говорил, а если принимался рассказывать что-нибудь, то речь его касалась всегда предметов наиобыденнейших, была длинна, расплывалась в мелочах и утомляла тем более, что Решетников говорил монотонно, «себе под нос»,

не выпуская из зубов коротенькой трубочки, отчего каждое слово отделялось паузой. Наблюдатель уходил ни с чем, чтобы потом, при появлении нового произведения Ф. М., удивляться попрежнему смешению в этом «совершенно обыкновенном» человеке великого и малого.

Теперь читатель, знакомый с прошлою жизнию Ф. М., видит, отчего был он угрюм, застенчив, боязлив; отчего потерял веселость, юмор, способность шутки. Жизнь посбила много дорогих цветов с его сильного таланта, ничем никогда не помогла ему развиться, хотя и дала взамен многого, понапрасну утраченного, полное знание народной жизни, уменье понимать ее глубоко и правдиво.

Не бросающаяся в глаза, скрытая, но истинная любовь к народу, желание ему пользы, добра были постоянными руководителями Ф. М. в работе. Вот что писал он Н. А. Некрасову, представляя ему своих «Подлиповцев»: «Таких людей, как подлиповцы, в настоящее время еще очень много не только в Чердынском уезде, Пермской губернии, местности самой глухой и дикой, но и в смежных с нею — Вятской, Вологодской и Архангельской. Зная хорошо жизнь этих бедняков, потому что я двадцать лет провел на берегу Камы, по которой весной мимо Перми плывут тысячи барок и десятки тысяч бурлаков, я задумал написать бурлацкую жизнь, *с целью хоть сколько-нибудь помочь этим бедным труженикам.* Я не думаю, чтобы цензура нашла что-нибудь в этом очерке невозможное для пропуска; по-моему, написать все это иначе, значит говорить против совести, написать ложь... Наша литература должна говорить правду... *Вы не поверите, я даже плакал, когда передо мной очерчивался образ Пилы, во время его мучений».*

В бумагах Ф. М. мы нашли много подлинных доказательств этой истинной любви к человеку. Вот записка о каком-то пропавшем мальчике, с обозначением примет, выписанных из газеты, на случай — не удастся ли найти его; вот ненапечатанная статья о дурной пище чернорабочих, старающаяся кого-то убедить, что простому народу нужен свежий воздух. Между этими бумагами особенно интересно прошение, адресованное Ф. М. к санкт-петербургскому обер-полицимейстеру. В прошении этом Решетников рассказывает следующее. Вздумалось ему пойти однажды в концерт; прочитавши афишу и не за-

метив, что она вчерашняя, старая, он отправился в дворянское собрание, где, вероятно, в это время происходило уже что-нибудь другое. Городовой не пустил Ф. М. в подъезд; он пошел в другой, и там не пустили — «прогнали прочь», по собственному его выражению. Ф. М. рассердился, и когда на него прикрикнули: «Куда ты лезешь? кто ты такой?» — «Мастеровой!» — грубо отвечал Ф. М. Результатом такого ответа было то, что Решетников ночевал в части, откуда вышел избитый, без денег и кольца. «Довожу об этом до сведения вашего превосходительства, — писал он в прошении. — Я ничего не ищу. Я только об одном осмеливаюсь утруждать вас, чтобы пристава, квартальные, их подчаски и городовые — *не били народ...* Этому «народу» и так придется много получить всякой всячины...» Из этих же оставшихся после смерти Ф. М. бумаг и записок видно, что ни на одну минуту его не покидало желание «научиться», развить себя. Он читал книги, делал из них извлечения, собственно для себя, и что мог — он сделал в этом отношении. А мог он уже очень немного: здоровье его было слабое; он уж в Петербург приехал больным, измученным... Смерть стояла не за горами, и 9 марта 1871 года он умер, на тридцатом году жизни, от отека легких. Вечная ему память от всех страждущих, «трудящихся и обремененных!»

НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ДЕМЕРТ

В марте прошлого года умер в Москве, в полицейской больнице, один из самых крупных, талантливых и умелых работников последнего литературного периода—Н. А. Демерт. Он был взят на улице в припадке полного умственного расстройства, в том состоянии, когда человек не знает, где он, что с ним, куда он и откуда идет.

Что же довело эту сильную, крепкую, здоровую натуру до такого ужасного состояния, что размягчило этот крепкий, сильный мозг? Говорят: «он пил», но мы, лично хорошо знавшие Н. А., смеем утвердительно сказать, что он пил не в силу «порока», который бы был органически врожденным, — он *«до смерти работает,* — сказал Некрасов про русского мужика, — *до полусмерти пьет».* Отделять эти два *дела,* по нашему мнению, нельзя не только в характеристике поведения русского мужика, но и вообще в характеристике всякого русского человека, и тем более человека, который знает, что такое *настоящая работа,* что такое работа *до смерти.* Демерт действительно пил, но работал он трезвый, а вспомнить — как много он работал, сколько дней в течение месяца не отходил он от стола! Почему три-четыре дня, остававшиеся ему свободными в течение месяца работы, он отдавал «зелену вину»? Уж не в работе ли, не в ее ли свойстве, не в ее ли размерах и задачах корень *гибели* Демерта? Что же он делал?

Заимствуем из некролога Н. А. Демерта, напечатанного в 12 № «Отеч<ественных> з<аписок>» прошлого года г-ном К., некоторые биографические подробности, которые, мы надеемся, выяснят нам кое-что в отличи-

тельных свойствах Демерта как работника. Демерт родился в 1835 году; у него было много братьев, из которых он был самым младшим. «Учился он сначала в Казанской гимназии, потом в Казанском университете, где окончил курс кандидатом по юридическому факультету. Это было примерно в 1858 году. По выходе из университета он несколько лет был домашним учителем у помещика Д.». «По освобождении крестьян — он был мировым посредником первой их серии, причем имел возможность близко узнать тяготы и нужды крестьянского быта, а с открытия земских учреждений стал членом Чистопольского земства, а потом и председателем земской управы. Но долгое пребывание в провинции было ему *не по нутру, он стремился в столицы* и сначала уехал в Москву, а потом, в 1865 году, появился и в Петербурге». Затем, с 1865 года, начинается его литературная деятельность.

Из приведенного отрывка мы просим читателя обратить внимание на цифры, то есть на годы. Что такое было в России в пятидесятых и начале шестидесятых годов, и как то, что было, должно было действовать на бесспорно даровитую натуру Демерта? Освобождение крестьян, новая жизнь, новая эпоха русской жизни висела в воздухе, ждалась миллионами народа, измученного крепостным правом, ждавшего дня освобождения как пришествия мессии. Много ли в эти торжественные минуты было людей, которые, не выжив из ума, нашли бы в себе силы любоваться прошлым? Все, что было на Руси совестливое, — дышало полной грудью широким простором будущего, предвкушением *«совершенно новых»* условий жизни, все раскаивалось в этом прошлом, а то, что не имело еще времени прегрешить им прямо, на веки веков воспитывалось и закалялось в задачах будущего. Работать для этого бедного народа, служить ему

И сердцем, и (даже!) мечом,[1]

а если нет меча, то «и умом» — вот была нянькина сказка, колыбельная песня всего, что носило в груди не кирпич, а сердце. А Демерт был «лют» сердцем от природы. Демерт был умен, энергичен, смел, совестлив, честен. У Демерта была «искра божия», и эта искра

---

[1] Слова г. Кукольника.

божия могла в то время освещать только трудную дорогу будущего, другой дороги у Демерта не было.

В биографическом очерке г. К. сказано, что тотчас после окончания университетского курса Демерт некоторое время жил у помещика Д., а потом был мировым посредником. Эти два обстоятельства как нельзя быть лучше и как нельзя быть прочнее определили ему предстоящий труд и как нельзя лучше доказали ему все глубокое значение этого труда. Говорим это на основании личного знакомства с Н. А. и по рассказам этого времени. Помещик Д. не был обыкновенный русский крепостнический *кадык.*[1] Это был один из привилегированнейших, из крупнейших и богатейших представителей кадыкового направления. Демерт, живя в его доме два года, мог до отвращения наглядеться на всевозможные растлевающие явления, выработанные крепостным правом, на самые лучшие, махровые цветы этого права; образчики прошлого, сконцентрированные в этом доме самым образцовым образом, как нельзя более наглядно и осязательно убедили Демерта в несостоятельности этого прошлого. В доказательство того, что этот дом был «образцовым» продуктом крепостного права, что он пользовался этим правом по всей широте, служил тот факт, что за несколько дней до освобождения в имении г. Д—ва вспыхнул бунт *против владельца,* — чего, если помнит читатель, почти не было во всей России. Демерт видел все это, видел, как гниль и несостоятельность «прошлого» обнаружились самым поразительным образом и как этот великолепный махровый цвет, этот дорого стоящий плод столетних крепостных трудов, как этот богатый, блестящий, шумный и жирный дом — вдруг, в один день, распался, развалился, исчез с лица земли, как только из-под ног его, как из-под ног висельника скамейка, была выдернута поддержка этого проклятого права.

Похоронив в лице этого дома скверное прошлое крепостного права, Демерт, как <мы> видели из биографических данных, сообщенных г. К., почти тотчас же, в качестве мирового посредника, должен был воочию увидеть и собственными руками ощупать язвы крепостного бесправия. Из роскошных палат, «где ни в чем не знали нужды»

[1] Выражение г. Щедрина.

и полагали задачу жизни в этом нежелании знать что бы то ни было *(знать не хочу!)*, Демерт спустился в разоренные <села?>, которые испокон века во всем знали одну только нужду и жили в сознании полного бесправия, полной подчиненности людей, ничего не хотевших знать. Предоставляем читателю судить — какое впечатление должны были произвести на Демерта эти бесправные люди, забитые, голодные, невежественные, бедные и беспомощные, если, с другой стороны, он уже хорошо, как нельзя лучше, знал, что и результаты этих страданий также бесплодны и отвратительны... Русская литература почти не оставила ни в романе, ни в драме, ни в серьезном исследовании ничего, что бы касалось тогдашнего положения народа. Жизнь *крепостного* народа всегда была сокрыта для русского общества, быть может потому, что и интеллигенция-то русская сплошь состояла из душевладельцев. Не лишним здесь считаю указать на то любопытное обстоятельство, что именно *этот-то период* жизни русского *народа,* темный, неведомый в той мере, как бы следовало его знать, так как это был самый безжалостный, самый лживый и самый бессовестный период русской жизни, — этот-то период наилучше всего разработан в иностранных литературах. В одной, например, французской литературе существует бесчисленное множество романов, посвященных этому жестокому времени. Правда, романы эти лишены большею частью литературных достоинств, насыщены трафаретными эффектами маленькой французской прессы, — но они несомненно взяты из жизни, из тогдашней русской действительности. Гувернантки, гувернеры, домашние секретари, управляющие, в таком обилии выписывавшиеся в наши старые помещичьи дома, увозя с собою на родину наши русские деньги (должно <сказать>, впрочем, не все из них сумели увезти), увозили также и ужас к положению народа, к условиям его жизни, ужас к кнуту, к произволу и тому подобным атрибутам доброго старого времени. Их воспоминания, по всей вероятности, отделывали в форме романа местные парижские трафаретчики, знавшие, каким ребром поставить факты, чтобы они понравились бы читателю-французу. Но, как бы ни были исключительны факты русской жизни в этой громадной уличной литературе о *боярах и невольниках*, в них высказано много, так

много незнакомой нашей литературе правды о положении крепостного человека, что утвердившееся, хотя бы в одной французской толпе, представление о боярах и о России, как о чем-то ужасном, — оказывается вполне законным и понятным.

Да простит мне читатель это отступление. Я хотел сказать им, что все, что родилось вне народа, не имело и не могло иметь о его действительном положении никакого понятия. Знали, что мужик беден и крепостной, знали, что это негуманно, что бывают злодеи управляющие и т. д., но знать действительное положение, знать всю подноготную народной жизни, все результаты векового бесправия — никто не знал, не видал.. Будучи мировым посредником, Демерт стал лицом к лицу с этими плодами бесправия. Не из книг он знал, что народу нужно помочь, как утопающему, а из личного опыта, из страданий по нем собственного сердца, которое само время уже отдало на служение добру.

Вот какова была школа Демерта. Еще раз повторим цифры. Юность и учение в гимназии и университете, проходившие в ожидании второго пришествия, радостного дня освобождения, светлого будущего. Человек воспитывался в предстоящем служении стране, народу, которые призваны к новой жизни. Два года в образцовой помещичьей семье навеки укладывают в могилу всякую самую ничтожную тень связи с прошлым, а несколько лет в крестьянской среде — ясно определяют трудную дорогу будущего.

Демерт делается общественным деятелем (председателем Чистопольской земской управы), твердо и ясно зная, что́ ему надо делать, с твердым убеждением, что нет другого более насущного, более серьезного дела. «Продолжительное пребывание в провинции, — сказано в некрологической заметке г. К., — было ему не по нутру. Его тянуло в столицы». Нам кажется, что это выражение — не совсем точное определение мотива, по которому Демерт оставил провинцию. Мы основываем это мнение на том факте, что, живя в С.-Петербурге, занимаясь литературой, Демерт постоянно угождал той же самой практической деятельности земского человека, которой он занимался в Чистополе. Нет, не потому оставил он провинцию, что она ему *не по нутру,* а потому, что плоды

недавнего прошлого не вымерзли тотчас по появлении новых учреждений, и люди, у которых две трети жизни было в прошлом, искажали новые учреждения и дела. Демерт был один моложе, энергичней и убежденней всех своих товарищей, и если читатель припомнит, как жизнь воспитала прочность убеждений Демерта, то, полагаем, поймет, что он, весь отдавшийся делу, был не по нутру почившему уже в старых порядках большинству, — а Демерту большинство это могло представляться только тормозом, могло только терзать его. Скромно, терпеливо, трудолюбиво работает он в поте лица, но большинство одолело и вытеснило его. Пришлось уходить, выбирать иное поприще для работы в том же направлении, так как никакого другого направления Демерт не мог себе и представить.

Для сего дела, разумеется, не было другого исхода, кроме печатного слова. И вот он появляется в Москве. Совершенно не знакомый с литературным кругом, он долго мыкается по «Петербургским ведомостям» (Корша), по «Развлечениям». Пишет и роман и комедию, сообразуясь с требованиями гг. антрепренеров, но не изменяя себе. Не говоря о том, насколько при таких урывочных и на литературный манер урезанных работах мог высказаться Демерт, мы просим читателей припомнить — каково вообще в половине шестидесятых годов было положение журналистики. Лучшие журналы не выходили совершенно, а место их заступила целая свора неведомых имен, появившихся в качестве издателей газет и журналов и имевших одну цель—ловить в мутной воде не рыбу, а деньги. Положение и опытного литератора в это время было трудно, а положение Демерта еще труднее. Отвращение к бездельному направлению этой темной прессы было в Демерте так велико, что он вновь предпочел отправиться на урок к какому-то помещику и бросил писать. В 1868 году литература начинала оживать; образуется много новых, не-шарлатанских, журналов («Неделя», «Сов<ременное> обозрение») и преобразовываются «От<ечественные> з<аписки>». Друзья Демерта вызвали его в Петербург, и осенью 1868 года он сделался хроникером внутренней русской жизни в «От<ечественных> з<аписках>», которым и оставался до последних дней здорового состояния. Кроме «От<ече-

ственных> з<аписок>», он работал в «Искре» и «Биржевых ведомостях» в год приобретения их г. Полетикой. Везде он вел *внутреннюю* хронику.

Мы пришли теперь к ответу на вопрос, поставленный в начале нашей заметки: каков-то был труд Демерта, каков-то был смысл труда — его сущности, и не от этой ли сущности труда, как будто случайно, каким-то роковым образом, погиб этот человек? Надеемся — позволительно задавать себе вопрос о сущности труда общественного и литературного работника, если при определении смертности работающих на заводе, на фабрике, в руднике медицинская статистика обращает на это свойство той или другой работы особенное внимание. Пора, нам, кажется, перестать валить эти бесчисленные, неожиданные случаи смерти русских общественных работников на нечто неизвестное, роковое, точно и в самом деле висит над нами какая-то неведомая сила, подкарауливающая русских хороших людей и убивающая их в самый разгар работы. Какая такая это сила? Что это такое? Работающие на спичечной фабрике умирают от вдыхания паров фосфора и серы. Сапожник, постоянно угнетающий грудь каблуком сапога, умирает от болезни груди, от чахотки. Отчего ж умирает общественный работник, каков был Демерт, какие пары душат его, что размягчает его мозг?

Работа Демерта была обозрение и группировка явлений *внутренней русской жизни.* Эту работу и делали и делают (особливо теперь, когда явления внутренней жизни почти скрылись от общественного внимания благодаря политическим событиям) помощию ножниц и баночки с вишневым клеем ценою в гривенник. Вырезывай курьезы из газет, наклеивай на бумагу, связывай эти лоскутья иронической улыбкой высокопросвещенного петербуржца над провинциальными захолустьями — и посылай в типографию. Работа нехитрая и, особливо теперь, — очень выгодная.

Работа Демерта была не такова. И сердцем и умом он был отдан ей, и сердце и ум, как видели читатели, были жизненным опытом воспитаны у него в глубокой необходимости исцелять наши внутренние язвы, в необходимости отдать себя этому делу всецело, и вот почему «внутренние обозрения» Демерта не были подклейкой, а серь-

езной, ум и сердце поглощающей работой, жизненным, всякому человеку нужным делом, без которого человек — вешалка для собственного сюртука. Каково же дело, свойство дела, которому Демерт отдавал и сердце и ум? Без малейшего колебания мы позволим себе сказать, что свойства той работы, которую работал Демерт, — убийственней всякой серы, от которой мрут на фабриках, всякой сапожной колодки, продавливающей <?> явления внутренней жизни; что это такое? Бедность, жадность, неразвитость, хищничество, доброта, пожираемая, уничтожаемая случаем, ум, погибающий от бедности, от одиночества, беспомощности, заброшенности, а с другой стороны — глупость, жадность, тупоумие, умышленная тонкая злость, хитрость и пронырливость, из-за медного гроша не жалеющая губить сотни людей, и т. д., и т. д. Просим читателей самим припомнить и представить себе все, что выработало в русском человеке недавнее прошлое, все, что широким потоком хлынуло и проточило все новые явления, учреждения, все, что опутало юные, новые молодые силы. Было бы трудно и долго рисовать картину русской жизни, подлинную, точную, какою именно и знал ее Демерт, но в общих чертах мы можем сказать, что *мертвые души* не ожили, и не оживут еще долго, и еще долго будут заражать нарождающиеся русские поколения. Стоять поэтому над тем, что хлынуло после мертвых душ, стоять годы, каждый божий день, стоять над ними с широкими, добрыми и энергическими требованиями ума и сердца — это, смеем выговорить, поистине каторжная жизнь... «Отрадные явления», на которые, без сомнения, укажут мне, как алмазы, как драгоценные камни носились перед ним, как и из клоак вместе с грязью вываливаются потерянные кем-нибудь настоящие драгоценные камни... Но стоять над клоакой, дышать воздухом этого потока нечистот, *не мочь* отойти от него — это трудное и мучительное дело. А Демерт *не мог* отойти, его не пускало все его развитие, вся его натура. Он стоял над этим потоком, рылся в нем своими руками, ловил в нем, что ему нужно, искал чего-то, а поток шел все шире, все вонючей..

Мы бы могли привести многое множество доказательств справедливости этих слов из настоящего и прошлого, но это затянет статью. Тот, кто понимает нас, припомнит

сам. Мы просим обратить внимание на следующее обстоятельство. Демерт работал одновременно в «Искре», в «Отечественных записках» и «Биржевых ведомостях»; из всех редакций ему каждый день доставлялись десятки корреспонденций, по свойству русского человека браться за перо, когда грянет гром, когда ему худо, переполненных и мелкими и крупными изображениями горькой, нескладной и постоянно как бы безнадежной действительности русской жизни... С увеличением известности присылка этого рода вестей увеличивалась в громадных размерах, но тон их был один и тот же, дерущий вас по коже. Кроме того, так как он *не мог* отойти от дела, он тщательно следил за всем, что печатается о внутренней жизни, за столичными, провинциальными газетами, — и вот с каждым днем и ум его и сердце все тесней и тесней обкладывали, обступали эти *подлинные* материалы *подлинной* русской действительности. Далеко не все, что он знал об этой действительности, он печатал, но не думать обо всем, не чувствовать все, именно все, чем дышала на него эта масса материала, он не мог... И вот с каждым днем, с каждым годом все больше и больше, все выше и выше росли вокруг него эти стоги полугнилого, удушливо пахнувшего сена, накошенного в широких и пустынных полях русской жизни... Удушливый запах их, запах, которым дышал он много лет изо дня в день, дурно действовал и на мозг и на сердце. От него кружилась голова, слабли руки, слабло сердце, но отбиться от него не было возможности. Он преследовал везде: на улице, в гостях, в театре; запах обезнадеженной действительности всосался во все поры тела, мозга, сердца... А стога росли выше и выше... и конца им не видно было. Что тут делать, что тут предпринять? Какие нужны силы, чтобы все это одолеть, разметать, очистить?.. Минуты отчаяния все чаще и чаще находили на Демерта, и зелено вино было отдыхом, и не пение, а рев, крик человека, которого душит кошмар, вырывался из груди его.
А стога все росли... «М<илостивый> г<осударь> Ник<олай> Алекс<андрович>, сообщаю вам еще гнусную проделку...»; «М. г. Н. А., позвольте просить Вас обратить внимание на беззащитное положение сельского учителя села N, который вследствие происков...»— и так далее и так далее, без конца, без краю... Чтобы пере-

носить это с такой закваской, какая была в сердце и уме Демерта, надо было иметь железное здоровье, железное сердце, каменный мозг, но мозг у него был не каменный, и вот почему он отказался служить... Что ж это, — скажет читатель: — опять гражданская скорбь? Как ни неприятна ирония читателя, задающего этот вопрос, но я не могу сказать ничего другого, кроме: да, это скорбь, и не скорбь даже, а ужас общественного деятеля перед ужаснейшею действительностью, требующею таких сил, каких нет ни в себе, ни в других, и разрывающей измученный мозг и сердце. Поэтому — слава, честь и вечная память Демерту, погибшему именно от этого недуга!



КОМУ ЖИТЬ НА РУСИ ХОРОШО

(Письмо в редакцию)

В 662 № *«Нового времени»* г. Незнакомец, рассказывая о своем знакомстве с покойным Н. А. Некрасовым, говорит между прочим о том, что Н. А. возлагал большие надежды на свою поэму «Кому на Руси жить хорошо?» и сожалел, что болезнь не дает ему окончить этого труда, сожалел потому, что именно теперь, в дни недуга, весь ход поэмы выяснился ему как нельзя лучше и шире. «Начиная (поэму), — говорил Н. А., — я не видел ясно, где ей конец, но теперь у меня все сложилось, и я чувствую, что поэма все выигрывала бы и выигрывала...»

Об этой поэме раза два приходилось беседовать с Н. А. и пишущему эти строки. Действительно, Н. А. много думал над этим произведением, надеясь создать в нем «народную книгу», то есть книгу полезную, понятную народу и правдивую. В эту книгу должен был войти весь опыт, данный Н. А. изучением народа, все сведения о нем, накопленные, по собственным словам Н. А., *«по словечку»* в течение двадцати лет.

Однажды я спросил его:

— А каков будет конец? Кому на Руси жить хорошо?

— А вы как думаете?

Н. А. улыбался и ждал.

Эта улыбка дала мне понять, что у Н. А. есть на мой вопрос какой-то непредвиденный ответ, и чтобы вызвать его, я наудачу назвал одного из поименованных в начале поэмы счастливцев.

— Этому? — спросил я.

— Ну вот! Какое там счастье!

И Н. А. немногими, но яркими чертами обрисовал бесчисленные черные минуты и призрачные радости названного мной счастливца.

— Так кому же? — переспросил я.

И тогда Н. А., вновь улыбнувшись, произнес с расстановкой:

— *Пья-но-му!*

Затем он рассказал, как именно предполагал окончить поэму. Не найдя на Руси счастливого, странствующие мужики возвращаются к своим семи деревням: Горелову, Неелову, и т. д. Деревни эти «смежны», стоят близко друг от друга, и от каждой идет тропинка к кабаку. Вот у этого-то кабака встречают они спившегося с кругу человека, «подпоясанного лычком», и с ним, за чарочкой, узнают, кому жить хорошо.

Это окончание поэмы в литературных кругах известно, по всей вероятности, не мне одному. Сообщаю его для провинциальных читателей.

ОПЯТЬ О НЕКРАСОВЕ!

Приношу тысячу извинений перед читателями *Обзора* и его почтенной редакцией в том, что почти целый месяц, по моей вине, они не имели ни одного литературного обозрения. Новое, непривычное для меня дело — вот мое оправдание. Отныне постараюсь аккуратно каждую неделю сообщать обо всем мало-мальски заслуживающем какого-нибудь внимания в литературном отношении и по возможности буду стараться, чтобы читатели *Обзора* были знакомы с содержанием столичных периодических изданий прежде, нежели книжки этих изданий дойдут до провинции.

На нынешний раз — запоздалое письмо мое, к крайнему моему сожалению, также будет посвящено кой-чему уже переставшему быть новостью: скоро месяц, как Некрасов лежит в могиле... скоро месяц, как появился новый литературный орган. Об нем уже много говорили и много писали, и читатель, ищущий в газете новостей и разнообразия, — наверное желает, чтобы гг. газетчики перестали толковать об этом старье. Но пусть мое первое письмо подвергается каким угодно порицаниям, я не могу не сказать кой-чего об этом «старом», во-первых, потому, что вообще запоздал с моими обозрениями, во-вторых, потому, что о покойном Некрасове я намерен говорить не с недовольным читателем, а с автором статьи об этом поэте, напечатанной в *Обзоре,* и, в-третьих, потому, что *новый,* толстый литературный орган, с новыми литературными силами, появляющийся в свет как раз на другой день похорон старой литературной силы,

так много лет дававшей журналистике известный тон, — заслуживает того, чтобы человек, интересующийся русской литературой, внимательно отнесся к новым деятелям, тщательно определив тот новый тон, новую ноту, который или которую они вносят в старый журнальный хор...

Постараюсь высказать о том и о другом — то, что думаю, по возможности кратко. О Некрасове я хочу сказать два слова, потому что статья, напечатанная в *Обзоре,* несмотря на действительную полноту сведений, сообщаемых о покойном поэте, в конце концов оставляет впечатление о личности Некрасова — *«не хорошее»,* к памяти о нем примешивается нечто тяжелое, темное и главное — невыясненное. Я нахожу это не совсем правильным. Здесь кстати сказать, что в ту минуту, когда пишутся эти строки, в кругу знатоков и оценщиков литературных достоинств, раздавателей лавровых венков литературным дарованиям, словом, в кругу людей, выдающих литературным деятелям права на вход не в храм славы (такого нет у нас), а просто... в хрестоматию для средних учебных заведений, — идут оживленные толки о том, куда в этом храме — хрестоматии, деть покойного поэта, куда, на какую полку поставить его, рядом ли с Пушкиным и Лермонтовым, промежду их, или выше, или ниже. Они меряют его неумолимою меркою литературных приемщиков и в большинстве случаев находят, что Некрасов не подходит под мерку, ниже ростом, притом этот рост определяют таким выражением: «Там (у Пушкина) море звуков, — а у Некрасова — одна нота, которую он и тянул всю жизнь». Какое однообразие, скажет доверчивый читатель, тянуть *одну ноту,* и притом *«всю жизнь»*! Тут всё на вершки, как у настоящих рекрутских приемщиков, один вершок, четыре вершка — одна нота, три ноты, море звуков... Так ли это? У кого было больше нот и звуков, у Овидия ли, положим, или у плохо грамотного из проповедников? Где была отделка, блеск, изящество формы, глубина знания человеческой натуры — у римских ли писателей, современных однотонным проповедникам? Разумеется, у первых, и если бы г. Белов, ныне оценивающий литературные достоинства Некрасова, стал бы сравнивать классических писателей с людьми идеи, то последние непременно оказались бы

и узкими, однообразными, неумелыми, пишущими деревянным языком, с самыми слабыми понятиями даже о грамотности, а у языческих писателей оказалось бы все, то есть именно то же самое «море звуков». С этой точки зрения — разнообразия, шири и отделки — даже Фет, даже Минаев, не говоря о Полонском, об А. Толстом, в тысячу раз выше всех таких проповедников, *всю жизнь* тянувших *одну ноту*...

Но здесь читатель, несомненно, остановит меня негодующим вопросом.

— Как! — в гневе скажет он. — Вы... вы приравниваете Некрасова, который, который, который и т. д., к служителям идей?

Нет, нет! — тороплюсь я успокоить взволнованного читателя. Сохрани бог! Я только желал бы, чтобы господа ценители и судьи обратили внимание на качество ноты, я соглашаюсь с ними вполне, что она однообразна, я только прошу определить, *какая* именно это нота и когда, при каких условиях гудела она? Останавливаясь только на вопросе о качестве некрасовской ноты, я спрашиваю всякого беспристрастного человека, — не была ли эта нота явлением сильным и в высшей степени самостоятельным, если принять во внимание, что она звучала вовсе не так, как гремела (море звуков!) оратория обострявшегося крепостничества, взяточничества, пьяная оргия откупов. Говорят, что он (Некрасов) весь был выработан влиянием во сто раз более его сильных литературных деятелей сороковых годов, — не споря с этим (так как и эти сильные деятели также, наверное, обязаны в развитии своей силы чему-нибудь или кому-нибудь), я спрашиваю: у кого из них была такая смелость, чтобы не побояться громко и во всеуслышание заговорить о бедствующем народе? А в этом именно и состояла *нота* Некрасова, и я не могу представить себе, что было бы с развитием следующего поколения, если бы из вышеупомянутой оратории именно эта нота, и в том тоне, какой придал ей Некрасов, — была исключена или отсутствовала вовсе. Представьте себе, что у нас нет и не было Некрасова; у нас есть *Записки охотника* И. С. Тургенева, *Ранние рассказы* Л. Толстого, *Записки* Аксакова, *Бедные люди* Достоевского, *Мертвые души* Гоголя,— словом, у нас есть все самое образцовое в художественном отношении, —

и нет Некрасова, нет его мужиков, баб, колодников, бурлаков и проч. Представьте себе это, — и вы, я думаю, согласитесь, что, как ни замечательны в художественном отношении вышепоименованные произведения, но едва ли они были бы в состоянии так определенно направить ум и сердце нарождавшегося поколения, как это сделал грубый, неуклюжий, однотонный стих Некрасова. Ввиду этого я никак не могу согласиться с г. сотрудником *Обзора,* перу которого принадлежит статья о Некрасове, что известностью, популярностью своею он обязан не литературной, а журнальной деятельности. Нет! Если бы «в годину горя» русское общество оставалось с вышеупомянутыми дарованиями, а место Некрасова как поэта было занято существующими до сих пор его сверстниками со включением Лихача-Кудрявича Кольцова, — даже самая мысль, понятие о том, что такое означает хотя бы слово гражданин, — долго бы, очень долго не вышло в русское общество, то есть в толпу, в массу, за которую — ратовали и проповедники.

На это я скажу следующее.

28 декабря, в 8 часов вечера, я, нижеподписавшийся, вместе с толпою других, знавших Некрасова при жизни,— был в его квартире на панихиде. Комната была набита битком — и кого-кого только здесь не было! Литераторы, охотники и игроки — вот категории, на которые можно было подразделить всю массу посетителей, — не говоря о толпе «просто» почитателей, о массе молодых людей, мужчин и женщин... Некрасов, исхудалый до невероятности, лежал мертвый, бездыханный, закинув почти навзничь измученное лицо свое, на котором как бы покоилось выражение «другого мира», чего-то совсем нездешнего, чужого... Он точно был объят чем-то до того «иным», какой-то такой, никому непостижимой, да и ему непонятной, но поглощавшей его заботой,— что, казалось, именно только потому и не мог слышать того, что кругом его делалось... ведь трудно, по крайней мере на первых порах, убедиться, что вот этот труп, ваш близкий, знакомый, родня... не слышит, не спит... Не умев отделаться от этого неосновательного впечатления, я невольно спрашивал (не знаю, не то себя, не то Некрасова), неужели он не слышит толков и пересудов. которые идут вокруг него? А толки шли: и к какой бы из названных трех

групп — литераторов, охотников и игроков — вы ни подошли, в каждой группе говорят о каком-то другом Некрасове, вовсе не таком, о каком говорят в других. В одной группе он литератор, поэт печали, наша изболевшая общественная совесть, в другой он богач, тысячник, человек, живущий на широкую ногу; тут идут расспросы о его состоянии, высчитывают выигрыши, проигрыши; в третьей группе он раб страстей, человек удачи, ловкости, наживы и т. д.

Но достаточно было взглянуть на *всего* Некрасова, останки которого, отданные смерти, лежали перед вами, достаточно было соединить воедино все составные части, на которые делили его суждения кружков, чтобы вместо этих, дурных и хороших, кусков из Некрасова вышла большая, замечательная фигура, так как даже и куски-то Некрасова по объему очень велики...

Я *на все* бесполезно *дерзал,* —

сказал он в одном из своих стихотворений, — и с точки зрения этого «дерзания» Некрасов куда выше своих погодков, далеко не *на все* и далеко *не дерзавших,* хотя и одержимых теми же самыми нравственными несовершенствами, как и Некрасов. Не дурные страстишки, а «страсти», быть может также иной раз не особенно доброкачественные, «обуревали» его. Он «не приволакивался», «не улепетывал», как улепетывали «холоднокровные» гг. Рудины всех сортов при роковых результатах своих подзадоривающих на страсть глагольствований, — а отдавался страсти, не помня себя, не умея сдержать себя, несся в бездну ее и потом рыдал от жгучей боли... «Он по целым ночам, — говорили в кругу игроков, — высиживал за картами, не вставая, не разгибаясь...» Опять-таки тут видна сила страсти, не похожая на желание губить время за зеленым столом и уйти в одиннадцатом часу домой с приятным сознанием выигрыша... Словом, что ни тронешь в Некрасове — везде сила и страсть, силы добродетелей, пороков, ума, сердца — все в больших, сильных размерах — и все вместе — один Некрасов... Правда, вокруг Некрасова носятся какие-то, как говорит он сам в одном из последних стихотворений, «дорогие тени» людей, портреты которых на него

Укоризненно смотрят со стен.

Но опять-таки: на кого не только из сверстников Некрасова, но и на кого из нас с вами, читатель, эти тени не смотрят укоризненно? «Некрасов мог... Он был богат», — говорят обыкновенно в объяснение своего права порицать некрасовскую апатию. Но богат и Тургенев, богат Толстой, богат Краевский; богат, и очень, Благосветлов (дом); вся литература сию минуту в общей сложности очень богата. Гораздо богаче и Некрасова и даже Суворина, у которого, говорят, что-то несметное число подписчиков... А между тем тени «живых людей» продолжают оставаться тенями... где и в чем беда? Все мы, — за исключением, конечно, живых теней, — не похожи ли на бедного Некрасова, с тою только разницей, что находим в себе смелость сваливать вину на другого... И на кого же? — на Некрасова, который изболел не втихомолку, не в уголку, а на виду всей русской земли, теми самыми болями, какими больны и мы все до единого... Нет, нельзя, невозможно вспоминать на могиле Некрасова о том, что он «разъезжал в каретах», играл в карты... «выиграл миллион»[1] и проч. Невозможно потому, что Некрасов — наиискреннейший выразитель сущности русской души — страстной, жаждущей жизни, испорченной тысячами дурных влияний, рвущейся из этих пут на волю, к свету, к правде, души — страстной, больной, бездомной и испуганной... Это русский человек весь как на ладони, и к тому же громадный и именно русский поэт. Его место не в храме русской славы (в хрестоматию он пройдет, несмотря на то, что гг. Беловы и не пускают его туда), — а там, где живет и целыми гнездами залегает русская печаль, плач, скрежет зубов... Помня именно только это последнее качество Некрасова, пять тысяч человек провожали его в последнее жилище с глубоким горем и венчали его свежую могилу целой горою венков... не лавровых... нет! .. еловых, наших русских...

---

[1] Миллионы эти, впрочем, оказались «маленькими», даже очень маленькими, именно — после него не осталось никаких денег.

ПРАЗДНИК ПУШКИНА

(*Письма из Москвы — июнь 1880*)

I

...Вчера, 8-го июня, музыкально-литературным вечером в залах Благородного собрания окончились четырехдневные торжества в честь открытия памятника Пушкину, и сегодня же мне бы хотелось передать вынесенные впечатления. Следовало бы, минуя все ненужное и не идущее к делу, прямо начать речь о том, что́ осталось от этих торжеств самого существенного, ценного, достойного памяти, но именно «свежесть-то впечатлений» торжества, которое только вчера окончилось, и не позволяет сделать этого так, как бы хотелось. Существенное и ценное пока еще тонет в шуме и громе ораторских речей, бряцании лир, в звуках музыки, в треске бесчисленных аплодисментов, в беспрестанных криках «браво» и «ура», в звоне ножей, вилок, стаканов и рюмок, в чмоканье поцелуев, — все это вместе сильно мешает сосредоточиться на нравственном значении минувшего торжества. *«Нечто сербское»* — определяют «Современные известия» общий «облик» миновавшего торжества, и, как, повидимому, ни нелепо это уподобление, но оно все-таки недаром сорвалось с пера г. Гилярова-Платонова.

Во время сербской войны, как известно, энтузиазм, желание жертвовать плотию и кровию, имуществом, достоянием, жизнью и множество других человеколюбивых качеств слились в дружном и восторженном стремлении к освобождению *братьев,* о существовании которых очень и очень многим было ничего ровно неизвестно, — то есть соединились в восторженном неведении *самого существенного.* Нечто подобное было и в пушкинском торже-

стве: желание чествовать, убеждение в необходимости чествования, хотя бы только ввиду того, что памятник Пушкину уже готов и давно уже пугает прохожих своим белым саваном, что, наконец, на чествование уже отпущены деньги и что г. Оливье уже приторговывает аршинных стерлядей, все это совершенно «по-сербски» сгрудилось вокруг имени, которого великое множество действующих лиц совершенно не знало, а другие — весьма солидно позабыли.

Но, не говоря об этом, самый факт торжества в честь писателя, как и война за освобождение братьев, дело также очень мало знакомое громадному большинству присутствовавших и участвовавших не только в качестве зрителей, но даже и в качестве деятелей.

Мирное торжество! Торжество в честь человека, который знаменит тем, что писал стихи, повести,— когда это видывали мы все, здесь на торжестве присутствующие, когда видывала это Москва? Будь это торжество чем-нибудь вроде крестного хода, напоминай спасителя отечества, Минина и Пожарского, — все это известно и знакомо последнему ребенку. В подобных привычных случаях всякий русский человек, сановник он или пожарный солдат, купец, мещанин, простой уличный мальчик, обыкновенная баба, продающая калачи, кухарка — словом, люди всех званий и состояний отлично хорошо знают, когда надо и где надо стоять или куда бежать, что, где и как кричать, когда бросать вверх шапки. Все и всем это известно. Но Пушкин. . . Что это такое? Почему торжество перед обыкновенным барином, не только без палки или сабли в руках, но даже и без шапки? Шапку снял и держит в руке. Кто он таков? Писатель! Что же это означает?

Имея некоторые основания знать, в какие громадные затруднения ставят подобные мирные торжества людей, повидимому совершенно близко стоящих к делу, хотя бы, например, художников, которым выпадает на долю сооружать статуи мирным гражданам, мы имели полное право подумывать и о тех затруднениях, в которые должны были стать люди, почти совершенно незнакомые с торжествами подобного характера. Если художник-скульптор должен по целым годам ломать голову над тем, чтобы добиться какой-нибудь возможности воздействовать

и вкоренить в непривычное сознание обывателей значение и поучительный смысл в изображении вот этого «простого, обыкновенного человека с шляпой в руке»; если художник теряется, не имея под руками ни одного из тех аксессуаров, которые прямо и внушительно разъясняют толпе, в чем дело и зачем воздвигнута статуя, то есть, не имея возможности посадить своего героя на коня, не смея дать ему в руки саблю или свернутый в трубку исторический документ, не имея никаких оснований гордо закинуть его голову или усеять грудь своего героя знаками отличия; если, повторяем, для человека, специально знакомого с подобного рода делами, мирные торжества и мирные герои торжеств доставляют такую массу величайших затруднений, то что же, думали мы, должен испытывать член, положим, торговой полиции, гласный из трактирщиков или какой-нибудь почтенный владелец квасоварного и кислощейного заведения, которому, в качестве человека, поставленного в необходимость, как депутату, торжествовать, придется думать над составлением, положим, церемониала торжества? Во всяком ординарном торжестве всякий из «жителей», имеющих свои «заведения», отлично хорошо знает, что всякая «церемония» требует молебствия, угощения и «ура»; но что ему может быть известно по части такого торжества, как торжество Пушкину? Мы сомневались.

И точно: приехав в Москву двумя днями ранее торжества, мы имели некоторую возможность лично убедиться, что сомнения наши имеют кое-какие основания. Очень часто слышатся слова «депутация» и «Пушкин», а что такое? — повидимому, во всесословной толпе не было известно. Во-первых, поговаривали в народе, что едва ли митрополит разрешит святить статую, так как, что ни говори, Пушкин-то он Пушкин, а все-таки он истукан, статуй, идол. С коих же это пор идолов будут кропить святой водой? Минин — Пожарский спас отечество. Хотя это обстоятельство также мало кому известно в подробностях, но слово «отечество» само собою заставляет умолкнуть. Пушкин, человек не на коне, не с саблей, а просто со шляпой в руке, человек, неизвестно чем заслуживший честь быть увековеченным памятником, — дело совсем другое. По поводу такого партикулярного человека можно и подумать и смело высказать мнение; а начав думать,

не трудно прийти к убеждению, что поклоняться идолам, в виду московских святынь, дело вовсе не подходящее. Мы не раз в эти, предшествовавшие празднеству, дни слышали разговоры, касавшиеся этого предмета:

— Навряд будут кропить-то!

— А, пожалуй, по понешнему времени, братец ты мой, не дорого возьмут и окропить!

— Ну, уж это извини! Это, друг любезный, надо оставить!

— Да, это уж — что ж это?.. Пушкин, Пушкин, а тоже надобно и про господа бога не забывать!

И действительно, митрополит не кропил монумента святой водой, хотя одна петербургская газета и выражала желание, что хорошо бы, желательно бы, чтобы это случилось.

Помимо этих фанатических толков, урчавших в самой глубине толпы, какая-то вялость в распорядках думы по поводу торжества, какая-то вялость в интересе к этому торжеству, по временам мелькавшая то в том, то в другом, невольно убеждали вас, что торжество пушкинское — дело непривычное. Приехали кареты от Лоскутной гостиницы на вокзал за господами депутатами, и люди, приехавшие их встречать, толкуют о том, как узнать, кто депутат и кто нет?

— То-то вот и оно-то! — говорит один из ожидающих,— главная причина, как узнать!..

— Как его узнаешь, на нем не написано!

Даже вот какие вещи возможны были за день, за два до торжества.

Подхожу к жандарму на платформе Николаевского вокзала и спрашиваю:

— Пришел пушкинский поезд?

Жандарм поглядел на часы и серьезно произнес:

— Теперь пришел! — и прибавил: — только вам надо на Ярославский вокзал идти. — Пушкино по Ярославской.

Кокарды, отличавшие депутатов от простых смертных, были разосланы только 5-го июня, в самый день начала торжества. Газетчик, продавший мне газету, как-то уныло и неохотно прибавил:

— Книжонки Пушкина есть!

Он, очевидно, не знал, о Пушкине ли книжонки, или Пушкиным сочинены они, и вообще, видя окружающее

это имя всеобщее недоумение, сам уныло и неопределенно смотрел на книжонки, не ожидая от них пользы. А посмотрите-ка, как он оживился и с какой энергией сует в руки сборник «Скоморох»! Он знает, в чем тут дело.

Четвертого июня в московских газетах, наконец, появился церемониал праздника и рассеял всеобщее недоумение. С появлением его всякий обыватель мог уже знать, в чем будет заключаться торжество, мог видеть порядок, по которому оно будет происходить, и мог, стало быть, перестать бесплодно думать о Пушкине. Но порядок и церемониал повергли нас в величайшее недоумение и как нельзя лучше доказали, что «мирные торжества», подобные пушкинскому, — точно, вполне непривычные для нас торжества. Распорядок и состав депутаций не поддавался возможности определить, какими соображениями руководствовались господа составители этого церемониала? Все депутаты, прибывшие в столицу, разделены были на три группы, причем каждая группа, по прибытии на площадь, должна была собираться около присвоенного ей значка. По числу групп, значки были также трех цветов: белого, красного и синего. Чем же руководствовались при помещении известных депутаций в эту, а не в другую группу? В первой группе помещены следующие депутации и в следующем *порядке:* вместе с депутациями от Московской духовной академии, Синодальной типографии, училищного совета Реформатской и Петропавловской церквей, вместе с депутациями московского дворянства и непосредственно за депутацией от Казанского университета ни с того ни с сего помещена депутация *от певчих типографии Мамонтова,* а за этими певчими идут депутации от женских институтов, от Общества для содействия мореходству, депутаты от Оренбургского края (?), после которых следует депутация от любителей российской словесности (это после певчих), а после него, в одной группе под номером девятым, в одной куче помещены депутаты от городских больниц и депутаты от Варшавского и Дерптского университетов.

Вторая группа депутаций (*синие* знамена) составлена еще того лучше. Под номером два, например, собраны четыре депутации, решительно ничего общего между со-

бою не имеющие, именно: присяжные поверенные, трактирная депутация (!), депутация от дворянского клуба и от еврейского общества. Депутации от петербургских газет и журналов помещены под № 7 той же группы, за ними следуют депутации от железнодорожных училищ, а в самом хвосте помещена ни много ни мало как депутация от Археологического общества. Депутация Московского университета помещена в третьей (красное знамя) группе, под № 7, после депутаций от частных гимназий, театров, Общества приказчиков, которые в то же время соединены с депутатами от Общества хорового пения.

Словом, кажется, сам Оффенбах, такой мастер смешить публику шутовскими процессиями своих опереток, не мог бы придумать ничего более комического, как то, что придумано в церемониале: институтки и мореходы, математики и садоводы, трактирщики и присяжные поверенные, евреи и литераторы, актеры и университеты, мамонтовские наборщики и археологи,[1] все это следовало, по церемониалу, одно за другим без малейшего смысла и даже внешнего благоприличия. Волей-неволей, а приходило в голову: «А что если, вместо торжества, выйдет комическое представление, комедия, а пожалуй, фарс?»

Но не только в этого рода «сербских» чертах, проглядывавших в приготовлениях по предстоящему торжеству, заключались опасения в благополучном и благоприличном исходе последнего. Как известно, «сербские» черты явлений из русской жизни, помимо *дружного* соединения разнородных элементов на деле, которое этим элементам мало или почти неизвестно, имеют еще другую, не менее характерную сторону, именно: дружно и восторженно соединенные неведомым делом элементы стремятся в то же время, каждый в отдельности, проявить свою индивидуальность в высочайшей степени, довести ее до последних границ возможного. В соединении этих крайностей, по нашему мнению, именно и заключается то, что разумел Гиляров-Платонов под именем «сербских черт».

---

[1] Кстати: ни от женщин-докторов, «курсисток», писательниц на празднике не было представительниц.

Депутатов-женщин было всего две: одна член Общества любителей российской словесности, г-жа Голохвастова, другая — г-жа Евреинова, депутат от Юридического общества.

Как известно, торжество должно было сложиться из участия трех самостоятельных учреждений: Общества любителей российской словесности, университета и думы. Ко всему этому, у депутатов в руках были пригласительные билеты от комиссии по открытию памятника Пушкина, следовательно, всякий депутат зависел от четырех разных распорядков; в Обществе любителей российской словесности выдавали билет на вход только тем лицам, которые были приглашены именно обществом, а не комиссией, или думой, или университетом. Университет выдавал билет, кому, по его мнению, было надобно дать, дума раздавала в изобилии едва ли не кому будет угодно получить; словом, между этими четырьмя инстанциями шла рознь, вследствие которой депутат с приглашением комиссии мог не попасть в литературные заседания Общества любителей русской словесности. Приглашенный Обществом любителей русской словесности мог не попасть на художественно-литературные вечера того же общества, о чем должна была позаботиться дума. Вследствие такой самостоятельности в поступках разных учреждений во имя одного дела, депутату, желавшему видеть все что происходит, надо было иметь восемь штук разных билетов: два для входа в заседания Общества любителей русской словесности (от общества), три от думы (на прием депутатов в думе, для входа на площадь и третий — на думский обед), один из университета на художественно-литературные вечера. Кроме всех этих билетов, нужно было иметь еще билет на литературный обед, даваемый членами Общества любителей российской словесности. Таким образом, проявление самостоятельности составлявшими программу торжества учреждениями делало то, что каждый депутат должен был немало употребить времени на то, чтобы запастись необходимыми билетами, причем, например, в Обществе любителей российской словесности ему говорили, указывая на приглашение от комиссии:

— Примите во внимание, что приглашение это ровно ничего не значит!

А на вопрос:

— Зачем же именно рассылаются такого рода неосновательные приглашения? — отвечали:

— А уж это потрудитесь узнать в самой комиссии.

А в комиссии, после представления приглашения и заявления о том, что, как, мол, прикажете поступить мне с билетом, который ровно ничего не означает? — спрашивали прежде всего:

— Позвольте узнать, кто и где вам сказал, что это приглашение ровно ничего не означает?

И получив ответ, что сказано мне это в Обществе любителей российской словесности, отвечали:

— Позвольте вам сказать, что все это сущий вздор-с. Общество любителей российской словесности пусть лучше заботится о том, о чем ему следует, а не мешается в чужое дело. Билет этот, напротив, означает все-с, и вы очень хорошо сделали, что его представили!

Ко всему этому, опасения за благообразие торжества нимало не умалялись каким-то глухим урчанием неведомых постороннему человеку враждебных элементов, не только в таких совершенно самостоятельных учреждениях, как дума, Общество любителей словесности, но и в самых недрах некоторых из них. Так, например, в самом Обществе любителей российской словесности, по крайней мере как гласила молва, происходило какое-то распадение на враждебные лагери. Сначала прошел слух об обеде г. Достоевскому, обеде, который дают этому писателю *почитатели,* и почитатели не из числа главных действующих в Обществе российской словесности лиц. Затем что-то пронеслось недоброе относительно г. Каткова. Одна петербургская газета, в корреспонденции из Москвы, полученная здесь как раз накануне торжества, зловеще сулила какой-то индийский танец, качучу (?) на могиле великого поэта, качучу, которую хотят якобы проплясать «ожиревшие краснокожие либерализма», прибавляя, что пропляшут этот танец вышеуказанные краснокожие «для удобства своего дебоша»! Что означает последняя фраза, никому известно не было, никому даже не было понятно, но это-то и усиливало подозрения относительно того, что в недрах предстоящего торжества таится нечто недоброе; в довершение подозрений и опасений та же петербургская газета сулила, что М. Н. Катков и Ф. М. Достоевский «сумеют ответить» этим краснокожим любителям дебоширства, а отказ г. Каткова от билета на вход в заседания Общества любителей российской

словесности, опубликованный в «Московских ведомостях», явно сулил в недалеком будущем что-то зловещее.

Но настало пятое июня, и тревожные грозы рассеялись сами собой. Самый опасный, по сказанию молвы, человек, который мог бы нарушить торжество, М. Н. Катков, явился на думском обеде агнцем, сущим ягненком. Он не только не ополчился ни на кого, но, как вам уже известно, воззвал к примирению, не объявив, однако, никаких для этого условий. И, несмотря на это, не только не нашлось человека, который бы спросил у М. Н., на чем именно он желает помириться, но, напротив, было немало людей, которые, не задумываясь, пошли чокаться с ним бокалами,— черта тоже, если угодно, *сербская,* — обниматься и целоваться, не зная повода к этому и даже не думая о поводе. Впрочем, вялая, деланая речь г. Каткова, особливо для того, кто сам видел оратора во время ее произнесения, ни на минуту не оставляла сомнения в том, что М. Н., взывая к свету ума, нимало не обязывал себя к каким-либо миролюбивым поступкам; тусклый, холодный взгляд оратора, запинающаяся речь, все это с одного взгляда поселяло в слушателях полнейшее безучастие к вялым воззваниям о примирении, и почему этим обстоятельством газеты занимаются с каким-то особенным вниманием, нам положительно непонятно. Не будем говорить также и о продолжении комедии с бокалом, протянутым тем же М. Н. Катковым по направлению к И. С. Тургеневу, и возвратимся к самому торжеству.

Если так легко устранились сами собою опасения замыслов М. Н. Каткова, то опасения о беспорядочности церемониала рассеялись еще легче. Именно как-то «само собою» депутации, весьма немногочисленные, разместились так, как им было удобно; отсутствие каких-либо особенных отличий в костюмах (торжество было гражданское, штатское) совершенно уничтожило разнокалиберность и разношерстность депутаций; сами собою образовались вокруг памятника группы внимательных к торжеству людей, с венками в руках.

И вот, около двух часов дня, перед глазами большой, хоть и не особенно, толпы, упала скрывавшая памятник поэта холстина, и перед всеми собравшимися на площади

зрителями явился простой, умный, с внимательным, умным взором, образ Пушкина, и все, кто ни был тут, пережили не подлежащее описанию, поистине «чудное мгновенье» горячей радости, осиявшей сердца всей толпы.

II

На этом мы оканчиваем собственно с торжеством. Описывать обеды, музыкальные вечера и общую декорацию праздника — мы не мастера, не охотники, да и времени и места у нас на это нет. Ели недурно и пили благопристойно, этого, кажется, достаточно. Перейдем прямо к изображению нравственных приобретений, оставленных праздником в зрителях и слушателях. В течение четырех дней праздника, с 5-го по 8-е июня включительно, мы, кроме множества собственно пушкинских пьес, читанных на литературно-музыкальных вечерах, слышали не один десяток более или менее... продолжительных речей и несчетное количество тостов. Это обилие застольных речей, весьма любопытных на первых порах, очень скоро утомило публику, так как поминутно отрывало от очень питательных блюд, заставляло вставать с места, идти в другой конец зала, чтобы выслушать несколько вполне непитательных слов. Даже под конец первого думского обеда многие из присутствующих настолько «окрепли» нервами, что, заслышав откуда-нибудь из конца залы воззвание: «Господа! Позвольте и мне, в свою очередь...», уже не трогались с места, полагая, что не будет большой беды, если придется услышать речь оратора и не во всех подробностях.

Почин к многоглаголанию сделан был в тот же день, на думском обеде, И. С. Аксаковым. Всякому хорошо и притом давным-давно известно, что И. С. Аксаков — человек обширного образования, ума, таланта, но его красноречие, ораторское искусство, очевидно, не могло и не имело ни времени, ни случая выработаться в живом общественном деле (когда такие бывали дела на Руси?), при живом участии живых людей, не могло привыкнуть ставить на первый план в публично говоримом слове именно это живое внимание, живой интерес живых людей. Красноречие ораторов, подобных И. С. Аксакову, вырабатывалось в пустом пространстве, без участия и строгого

внимания слушателя, даже без знания и определения — кто таков этот слушатель? Внешние торжественные приемы и выспреннее многоглаголание волей-неволей должны, для ораторов такого рода, составлять единственные средства влияния на публику. И точно, И. С. Аксаков, поднявшись с бокалом, тотчас после речи г. министра народного просвещения, каким-то торжественно напряженным голосом, медленно отделяя слово одно от другого и оглядывая публику «окрест», произнес свою речь, как известно, начинающуюся словами: *«Слух обо мне пройдет по всей Руси великой...»* «Со всей Руси великой, — продолжал оратор, — ото всех (?) концов ее, с верховных высот власти и со всех общественных ступеней, стеклись сюда вы, послы и представители всенародного (?) мнения, чтобы перед лицом всего мира (?), всею Россиею поклониться великому, воистину русскому поэту». Напыщенно-громогласная речь продолжается таким образом: «Настоящим торжеством, принявшим такие неожиданные, небывалые (!) размеры... воочию всевластно объявилось действительное, доселе, быть может, многим сокрытое, значение Пушкина». Уж из этих отрывков вы можете видеть, какою напыщенною невнимательностью к действительному факту отличается ораторство, вырабатывавшееся без публики, без общества и не питавшееся, в своем совершенствовании, какими-либо реальными, общественными интересами. Все это, однакож, не мешало громом рукоплесканий приветствовать речь И. С. Аксакова, так как и публика также воспитывалась в той же школе, и не в привычку ей видеть в ораторе внимательного к *ее* желаниям глашатая. А что ей нужны ораторы другого рода, что у нее есть ее, подлинно ей принадлежащие, только никем или редко кем затрагиваемые симпатии и желания, это доказал нам тот же пушкинский праздник, что мы своевременно и увидим.

С почина И. С. Аксакова, празднословный тон на долгое время вкрался в публичную беседу и, за некоторыми, иногда блестящими, исключениями (речи И. С. Тургенева, Ф. М. Достоевского), поистине безжалостно допекал нас, бедных депутатов, нас, этих послов, «представителей всенародного мнения», собравшихся, как известно, для того, чтобы «перед лицом всего мира поклониться великому поэту», а вовсе не для того, чтобы уехать с головною

болью от обилия праздного громогласия, хотя и в честь великого поэта. Нас поразило обилие ораторов той самой школы, талантливейшим представителем которой служит И. С. Аксаков. Уступая своему первообразу в ловкости построения празднословных, хотя и эффектных речей, последователи этой школы превосходили И. С. Аксакова в обилии напыщенных жестов, в силе и напряжении голосовых средств, в обилии решительно ничего не означающих, хотя и длиннейших периодов. Были речи в этом роде до такой степени странные, что при всем желании не было никакой возможности отыскать в них — где, собственно, находится и в чем заключается главное предложение? Некоторые ораторы даже как будто бы и начинали прямо с придаточного предложения и, сказав, например: «Пушкин, который...» или «Пушкин, славное имя которого», уж не могли никак выбраться на какую-либо прямую дорогу, а так и застревали минут на двадцать в придаточных предложениях.

Не в суд и не во осуждение, а тем паче не в посмеяние и уничижение славного праздника и славных, радушных и искренних людей, участвовавших в нем словом и делом, пишем мы это; нет, мы только хотим указать, до чего устранен русский литератор от своего слушателя, от публики, от толпы, что он робок в ней, что он не находит слова для беседы с ней; он в первый раз говорит с ней о своем литературном деле, и даже как будто не верит, чтобы не громкое, не напыщенное, а простое и задушевное слово что-нибудь значило для публики. В течение двух с половиною суток никто почти (за исключением И. С. Тургенева, Ф. М. Достоевского) не счел возможным выяснить идеалы и заботы, волновавшие умную голову Пушкина, при помощи равнозначащих забот, присущих настоящей минуте; никто не воскресил их среди теперешней действительности, а это-то, как увидим ниже, и было бы самым действительным средством к выяснению всей обширности значения Пушкина. Напротив, руководствуясь в характеристике его личности и дарования фактами, исключительно относившимися к его времени, господа ораторы, при всем своем рвении, и то только едва-едва, сумели выяснить Пушкина в прошлом, отдалили это значение в глубь прошлого, поставили его вне последующих и настоящих течений русской жизни и мысли. Привязанные,

точно веревкой, к великому имени Пушкина, они сумели-таки поутомить внимание слушателей, под конец торжеств начавших даже чувствовать некоторую оскомину от ежемгновенного повторения «Пушкин», «Пушкина», «Пушкину»! .. И чего-чего только не говорилось о нем! Он сказочный богатырь, Илья-Муромец, да, пожалуй, чуть ли даже и не Соловей-разбойник! Он летает на ковре-самолете, носится из конца в конец, из Петербурга в Кишинев, в Одессу, в Крым, на Кавказ, в Москву. Пушкин — это возбуждение русской музы, это незапечатленный ключ, Пушкин слышит дальний отзыв друга, бред цыганки, песню Грузии, крик орла, заунывный ропот океана. Пушкина честят и славят всяк народ и всяк язык, но мы, русские, юнейшие из народов, мы, узнавшие себя в первый раз в его творениях, мы приветствуем Пушкина, как предтечу тех чудес, которые, *может быть*, «нам суждено явить». В течение двух с половиной суток, почти без перерыва, публика слушала такие и подобные уверения в гениальности, многосторонности, широте, теплоте и других бесчисленных качествах этого гениального человека и его огромного дарования. Хлопали, хлопали, наконец стали уже чувствовать утомление, когда на выручку явились сначала И. С. Тургенев, а за ним и Достоевский.

И. С. отрезвил и образумил публику, первый коснувшись, так сказать, «современности». «Не в суде глупца,— сказал оратор, — и не в смехе толпы холодной было дело (то есть заключалась причина охлаждения общества к творчеству Пушкина); причины лежали глубже; они были неизбежны и лежали в историческом развитии общества, в условиях весьма многосложных, при которых зарождалась новая жизнь, начинавшая вступать из литературной эпохи в эпоху политической общественной заботы и деятельности. Забвение поэта произошло оттого, что возникли нежданные, но законные и неотразимые потребности, явились запросы, на которые нельзя было не дать ответа. *Не до поэзии, не до художества было тогда...* (Рукоплескания.) Из храма, где поэт являлся жрецом, где еще горел священный огонь, но горел только на алтаре и сожигал только фимиам, люди пошли на шумное торжище. Поэт-эхо сменился поэтом-глашатаем; раздался голос «мести и печали», а за ним явились и пошли другие, пошли сами и повели за собою нарастающее поколение».

Многие в этом изменении задачи поэта видели просто упадок, «но мы, — сказал оратор, — позволим себе заметить, что падает, рушится только мертвое, неорганическое, живое изменяется органически ростом, а Россия — растет!» (Рукоплескание.) Точно так же и возрождение в обществе внимания к давно и не без основания забытому поэту И. С. Тургенев объяснял не тем, что поколение, отставшее от поэтов эха и последовавшее за поэтами-глашатаями, *раскаялось в своей опрометчивости* или утомилось на неприветливом пути. Вовсе нет: «мы радуемся этому возвращению, — сказал И. С. Тургенев, — в особенности потому, что возвращающиеся к ней (поэзии Пушкина) возвращаются не как раскаявшиеся грешники, не как люди, разочарованные в своих надеждах, утомленные собственными ошибками, не как люди, которые ищут пристанища и успокоения в том, от чего они отвернулись, — нет, в этом явлении мы скорее видим симптом *хотя некоторого удовлетворения,* видим доказательство, что хотя некоторые из тех целей, для которых считалось не только дозволительным, но и обязательным приносить в жертву все, не идущее к делу, что эти некоторые цели признаются уже достигнутыми и что будущее сулит достижение и других».

«Нарастающее поколение», принятое под защиту И. С. среди царившей против него вражды, была первая светлая минута пробуждения мысли «современников о современном».

III

Но никто не подозревал, чтобы эта же «современность» могла завладеть всем существом, всей огромной массой слушателей, наполнявшей огромный зал дворянского собрания, и что это совершит тот самый Ф. М. Достоевский, который все время «смирнехонько» сидел, притаившись около эстрады и кафедры, записывая что-то в тетрадке.

Когда пришла его очередь, он «смирнехонько» взошел на кафедру, и не прошло пяти минут, как у него во власти были все сердца, все мысли, вся душа всякого, без различия, присутствовавшего в собрании. Говорил он просто, совершенно так, как бы разговаривал с знакомыми людьми, не надседаясь в выкрикивании громких фраз,

не закидывая головы. Просто и внятно, без малейших отступлений и ненужных украшений, он сказал публике, что́ думает о Пушкине, как выразителе стремлений, надежд и желаний той самой публики, которая слушает его сию минуту, в этом же зале. Он нашел возможным, так сказать, привести Пушкина в этот зал и устами его объяснить обществу, собравшемуся здесь, кое-что в теперешнем его положении, в теперешней заботе, в теперешней тоске. До Ф. М. Достоевского этого никто не делал, и вот главная причина необыкновенного успеха его речи.

Содержание речи приблизительно состоит в следующем: Пушкин, как личность и как поэт, есть самобытнейшее, великолепнейшее выражение всех свойств чисто русского духа. Эта чисто русская самобытность не покидала Пушкина даже в самом раннем периоде его деятельности, в период подражательности иностранным образцам. И тогда, по словам г. Достоевского, он уже не мог не перерабатывать сущности произведений иностранной литературы так, как того требовали чисто русские, самобытные, народные свойства его души. Свято повинуясь в своей литературной деятельности этим требованиям, Пушкин, вместе с полнейшим и совершеннейшим выражением души русского народа, есть также и пророчество, то есть указание относительно предназначений этого народа в жизни всего человечества. Изучая Пушкина, можешь в совершенстве знать — что такое, какие сокровища заключает в себе душа русского человека, какими муками она томится, и в то же время можешь с точностью определить, на какую потребу, на какую задачу в жизни всего человечества нужны и предназначены эти прирожденные русской натуре, русской душе качества. Эти, по словам г. Достоевского, чисто русские, народные черты сказались в Пушкине тем, что уже в самую раннюю пору своей деятельности он останавливается на типе страдальца, скитающегося по свету, не имеющего возможности успокоиться, удовлетвориться действительностию или чем-нибудь, какою-нибудь, хотя бы наилучшею, частью ее явлений. Тип страдающего скитальца, тип, по словам г. Достоевского, также чисто русский, замечаемый уже в древнейший период русской жизни, существовавший во все последующие периоды ее, существующий и теперь, сию минуту, и который не исчезнет далеко в будущем; не

находящий успокоения, мятущийся русский страдалец потому не может исчезнуть ни в настоящем русской жизни, ни тем паче в ее будущем, что для успокоения обуревающей его душу тоски нужно всемирное, всеобщее, всечеловеческое счастие. *«На меньшем он не помирится!»* (Безумные рукоплескания.) И, что главное, мировая задача успокоения только в мировом счастии, в сознании всечеловеческого успокоения — есть не фальшивая или праздная фантазия скучающего, шатающегося без дела, хотя бы и малого, человека, но, напротив, составляет черту русской натуры, вполне органическую. Пушкин своею восприимчивостью к пониманию чужеземных нравов, доказанной его произведениями, есть наилучшее выражение и олицетворение этой черты. Никто, ни один величайший поэт в мире, не исключая даже и Шекспира, не проникался так идеями, нравами и пониманием самого склада души чуждого народа, как то мог делать Пушкин, ибо эта способность прирождена ему, как истинно русскому человеку. Греки и римляне Шекспира — такие же англичане, как и он сам; испанцы, итальянцы Пушкина, напротив, настоящие испанцы, настоящие итальянцы. «Та же восприимчивость к пониманию чуждого народа, его души, его радости и печалей, свойственная совершеннейшему выразителю русской души, свойственна и всему русскому народу; печали и радости, волнующие жизнь европейского человека, его тоска, его страданье для нас, для каждого из нас, русских людей, едва ли не дороже наших собственных печалей». Из всего этого оратор выводит то заключение, что русский человек, которому предопределено наполнять свое существование только страданием за чужое горе, тосковать только потому, что тоскует другой, мой ближний, внесет в конце концов в человеческую семью умиротворение, успокоение, оживляющую и веселящую простоту смирения. До тех же пор, то есть до тех пор, покуда всечеловеческие задачи, лежащие в русском человеке, не получат предопределенного им исхода, русский человек не перестанет быть страдальцем, самомучеником, не успокоится ни на минуту. Пушкин, чуткий душой, провидел эту предназначенную русскому народу миссию и, как уже сказано, в самую раннюю пору литературной деятельности изобразил такого скитальца сначала в Алеко, потом в Евгении Онегине. Достоевский от себя

при этом прибавил, что тот же скиталец, только в ином виде, в другой форме, существовал и после Пушкина, после Онегина, существует и теперь и будет существовать вовеки, до тех пор, пока, как уже сказано, не найдет успокоения во всечеловеческом счастии.

Мы не можем ручаться за то, что совершенно точно передали мысль первой половины речи г. Достоевского, но мы положительно ручаемся за то, что *понята она и оценена была именно в том смысле, как нами изображено.* Может быть, мы не так и не то рассказали, но почувствовалось, произвело сильное впечатление *именно* то самое, что у нас изображено. Характеристика Татьяны, сделанная г. Достоевским во второй половине речи, причем ту же черту, то есть невозможность основать свое счастие на несчастии другого, г. Достоевский как-то переиначил, не произвела того ошеломляющего эффекта, как характеристика и объяснение значения русской тоскующей души, а как бы прошла мимо ушей. А какое-то замечание, сделанное г. Достоевским насчет какого-то *смирения* («Смирись, гордый человек!»), будто бы необходимого для этого скитальца в то время, когда и так уж он смирился и лично вполне уничтожился перед чужой заботой, и это замечание прошло также мимо ушей; всеобщее внимание было поражено и поглощено стройно выраженною мыслию о врожденной русскому человеку скорби о чужом горе.

Положительно известно, что тотчас по окончании речи г. Достоевский удостоился не то чтобы овации, а прямо идолопоклонения; один молодой человек, едва пожав руку почтенного писателя, был до того потрясен испытанным волнением, что без чувств повалился на эстраду. Да, не для железнодорожников, не для представителей тех четырнадцати классов, на которые разделено, по словам г. Достоевского, русское интеллигентное общество, могли иметь значение сказанные Достоевским слова о неизбежности для всякого русского человека — жить, страдая скорбями о всечеловеческих страданиях. Слова эти могли произвести впечатление именно только на молодежь и на тех из остепенившихся представителей ее в недавнем прошлом, которые живо чувствуют еще пережитое ими, потому что ни одно поколение русских людей никогда, во все продолжение тысячелетней русской жизни, не находилось в таком трудном, мучительном, безвыходном состоянии,

как то, которое должно было выполнять свою исконную, по словам г. Достоевского, миссию в последние два-три десятка лет. Как могло случиться, что почти все молодое поколение, стоявшее не за порабощение освобожденных, не за угнетение их, не за развращение их, словом, не имевшее не единой злостной мысли против своего народа, оказалось ненужным ему? Однако это случилось! Никакому из всех молодых поколений, когда-либо существовавших на русской земле, не предлежало такой массы работы именно на служение ближнему, освобожденному от неволи, как поколению последних двух-трех десятков лет, и что же? Работы этой не нашлось, не оказалось, или она оказалась ненужной. Сам г. Достоевский, взявшийся изобразить один процесс в форме романа, предпочел остановиться и даже во сто раз против действительности преувеличить гнусности и безобразия, обнаруженные в нем, и ни единым словом не попытался отделить от этих гнусностей той самой всечеловеческой задачи русского человека, о которой он так хорошо теперь разговаривает на кафедре Общества любителей русской словесности. А ведь не может быть сомнения, что молодое поколение последних лет, при начале своего поприща, если бы нашло поддержку в истолкователях его задачи, если бы эти истолкователи поставили задачу на первый план, возвели ее хотя бы до сотой доли тех ослепляющих размеров, до которых теперь возводит ее г. Достоевский, несомненно не коротало бы оно свою жизнь так, как оно коротало и терзалось многие годы.

Как же было не приветствовать г. Достоевского, который в первый раз, в течение почти трех десятков лет, с глубочайшею искренностью решился сказать всем исстрадавшимся за эти трудные годы: «Ваше неуменье успокоиться в личном счастье, ваше горе и тоска о несчастье других и, следовательно, ваша работа, как бы несовершенна она ни была, на пользу всеобщего благополучия, есть предопределенная всей вашей природой задача, задача, лежащая в сокровеннейших свойствах вашей национальности».

Это громко, горячо сказанное слово могло и должно было потрясти многих и многих. Тот, кто упал без чувств после речи г. Достоевского, наверное, упал потому, что понял ее так, как мы старались передать. Но, повторяем,

очень может быть, что мы передаем слова г. Достоевского недостаточно точно и верно. Достоевский человек мудреный; как уже сказано, он еще недавно целую группу прославляемых им теперь людей сравнивал с свиным стадом и предрекал им гибель в пучине морской. Мудрено понимать человека, примиряющего в себе самом такие противоречия, и нет ничего невероятного, что речь его, появясь в печати и внимательно прочитанная, произведет совсем другое впечатление. Но, не ручаясь за подлинность того, что́ именно хотел сказать г. Достоевский, мы опять-таки повторим, что за сущность произведенного им впечатления можем вполне поручиться.

IV

(*На другой день*)

Опасения наши, высказанные в только что оконченном письме, относительно подлинного смысла переданного нами содержания речи г. Достоевского, к несчастью, оказались основательными. Речь г. Достоевского напечатана теперь в 162 № «Московских ведомостей». Прочитав ее, и притом не один раз (она понятна не сразу), мы нашли, что хотя в ней и есть слово в слово то самое, что передано нами, но что, кроме этого, в ней есть еще и нечто такое, что превращает ее в загадку, которую нет охоты разгадывать и которая сводит весь смысл речи почти на нуль. Дело в том, что г. Достоевский к всеевропейскому, всечеловеческому смыслу русского скитальчества ухитрился присовокупить великое множество соображений, уже не всечеловеческого, а всезаячьего свойства. Эти неподходящие черты он разбросал по всей речи, где по словечку, где целыми фразами, и всегда вблизи с разговорами о всечеловечности. Чтобы читатели могли яснее видеть, до какой степени речь г. Достоевского теряет в понимании благодаря этим заячьим прыжкам, приведем выписки из подлинного, напечатанного текста.

Прежде всего, сделаем выписки, доказывающие, что мы имели все основания передать речь г. Достоевского так, как передали. Вот что г. Достоевский говорит о духе русского народа:

«...Что такое *сила духа русской народности*, как не стремление ее, в конечных целях своих, к всемирности и всечеловечности? Да, назначение русского человека есть бесспорно всемирное, всеевропейское. Стать *настоящим* русским, стать *вполне* русским может быть и значит только (в конце концов, это подчеркните[1]) стать братом всех людей, всечеловеком, если хотите... Для *настоящего* русского Европа и удел арийского племени так же дороги, как и сама Россия, как удел родной земли... Что наш удел и есть всемирность... Стать *настоящим* русским и будет именно значить — внести примирение в европейские противоречия... Ко всемирному, всечеловеческому братству сердце русское, быть может, из всех народов наиболее предназначено».

А вот что говорит г. Достоевский о русском «страдальце»:

«В «Алеко» Пушкин отыскал и гениально отметил того несчастного скитальца в родной земле, того *исторического русского страдальца*, столь исторически явившегося в оторванном от народа обществе нашем. Это тип *постоянный и надолго* поселившийся в русской земле. Эти русские бездомные скитальцы продолжают и до сих пор свое скитальчество, и если в наше время не ходят в цыганский табор искать успокоения в их диком, своеобразном быте своих *мировых* идеалов и успокоения от сбивчивой и нелепой жизни нашего русского интеллигентного общества, то *все равно* ударяются в социализм, ходят с новою верою на другую ниву и работают на ней ревностно, веруя, как и Алеко, что достигнут в своем фантастическом делании целей своих и счастия не только для самих себя, но и всемирного, ибо *русскому* скитальцу *именно необходимо* всемирное счастие, чтобы успокоиться, *дешевле он не помирится*... Это все тот же *русский человек*, только в разное время явившийся».

Этих выписок, кажется, вполне достаточно для того, чтобы видеть неразрывную связь скитальца с народом, его чисто народные черты; в нем все народно, все исторически неизбежно, законно. Вот, основываясь на этих-то уверениях, я и передал речь г. Достоевского в том смысле, как она напечатана в *письме из Москвы*, радуясь не тому

---

[1] Скобки принадлежат г. Достоевскому.

всемирному журавлю, который г. Достоевский сулит русскому человеку в будущем, а тому только, что некоторые явления русской жизни начинают выясняться в человеческом смысле, объясняются «по-человечеству», не с злорадством, как было до сих пор, а с некоторою внимательностию, чего до сих пор не было.

Но у г. Достоевского, оказывается, был умысел другой. Уж и в тех выписках из его речи, которые приведены, читатель может видеть местами нечто всезаячье. Там воткнуто, как бы нечаянно, слово «может быть», там поставлено, тоже как бы случайно, рядом «постоянно» и «надолго», там ввернуты слова «фантастический» и *делание*, то есть выдумка, хотя немедленно же и заглушены уверением совершенно противоположного свойства: необходимостию, которая не дает возможности продешевить, и т. д. Такие заячьи прыжки дают автору возможность превратить мало-помалу все свое «фантастическое делание» в самую ординарную проповедь полнейшего мертвения. Помаленьку да полегоньку, с кочки на кочку, прыг да прыг, всезаяц мало-помалу допрыгивает до непроходимой дебри, в которой не видать уж и его заячьего хвоста. Тут оказалось, как-то незаметно для читателя, что Алеко, который, как известно, тип вполне народный, изгоняется народом именно потому, что не народен. Точно так же народный тип скитальца, Онегин, получает отставку от Татьяны тоже потому, что ненароден. Как-то оказывается, что все эти скитальчески-человеческие народные черты — черты отрицательные. Еще прыжок, и «всечеловек» превращается «в былинку, носимую ветром», в человека-фантазера *без почвы*... «Смирись! — вопиет грозный глас: — *счастие не за морями!*» Что же это такое? Что же остается от всемирного журавля? Остается Татьяна, ключ и разгадка всего этого «фантастического делания». Татьяна, как оказывается, и есть то самое пророчество, из-за которого весь сыр-бор загорелся. Она потому пророчество, что, прогнавши от себя всечеловека, потому что он без почвы (хотя ему и нельзя взять дешевле), предает себя на съедение старцу генералу (ибо не может основать личного счастия на несчастии другого), хотя в то же время любит скитальца. Отлично: она жертвует собою. Но увы, тут же оказывается, что жертва эта недобровольная: «я другому *«отдана!»* Нанялся — продался. Оказывается,

что мать насильно выдала ее за старца, а старец, который женился на молоденькой, не желавшей идти за него замуж (этого старец не мог не знать), именуется в той же речи «честным человеком». Неизвестно, что представляет собою мать? Вероятно, тоже что-нибудь всемирное. Итак, вот к какой проповеди тупого, подневольного, грубого жертвоприношения привело автора обилие заячьих идей. Нет ни малейшего сомнения в том, что девицы, подносившие г. Достоевскому венок, подносили ему его не в благодарность за совет посвящать свою жизнь ухаживанию за старыми хрычами, насильно навязанными в мужья; не за матерей, выдающих дочерей замуж насильно, дабы они в будущем своими страданиями помогли арийскому племени разогнать тоску. Очевидно, что тут кто-нибудь ошибся. Но в неправильном толковании речи виновен не кто иной, как сам Ф. М. Достоевский, не высказавший своей мысли в более простой форме.



СЕКРЕТ

(*Продолжение предыдущего*)

I

Да, виновен сам Ф<едор> Мих<айлович>, о чем пришлось и говорить, и думать, и писать уже после того, как «торжество» стало забываться, а одновременно с забвением мелочных его подробностей в обществе литературном и обывательском стал возрастать интерес именно опять-таки к сущности речи Ф. М. Достоевского, затронувшего существенные вопросы жизни. И чем более обыватель старался проникнуть в «самую суть» учения Ф. М., тем более он терялся и недоумевал. Желая силою своего слова покорить всех обывателей и быть приветствованным «всеми», г. Достоевский соединил в своей речи вещи совершенно несоединимые.

В самом деле, представим себе, что *все* те, на кого речь г. Достоевского произвела сильное впечатление, явились к нему в квартиру благодарить и выразить сочувствие.

Является муж Татьяны благодарить за то, что г. Достоевский назвал его честным человеком, несмотря на то, что его и самого иной раз мучил вопрос: «Уж не загубил ли, мол, я, старый хрен, чужую жизнь?» Честный человек рад ободряющему слову, он рад, что почтенный писатель заступился за него, он хоть и стар, но он любил Татьяну «как отец», лелеял ее как зеницу ока, и, правду сказать, Татьяна ценила его внимательность и спокойную, но прочную любовь, не рвалась, как нынешние, непохожие на женщин, стриженые барышни, в какие-то курсы, не бегала с книжкой. Генерал благодарит г. Достоевского за то, что он вывел и возвеличил этот истинный образ женщины, матери семейства, верной долгу, слушающейся родителей.

В заключение генерал похвалил тещу, m-me Ларину, за то, что она, как «истинная» мать, сумела во-время обуздать Татьяну, не побоялась ее слез, выбила из головы дурь и фантазии о каком-то хлыще Онегине, и своею твердостью достигла того, что из Татьяны вышла женщина, а не какая-нибудь нынешняя курсистка, не какая-нибудь мечтающая о каких-то общественных делах, вроде несчастной племянницы генерала Маши Булатовой, которой, вероятно, предстоит гибель. «Эти книжки, — заканчивает генерал, — эти курсы, лекции, служение народу, фельдшерицы, это, по-моему, гибель семьи!»

Поблагодарив Ф. М. еще раз и жарко пожав ему руку, генерал уходит, но в самых дверях сталкивается с несчастной племянницей, Машей Булатовой, которая также является благодарить г. Достоевского.

— Ты зачем? — в удивлении спрашивает генерал.

— Я хочу поблагодарить г. Достоевского, — отвечала Маша Булатова, — за то, что он своим искренним словом поддержал меня, тогда как вы все измучили меня; чувствую силы на борьбу со всеми вами, и, уж будьте покойны, теперь никакими запорами вам не удержать меня в вашей великолепной тюрьме.

Затем Маша Булатова в жарких выражениях, торопливо рассказывает г. Достоевскому свою историю, как бабушка m-me Ларина, этот самый генерал и частию уж состарившаяся Татьяна, ее родная тетка, во что бы то ни стало хотят ее упечь замуж за очень богатого человека, что она знает, как пуста эта праздная жизнь, что она не эгоистка, что она хочет быть полезной другим, что она хочет есть трудовой хлеб, учиться, знать, учить других. Она в сильном волнении рассказывает Ф. М., что генерал и m-me Ларина, видя ее участие к сельскому учителю и боясь, чтобы из этого не вышло «амуров», натворили бог знает чего. Распустили про учителя такие слухи, что того теперь и след простыл. Что даже на курсы попасть ей стоило страшных усилий, на каждом шагу ей делали неприятности. Доводили о чем-то до сведения начальства, вследствие чего ей не выдано было свидетельства о благонадежности. Но теперь, после речи Ф. М., ей всё нипочем. Она все забыла. Она вся хочет отдаться служению на родной ниве. Ей ничего не нужно: ни женихов, ни карет, ни богатств, она уйдет в чем есть

и вся посвятит себя служению на пользу ближнему. Затем, с гневом взглянув на своего дядю, она прибавила: «Да, давно-давно пора было заклеймить публично, всенародно нашу ужасную буржуазию, праздную, апатичную, не думающую о народе и его нуждах. А это вы сделали в одном месте вашей речи, Ф. М.! Спасибо вам, большое спасибо!»

Она ушла, горячо пожав руку Ф. М. и презрительно взглянув на дядю. Дядя, весь красный от гнева, недоумевая, глядел на г. Достоевского, который, чувствуя свое неловкое положение, как-то загадочно улыбался, глядя в землю. Генерал, покрякивая, хотел удалиться и начал прощаться, говоря: «Во всяком случае, позвольте еще раз. . .» Но не успел он окончить фразы, как в комнату влетает — боже милосердный — социалист!

В каком он виде, пусть изобразит кто-нибудь другой; в моей лире нет подходящих для этого звуков, и перо мое невольно дрожит в руке. Коротко скажу: он был ужасен! Он едва не сшиб с ног генерала, стремительно бросился на Достоевского, как бы желая его задушить, и вопил: «Благодарю, благодарю!» Генерал ушел не простясь. Но тотчас же явился новый посетитель. Это был И. С. Аксаков.

Видя, что Ф. М. обнимается с какою-то подозрительною личностью, Ив<ан> С<ергеевич> стал в стороне и слушал.

— Отлично, Ф. М., вы утерли нос этим славянофилам! Довольно они разводили на бобах насчет народной подоплеки! Я думаю, Аксаков теперь почесывает в затылке, как вы хватили его всеевропейским-то человеком! Именно, правда ваша, русскому человеку придется быть пустым пузырем, если, как вы говорите, всечеловеческая тоска не заполнит его душу. Слава вам, что вы так смело, искренно связали идеалы русского человека со скорбию о всечеловеческом счастии! Да! Только всемирное счастие, только тоска по нем, — вот задача мыслящего человека и чистого сердца! И я жму вашу честную руку за ту прямоту, искренность, с которою вы не побоялись сказать это публично!

— Там в середине есть место. . . — начал было Ф. М., улыбаясь и загадочно глядя наискось, но социалист ушел так же, как и пришел, вихрем.

— Этот урод какими судьбами очутился здесь? — в удивлении спросил И. С. — И, что-то я не понимаю, кажется, с благодарностию явился? Или мало ему той оплеухи, которую вы закатили всем этим общечеловекам? Так подогнуть башку пустозвонную, от пустоты и вместе гордости лезущую вверх, как подогнули вы, почтеннейший Ф. М., подогнуть под ярем народного плуга, под соху мужицкую, никто доселе с таким блистательным успехом еще не делывал! Вероятно, не пробрало пустую башку! Да, пора, пора согнать всю эту всеевропейскую саранчу с нивы народной, которую с ношей крестной исходил, благословляя, царь небесный! Пора переломить пополам, как гнилую палку, этот гордыбачащий и европейничающий вздор! Меня такие господа костят за то, что я сижу в банке, а толкую о народе да об общине. Надо заткнуть глотку этим непрошенным судьям; чем совать свои всеевропейские носы в разные общественные порядки, «пойми, каналья, сам-то самого себя, сам-то себя ухитрись высечь и больно высечь!» — вот что у вас, Ф. М., вышло великолепно. И положительно скажу, всевластно, воочию объявилось, быть может, доселе невиданное зрелище единения на мысли о родной ниве всевозможных противных по убеждениям лагерей.

И тут Ф. М. что-то заикнулся было насчет того, что «там в середине есть место», но И. С. Аксаков не слыхал, что говорил ему г. Достоевский, и, крепко пожав ему руку, уехал в банк.

Положение Ф. М. во время этих визитов было весьма щекотливое. Особенно же ему было неловко, когда к нему явилась Татьяна. Она благодарила его не за себя.

— Что прошло, того не воротить! — сказала она.

Она была рада, что Ф. М. единственный человек, который хорошо отозвался об Онегине.

— Ведь, право, он был добрый человек, но вы вспомните, какое тогда было время! Куда было девать и сердце и ум? Они потом с Чацким оба, бедные, как мучились в этом ужасном обществе! Я не жалею о прошлом — что жалеть о том, что ушло навсегда! Но ведь вспомните положение тогдашней женщины, девушки. Мы ничего не знали, жили, как велят... Мы были забиты... Разумеется, оставалось терпеть... Поверите ли, я часто завидую моей племяннице! Она будет вольная птица... Сама себе

голова. А мы? Мы даже и любить-то не смели, кого хотели! И думать не смели... А теперь! Хоть не браните, и за то вам спасибо, Ф. М.!

Татьяна приложила к глазам платок.

Я очень сожалею, что не имею времени перебрать решительно всех посетителей, благодаривших Достоевского, мнения которых, *по частям,* исчерпывают всю знаменитую речь.

Но уже и из этих примерно изображенных визитов читатель, знакомый с речью Достоевского, может видеть, во-первых, то, что подобные визиты совершенно возможны, во-вторых, то, что они происходят вследствие некоторого недоразумения, и, в-третьих, наконец, что, несмотря на благодарность, выражаемую Достоевскому его разнородными почитателями, все они, вследствие вышеупомянутого недоразумения, должны уйти от него с чувством некоторого неудовлетворения и как бы некоторого неприятного раздумья. Всякий из этих посетителей — славянофил, социалист, генерал или курсистка, очевидно, неприятно поражены соседством один другого и непременно должны чувствовать некоторое изумление при виде того, что вчерашние враги (например, дядя и племянница) вдруг оказались как бы вполне согласными друг с другом, хотя и знают в то же время, что между ними нет и не может быть ни малейшего согласия. Что ж это означает?

В поле бес нас водит, видно,
Да кружит по сторонам.

II

А весь секрет, вся тайна этой путаницы, вся суть этого невозможного объединения разнороднейших, уже установившихся, вполне определившихся взглядов партий и мнений заключается, по нашему мнению, в одном маленьком словечке, которое Достоевский поставил в самом центре своей речи. «Смиренно поработай на родной ниве!» — сказано в самом центре всеобъединяющей речи. Вот это-то слово «нива» и есть, по нашему мнению, корень зла. Что такое, в самом деле, означают слова «родная *нива*» (просим пристальнее вникнуть в смысл

этих слов). Точно ли это обыкновенная нива, положим засеянная овсом, или же нечто иное? Очевидно, выражение это аллегорическое. Но опять, что означает эта аллегория? Положа руку на сердце, выражение это (как думаем мы) ничего существенного, определенного не означает и означать не может. А между тем, на этой-то ничего не означающей ниве приглашают работать, да притом еще смиренно, и вокруг этой смиренной работы на ниве вертится все громадное, всечеловеческое значение русской страдальческой души, все ее всемирно умиротворяющее значение. Как же могло случиться, чтобы два-три ничего не означающие слова могли объединить, по крайней мере хоть в аплодисментах, людей, явно враждующих между собою, и объединить даже как бы во имя самой вражды? Ведь вон племянница-то благодарила именно за то, что от Достоевского досталось ее дяде, а дядя за то, что досталось племяннице?

В этом-то и есть секрет.

Поставив в центр речи слова, ничего определенного не выражающие, Достоевский дал полную волю своим слушателям придавать им тот смысл, какой они придать им желают. Да, дяде курсистки весьма довольно в этой фразе одного *смирения,* которое вполне оправдывает его женитьбу на Татьяне, его отношения к непокорной племяннице. Относительно же *нивы*, он против нее ничего не имеет; так как выражение это ничего не значит, то его с удобством можно пропустить мимо ушей. Против неопределенности выражения ничего не имеет и славянофил, и не только не имеет, но находит его весьма приятным, так как ему нравится в речи не столько эта «работа» на какой бы там ни было ниве, сколько то великое будущее, те предстоящие чудеса, которые, как оказывается, русский человек совершит с европейскими порядками впоследствии времени. Ему дорого это отдаленное будущее, а не постыдное настоящее, для которого вполне достаточно «смирения» вообще.

Но наряду с лицами, отдающими в вышеприведенной фразе Достоевского предпочтение слову «смирение» перед остальной частью фразы, в числе слушателей и читателей было немало таких, которые сами, самовольно, не спросясь Достоевского и не дожидаясь его, придали выражению «родная нива» совершенно определенный, *свой* смысл,

свое, худо ли, хорошо ли понимаемое, значение, а главное, чтобы не терять времени в напрасных толкованиях пустопорожних слов «родная нива», заменили их в собственном своем воображении тоже двумя словами, но словами, имеющими определенный смысл, — именно, решили, что речь идет просто-напросто о «народном *деле*». Эта незначительная замена одного слова другим, пустого что-нибудь означающим, тем более имела значение для гг. самовольцев, что немедленно же давала точный и определенный смысл, с одной стороны, слову «смирись», с другой — «потрудись», «поработай».

И вот, согласно тому смыслу, который разномысленные слушатели Достоевского придавали, каждый в отдельности, самому важному пункту, на котором вращались все детали речи, и последние были поняты и пригнаны к центру также по-своему, на свой образец. Те, которые, не вникая в сущность речи, просто довольствовались смирением Татьян, смирением букашки, проткнутой булавкой и до конца жизни безропотно шевелящей лапками, были, разумеется, очень довольны тем, что от этих булавок и букашек со временем произойдет нечто всемирно замечательное. Ни о ниве, ни о работе на ней такого рода господа, конечно, не думали. Быть проткнутой булавкой, — это-то, должно быть, и есть всечеловеческая заслуга, и в этом-то, должно быть, и заключается работа на родной ниве. Но те, кто «ниву» заменил «делом», те невольно, но неминуемо должны были искать в речи Достоевского и определений самого дела народного. В смысле этого определения такие слушатели, разумеется, должны были обращать особенное внимание не на те места речи, где говорится о тряпичности и дрянности разных человечишек, шатающихся по свету с надутыми на человечество губами, а на те места, на те выражения, где говорится о всечеловеческих страданиях, о том, что сердце русское наиболее к ним восприимчиво. Все, что было сказано в последнем смысле, принималось как указание, оправдание и объяснение.

В такого рода неправильном толковании наиболее торжественных мест речи Достоевского, конечно, виновато самовольство его слушателей, подставивших на место умилительного слова «нива» довольно грубоватое слово «дело». О том, правильно ли или неправильно понята

речь Достоевского и нами и своевольцами, как и что мы поняли, — мы уж сказали. Более об этом говорить не будем. Мы только хотим обратить внимание читателя на ту поистине громадную жажду, с которой значительная часть общества, если не все общество поголовно, ждет откуда бы то ни было указания на «дело», на народное «дело». Оно само, как видите, разыскивает эти указания там, где их даже и нет, само строит собственные свои теории из таких материалов, которые и собраны-то собственно затем, чтобы сказать — «перестань!»

III

Мы сказали выше, что этим недугом заражено почти все общество, потому что после освобождения крестьян буквально все общество стало на новую дорогу. Народный вопрос сам собой стал перед всеми; решение его не может не волновать всякого, и буквально всякий думает о нем по-своему. Именно неизбежность, обязательность, неминучесть мысли об этом вопросе, настоятельность определения «народного дела» дало последнему двадцатипятилетию ту, а не другую физиономию, и если эта физиономия не всегда и не всем приходилась по сердцу, то единственно потому, что «народное дело» не выяснялось во всей полноте и беспристрастии, к которому обязывает его серьезность и значение. Все впотьмах, все ощупью, все в беспомощном неведении. Предсказаний, шарад, ребусов насчет великого будущего, ходячих фраз, что «этого у нас нет», что мы такие-сякие — сухие и немазанные (на пушкинском празднике один оратор сказал: «у нас нет сословий!») — сколько угодно, а настоящего выяснения задач народного дела, задач, необходимых для всякого живущего на Руси, — потому что нельзя, невозможно целым поколениям жить о едином хлебе, — нет! Теперь вот, через двадцать пять весьма поучительных лет, нам говорят: «поди, мол, потрудись на какой-то родной ниве!» А где она? Что она? — неизвестно. Да еще со смирением! Не только нет мало-мальски правдивого, беспристрастного указания на самое дело, но даже и положение-то самой нивы, на которую приглашают

потрудиться со смирением, как на грех, ни единым словом не уясняется.

В «Дневнике писателя» того же г. Достоевского (1877 г., № 2) есть две в этом отношении весьма характерные главы. Одна из них называется «Злоба дня в Европе», а другая, рядом с нею, «Русское решение вопроса». Параллель могла бы быть в высшей степени интересная, если бы была соблюдена автором равномерно во всех частях. Но этого-то именно и нет. Покуда дело идет о злобе дня в Европе, автор вполне последователен. Прежде всего он изображает происхождение данного положения вещей и, на основании этого положения, выводит заключение относительно того способа, которым может быть решен, или без которого решен не может быть, роковой, проклятый вопрос. Но как только дело касается России, никакого положения вещей нет, а прямо, с первой строки, начинаются ни на чем не основанные прорицания, указания, ребусы, шарады. Сделаем небольшую выписку. Вот что говорится о злобе дня в Европе. «В Европе был феодализм, были рыцари. Но в тысячу с лишком лет усилилась буржуазия и, наконец, задала повсеместно битву, разбила и согнала рыцарей и стала сама на их место. Исполнилась в лицах поговорка: «убирайся, а я на твое место». Но, став на место своих прежних господ и завладев собственностью, буржуазия совершенно обошла народ, пролетария и, не признав его за брата, обратила его в рабочую силу для своего благосостояния, из-за куска хлеба». Но, в свою очередь, этот новый хозяин, буржуа, «отлично хорошо понимает, что пролетарий, бывший в борьбе его с рыцарем еще ничтожным и слабым, очень может усилиться и даже усиливается с каждым днем. Он предчувствует, что когда тот усилится, то сковырнет и его с места, точно так же, как он сковырнул рыцаря, и точно так же скажет ему: «Убирайся, а я на твое место». Вот положение вещей в Европе, положение историческое, вполне объясняющее неизбежность борьбы не на живот, а на смерть между двумя борющимися сторонами, уже ставшими в боевую позицию. Г. Достоевский обстоятельно объясняет, почему ни та, ни другая сторона не могут уступить, почему вопрос не может быть поставлен на нравственную почву. Все эти объяснения в европейском решении вопроса о злобе дня, повторяем,

основаны на исторически сложившемся положении вещей, очерк которого г. Достоевский приводит в начале статьи именно для того, чтобы читателю было понятно, *почему* дело решится так, а не иначе.

Но как только дело касается России, с первой же строки начинается отвлеченная (хотя и очень искусная) проповедь о самосовершенствовании. Ни о положении вещей в данную минуту, ни о прошлом, из которого оно вышло, — нет ни одного слова. На каждом шагу задаешь себе вопросы: какую-такую злобу дня разрешу я, если, подобно Власу, буду с открытым воротом и в армяке собирать на построение храма божия? Если ту же, какая в Европе, то почему же там дело должно кончиться дракой, а не Власом? Если другую какую-нибудь, русскую злобу, особенную, то какую именно? Если бы г. Достоевский был последователен, то параллельно вышеприведенному изображению положения вещей должен бы был представить такое же и относительно России. В Европе, говорит он, были рыцари... а у нас были или не были? если не рыцари, то хоть простые грабители, откупа например, которые опаивали народ дурманом, организм, физическое здоровье его расстраивавшие? Забирались не только в карман, а в самую кровь. В Европе вот, говорит г. Достоевский, буржуа не дает пролетарию жить на свете... А у нас есть ли что-нибудь в этом роде? Для кого устроены банки всевозможных родов и видов, кто играет на бирже, съедает миллионы гарантий и субсидий? И достаточно ли в таких делах Власа, собирающего на построение храма божия? Решительно нельзя понять, почему на Руси люди будут только самосовершенствоваться? Единственное объяснение этому, кажется, состоит в том, что люди эти вообще ужасно развращены, испорчены. И опять неизвестно, кто их испортил, отчего они развратились и отчего именно они-то и суть провозвестники христианства. Не определяя «положения» вещей, не объясняя его, решительно невозможно давать советов о том, что нужно делать, невозможно предсказывать, прорицать, учить и наставлять, не рискуя впасть в противоречия и свести самую горячую проповедь на ничто. И таких противоречий можно найти у г. Достоевского немало. В речи он подтрунивает над тем, что до сих пор

интеллигентный человек все как будто хочет поднять народ до себя, а в дневнике прямо советует «поднимать. . .» В том же дневнике говорит: «Раздай имение», а на следующем столбце говорит, что «можно и не раздавать».

IV

Итак, все дело сводится на внимательное исследование положения, в котором находится родная нива, ибо только в таком случае слово «смирение», которое мы ставим во главе угла служения народному делу, получает смысл определенный, определенное направление и определенные границы. Точно так же и дело народное делается совершенно определенным, принимает реальные формы. Позволим себе привести небольшой пример. Предположите, что некоторый человек (молодой или старый, все равно), чувствительный и сердцем и умом к нуждам родной «нивы», приходит к сознанию необходимости посвятить себя, свои силы и средства на служение ей. Никаких западноевропейских декораций он устраивать, для собственной потехи, на этой ниве не желает. Напротив, он желает работать чисто в народном духе. Общинные начала можно ли полагать народными, крепко пустившими корни в глубине народного духа и ума? Я полагаю, что можно. Представьте еще, что, преклоняясь пред ними, как пред народными, впечатлительный человек этот понимает их и ценит гораздо более, чем ценятся и понимаются они на самой ниве, причем он ценит их и дорожит ими особенно сильно и страстно, потому что ему, как человеку образованному, в подробности известно мучительно-тягостное положение злобы дня у миллионов европейских народов, о чем говорит г. Достоевский. Изучив эту глубокую неправду человеческих отношений в Европе, сначала по книжкам, потом убедившись, положим, личным опытом, до какой степени отношения эти несправедливы, жестоки, не имея сил забыть ни казней коммунаров, которые чувствительному человеку пришлось видеть, не имея сил и возможности изгладить из памяти впечатление лондонских рабочих кварталов, этих человечьих гнезд нищеты и скорби, беззащитного одиночества, — чувствительный человек наш, подавленный мас-

сою человеческих страданий, пережитых им и в книге, и во сне, и наяву, приходит к мысли, или, вернее, к прочному убеждению, что его личные несчастьишки — ничто в сравнении с этими вековыми страданиями миллионов, начинает забывать о себе, о своих личных недугах и все более и более делает своими чужие беды. Он чувствует, что надо «смирить» себя, покорить себя работе на родной ниве, послужить народному делу. Где же ему служить, как не на родине? Радостно замечает он, что у нас еще дело не стало на ту неприветливую почву, как в чужих землях, что у нас есть «общинные начала», из-за которых там бьются в кровь не один десяток лет. Именно помня эту кровь, эти Сатори-Кайенны, он страстно желает сохранить эти предохраняющие от крови и слез наши народные начала и принимается работать над тем, что уже существует как факт, что даже правительством признается, как форма общежития, обеспечивающая прочность финансовой системы, предохраняющая страну от развития пролетариата. По своим силам и средствам он задумывает самое малое дело в этом чисто народном смысле. За большое он не берется, он просто взвесил и оценил свои силы и средства, понял, что̀ может и чего не может. На самое дело наталкивает его простой случай. Он прочитал в газетах, что в камере мирового судьи того города, где он живет, разбиралось дело о побоях и увечьях, нанесенных сапожным мастером Кудрявцевым десятилетнему мальчику-ученику. Из дела оказалось, что Кудрявцев колотит своих учеников не на живот, а на смерть, бьет ремнем, не кормит, держит в холодной комнате. Впоследствии, пройдя сквозь эту каторгу и оставшись живым и здоровым, мальчик и сам, пожалуй, будет так же учить своих учеников.

И вот, жалея мальчика в настоящем, жалея его в будущем, чувствительный человек наш надумывает самое простое, по его мнению, дело. Он решается отдать свои средства на образование мастерской («Отдай имение твое!»), в которой бы ребят не били, а учили, не мучили голодом, а кормили — и думает, что общинное начало в виде артельного хозяйства, вещь не только не предосудительная, но прямо нужная и законная. Он отыскал избитого мальчика, а этот привел к нему еще двоих, тоже избитых, три другие ушли от другого сурового хозяина

сами, и вот начинают жить. Чувствительный человек, чтобы не откладывать дела в долгий ящик, «принанял» покуда в главные мастера взрослого сапожника, но, желая быть последовательным именно в смысле народного дела, он должен «убедить» как взрослого рабочего, так и маленьких учеников его в том, в чем убежден сам. Ему обидно, что его называют «хозяином». Какой он хозяин? Он такой же, как и они. Он хочет только, чтобы, при его помощи, они «сами» завели «свое» дело на товарищеских основаниях, сами были хозяевами своей работы. На первых же порах ему приходится, очевидно, очень и очень много разговаривать. Сапогов не шьют покуда, а разговоры идут, и разговоры долгие. А покуда они разговаривают, против него, против этого чувствительного человека, уж устраивается нечто неприязненное. Положим, что у нас нет ни буржуа, которые не дают жить пролетарию, «нет даже сословий» — нет ничего в западноевропейском, не христиански-враждебном роде, но есть двое хозяев-сапожников, которые недовольны, и очень основательно недовольны тем, что от них сбежали мальчики, что это дурной пример; есть, кроме того, матери и отцы, не понимающие и не могущие понять, почему это барин затесался к сапожникам, что ему нужно, и непременно думающие, что тут что-нибудь не так; есть, наконец, сами мальчики, берущие пример в непонимании как с родителей, так и с взрослого мастерового, своего учителя, который также покашивается на барина, отказывающегося быть хозяином, и полагает, что тут не без подвоха. Все эти — не буржуа, ни тем паче рыцари, ни, боже избави, пролетарии, начинают шушукать, болтать, обсуждать в кабаке, за воротами, а те из них, кому нужно, начинают и поступать по силе и по мочи. Как они поступают — не наше дело. Но представьте себе, что впечатлительный человек, вследствие их поступков, с сожалением принужден пойти, положим, хоть к г. Достоевскому, «посоветоваться», как ему быть?

— Закрывать мне мастерскую или же отстаивать ее?

Что ответит ему Ф. М.? Неужели скажет:

— Смирись! Гордый человек!

Но на это впечатлительный человек может возразить:

— Да я и так уж смирился. Мне лично ничего не надо, я хочу только хоть этим пятерым, шестерым маль-

чишкам быть полезен. Неужели же я должен бросить их на произвол судьбы? Ведь их пуще прежнего начнут колотить колодкой по голове? Мне кажется, что я и по-христиански не имею права отступать. Я должен идти до конца. Пусть делают, что хотят, я готов!

— Смирись, праздный человек! Покори себя себе, усмири себя в себе. Не *вне тебя* правда, не в сапожной твоей мастерской, а *в тебе самом найди себя*, сам собой, в себе!

— Стало быть, бросать посоветуете?

И даже на этот вопрос нет категорического ответа; не слушая и не останавливаясь, Ф. М. продолжает прорицать:

...И узришь свет! И увидишь правду! Победишь себя, усмиришь себя и других освободишь; и узришь счастие... и начнешь великое дело... Не в вещах правда.

И так до бесконечности.

V

Читатель видит, до какой степени самые прекрасные прорицания оказываются бесплодными, раз «на родной ниве» оказалось крошечное дело. Видит, что даже ответов на самые простые вопросы, возбуждаемые делом, совсем-таки нет в обращении. И не следует ли из этого, что прежде, нежели приглашать потрудиться на ниве, прежде, нежели рекомендовать смирение, как наилучшее средство для этого труда, заняться с возможной внимательностью изучением самой нивы и положения, в котором она находится, так как, очевидно, только это изучение определит и «дело», в котором она нуждается, и способы, которые могут помочь его сделать. А прорицать можно и после.



ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ БЕЛЬЭТАЖ

I

...Не так давно деревенское уединение мое было нарушено весьма неприятным обстоятельством: случилось мне прочесть в литературном обозрении «Голоса» о том, что «Русский вестник» поместил статью, посвященную литературе о народной жизни, где осрамил всех пишущих о народе (а я тоже маракую по части разных очерков и отрывков из крестьянской жизни) самым постыдным образом. Не то огорчило меня, что автор статьи причислил себя к «литературе бельэтажа», [1] к литературе парадных комнат, а всех нас наименовал литературою кабака и харчевни, заднего двора и черной лестницы; не то, что в посрамление нас он торжественно указал на великие имена Пушкина, Лермонтова и Гоголя и противопоставил им «всех этих» «разных семинаристов»; не то, наконец, что наши несчастные очерки и отрывки из деревенских дневников он привел в связь с крамолой, нет! Все это давным-давно известно, а главное, все это не может быть опровергаемо и, стало быть, нисколько не может волновать «этих разных семинаристов».

---

[1] Вот подлинные слова поругания: «Сильно ошибся бы тот читатель «Русского вестника», который стал бы заключать по беллетристике «Русского вестника» о нашей современной беллетристике вообще. Повести и романы «Рус<ского> вестн<ика>» это — *бельэтаж,* чистые комнаты нашего литературного здания. Но в этом здании есть чердаки и подвалы, есть грязные чуланы и никогда не вентилируемые, никогда не подметаемые спальни, есть задние дворы с кучами мусора». Так вот в этот-то мусор и упрятывает г. Щебальский нас, «пишущих» о народе.

В самом деле, разве я не знаю, что, например, я, один из «этих семинаристов», не похож на Пушкина? Разве я не знаю, что «Русский вестник» литература бельэтажа? Разве я не знаю, что «крамола» чудится этому бельэтажу литературы во всем и что нельзя написать «отрывка» из деревенского дневника и затронуть в нем хоть каплю из бесчисленных и настоятельных деревенских нужд, чтобы какой-нибудь литературный сыщик не указал на тебя как на человека, которого следовало бы истребить? И чем я виноват, что я родился не в бельэтаже? Родись я в бельэтаже, а бельэтажный критик в лакейской, тогда он бы был представителем литературы кабака и харчевни, а я забрался бы в бельэтаж... Все от бога, господа, и в этих делах ничего не поделаешь! А они ругаются и за то, что родился не в бельэтаже, и за то, что не Пушкин. Но, милостивые государи, ведь и вы тоже не Пушкины. Разве господин Катков похож на Лермонтова или разве г. Щебальский напоминает Гоголя?

Повторяю, не это меня взволновало и раздосадовало; на все это, право, можно бы ответить и весело и остроумно, если б была охота и если бы наша жизнь не была так тягостна и так упорно не хотела хоть чем-нибудь облегчить угнетенную душу русского человека. Меня взволновала, благодаря этой критике, именно эта самая жизнь, жизнь деревенская, окружающая меня. Тысячу раз я говорил себе, что надо бросить писать о деревне, что теперь «поздно», что очерки и отрывки, при условиях, которыми окружена подобного рода литературная работа, бесплодны, не нужны, потому что не могут выразить всей многосложности того *ненужного зла*, которое введено в народную жизнь упорными и ужасными, по бессердечию, усилиями и с которым теперь деревня принуждена разделываться «своими средствами». Вот этот-то прилив обессиливающей тоски, тоски, прекращающей в конце концов всякую работу мысли, всякую возможность ощущать, будучи живым, что-нибудь, кроме страшного холода внутри и вне, вот в такое-то мучение и повергла меня статья бельэтажного критика. Она опять и в усиленной степени воскресила эту действительность деревенскую, от которой не знаешь, куда уйти, чтобы хоть здоровьем-то физическим запастись; она, доказывающая, что «очерки» и «отрывки из дневников» —

ничтожество и посрамление литературы, сделала то, что сама действительность, которую «очерки и отрывки» не отражают и в самой ничтожной степени, вдруг встала во всем своем грозном безобразии и стала давить, гнести, царапать, рвать и мучить всеми муками, на какие способно без нужды, без смысла раздраженное существо. В самом деле, какие уж тут «отрывки» и «очерки»!

II

Чтобы хоть мало-мальски успокоиться от этого волнения, которое, я знал уж, не могло кончиться ничем, кроме упадка физических сил, я вновь взялся за газету, в которой было напечатано литературное обозрение; мне хотелось отвлечь мое волнение от мучительной действительности и сосредоточить его на чем-нибудь таком, что́ бы дало мне возможность хоть как-нибудь облегчить мое волнение, чего действительность не дает; думаю: перечитаю фельетон, проберу (мысленно) г. Каткова, проберу (мысленно) г. Щебальского, вот мне и станет легче. Взял я с этою целию фельетон и стал его перечитывать и, к величайшему моему удивлению, с первых же строк не только стал успокаиваться и перестал волноваться, но был поглощен соображениями совершенно новыми и неожиданными.

Дело вот в чем.

В том же самом литературном обозрении, где г. литературный обозреватель рассказывает о том, как г. Щебальский «изуродовал» нас всех, пишущих о народе, этот же г. литературный обозреватель упоминает о другом литературном произведении, напечатанном в том же номере «Русского вестника», где помещена и статья г. Щебальского. Произведение это, принадлежащее, без всякого сомнения, к литературе бельэтажа (оно напечатано в «Русском вестнике»), есть роман г-жи Толычовой, в котором рассказывается такая история: жили-были граф с графинею, и родился у них сын; но ехидная дворовая баба подменила графского ребенка своим ехидным дворовым ребенком, рожденным, по всей вероятности, незаконно, где-нибудь в конюшне или в хлеву. И вот возникает трагическое недоразумение: под именем графа,

в графском бельэтаже, растет продукт лакейской и кучерской, «исчадие кабака и харчевни», а настоящий граф воспитывается в лакейской, впоследствии даже чистит сапоги попавшему незаконно в бельэтаж прохвосту, каковой прохвост и ругает настоящего-то графа всякими скверными словами, называет «неумытым рылом». Вот голый остов превосходного произведения г-жи Толычовой, и хотя я получил о нем понятие из сокращенного пересказа, сделанного литературным обозревателем «Голоса», но, признаюсь, оно дало моим мыслям совершенно неожиданный оборот. «Боже мой! — воскликнул я, — какое трагическое положение! Прохвост ругает настоящего графа за «неумытые руки», за то, что настоящий граф, волею судеб поставленный в положение человека низкого звания, не умеет правильно выражаться, говорит «руп на руп» вместо «рубль на рубль», «в Питенбурх» вместо Петербург, называет прохвоста «васясо»[1] вместо «ваше сиятельство», а на деле-то оказывается, что этот чванящийся своим бельэтажем проходимец сам бы должен был чистить своему теперешнему лакею сапоги и бегать у него на побегушках. Боже мой! — воскликнул я опять, — ведь, стало быть, бывают случаи такой глубокой несправедливости! Стало быть, возможно, что человек, сидящий в бельэтаже и кричащий «мы — бельэтаж», ругающий кабак и харчевню, брезгающий всем, что недостойно его общества, возможно, стало быть, что этот человек именно сам и есть истинный представитель кабака и харчевни?» Мысль г-жи Толычовой показать, что титул, дорогое помещение и грубость по отношению к меньшей братии еще не суть признаки благородства души и не могут еще служить основанием для всеобщего уважения, показалась мне достойной величайшего внимания. Если это та самая г-жа Толычова, подумал я, которая написала рассказы о 12-м годе, то самый возраст ее, свидетельствующий о ее огромной опытности и знании людей, должен быть порукою в том, что она недаром отметила эту черту нашего времени; она должна была видеть настоящие бельэтажи, и если в настоящее время задалась мыслью доказать, что не во всех бельэтажах живут порядочные люди, то, стало быть,

[1] В рассказах Л. Н. Толстого.

черта эта особенно стала бросаться в глаза. И точно: я вот очень хорошо знаю, что волостной старшина Чуркин, уже набивший карман благодаря крестьянской безграмотности и нужде, через пять — десять лет очутится в Москве, наймет бельэтаж и начнет ругаться на свою же братию, мужиков, и что же? Неужели же я должен буду считать его представителем ума, таланта, совести, чести только потому, что эта скотина платит дорого за «фатеру»? А таких молодцов, будьте уверены, станет прибывать из деревень в город и столицы с каждым днем все больше и больше, и что же будет, если все они (сию минуту просто только мироеды), забравшись в бельэтаж, провозгласят собственную свою литературу, «почнут» отыскивать крамолу, а когда им не понравится какой-нибудь «отрывок» из деревенской жизни, напечатанный не в бельэтажном журнале, то они, без больших разговоров, будут прямо посылать своих литературных критиков в полицию? Ведь житья не будет!

Чтобы разрешить трудную в настоящее время задачу: «кто должен считаться истинно достойным жителем бельэтажа?», г-жа Толычова употребляет, как мы видели, прием весьма оригинальный. В графе, живущем в бельэтаже, она (если так можно выразиться) помещает подлую и низкую душу, а в лакее этого графа помещает душу высокую и благородную, и таким образом мерилом истинного аристократизма является благородство души, благородство и гуманность идей, намерений и поступков. Она как бы говорит: человек с титулом, но с низкою душою, и «в бельэтаже» есть не более как тварь, не стоящая внимания; а тот, кто без титула, находясь в самом низком звании, но обладает благородным сердцем и возвышенным умом, тот-то и есть истинный аристократ. Так у нее в романе и вышло: лакей оказался графом, а граф оказался лакеем и был выгнан из бельэтажа при помощи дворников.

III

Да! надобно г-же Толычовой отдать полную справедливость, она как раз во-время выдвинула на сцену позабытый некоторыми бельэтажами принцип «благородства души», как признак истинного аристократизма и

права на привилегированное положение в обществе. Благородные помыслы и благородные поступки — вот единственные основания права считать себя человеком, стоящим выше толпы, выше улицы, выше харчевни. Посмотрите, пожалуйста, на следующие два эпизода, недавно прочитанные мною в газетах: от 6-го мая напечатана из Рязани такая корреспонденция: «Несколько дней назад в пригородном селе Кузьминском произошел следующий прискорбный случай. *На другой день после* бывшего там пожара прискакал в село, верхом на лошади, тамошний мировой судья *князь* К—н и стал сгонять кузьминских крестьян *нагайкой*, чтобы затушить те сто тридцать крестьянских дворов, которые *еще накануне сгорели* в селе дотла. Кузьминские крестьяне предположили, что их мировой, и прежде эксцентричный и взбалмошный, теперь просто сошел с ума, и стали по возможности уклоняться от его нагайки; но потом, видя, что князь К—н не пьян и не болен, а только *страшно озлоблен на крестьян* (курсив подлинника), начали выражать ему свой ропот на его грубое над ними насилие в довольно резких формах, особенно когда кн. К—н, разъезжая по пожарищу с плетью в руке, отхлыстал *ни за что ни про что* сельского старосту, избил нагайкой старика Беляева и иссек еще несколько лиц, случайно попавшихся ему под руку. Сын крестьянина Беляева, видя иссеченным своего старика-отца, в порыве понятного чувства и справедливого негодования на судью умолял своих односельчан вступиться за его отца и стал выражать в селе порицание князю К—ну, утверждая, что его поступок есть грубейший произвол, так как *по закону даже каторжных* стариков не наказывают плетьми. Узнав об этом, мировой судья князь К—н *страшно рассвирепел* на сына крестьянина Беляева и послал тотчас же тамошнего урядника составить «протокол об оскорблении Беляевым мирового судьи при исполнении последним служебных обязанностей». Крестьяне же, в свою очередь, а особенно потерпевшие, собираются жаловаться на судью за дикую расправу. Но очень встревожены тем, как бы не вышло им из-за этого какой опаски» («Голос», № 125).

В этом деле, как видите, действует князь, лицо, несомненно причисляющее себя к «бельэтажу». А вот другой случай, в котором играет роль, выражаясь языком

бельэтажа, человек харчевни и улицы, просто-напросто урядник. «В Гадячском уезде, — пишут в том же «Голосе», — на одной сельской ярмарке произошел пожар. Урядник, находившийся здесь, ни с того ни с сего вообразил, что причина пожара — поджог, и, руководимый какими-то непостижимыми соображениями, поймал за шиворот одного из крестьян и стал его тащить куда-то, а так как крестьянин сопротивлялся, то урядник принялся его колотить, крича народу, что он поймал поджигателя; раздраженный пожаром народ целой массой навалил на несчастного мужика и принялся его тузить до того, что урядник сам должен был отбивать его и отбиваться от толпы шашкой. Избитый крестьянин оказался ни в чем не виноватым». Вот два деяния, из которых в одном действует князь, а в другом — плебей. Спрашивается, имеет ли князь К—н хотя малейшее право хоть чем-нибудь кичиться перед плебеем? И может ли означенный князь презирать этого плебея только потому, что он князь и обитатель бельэтажа? Кроме того, если поступок князя К—на, бесцельный и жестокий, не роняет значения того бельэтажа, к которому он себя причисляет, то почему и уряднику не считать себя достойным этого бельэтажа, раз он делает точь-в-точь такой же бессмысленный и жестокий поступок, как и кн. К—н? Но госпожа Толычова приходит нам на помощь и так разрешает запутанный вопрос: «Нет, — говорит она, — никто из вас недостоин бельэтажа, а оба вы, несмотря на разницу звания и состояния, заслуживаете арестантской. Бельэтажа достоин тот, кто, несмотря на звание и состояние, имеет благородную душу, не колотит людей зря, потому что так пришло в голову, не гонит нагайками тушить пожар, который кончился тому назад два дня, а приходит на помощь погорельцам, помогает ободрять словом, пользуется возможностью проявить свои благородные чувства. Вы же оба — не бельэтаж».

Признаюсь, чем больше и внимательнее вдумывался я в значение того глубокого смысла, который придает госпожа Толычова слову «бельэтаж», тем неудержимее возгоралось во мне желание узнать и точно определить, действительно ли «ихний» бельэтаж имеет права на ту наглость, с которою он кричит о своем высоком положении в обществе? Имеет ли право этот «ихний бельэтаж»

кричать на весь свет: «Мы — литература бельэтажа, мы — представители и выразители высшего общества, мы — большой свет, мы — соль земли, а все остальное — сор и грязь, которую надо вымести вон, выбросить в канаву с нечистотами». И едва я начинал думать об этом, как уж, сам не знаю почему, чувствовал себя весьма неловко. «Ох, — говорил я сам себе мысленно, — ведь, пожалуй, что в этом бельэтаже не совсем чисто! .. «Фатера», — думалось мне со свойственной мне безграмотностью, — у «их» точно что в бельэтаже, а народ там, как оказывается, не вполне... нет! как будто бы не вполне господского звания! Фраки на них надеты, это правда, но ведь вот и у «татар» вся прислуга во фраках? А разговор ихний? А уж что касается разговору, так и в харчевне так не разговаривают, как в ихнем бельэтаже. На нашего брата из низкого звания серчают и начальству жалуются, когда по безграмотности скажешь «руп на руп», или «васясо», или «Питенбурх», жалуются и на весь свет срамят, а сами? Двадцать пять лет, день в день, час в час, изо дня в день и из часу в час, во все свои парадные окна, подъезды и швейцарские не войдут, не выйдут и не выглянут без скверного слова: «Мошенники пера! мерзавцы либерализма! разбойники печати! идиоты самоуправления!» Двадцать пять лет, на всю Россию, в окна и в двери, только и слышишь — скрежещут и орут: подлецы, мошенники, разбойники, плуты, идиоты. Только развернешь лист ихней бельэтажной газеты, на первой же строке скрежет и крик! И это с девяти часов утра каждый божий день, двадцать пять лет! Никому нет покою!»

До какой степени не одобряется человеком улицы, и вообще всяким обывателем, созидающим благосостояние бельэтажа, — грубое, презрительное к нему, «обывателю и человеку улицы», отношение того же бельэтажа,— может служить случайная встреча и случайный разговор на железной дороге с одним старым отставным солдатом, многие годы служившим швейцаром во многих больших московских домах. Разговор с ним шел именно о трудности его службы, о необходимости потрафлять по характеру господ, причем немало из них любят помыкать прислугой почти ради только собственного удовольствия. Что меня особенно поразило в рассказе этого солдата,

это случайно высказанное им порицание каких-то господ, проживающих в Москве на С<трастно>м бульваре, у которых он жил в последний год и которых, за грубость обращения, не признавал господами.

— Все до единого сердитые-пресердитые! И гости-то и знакомые не войдут — не выйдут, чтобы глазами волчьими не сверкать и чтобы чего-нибудь сквозь зубы не шептать... И что за компания — понять невозможно!..

Никакого сомнения не было, что солдат служил именно в том самом доме, где хоть и есть мусорные кучи, но где есть и бельэтаж.

— Не печатают ли они какой-нибудь газеты? — спросил я швейцара.

— Как же! День и ночь печатают! И опять же таки и на бумаге все неприятность стараются сделать простому человеку.

Мнение швейцара подтвердилось как нельзя лучше.

Поезд подошел к Любани. Я и старик вышли. Он стал пить чай, а я пошел купить газету. Когда поезд тронулся опять, старик опять сидел против меня, и газета, которая была у меня в руках, опять заставила нас возобновить разговор и, к удивлению моему, разговор о том же самом «бельэтаже». Произошло это оттого, что в том номере газеты «Новое время», который я купил в Любани, на первой странице (№ 2231) в статейке «Охранители или опустошители?» шла речь именно об этом самом знаменитом бельэтаже.

Пробежав статейку, я невольно остановился на следующих строках: «...самое понятие «сильной власти» имеет для «Московских ведомостей» особый смысл, не всегда отвечающий тому представлению о сильной власти, какое дается примерами истории, политическими доктринами, наконец простым здравым смыслом». Припомним лишь несколько случаев из деятельности господ этого бельэтажа. Они, например, «были *недовольны* энергическим *проявлением власти, когда шло дело о прекращении* таких общественных бедствий, как занос *чумы* через Каспийское море или как *голодовка* в обширной полосе империи. Им казалось, что усилия власти, направленные к успокоению населения, роняют ее престиж. *Они хотели, чтобы свою силу власть проявила пренебрежением к тревожному состоянию страны, бездействием в виду опасности»*.

Прочитав эти строки, я немедленно перечитал их моему собеседнику, но тот, не привыкнув к газетному языку, попросил меня рассказать своими словами.

— Дело в том, — сказал я, — что когда была чума и голод в восьми губерниях, так эти господа, что на бульваре-то бельэтаж нанимают, у которых ты служил...

— Ну-ну-ну!

— Они стали советовать начальству, чтоб оно не помогало.

— Не помогало?

— Да! Потому, говорят, если оно снизойдет, будут слушать, о чем тебя просят, так его уважать не будут, а если говорят, ты не будешь обращать внимания, плюнешь, тогда, говорят, и будут тебя почитать!

— Так. Это все одно, как ежели бы в старые времена, при господах, околела, положим, у меня лошадь и пошел бы я к барину, а барин вместо того, чтобы мне подсобить, плюнул бы мне в лицо и прогнал?

— Выходит, что так!

— А ежели бы он мне в моей нужде помог и дал бы мне лошадь, так я бы, стало быть, должен — не почитать за это?

— Должно быть, что...

— Это кто же говорит?

— Да вот... они!

— Всё в той фатере?

— Там!

Старик вздохнул и сказал, покачивая головой:

— Н-не знаю!.. Какое-такое отечество они обожают, а, по-моему, так за этакие слова не только что снисходить... Господи ты боже мой! зла-то и так между нами много! На то и начальство, чтоб его не допускать, на то и власть огромная, чтобы добро делать... Ведь вот голодные-то, сказывают, восемь губерний — ну, что они сами-то могут? Кто ж, как не начальство сделает? У начальства все есть, и деньги есть, и прикажет оно, так его должны слушаться, все есть, чего у нашего брата нет... А они говорят: не помогать!.. Нет! не настоящие это господа! Вот помяните мое слово!.. Ну-кось, почитай-кось, что там еще про них сказано?

Я снова взял газету и прочитал:

— «Еще более разительный пример мы видели в недавнее время, когда в правительственных сферах обсуждались вопросы по улучшению быта крестьян. Важнейший из этих вопросов, об обязательном выкупе, они трактовали с такой точки зрения, что если *исключительные* интересы землевладельцев *не будут удовлетворены даже свыше полной меры,* то государству грозит серьезная опасность». Власть приглашалась бельэтажем проявить свою силу страхом перед возможным неудовольствием некоторой части землевладельцев, хотя бы в ущерб справедливости и разумно понимаемым государственным пользам.

— Ну, что это такое? — спросил старик.

— А это вот что такое, кажется. Начальство хотело выкупить крестьян, которые до сих пор еще не выкупились, а потом само уж получить с крестьян. Дело в том, чтоб раз навсегда покончить. Ну, а эти, что на «фатере-то» живут, говорят: «А по какой цене выплачивать будете?» Начальство им отвечает: «По оценке, как в 61-м году была сделана оценка». А «в фатере-то» это не понравилось!

— Мало?

— «Мало, говорят. А отдайте нам, во-первых, по новой оценке, потому земля теперь вдвое, втрое дороже стала». Начальство им говорит: «Переоценку в 1880 году покойный государь отменил». А они отвечают: «А мы, говорят, обижаемся. Давайте нам *«свыше полной меры»,* то есть выше чего земля теперь стоит.

Старик молчал и крепко думал о чем-то.

— Это что же будет? — сказал он наконец. — Предположим, купил я себе дом за тысячу рублей, будем говорить примером; через год пристроил я баню, и дом стал дороже; через десять лет выстроил я завод, он еще дороже. Что ж? старый хозяин все и будет ходить ко мне да взыскивать с меня: я, мол, продал тебе дом за тысячу рублей, а теперь он стоит пять, так позвольте мне четыре тысячи получить? Так, что ль?

— Право, не знаю. Выходит, как будто так.

— И все в той фатере?

— Все там.

— Нет! Не господа! Это не настоящие, уж поверьте моему слову, не настоящие! Это и мы, на что уж мужики,

и то понимаем, что и господ не надо обижать, платим, готовы, но чтобы господа бы мужиков обижали, нехорошо! Хорошие господа никогда этого не делали. Что следует — брали, а уж что не следует, «свыше полной пропорции», это уж нехорошо! Брали и нам помогали, а эти, вишь, кричат: «Не помогай!» Видал я господ, только не похожи были они на этих. Я сам бывший крепостной князя Александра Ларивоныча Васильчикова... изволите знать?

— Как же!

— Ну, так вот настоящий барин, не то чтобы что, вполне князь! Спрошу я вас, дозволил ли бы он, чтобы, например, не помогать мужику или присоветовать, чтобы с него брали сверх препорции? Дозволил ли бы он себе дебоширничать или нехорошими словами ругаться, а тем паче советовать: не помогай? Ну, какие же это господа? Фатеру, точно, что фатеру хорошую нанимают, нечего про это сказать, но чтобы почесть их за благородных — нет! этого не будет!

Старик долго и убедительно говорил на ту же тему, сравнивая этот ихний бельэтаж, его дела и желания с поступками и мыслями своего покойного барина, и упорно настаивал на том, что «это не настоящие господа». Эти речи старика до такой степени много напомнили мне прошлого и так мрачно оттенили этим прошлым настоящее, что я даже был рад, когда, наконец, поезд подошел к той станции, на которой мне пришлось выходить.

IV

Но рассказы старика о князе А. И. Васильчикове напомнили мне, что у меня дома уж несколько дней лежит книжка г. Голубева, посвященная описанию жизни и деятельности этого общественного деятеля. И вот я, под влиянием непокидавшего меня желания убедить самого себя, что права «ихнего бельэтажа» на гордость, самохвальство и настойчивость, с которою он умеет достигать своих, не всегда приятных для общества, целей, не имеют достаточных оснований и вообще могут быть оспариваемы вполне основательно, немедленно по возвращении

домой принялся за чтение книжки г. Голубева «Александр Илларионович Васильчиков».

Я прочитал эту книжку почти не отрываясь, и уж с первых страниц и затем на каждой строке и странице не мог не говорить себе: «Да, это вот бельэтаж, это благородство души, это благородство поступков». Нет сомнения, что я, как плебей, во многом не соглашался с почтенным общественным деятелем и, зная свою плебейскую среду, не раз говорил, что «это, мол, не подходит к нам», «от этого не будет толку», «это нам не к руке», но все-таки не могу выразить, до какой степени мне было приятно вновь переживать и вновь передумывать то же, что переживал и передумывал этот справедливо и гуманно думавший человек.

Посмотрите, в самом деле, какая непроходимая разница между этими «барскими барами», кричащими на весь свет: «мы бельэтаж, мы соль земли», и настоящим, благовоспитанным, никогда не обращавшим внимания общества на то, что он нанимает дорогую «фатеру». А. И. Васильчиков в самом деле барин, князь, что весьма не мешает помнить сомнительным аристократам *ихнего* бельэтажа. Не мешает им, что-то такое бормочущим о Пушкине и Лермонтове, принять к сведению и то обстоятельство, что кн. Васильчиков в молодости близко знал их, воспитывался произведениями этих писателей; на его глазах был убит Лермонтов, при нем же убили и Пушкина. Эти две смерти восторженно любимых писателей навсегда запечатлели в нем любовь к ним и решительно и навсегда оттолкнули его впечатлительную и благородную душу от того кружка тогдашних бельэтажей, где, по словам биографа, находились такие люди, которые открыто *«оправдывали убийство»*, извиняли волокитство и *обвиняли* поэта в излишней ревности. [1]

Общество, в котором одобряют убийство и обвиняют таких убитых, как Пушкин, общество, где Лермонтовы сами ищут смерти, несмотря на свои бельэтажи, несмотря на полную возможность занять в нем одно из самых первых мест, не влекло к себе А. И. «С ранней молодости, — говорит он, [2] — я почувствовал всю ничтожность

---

[1] Стр. 8.
[2] Стр. 13.

канцелярской службы и *необходимость узнать быт народа... в провинции, в деревне, где уныло и мирно течет трудовая жизнь»*. И вот, чтобы найти себе дело вне Петербурга, где, по его словам, «все представляется в ложном свете», он занимает выборную должность уездного предводителя дворянства. Первое, что начинает мучить его при столкновении с тем обществом, в котором ему приходится жить и действовать и представителем которого он избран, это, *во-первых, безнравственность* тогдашних владельцев и беспомощность крестьян... «Я производил, — говорил он, — несколько дел о распутном поведении владельцев, сопровождавшихся самыми отвратительными преступлениями. Но, к стыду нашего времени, должен сознаться, что редко находил возможность обвинить преступника; показания крестьян против господ не принимались к сведению, а соседи отзывались незнанием или даже одобряли поведение того же самого барина, которого они считали мерзавцем и подлецом».

Невозможность для крестьян добиться правды и внимания к себе — также характерная черта того времени — возмущала его едва ли не больше общественной безнравственности. Он с глубоким негодованием рассказывает, как губернское начальство требовало примерного наказания бунтовщиков-крестьян, весь бунт которых заключался в том, что они, лет десять прожив на полной свободе, согласно законному духовному завещанию покойного барина, вдруг неожиданно опять оказались крепостными. «И действительно, — говорит он в глубоком негодовании, — наказание было примерное: десять дней крестьян усмиряли всякими средствами, добиваясь от них повинной, но, не добившись ее, пятнадцать человек увели под прикрытием целой роты прямо в Сибирь». Зная те круги общества, которые порицали Пушкина, ознакомившись с безнравственностию тогдашнего общества, считавшегося интеллигенцией, и глубоко тронутый бесправием народа, он с искренним негодованием говорит в своих заметках о тех землевладельцах, которые бросают на произвол управляющих свои обширные поместья, безжалостно относятся к участи миллионов своих крестьян, предпочитая строить себе дачи из барочного леса, чтобы быть ближе к тем сферам, где раздаются пироги.

И вот, начиная с крестьянской реформы и непрерывно в течение двадцати пяти лет, кн. Васильчиков упорно преследует, насколько возможно, одну только цель — устроение освобожденного народа «по правде и справедливости». Проследить эту деятельность подробно и рассказать ее шаг за шагом мы не имеем никакой возможности. Мы отметим только то, что считаем самым главным в этой деятельности, самым существенным, и сопоставим мнения кн. Васильчикова, касающиеся этого главного и существенного, с мнениями знаменитого бельэтажа.

Время, которое настало после освобождения крестьян, и задачи, которые оно поставило на очередь, кн. Васильчиков определяет таким образом:

«Для нас в России нет предмета более поучительного и вместе с тем более современного, как исследование тех превратностей, через которые прошло землевладение в Европе. Оно *своевременно* потому, что мы именно вступаем с освобождения крестьян в тот период общественного устройства, *когда закладываются главные основы социального быта.* Оно поучительно потому, что в истории европейского землевладения дóлжно проследить и длинный ряд грубейших ошибок, насильств, несправедливостей и правильный ход цивилизации» (стр. 70). Заметив появление в народной среде зачатков пролетариата и ужасаясь, что признак этот грозит развитием имущественного неравенства, развитием нищенства и безземелья и вообще того строя, «который процветает в Западной Европе» (стр. 104), он говорит: «Этот момент надо схватить и принять меры к предотвращению опасности. Вопрос этот важен *именно в настоящий момент* нашего внутреннего устроения, ибо не надо думать, чтобы какое-либо правительство или общество могло *по своему произволу выбирать удобное время для организации поземельной собственности. Во всех государствах* наступает известный момент после свержения ига крепостной или феодальной зависимости, когда внутренние отношения граждан к земле слагаются в известные формы и когда предусмотрительное правление может направить эту организацию и, не насилуя народных нравов и стремлений, не нарушая ничьих прав, дать им разумные руководства.

Но *этот момент очень краткий, и, упустив его*, случай потерян навсегда; мирный исход навсегда закрыт, и остается только путь, которому и следуют европейские государства, с беспрестанными колебаниями взад и вперед».

Что же дóлжно было делать, по мнению кн. Васильчикова, чтобы трудный и опасный исторический момент, в который вступила Россия, был пережит «без нарушения чьих бы то ни было прав» и без «насилия народных нравов»? По мнению кн. Васильчикова, огромная задача, заданная России крестьянской реформой, могла быть разрешена только при помощи:

Во-первых, *народной школы, во-вторых, самоуправления, и, в-третьих, гласного суда* (стр. 48), и притом введенных не в разбивку, а *единовременно, сразу*, так как только введенные сразу они положат прочное основание самоуправлению вообще.

«Народное образование есть *вопрос жизни и смерти* для народов нашего века, и величие современных держав зависит от числа грамотных еще более, чем от числа солдат» (стр. 48). «Коль скоро дело заходит о преобразованиях, которые им (бельэтажу) не по сердцу, они прибегают к аргументу о неразвитости нашего населения и предлагают *предварительно* заняться *обучением* народа, подготовлением, рассчитывая довольно верно, что эти *предварительные* занятия займут целые поколения и отсрочат надолго ненавистные им реформы» (стр. 38). «Мы не беремся доказывать им (бельэтажу), *что народ воспитывается*... не в *одних только школах, но гораздо более и действительнее в гласных судах и собраниях*, что самоуправление точно так же, как и грамотность, *составляет элементарное образование* народа... они это знают и поэтому опасаются этого движения к свету и порядку» (стр. 38). «Если не будет принято мер к правильному образованию народа, *то мироеды их* (крестьян) *объедят, а пьяницы разорят»* (стр. 26).

Итак, школа и самоуправление неразрывны в *воспитании* народа. О «самоуправлении», как известно, кн. Васильчиков написал целое большое исследование, в котором разработал вопрос во всех подробностях; касаться этих подробностей мы не будем опять-таки потому, что нам не позволяют этого тесные пределы нашей заметки.

Сделаем поэтому только одну, самую существенную для нас, справку:

«Главное и *высшее* значение земского самоуправления *заключается именно в том,* что оно учреждает *законный порядок* для обсуждения так называемых социальных вопросов, обсуждения, возможного только в местных собраниях и сходках всех обывателей» (стр. 45). «В развитии этой формы управления, *выражающего правильное взаимодействие* народных желаний и местных властей, в пределах закона и под охраною суда», кн. Васильчиков видит: «*решение* будущей *судьбы* не только русского и всех прочих современных обществ, но и разрешение *грозной задачи:* должны ли народные массы окончательно подпасть под руководство революционных партий или же, при правильной организации местного самоуправления, могут ожидать постепенного разрешения вопросов образования, кредита, уравнения податей и повинностей» (стр. 45).

Если бы мы хотели входить в подробности, в которых должна бы и могла проявиться основная идея «устроения» так, как ее понимал кн. Васильчиков, в применении к ежедневным и мелким нуждам народа, мы бы никогда не кончили выписок и цитат из книги, которою пользуемся. Ограничимся поэтому тем, что приведено выше. Нам известен взгляд кн. Васильчикова на послереформенное время вообще, известна многосложность задачи, выпавшей на долю общественного деятеля, известны главные факторы, при которых задача эта могла бы быть разрешена, — школа и самоуправление; известны, наконец, и некоторые формы практического применения основной идеи устроения среди народной массы. Этого, по нашему мнению, вполне достаточно для того, чтобы читатель мог представить себе нравственный облик человека, о котором идет речь. Вы видите, что это человек не своекорыстный, честный, развитой, великодушный, умный, добросовестный. И можете представить, ни в чем он не имел успеха!

За исключением ссудо-сберегательных товариществ по части сельского кредита, ни одна его мысль, ни одно его соображение или указание не вошло в жизнь, ни в чем не осуществилось. Да и ссудо-сберегательные товарище-

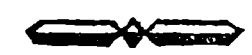
ства, о которых он сам говорил, что они «составляют только *первую* ступень общей организации народного кредита, *который надо* постепенно *расширять в виду нарастающих* нужд сельского хозяйства» (стр. 104), — и они, введенные с огромными ограничениями, оторванные от малейшей возможности придать им характер учреждений, имеющих в виду общественную пользу, а не пользу мироедов и кулаков, я думаю, не могли не огорчать их устроителя по своим, вовсе неожиданным для него, результатам. Но и такие осколки от большого плана «народного кредита», и те, как свидетельствует г. Голубев, при самом своем появлении на свет были встречены весьма недружелюбными людьми: «Независящие обстоятельства доходили до того, что в 1872 году, когда комитет о ссудных товариществах пожелал устроить на политехнической выставке витрину для продажи своих изданий «о том, как можно бы избавиться от ростовщиков», «артели рабочих», так желание комитета встретило целую массу затруднений, начиная с того, что для этих книг было отведено место среди машин, а когда на витрине была прибита вывеска, то полиция усомнилась в легальности комитета и, *несмотря на представленные документы, доказывающие, что комитет получает даже правительственную субсидию,* настояла на том, чтобы вывески не было. Личное посещение выставки министром финансов Рейтерном, публично заявившим комитету благодарность, заставило весь враждебный витрине синклит переменить мнение».[1] «Незадолго до своей смерти, — говорит биограф, — кн. Васильчиков получил высочайшую благодарность за деятельность по народному кредиту, красноречиво свидетельствующую о том, насколько эта деятельность была *социалистическою,* каковою желали признать ее слишком усердные поборники порядка, эти настоящие темные, вредоносные силы России».[2] Но опять-таки повторяем, эти попытки устроения кредита сам кн. Васильчиков считал только *первою* ступенью... Что ж бы было, если бы он взялся за вторую?

---

[1] Стр. 101.
[2] Стр. 103.

V

Отчего же такая немилость? Откуда идет это расстройство? Да все оттуда же, из «ихнего» бельэтажа; бельэтаж ихний начал действовать, и не то чтобы действовать, а прямо уж спасать. Крики: «мошенники», «негодяи» уже начали раздаваться в самую раннюю весну послереформенного времени. Говорить подробно о всех средствах спасения, какие пускал в ход вышеупомянутый бельэтаж, мы не имеем возможности; следовало бы перерыть и подробно исследовать все проделки этих спасителей: труд огромной общественной важности, сию минуту, однакож, ни для кого не возможный. Поэтому скажем только, что если было на Руси за последние годы сделано для нее что-либо доброго и в самом деле необходимо важного, так все это вышло не из *ихнего* бельэтажа.



ПИСЬМО В ОБЩЕСТВО ЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИЙСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ[1]

Два с половиною месяца тому назад я имел честь получить уведомление от Общества любителей российской словесности об избрании им меня своим почетным членом.

Высокая честь, которой удостоило меня почтенное Общество, была для меня так неожиданна, велика и во всех отношениях многозначительна, что я не решился тотчас же отвечать на это извещение. Я чувствовал, что при обычном недосуге, а главное, повторяю, именно вследствие неожиданности и многосложности полученного мною впечатления, моя торопливая благодарность могла быть высказана тогда только в самых официальных выражениях, а я этого никак не желал.

---

[1] Во время печатания этого письма Г И. Успенского мы получили от последнего небольшое дополнение, которое и помещаем в примечании по его желанию:

«Около 24 июля и особенно около 14 ноября прошлого года и в промежутке времени между этими числами, также и после 14 ноября, до настоящего времени, я получил с разных концов России много самых сочувственных мне писем и телеграмм за подписью более двух тысяч лиц разного звания и общественного положения. Я положительно не нахожу слов, чтобы не только достойно отблагодарить моих читателей за такое неожиданное ко мне внимание, но и сам не могу еще разобраться в многосложности пережитых мною за это время впечатлений. Ответ моим читателям я дам подробный и искренний тогда, когда буду в состоянии это сделать. Теперь же я могу сказать только одно: моя благодарность так же неизгладима в моем сердце, как неизгладимо пережитое мною впечатление. Г. У.». (*Примеч. ред. журнала «Русская мысль»*).

Мне хотелось поблагодарить почтенное Общество таким образом, чтобы оно могло видеть, как именно понимаю я сделанную им мне великую честь, и могло бы убедиться, что моя глубокая благодарность имеет существенные и важные для меня основания.

На выполнение этого желания требовалось некоторое время и несколько спокойных часов, и вот почему я предпочел аккуратность отправки официальной благодарности — благодарности хотя и запоздалой, но искренно и тщательно обдуманной.

Я очень хорошо знаю и вполне умеренно оцениваю как размеры моих литературных способностей, так и тот круг наблюдений, который доступен был мне по моему развитию и общественному положению. И то и другое ни в каком случае не может идти в какое бы то ни было сравнение с размерами талантов, кругозора и задач тех светил русской литературы, имена и труды которых всегда по достоинству оценивались московским Обществом любителей российской словесности.

Вот почему я искренно рад верить, что почтенное Общество, присоединяя мое имя к числу других имен своих почетных членов, не желало, хотя бы даже только в формальном отношении, воздавать мне чести неподобающей и, ставя меня в ряды таких талантов и дарований, среди которых мне, по совести, быть не место, — делало это из побуждений несравненно более умеренного свойства и незатруднительных для моего понимания.

Я думаю, что догадки мои о причинах оказанного мне Обществом любителей российской словесности внимания не будут особенно ошибочными, если я попытаюсь выяснить их, основываясь на мнениях о моей литературной деятельности, высказанных мне в многочисленных письмах и телеграммах, которыми почтили меня мои читатели.

Но из всех многоразличных суждений моих читателей о моей деятельности я, для краткости и ясности дела, позволю себе остановиться только на таком из них, которое, во-первых, лично мне кажется непреувеличенным, во-вторых, составляет более или менее существенную черту всех вообще мнений о моей деятельности, высказанных в письмах, и, в-третьих, выражено в самых простых и ясных словах. Такое простое, ясное, понятное мне

мнение выражено в письме, присланном мне *от 15 человек рабочих*, то есть от людей, которые только что, как говорится, прикоснулись к *книге* и думают о ее достоинстве без всяких иных соображений, кроме соображений о действительной пользе, которую этим простым людям приносит та или другая книга.

Чтобы почтенному Обществу было видно, что мнение о полезной *книге* высказано точно простым человеком, а не навеяно или внушено кем-нибудь не причастным к интересам жизни простого народа, я приведу из упомянутого адреса несколько отрывков, характеризующих как среду, из которой послышалось мнение о хорошей книге, так и самое это мнение:

Стыдно нам, русским рабочим, делается тогда, когда мы всюду слышим похвалы заграничным вещам. Говорят, что их вещи и дешевле и лучше и что только за границей изобретают хорошие машины и другие вещи. И нам обидно становится. Чем хвалить заграничное и порицать русских рабочих, не лучше ли устроить школы, где могли бы мы, рабочие, учить физику, механику. Вот тогда бы мы, русские рабочие, не хуже заграничных могли бы сделать что угодно. Вот оттого-то и обидно слышать порицание, в чем мы не виноваты. И грустно и тяжко на душе... Что-то темно и непонятно.

Я думаю, что так может писать и говорить только действительно простой, рабочий человек, и вот как этот простой человек рисует свое незавидное положение, от которого — как ни покажется это удивительным — спасает его только книга:

Как подумаешь о себе и своей доле, невесело станет на сердце. Видим себя одинокими, беспомощными... Мы видим, как иные бессердечные люди на каждом шагу унижают нас и наших товарищей, смотрят на нас с презрением, называют глупым народом и в своих словах умышленно выставляют нас лентяями, пьяницами и считают рабочего последним человеком. Своим черствым сердцем не умея нас понять, они судят о нас по давно прошедшему времени и думают, что мы и теперь как были в крепостное время, что мы, как они, словно столб, врытый в землю, подгниваем на одном месте. Они своими слепыми глазами видят в нас только грязных, неуклюжих рабочих. Пора им перестать видеть в нас непонятное стадо глупых людей и говорить, что мы неспособны понимать правду, не нуждаемся в образовании, не любим читать хорошие, дельные книги. Пора перестать говорить нам, что мы должны думать только о еде и работе.

На всех шестнадцати страницах (в четверку) письма рабочих только в двух-трех местах, и только слегка,

упоминается о невзгодах жизни в материальном отношении, о нужде и бедности. Самым же главным несчастием простого рабочего человека оказывается невежество, темнота, отсутствие нравственной поддержки, дающей возможность ощущать в себе человеческое достоинство. И вот эту-то нравственную поддержку, как оказывается, простой человек нашел, по словам адреса, в «хорошей» книге. Чем же собственно хорошая книга помогает простому рабочему человеку? В ответ на это выписываю еще небольшой отрывок:

В праздничные дни и по вечерам мы полюбили читать хорошие книги, и вечер проходил незаметно. Довольные чтением, мы расходились с волнением в душе, и забывалась на время тяжелая доля рабочего, жизнь на заводах и фабриках, тяжелая, обидная, бесправная, полная бранью и унижением. Мы чахли в ней, чахли и наши дети по фабрикам и мастерским. Но вера в добро и правду не покидает нас, облегчает измученное сердце, и надежда в душе загорается. Утром (после вечернего чтения) мы идем на работу, *но сердце весело, потому что теперь вокруг себя мы видим все ясно и понятно,* и жаль нам становится своих товарищей, которые живут в темноте и невежестве, и мечутся эти горемыки, проклиная долю рабочего, проклиная себя и свою неповинную семью. И верится нам, что настанет хорошее время, когда все рабочие разовьются, поумнеют и полюбят хорошее чтение, будут дружно жить и любить товарищей, убавится тогда пьянство и разгул, и тогда нас, рабочих, все станут уважать.

Вот какое значение простой человек придает книге. Не от нее он ждет, по крайней мере сейчас, изменения в своем личном положении. «Книга» ничего не изменяет в его труженической жизни и материальной обеспеченности. Он и после прочтения хорошей книги, как видим, ранним утром, «чем свет», так же идет на работу, как и тот его несчастный товарищ, который вчера вечером только пьянствовал с горя. Тот, кто не пьянствовал, а читал, счастлив именно только тем, что читал, что ему *стало ясно и понятно вокруг себя*, тогда как тот товарищ его, который не знал удовольствия провести вечер с книгой, несчастен и достоин жалости потому, что, страдая, не понимает своего положения и испытывает только беспомощность и одиночество.

Для этой хорошей книги они, по словам составителей письма, *добрались* не вдруг, а после долголетнего одурманивания себя лубочною литературой.

Мы, темные люди, ничего об этом (о хорошей книге) не знали, а шли на базар и покупали те книжки, которые предлагал нам услужливый разносчик. Мы верили его похвалам, которые он рассыпал своему товару. И вот теперь, когда мы узнали хорошие книги и немного развились, когда в праздничный день идем по базару, то с грустию на сердце видим, что есть еще много нашего брата, который пробавляется этими книжонками. Сколько прошло времени, сколько пролетело юных годов бесплодно, пока мы сами, *своим умом* и желанием к развитию, а иногда и с помощию добрых людей, *добрались* до хороших книг, которые открыли нам глаза, показали свет и правду. Мы сумели сами для себя извлечь из этих хороших книг для себя пользу. *Мы научились думать о своей жизни, о своих товарищах, о жизни разных людей,* научились отличать добро от зла, правду от лжи.

Вот в число таких-то книг, по словам письма, между многими другими хорошими книгами попали и мои, и характеристика того, что́ именно в этих книгах показалось простым людям достойным внимания, выражена такими словами:

Мы, рабочие, грамотные и неграмотные, читали и слушали ваши книги, в которых вы говорите о нас, простом сером народе. Вы о нем говорите *справедливо,* так что мы думаем, кто бы из образованных людей ни прочитал ваши книги, всякий *подумает* о нас, о нашем темном и светлом житье, если только у этого человека доброе сердце.

Никаких иных дополнений простой человек к этой характеристике не прибавил и в этом отношении, повторяю, вполне совпал с сущностью всех прочих сочувственных мне писем. Действительно, «желание писать *справедливо*» всегда было во мне, равно как и желание, чтобы образованный человек *подумал* «о темном и светлом житье простого человека».

Это действительная правда! И если высокоуважаемое Общество любителей российской словесности нашло возможным оказать мне высокую честь, избрав своим почетным членом — именно только за эти простые цели, руководившие мною в моей литературной деятельности, то оно должно само видеть, как глубока, искренна и чистосердечна должна быть ему моя благодарность: честь, сделанная мне, есть, вместе с тем, приветствие и поощрение того рода литературы и тех ее участников, которые руководствуются такими же простыми целями, а главное, приветствие и тому простому читателю, который только что *добрался* до хорошей книги.

Что этот читатель не остановится на первых, одобренных им книгах, а пойдет дальше, можно видеть также из следующих слов простых людей:

Теперь мы видим, сколько есть добрых людей и сколько есть прекрасных книг! Их столько, что нам читать и не перечитать во всю жизнь!

Но читать эти книги *добравшийся* до них простой человек будет наверное, и, следовательно, книга, то есть русская и общечеловеческая «словесность», как видим, уже имеющая нового пришельца читателя, будет иметь его в огромном количестве.

Ввиду всего этого я, принося почтенному Обществу еще раз личную мою благодарность, глубокую и искреннюю, не могу с своей стороны ничем иным приветствовать его, как только радостным указанием на эти массы нового, грядущего читателя, нового, свежего «любителя словесности».

СПб.
6 февраля 1888 г.

СМЕРТЬ В. М. ГАРШИНА

I

В бесконечной веренице всяких степеней и качеств тех психических страданий, которыми изнурено почти все современное культурное общество, есть один род такого психического недуга, особенности которого, мне кажется, весьма приметны в жизни В. М., главное, в его удивительной смерти. Этот род недуга, именуемый «параличом воли», выяснен в одном из научных писем г. Эльпе, [1] в его возникновении и последствиях, следующим образом: «Всякое *психическое состояние,* чем бы оно ни порождалось, *стремится перейти* в движение, *во внешнее действие,* характеризующееся разнообразными изменениями во всех так называемых физиологических отправлениях нашего организма». «Эти отправления суть *внешние показатели внутреннего психического состояния.* Физиологические внешние отправления понижаются или повышаются в своей интенсивности сообразно с интенсивностью психического настроения, стремящегося перейти во внешнее действие». Но представьте себе, что вследствие каких бы то ни было причин (о них речь будет ниже) это *стремление* (отразить психическое состояние во внешнем движении, поступке) сокращается до нуля, тогда становится невозможной и зависящая от психического стремления внешняя деятельность, например деятельность мышечной системы. При этом как *«мышечная система, так и все органы движения могут пребывать в совершенно нормальном состоянии, в таком же*

---

[1] «Нов<ое> вр<емя>», <18>88 г., № 4294.

нормальном состоянии могут находиться и умственные способности, но за отсутствием *стремления* выразить потребности психического настроения в действии — действия этого не будет». *Паралич воли* есть поэтому прекращение, *смерть самого желания выразить* в действии то, что наполняет душу, причем, однакоже, «могут сохраняться все умственные способности в совершенно нормальном состоянии».

Человек, захваченный этим недугом, может переживать удивительно мучительные минуты...

«Он желает и внутренно стремится, как никогда прежде, исполнить то, что считает возможным, что считает своей обязанностью, *но его умственная сила неизмеримо превосходит не только* способность действовать, но даже *пытаться* действовать... он понимает, он видит свой долг, — но не может его выполнить...»

«Больной сознает необходимость деятельности. Рассудок говорит ему, что это нужно сделать», физическое состояние организма нисколько тому не препятствует, мышечная система здорова, органы движения также, стоит только *попытаться,* но этого-то побуждения, *стремления* и нет.

«Знаю, что это нужно, — говорил Эспиролю один из его пациентов, страдавший параличом воли, — и не могу! Ваши советы разумны, и я желал бы последовать им, *но заставьте меня хотеть это сделать*, так хотеть, чтобы я не мог этого не сделать. Я вижу, что у меня нехватает только *воли желать,* так как рассудок мой сохранен и я знаю, что я должен делать».

«...Некоторые из нерешительных характеров, хоть и очень немногие, бывают таковыми именно вследствие *богатства идей:* сравнения мотивов, рассуждение, взвешивание последствий образуют чрезвычайно сложную мозговую работу, в которой стремления к действию задерживаются друг другом...»

«...Нет такого ощущения, чувствования, такого, наконец, впечатления, которое бы не стремилось перейти в действие, которое бы не отражалось на мышечной системе. Но если вследствие какой-нибудь причины соотношение это нарушено, тогда мышечная система, при самом нормальном, здоровом состоянии, мало того, что может оказаться непригодной для самых насущных своих

назначений, — *но может породить ряд действий,* в высшей степени нецелесообразных *и прямо противоположных тем, которые желательны и необходимы».*

Вот в каком облике рисуется нам человек, отягченный недугом паралича воли, и если мы на минуту припомним кое-какие подробности ближайших к смерти Гаршина минут, то не можем не увидеть, что в обстоятельствах этой смерти есть все признаки этого недуга. Как бы ни было неотразимо для Гаршина медленное, упорное развитие его пессимистических идей, — сильные впечатления его личной жизни были для него настолько благоприятны, что самое логическое развитие в нем пессимистической мысли о суете сует вообще не могло бы лично его убедить в том, что он-то и должен отдать себя на жертву логически развившихся идей. Каждая написанная им строчка имела внимательного и любящего читателя; общество, в котором он жил, было общество, почти все состоявшее из людей, которые его понимали, общество лучшее и, кроме того, любящее его. Все это, — если мы вспомним кое-что из характеристики описываемого психического состояния, — не только не звало его к смерти, не доказывало ему, что все суета сует, — но, напротив, звало жить, обязывало действовать, переполняло его мысли обилием идей, и он, — как больной Эспироля, — знал, что нужно делать, что дела много, но не мог ощутить желания, *хотения,* утратил способность *стремления* отражать в каком-нибудь действии обилие мыслей; мыслей была тьма, и сознание обязанностей огромное, но все это было как бы закупорено в закупоренном сосуде; он не только не мог логически додуматься и дойти во имя пессимистических идей до мысли о смерти, — но, напротив, знал, что ему надобно откупорить самого себя, как больной жаждал поставить себя в положение, которое бы разбило эти крепкие стенки бутылки. В убеждении выйти из такого положения он собрался ехать на Кавказ, и накануне его смерти, за несколько часов до нее, в его квартире было уже все уложено, завязано, упаковано. Он чувствовал, что его, как того же больного Эспироля, надо *заставить хотеть,* надо взять, посадить в вагон и увезти. Вот его желания, *необходимые ему,* желательные ему всем обилием мыслей, но недуг заставляет его поступить прямо *противоположно*

этим истинным его желаниям. Он *знает*, что ему надо жить, но нет в нем тени *хотеть* жить: с обилием мыслей, с обилием доводов, убеждающих его в этой необходимости жить и исполнять свои обязанности, он падает с лестницы, как камень, не зная, что с ним творится, и думая, наверно, о том, что надо жить, ехать на Кавказ, что все готово. Это — как бы одна голова, живущая полною мыслей и желаний, намерений, но лишенная всего остального аппарата человеческого организма, покоряющаяся внешнему толчку, двигающаяся сообразно его силе и катящаяся туда, куда влечет ее этот толчок, тогда как мысли, наполняющие голову, не имеют с этим толчком ни малейшей связи.

Я знаю, что сравнение, сделанное мною, грубо и неприятно, — но в таком грубом виде, я думаю, легче удержать в памяти общее представление об этом недуге, а это необходимо ввиду того, что ниже мы попытаемся выяснить признаки именно этого недуга в жизни и в литературной деятельности В. М. Теперь обратимся к выяснению вопроса о том, какие именно причины могут довести нормального, физически здорового человека до такого невероятного психического состояния?

Причин, перечисленных г. Эльпе в его научном обозрении, указано великое множество — от неумеренного употребления опия до чуткости к страху и т. д. Но мы здесь их перечислять не будем, а остановимся только на одной, имеющей для нас самое существенное значение.

«Когда ребенок, — говорит г. Эльпе, — не знает с детства себе другой клички, кроме злого, гадкого, когда отовсюду он слышит себе предсказания: «из него выйдет разбойник», «быть ему в каторге» и т. д., то нередко он и действительно становится таковым: достаточно ничтожного повода, чтобы внушенная идея проложила себе путь в жизни. Точно так же бывает и тогда, когда ребенку внушается недоверие к своим силам, способностям, когда это внушение поддерживается в нем всем ходом его воспитания; в душе ребенка зарождается сомнение в своих силах; ему кажется, что он действительно «не может» и не способен, и затем является сознание бессилия, переходящее в слабость действия». Указав, таким образом, значение внешних влияний на отдельную личность, г. Эльпе говорит и о значении таких же внешних влияний и в психическом настроении общества и, следовательно,

каждого живущего в этом обществе человека. «Когда обществу устами его авторитетнейших представителей внушается, на разные варианты, но всегда *настойчиво,* мысль о его слабости, беспомощности; когда печатным словом и иными способами с особенным усердием бракуется всякое начинание своего, родного; с особенным удовольствием подчеркивается и размазывается та или другая неудача; поднимается на смех малейшая попытка к самостоятельности; когда атмосфера, в которой живет и дышит общество, насыщается недоверием к своим силам; когда только и слышится: куда нам, где нам; тогда это внушаемое недоверие исподволь переходит в *действительное бессилие* и постепенно понижает энергию общественной жизни — деятельности, приучает общество к мысли, что оно действительно беспомощно, что оно не может жить без помочей». Оставляя в стороне особенность и качества тех внушений, которые отмечает г. Эльпе, и взяв из вышеприведенного отрывка только то, что объясняет факт нравственного общественного бессилия, — мы увидим, что вообще тон общественной жизни, влияния, преобладающие в нем, однообразие и, главное, *настойчивость* этих влияний, *разнообразие средств,* которыми они проводятся в общество, *и* непрестанное *однообразие в сущности* этих влияний, — все это может развить в человеке, живущем среди этих влияний, точно такие же симптомы психического недуга, точно так же парализовать волю, привести это расстройство к тем самым последствиям, к которым приводят и другие, перечисляемые г. Эльпе, причины недуга: опиум, страх и т. д. Все эти выводы г. Эльпе делает, ссылаясь на авторитетные европейской науке имена, — и мы, простые смертные, не можем сделать ничего иного, как принять их за выводы, достоверные и для нас поучительные. Попробуем же теперь, пересмотрев факты жизни и литературной деятельности В. М., — отметить и в том и в другом значение внешних общественных настроений и веяний, которым он, как человек известного времени, родившийся и живший в известные годы, невольно должен был, как и все его сверстники, подчиняться и покоряться. Не значат ли что-нибудь эти веяния и внешние влияния *известного времени* в развитии в нем того недуга, который довел его до возможности *поступать совершенно противоположно желательному?*

II

Вопрос о наследственности в психическом расстройстве Гаршина не подлежит никакому сомнению, и расстройство это играет как в жизни, так и в смерти В. М. весьма существенную роль. Спрашивается: какого же качества должно быть это нервное расстройство, если человек, подвергавшийся ему периодически, периодически же был совершенно нормален и мог быть даже вполне здравомыслящим человеком, — да еще замечательным писателем? Где и в чем тот поворотный пункт в сознательной жизни В. М., на котором здравомыслящий художник превращается в нездравомышленного помешанного? К сожалению, для уяснения этого вопроса у нас нет под рукою надлежащего материала, и мы должны довольствоваться только небольшой заметкой врача-психиатра д-ра Сикорского, появившейся в 1884 году в редактируемом профессором г. Мержеевским журнале «Вестник клинической и судебной психиатрии и невропатологии». Впрочем, заметка эта, хотя и составляет единственный материал, при помощи которого мы можем добраться до уяснения себе *качества* нервного расстройства В. М., но и ее нам будет совершенно достаточно в виду наших соображений, так как она прямо становит дело на надлежащую почву.

В этой заметке д-р Сикорский, вполне компетентный врач-психиатр, обращает внимание врачей-товарищей на октябрьскую (1883 г.) книжку «Отеч<ественных> записок» и на рассказ В. М. «Красный цветок», в котором он нашел «чуждое аффектации и субъективизма, правдивое описание маниакального состояния, сделанное в художественной форме». «Изображение общего маниакального возбуждения со смутными экспансивными идеями, которые еще не приняли определенной конкретной формы и представляются больному в виде неясных силуэтов», г. Сикорский называл *классическим.* «В особенности рельефно представлено совместное существование двух сознаний — нормального и патологического». Нередко можно встретить отпечаток клинической правды в «изображении светлых промежутков и перехода от них к болезненному приступу». «Общее чувственно-двигательное возбуждение маниака нарисовано меткими чертами». «Ассоциации

болезненных идей подмечены автором и прослежены с поразительной тонкостью. Эта сторона рассказа с психиатрической точки зрения имеет высокие достоинства». «Но всего нагляднее раскрыта удивительная механика ассоциативных репродукций при переходе больного из периода маниакального возбуждения в период, выражающийся фиксированными идеями бреда». Вообще д-р Сикорский считает рассказ «Красный цветок» замечательным психологическим этюдом, прибавляя, что вообще описания, сделанные талантливыми людьми, имевшими несчастье перенести душевную болезнь, имеют для науки особенную ценность. Точно так же и рассказ Гаршина: он «представляет собою *не просто сырой материал*, годный для истории болезни. Это скорее *картина болезненного самочувствия,* освещенная тонким, проницательным анализом художественного таланта».

Этот коротенький пересказ статьи г. Сикорского, конечно, не исчерпывает ее содержания во всей полноте, но и по этим незначительным чертам, указанным врачом-психиатром, мы уже можем до некоторой степени судить о *качестве* психической болезни Гаршина. Он, как оказывается, будучи психически болен, *может удержать в памяти* все мельчайшие подробности переходных ступеней недуга, то есть *до точности помнить* весь ход собственной своей болезни, наблюдает *сам себя*, как самый лучший врач-психиатр. Уже одно это качество психического расстройства г. Сикорский ценит чрезвычайно и указывает, как на редкий случай, на профессора Лорда, который *впервые* смог сделать опыты подобного самонаблюдения, «что приобрело ему бессмертную известность».

Но ведь Гаршин в своем «Красном цветке» сумел упомнить и удержать в своем внимании переходные моменты *не только болезненного состояния.*

Читая такую вещь, как «Красный цветок», мы, кроме тонких наблюдений над симптомами психической *болезни*, видим, что источник страдания больного человека таится в условиях окружающей его жизни и что оттуда, из жизни, страдание вошло в его душу. Видим, что жизнь оскорбила в нем чувство справедливости, огорчила его, что мысль о жизненной неправде есть главный корень душевного страдания и что нервное расстройство,

физическая боль, физическое страдание только осложняют напряженную работу совершенно определенной мысли, внушенной впечатлениями живой жизни. Огорченная *жизнью* мысль бьется, как бьется перелетная птица с ветром, с туманом, — бьется с симптомами физической болезни, но она, эта мысль, как птица, знающая цель своего полета, — не искажается этими встреченными на пути ее полета препятствиями, а старается пробиться сквозь них, устремляясь к известной цели, в данном случае к похищению цветка, к истреблению его как источника всякого зла. Одно уже то обстоятельство, что психически больной сосредоточивает свое внимание не просто на цветке, а именно на *красном*, и что именно этот цвет обнаруживает неразрывную связь просто физического страдания с страданием нравственным, возбужденным жизнью, впечатлениями пережитого, окрашенными в этот именно красный, кровавый цвет, — уже одно это доказывает, что живые впечатления действительной жизни, известного тона, свойства, смысла и качества, — имеют в психическом расстройстве такого человека, как Гаршин, первенствующее перед физическим расстройством значение. Как на пример того, что Гаршин не всегда повиновался тем пессимистическим идеям, которые проповедовал, и не всегда смотрел на окружающую жизнь как на прах и тлен, укажу на следующий поступок В. М., сделанный им весною 1880 года.

Несколько писателей собрались где-то в Дмитровском переулке, в только что нанятой квартирке, не имевшей еще мебели, пустой и холодной, чтобы переговорить о возобновлении старого «Русского богатства». В числе прочих был и В. М. Его ненормальное, возбужденное состояние сразу обратило на себя всеобщее внимание. Никто не видал Гаршина в таком виде, в каком он явился в этот раз. Охрипший, с глазами, налитыми кровью и постоянно затопляемыми слезами, он рассказывал какую-то ужасную историю, но не договаривал, прерывал, плакал и бегал в кухню под кран пить воду и мочить голову. На его беду, в ту самую минуту, когда он только что с жадностью наглотался холодной воды, в кухню вошел матрос с мешком на плече и предложил купить рижского бальзама. Гаршин немедленно купил бутылку, откупорил ее, налил целый стакан, опустошил его как воду,

сам, очевидно, не понимая, что такое с ним творится, и, видимо, не зная, как развязаться с ужаснейшим душевным расстройством. Все это происходило в течение не более пяти минут, и только тогда, когда кто-то, из знавших Гаршина ближе меня, увез его домой, я мог спросить: что такое с ним случилось?

А с Гаршиным было следующее: накануне того дня, когда я видел его в новорождавшейся редакции, он ночью, в три часа, также для храбрости, выпил вина (вообще он совершенно не пил вина), почти ворвался к одному высокопоставленному лицу в Петербурге, добился, что лицо это разбудили, и стал умолять его на коленях, в слезах, от глубины души, с воплями раздиравшегося на части сердца о снисхождении к какому-то лицу, подлежавшему строгому наказанию. Говорят, что высокое лицо сказало ему несколько успокоительных слов, и он ушел. Но он не спал всю ночь, быть может весь предшествовавший день; он охрип именно от напряженной мольбы, от крика о милосердии, и, зная сам, что, по тысяче причин, просьба его дело невыполнимое — стал уже хворать, болеть, пил стаканами рижский бальзам, плакал, потом скрылся из Петербурга, оказался где-то в чьем-то имении, в Тульской губ<ернии>, верхом на лошади, в одном сюртуке, потом пешком, по грязи доплелся до Ясной Поляны, потом еще куда-то ушел, словом поступал «*как сумасшедший*», пока не дошел до состояния, в котором больного кладут в больницу.

Таким образом, «*как сумасшедшим*» Гаршин сделался и в этот раз не потому только, что он в этом отношении уже испорчен наследственностью, что он только был *болен,* но потому, что его наследственную *болезнь* питали впечатлениями действительной жизни...

III

Теперь мы спросим: какие же именно и какого качества впечатления давала жизнь уму и совести В. М.? В чем заключается сущность этих впечатлений и их качество?

Два маленьких томика рассказов Гаршина весьма точно ответят нам на эти вопросы, так как в его малень-

ких рассказах и сказках, иногда в несколько страничек, положительно исчерпано *все содержание* нашей жизни, *в условиях которой пришлось жить и Гаршину и всем его читателям.* Говоря — «все содержание жизни нашей», я не употребляю здесь какой-нибудь пышной и необдуманной фразы, — нет, именно *все*, что давала наиболее важного его уму и сердцу наша жизнь (наша — не значит только русская, — а жизнь людей нашего времени вообще), все до последней черты пережито, перечувствовано им самым жгучим чувством и именно потому-то и могло быть высказано только в двух, да еще таких маленьких, книжках.

Пристрастие к изложению своих мыслей в сказочной форме есть прямой признак необыкновенной чувствительности к жизненным впечатлениям. Написать о какомлибо явлении жизни «обстоятельно», подробно и много, — было не по нервам Гаршина: ему нужно было как можно скорее освобождать себя от угнетающего впечатления переживаемых фактов; они ясны ему до поразительности, и вот на помощь ему пришла сказка и аллегория. Сказать: «Осел», «Соловей», «Роза», «Навозный жук» применительно к действующим лицам в окружающей нас жизни, — значит сразу определить их типические особенности, «расписывать» которые подробно не позволяет чрезмерная чуткость нервов. Облегчение же себя от жгучести ощущаемых жизненных фактов было необходимо Гаршину еще и потому, что единичный жизненный факт, поразивший его, никогда не мог быть выделен его сознанием из общего строя жизни, ибо именно только такие факты жизни, которые только связаны с ее общим строем, и потрясали его нервы и завладевали всей его духовной деятельностью. Ввиду этого, каждый маленький рассказик или сказка Гаршина всегда исчерпывают или по крайней мере стремятся исчерпать всю массу явлений, соприкасающихся с фактом жизни, давшим толчок для работы его мысли. Вот крошечная сказка: «То, чего не было». В ней всего пять-шесть страниц, но попробуйте сосчитать по пальцам, каких сторон жизни хотел коснуться в ней Гаршин: все, что составляет для всего общества насущнейшую заботу переживаемого им времени, — все стремится Гаршин затронуть, поставить на свое место, указать связь между всею цепью явлений текущей действительности. Вот почему в двух ма-

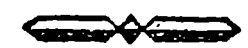
леньких томиках могло быть передано Гаршиным, — иногда строчкой, иногда одним, как в сказке, словечком, названием, — положительно *все*, что им пережито, передумано и перечувствовано, до конца, до полной невозможности развить свою чувствительность еще в какую-нибудь сторону и в каком бы то ни было направлении.

Однако что же именно пережито и перечувствовано им? Для этого достаточно будет припомнить одни только названия его рассказов. «Четыре дня» — ужасная драма непостижимого совестью и умом: убийство друг друга людьми, не имеющими к этому ни тени надобности; факт огромной важности, тяготеющий над всем человечеством и обязывающий не выделять его из общего строя неправд. Думая о связи этого непонятного явления жизни, есть от чего прийти в отчаяние и есть от чего помутиться умом. А вот вам простой *кочегар*, которого также *общие* условия жизни терзают и молотом, и огнем, и горем, и бедностью, — и опять *весь строй* жизни должен быть притянут к ответу за это терзаемое несправедливостью человеческое существо. Точно так же *весь строй* жизни овладевает мыслью Гаршина, когда он пишет о женщине легкого поведения, которая пришла к необходимости броситься в Неву, и тогда, когда он пишет о человеке, который всю ночь борется с необходимостью пустить себе пулю в лоб и желанием жить на свете. И так все в том же роде. Все это вокруг нас, все это обыкновенно, со всем этим мы, большинство, сжились, а еще большее большинство даже и не думало, что можно обо всем этом беспокоиться. Но соберите все эти обыкновеннейшие «сюжеты»: война, самоубийство, каторжный труд неведомому богу, невольный разврат, невольное убийство ближнего, — и вы увидите, что вся совокупность этих обыденных явлений есть именно существеннейшие язвы современного строя жизни, что за ними не видно хорошего, что времени, возможности даже нет выделить это хорошее из неотразимо действующих фактов зла. Нельзя не мучить себя сознанием, что все это страшный грех человека против человека и что этот ужасный грех — наша жизнь, что мы привыкли жить среди него, что мы не можем не жить именно так, чтобы нашей, страдающей от собственных неправд, душе не приносились эти бесчисленные жертвы.

IV

Я только указал на четыре небольших рассказа, но и они, как видите, охватывают явления окружающей нас жизни на огромнейшее пространство. Обыденный факт требует от впечатлительного ума писателя огромной работы, анализа всего строя общества и неминуемо должен истерзать впечатлительного человека. В двух маленьких книжках Гаршин пережил *все* окружающее нас зло, пережил до последней мелочи, и, приняв в соображение размеры этого пережитого и чрезмерную впечатлительность нервов Гаршина, читатель не может не видеть, что жить и переживать то же самое, и писать на те же темы, то есть, как говорится, «разрабатывать» те же самые ужасы жизни, которые уже пережиты дотла, — было решительно не по натуре, не по нервам Гаршина. Если бы какой-нибудь «прискорбный случай» удалил его из привычной обстановки жизни куда-нибудь в глушь, поставил бы его в условия совершенно иного строя жизни, отодвинул бы от нашего века на два-три столетия, — несомненно, обновление мыслей новым материалом жизни оживило бы духовную деятельность Гаршина. Но помимо того, что Гаршин вырос в Петербурге, то есть в самом источнике влияний, которым должно подчиняться общество, — он должен был всю свою жизнь испытывать ту неумолимую *настойчивость* в неразрешимости всех тех жгучих вопросов, которые он уже пережил. Жизнь не только не сулила хотя бы малейшего движения от глубоко сознанного зла к чему-нибудь... да, хоть к чему-нибудь лучшему, но, напротив, как бы окаменела в неподвижности, ожесточилась на малейшие попытки не только хорошо думать, но и хорошо делать. Изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год, и целые годы, и целые десятки лет, каждое мгновение остановившаяся в своем течении жизнь била по тем же самым ранам и язвам, какие давно уже наложила та же жизнь на мысль и сердце. Один и тот же ежедневный «слух» — и всегда мрачный и тревожный; один и тот же удар по одному и тому же больному месту, и непременно при том по больному, и непременно по такому месту, которому надобно «зажить», поправиться, отдохнуть от страдания; удар по сердцу, которое просит доброго ощущения, удар по

мысли, жаждущей права жить, удар по совести, которая хочет ощущать себя. Десятками лет идет какое-то беспрерывное, непрестанное, неумолимо-настойчивое отталкивание человека от малейшей попытки «поступить» — вот что дала Гаршину жизнь после того, как он уже жгуче перестрадал ее горе. Немудрено после этого понять, что, загипнотизированный окаменевшей на десятки лет действительностью, подавленный неподвижностью грозных вопросов жизни, он мог, при *обилии мыслей* о своих к этой действительности *обязанностях*, потерять даже тень *хотения* жить во имя *желательного* и пришел к возможности, думая об одном, делать совершенно ему *противоположное*.



А. П. ЩАПОВ

Среди коренных, чистокровных «сибиряков», честно послуживших общему делу русского народа, чтимых и ценимых всею Россией, — имя А. П. Щапова несомненно занимает первенствующее место. Его происхождение, среда, в которой он родился и жил с раннего детства, а главное, исторические особенности, при которых эта среда сложилась, — все это самым определенным образом отразилось на его литературной деятельности и на всей его жизни.

Не имея возможности в этой краткой заметке с должной внимательностью обозреть все, что сделано и пережито А. П. Щаповым, мы позволим себе остановить наше внимание только на тех характерных чертах его литературной деятельности, в которых ясно отразились особенности этого великоруса-сибиряка, особенности великорусско-сибирской жизни и великорусско-сибирских исторических преданий, и делаем это потому, что именно только благодаря этим особенностям жизни великоруса-*сибиряка* историк Щапов имел возможность осветить некоторые явления общерусской жизни таким ярким светом и выставить их в таких осязательно живых образах, которые уже значительно затуманились в сознании просто великорусского человека, жителя и деятеля внутренней России, хотя и родоначальника великоруса-сибиряка.

Славянофильство, как известно, нашло в Щапове ревностного и искреннего поклонника, раз только он отдался изучению основ жизни русского народа. В 60-х го-

дах, в пору расцвета деятельности А. П. Щапова, литературная деятельность славянофилов, затихшая было в последние годы царствования Николая, также расцвела пышным цветом, и славянофильская печать изобиловала крупными работами по исследованию русской народной старины и коренных устоев народной жизни. В смысле обилия и тщательности литературного труда славянофильская партия сделала в эти годы, быть может, несравненно более, чем за весь прошлый период своего существования. Но все это «литературное дело» уже не могло быть согрето пламенною верою в возможность «животворения» прекрасного прошлого в условиях настоящего времени. Самый искренний и самый ревностный защитник «прекрасной старины», самый ярый славянофил 60-х годов, все равно — петербургский или московский великорус, не мог уже не смотреть на это прекрасное прошлое именно как *на прошлое.* Прожив из рода в род в условиях, совершенно к этому «прекрасному» неподходящих, он мог ценить его в своем сознании, но уж не мог ощущать близости этого прошлого к самому себе, к своей личности и своей личной жизни. Еще шапку боярскую, косоворотку и овчинниковской работы жбан он мог перенести из этого прошлого в свой современный отель, и даже отель мог облепить петухами и обвесить русскими полотенцами, — но уже знал, что ему нельзя «самому приказаться» на службу великокняжескую, [1] знал уже, что нельзя ему жить на свете, не заглядывая в биржевые известия газет, что нельзя ему жить без дивиденда, без купона. Скорбя о «прекрасном прошлом» теоретически и лелея в своем воображении прекрасный образ старинного русского крестьянина, «созидателя» русской земли, он на деле, наученный опытом жизни «не народной», не задумываясь, например, устраивал винокуренный завод и не церемонился с потомками «прекрасной старины», основывая предприятие, успех которого обеспечивался прямехонько народным крестьянским расстройством. Даже и в лучшем случае, то есть только в мечтаниях о прекрасном прошлом и (минуя настоящее) о прекрасном будущем, всякий такой

---

[1] «Вольные и невольные слуги Московского государства», проф. Сергеевича. — «Наблюдатель», 1887 год, №№ 1—3.

петербургский или московский славянофил не может уже не принимать во внимание всю многосложность о бок с ним идущей европейской, общечеловеческой жизни и, таким образом, не может *жить* прелестями прошлого. Хорошо оно, прекрасно, справедливо это прошлое; он знает это во всех мелочах и подробностях, но *жить* этим прошлым для него уж решительно невозможно.

Вот почему иной завзятый славянофил, будучи неумолимым ненавистником «новшеств» на страницах своей книги или газеты, — мог весь век спокойно прожить в условиях ненавистного ему «иноземного, иночиновного» строя жизни. Не так вышло с Щаповым, жизненная карьера которого была, как известно, надломлена в самом начале его литературной деятельности, и надломлена именно потому, что симпатии Щапова к «прекрасной старине» были для него делом самым *близким*, жизненным, почти ощущаемым в окружавшей его действительности.

Чтобы видеть, почему для сибиряка Щапова народная старина могла казаться близкой и почти ощутимой в действительности, необходимо припомнить, что в основных началах жизни великорусского человека, сделавшегося «сибиряком», лежало главным образом желание отстоять за собой право жить по старине. Великорус делался великорусом-сибиряком, появлялся в глухой и отдаленной стране главным образом потому, что либо добровольно не хотел покоряться никаким, нарушающим старые порядки, «новшествам» или сам был изгоняем этими «новшествами», как вредный для их развития элемент. В том или другом случае он появляется в Сибири только потому, что здесь, в глуши, можно было жить по традициям старины, причем «старина» эта для вольного или невольного беглеца была вовсе не стариной, а самым живым, справедливым божеским житьем.

Великорус-сибиряк Щапов был сибиряком не только по месту рождения, но и по родственности духа с теми вольными и невольными колонизаторами Сибири великорусами, которые так или иначе потерпели от новшеств и родословие которых имеет несомненную связь с самыми отдаленными представителями «упорного» против «новшеств» великорусского типа. По словам г. Аристова, которому принадлежит весьма обстоятельная биография

А. П. Щапова, последний, толкуя с ним о своем происхождении и предках, сообщил ему, что прадед или прапрадед по его отцу служил священником в одном из сел какой-то губернии в средней России и был сослан в Восточную Сибирь за какое-то неизвестное преступление. «Я думаю, — говорил Щапов, — что предок мой переселен за *упорство* в раскольничьих убеждениях, и вот на каком основании. В именном списке выборных депутатов в екатерининскую комиссию о сочинении проекта уложения значится депутатом *от раскольничьих слобод* войсковой обыватель *Иван Щапов*». А. П. Щапов, указав при этом г. Аристову этого выборного в материалах для истории комиссии под № 143, напечатанных в «Русском вестнике», прибавил: «видно, когда моего предка священника сослали в Сибирь, родной брат его улизнул к казакам. Вот какая моя знаменитая *родословная!*» (стр. 4). Родной отец А. П., дьячок села Анги (Иркутской губ<ернии>), женатый на простой крестьянке, «бурятке», всю жизнь тянувшей вместе с мужем крестьянскую лямку и даже всю жизнь носившей крестьянское платье, конечно этот бедный сибирский дьячок находился уже в самом отдаленном родстве с «упорным» своим предком екатерининских времен, как и этот последний, в свою очередь, был уже целым столетием отделен от родоначальников «упорного» типа великорусских людей. Но нет почти никакого сомнения, во-первых, в том, что духовное родословие ангинского дьячка корнями своими исходит именно из условий, породивших на Руси тип «упорного» против новшеств человека, а во-вторых, в том, что дух этого родового упорства и его сущность не могли не дожить и до времени детских лет А. П. Щапова, а следовательно, не могли не оказать и влияния на направление его нравственных симпатий. Если в ином действительно «знаменитом» родословии целые столетия не забывается и переходит из рода в род какое-нибудь воспоминание о шубе, «пожалованной» с собственного плеча князя Суздальского, то также не могут забыться и предания таких родословий, у которых, как у «упорных» против новшеств людей, — накоплена горьким опытом жизни такая несметная масса своеобразного жизненного материала. Могут забыться и растеряться в длинном пути столетних затруднений фактические подробности того или другого

«родословия» сибирских великорусов, но не может погибнуть идея, руководившая «упорными» людьми в их жизненном опыте, не может не дойти до самых отдаленных потомков этих «упорных» людей сущность тона их жизни и стремлений. Если же принять во внимание, что не только в семье собственно А. П. мог и должен был сохраняться тон и смысл существования его «упорных предков», но что и во всем окружающем его детство обществе и народе, состоявшем так же, как и он сам, из потомков все тех же борцов с новшествами или их жертв, — то нельзя не видеть, что живые впечатления «прекрасной старины» могли быть ощущаемы юным сибиряком как действительные впечатления его личной жизни.

В каких же очертаниях и с какою нравственною сущностию могла ощущаться Щаповым «прекрасная старина», донесенная до времени его юношеских лет, в родовых преданиях как его собственной семьи, так в преданиях вообще семей коренных сибиряков, среди которых он провел самые впечатлительные юношеские годы?

Произведения Щапова служат наилучшим изображением того пути мысли, по которому вело его *родственное* чувство, почти личная, родовая связь с самыми отдаленнейшими прародителями «упорного» великоруса. Как на собственное свое личное, родовое достояние, набрасывается он на бумаги, попавшие в Казанскую духовную академию из Соловецкого монастыря и раскрывающие во всех подробностях историю борьбы упорных ненавистников новшеств с этими самыми новшествами. Под влиянием сильнейшего пробуждения, благодаря этим бумагам, почти сыновней любви к своим «упорным» предкам, он сразу находит совершенно определенный смысл и цель своей литературной деятельности, до сих пор колебавшейся в избрании тем и задач. Прекрасное прошлое воскресает в его воображении в таких ярких образах, какие может вызвать и олицетворить только личная с этими образами связь и личная к ним горячая любовь.

Вот, между прочим, несколько строк, принадлежащих самому Щапову, в которых он живописует цели и желания своих упорных предков в то далекое от нас время, когда они еще и не думали делаться «упорными».

«Избрание царя Михаила Федоровича волею народа, *всею землею*, по записи совета всей земли; жизненная народная потребность нового *соединенно-областного земского строения* на свободных, излюбленных самим народом началах любви, совета, единения; естественное, жизнью народа требуемое и *выработанное* право на местные земские советы и на общие земские сборы; наконец, исстаринное жизненно-народное право земской областной гласности перед правительством; — все это, по наивным мечтаниям тогдашних земцев, *естественно*, неотъемлемо уполномачивало областные общины смело вопиять к избранному народом царю, протестовать против произвола, насилия и стеснений, представлять различные интересы и потребности местной областной жизни; сообщать местно-областные, жизненно-народные материалы для законодательства; подавать местно-областные советы общему земскому совету и царю и требовать на живые, свободные, прямые вопросы жизни — прямых, свободных, живых ответов. . .» [1]

Вот в каких привлекательных чертах изображает Щапов цели, желания и стремления своих предков, еще и не думавших быть *упорными*, а твердо веривших, что, пережив тяжкие годы смутного времени, надобно жить, наконец, и по-божески. В уважение к *требованиям* земских людей учрежден был в Москве специально *челобитный приказ*, в который и стали поступать со всех концов русской земли и «советы», и «просьбы», и вопли, и даже «требования». . . Кстати сказать, количество воплей или вопияний решительно преобладало над всякими советами и требованиями. Перечислению этих воплей, и притом в самых сжатых выражениях, посвящены в небольшой брошюре Щапова сплошь две страницы, начиная с 14-й и кончая 17-й. А с этой 17-й страницы начинается уже только описание отчаянного положения «земских людей», еще так недавно позволявших себе мечтать о каких-то советах и требованиях.

В то время, когда земские люди вопияли о том и о другом, «московская централизация успела уже сильно сдавить, «стянуть» и вообще поглотить областную жизнь» (17). Повсюду в областях было введено уже воеводское

[1] «Земство и раскол». А. Щапов, стр. 4.

управление, вместо выборного самоуправления и самосуда. Вольно-народная колонизация и свободное самоустройство городских и сельских общин окончательно заменилось приказно-правительственной колонизацией, *казенным* городовым *делом, указным* устройством городов, острогов. Равноправное, свободное экономическое саморазвитие земства сильно подрывалось несправедливым, вопиющим разъединением земства на тяглые и льготные общины. Неравные государственные условия экономического состояния общин и частных людей порождали вопиющее экономическое неравенство в народе, порождали множество *голутвенных, обнищалых, оскуделых* до конца людей, рядом с *отяжелевшими* от богатства привилегированными людьми. Экономические интересы земства поглощались интересами и прибылью казны. Доходы народные стягивались в казну разными сборами, податями и тяглами. Началась сословно-записная или сословно-*разъединительная* систематизация и рассортировка земства. Вольные народоправные волости к концу XVII века были окончательно разделены на классы крестьян: помещичьих, казенных и дворовых. Систематически совершалось сословное, хозяйственное и бытовое разъединение. Вследствие разделения земского и церковного дела духовенство теряло нравственную силу, и влияние его на земство нравственно падало. Наконец образовалось особое *служилое сословие* приказного городового дворянства. Бояре, дети боярские и приказные люди в приказных службах и поместьях владычествовали над народом, обогащались за счет народа; боярство стремилось приобрести перевес над земством. Московские знатные бояре делались при москов<ском> дворе временщиками. Произошло даже разделение между *государевым, царственным* и народным, земским делом, разделение, официально высказанное самим Алексеем Михайловичем (стр. 17—21).

Вот самое беглое, поверхностное изображение того трагического положения, в каком очутился великорусский земский человек во второй половине XVII века. Действительность, решительно ни в чем и ни малейшим образом не отвечавшая желаниям и мечтаниям земского человека, как бы ошеломила его. «Не услышал он (так много ожидавший земский человек) ни одного желанного слова,

ни одного успокоительного ответа, не получил правильного, прочного земского строения» (стр. 26). И вот, вследствие нестройности и нескладности земского устроения, в земстве начался великий разлад и раскол. Ошеломленные в своих светлых мечтаниях и устрашенные быстрым натиском всякого рода противународных новшеств, земские люди не могли не противупоставить этим новшествам в той или другой форме своего упорного нежелания примириться с ними...

Прежде всего начались народные движения, то есть открытые и кровавые бунты... Раньше всех взбунтовалась Москва (1648 г., мая 25) *всею землею* земских людей. «Вслед за московским бунтом последовал бунт коломенский, бунт в псковской земле, бунт в Устюге, бунт в Сольвычегодске. Словом — *мир весь закачался*, как говорил тогда один из бунтовщиков...» (стр. 28). «Когда были прекращены бунты, в тиши, на Московском печатном дворе, возник *первый толк*, первое согласие *раскола*, и никто тогда не думал, не гадал, что это родилась могучая общинная оппозиция *податного земства*, массы народной против нового, разделенного церковного и гражданского строя жизни» (стр. 28). «Из Москвы, из столицы *древнего* московского государства, раскол быстро распространился по всем великорусским областям и стал принимать *областное* направление и устройство. Он стал оседать, установляться путем новой колонизации пустынных мест, лесов в новые областные скиты, общины *поморские:* стародубские, донские, керженские, казанские, *сибирские,* саратовские и другие» (стр. 29).

Для нашей небольшой заметки будет вполне достаточным ограничиться вышеприведенными (хотя, сознаемся, очень поверхностными) данными из прошлой истории «упорного» великоруса, чтобы иметь понятие о том основном тоне и сущности родовых преданий великоруса-сибиряка, которые неминуемо должны были, хотя бы и в самой малой степени, проникнуть в родовые семейные предания и дьячка села Анги, то есть родного отца А. П. Щапова. Человек «свободного земского строения», в его идеальных мечтаниях и в его практической борьбе в защиту дорогих идеалов, конечно, едва ли мог бы выясниться юному воображению Щапова в каких-либо ярких и осязательных признаках и формах. Но задушевное

дело этого человека, его задушевная мечта, его сердечная любовь и тоска о прекрасном прошлом, — все это не могло не чуяться, хотя бы и в самых спутанных семейных пересказах, дополняемых не менее спутанными пересказами людей окружающей среды, и, следовательно, не могло не заронить в детскую душу сибиряка-великоруса зерна родственной любви к самой сущности дела и жизни его прародителей.

Это почти *личное родство* А. П. с «упорными» борцами за свободное земское строение и почти родовая связь его личности со всеми перипетиями борьбы за их идеалы, все это ярко запечатлено в каждой строчке его литературных произведений, в каждом слове, произнесенном с кафедры, и в каждом шаге его личной и общественной жизни. В этой личной близости к старине заключается его литературный и профессорский успех, в нем и личное его удовлетворение; но в нем же и источник его замкнутости в более или менее тесном кругу вопросов, преимущественно русской жизни, нескладной русской действительности, которая могла его только терзать. Эта замкнутость в излюбленных интересах излюбленного прошлого, составляя существенную особенность его литературной деятельности и личной жизни, делала его как бы одиноким тогда и там, когда и где излюбленные, сердечные печали не совпадали с печалями и скорбями живой действительности. Как-то одиноко стоял он в литературе, которая, хоть без пути и дороги, однакоже «мчалась» по следу нарождавшихся неожиданных, беспорядочных, но всегда многосложных, явлений новой русской жизни. Одиноким казался он и в жизни: ее беспорядочная многосложность не давала ему возможности воплотить в каком-либо живом деле его «излюбленные», сердечные идеалы. А раз отрешаясь от них и пробуя стать в ряды деятелей беспорядочной действительности, Щапов терял все свое обаяние. В 1862 году (после его казанской истории, о которой скажем подробно) он, попав в Петербург, пробует писать в «Искре» юмористические очерки «из бурсацкой жизни» и блещет в них «литературными прикрасами» и всякими «преувеличениями» (стр. 5 биографии Аристова), то есть такими неожиданностями, которые не имеют решительно ничего общего с *настоящим* «щаповским делом». К настоящим щапов-

ским трудам он опять-таки возвращается в своей родной сибирской среде, но, не мирясь с современной сибирской действительностью, оживает только в работе над теми же излюбленными темами.

Но там, где его личные и вместе с тем его общественные идеалы имели случайную возможность проявиться на деле, где временное стечение благоприятных обстоятельств не отрывало его задушевных убеждений и идеальных требований от требований действительности, от «сегодняшнего дня», где, напротив, действительность как бы сама взывала к правоте его сердечнейших симпатий, — там только Щапов мог ощущать в себе действительную полноту жизни и тогда вырастал до значения народного вождя, обаяние которого было неотразимо.

Пересмотрев биографические материалы, касающиеся профессорской жизни Щапова и собранные г. Аристовым, читатель найдет там множество таких эпизодов из жизни Щапова, где личность его является положительно обаятельной. Это случалось всякий раз, когда и предмет лекций и настроение слушателей и, главное, не столько настроение, сколько самая сущность всей духовной жизни профессора, как нельзя лучше соответствовали одно другому, а все вместе находилось в непосредственной связи с главнейшими требованиями «современности». Приближалось освобождение крестьян, приближалось время обновления народной жизни, и никто лучше Щапова, великоруса-сибиряка, воспитанного в родовых преданиях о «земско-союзной жизни великорусского народа», — никто иной не мог бы в это многосложное время, с такою «необычайной энергией и силой убеждения», — осветить размеры и глубину предстоящего обществу народного дела.

11-го ноября <18>60 года была первая лекция Щапова в Казанском университете. Публики собралось такое множество, что «ни одна из аудиторий не могла вместить всех слушателей, и все принуждены были перейти в актовую залу» (стр. 56). Впечатление этой лекции было *потрясающее* (стр. 57), и с этого времени толпа очарованных слушателей постоянно окружала кафедру Щапова. На этой первой лекции он сделал совершенно самобытный обзор исторической русской жизни с древних времен до освобождения крестьян. Областной земско-союзный элемент был выставлен им как главнейший мотив истори-

ческого движения до времени централизации. Он ярко очертил вековую борьбу земско-союзного строя с соединительной, централизующей силой государства. Указав, в какие моменты истории и в каких формах эта борьба выразилась с особенным напряжением, он сделал обозрение этой борьбы от времени междуцарствия и постепенно проследил ее на земских соборах XVII века, в областных демократических и инородческих бунтах. Обозрев все хлопоты правительства с проявлением этой протестующей силы в течение всего XVIII и половины XIX столетия, он высказался и о тайных обществах, о конституционных проектах, а в конце концов вновь сосредоточил напряженное внимание своих слушателей на «земско-союзном строении», оставшемся, по его мнению, до сих пор без всякого общественного внимания, но таящего в себе задатки зиждительной, плодотворной нашей будущей цивилизации.[1] С этого дня он стал «царить в университете». Когда он читал — все аудитории пустели, *городская публика стремилась слушать* Щапова (стр. 58). Дело было живое; все общество, от мала до велика, желало знать — как оно должно жить при новых порядках? И не могло не видеть, что Щапов делает большое патриотическое дело. Не ограничиваясь чтением лекций в университете, он посещал частные студенческие сходки, появлялся и говорил на собраниях у частных лиц и везде энергично и любовно продолжал свою проповедь о забытом обществом земско-союзном строе. Весь проникнутый любовью к своему делу и неотразимо убежденный в его общественной важности, он поражал и увлекал своих слушателей *неслыханной* откровенностью, искренностью, смелостию; говорил открыто о лицах и событиях, что сам знал.. [2]

Путь, по которому повело Щапова его задушевное сердечное дело, далеко не был усеян только розами. Отвечая с кафедры на жгучие вопросы жизни, — он нажил себе врагов в ученом сословии, требовавшем от кафедры только науки. Но, уступая этим требованиям специалистов и принимаясь трактовать о каких-нибудь вопросах чистой науки, он вновь возбуждал негодование, на этот

---

[1] Аристов, стр. 57.
[2] Там же.

раз уже среди своих поклонников, которые жаждали живого знания жизни. Пытаясь удовлетворить и тех и других и раздваиваясь в своем чувстве и деле, — он иногда ощущал невыносимый душевный гнет, «томительную тяжесть на сердце» (63). Недовольство его осложнялось еще и собственным сознанием того, что знания его недостаточны, что он еще «не доучился» до прочного положения профессора. Односторонность собственного образования (63) крайне мучила его. Все это повергало его иногда в совершенное отчаяние, омрачало душу и побуждало прибегать «для облегчения» к общерусскому «средству». Потребность увеличить свои знания, наконец, привела его к мысли ехать в Петербург для занятий в архивах и в библиотеках, о чем 12 апреля <18>61 года он и подал факультету прошение.

Но жизнь опять схватила его за сердце, за самое больное, самое жизненное место его души. Дело только что освобожденного народа шло не вполне тем путем, какой мечтался Щапову как «излюбленный». Крестьяне охотно верили толкователям, которые обещали им много льгот, в ущерб льготам помещиков (стр. 65). Ожидание «полной воли» сменилось недоверием к манифесту, где говорилось о срочном обязательном выкупе крестьян от помещиков. Явилось подозрение, что настоящая «золотая грамота» спрятана... (65). По поводу этих слухов возникли сильные недоразумения и волнения в Пензенской, Симбирской, Саратовской и других губерниях. Но самый выдающийся бунт разгорелся в селе Бездне Спасского уезда Казан<ской> губ<ернии>.

«Там, — говорит г. Аристов, — раскольничий начетчик Антон Петров, благодаря недоразумениям между помещиками и крестьянами, стал во главе движения недовольных и еще более подзадоривал их к упрямству и неповиновению. «Земля божья, — твердил он, — а человека *бог поставил над делы руку своею:* владать землей, водой, зверями лесными и рыбами морскими. Нельзя земли отнять от народа, нельзя отнять и души». Для усмирения собрались войска. Антон Петров вышел к народу с иконой на груди, стал на возвышение, убеждал не сдаваться, а стоять за правду, как один человек. На это зрелище стекалось множество крестьян из соседних деревень. Несмотря на «увещания», «убеждения»,

толпа упорно стояла на своем. Приглашение разойтись и выдать Антона Петрова не было удовлетворено крестьянами. Сделан был залп из ружей, и сразу пало несколько убитых и раненых. Толпы народа в ужасе бежали в разные стороны, второпях бросились через речку, где многие и потонули, потому что весенний лед был хрупкий».

Когда эта печальная весть была получена в Казани, горькое и тяжелое впечатление охватило все общество. *«Щапов впал в страшное волнение и плакал навзрыд* о невинно убитых крестьянах, называя их страдальцами и мучениками». Виновниками прискорбного дела считали лиц, которые не умели даже говорить с народом, не умели убедить простодушных, непонимающих людей. Под горячим впечатлением решено было отслужить торжественную панихиду по убитым в с. Бездне, и Щапов вызвался приготовить и сказать надгробную речь. Панихида отслужена была в вербное воскресенье, после вечерни, 16 апреля (а 17 в с. Бездне расстреляли А. Петрова). Народу собралось множество. «Богослужение совершалось соборне, двумя священниками и иеромонахом в сослужении дьякона и иеродиакона. На кратких ектениях священнослужители поминали *«рабов божиих, во смятении убиенных»*. «Вечную память» пропела вся толпа молельщиков, находившихся в церкви. Щапов, взойдя на амвон, взволнованным голосом произнес одушевленную речь, в которой коснулся бездненской истории... Эта речь произвела на слушателей сильное впечатление и потом в рукописи ходила по рукам» (стр. 66).

Профессорская деятельность Щапова должна была прекратиться, а литературные работы, быть может, и выигравшие против прежних трудов Щапова в литературном отношении, с этого времени и до конца его жизни, кажется, не были достаточными для того, чтобы Щапов чувствовал себя довольным, счастливым и спокойным. Он был живой человек, слово и мысль которого были пламенны и животворны лишь тогда, когда и в деле жизни могли быть осуществимы в какой бы то ни было степени, а главное — неразрывны с нею, но дальнейшая жизнь А. П. не баловала его в этом отношении.

На этом мы и кончим нашу, сознаемся, весьма поверхностную характеристику духовной жизни и литературно-общественной деятельности Щапова.

Особенности родовых сибирских преданий, сохранившихся в живой действительности, до такой степени жизненно воспитали и укрепили в нем веру в правоту старинного земского союзного строя, что он не мог не стремиться проявлять своих симпатий к нему не только в слове и печати, а прямо в деле живой действительности.

Но «дела» для Щапова не было и не могло еще быть. Не было еще ни земства, ни обновленного суда, ни городского самоуправления; не было ничего такого, что впоследствии, постепенно, было вызвано таким большим, по *старинному* образцу сделанным, делом, как освобождение крестьян.

Европейская Россия кое-как дожила до некоторых попыток изменения в земском строении. Доживет до них и Россия Азиатская, и великорус-сибиряк вновь когда-нибудь встретится с учреждениями, напоминающими те, во имя сохранения которых «упорствовали» его предки...

Необходимо свято хранить эти родовые предания колонизаторов Сибири, чтобы дело бумажное могло преобразиться в дело живое, а забывчивым потомкам коренных сибиряков литературные произведения А. П. Щапова и его жизнь как нельзя лучше могут напомнить сущность этих преданий и докажут им, что предания эти не заглохли в великорусском народе и по сей день.

Томск, 20 июля.

ГОРЬКИЙ УПРЕК

(Письмо Карла Маркса,
«Юридический вестник», 1888 г., № 9)

Письмо это, найденное в бумагах К. Маркса после его смерти, заслуживает самого глубокого внимания всякого русского человека, которого крепко и искренно заботят судьбы русского народа. Несколькими строками, написанными так, как написана каждая строка в его «Капитале», то есть с безукоризненной точностию и беспристрастием, — К. Маркс осветил весь ход нашей экономической жизни, начиная с 1861 года. Без малейшего колебания в понимании подлинной сущности фактов нашей действительности, без малейшего снисхождения к нашим экономическим бессмыслицам, — он посылает нам из-за могилы грозный и горький упрек в том великом грехе, который русское общество совершает против самого же себя.

Этот горький и грозный упрек необходимо слышать великому русскому человеку, чтобы, так сказать, «опомниться», «очувствоваться» в понимании своих личных и общественных обязанностей. Строгий, беспристрастный взгляд такого человека, как К. Маркс, на «нас, русских», на наш русский народ, на его экономические особенности и на его поистине *священные обязанности* к самому себе, — такой взгляд не может не заслуживать самого глубочайшего внимания, потому что он не затуманен никакими «временными веяниями», никакими не подлежащими определению (а иногда даже и пониманию) случайностями русской жизни, которые играют в условиях нашей жизни несомненно значительную роль и не дают возможности, даже и в литературе, судить о ней с пол-

ным беспристрастием. «Кому из российских обывателей не известно, — писал я недавно в одной газете, касаясь вопросов, подходящих к настоящей заметке,[1] — что иногда статистические «данные» о благосостоянии или неблагосостоянии того или другого угла могут изменяться до неузнаваемости единственно только от «карахтера» г. исправника? У одного исправника «карахтер» жестокий, горячий, — да и жена у него франтоватая, любящая иметь в обществе «значение», — и вот он, чтобы получить повышение или денежную награду к празднику, начинает «выбивать» подати безо всякого милосердия и в такое время, когда все хозяйственные продукты не имеют настоящей цены, когда продавать их значит прямо разориться на весь будущий год; он, конечно, взыщет, представит раньше прочих, отличится и награду получит, — но народ отощает, изболеет, измается, и, таким образом, статистические таблицы обогатятся цифрами смертности и болезненности. Другой же исправник, добрый, мягкий и холостой, повременит, даст мужикам время продать продукт подороже, — и не только не разорит, а, напротив, улучшит положение крестьян, расстроенных «энергическим» предшественником, и обогатит цифрами столбцы не смертности и болезненности, а столбцы прибыли и прироста. Но ведь среди цифр нельзя упомянуть, что в разорении крестьян д. Палкиной виноват «карахтер» исправника Ароматова? И нельзя также сказать, что прирост населения произошел потому, что новый исправник человек добрый, что он даже музыкант, попискивает на флейте, да и под фисгармонию подпевает? Без этого же объяснения разноречивые цифры из одной и той же местности на пространстве времени двух-трех лет — не могут дать точных указаний ни о процветании, ни об упадке и невольно ставят исследователя в недоумение».

Да простит мне читатель эту не совсем подходящую к делу шутку: я просто желал обратить его внимание на огромное значение в условиях нашей жизни такого рода «данных», которые никоим образом не могут быть объясняемы при посредстве строго научных приемов. Подлежат ли каким-либо достоверным научным выводам, положим,

[1] «Рус<ские> вед<омости>».

статистические данные о преступности по тем деревням Горбатовского уезда Нижегородской губ., крестьяне которых (бывшие шереметьевские) до сих пор с <18>61 года, кажется, не имеют даже утвержденных уставных грамот и владенных записей? Дела «о сопротивлении властям» идут в этих шереметьевских деревнях постоянно. Из одной этой местности несколько лет подряд препровождалось под суд и в тюрьмы немалое количество народа. Можно ли взять цифру *«горбатовской преступности»* в общую сумму преступности в России и делать на этом основании какие-нибудь общие выводы о падении народной нравственности? Кто, наконец, не слыхал этой характернейшей фразы: «Нет! При Михаиле Петровиче порядки были не те! Куда! А как этот, нонешний *чорт*, приехал, — все пошло шиворот-навыворот!» Всякий слыхал эти слова, и всякий должен знать, что именно за «данными», которыми наполняют статистику «карахтеры» бо́льшого и малого размера, трудно видеть подлинное положение дела, трудно выводить заключения, не подлежащие сомнению. Ввиду такой посторонней примеси к подлинным данным — огромный статистический материал, накопившийся в настоящее время, при разработке его большею частию невольно заставляет исследователя оставлять без объяснения цифры, не поддающиеся ясному определению, устранять их и придавать своему исследованию несколько односторонний оттенок. Среди зловещих цифр, рисующих известное явление народной жизни в самом безнадежном виде, нежданно-негаданно (добрый исправник) и тут же рядом стоят такие цветы лазоревые, такие идут от этих цветов благоухания, — что, оглядывая то и другое, остается только руками развести. Мы до настоящего времени не имеем ясного представления хоть бы о том, что творится с нашей крестьянской общиной: то она распалась, вконец развратилась и разложилась, изворовалась, разбрелась и исчахла, — то, напротив, оказывается, что она процветает, плодится, множится, крепнет, умнеет, добреет и полнеет. Все это сказано на основании точных, не подлежащих сомнению «данных», — и все-таки, несмотря на обилие такого рода исследований, мы решительно не можем иметь определенного понятия о том, что именно творится в нашем народе.

Ввиду такой неясности в понимании действительного положения страны нам не может не быть дорого беспристрастное слово такого человека, как Маркс, не разделяющего явлений нашей жизни на отрадные и безотрадные, но берущего их в полном объеме и извлекающего из них ничем не прикрытую, подлинную сущность. Письмо Карла Маркса прежде всего поражает читателя именно желанием его показать своим почитателям и противникам, что он вовсе, так сказать... *не марксист*... как об нем полагают те и другие, и что его *«теория»* будто бы *«фатальна для всех народов»*. Нападая на Н. К. Михайловского, которому и предназначалось это загробное письмо,[1] он, за один только легкий намек нашего писателя на то, что *теория* Маркса может подлежать сомнению, — обрушивается на него с таким жестким упреком: «— *Ему* (Н. К. М.) *надо преобразить мой очерк* («Капитал») *происхождения капитализма в Западной Европе в историко-философскую теорию общего хода развития, в теорию, которой фатально должны подчиниться все народы, каковы бы ни были исторические условия, в которых они находятся,* чтоб в конце концов придти к такому экономическому строю, который обеспечивает наибольшую свободу проявления производительных способностей общественного труда и всестороннего развития человека». Определив этими словами собственную свою *теорию* так, как ее понимают его противники и почитатели, — он тут же заявляет, и даже довольно грубо, что такое понимание его деятельности он считает *бесчестием* для него (honte) (стр. 273).

Я обращаю особенное внимание читателя именно на этот порыв гнева против возможности только *подозревать* его, К. Маркса, в создании такой *теории*, потому что Н. К. Михайловский в самой статье своей цитирует того же самого Маркса именно для доказательства той самой мысли, которую выражает в своем гневе и сам Маркс: то есть, что *«история* происхождения капитализма в Западной Европе» не дает основания для *«теории*, которой фатально должны подчиняться все народы». Именно это и говорится в статье Н. К. Михайловского, и в доказатель-

---

[1] Написано по поводу статьи Н. К. Михайловского «К. Маркс перед судом Ю. Жуковского».

ство этого Н. К. берет материалы из той же книги «Капитал», о которой идет речь.

«Поправки к *теории* Маркса можно заимствовать у самого Маркса, — говорит Н. К. Михайловский в той же статье. — В предисловии к «Капиталу» читаем: «В Англии процесс преобразования очевиден до осязательности. Дойдя до известной высоты развития, он должен отразиться на континенте. *В каких формах проявится он там, в грубых или гуманных, это совершенно зависит от степени развития самих работников.* Следовательно, независимо от высших мотивов, собственный интерес самих господствующих классов требует *устранения путем закона всех препятствий, мешающих развитию рабочих классов».* «Одна нация может и *должна учиться у другой».* Спросим, какого же рода урок можем получить мы (Маркс говорит о Германии), из истории экономических отношений в Англии? И с особенным вниманием относится к английскому фабричному законодательству, то есть к тому, насколько в Англии подвинулся вопрос о правительственном вмешательстве в регулирование рабочего дня, женского и детского труда. *Здесь,* — говорит Н. К. Михайловский, — *именно лежат те поправки к фатальной неприкосновенности исторического процесса, которые могут быть заимствованы у самого Маркса».*[1] И далее: «С этими поправками, заимствованными у того же Маркса, его *теория,* как видим, оказывается уже не такою, *чтобы опускать руки и приветствовать ниспровержение зачатков собственного идеала»* (в той же статье Н. К. Михайловского).

Из всего этого читатель видит, чем именно задела «за живое» К. Маркса статья Н. К. Михайловского: несколько раз в ней употреблено слово *«теория»*, тогда как сам Маркс считает свой труд только «очерком происхождения капитализма в Западной Европе» и вовсе не возводит в *теорию,* да еще *фатальную*, всех язв капиталистического строя жизни. На глазах всего света, в недавние от нас времена весь Париж был сожжен коммунарами, и прекращение этого «фазиса» капиталистического строя жизни потребовало истребления 23 тысяч воспитанных этим же строем его врагов. Я сам видел живые следы этого «фазиса», приехав в Париж в скором времени после подавления восстания, когда военные версальские суды беспрерывно, в десятках отдельных судебных камер, приговаривали виноватых [в нарушении капиталистического порядка] по два, по три человека на каждую камеру в течение одного часа. Можно ли

[1] Статья Н. К. Михайловского вошла во 2-й том его Сочинений.

предположить, даже принимая произведение Маркса за *теорию*, фатальную для всех народов, чтобы такие ужасы могли быть признаваемы им за обязательные даже для тех народов, которые не имеют «никаких оснований ниспровергать зачатки своего собственного идеала». В брошюре, написанной вместе с Энгельсом специально для выяснения этой кровавой парижской бойни, вполне выяснено шушуканье Франции с Германией относительно взаимного участия в подавлении этого восстания, так как это продукт общеевропейского капиталистического строя, одинаково тревожащего обе эти страны. В то же время как «нации» они были врагами и поколачивали друг у друга солдат под стенами Парижа, главным образом «для газет» и для соблюдения дипломатических формальностей. Признавая труд Маркса за теорию, надобно признать и неизбежность всех этих ужасов, но Маркс и писал свою брошюру в поучение нациям, еще не дожившим до этих ужасов, веруя, что одна нация «должна учиться у другой». Все это вполне совпадает с тем, что написано в статье Н. К. Михайловского, а Маркс все-таки «осерчал» на него, и единственно за то, что он мог говорить ему о том самом, что он и сам исповедует.

Но не довольствуясь доказательствами того, что он вовсе не проповедник «фатальной теории», ссылками, заимствованными из его же книги «Капитал» и из дополнений и примечаний к последующим новым изданиям этой книги, — он, наконец, прямо, просто, с полным беспристрастием высказывает свое мнение и об экономическом положении России, страны, которая вовсе не входила до сих пор в его «очерк происхождения капитализма», — и вот тут-то мы слышим глубоко поучительные и в то же время неоспоримо укоризненные для всех нас слова:

«Так как я не люблю оставлять «quelque chose à deviner»,[1] то выскажусь *без обиняков:* чтобы иметь возможность судить *с знанием дела* об экономическом развитии современной России, *я выучился по-русски* и затем *в течение долгих лет изучал* официальные и другие издания, имеющие отношение к этому предмету. *Я пришел к такому выводу: если Россия будет продолжать идти по тому же пути, по которому она шла с 1861 года, то она лишится самого прекрасного случая, который когда-либо предоставляла народу история, чтобы избежать всех перипетий капиталистического строя»* («Юридический вестник», № 9, стр. 271).

[1] Что-нибудь неясное *(франц.)*.

Нет! Это не московский «патриот своего отечества», вопиющий о поощрении «прызводства» средствами казначейства; это не «народник» с искреннею любовью к прекрасному, тщательно собирающий цветочки радующих душу [измученного, истосковавшегося общества] действительно благообразнейших явлений нашей народной жизни; это и не «марксист», полагающий, что цветочки, собираемые народниками, должны все-таки погибнуть ввиду фатальности теории капитализма. Это именно самая подлинная, самая светлая и самая горькая правда обо всем нестроении всей нашей жизни во всех отношениях. Несомненно, в наших руках есть немало и очень немало оправдательных документов, о которых даже и Карл Маркс не мог бы иметь понятия. Но, имея их в руках, мы все-таки не можем не видеть «сущей правды» нашей жизни именно в этом горьком упреке К. Маркса: мы лишаемся самого прекрасного случая, который когда-либо предоставляла народу история, чтобы не переживать *всех* перипетий европейского зла.

О чем же он жалеет и скорбит, говоря такие слова, касающиеся только ошибок в экономическом развитии? Я думаю, что он скорбит о личности человеческой, которая непременно должна быть жертвой этих ошибок. Для обороны этой личности в Европе он особенно тщательно изучил и развитие капитализма в Англии. Интересуясь участью нравственного развития русского человека и общества, — он изучил и экономическое положение России. И если мы примем его характеристику нашего положения *без разделения явлений* нашей жизни на отрадные и безотрадные, а только в том виде, как его понимает К. Маркс, то есть *в виде соединения* в каждой отдельной личности здоровья и гнили, отрадного и безотрадного, — то мы можем с достаточной ясностью объяснить себе, почему вся наша жизнь во всех своих проявлениях представляется нам самим то как бы одним сплошным упадком во всех отношениях, то, напротив, едва приметным, но могучим развитием самобытных форм жизни.

На самом же деле любовь к Купону и желание, чтобы эта любовь не имела неразрывно связанных с Купоном последствий, предлагаются нашему обществу как идеал, которому оно должно бы следовать. Одновременное дружелюбное сожительство в наших сердцах Христа и анти-

христа, как кажется, и есть та *наша* система личной и общественной морали, которою наше общество должно руководствоваться в своих взаимных отношениях. Если «по-европейски» такое, положим, купонное дело, как ситцевая фабрика, проявляет себя не только «прызводством» ситца, а еще и так называемым «рабочим вопросом», «стачками», сопровождающимися столкновениями с войсками и т. д. и т. д., то то же дело «по-нашему» должно быть поставлено совершенно иначе: фабрика будет, ситец будет, этому никто не будет препятствовать, а всего прочего не должно быть ни в каком случае. Почему? Да просто потому... «чтоб не было!..» И так во всем: всякое европейское зло приемлем, но европейский против этого зла крик — не приемлем и стараемся утвердить такое положение дел, чтобы каждый делал только свое дело [1] и в чужое не мешался, не осложнял бы его неподходящими к делу соображениями. Все это, как видим, и отражается на неподвижности нашей жизни, на тягостной суете сует выполнения необобщенных и неосмысленных обязанностей, не подвигающих вперед ни личного, ни общественного благосостояния.

И хотя, повидимому, влачение жизни во имя таких идеалов и может быть иной раз принимаемо за тихое и благообразное житие, но иногда не мешает и «очувствоваться», освежить в себе представление о человеческом достоинстве, и вот почему загробное слово Маркса, прямо указывающее на ненормальное состояние нашей мысли и совести, освежая и оздоровляя то и другое, заслуживает нашей глубокой благодарности.

---

[1] В № 341 газеты «Новости» на днях было напечатано такое сообщение. «Сегодня, 9 декабря, в стенах театра «Ренезанс», переименованного теперь в театр «Неметти», состоялось молебствие по случаю ремонтировки. Ложи в настоящее время находятся на местах прежних «отдельных кабинетов». Особенным удобством отличается вестибюль, к которому теперь присоединили нижний буфет. Освящение театра было отпраздновано завтраком à la fourchette». Все, как должно, и никто в чужое дело не мешается, а в отдельных кабинетах есть для этого и задвижки.

<ЕДИНСТВЕННО ЛИШЬ ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ ВЕЛИКИЕ НАДЕЖДЫ...>

Единственно лишь там, где есть великие надежды и великие идеи, великие мысли о будущем, — там только и есть в умах тот принцип литературной жизни, который помешает им окаменеть и не допустит дойти литературу до истощения.

В наше время в моде удалять радость из всякого рассказа. Наше время печально, а писатели выражают чувства избранных. Но это недолго продлится: во всяком случае это не последнее слово человечества в деле поэзии и искусства, потому что это противоречит психологическому закону, по которому память уклоняется от печальных воспоминаний и так часто, как только можно, возвращается к счастливым моментам. Придет время, когда в поэзию снова станут заносить неоцененные моменты радости, часы счастия. Когда пройдет теперешняя мода, родится искусство, которое будет служить оправой для этих моментов, как бы бриллиантов, и тогда они будут издали ярко сверкать как в книгах, так и в жизни.

Я нисколько не осуждаю того, что поэзия перестала изображать идеальные фигуры. Но последствием этого стало то, что человеческий уровень принизился в современных романах. Слишком часто характеры так незначительны, что наилучшее описание не может сделать их интересными.

В настоящее время все соглашаются, что в художественном отношении умственное значение изображаемых лиц совершенно безразлично. Это верно лишь до известной степени, потому что высшие умы всегда будут при-

влечены более возвышенными и более трудными задачами.

Великий поэт не откажется всходить на какую угодно высоту, до которой поднимались его современники. Он захватит в свою сеть все сокровища ума и души. В настоящее время, можно сказать, вечно женственный переходит в стоны и плач по человеку, а мужественный представляет или то, что грубо, или то, что жалко.



ОТ АВТОРА

***Предисловие
к первому изданию сочинений***

В настоящем издании очерки мои печатаются, *по возможности,* в том виде, а главное, в том порядке, в каком следовало бы их печатать и ранее. К сожалению, при появлении их как в журналах, так и в отдельных изданиях, не всегда можно было соблюдать последовательность, а иногда приходилось печатать их вовсе не в том виде, какой они имели в рукописи.

Времена, пережитые русскою журналистикою за последние 20 лет, были преисполнены всевозможных случайностей, беспрестанно расстраивавших правильное ее течение и развитие. Мои очерки много пострадали от этих невзгод журнального дела чисто во внешнем отношении. Правда, аргусам нечего было в них искоренять: цензурные беды обрушивались не на такого рода литературные явления. Но в общем водовороте ничто не может оставаться нетронутым. Нет никакого сомнения, что эти очерки вышли бы рельефнее, полнее и осмысленнее, если бы журнальная жизнь была устойчивее и представители печати могли чувствовать себя поспокойнее.

Укажу на один пример. «Нравы Растеряевой улицы», задуманные мною в 1866 году, только что начали печататься в *«Современнике»* (№№ 2 и 3, 1866 г.), как журнал этот был закрыт. Продолжение этих очерков, приготовленное для *«Современника»*, должно было явиться в сборнике *«Луч»*, изданном редакцией *«Русского слова»*, которое также было прекращено, причем все, что имело «связь» с очерками, напечатанными в *«Современнике»,* надо было уничтожить, обрезать, выкинуть, для того,

чтобы «продолжение» имело вид работы отдельной и самостоятельной; вот почему действующие лица были переименованы в других, им «сделана» иная обстановка, и самое название изменено. Затем дальнейшее продолжение той же серии рассказов печаталось в журнале *«Женский вестник»,* так как тогда (1866 г.) почти совершенно не было других литературных журналов. Судите поэтому, что должна была претерпеть «Растеряева улица» с своими пьяницами, «сапожниками и мастеровщиной», появляясь в журнале, посвященном *женскому* развитию, *женскому вопросу!* При всем моем глубоком желании, чтобы пьяницы мои вели себя в дамском обществе поприличней, все они до невозможности пахли водкой и сокрушали меня. Но что ж было делать? Я их умыл и приодел, и они стали только хуже, а правды в них меньше. Наконец, очень много материала, приготовленного для «Растеряевой улицы», было разбросано в виде очерков и сценок по всевозможным газетам и листкам. Я их не собирал и не собираю в настоящем издании: все это было продуктом тогдашней литературной «бесприютности». Сплоченных литературных кружков, к которым могли бы пристать начинающие писатели, — ничего тогда налицо не было. Все удручало вас и делало одиноким. А между тем общество, вступившее в совершенно «новый период жизни, требовало от литературы, — и имело на это право, — многосложной и внимательной работы. . .»

Таким образом, как отсутствие «школы», так и глубокое внутреннее сознание, что «теперь» обновлявшаяся жизнь требует больших дарований и задает им огромные задачи, — делали то, что незначительная способность написать «рассказец» или «очерк» ослаблялась внутренним сознанием ненужности этого дела. «Все это не то!» — думалось тогда, и вследствие этого материал обрабатывался плохо, «кой-как», появляясь в виде «отрывков» без начала и конца.

В настоящем издании этот материал первых лет моего литературного труда приведен, повторяю, в возможный порядок. Все, что совершенно плохо и вполне незначительно, — выпущено. Все, что было разрознено, но имеет некоторую связь, — восстановлено. Что касается собственно настоящего 1-го тома, к которому главным образом относятся все вышеизложенные замечания,

то «Нравы Растеряевой улицы», составляющие этот том и печатавшиеся в прежних изданиях под *тремя* различными названиями, теперь приведены в тот порядок, в котором им следовало бы быть. Но все-таки они местами оборваны: «Растеряева улица» еще долго «дописывалась» во многих отрывках и очерках последующих лет; много «растеряевского» перешло и в «Разорение», которое есть в сущности та же «Растеряева улица», только в новых условиях жизни.

Вот таким-то образом писались и издавались почти все эти очерки. Приведенные в порядок, то есть написанные по хорошо разработанной программе,— они бы могли дать более или менее полную картину нравов русской провинциальной разночинной толпы за последние годы; но я знаю, что и теперь, когда я привел их в желательный порядок, они не дают этой полноты и, к сожалению, не могут уже быть ни лучшими, чем были, ни более наглядными.

Глеб Успенский.

С.-Петербург.
1 октября 1883 г.

ОТ АВТОРА

(Заметка о втором издании)

В состав настоящего двухтомного издания, кроме восьми томов, изданных в промежуток времени с 1883 по 1886 год, вошло почти все, что было написано мною до самого последнего времени. К прежде изданным восьми томам прибавлено теперь такое количество нового материала, которое, по счету печатных листов первого издания, могло бы составить еще два новых тома — девятый и десятый. То, что в отдельном издании могло бы составить том девятый, помещено в конце первого тома настоящего издания, а материалы тома десятого — в конце второго. Такое разделение сделано частью для более равномерного объема обоих томов, а частью и по следующему соображению: собственно беллетристических произведений во всем написанном мною мало, а, напротив, очень много такого рода наблюдений, которые передаются мною в форме небеллетристической. Все, что касается крестьянства, изложено именно в виде заметок, дневников и вообще без притязания на какую-нибудь внешнюю литературную отделку. Вот почему все, написанное исключительно в этом роде и касающееся почти только народной жизни, помещено во втором томе; к первому же прибавлено из написанного мною после 1886 года все, что, во-первых, носит на себе отпечаток хотя какой-нибудь более или менее определенной литературной внешности — очерка, рассказа, — и, во-вторых, касается не исключительно только вопросов крестьянской жизни.

Некоторые из моих читателей неоднократно выражали желание, чтобы все написанное мною было издано

в хронологическом порядке. К сожалению, ни в первом, ни в настоящем издании это справедливое желание не могло быть исполнено по причинам, о которых я уже подробно сказал в предисловии к изданию 1883 года.

«Времена, — писал я тогда, — пережитые русскою журналистикою в шестидесятых годах, были преисполнены всевозможных случайностей, беспрестанно расстраивавших ее правильное течение... Я говорю здесь о тех чисто внешних затруднениях, благодаря которым нельзя было благополучно начать и кончить задуманную работу. Приведу один пример: «Нравы Растеряевой улицы», начатые в 1886 году, прекратились на четвертой главе, потому что *«Современник»* был закрыт. Продолжение этих очерков, приготовленное для *«Современника»,* должно было явиться в сборнике *«Луч»,* изданном редакцией *«Русского слова»,* которое также было прекращено, причем все, что имело «связь» с очерками, напечатанными в *«Современнике»,* надо было уничтожить, обрезать, выкинуть — для того, чтобы «продолжение» имело вид работы отдельной и самостоятельной; вот почему действующие лица были переименованы в других, им «сделана» иная обстановка и самое название изменено. Затем дальнейшее продолжение той же серии рассказов печаталось в журнале *«Женский вестник»,* так как тогда (1866 г.) почти совершенно не было других литературных журналов. Можно поэтому судить, что должна была претерпеть «Растеряева улица» с своими пьяницами, «сапожниками и мастеровщиной», появляясь в журнале, посвященном *женскому* развитию, *женскому вопросу!* При всем моем глубоком желании, чтобы пьяницы мои вели себя в дамском обществе поприличней, все они до невозможности пахли водкой и сокрушали меня. Но что же было делать? Я их умыл и приодел, и они стали только хуже, а правды в них меньше».

Вот основания того, почему я нашел более удобным для читателя в каждом томе первого издания собирать воедино все, что на известную тему было написано хотя бы в течение нескольких лет, не раздробляя однородной работы вставкою посторонних, но одновременно писавшихся статей, чего требует хронологический порядок. Очерки же и рассказы, которые писались в промежутках работ на какую-нибудь одну, более или менее определен-

ную тему, — такие очерки прилагались к каждому тому как дополнения, но по возможности также более или менее однородного содержания.

Переиначивать этого порядка не оказалось возможным и в настоящем издании. Ввиду того же желания — дать каждому тому более или менее определенное содержание — я и в настоящем издании, вместо буквальной перепечатки «Писем с дороги», которые писались мною в течение трех лет и составили бы не менее двух томов объема первого издания, — исключив из них частые повторения об одном и том же вопросе, неизбежные при повторении этих явлений в дорожных встречах разных лет и разных мест, — выбрал из этих писем только то, что казалось мне наиболее заслуживающим внимания, а то, что в письмах этих не могло быть проверено личным наблюдением, дополнил на основании материалов, которые могла дать местная провинциальная пресса. В этих именно видах я и ввел под общую рубрику «Писем с дороги» три компилятивные дополнения (главы VI, VII и X), более подробно уясняющие такие явления жизни, которые пишущему «с дороги» нет возможности пополнить личным наблюдением.

Таким образом, все, что не вошло в это издание, — не вошло потому, что было бы повторением сказанного ранее в той или другой из помещенных уже в этих томах статей.

8 ноября 1888 г. СПб.

<АВТОБИОГРАФИЯ>

Флорентий Федорович! Вы хотите от меня биографических сведений обо мне самом. Не раз уже я получал предложения от составителей разных биографических словарей, иногда даже с приложением таблиц, разграфленных как участковые листки: «Лета. Где родился. Звание. Место учения. Давно ли почувствовал стремление» и т. д. И при всем моем желании я никогда не мог удовлетворить желаний господ составителей словарей. Не знаю, могу ли исполнить и ваше желание, так как никаких мало-мальских определенных и кратко выраженных подробностей моей нравственной жизни — никаким образом невозможно изложить в краткой заметке; надобно перебрать все, что я написал, указать каждую страницу, объяснить, отчего она написана так, а не иначе — чтобы видеть, какие условия жизни заставили меня и жить и думать именно так, как я думал и как писал. Личные подробности моей биографии вроде того, что родился я 14 ноября 1840 года в Туле и там учился в гимназии до <18>56 года, после чего переехал и поступил в Черниговскую гимназию, откуда в <18>61 году поступил в С<анкт>-петербургский унив<ерситет>, откуда перешел в Московский, где благополучно курса и не окончил, — такие подробности, с присовокуплением сведений о моей жизни в семье, в семейной обстановке, все это, рассказанное во всех подробностях, решительно не имеет в себе даже и зародыша того, из чего сложилась моя литературная жизнь. Вся моя личная жизнь, вся обстановка моей личной жизни лет до 20-ти, обрекла меня

на полное затмение ума, полную погибель, глубочайшую дикость понятий, неразвитость и вообще отдаляла от жизни белого света на неизмеримое расстояние. Я помню, что я плакал беспрестанно, но не знал, отчего это происходит. Не помню, чтобы до 20 лет сердце у меня было когда-нибудь на месте. Вот почему, когда «настал <18>61 год», взять с собою «в дальнюю дорогу» что-нибудь вперед из *моего личного прошлого* было решительно невозможно — ровно ничего, ни капельки; напротив, для того, чтобы *жить* хоть как-нибудь, надобно было непременно до последней капли *забыть все* это прошлое, истребить в себе все внедренные им качества. Нужно было еще перетерпеть все то разорение невольной неправды, среди которой пришлось жить мне годы детские и юношеские, надо было потратить годы на эти непрестанные похороны людей, среди которых я вырос, которые исчезали со света безропотно, как погибающие среди моря, зная, что никто не может им помочь и спасти, что «не те времена». Самая безропотность погибавших людей, явное сознание, что все, что в них есть и чем они жили, — неправда, и ложь, и беспомощность их, уже одно это прямо убеждало людей моего возраста и обстановки жизни, что из *прошлого* нельзя, и не надо, и невозможно оставить в себе даже самомалейшего воспоминания; ничем из этого прошлого нельзя было и думать руководиться в том новом, которое «будет», но которое решительно еще неизвестно. Следовательно, начало моей жизни началось только *после забвения моей собственной биографии,* а затем и личная жизнь и жизнь литературная стали созидаться во мне одновременно *собственными средствами;* в опустошенную от личной биографии душу я пускал только то, что во всех смыслах противоречило неправде; каждая «малость», которая радовала душу, где бы я ее ни нашел, — попадала теперь непременно в мою новую душевную родословную. Лицо, которого я мог не видеть никогда, но облик и сущность которого я чувствовал всем сердцем, — мой родной, родственник, друг. Что бы ни случилось, я знаю, что *«он»* есть, а стало быть не надо и робеть. Личная душевная жизнь и неразрывная с ней литературная работа поддерживались во мне и подкреплялись долгие годы без всякой личной или нравственной с чьей-нибудь стороны поддержки, и так было

до <18>68 года, когда я уже стал ощущать и нравственную поддержку добрых и симпатичных мне людей. Но лет семь — с <18>62-го по <18>68-ой — во мне было упорное желание не ослабеть в неотразимом сознании, что у меня никакой прошлой биографии нет... Одиночество в этом отношении было полное. С крупными писателями я не имел никаких связей, а мои товарищи — люди старшие меня лет на десять — почти все без исключения погибали на моих глазах, так как пьянство было почти чем-то неизбежным для тогдашнего талантливого человека. Все эти подверженные сивушной гибели люди были уже известны в литературе, и живи они в наше время, когда можно на полной свободе «пленять своим искусством свет», — они бы написали много изящных произведений; но захватила их новая жизнь, такая, что завтрашний день не мог быть даже и предвиден, — и талантливые люди почувствовали, что им не угнаться за толпой, начинающей жить без всяких литературных традиций, должны были чувствовать в этой оживавшей толпе свое полное одиночество... Сколько ни проявляй искусства в поэме, романе — *«они»* даже и не почувствуют... Спивавшихся с кругу талантливейших людей было множество, начиная с такой потрясающей в этом отношении фигуры, как П. И. Якушкин. В таком виде в пору было «опохмелиться», «очухаться», очувствоваться — и какая уж тут «литературная школа»! Похвальбы в пьяном виде было много; посулов — еще больше, анекдотов — видимо-невидимо, а так, чтобы от всего этого повеселеть, — нет, этого не скажу. Даже малейших определенных взглядов на общество, на народ, на цели русской интеллигенции ни у кого решительно не было. Немудрено, что ясно сознаваемое горе заливалось сивухой самыми талантливыми людьми.

Созидание собственной своей новой духовной жизни привело меня к мысли, что мне нечего делать среди этих талантливых страдальцев. Положим, что я хлопочу около какого-нибудь действительно талантливого человека, провожая его домой и усаживая «со шкандалом» на извозчика, или обороняя от «грубого дворника» и уговаривая не делать мордобития; но ведь это уже в двадцатый раз и может надоесть наконец... Положим, что вот и этот знакомый писатель тоже человек огромного дарования;

но что же мне-то делать, если я, придя к нему поговорить, вижу, что он «не в себе».

— Слышишь, — спрашивает талантливый друг, — как меня такой-то редактор ругает?

Редактор, который ругает, живет на Сергиевской, а тот, кто слышит его ругательства, — в Дмитровском переулке.

— Ишь, лает! А небось до сих пор восьми рублей не отдает... Уж как зашумел!..

Еще две-три фразы, и вы видите, что человек в белой горячке. Надобно идти к доктору, тащить его в больницу и лечить... А вылечится — жена не пускает приятелей к мужу. Да и он боится их, как огня, и сам не идет никуда, боясь запить.

Несомненно, народ этот был душевный, добрый и глубоко талантливый; но питейная драма, питейная болезнь, похмелье и вообще расслабленное состояние, известное под названием «после вчерашнего», занимало в их жизни слишком большое место. Не было у них читателя, они писали неизвестно для кого и хвалили только друг друга. Одиночество талантливых людей вело их к трактирному оживлению и шуму. Ко всему этому надобно прибавить, что в годы 1863—1868 все в журнальном мире падало, разрушалось и валилось. «Современник» стал тускл и упал во мнении живых людей, отводя по полкниги на бесплодные литературные распри, а потом и был закрыт. Закрыто и «Русское слово», и вообще мало-мальски видные деятели разбрелись, *исчезли*. Начали появляться какие-то темные издания с темными издателями... Один из них, например, когда пришли описывать его за долги, стал на глазах пристава есть овес, прикинувшись помешанным (Артоболевский). Когда, наконец, в 1868 году основались новые «Отечественные записки», первые годы в них тоже было мало уюта... Все, что собралось, было значительно поломано нравственно и физически, пока, наконец, дело не стало на широкую дорогу. Пока оно складывалось, жить в неустановившемся и неуютном обществе большей частью до последней степени изломанных писателей (с новыми я едва встречался еще) не было никакой возможности, и я уехал за границу. За границей я был два раза: в 1871 году, после Коммуны, причем видел избитый и прусскими и коммунарскими бомбами и пулями город,

видел, как приговаривают к смерти сапожников и башмачников; в другой раз я прожил там подряд два года, по временам только приезжая в Россию. В это время я был в Лондоне. Я мало писал об этом, но многому научился, много записал доброго в мою душевную родословную книгу навсегда... Затем прямо из Парижа я поехал в Сербию и в Пеште встретил *наших*. И об этом я *мало* писал, но много передумал и навеки много опять-таки взял в свою душевную родословную. Затем подлинная правда жизни повлекла меня к *источнику*, то есть к мужику. По несчастью, я попал в такие места, где *источника* видно не было... Деньга привалила в эти места, и я видел только, до чего может дойти бездушный мужик при деньгах. Я здесь, в течение $1^1/_2$ года, не знал ни дня, ни ночи покоя. Тогда меня ругали за то, что я не люблю народ. Я писал о том, какая он свинья, потому что он действительно творил преподлейшие вещи. Но мне нужно было знать *источник* всей этой хитроумной механики народной жизни, о которой я не мог доискаться никакого простого слова и нигде. И вот я из шумной, полупьяной, развратной деревни забрался в леса Новгородской губернии, в усадьбу, где жила только одна крестьянская семья. На моих глазах дикое место стало оживать под сохой пахаря, и вот я тогда в первый раз в жизни увидел действительно *одну подлинную важную черту в основах жизни русского народа* — именно, власть земли.

Таким образом, вся моя личная биография, примерно до 1871 года, решительно должна быть оставлена без всякого внимания; вся она была сплошным затруднением «жить и думать» и поглощала множество сил и времени на ее окончательное забвение. Все же, что накоплено мною «собственными средствами» в опустошенную забвением прошлого совесть, все это пересказано в моих книгах, пересказано поспешно, как пришлось, но пересказано все, чем я *жил* лично. *Таким образом, вся моя новая биография, после забвения старой, пересказана почти изо дня в день в моих книгах. Больше у меня ничего в жизни личной не было и нет.* Много это или мало — судить не мне.

ПИСЬМА

1864

1

И. Я. и Н. Г. УСПЕНСКИМ

<13—15 января 1864 г. Петербург>

Неоцененные мои! Дорогие мои! Папаша и мамаша!

На коленях прошу Вашего прощения за мое свинское поведение в отношении к переписке: Вы, думается мне, давно уже похоронили меня, и знаю, сколько молчание это причинило Вам тоски. Но я, слава богу, жив и здоров. Я теперь в Петербурге. А попал сюда я следующим образом. В Москве, как известно Вам, я занимался корректурой и получал 25 руб. сер. в месяц. Сначала еще было свободное время, то есть утром часа 3 можно было провести в университете, но потом, когда начали печататься адрес-календари, росписи кварталов, чайные ярлыки и лечебники, когда работы было невпроворот, тогда просто некогда было дохнуть. Мне оставалось одно, — или бросить типографию и ходить в университет, или с голоду околеть: потому что брось я типографию — я лишаюсь 25 р., единст<венного> источника существования, но зато — университет, куда, конечно, по причине голодного брюха ходить не будешь. Загадка была очень сложная. Я соображал так: если я буду постоянно корректором, — стало быть я постоянно не буду иметь возможности покончить с университетом? Незавидно. И вот я решился достать себе средства другие: теперь я надеюсь к августу иметь 300 руб. сер., с которыми и надеюсь существовать год исключительно в университете, из которого я никогда не выходил, как полагаете Вы согласно письмам В<ладимира> Глебыча. Этот господин перессорил меня со всеми: называет меня атеистом, богоотступником и проч., а сам ниже всякой гадины,

развратнее последнего потерянного человека. Ради бога Вы не тревожьтесь слухами, которые буд<ет> распускать он.

Меня здесь приняли в разных редакциях отлично. Прошу Вас взять у Кранца *№ 12 Библиотеки для чтения* (которую советую предложить в палате выписать вместо *От<ечественных> записок*) и прочитайте там мой рассказ *Старьевщик* (из моск<овской> жизни). Я получил за него 50 руб. и теперь, клянусь истинным богом, пришлю свой портрет. Посмотрите также в этой книжке объявление и полюбуйтесь, что Г. И. Успенский наряду с *И. С. Тургеневым.* Мне даже самому смешно.

В *№ 1 Русского слова* будет моя статья *Ночью* (из моск<овской> жизни). Пишу в «Современник» историю *Григория Яковлевича.*

С Николой видимся редко и сухо, ибо у нас происходят некоторые контры из-за авторства. Его теперь уже нигде не берут, ибо он ломит 200 р. за лист.

Христа ради прошу сестер, братьев, всех писать ко мне почаще. Что мы заснули? Неужели же мы все замерли до бесчувствия?

Ради господа пишите мне. И еще раз простите, что невежественно поступаю насчет переписки. Я не поздравил вас даже с Рождеством. Это потому случилось, что в это время я был в ужасном положении, не имел ни гроша и притом был в сильных хлопотах насчет моих статей, — но теперь, благодаря бога, дело это я уладил, и теперь некогда выпустить из руки пера, так и хватают.

Тысячу раз целую вас, неоцененные мои, искренно любящий

сын Ваш *Глеб.*

Адрес мой.

В С.-Петербург.

На Вознесенском проспекте в д. Моравиц № 3-й, у г-на Коломенцева. Г. И. У<спенский>.

P. S. Нюню прошу непременно взять книжку у Кранца и, кроме того, поклониться М. И. Дуброво.

Папеньке дали из Министерства 300 руб. сер. на воспит<ание> детей.



1865

2

НЕИЗВЕСТНОЙ

1865 г. июля 4. Тула

Добрая Варвара Тимофеевна!

Удивительные совершаются со мною дела, — <.....>[1] и боюсь, что ни один из моих планов не осуществится. — Ужасно! Я теперь 1000 раз вспоминаю Чернигов, — тот покой и удобства к работе, которые окружали меня там; Вы можете себе представить, что у меня до сих пор по недостатку денег — нет комнаты? Почему я живу в беседке, — где крыша до такой степени накаливается жарко, — что решительно не только писать, — думать невозможно. Купальни за $2^1/_2$ версты, — кроме того, выйти из дому решительно невозможно, ибо — на улицах существует белая едкая известковая пыль, от которой портится платье, тем паче рожа людская. На днях, впрочем, переедем на квартиру, и тут мне приходится обитать в комнате в $1^1/_2$ арш. ширины и аршин в 5 длины, — линейка какая-то. Что будет — не знаю, — но писать, без всякого сомнения, буду, — необходимо. Фельетон о Черниг<ове> послал безо всякого изменения, — знаю, что глупо, — но что делать... Ей-ей, нужны деньги, — и уж вовсе не до переделки таких и без того дурацких вещей. Что же Вам еще сказать? О себе я сказал всё — т. е. ничего не делаю и жду погоды; <.....>[1] *по состоянию.* Нюня уже *того...* и поэтому у них в семействе только и слышишь: да мальчик, ей-богу мальчик!

— Маменька, не оставьте, — гов<орит> Нюня.

---

[1] В подлиннике несколько слов вырезаны. — *Ред.*

— Ей-богу... Что там! Вот нашла церемонии, — дело *божее*.

Нюня ходит поэтому по 2 шага в час, и через пороги, через лучинки и соринки, попадающиеся на пути, перелезает, как через Альпийские горы, приподнимая платье спереди и высоко занося ноги, чтобы не оступиться.

Я туда не хожу. Если случится, то единственно за папиросной бумагой, по нищете, впрочем мы не ссоримся — нерасчет, да и незачем.

В Туле меня ругают за фельетон. Хотят и бить и отделывать. Любопытнее всего то, что иногда вся ругань говорится при мне, — ибо моего лица никто не знает, или знают очень немногие. Недавно я встретил здесь своего старого знакомого, с которым мы вместе получали по 25 руб. у Каткова, — и который теперь получает на железной дороге 2400 р. в год. — Этот барин распустил слух, что Успенский здесь, и поэтому иногда на бульваре или в так называемом Эрмитаже я вижу, как на меня смотрит целая куча незнакомых, выпуча глаза, — я прохожу и слышу кто-то сзади чуть шепчет: Успенский — а-а-а и проч. Не могу не сказать, что и смешно и приятно. Чтоб доставить себе еще больше удовольствия — посылаю недели через две — 2-е письмо из Тулы, — вот подымется кутерьма. Потому народ глуп — очень.

А я жалею, что не видал *Т.* Теперь нечего вспомнить, т. е. нечего представить себе: в голове уцелело несколько прекрасных черточек, — а физиономии нету. Призрак какой-то.

Варв<ара> Тим<офеевна>! Напишите мне о Т., о Д., о себе и *обо мне* наконец. Что В<асилий> Яклич? Видите ли Петрункевича? Он на меня зол.

Ежели будете писать мне, то вот адрес:

В Тулу.

Г. И. У.

Против уездного училища, в угольном доме Белевского подворья, в ниж<нем> эт<аже>.

Пишу небрежно потому, что и жарко и писать нечего.

Жду письмеца Вашего с нетерпением.

Гл. Успенский.



1866

3

А. П. КУЛАКОВУ

3 ноября <1866 г., Петербург>

Александр Павлович! Решительно не нахожу слов, как мне просить у Вас прощения. Я глубоко виноват перед Вами, перед Вашими ласками и заботами обо мне, который не стоит порядочного плевка; говорю это от всего моего испорченного сердца и, ради самого бога, прошу только не рвите этого письма и прочтите его. Мих<аил> Васил<ьевич> Успенский передал мне Вашу записку только 15, или около того, — октября; в ней Вы просите меня уплатить мой долг и напоминаете о моем честном слове. Знаю, тысячу раз знаю, что поступок мой подл в высшей степени, но, ради бога, войдите и в мое положение. Я приехал в Петербург без копейки, и в тот же день прекратилось издание *Современника* и *Русского слова,* на котор<ые> я надеялся. Статью мою, назначенную в *Совр<еменник>*, я отдал в *Луч* (сборник), который запрещен цензурой, и я, вместо 150 руб. ожидаемых, — не получил ни копейки. Затем июнь, июль, август и сентябрь, — я жил в долг, в старой квартире, где по знакомству ждали за мной деньги, за что с своей стороны я должен был обязаться уплатить более нежели следует: в четыре месяца я задолжал 250 руб. (по 65 руб. в месяц). Во все это время я жил в долг, без копейки, и принужден был платить такие деньги, чтобы не умереть с голоду: выехать из Петербурга мне бы не позволили; наконец, 30 сентября вышла 1-я книжка журнала *«Женский вестник»* с моей статьей в 180 руб. Эти деньги тотчас же ушли на уплату петербургского долга целиком. На днях выйдет 2 № *Женск<ого> вестн<ика>*, я получу 150 руб., и, за уплатою долга, буду иметь в кармане 80 руб., из которых тотчас же должен буду истратить

часть на покупку теплого пальто, так как на дворе зима, и у меня останется какая-нибудь ничтожная кроха, — *единственная моя надежда навсегда*, потому что «Женск<ий> вестн<ик>» едва ли долго просуществует: у издателей нет денег. И вот тут-то моя погибель. Я держал экзамен *два раза*, и оба раза от меня требовались профессорские суждения: строгость усилилась до высшей степени после 4 апр<еля>. Думают, что литераторы будут развращать молодежь — учеников, и не пускают в учителя. Словом, в настоящую минуту я нахожусь в безвыходном положении и всем священным умоляю Вас в *последний раз* обратить внимание на мою просьбу: если я не совсем презренная тварь, — то, ради бога, не возможно ли зачислить меня исправляющим должность учителя хоть русск<ого> язык<а>, хоть истории, впредь до выдержа<ния> экзамена. Вспомоществование, кот<орое> дает<ся> учителям, Вы возьмете всё за долг. А Рождеством или в январе я съездил бы в Москву проэкзаменоваться, чего теперь решительно сделать не могу, потому что убит окончательно. Я болен, расстроен, упал духом, словом готов упасть на колени к первому встречному и просить его не оставить меня. Я прошу Вас только одно слово написать мне: можно на сказанных условиях поступить или нет, и я *тотчас же* (божусь Вам) приеду в Тулу, заняв в Лит<ературном> фонде хоть 20 руб. Все обеднело, обнищало и ходит без копейки, но так как Некрасов теперь в Петербурге, то думаю, что он выхлопочет для меня эту сумму. Умоляю Вас в *последний раз* выслушать со вниманием *мою последнюю просьбу*. Я ни на волос не отступался все время от того, что говорил Вам в Туле, но крайность заставила меня молчать и сидеть в Петербурге. Мих<аил> В<асильевич> Усп<енский>, ругавший меня повсюду, — узнав хорошенько мои обстоятельства, заговорил совершенно другое и, поверьте, не считает окончательно погибшим. Прошу Вас не показывать этого письма никому и с нетерпением жду Вашего ответа.

Душевно преданный Вам

Гл. Успенский.

Адрес мой: На углу Большой Мещанской и Зимина переулка, д. Брунста, кв. № 17.

1867

4

Н. Г. УСПЕНСКОЙ

<Начало 1867 г., Петербург>

Милая мама! Опять в наши дела ввязывается Мих<аил> Вас<ильевич>, с которым, как и с Ник<олаем> В<асильевичем>, я не имею ничего общего. Верьте же, ради бога, мне, а не Мих<аилу> Васильевичу: я знаю, что я делаю, и никто, ни Ник<олай> В<асильевич>, который не имеет решительно никакого влияния надо мною, — не заставит меня делать против воли и необходимости. Не могу я до сих пор заняться исключительно приготовлением к экзамену, потому что нужно что-нибудь одно — или экзамен держать, или работать из-за куска хлеба. Я писал Вам совершенно искреннее письмо о своем положении и о своем намерении, — я прошу только, ради бога, помочь мне в последний раз, чтобы поступить в учителя, чего я страстно желаю. Должность эта даст мне возможность покрыть все мои долги родным, я писать буду и в уезде, потому что всякую строку мою берут и платят за нее. При должности я буду иметь маленькое обеспечение, и больше мне ничего не нужно; по натуре моей я ведь не гусар, не кутила. Большие куши я занимал у Вас только на дорогу. — Живя с Вами в Туле, я у всех одолжался полтинниками и четвертаками, — нужды мои оч<ень> ограничены. Повторяю Вам мою искреннейшую просьбу: я непременно поступлю в учителя в нынешнем мае месяце, — только, ради бога, помогите мне в последний раз. Я все это осенью, когда отдохну и укреплюсь на месте, возвращу Вам. Поэтому, ежели можно, вышлите мне 35 руб. Ради самого бога. Они крайне необходимы мне. Поверьте, что я ведь вовсе не подлец, что я не хочу и не имею сил отнимать

у моих братьев и у Вас последний кусок хлеба, — я буду Вам полезен сам, быть не может, чтобы я умел только грабить Вас.

Ради бога, в последний раз верьте мне и гоните в шею этого дурака и подлеца-щелкопера Мих<аила> В<асильевича>. Ему просто нужно что-ниб<удь> гов<орить>. Я виделся с ним с октября до сих пор один только раз.

Не откажите мне.

Глеб Успенский.

На углу Бассейной и Литейной, дом Краевского, кв. № 34

5

П. В. АННЕНКОВУ

28—29 апреля 1867 г., Петербург

Милостивый государь
Павел Васильевич!

В январе месяце нынешнего года я обращался, через посредство Н. А. Некрасова, в Литературный фонд с просьбой о пособии и тогда же через Вас получил уведомление, что общество, находя меня здоровым и способным трудиться, — отказало мне в моей просьбе. Несмотря на невозможность трудиться хоть сколько-нибудь добросовестно, так как все обдуманное и более выдержанное из моих вещей — было напечатано в течение четырех месяцев (с сентября по 1-го января <18>67 года), — я должен был снова взяться за работу, не имея возможности отдохнуть и одного месяца, так как заработок четырех упомянутых месяцев весь пошел на покрытие некоторых долгов, сделанных в течение летних месяцев, когда решительно негде было работать, и которые я не могу считать отдыхом, потому что проводил их в крайней бедности. Кроме всего, некоторую часть моего заработка я должен был уделить моей матери, живущей в провинции и весьма нуждающейся. Поэтому-то в январе месяце я должен был обратиться с просьбой о пособии в Фонд. После отказа я должен был работать снова, не переставал работать до сих пор и в настоящее время решительно

не имею возможности продолжать мои работы: восемь месяцев непрерывного труда истомили меня физически до такой степени, что я снова принужден обратиться с просьбой о пособии, так как ни одна из существующих редакций новых журналов не имеет средств обеспечить сотрудника хоть на два месяца отдыха. Я убедительно прошу общество дать мне возможность уехать в провинцию, чтобы хоть немного собраться с силами, и если бы общество нашло возможным помочь мне хоть 60 руб. сер., то я бы был крайне обязан им и искренне благодарен.

Глеб Успенский.

Адрес мой: На углу Бассейной и Литейной, д. Краевского, кв. № 34.

6

Н. Г. УСПЕНСКОЙ

<22 сентября 1867 г., Епифань>

Бесценная моя матушка Надежда Глебовна! Я, признаться, немало удивляюсь, не получая от Вас никакого извещения в течение целого месяца моего жития в Епифани. Живы ли Вы, здоровы ли? Если возможно, напишите мне; Ваше письмецо мне во всяком случае приятнее 10 целковых без единого слова об чем-нибудь. Месяц до этого я прожил не совсем благополучно; недели полторы тому назад, вследствие постоянных страшных сквозных ветров, продувающих Епифань, я простудился, и со мной началась уже горячка, но ее прервали, благодаря Прозоровскому, который привел доктора ко мне. Тем не менее я все-таки пролежал не вставая 5 дней; поправившись и выбрав теплый день, я закутался и отправился в баню версты за 3 от Епифани, к помещику Игнатьеву; на возвратном пути меня захватил дождь и холод, и я приехал с больными зубами и с простудой в целой голове, от каковых болезней решительно не могу избавиться и до сей минуты, а между тем к этому присоединяется еще недостаток в деньгах; в настоящую минуту, именно сегодня — 22 сентября — оканчивается срок моей квартиры, а мне бы хотелось переехать на другую, кот<орую> мне отыс-

кали знакомые. Та квартира у част<ного> прист<ава> в 2 комн<аты> с 3-ей — передней и за ту же цену 10 р. со столом, как и теперешняя моя в 1 ком<нату>. Но теперешняя моя холодна, далека от училища, и, кроме того, нет прислуги, кот<орая> умела бы вычистить сапоги, тогда как на новой кв<артире> постоянно в моем распоряжении будет пожарный солдат; за неимением денег я должен остав<аться> пока на старой. Циркуляра об определении меня нету до сих пор, и жалованье я не получал, а в нынешнем месяце прожил 22 рубля. Просить у Вас я, ей-богу, не решаюсь; но думаю, что не может ли А. П. выхлопотать у директора разрешение насчет жалованья, с тем что если начальство не утвердит меня, то я бы должен возвратить деньги. Если же этого нельзя, то приходится просить, что мне оч<ень> горько, у Вас 25 руб. на прожиток в след<ующем> месяце, с тем что если придет разрешение об определении меня, — то жалованье, которое выдадут мне за эти месяцы, — я пришлю Вам, так как в настоящее время я живу на Ваш счет; 25 р. я прошу потому, что, кроме квартиры, чаю, сахару, табаку, мне нужно купить калоши глубочайшие, ибо грязь здесь такая, о какой мы, — я и все вы, — не имеем никакого понятия, да теплую шапку. Еще немного погодя необходимо нужно будет купить барашковый воротник — холода начинаются.

Теперь я должен известить Вас, что в своб<одное> время я пишу большую историю, — и даю Вам честное слово, что на Рождество расплачу все мои должишки и долги.

Поклонитесь от меня Ан<не> Ив<ановне>, а равно Нат<алии> Гл<ебовне> и наипаче Лизавете Глебовне, Леле, которую попросите передать мое глубоч<айшее> почтение Любовь Петровне Воскр<есенской>. Не можете ли Вы написать мне купно с Лизаветой Глебов<ной> и передать Леле мою просьбу, чтобы и они мне тоже какую-нибудь записочку написали.

Взяты ли у Ходосевича карточки? За них нужно 2 р. 50 коп. А то он меня выставит как человека, который заказал, да не заплатил.

Целую Ваши ручки и остаюсь

Гл. Успенский.

22 сентября, Епифань.



1868

7

Н. А. НЕКРАСОВУ

15 марта 1868 г., Москва

Милостивый государь
Николай Алексеевич!

Не позже 21 числа, т. е. пятницы 6-ой недели, будет непременно доставлена моя повесть — вся; ради бога, прошу Вас извинить мою медленность, я решительно иначе поступить не мог. Я нахожусь в большом недоумении относительно того, что очерк мой не появляется до сих пор; или он в высокой степени гадок, или, как мне кажется, тут другая причина и именно то, что внимание Ваше ко мне оскорблено моим неисполнением слова относительно другого очерка, для 2 кн., и тем, что не сказавшись уехал из Петербурга.

Так как внимание Ваше слишком для меня дорого, то я убедительно прошу Вас прочесть мое объяснение мучающих самого меня поступков. Когда был закрыт «Современник», я по необходимости должен был работать где-нибудь и попал в «Жен<ский> вестник». 2 рассказа мои, написанные для этого журнала, были зачеркнуты цензурой, и я сделался редакции должным. До последнего моего приезда в Петербург у меня не было средств уплатить этот долг сразу; да и после того я мог уплачивать по частям, потому что и брал я деньги эти тоже частями самыми ничтожными. В нынешнем году, желая что-нибудь заплатить «Ж<енскому> в<естнику>», я отправился в редакцию и к удивлению моему узнал, что рассказ мой печатается в 1-м № этого журнала. Я прошу принять от меня деньги, мне говорят, чтобы я возвратил

сразу все, зная, что я этого сделать фактически не могу. При этом был один из известных писателей, которого я могу назвать когда угодно. Я отдал все, что у меня было, и поэтому не мог оставаться в Петербурге. Я дал слово работать исключительно у Вас, да и всегда сам глубоко желал этого, поэтому не мог обращаться никуда; но так как за день перед этим Вы дали мне 100 р. — то и к Вам не мог обратиться. Я должен был как-нибудь жить и уехал к знакомым в Москву. Но так как я существо не двужильное, то вся эта история измучила меня, и я не мог совсем работать и приготовить Вам очерки. Жить было здесь трудно; я принужден был написать 2 корреспонденции в одну петербургскую газету из Москвы, и все это вообще замедлило мою работу... Но теперь она почти кончена, в пятницу Вы получите ее.

Ваш покорнейший слуга
Глеб Успенский.

Москва, гостиница Мамонтова, № 74.

8

Н. С. КУРОЧКИНУ

<30 июня 1868 г., Стрельна>

Многоуважаемый Николай Степанович! Позвольте Вас просить передать сию записку Некрасову; запечатав или нет — как хотите. И кроме того, будьте так добры — замолвите словечко ему насчет того, что 100 р., как прошу я, — мне действительно нужны и действительно помогут мне работать успешно, — а работать хоть в какой-нибудь обстановке, хоть даже в целой, неразорванной рубашке, мне будет лучше и могу я работать действительно: матерьялы у меня есть, — нужно только передохнуть и опомниться.

Всегда готовый к услугам
Глеб Успенский.

9

Н. А. НЕКРАСОВУ

<30 июня 1868 г., Стрельна>

Милостивый государь
Николай Алексеевич!

Просматривая вчера мой рассказ, я увидел, что сто рублей, выданные Вами мне в мае и июне, покрыты; и так как в деньгах я имею большую надобность, то позвольте Вас просить выдать впредь до представления повести (никак не позже 15 августа) — еще сто р. сер. Эта сумма сразу поправит мои дела, — даст мне возможность покойно заняться своим делом месяца полтора. Кроме небольшого рассказа, который осенью напечатается в «Неделе», — все мои работы принадлежат только Вам одним, и работ этих у меня будет много, так как и в настоящее время я могу одну за другой доставить восемь вещей. Говорю эти подробности для того, чтобы Вы не подумали, что, обращаясь к Вам с просьбой о такой сумме, я желаю злоупотреблять Вашим вниманием ко мне.

Если возможно, я бы желал получить эти деньги сразу, чрез посредство Николая Степановича Курочкина, который передаст Вам эту записку и распишется за меня.

Ваш покорный слуга *Глеб Успенский.*

30 июня <18>68 г., Стрельна.

10

Н. А. НЕКРАСОВУ

<7 октября 1868 г. Петербург>

Милостивый государь Николай Алексеевич!

Если возможно, повремените отдавать мою рукопись в печать до утра среды, когда я привезу Вам окончание 1-й половины. Я бы просил, кроме того, Вас самих просмотреть ее предварительно.

Ваш покорный слуга *Гл. Успенский.*

7 октября.

Новый адрес мой: На углу Больш<ой> Мещанской и Зимина переулка, д. Брунста, кв. № 21.

11

Н. А. НЕКРАСОВУ

19 октября 1868 г., Петербург

Милостивый государь
Николай Алексеевич!

По прочтении моей корректуры я еще раз обращаюсь к Вам с покорной просьбой — отложить печатание ее до 1-й январской книжки или до декабрьской. Необходимость написать именно повесть, а не ряд рассказов и очерков, путала меня в течение целого года, и я по крайней мере шесть раз написал эту вещь. Так как в ожидании ее прошло слишком много времени и, наконец, надо же было представить ее, то я решился отдать ее в том виде, как она есть. Но в этом виде она оказалась совершенно неудовлетворительною. Словом, я прошу Вас об одном: из 3 листов находящейся у меня корректуры, с прибавкою еще 1½ листа, я сделаю к декабрьской книжке четыре отдельных рассказа. Рассчитать их я совершенно согласен даже и по 50 и по сколько угодно с листа. Относительно вообще денег, взятых у Вас, — сделайте милость, будьте покойны: я надеюсь, что путаница, идущая в моей голове и мучающая меня в течение целого года, пройдет, и весь матерьял мой прояснится от теперешнего тумана. Позвольте просить Вас уведомить меня о Вашем решении насчет того, согласны ли Вы на мое предложение.

Глеб Успенский.

Адрес: На углу Большой Мещанской и Зимина переулка, д. Брунста, кв. № 21.

1869

12

А. В. БАРАЕВОЙ

Вторник, 18 марта <1869 г., Петербург>

Сегодня, в 6 часов утра, я наконец кончил свое «Разорение» и уже передал Некрасову. Дня через два-три я буду совсем свободен и уеду, — но, господи, до чего мне скучно без Вас! Я буквально болен, и должно быть вследствие моей болезни мне в голову лезут разные безобразные вещи. Мне все представляется, что Вы разлюбили меня и бросили потому, что множество найдете людей лучше меня в сотни раз, впрочем, извините меня, я просто нездоров. Я выпил у Коли однажды бутылку красного вина, поехал домой и простудился — теперь лучше, но все-таки я болен — болен... О моем «Разорении» пошли толки по Петербургу самые оживленные, прилагаю Вам три отзыва из разных газет. Все это мне приятно, только нету Вас, и мне до того скучно, что, кажется, все равно, ехать ли в провинцию, оставаться ли все лето в Петербурге — решительно одно и то же, но я поеду.

После Вашего отъезда ко мне стал шататься Карташов и измучил меня вконец — лепечет какую-то чушь про фокусников, про Гран Плезир и т. д. Между прочим, он называл Ан<ну> Вас<ильевну> фальшивой женщиной. Между прочим, Ан<на> Вас<ильевна> намерена вместе с каким-то Гипеном ездить верхом в манеже. Еще новость, которую сообщил мне Коля Долганов, — умер Ваня Соколов, — и ждут Аркадия в Петербург. Коля бывает у меня каждый день, — но по доброте и скуке — двух качеств его, все-таки он как-то тяжеловат. Впрочем, человек отличный.

Милая! Теперь в воскресенье ко мне пришли Михен и Филатов, два дуралея, и нету Вас. Где Вы, крошка моя? Помните, как Вы бегали по дивану и говорили — «а мне гостинцу купить?» Как нога уходила на улицу? «Меня покатать». Голубчик мой, как я люблю Вас, сколько Вы дали мне ума, сил, ангел мой.

Я болен, не могу писать ни о чем. Только не забывайте меня... Милая, хорошая, родная.

Г Успенский.

P. S. Получили ли *Отеч<ественные> зап<иски>* и *Разорение?*

13

А. В. БАРАЕВОЙ

Понедельник, 9-го мая <1869 г., Липецк>

Милая Бяшечка! Хотел было я тебе писать тотчас после отъезда, но решительно ничего нового, сообщить было нечего. Утром по обыкновению проснусь под музыку и жду, — что это будет сегодня? Не будет ли повеселей? Напьюсь чаю или молока и пойду в сад, публика все знакомая, — монах, Катер<ина> Петровна, Криволуцкий, Борзов и пр.

— Ну что?

— Ничего.

— Отчего вы поздно пришли?

— Так. Зачем же именно рано?

— Да это так, разумеется...

Начинается писание палками вензелей по песку.

— Я уж второй стакан выпила, — говорит Кат<ерина> П<етровна>.

Я знаю, что ей еще нужно 2 стакана, однако говорю:

— Уж два? Сколько же вам осталось?

— Еще два.

— Однако!

Что значит это «однако», никто не знает, — но говорят все.

Словом, цыпа моя, идет чушь непроглядная, но я чувствую себя совершенно покойно: мне не скучно и не ве-

село, а так, ничего, и могу так проводить сколько угодно время: чувствую, что отдыхаю; только подлый обед в гостин<ице> Мин<еральных> вод портит этот отдых, — иногда кормят скверно, например сегодня мне дали ботвинью с осетриной; я не рассмотрел ее и съел, а она оказалась гнилая, и у меня целый день страшная резь в желудке и тошнота. Письмо это я пишу небрежно потому именно, что болен и тошнит, не мог гулять и даже трудно сидеть, — такие скоты. Сегодня на Новицкого свалилась беда. Все общество составило формальный акт о том, что директор решительно не заботится о его нуждах. Вчера вдруг по его приказанию выгнали из вокзала нескольких лиц, игравших вечером в карты. Потом ворота сада запирают в 10 ч<асов> ночи, так что дамы некоторые лазили через забор, тогда как 10 руб. берут на содержание вокзала, садов и, следовательно, сторожей. Объявили об этом Новицк<ому>, а он сказал «не мое дело», тогда составили акт. Все это довольно глупо, но мне кажется, что Новицкий в будущем году не дождется и 10 человек лечащихся: он действует тоже необыкновенно глупо. Надо отдать ему честь.

Приехала сюда красавица Борисовская. Я ее видел в вокзале отлично, потому что сидел с ней рядом; она, во-первых, глупа как пробка, а во-2-х, вовсе и не красавица: когда она говорит или смеется, то нос ее тянется к подбородку, глаза камелии: у парикмахеров такие красавицы на окнах. Она брюнетка или около. Морда матовая, и глупость эфиопская.

Коля прислал мне 50 руб. — такой, право, золотой человек, он получил деньги, которые ждал, и скоро получит эти 50 руб. Посылаю тебе его письмо. Студенты приехали, и, кажется, я с ними пойду шататься, только сошью сначала парусинное пальто. Из Мценска Якушкин выслал мне брюки, а белье и сапоги после; он написал мне задушевное письмо насчет моего «Разоренья», — в восторге и просил меня ехать к нему для разговоров, обещаясь сообщить множество материалу. Я напишу ему письмо. «Листок» высылается вам на днях. У него 25 подписчиков — только. Выписали какого-то редактора из Петербурга. Дураки! Я бы за половину суммы взялся редактировать «Листок» и был бы преинтересный, без фельетона, конечно, а с одними местными известиями

Степной полосы. Они думают заинтересовать Россию тем, что в Липецк приехали музыканты, что на вечере было 5 человек.

Голубчик, прости меня за это письмо. Я измучен болью и духотой, которая терзает Липецк вот уж несколько дней. Я не знаю, куда деться от нее! Мне предлагают флигель целый с мебелью за 12 руб. Найму. Милая цыпа, — прости меня, голубчик! Завтра же пошлю тебе еще письмо и напишу разборчивей, потому что надеюсь поправиться. Целую тебя, крошку мою. Когда вы приедете?

Вдруг сию минуту (11 ч<асов> ночи) хлынул страшный дождь, до ужаса страшный, просто ужас, ужас. Я боюсь тушить свечу.

Цыпинька, прости мне, пиши мне прямо в Золотой Лев, прости, милая. Целую твои ножки! Как бы мне хотелось поцеловать их в самом деле. Цыпа, голубчик, прощай!

Г Успенск<ий>.

Молния! Смерть моя и гром. Ужас. Ей-богу, я умру!

14

Н. А. ДОЛГАНОВУ

Липецк, 26 июня <1869 г.>

Добрейший и дорогой мой Николай Алексеич!

Немало, ох и немало виновен я перед Вами; взамен самого тщательного исполнения моих просьб, я отвечаю Вам самым неопрятным неисполнением собственных обещаний писать часто и подробно. Дело в том, что я — действительно и по чистой совести — не могу до сих пор отдохнуть и поправиться: я весь слаб и если похожу порядком по городу, то не могу ни думать, ни взяться за перо; рад бы душою, но в теле страшное утомление. Если еще поживу месяц, то я думаю, что отдохну наконец и в августе явлюсь в Питер с окрепнувшими силами для того, чтобы вновь уложить их в «Разоренье», которое меня решительно все просят продолжать. Но теперь пока

не могу написать строки. Время я провожу таким образом. Просыпаюсь в 7, а иногда и в 9 ч. утра (оч<ень> часто) и еду купаться; живу я в гостинице, помещающейся на горке около сада Минеральных вод, и в это время, то есть в 9 ч. утра, там играет музыка и до 10 или до 11 часов. С купанья, которое оч<ень> далеко от города, я иду прямо в сад, и ухожу вместе с музыкой домой пить чай и лежать или просто иду шататься по городу. Липецк — городок чистенький, просторный; тесноты и навоза нету никакого, — везде зелень и новенькие домики. Тут, недалеко от меня, есть памятник Петру Великому, ценой в грош и фигурой, так что он известен под именем зубочистки Петра Великого. Нашатавшись и належавшись, иду обедать в гостиницу Минеральных вод, обед стоит 60 к., и потом по знакомым или ко мне кто-нибудь зайдет. В 7 ч. вечера опять музыка, в другом саду, до 8-ми, и потом опять чай в гостинице или у знакомых и сон благодатный. Ем много, и все хорошее, свежее. Но не лечусь ничем. Кумыс здесь плохой, потому что дрянной скот и нет травы степной, — я его пить не мог; выпил бут<ылок> 20 и бросил. Его пьют по 6, 7, 10 и даже 15 б<утылок> в день, постепенно. Суть его в том, что он питателен и ожиряет легкие, если они повреждены чахоткой. Вкус похож на сыворотку с зельтерской водой. Кумыс продается в таких же бутылках и так же шипит, как и зельт<ерская> вода. Железная вода здесь тяжела и портит зубы, пользы от нее мало, и если ее прописывают, то собственно для того, чтобы заставить больных много ходить. От этого они и поправляются главн<ым> образом, а не от воды.

Вот Вам почти все о целебных средствах Липецка. Все дело здесь, стало быть, состоит в музыке и отдохновении помощию ничегонеделания. И сначала это действительно приятно. Когда я приехал, воздух был превосходный, но теперь постоянная езда истерла в порошок здешнее шоссе, и поэтому при каждом степном ветре, которые в степи необыкновенно часты и сильны, — вас душит пылью.

Недалеко от Липецка есть лесная ферма, где учится мой брат. Там действительно хорошо, и люди там отличные; недавно я был там на охоте. Мне ужасно понравилось, и я думаю снова идти туда на Петров день. Охота

тем хороша, что можно ходить сколько угодно и не чувствовать усталости. А это для меня первая вещь, потому что я ленив, как собака старая.

Говоря по совести, жить здесь было бы весьма скучно, если бы не надежда видеть от времени до времени Алек<сандру> Васильевну и потолковать с ней о какой-нибудь *новой игре.* Видел я ее здесь всего два раза. 1-й раз лежу, вдруг записка от А<лександры> В<асильевны>: «мы приехали, приходите в гостиницу Мин<еральных> в<од>». Я пришел и познакомился с Херадиновой. Мы пообедали вместе, поболтали, нам было хорошо. Гулять мы не могли, потому что у А<лександры> В<асильевны> болела нога; на другой день мы обедали с А<лександрой> В<асильевной> вдвоем, а после обеда они уехали и обещали приехать через 10 дней. Все эти 10 дней я ждал их терпеливо, но ни на 11, ни на 15-й их не было, тогда я взял и махнул по желез<ной> дороге в Елец и нашел Ал<ександру> В<асильевну> и Херадинову в гостинице Попова. Это было в 11 ч. веч., меня пригласили пить чай, и я просидел у них до часу. На другой день мы гуляли с А<лександрой> В<асильевной> по коридору. Сидели в общей зале, куда являлась Херадинова, а вечером гуляли в саду с Петей и Херад<иновой>. Утром в 9 ч. мне нужно было ехать в Липецк, и А<лександра> В<асильевна> пришла со мной проститься в общ<ую> залу в 8 ч. Последний раз я виделся с ними 3-го дня. Они приезжали в Липецк на 3 или 4 часа, я успел только поговорить с ними за обедом и проводил их на ж<елезную> дорогу. В Липецк они обещали переехать 4 июля и тогда останутся до конца лета. Поскорей бы, право.

От времени до времени работаю чуть-чуть, но 2-ая повесть сложилась в голове почти совершенно, нужно <к> осени, и я напишу ее скоро. Еще я думаю написать очерк *Липецкие воды* для «От<ечественных> записок», небольшой, но не знаю, как собраться. Прищучит крайность в деньгах, напишу скоро. Отчего, Ник<олай> Алексеич, Вы не пишете мне ничего? А<лександра> В<асильевна> говорит, что у нее есть несколько Ваших писем, — а мне ни строки. Я виноват, сам не пишу, но, ей-богу, я устал, я лучше все расскажу, когда буду в Петербур<ге>, дайте отдохнуть.

Насчет Курочкина и Поливанова я думаю так, что гораздо будет лучше начать занятия с августа, с осени. Тогда все в Петербурге начнут делать дело. Может быть, даже А<лександра> В<асильевна> приедет в конце осени, и все примемся за работу. Теперь отдохните. Наверно, и Поливанов на даче, куда Вам разъезжать не расчет. И кто делает дело летом? Всё спустя рукава, нашеромыгу, напрасная трата денег.

Здесь я встретил одного господина Винберга, который учился в Коммерч<еском> и знал Александра Бараева.

Щедрин написал мне 11-го июня, что постарается всеми мерами о высылке мне 50 руб., котор<ые> я тотчас доставлю Вам. Вероятно, нет Некрасова, и потому не могут ничего сделать, но теперь, я думаю, это решится скоро. Извините, Н<иколай> А<лексеевич>, — к Вам так много народу лезет с поручениями и просьбами, что мне и не пристало бы. Виноват я пред Вами, но авось поправлюсь.

Щедрина оставьте покуда у себя. А июльские деньги вышлите по такому адресу: В Липецк, Екатерине Петровне Тимофеевой, на Соборной площади в д<ом>, где казначейство, с передачею мне. До свидания. Пишите, пожалуйста.

Г. Успенский.

С 1-го июля пусть не вычитают за «Голос».

15

Я. П. ПОЛОНСКОМУ

31 июля <1869 г.>, Липецк

Милостивый государь
Яков Петрович!

Не откажите принять участие в литературно-музыкальном вечере *в пользу училищной Липецкой библиотеки.* Если будете Вы читать *Шиньон* или что другое, то и я охотно прочту что-нибудь, — цель хорошая. Завтра придут Вас просить сами распорядители между 11 и 12 часами.

Я бы зашел лично попросить Вас, да во 1-х, боюсь хоро́м Полякова, а во 2-х, еду сейчас из Липецка в деревню на 3 дня.

Вечер назначен 8 августа.

Ждал я Вас вчера и сегодня и рад бы был душевно видеть Вас, а Вы не пришли.

Будьте здоровы.

Преданный Вам

Гл. Успенский.



1870

16

А. В. УСПЕНСКОЙ

Крапивна, 29 ию<ня (?) 18>70 г.

Не пеняй, моя цыпинька, что долго не получаешь от меня писем, я бы и рад был тотчас же послать тебе письмо, как только приехал сюда, — потому что мне очень жалко, что я отправил тебе такое скучное письмишко, — да почта ходит отсюда только по понедельникам и четвергам, — и стало быть, я почти четыре дня писать тебе не мог. Повторяю тебе — не печалься, письмо было глупое, и в настоящее время я чувствую себя очень хорошо. У матушки мне жить отлично, почти так, как тебе у Херадиновой, если только ты не врешь, что тебе там хорошо. Главное, что народу нет никакого, — сад, среди которого стоит училище, великолепный, и в нем тоже нет ни одного человека, — гуляю один — виды и окрестности действительно превосходные. Познакомился я здесь с одним старичком чиновником, который любит природу и даже занимается переводами стихов из разных поэтов с фр<анцузского>, англий<ского>, нем<ецкого>. Старичок очень оригинальный, сегодня, например, он водил меня за город версты за две, к лесному сторожу. Сторож, из отставных солдат, живет в лесу и страстный охотник, а главное — балагур и рассказчик, — мы с ним, начиная со вторника, будем путешествовать с ружьем. Я побыл у него в сторожке часа 2 — такая прелесть. Воротились мы с прогулки часов в 8 вечера; погода была прекрасная, пошли на бульвар, который лежит на высокой горе, гораздо выше той, на которой стоит Елец, и оттуда открывается река, по берегам которой почти на каждом шагу горят костры. Этого прежде никогда

не бывало, и я пошел узнать, что такое; около костров ходили хороводы и пелись песни, — это оказалось — *ждут солнца*, такой обычай — будто бы под Петров день солнце восходит разноцветное и играет особенным образом. И когда я пишу тебе это — песни слышны со всех сторон, и костры будут гореть до восхода солнца. Уверяю тебя — такой прелести я и не видывал.

Все это время я, признаться сказать по совести, чувствовал такую усталость и лень, что ужас — мне трудно было писать даже тебе, но теперь, право мне кажется, — ничего, гораздо лучше, и я чувствую себя много свежей против прежнего. Должно быть, я теперь именно начинаю поправляться — а матушка кормит меня на убой, ем я действительно оч<ень> много и тяжести не чувствую. Я здесь пробуду с неделю, думаю, что этого будет довольно, а потом поеду к Якушкину, который, встретив меня на железной дороге, когда я ехал в Крапивну, — просто тащил к себе за рукав и ждет. А после него мне бы хотелось повидаться с тобой, цыпленочек хороший мой. В следующем письме твоем, которое ты тоже адресуй в Тулу, — ты напиши мне, когда бы можно видеть тебя, и если можно *одну*, и где — в Ельце или в Орле. Там теперь железная дорога; когда ты мне напишешь число и каким образом нам лучше всего повидаться, — то я так и соображу. А потом мы уже не увидимся до самого отъезда в Петербург. Благо я теперь стал чувствовать охоту к работе и в голове зароились кое-какие планы повестей — работать я не буду, а буду только записывать да отдыхать. Ах, если бы только Коля выслал мне хоть немного денег.

Матушка моя *не ложно* любит тебя *всей душой*. Я дал ей почитать кой-какие твои письма, и она сразу поняла, что ты ангелочек мой, хороший. Как бы она хотела видеть тебя! Осенью, когда поедем назад, мы непременно остановимся в Туле на 1 день, и матушка туда приедет. Посмотри, какая она отличная женщина. Я уверен, что ты ее будешь любить.

Песни все поют звонко, звонко.

Моя повесть «Тише воды» наделала здесь дел, — все перессорились и переругались, и я боюсь, как бы в самом деле не сорвали зла на сестре и матушке, но обе они уверяют, что все пустяки и вздор, и может быть их правда.

Глупую эту штуку удрал я. Вот что значит писать для денег из-под палки.

У нас уже все спят. И матушка, и брат, и сестра, и котенок даже. Сегодня ночью я проснулся от колокольного звона и вижу около меня лежит котенок — стал я с ним играть и проиграл часа 2. Продувная бестия.

Прощай, иду спать. Матушка приказала целовать тебя в глазки, губки и щечки, а я целую тебя <......>[1]

Твой *Глеб Успенский.*

---

[1] В подлиннике вычеркнуто два-три слова. — *Ред.*



1871

17

А. В. УСПЕНСКОЙ

Нижний<-Новгород>. Троица, 16 <мая 1871 г.>

Друг ты мой любезный, Бяшечка! Вместо Рыбинска попал я в Нижний, потому что мне не хотелось 2 раза разъезжать по одному и тому же месту. Волга мне ужасно нравится, но потому именно, что тоска, которую испытываешь на ней, — глубокая. Какие дивные, характерные города, когда-то тут кипела жизнь, и теперь — нет ничего; по громадным площадям кое-где двигаются люди, как мухи, — солдат-калека плетется с книгой подмышкой, едет водовоз... вихрем несется частный пристав, точь-в-точь такой же, как в Петербурге. Все эти кремли, крепости перегажены казенными домами с бесчисленными в нитку вытянутыми окнами и надписями «присутственные места», — истинно антихристова печать. И какая мертвая тишина. Часы на какой-то колокольне бьют медленно, грустно. У меня смертельное желание спуститься до Саратова, и если может Григорьев, пусть пошлет в Саратов до востребования на мое имя письма 2 к кому-нибудь. Но в Саратов я поеду не ранее как через неделю, а теперь, т. е. завтра, поеду я на пароходе по Оке, до Павлова села, и посмотрю, что там делается, потом ворочусь в Нижний, где надеюсь найти от тебя письмо. За твоим письмом в Рыбинск я послал. Да вообще надо переждать неделю — холод жестокий и на Волге движен<ия> мало. Зелени тоже очень мало, но березы в Нижнем распустились. На пароходе «Самолет» я ехал от Ярославля до Нижнего. Я ехал отлично: каюты превосходные, тепло и покойно; признаюсь, берега не особенно живописны, так

что от пристани до пристани, верст примерно на 30, разнообрази<я> оч<ень> мало. Спал я поэтому, а отчасти и от качки, — жестоко, да и вообще мне поспать надо хорошенько. Зубам моим легче, как бы не сглазить, сегодня, например, ныли только часов в 5 утра и весь день не беспокоили, лекарство попалось отличное.

Сегодня на Троицу все пароходы в березках, чудо! А ночью какая прелесть — огни на Волге, на верхушках мачт и пароходов, — это какое-то новое небо звезд над головой, и рассказать этого нельзя. Я тысячу раз жалел, что ты не со мной, — ты бы отлично отдохнула здесь, — я в этом сильно виноват. Впрочем, может быть, ты и приедешь без лишних сборов. Денег я пришлю дня через 2, через 3, как только сам мало-мальски огляжусь и узнаю [1]

18

С. С. РЕШЕТНИКОВОЙ

Нижний<-Новгород>, 21 мая <1871 г.>

Многоуважаемая
Серафима Семеновна!

Проезжая через Москву, я познако<ми>лся с г. издателем народного жур<нала> «Грамотей» Н. И. Алябьевым. Жу<рнал> совершенно честный. Этот <Аля>бьев просил меня вых<лоп>отать у Вас позволение напе<чат>ать что-нибудь из оставшихся после Ф<едора> М<ихайловича> сочинений. В руко<пися>х, которые находятся у меня, — <есть ко>е-что, что напечатать <можн>о, листа в полтора. Когда я пое<ду> в июле в Петербург <1 *нрзб.*> выбрал и послал. Гре<ха> тут нет. Заплатят по <нап>ечатании аккуратно, р. 50 за <лис>т, лист меньше Оккрейца «<Библ>иотеки». Если Вы согласны, чтобы Ф<едор> М<ихайлович> печатался в [2]

---

[1] Конец письма оборван. — *Ред.*

[2] Конец письма не сохранился. — *Ред.*

19

А. В. УСПЕНСКОЙ

Саратов, 26 (кажется) мая <1871 г.>
Среда

Вторые сутки живу в Саратове, и все нет ничего от тебя, друг ты мой милый. В Нижнем я писем не мог ждать и оставил конверт с моим адресом, и все нет ничего, — и особливо мне скучно без писем в Саратове, — гаже и подлей этого города я не видывал, такой пыли, которая буквально душит и которая вовсе не похожа ни на елецкую пыль, ни на липецкую и во сто тысяч раз страшней московской, такой пакости я буквально не видывал. К тому же жара стоит несносная, прямо из холодов попал я в огонь. Прямо с пристани я поехал в какие-то номера (на Верхнем базаре против Петерб<ургской> гостиницы — пусть Григорьев растолкует), — но там оказалось такое разорение, — дом продается с аукциону, никого нету, кроме лакея, — пустыня и такая страсть, что я едва мог передышать ночь. Переехал в другую гостиницу пристани, «Самолет», — здесь номера чище, но вовсе нет той прохлады, какую я найти ожидал, — гостиница стоит на самом берегу Волги, — напротив. В настоящую минуту у меня болит голова от кухонной гари пирогов, перегорелого масла и поганого оркестра музыки, который дерет какие-то польки. Поганей Саратова я не видывал ничего. Ни зелени, ни садика — ничего нет, есть какая-то зеленоватая сволочь около собора, но та вся потоплена пылью непроходимою, — мне кажется, от одной этой пыли ни минуты нельзя оставаться в Саратове, и я понимаю Прокоф<ия> Васил<ьевича>, что он не вынес его. Как бы я был рад получить ваши письма, твои и Григорьева, завтра, — я бы завтра же тронулся вверх по Волге, опять назад до Нижнего и потом в Рязань, а из Рязани прямо поехал бы в Питер за работу. Я отдыхаю душевно и телесно на пароходах — это такая прелесть, — все города мне противны как б<ог> знает что, — пожил бы я в какой-нибудь деревеньке, но одному скучно и долго не уживешься. Как я доволен, что захватил с собой Лекции русской истории, кот<орые> дал мне Битмид, — я их чуть не вызубрил наизусть и, право, пожалуй, осенью выдержу

экзамен (поганые польки просто не дают писать — какие-то кларнеты визжат как сумасшедшие...)

Может случиться, что я из Нижнего поеду в какую-ниб<удь> деревеньку по Нижегородск<ой> жел. дор. и там проживу недели две-полторы. Этого я еще ничего не знаю, мне оч<ень> хорошо ехать и, право, здорово, а главное «для души» хорошо.

Надо как-нибудь пристроиться осенью. Надоело это шатанье и висение на волоске. Сегодня ночью прочту русскую историю еще раз — я думаю, что она пригодится мне.

Охота писать приходит часто, и я только желаю иметь твои письма, чтобы быть совершенно покойным и писать. Как хорошо, в сущности, без знакомых!.. Дай господи, чтобы осенью поумнее нам жить и расплатить долги, у нас их такая бездна! 1-го июня, к моему истинному горю, ты не можешь получить от Базунова денег, потому что я не мог приготовить ему *Разоренья.* У меня в голове и повесть к июлю — и необходимость отдохнуть, а времени всего полтора месяца, и нужно доставить роман. Этакие подлецы, канальи! К половине июля я доставлю им что-нибудь, только не *Лень.* Едва ли я успею, хотя я чувствую, что через недельку могу приняться за работу крепко.

Какие есть на Волге превосходные места! Едешь местами каким-то садом, затопленными кустами — где дорожки — вода, что за прелесть. Я просиживал целые ночи на палубе, потому что сон, который было одолевал меня с начала поездки, прошел, и теперь мне спится плохо ночью, но среди бела дня — отлично, чему я очень рад.

Назад из Саратова придется ехать до Нижнего суток 6 или 5, и я радехонек этому, — я еще лучше рассмотрю Волгу, перед Саратовом <.....>[1] до Нижнего же гнусна и подла как самая купеческая река — ни кожи ни рожи — одна вода.

Опять поганая музыка, стук чашек, громкие разговоры каких-то уродов, которые, по всей вероятности, татары!

В этой погани и пыли, где сегодня задыхаются или ворочаются в грязи <.....>,[1] где запылены и загажены какими-то лачужками, кабаками, полками, бревнами,

---

[1] Строка письма в подлиннике вырвана. — *Ред.*

навозом и пр<очей> мерзостью превосходнейшие берега Волги. Тут сегодня объявлена «Прекрасная Елена», отчего бегут именно на Волгу подышать свежим воздухом.

Пишите мне, ради бога, прошу Вас усердно. Пишите мне *теперь в Нижний до востребования.* Пожалуйста, только тотчас по получении этого письма, чтобы мне не ждать, — жизнь трактирная дорога́, а главное — утомительна и действует одуряющим образом. Прощай, голубчик мой глупенький (умная, милая!) Живы ли Вы, цыпинька? Целую дубинушку. Будь здорова. Молю, р<ади> бога пиши. Как худо без твоих писем и книг. Пиши!

Г Успенский.

P. S. <.....>[1] и тогда он может ко мне приехать, если же поселюсь где-нибудь окончательно.

Г У.

Целую, целую милую.

Встретил какого-то госп<одина> на пароходе, который знал Симонова в Харькове и даже жил с ним вместе до женитьбы. Он распространялся <.....>[1]

Целую дубинушку мою милую.

P. S. В июне ты все-таки получишь 30 р. сер. непременно из другого источника. Будь покойна.

Г. У.

20

Н. А. НЕКРАСОВУ

<19 октября 1871 г., Петербург>

Милостивый государь
Николай Алексеевич!

Ради бога, простите меня, — я опять беспокою Вас. Убедительно прошу Вас, одолжите мне 75 руб. в счет будущей части моего рассказа. Я приготовлю никак не менее 3-х листов, — и по выходе 11 кн. Вы эти деньги вычтите. Если бы не крайне трудные мои обстоятельства в последние месяцы, — поверьте, я бы никак не посмел

---

[1] Строка письма в подлиннике вырвана. — *Ред.*

беспокоить Вас. Мне в тысячу раз приятнее было бы поступать прилично, а не так, как я делаю теперь. Но, ей-богу, мне эта помощь нужна крайне. Я прошу Вас извинить меня и, если возможно, не отказать.

Г. Успенский.

19 окт<ября>.

P. S. Если возможно выдать 75 р., прошу Вас вручить сему подателю.

21

Н. А. НЕКРАСОВУ

<11 ноября 1871 г., Петербург>

Милостивый государь
Николай Алексеевич!

Михаил Евграфович сказал мне, что статья моя будет напечатана в декабре. Я очень этому рад, ибо смогу коечто поправить, но мне очень трудно ждать декабрьской книжки, чтобы получить несколько денег. Поэтому я покорно прошу Вас выдать мне теперь хоть сколько-нибудь. Я получил, в счет этой статьи, 75 руб. серебром. В статье будет более 3-х листов (3 листа я уже доставил по моему расчету); но если бы даже и с тем, что еще осталось доставить мне, вышло только три листа, то, я думаю, для Вас не будет обременительно выдать мне руб<лей> 75, — после чего, по выходе книги, весь гонорарий за эту статью поступит на уплату долга Вам и конторе. Если возможно, — прошу Вас не отказать, если нет, — прошу не гневаться на меня.

Г. Успенский.

1872

22

А. В. УСПЕНСКОЙ

Берлин, вторник <11 апреля 1872 г.>
(3-й день)

Друг любезный Бяшечка! Письмо будет короткое, потому что я не огляделся и не отдохнул с дороги, — да и в голову так много набилось нового, что не сообразишь. В Берлин мы приехали только сейчас, в 6 часов вечера. Всю дорогу ехал отлично, — но как жаль, что не знаешь языка. Н<иколай> Евгр<афович> кое-что знает и вообще может спросить обо всем, — но этого очень мало, а хотелось бы поговорить с этим народом. Скажу коротко: с самого Эйдкунена — сразу прекращается все русское, кроме природы, да и та верст через 200 — неузнаваема, хотя и та же самая — так обработаны здесь наши пустыни петербургские. Деревни, пашня наша и прусская, это небо и земля. Деревни до того красивы и хороши, что, кажется, не уехал бы отсюда вовеки, — но что ж будет дальше. В Эйдкунене нас осмеяла буфетчица за то, что мы не умели спросить водки: мы с Н<иколаем> Е<графовичем> стояли перед буфетом, как столбы, и переглядывались друг с другом, — немка смотрела на нас как на учеников, которые не знают урока, потом пожала плечом и налила какой-то сволочи. Вообще, при въезде в Пруссию немцы кажутся более победителями, нежели в самом Берлине, но везде на русских смотрят свысока, хоть и немного. По приезде в Берлин мы попали в гостиницу, где говорят по-русски, комната у нас превосходная, — но самая гостиница, кажется, набита мошенниками: здесь стоит князь Назаров, — уж не беглый ли из Петербурга? Потом к нам каждую минуту стал лезть какой-то поляк, говорящий на всех языках, и пробовать нас с разных сто-

рон: то рекомендует отправиться гулять, выпить хорошо, то рекомендует принести и продать нам русские запрещенные книги, и вообще, повидимому, рассчитывал обчистить нас, — но сию минуту мы попросили его убираться вон. В гостинице, где мы стоим, можно получить чай, — и мы, напившись чаю по приезде, пошли гулять под липами, — которые от нас в двух шагах, — военщина свирепствует,— это всё какие-то краснощекие дылды, с огромными красными воротниками, с камелиями под руку. Толпа гуще, нежели на Невском, но, несмотря на то, что толпа эта победители, — ведет себя не без скуки — так, сию минуту около одного дома под липами стоит толпа — в дом несут рояль. Около русского посольства несколько карет, — та же толпа, курят сигары, болтают, говорят, что приехал русский царь, — может быть это так и есть. Будочников бездна, но ведут они себя иначе: например, у русского посольства толпа свободно заглядывала во внутренность карет, щупала и разглядывала гербы на козлах, и никто этому не мешал, ни экипажей не отгоняли прочь, несмотря на то, что их было много и проезд тесен, и ни разу не «осаживали» народа. Денег мы истратили оба 60 рублей до Берлина, и в кармане у нас теперь полтора талера, — завтра пойдем менять деньги и уедем тотчас же. На мою долю из этих 60 приходится 30, 30 моих же за Н<иколаем> Е<вграфовичем>. Так что я доеду до самого Парижа, не меняя денег, и куплю пальто. В дороге здесь тратится очень мало, — бесконечных и бесчисленных буфетов нет, и потому от Эйдкунена до Берлина — был всего один буфет, где можно было пообедать, — и мы с непривычки проголодались жестоко. Самая большая остановка 30 минут, но и те неполные, так что доесть обеда, который стоит нам 2-м с вином 1 р. 50 к., — этого обеда мы не доели. Водки нет, и ее никто не пьет, по крайней мере я решительно не видел пьющих что-либо вроде водки. Погулявши под липами, мы часов в 9 зашли выпить пива в биргалль — тут тоже военщина; пива мы выпили по кружке. Около нас сидели русские, которые сейчас же догадались, что мы тоже русские, и хотели заговорить, но мы уклонились и пошли домой спать.

Прости меня, что я раньше не написал к тебе из Эйдкунена. Не зная ни слова по-немецки — я не умел даже спросить бумаги, да возня с осмотром вещей и уста-

лость, — вот в чем беда. Дай мне доехать до места и, ради бога, будь за меня совершенно покойна, если хочешь, чтобы я был тоже покоен. Целую тебя, голубчик мой миленький.

Г. У.

След<ующее> письмо буду писать из Парижа подробное обо всем. В Богословское.

P. S. Как только мы прогнали поляка, — на нас стали смотреть с полным уважением и видеть, что надо держать ухо востро. Теперь всё хорошо.

23

А. В. УСПЕНСКОЙ

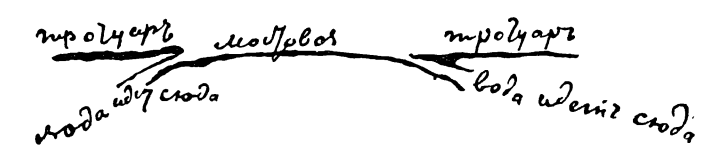
<15 апреля 1872 г.>
Париж, суббота Святой недели

Друг мой милый Бяшечка! Пишу тебе подробное письмо обо всем, как мы расстались. Расставанье было веселое, и поэтому поехали мы в отличном расположении духа. Н<иколай> Евграфович тотчас же стал ругать Михайловского и жалеть М<арию> Е<вграфовну>, которая остается жить с этаким мужем. Я ни слова ему не говорил, и он понял, что я сплетничать не хочу, и замолк. Подушка и одеяло помогли мне отлично, потому что ночью было очень холодно. Но на следующий день часам к 10, к 11 стало совсем жарко. Когда мы проезжали Вильну, — город прелестный, похожий по постройке на заграничный, — то массы гуляющих были в одних сюртуках, а дамы в одних платьях. Чем дальше, тем русского оставалось все меньше и меньше. Вот вместо русских мужиков и баб пошли польские, гораздо беднее русских, но чище и опрятнее, а главное *простого* народа в вагонах с каждой станцией делалось все меньше и меньше, — и едва началась Пруссия, как *мужика* совсем не стало, его нет. С нами ехали мужики и бабы, — но вовсе не русские, — они одеты по-господски, и только руки в мозолях да необыкновенное здоровье отличают их от господ. С переездом в Пруссию — все изменяется.

Те же петербургские болота здесь приведены в такой вид, что любо смотреть: везде прорыты канавки, все осушено, распахано, покрыто зеленью. Леса,— те же самые еловые леса, какие окружают Петербург, — эти леса буквально вычищены, как комната; вся сорная трава, сучья, ветки — все это собрано в кучи и повсюду видна свежая травка. Нашего бедного скота тоже нет. Телеги, на которых возят муку и вообще тяжести, длинней наших в 5 раз, но стоят на высоких каретных колесах и ведутся двумя такими лошадьми, на которых у нас в России разъезжают только богачи. Так как дороги везде шоссированы, то две лошади подымут в пять раз больше нашей самой сильной лошади. Между рабочими крестьянами, которые нам попадались в полях, — попадаются похожие на наших, то есть босиком, в плохой рубахе, — но это очень редко, — большею частию все одеты отлично: я видел, как в поле работали крестьянки, в платье, в соломенной шляпе. Дома везде каменные; сначала, когда идет Пруссия, близкая к России, — крыши крыты соломой, но так, что из соломы наделано множество штук и завитушек, и крыша убрана, как голова любой аристократки; чем ближе к Берлину, — соломы все меньше и меньше, поминутно попадаются деревни все в зелени, в цветах, дома каменные в 2 этажа, крыши черепичные. Стены домов и изгороди все обвиты какими-то растениями, которые, когда распустятся, закутают всё в зелень. Во Франции эти украшения еще лучше. Пока мы всё это наблюдали, — оказывается, что разговора с публикой вести нельзя, — она вся немецкая, и чем ближе к Берлину, тем все непонятнее речь и выговор. Но вот и Берлин. Станция железной дороги похожа на петербургские дебаркадеры, но гораздо больше. И здесь вдруг слышится русская речь. К нам подбегают несколько человек, предлагая остановиться у них. Н<иколай> Е<вграфович>, который мне весьма надоел своим телячеством, — соглашается, и нас увозит какой-то проходимец в меблированные комнаты. Вид города — совсем не то, что Петербург, и напрасно сравнивают его. Когда мы въезжали, было 7 часов вечера — и какой-то праздник — и все улицы и тротуары были покрыты народом, — не такими гуляющими, как у нас, разодетыми и расфранченными, — а народом, который умеет жить, как дома, на улице. Детей

на улицах бездна, и на тротуарах они ведут себя как дома — поют, кричат, танцуют, и с первого раза все это производит приятное впечатление; но когда мы въезжаем в самый центр города под липы — тут нечто другое, — тут среди масс народа — появляется солдатчина с такою выпуклою грудью, от которой смех разбирает, с такими воротниками (красные), которые привык видеть на генерале ста лет от роду. Ряды пуговиц, золотых орлов, киверов — повсюду, и это положительно надоедает. Даже извозчики берлинские и те в киверах, на которых вся передняя часть заменена какими-то медными ярлыками; на них надеты сюртуки с галунами на воротнике, и пуговицы на груди тоже блестящие. Затем идут дворцы и караулы, дворцы и караулы, по всему пространству под липами — и везде, во всяком окне магазина какого бы то ни было, везде Вильгельм, в фотографиях, гравюрах, эстампах, статуэтах. В одном магазине выставлена статуя Вильгельма таких размеров, что одна голова имеет около аршина длины, плечи аршина два ширины, — идолопоклонство самое безобразное. Проходимец любезничал с нами всю дорогу, предлагал папиросы и пр., и не успели мы очутиться в номере, как он вытянул у нас 2 талера, неизвестно за что. Потом — уже писал, — он лез к нам с разными предложениями, но мы его просто прогнали, и с тех пор он не показывал глаз. Напившись чаю, мы походили под липами, зашли в биргалль, который несравненно лучше наших — чище, опрятней, изящней, хотя помещается в том же самом подвальном этаже, — и потом ушли спать. Поутру, чем свет, вдруг является опять проходимец, я проснулся, но лежал в постели (вместо одеял здесь перина довольно легкая, но потеешь под нею) — просто сказал ему «подите вон», он раскланялся и ушел. Потом вдруг является портной с предложением платья. Часа через два, когда и Н<иколай> Е<графович> встал, мы пошли к нему, но оказалось, что платье в Берлине ничуть не дешевле петербургского, — за пальто, как у Н<иколая> Конст<антиновича> Михайлов<ского>, просили 25 талеров, что на наши деньги 30 р. Пошатавшись еще по магазинам за платьем и не найдя ничего дешевого и подходящего,— мы разменяли в русской меняльной лавке деньги на французское золото — (нам дали по 1000 франков) — и поехали в 4 часа на железную до-

рогу. Берлин, несмотря на свою казарменную физиономию, — все-таки в миллион раз лучше Петербурга. Мостовые везде такие же, как против дома Белосельской на Невском, и ездить по ним легко. Одна лошадь везет коляску (все коляски извозчичьи — неуклюжи, тяжелы и ничуть не меньше обыкновенной 4-х местной нашей коляски), — тихо, но не уставая, и в этих колясках большею частью сидит не 4, а 6 и с детьми 9 человек народу. Так как улицы узки, в половину Гончарной, то все экипажи для первозки тяжестей растянуты в длину, а не в ширину, — ломовые телеги имеют ширины не более аршина — а длину сажени четыре, пять. Помои льют прямо на улицу, но ни вони, ни грязи нет, потому что близ тротуара устроены канавки, на наши, однако, не похожие.



Во Франции еще лучше, потому что по этим канавкам постоянно бежит чистая вода, которая все это вымывает. Громадных зданий, громадных площадей — в Берлине нет, таких как в Петербурге, но все уютно и хорошо, зелени много. Дома есть и больше воронинского, а выше его весь Берлин на два этажа, но нет этой пустой траты камня на простенки, ворота и т. д. В Берлине мы взяли билет до Парижа, во 2-м классе 29 талеров. Дается книжечка, из которой вырываются листы, на некоторых станциях. Русских совсем не слышно и не видно. Немецкие деревни еще лучше, поля, сады — все превосходно. Удобств больше: на станциях, где нет буфетов (буфетов от Берлина до Парижа не более 4-х), — продают всё на лотках, даже вино, херес, мадеру в маленьких бутылочках рюмки в 2, за 7½ зильбер грошей (1 з. гр — 3 коп.). Эту бутылку купивший у себя оставляет. Но немцы пьют не так, как мы. Я купил бутылку и выпил ее всю, а немец, который ехал с нами, пил ее чуть не два дня, — оттокнет пробку, упрется языком в горло бутылки и только: он только помочит язык, как одеколоном платок. Но лучше всего, чего мне никогда не забыть, это Кельн и Рейн

перед Кельном, — это такая прелесть, которую надо видеть и которую рассказать невозможно. Тут до того все оригинально, красиво, хорошо, что ничего подобного никогда нам не снилось во сне. Как бы я хотел, чтобы ты была тогда там же — как мне жаль было тебя, друг дорогой, больнушка! А тут вхожу в вокзал, дело было в 8 ч. утра, и сажусь пить кофе, — смотрю, дама и мужчина перекинулись словцом по-русски — оказывается, это Суслова едет в Кале и Лондон. Я, однако, не говорил с ней, она видела меня всего раз, и то вечером — я думаю не узнает, — а очень бы хотелось поговорить с ней. Потом я очень жалел, а главное тебя жалел ужасно, что тебя нет тут, друг ты мой. Даже зимой или с осени я думаю употребить все меры, чтобы в нынешнем же году до родов ехать за границу и жить там до весны. — Но в Германию, а не во Францию. Франция производит впечатление — почти невероятное. Сначала, после цветущей Германии, неприятно поражает Бельгия. Вся страна эта покрыта фабриками и заводами, — если я говорю *вся*, то это почти буквально; нет уголка, где бы не было труб, дыма, свиста паровиков, и все это до того ужасно, что кажется под землей, где все это идет, задыхаются массы, миллионы людей. Действительно в Бельгии, повидимому, полное безлюдье — весь народ на работе; деревень нет, а около фабрик — длинные казармы, выстроенные фабрикантами для рабочих, кой-где сушится на солнце тряпье, самое нищенское, кой-где в поле работает баба, грязная, грязней нашей бабы, — вот сторожиха при железной дороге, она босиком, в грязнейшем платье, лицо ее худое, противное, — бедность тут ужасная, как мне кажется, а кругом каменные горы буквально выше Исаакиевского собора, камни, напоминающие слоновую кость, и в щелях люди, как мухи, бьют этот камень... Потом самая дорога, тоже неприятно, почти все время по Бельгии поезд идет в темноте, в туннелях, — тьма кромешная, туннели длинны и иногда до того, что холод пробирает всего с ног до головы, — а как только вынырнешь из туннеля, — опять пыхтят паровики, — и никого людей. Дорога эта скучна, но вот Франция, — таможня. — Кто вы такой? — Такой-то. Чиновник, который это расспрашивает, смотрит подозрительно чистым шпионом, — расспрашивает с важностию и хочет записать, но

оказывается, что, несмотря на свою комфортабельную осанку, солидный вид, — он писать не умеет, он пишет, как лавочник, и буквы ставит одна над другой — вот, примерно, как он записал мою фамилию, а Павловского так перековеркал, что и узнать нельзя, — все это чорт знает зачем, и таких чиновников на французских станциях, — бездна; на русских два-три, на немецких тоже не больше, — а здесь штук 12 и все с важным видом и все франты, разодеты, с почетным легионом в петлице, и не узнаешь, как называется станция и сколько минут стоит поезд; грязь на станциях — невиданная в России, — везде пыль, грязь, копоть. Вагоны, сравнительно с немецкими, даже с русскими, — хлевы. Таможня называется Жомон, и там адская Франция; я думал, что я попал в Россию, в Тамбовскую или Тульскую губернию... поля, — те же самые, — болота гниющие не обработаны тоже, деревни, хотя и каменные, но переполнены с одной стороны, отелями, с другой, такими же точно, как и у нас, развалившимися лачужками, буквально такими же, из навоза и соломы с одним оконцем, с плетнем, который повалился, совершенно как у нас, и здесь видишь, что это бедность, действительно бедность, ограбленная Парижем. Скот, на котором пашут, — с немецким в расчет не идет, — этот скот похож на наш, например здешние лошади совершенно наши почтовые, загнанные, костюмы неряшливые, и вообще смесь роскоши с нищетой. Я видел бабу, которая копала гряды в том же самом панье, в каком изволите Вы ходить, милостивая государыня, — и рядом баба в одной рубашке синей, босиком и с тряпкой на голове. Чем ближе к Парижу, тем нищеты больше. Темная ночь. 10 часов. До Парижа осталось несколько верст, но в окно видно — целая гора огоньков, — это Париж. Эти огоньки на бесконечное пространство рассыпаны по горе, а пред ними в массе, от которой рябит в глазах, — другая масса огней, красных, желтых, зеленых, синих, белых, — буквально в невероятном количестве — это для железных дорог, которых тут сходится несметное число... Все ближе и ближе, вот проехали форты, на которых умирали люди, это видно, они еще разрушены, вот пошли громадные дома без крыш,

с вывалившимися стенами от бомб, — мосты, поверх которых идут тоже железные дороги, — поезд свистит и влетает в дебаркадер Северн<ой> ж. д. Дебаркадер, который может накрыть 5 или 6 дебаркадеров Ник<олаевской> ж. д. Все освещено блистательно. Народу мало. Но велят всем ждать, осматривать вещи, — все пьяны, прислуга, кучера. Носильщик, который понес мой чемодан, уронил его, от него несло водкой; кучер нашего фиакра тоже пьян; когда мы сели, то он спьяну вкатил наш фиакр задом на тротуар — но потом, — после всей бедности русской, бельгийской и французской, что это за прелесть! Мы с железной дороги прямо вкатили, по отличнейшей мостовой, в такие великолепные улицы, что действительно можно с ума сойти, — везде великолепие, свет, говор, кафе отворены, и тротуары, которые шире тротуаров Невского проспекта в 3 раза, — полны народом, все уставлено стульями, все сидит за маленькими столиками и пьет пиво или вино с водкой, что стоит сантимов 30 (во франке 100 сант., а в рубле 345 по нашему курсу). У Веретенникова, куда мы приехали, — нет комнат, так сказала его жена француженка и отправила нас в отель *Бержер* — роскошь изумительная! Когда понесли наши чемоданы, нам пришлось проходить две залы, не уступающие залам лучших петербургских клубов. — Все увито плющом, широко, чисто, светло, и представь мое удивление, что эти две залы не что иное, как проход под воротами и двор. Я поглядел на потолок, и оказалось, что над головою небо! Роскоши, великолепия таких Петербургу не нажить в 200 лет, — но эта роскошь вовсе не диво, — а потребность, необходимость, она везде, ею пользуется всякий извозчик, всякий кабак. У меня голова кружилась и нашла какая-то одурь, так что я ничего не мог ни понять, ни сообразить и чувствовал себя, надо сказать правду, в самом глупом расположении духа. В отеле Бержер нам отвели комнату в верхнем этаже, крошечную, но весьма изящную, из которой открывался вид на двор, через который мы проходили. Мы напились чаю (чай есть везде) и легли спать. На другой день утром, чем свет, пришел Веретенников и стал тащить к себе; за 5 фр. в сутки он предложил нам 2 комнаты, — моя выходит окнами на улицу, Павловского — на двор. Мы переехали сюда на неделю не более, до тех пор пока до-

ждусь от тебя хоть одного письма и подыщу квартирку по ту сторону Сены (Сена зеленая, буквально как воротники). Переезд наш произошел часов в 9 утра, и тотчас же я отправился покупать платье, потому что на улицах жара страшная, и все в сюртуках, а мой сюртук за дорогу стал никуда не годен; платье, однако, пришлось заказать, и оно будет готово ко вторнику; а купил я себе пальто летнее за 70 франков, — очень хорошее и в самом лучшем магазине на Итальянском бульваре, там же шьют мне все остальное платье за 160 франков и 2 рубашки из небеленого полотна, каждая по 12 фр. Все время за этими покупками приходилось ходить по самым многолюдным улицам, и я просто терялся от разнообразия и блеска. Нельзя сказать, чтобы я был в восторге, — а постоянно удивлен, как был бы удивлен закоренелый провинциал, попав в Петербург, в самый разгар, на Невский. Сравнительно с Итальянским бульваром, — Невский все равно, что Гончарная с Невским. Как мы обедали, где какие порядки, — я напишу в следующем письме, пора посылать это, — и я устал от вчерашней беготни. Пиши по адресу: Paris, Rue Cadet 4. Г. И. Успенскому. Hotel de Hollande. Пиши и будь здорова. Я купил тебе две картинки, но не знаю, как переслать. Прощай. Пишу беспорядочно потому, что еще не опомнился и не сообразил; до свиданья, друг мой дорогой, целую тебя, голубчика милого.

Г Успенский.

Кланяйся А<дели> С<оломоновне>.

24

Н. А. НЕКРАСОВУ

Париж, 5 мая <1872 г.>

Милостивый государь Николай Алексеевич! Не гневайтесь на меня, если я снова обращусь к Вам с просьбой о некоторой сумме денег. Я потому обращаюсь к Вам теперь, что за Вашим отъездом из Петербурга, — который, быть может, случится очень скоро, — мне реши-

тельно не к кому будет адресовать мою просьбу. В две недели нашего пребывания в Париже мы по незнанию мест, где можно дешево купить, дешево есть и иметь недорогую квартиру, — истратили столько, сколько по нашим петербургским расчетам должно бы было хватить на месяц; да, наконец, оказалась такая масса любопытнейших пустяков, на которые идут эти франки и сантимы, что вот теперь я весьма ясно вижу невозможность выехать из Парижа, если я еще здесь проживу недели две. А жить здесь мне крайне хочется, да я и буду тут жить непременно еще столько, сколько возможно при самой строгой экономии. Но ежели бы Вы нашли возможность не отказать в моей просьбе, я был бы Вам душевно благодарен. До представления рукописи, которая к августовской книжке будет доставлена непременно, в чем Вы можете быть вполне уверенными, эта теперешняя моя просьба — последняя. Я бы просил Вас одолжить мне еще 100 руб. Долг мой, помимо работы, которую доставлю в августе, может быть хотя частию покрыт изданием 4-й книжки, матерьял для которой — кой-что старое, прошлогодняя вещь и та, которая готовится к осени. Живем мы пока в русской гостинице, но здесь для нас дорого, и к концу третьей недели мы непременно переберемся в Латинский квартал, так как, промотавшись достаточно на первых порах, мы приобрели некоторую опытность. Жить здесь, сколько я заметил, легко, т. е. здесь почему-то решительно легче на душе. Остальное Вы знаете гораздо лучше меня. Клозри, о которой, сколько помню, упоминали Вы, — есть действительно вещь превосходная, и я весьма рад, что, по недороговизне платы за вход, могу шататься сюда не то чтобы редко.

Вообще, — истинно бы хотелось пожить здесь долее, и поэтому, Николай Алексеевич, ежели Вы найдете возможным оказать пособие, — то окажите его в близком будущем, адресуя по теперешнему нашему адресу *Rue Cadet 4*, покуда мы не переехали. Дела моего товарища по путешествию немного в лучшем против меня виде, но и не в блистательном, хотя чувствуем мы себя одинаково благополучно.

Уважающий Вас

Г. Успенский.

25

А. В. УСПЕНСКОЙ

10 мая <1872 г.>
по-русск<ому> ст<илю>
Париж

Любезный друг Бяшечка, прости, пожалуйста, что давно не писал. Здесь в Париже почти со второго дня моего приезда начались страшные холода и дождь и только пять последних дней стало снова тепло и хорошо. Холод был, пожалуй, получше петербургского: рам двойных нет, и притом окно от полу до потолка, запирается чуть-чуть, так как если мало-мальски хорошо на дворе — все окны отворены, и все комнаты видны с улицы как на ладони. Я одевался моим одеялом сверх двух одеял, которые уже были, и кроме их обыкновенно кладется на ноги большая, рыхлая, но очень легкая подушка, — и то бывало иногда холодно. Все это время я по вечерам шатался в театры и кое-что читал из газет с лексиконом Ренара, который я купил здесь за 10 фр. Театры здешние мне очень нравятся. Они не так роскошны, как наши, и нет почти ни одного, который бы был так же велик, как любой из наших, но для публики они удобны: ложи первого яруса и следующих очень близко подвинуты к сцене, так что партер, кресла, тоже очень маленькие, находятся частью под ними. Певцу поэтому нет надобности драть горло и надседаться из всех кишок, чтобы его услыхали за версту, как у нас. В каждом театре дается какая-нибудь пьеса и притом каждый день одна и та же; так, в Водевиле идет *«Рабагас»*, — осмеивающая революционеров, — в настоящую минуту она идет 110 раз. В театре ГЭТЭ (я пишу по-русски) — «Руа-Каротт», — идет в 133 раз. Но так как здесь театров более сорока и в каждом идет новая пьеса, то каждый день можно присутствовать при совершенно новом спектакле. Играют удивительно, разумеется, не все, но есть артисты, которые положительно выше всего, что только я имел случай видеть; и все это очень бедно сравнительно с нашим; например, в «Рабагасе» <артист> играет в самом изношенном фраке, который на нем сидит, однако, превосходно, но как играет! Это <столе>тний старик и еще с отрубленными где-то

пальцами <на п>равой руке, но это действительно король. «Roi Carotte» — ахинея, но постановка блистательная, и у нас ничего подобного никогда не бывало. Кроме множества театров, которые положительно набиты битком и при входе в которые при начале спектакля тянутся громадные хвосты народу, кроме театров, также каждый вечер полным-полнехоньки миллионы кафе-шантанов и балов. Кафе-шантаны находятся в Елисейских полях. Публика сидит на открытом воздухе и за место ничего не платит, достаточно спросить стакан (бок) пива, который стоит 30 сант., чтобы целый вечер с 7 до 10 часов слушать музыку и пение, которые происходят на эстраде напротив публики. Эстрада разрисована декорациями, где насажены в разных костюмах женщины, тоже для декорации, костюмы эти с них по окончании спектакля снимаются, и они уходят домой простыми горничными. На сцене, сидя на тронах и пьедесталах, они большею частью спят, так как днем работали часов с семи утра. Балы тоже устроены великолепно — тут сады, гроты, залы, оркестры, — что угодно, и это стоит за вход 50 сант., полфранка. Балы эти разные: на одних собираются художники со своими дамами и женами (Шато-Руж), на других — студенты с такими же дамами (Клозри де Лиля). Кутежа, пьянства нет никакого, — кроме пива, нет другого напитка, да и то пьют очень мало, идут танцы наподобие тех, как мы танцевали у Михайлов<ского>, с песнями, разговорами, — один кричит кукареку, все хохочут, все считают друг друга своими. Один легонько выбивал по моему плечу такт пальцем, другой подошел ко мне, обмахиваясь платком от жару после танцев, и гов<орит>: «Как вы думаете, теперь очень бы хорошо выпить воды». Я сказ<ал>: «Да». — «И отлично!» и ушел. Это все в одну минуту. Бобошка здесь пришелся бы кстати, — только он танцует хоть и ловко, но слишком однообразно: здесь, как в Клозри, танцуют кадриль сразу 1200 пар, по 300 в 4-х рядах, и каждый кавалер норовит выкинуть *свою* штуку. Действительно, здесь умеют веселиться, потому что, должно быть, умеют и работать, а если пляшут как безумные каждый вечер, то, стало быть, работают тоже без ума целый день и каждый день. Со мной в одном отеле живет литограф, который, работая с 8 ч. утра до 10 ч. вечера, получает в день

5 франков; и вечером он действительно беснуется на балу, тратя на это с пивом не более $1\frac{1}{2}$ фр.

Жизнь здесь устроена очень умно. Я писал уже, что ложатся здесь очень рано. В 11 ч. почти нет нигде никакого движения. Встают тоже рано и, начиная с 10 ч., все кафе полны народом, идет завтрак. Завтракают все основательно: бульон, мясо, кофе. Для меня это оч<ень> хорошо, потому что часов с 11 или 12 мне всегда хочется есть, и в Петерб<урге> я непременно закусывал что-нибудь и от этого плохо обедал. Здесь же этот завтрак идет на целый день, и при беготне самой усиленной захочется есть не ранее 6 часов, но уж зато действительно захочется. Завтрак стоит $1\frac{1}{2}$ ф., обед 2 ф. 50 и при этом вот что можно иметь. Суп отличный, 3 блюда на выбор из мяса и рыбы, 1 зелень, 1 десерт (варенье, земляника) и $\frac{1}{2}$ бутылки отличного вина, которое разбавляется водой. Сначала я пил так, без воды, но теперь решительно не могу и нахожу, что именно так и следует, климат что ли, но решительно иначе пить нельзя, да и то не выпьешь полбутылки; обед оканчивается в 7 ч., и с $\frac{1}{2}$ 8 начинаются театры. В театре в антрактах публика выходит на бульвары, в хорошую погоду, или в соседние кафе, которые все соединены с театром звонками (телеграфными), так что при начале акта из театра дают знать. У нас же в Петербурге никто не веселится, никто почти ничего не делает, от этого можно обедать во все часы дня, можно после трудов не знать, как убить свободное время, и скучать во все часы дня и ночи или быть пьяным с утра. Нет, здесь действительно народ сам хозяин себе. Не думай, однако, что я только и делаю, <что> посещаю кафе-шантаны и балы по 50 <?>, и что я могу разделять французское веселье. Вовсе нет: это веселье нам кажется глупостию, и долго его по своей глупости и забитости переносить не можешь: все неприлично, нехорошо, не так. Вальс, например, танцуют — тихо-тихо, почти на одном месте, вовсе не красиво, — словом, для нас это нисколько не интересно, точно так же как для французов нисколько не интересно наше идольское сидение на одном месте. Мы можем только поглядеть, как дикари, да пойти домой спать, а участвовать во всем этом невозможно. Вот <что можно> сказать худого о парижских театрах, — это, во 1-х, в антракты поднимается крик и гам от разно<счиков,

кото>рые разносят апельсины, афиши, ноты того <романса> или песни, который только что понравился публике; в <течение 10> минут антракта этот гам и оранье не прекращаются ни на одну минуту, так что решительно оглохнешь; этот торговый элемент особенно противен, — он здесь везде, даже занавесь в театре, та, которая опускается на перемену первой, как у нас в Мариинском театре, расписана исключительно объявлениями; тут и машины, и клистиры, и мебель, и платье — все изображено в натуре с приличным форсом и с адресом, где все это можно получить. Все это очень портит впечатление.

Но уж если есть безукоризненно приятное зрелище, так это Нотр-Дам — церковь Парижской божьей матери. Я попал туда в Троицу; служба была торжественная, но народу почти никого не было или было очень мало, все больше народ, который пришел поглазеть, посмотреть; один вошел даже в шапке и с сигарой, с дамой под руку. Это случилось, когда я выходил, и не знаю, что с ним было; говорят, что это не диво. Вообще нельзя сказать, чтобы народ был богомолен: наш лакей Жозеф ни разу не был в Нотр-Дам, а в церкви бывал только в детстве. Но для человека постороннего, не умеющего видеть и не привыкшего видеть во всем этом чепухи и мошенничества, которым прославилось духовенство и которое действительно по случаю своего мошенничества уважения не имеет, постороннего, как, например, для меня, знающего, как молятся наши в деревнях и городах простые люди под напев безголосого дьячка,— для меня в Нотр-Дам было что-то решительно необыкновенное, орган, пение, музыка, все это до того выразительно и сильно, что передать я не могу. Мастера были молиться, и с такими средствами можно было морочить народ. Нотр-Дам — церковь громадная, старинная, стекла в высоких окнах цветные, каждый шаг знаменит исторически, но и тут торгашество залезло как нельзя лучше: сесть на стул стоит 15 сантимов. Нотр-Дам оставила во мне славное впечатление, несмотря на всякую гадостную подкладку и барышничество. Я опять пойду туда и пробуду какую-нибудь целую службу. Потом, разумеется, надоест, но теперь хорошо с непривычки.

Позади Нотр-Дам есть небольшое деревянное здание, — это морг, где хранятся мертвые; я был там, — за стеклянной стеной от полу до потолка сделано несколько

железных коек, на которых при мне лежала девушка, совершенно еще молодая, лет 16, утонувшая, и какой-то солдат. Ничего ни отвратительного, ни страшного, — напротив, видна любовь к человеку. Позади этих коек вся стена (задняя) увешана разным тряпьем, платьем, тут — штаны, юбки, жилеты, сапоги, найденные на мертвых. Толпа постоянно большая. «Нет», «нет», — говорила при мне старушка, — «не она»... и еще рассматривала. Она, должно быть, искала кого-нибудь из своих.

Где я еще был и что видел? Был я в Пантеоне, — или, как его теперь окрестили, церковь св. Женевьевы. Это почти то же, что наш Исаакиевский собор, только гораздо больше и выше и без четырех колоколен, которые у Исаакиев<ского> соб<ора> по углам. В Пантеоне погребены разные знаменитости: Вольтер, Ж. Ж. Руссо и пр. Из гроба Руссо высунута рука с факелом, — рука, конечно, каменная, но впечатление есть. Все эти знаменитости погребены под Пантеоном в катакомбах, совершенно темных, куда нужно идти со свечой, с фонарем и где без толпы — было бы страшно ходить. Проводник — официальный в военной форме и в треугольной шляпе. Кроме гробов знамен<итых> людей, Пантеон известен эхом, под самой серединой церкви во тьме кромешной. Здесь проводник останавливается и начинает разговаривать громко, — эхо отвечает еще громче и сию же минутку, потом проводник стреляет из духового пистолета, и эти выстрелы (несколько) — во множестве повторяются со всех сторон; все это в темноте и под землею, где надо держаться за соседа, потому что свет от фонаря бегает только по полу, — очень неприятно и вообще ничего не значит. Но в Пантеоне есть и такое, что кое-что значит. Это портик. Портик, то есть вход, совершенно такой же, как в Исаакиев<ском> соборе, хотя, например, со стороны севера: те же колонны, потом площадка, потом стена, в которой дверь в самый храм; так вот эта-то стена, сажен с 15 вышиною, до сих пор исстреляна миллионами пуль, которые не попали в камень, а только обожгли его, чуть сшибли, примерно, такими звездами. Этими пулями исстреляны также статуи, стоящие по бокам входной двери, и теперь снизу загорожены досками: здесь, на этом самом месте версальцы в прошлом году 21-го мая расстреляли

450 коммунистов, вся площадка была залита кровью, — и теперь даже кровь так въелась в камень, что, как ни отчищали ее, пегие пятна видны. Я на этой площадке простоял час, словно помешанный или в столбняке,—ноги мои словно прилипли к тому месту, где умерло столько народа. В то же время по этим пятнам бегали дети, играли в лошадки; тут были и собаки. Французы больше любят животных, чем немцы. Тут собачка идет непременно с зелененьким или розовеньким бантиком, и где? не на шее, а на лбу: повязано это очень мило, особенно у собак с густой шерстью. Нашему Тюньке нужно бантик на шею. Детям здесь раздолье: целые дни они на воздухе, в садах, — сады прелестные, Люксембург, Тюльери: тут постоянно писк, визг, беготня. И комедийки маленькие представляют. При мне шла комедия, где <представляют> монаха. Он молится богу, а навстречу ему выскакивает свинья с огнем в зубах и начинает ему тыкать в рожу этим огнем: хохот всеобщий. И надо сказать правду, что взрослые ничуть не серьезнее детей: отец точно так же помирает — хохочет над этой историей, как и сын. Вот старушка, такая же измученная, как моя Надежда Глебовна, а забралась на стул и смеется беззубым ртом. Еще чаще всего хожу я в Лувр. Вот где можно опомниться и выздороветь. Тут собрано столько искусства и такого дорогого, что каждая песчинка стоит не миллионов, а слез. Тут больше всего и святей всего Венера Милосская. Это вот что такое: кроме Лувра, я был в Люксембурге и на современной художеств<енной> выставке; в Люксембурге собраны произведения художников империи примерно с прошлого столетия. На выставке — тех же и новых художников за последние несколько лет; везде, и в Люксем<бурге> и на выставке, есть целые сотни венер, т. е. голых баб в разных видах для стариков, и я заметил, что, кроме известного впечатления, в них нет другой мысли; одна прикрывается рукою, другая лежит спиной, третья поджав ноги, четвертая спит навзничь, — словом, бездна. Чем ближе к современности, тем хуже: изображаются девочки лет по 13, — с наивнейшим выражением лица, шепчущие на ухо сатиру что-то, должно быть, скабрезное, потому что тот улыбается самым подлым образом. Когда я смотрел всю эту мерзость запустения, мне вдруг необыкновенно полюбилась Венера Милосская, которую я, признаться, ви-

дел, но не понял сначала. Какое сравнение с этими, не имеющими мысли, женскими телами и той: та, старая, чуть не развалившаяся статуя, с попорченной щекой, с прогнившими в алебастре щелями от ветхости, с обломанными руками, высокая, выше 13-летних венер настоящего времени <в> два раза, с лицом, полным ума глубокого, скромная, мужественная, мать, словом идеал женщины, который должен быть в жизни, — вот бы защитникам женского вопроса смотреть на нее. Она вся закрыта, — у нее видны — лицо, грудь и часть бедер, но это действительно такое лекарство, особенно лицо, от всего гадкого, что есть на душе, — что не знаю, какое есть еще другое? В стороне от этой статуи (я хочу написать о ней Ярошенке, но думаю, что он не поймет всего) — стоит диванчик, на котором больной и слепой Гейне каждое утро приходил сюда и плакал.

Да! Лувр — это великий целитель. Я хожу туда чуть не каждый день. Дряни и мерзости тоже больно много, но и красоты не сосчитаешь сразу.

Недавно был я в Версале 2 раза. Раз поехал я, когда пускают все фонтаны (Гранд-зо) — скука была смертная, — масса поганых солдат и глупой публики, которая по нескольку часов терпеливо стоит около фонтана, толкается, сердится и ждет не дождется, пока пустят воду, — а ее нарочно томят. В другой раз я ездил с одним молодым профессором Киевского университета, — молоденький мальчик, который жил в Чернигове и всех моих знакомых знает, — человек хороший, и я думаю со временем перебраться в его отель, там дешевле, да и он сам меня упрашивает и все мне разъясняет и переводит с большим удовольствием. Так с этим господином мы отправились (и Н<иколай> Ев<графович>) в Версаль, чтобы попасть в Национ<альное> Соб<рание>. Нас туда не пустили (Версаль вроде опрятного Ельца, в 3000 раз лучше, конечно, изящнее, больше — но по скуке то же самое: нигде нет человека, пыль, а в казармах раздается солдатский рожок), и мы пошли в *Военный суд*, в котором судят коммунистов. Суд помещается в казармах, где весь двор уставлен пушками, впрочем безвредными. Комната суда — вроде какого-то подвала, с грязными и гадкими скамейками, с желтыми ржавыми занавесками и т. д. Когда мы пришли, суд еще не начинался, и судьи разговаривали с какими-то дамами, должно быть, женами

друг друга. Смеялись и хохотали. Это всё солдаты с самыми истасканными рылами, с седыми волосами, расчесанными и примазанными густо помадой, с пробором на затылке. Суд начался очень скоро, и эти судьи, усевшись на свои места, продолжали перемигиваться с дамами, тогда как один из них — председатель судил, т. е. ругался с подсудимыми, как у нас ругаются мужики; подсудимые большею частью вовсе не напоминают тех революционеров, которым ничего не стоит пропороть ближнему живот. Это простые люди, бедны, но одеты прилично (вроде портного Петра, только лицо похуже и больное и испуганное). Все они более года как сидят в тюрьмах и на галерах. Обвиняется один в том, что взят с оружием в руках. — Откуда у вас оружие? — Я был назначен капитаном Нац<иональной> гв<ардии>. — Как *вы смели* быть капитаном? — Меня назначили, г-н председ<атель>! Я пришел в Париж зуавом, а когда версальцы обложили город, меня назначили капитаном, я не мог отказаться, меня бы застрелили!!! Больше ничего.— Его прерывают и приказывают говорить прокурору. Прокурор военный. Он в двух словах говорит просто: подсудимого надо сослать в каторжные работы. — Защитник, ваше слово. — Защитник (т<оже> военный) нехотя и почти с улыбкой говорит: «Я прошу снисхождения.» Через 2 минуты подсудимому объявляют решение, по которому он на 20 лет ссылается в Нов<ую> Каледонию. В 1 час таким образом при нас захерили на смерть 3-х человек. Возмутительнее я ничего не видал. Вот злодеи! Это злодеи! Что наши судьи, — они святые, они сравнительно образцовые в самом серьезном смысле. Подумай, некоторые не отвечают ни слова и, зная над собой силу, просто молчат и со всем соглашаются. Один стоял, опустив руки, как плети, и повесив голову, словно бы действительно она у него отвалилась на грудь. Казалось, он был в столбняке. С самым скверным впечатлением вышли мы отсюду и пошли пешком за несколько верст от Версаля в Сатори, где расстреляли Росселя. Об этом я напишу завтра. Я очень рад, что познакомился с этим профессором, он сам подошел ко мне в русской церкви и заходит ко мне каждый день, мы вместе обедаем. Он много помогает мне в языке. Н<иколай> Е<внграфович> ничем не интересуется, и чорт его знает, зачем он сюда ехал: он ничего, но едва ли не глуп. С ним очень

скучно, хотя он и добрый человек. С этим профессором мы будем шататься везде, да и шатаемся. Знает он много. Пиши мне покуда по старому адресу, потом через неделю-полторы я перееду, теперь заплачено, надо зажить. Друг мой милый! Целую тебя душевно, поправляйся здоровьем и поменьше беспокойся обо мне: мне лучше тебя, и я глубоко жалею, что нет тебя здесь. До завтра, милая.

Г. У.

А<дели> С<оломоновне> поклон, а Тюньку поцелуй.

26

А. В. УСПЕНСКОЙ

Париж, 2 июня по нашему <стилю 1872 г.>
14 июня по зд<ешнему>

Прости меня, бога ради, что я, обещавшись написать тотчас за маленьким письмом большое, до сих пор не исполнил этого. На меня напала какая-то тоска, вот уже дней пять, и то же самое отчаяние, которое я периодически испытывал в Петербурге. Ничего не хочется смотреть, никуда не хочется идти. Ничуть я не виноват в этом состоянии духа и только жду не дождусь, когда бы прошло оно. Я думаю, что сегодня я опять стану веселым. Письмо это пишу я утром в 9 часов, погода отличная, и я думаю, что сегодня мне лучше. Как только мне станет легче, — я примусь и думаю сегодня же писать парижские заметки для «Отечественных записок», и, когда возвращусь, тотчас же получишь за них деньги. Заметок у меня накопилось очень много, и работать мне будет весело над ними.

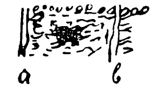
Во всяком случае я приеду из-за границы гораздо здоровей, чем уехал. Я очень часто хожу здесь в так называемые русские бани. Никаких бань нет, ни мыла, ни мочалок, — ничего подобного. А есть пар, — и холодная вода; пар вылетает из крана, от которого проведена к потолку через блок веревка. Эту веревку нужно поднимать и опускать, причем струя пара словно кистью мажет, обдает тебя то снизу вверх, то сверху вниз. Когда постоишь под этой струей пять минут — делается до того жарко, что

а кран
в) человек
с) блок
д) веревка
е) паръ

сию же минуту приходится бежать в другую комнату, где в разных видах холодная вода, и прямо стать под душ; души разных видов и во множестве, — и чувствую, что они сделали мне много пользы. Все мытье в этом только и состоит. Французы обыкновенно моются таким образом часов 10 сряду — потеть и обливаться холодной водой в промежутках. Когда захочется отдохнуть, дают белые халаты, и в них-то моющиеся идут в особого рода залу, где можно получить все газеты, чай, кофе, кушанья, вино. Тут они завтракают, спят и потом опять в баню. Русских тут оч<ень> мало. А устроено отлично. Недавно сюда приезжал Краевский и, узнав, что и в этой гостинице живут его сотрудники, — уехал в другой отель. Он боялся иметь над собой око недремлющее, ибо приезжал, должно быть, побезобразничать втихомолку, но судьба свела нас совершенно случайно в катакомбах, где уже никак нельзя убежать, а, напротив, надо идти рука об руку, чтобы не заблудиться. Вот было положение!

Катакомбы парижские — это остатки римских каменоломен, т. е. бесконечные запутанные коридоры не шире двух человек, стоящих плечо о плечо, и не выше. Спускаться в катакомбы нужно по винтовой лестнице 80 ступеней под землю. Лестница шириною для одного. Перед спуском дают свечку с бумажным широким подсвечником, на который капает воск. Идет народу сразу человек 200, так что совершенно не страшно. Французы при этом посвистывают, острят, напевают. Когда опустишься на самый низ, начинаются коридоры, кой-где они отделаны, то есть камень обтесан, а большею частию они оставлены так, как были, т. е. камни торчат с боков, висят над головой. В ином месте сверху вода, и под ногами сыро, — но ничего ни любопытного, ни страшного нет! Этими коридорами нужно пройти очень большое пространство то направо, то налево — версту, не меньше. По бокам поминутно идут другие коридоры, в которых стоят сторожа и не пропускают, — говорят, что в эти коридоры бросились спасаться тысячи коммунистов, когда версальцы вступили в Париж, и, заблудившись в них, погибли. А может быть, это и вздор. Наконец узкие коридоры кончаются и на воротах в широкие надпись: «Здесь царство смерти»... Очень глупо. Царство смерти это вот что. Всякий раз, когда Париж расширялся и приходилось застраивать

кладбища, кости мертвых вырывались и переносились в катакомбы. Таких человеческих костей образовалось 3 миллиона, и все они по годам разложены саженями, как в Петербурге дрова. Впечатления никакого. Если бы это были собранные скелеты, и притом если бы этих скелетов было 2—3, во всех катакомбах, это было бы, пожалуй, страшно, а то три миллиона каких-то костей уложены так плотно, что не разберешь, что это такое.



Вверху нолики — это черепа. Черточки — это кости. Черная дощечка посредине с надписью какого года и со стихами Ламартина, Лафонтена и проч., смысл которых тот, что: вот, мол, жизнь человеческая! *а* и *в* — столбы, отделяющие сажень от сажени.

Таких скучных зал будет здесь штук сорок, и потом опять пустые коридоры и выход по лестнице, выход совершенно в другой стороне нежели вход, так что, только выйдя, увидишь, как далеки эти катакомбы. Наконец мне надоело смотреть все эти пустяки. Французы мастера взять деньги и надуть иностранца.

Они всё это показывают с апломбом, объясняют голосом трагических актеров и смотрят на вас как на невежу. Солдат, который показывал, как я писал тебе, в Пантеоне могилу Вольтера, — гордо стоял перед публикой и с презрением сказал: слышали ли вы это имя? Это вот какое имя. И стал объяснять, когда Вольтер родился, в котором умер, скольких лет. Они невежи в смысле и образования. Мне очень понравился один солдат в С.-Дени в старинном храме, швейцар. Он много видел на своем веку путешественников, которые приходили сюда смотреть и таращить глаза на все. Теперь этого нет, да ему, должно быть, и надоело врать, — поэтому его объяснения достопримечательностей премилые. В С.-Дени в соборе хоронили франц<узских> королей. Швейцар после обедни начинает показывать и говор<ит> примерно так. Начинает он тоже совершенно по-актерски: «Урна. Здесь сердце великого Наполеона!» (Тут целая тирада о величии с раскатами о-о-о грррранд — и т. д.). Кончив эту

заученную басню, он вдруг прибавляет совершенно просто: «Впрочем, господа, никакого сердца тут нет. Говорят, оно в Доме инвалидов, — ну и пусть...» Хохот на всю церковь и т. д.

Очень часто шатаюсь я по Булонскому лесу. Это действительно лес, не поддельный какой-нибудь, а настоящий и громадный, — только дорожки шире Невского проспекта, — вот что непохоже на лес, но их сравнительно немного. Остальное — тропинки для двух человек рядом, убиты песком, идти удобно, воздух отличный, то есть не лучше того, которым ты дышишь в Богословском, а лучше парижского. Всякая гнилая ветка тотчас обламывается, но свежая трава не подстрижена, не расчищена, а растет так, как есть... Это лучшее гулянье Парижа. Был я в Версале, но он просто противен, деревья, например, подстрижены в виде четырехугольника или конуса концом вниз — это всё деревья. Петергоф лучше Версаля не в пример, и напрасно при слове Версаль пробуждается в русском человеке, особливо в дамах, волнение. Порасспроси А<дель> С<оломоновну>, она закатит глаза под лоб от удов<ольствия>.

Пойду гулять. Боюсь прозевать погоду, потому что здесь почти постоянные дожди, и иногда я хожу в теплом пальто. Жару нет никакого. Отнесу, кстати, на почту это письмо, а возвратившись, буду писать другое. Покуда до свидания. Целую тебя. Ради бога, только не думай много обо мне.

Глеб Успенский.

А<дели> С<оломоновне> поклон.

27

А. В. УСПЕНСКОЙ

<4 июня 1872 г.>
Париж, Троицын день

Вот, друг любезный, я уже почти шесть недель в Париже. Видел я все сколько-нибудь и чем-нибудь замечательное, и теперь мне уже надоело глазеть. Из туриста, который поглазел да уехал и которому больше ничего

не надо, я, напротив, желал бы сделаться жителем, иначе пользы мало. Спрашивается: какая необходимость возвращаться в Петербург? И почему нужно тотчас же приниматься за спешную работу, когда она мало чем будет лучше прежней, а главное, за какие грехи мы с тобой наказаны опять петербургской скукой, — чего, впрочем, не дай бог? Поэтому я предлагаю тебе вот что: обдумай и рассуди хорошенько. В Париже жить дешевле и лучше, чем в Петербурге, в Париже жить веселей и *легче* и есть полная возможность отдохнуть действительно, тогда как в России — мы уж ее довольно знаем. Нам бы следовало прожить здесь по крайней мере год и тогда уж ехать в Россию опять. Поэтому не лучше ли тебе теперь же приехать в Париж, благо беременность не сильна, а на проезд сюда $3^{1}/_{2}$ дня от Ельца; более против дороги в Петербург, тоже из Ельца, на $1^{1}/_{2}$ дня, безвредней для здоровья в 50 раз против поездки в Крапивну по проселочной дороге. Как ты рассудишь? Денег на это надо занять и сразу рублей 500 у Коли и у Ад<ели> Солом<оновны> потому, что если даже мы будем и в Петербурге, то не минуем занять то же по мелочам. На что пошли твои тыщи? На скуку. Здесь 500 р. пойдут на дело. При твоем знании языка француз<ского> я бы писал отличные и интересные корреспонденции, — поверь, что это не шутка и есть о чем писать отсюда. Кроме этих корреспонденций (чего нельзя писать в Петербурге), я бы не стал ничего печатать беллетристического по крайней мере до января, и здесь, вдали от разных дурных влияний Петербурга, я бы написал покойно, не спеша. 500 р. были бы отданы за продажу 4-го тома моих очерков, наконец, за роман, а корреспонденциями мы могли бы жить, совершенно не тревожась в средствах. 500 р. нужно на устройство, на то, чтобы хорошенько уладиться здесь на год, на кормилицу. Здесь обычай отдавать кормить детей «в деревню», — не бойся этого, эти деревни тот же самый Париж, 5, 10 минут по железной дороге, которая идет не по полям, а по улицам с такими же домами, как и парижские. Тогда можно бы было нанять квартиру, как это и бывает, в доме кормилицы, и она бы жила у нас. Каждые четыре часа поезд идет в Париж, и проезд во 2-м классе 4 су, не дороже. Если ты, быть может, получишь со временем свои

деньги, — то отдашь этот долг. Не тебе, так другому Коля отдаст их. Если же и не получишь, то, я повторяю, 500 р. мы можем отдать: 1) за продажу 4<-го> тома, 2) за мой роман, который буду готовить к январю. А жить будем корреспонденциями. 400 ф. здесь с тобой, при житье на квартире, очень довольно, а заработать их корреспонденциями ничего нет легче. Рассуди, не волнуясь, и ответь мне. Если ты решишь, то надо решиться скорей. Если нет, то тоже ответь мне теперь же, и тогда я буду иначе налаживать свои дела. Тогда надо будет ехать в Россию и в Париж отправляться уж после родов твоих, а что ехать тебе надо сюда, — это несомненно. Тогда нужно будет прожить до глубокой осени в провинции и работать и за месяц до твоих родов воротиться в Петербург. Я теперь, возвратившись, приготовлю «От<ечественным> з<апискам>» заметки о Париже, листа 3, и два-три маленьких рассказца, — и мы как-нибудь обойдемся. Как ты думаешь? Поверь, что надо сделать, как лучше хочешь ты в настоящую минуту, и, пожалуйста, не думай, чтобы я потом пенял на твое решение — ничуть. Если я даже и возвращусь в Россию, то буду работать с удовольствием в надежде на ребенка и на зимнюю поездку за границу. Отвечай только поскорей.

О чем я еще не писал тебе в Париже? Переезжать я не намерен до твоего письма никуда. Я переменил теперь комнату: из 2-го этажа переехал в 1-й, комната чище, светлей и не высоко подниматься. Окно выходит на улицу. Мешают только разносчики криком да треск экипажей. Мостовая в нашей улице такая же, как в Петербурге против дома князя Белосельского, а не макадам, по которому решительно нет никакого звука от езды. Треск этот весьма надоедает, и при открытом окне надо орать во всю глотку. После холодов и хорошей нежаркой погоды — вдруг начались смертельные жары. Теперь вот, когда я пишу, я должен почти задвинуть занавески, так что в комнате едва светло, солнце у меня с 12 до 5 часов, самый жар. Я здесь уже купался, но дорого, 1 фр. 25 сантимов раз. Нечего говорить, что купальни — это целые дворцы на Сене, — громадные, роскошные. Купаться надо в особенных панталонах коротеньких. Здесь есть за Парижем деревня Буживаль, где в Сене

купаются мужчины и женщины вместе, но в особого рода костюмах. Это бывает по воскресеньям. Я не видал еще этого места. Недавно я ездил за город, в Шаронтон. Это место похоже на деревню, на Богословское, только улицы — мостовые, дома — каменные этажа по четыре, а мосты — железные, — но дома расставлены друг от друга редко, много дерев, лугов, травы. Я был здесь в праздник, когда происходило гулянье вроде нашего адмиралтейского. Только мужики в шляпах и сюртуках, редко блуза. Посреди площади стоял большой балаган с надписью: *Бал.* Танцы должны были происходить вечером. По сторонам балагана расставлено множество разных развлечений. Тир для стрельбы, причем вместо каменного зайца и пр., как у нас (помнишь, в Лесном), — здесь вместо цели был фонтанчик, подбрасывавший постоянно на самую верхнюю точку свое яйцо. Попасть нужно в яйцо. Потом стояли какие-то щиты деревянные с какой-нибудь рожей, и в рот ей нужно было попасть шаром — вот что-нибудь в этом роде.

Кто попадал — его сажали на трон, который был тут же. Повсюду лотереи, выигрыши и надувательство. Для девочек игра такая. Становится стул, на стул кладут яйцо. Девочке завязывают глаза, и она с палкой в руках должна подойти и ударить по яйцу. Обыкновенно она зайдет вовсе не туда и промахнется. Иногда попадет по человеку. При мне она съездила по спине полицейского, — и, разумеется, хохот шел ужасный. Но вообще мне эти игры не понравились, так, например, чтобы подзадорить ребятишек, которые все имеют свои деньги, потому что работают, как и взрослые, устраивают игры, где выигравший получает стакан вина. Вино белое, самое грубое. Один из антрепренеров (все эти штуки: бал, лотереи и т. д. содержатся кем-нибудь *одним*) в какой-нибудь смешной шапке, на которую все мальчики начинают хохотать, ходит с прибаутками между ними и предлагает: не хочет ли кто выпить. Вино отличное. Мальчишки пьют, просят дать брату, который ничего не знает. Антрепр<енер> гов<орит>: приведи брата. И брату дают. Таким образом, мальчики сразу почти все под хмельком и спьяну проматывают деньги на разных

пустяках... За большой стакан вина, например, мальчишки должны подняться в гору на з.....е, причем их связывают крепко-накрепко ремнями так, что ни рукой, ни ногой нет возможности пошевелить. На этакие вещи смотреть отвратительно, и я не понимаю, как республиканское правительство не обратит внимания на этих мошенников, которые положительно спаивают детей.

Кроме вина, они обыкновенно нанимают 2-х — 3-х мальчишек, которые всё выигрывают и больше всех получают вина. Это тоже, как и вино, сильно подзадоривает детей.

Сейчас прочел твое письмо от 30-го мая. Прости меня, друг любезный, что я так долго оставлял тебя без писем. Право, описывать все эти замечательности — не опишешь. Надо видеть. Лучше бы всего, ежели бы ты сама была здесь. Как я рад, что ты получила Гюго. Книга эта стоит 7 ф. У меня есть еще несколько дешевых книг по 25 сант. том, которые ты будешь читать с удовольствием. Картинки, которые я послал Коле, я тебе привезу непременно, но лучшие, величиной с этот почтовый лист, того же самого содержания, не беспокойся. А своего портрета я теперь прислать не могу, потому что хорошие — дюжина стоит 30 ф., а мне Некрас<ов> не присылает денег, и я теперь не могу тратить такую сумму, да, кроме того, по случаю жаров положительно нужно шить парусинное платье. Здесь народ простой. Мужчины сидят на бульварах в кафе без сюртуков, на Итальянском бульваре это так же принято, как у нас не снимать сюртука. Вообще, ежели бы ты была здесь, — право, было бы хорошо. Просто пройди по бульвару, и то 4—5 часов ни малейшей скуки, напротив, не заметишь, как пройдут.

Сообрази.

Волков, с которым я послал книгу, — это вовсе не тот, который знаком с Симоновой. Это — технолог, очень добрый, простой, но необыкновенно деревянный человек. Он только что женился и повез свою жену в Лондон и Париж, не зная ни слова по-ан<глийски> и по-французски. А из Парижа поехал с женой прямо в Пинегу, на завод. Эта перспектива ошеломила ее, и она все время ходила здесь, как мертвая. Она занималась в Петербурге литографией и хорошо работала в «Иллюстрации». С этим господином я никуда не решался ходить, потому что везде мы произ-

водили путаницу. Придем в ресторан (Волков ведет меня знакомить с ресторанами), начинает заказывать обед на чистом русском языке. — «Суп всем троим!», «Потом рыбы». Лакей ничего не понимает. В карточке ничего не разберешь. Минут 5 идет чорт знает что, наконец, лакей вдруг опомнится и станет подавать, что ему самому придет в голову. Я пообедал с ним раз и с тех пор перестал, а хожу в табль д'от, где блюда для всех одни. В русском ресторане я недавно ел ботвинью с лососиной, но беда в том, что квасу здесь нет, а ботвинью готовят на *сидре*, яблочное вино, горькое, вкусу никакого, несмотря на то, что и зелень, и лук есть, всё. *Щи* пишутся в карточке *Schtschy* — восемь букв. Щи, впрочем, любят и французы, — остального они не едят, дорого и не по вкусу им. Да и я отвык от русской пищи. Есть по кусочкам — это как раз по мне, — и я чувствую себя легко. Как-то я в первые дни приезда съел щей и каши — и два дня точно так же ходил разваленным, как в Петербурге, — сон, лень, чорт знает что.

К Павлов<скому> приехал Федя с матерью. Он меня с ней не знакомит, и я уверен, что он действительно ее приятель. Я нисколько не навязываюсь на это знакомство. Они скоро уедут, и я останусь один. Довольно скучно. Тем более, что Париж пустеет со дня на день, и надо выезжать куда-нибудь за город.

Напиши мне, пожалуйста, что-нибудь о романе Боборыкина «Дельцы». Что это такое? Хорошо ли? Интересны ли журнальные заметки Михайловского? Я послал ему журнал «Le Peuple», где работает В. Гюго. Этот журнальчик, по получении денег от Некрасова, я выпишу для тебя. Завтра пошлю к тебе № «Фигаро», с одним процессом, — этот процесс занимает весь Париж, и таких процессов здесь каждый день. По всей Франции теперь больше всего процессов против попов, обвиняемых в изнасиловании. Что они делают, подлецы. Это ужас! За «Фигаро», я думаю, ты заплатишь довольно, коп. 75, да для Ад<ели> Соломоновны пошлю № «Большой свет», жур<нала>, посвящ<енного> высшему обществу. Должно быть, ахинея, — я надеюсь, что вы посмеетесь вместе. С собой я привезу много всяких пустяков, но посылать их теперь, ей-богу, дорого да и невозможно. Например, картинок посылать нельзя, нет ни одного такого

конверта. Одних объявлений, которые даром раздаются на улице, — целая куча уже накопилось у меня. Кстати, ежели не решишься ехать, то знай, что я тебе куплю здесь по получении денег часы и цепочку, золотые — это будет стоить 115 фр. — превосходные. У нас это гораздо дороже. Здесь золота бездна, и, напротив, трудно достать бумажек (недавно только открыт размен), — все золото 5 ф. золотом (135 коп.) величиной с наш пятачок. Серебряная же монета в 5 ф. — больше нашего рубля и толще, так что от этих серебряных монет постоянно хочется отделаться. Как-нибудь я пришлю тебе бумажку в 1 фр. Новенькие, очень маленькие, но гораздо проще наших. Отвечай мне, пожалуйста. Сейчас узнал, что кормилица стоит здесь 60 ф. в месяц, 740 ф. в год, то есть 220 рублей. Как ты думаешь, дорого это или нет сравнительно с Петербургом? Мне кажется, что дорого.

Жара смертная. Я совсем почти задернул занавески и писать устал. Целую тебя, друг мой дорогой. Тюньку поцелуй, я бы его оч<ень> хотел видеть. Как он с собаками? Я, впрочем, сегодня поподробнее справлюсь насчет всех цен у жены Веретенникова и напишу тебе опять вечером. Тогда уж ты мне ответь, прочитавши письмо, которое придет вслед за этим.

Тв<ой> *Г. Успенск<ий>*.

Целую тебя, друг. Я здоров.

1873

28

Н. А. НЕКРАСОВУ

<7 апреля 1873 г., Петербург>

Николай Алексеевич! Будьте так добры, не откажите мне выдать за последний очерк, что придется, *не вычитая.* К маю месяцу я доставлю очерк третий, который к 4 № не успел окончить. В настоящее время я весьма нуждаюсь в деньгах, а к маю, быть может, получу от Солдатенкова за работу, и тогда 5-й очерк можно будет весь учесть за долг.

Если что можно сделать, то прошу Вас передать деньги Н. К. Михайловскому.

Г. Успенский.

7 апр<еля>.

В сборнике г-жи Якоби есть мой рассказ, за который мне следует получить руб<лей> 60. Не можете ли Вы прибавить эту сумму к просимой? По получении от г-жи Якоби, после праздника, я тотчас же возвращу Вам эти 60 р. Извините, пожалуйста, за все это, деньги, особливо сегодня, крайне нужны.

Г. У.

29

В КОМИТЕТ ЛИТЕРАТУРНОГО ФОНДА

<1—2 сентября 1873 г., Петербург>

Обращаюсь к Обществу для пособия нуждающихся литераторов с моею покорною просьбою.

В течение зимы 1865—66 годов я страдал одною из весьма опасных и трудно искоренимых болезней. Лечение

было дурное и грубое. Результаты этого неудовлетворительного лечения, сделавшиеся ощутительными в последние три года, весною нынешнего года обнаружились с особенною силою. Я лечился сначала в Петербурге, а потом в провинции, у разных докторов, но как оказалось теперь, лечение это было вовсе не то, какое мне нужно. Ввиду настоятельной необходимости заняться поправлением здоровья, я обращаюсь к Обществу с просьбой оказать мне денежное пособие, так как средств у меня нет. Работы мои, изданные книгопродавцами, уступлены мною на условиях, в денежном отношении ничуть меня не обеспечивающих (4 тома, т. е. 80 печ. листов, — дали мне не более 450 руб. в разное время и небольшими частями), а журнал, в котором я постоянно работал, и без того сделал для меня очень много, особливо в последние годы, когда я мог работать весьма мало.

Глеб Успенский.

Невский проспект, близ Морской, д. № 14, кв. № 16.

1874

30

Н. А. НЕКРАСОВУ

<1—15 апреля 1874 г., Петербург>

Николай Алексеевич! то, что Вы мне предлагаете, — было бы для меня самое лучшее и действительно могло бы дать мне возможность оправиться и одуматься; словом, ничего лучшего я не желал и не желаю, — но вот что происходит со мною. С августа месяца я не обращался к Вам за деньгами, вполне надеясь, что повесть, которою я был занят, — выручит меня, если я сделаю заем. Но когда мне пришлось серьезно засесть за работу, я попал в такую массу хлопот и затруднений домашних, что под давлением их решительно ничего не мог сделать и совершенно испортил все дело. Повесть эта, таким образом, нисколько не выручила меня, и в настоящую минуту дела мои в скверном состоянии. У меня есть небольшие долги, мне надобно перевезти семью вон из города, ибо квартира ужасно дорога и я жил в ней по необходимости, так как перевозить куда-нибудь в Гатчину ребенка зимой — невозможно. Денег же у меня нет. — Что ж мне тут делать? Не поняв Вашего предложения, я обратился к Вам с просьбой, полагая, что если издание выйдет в свет, — то, высчитав елико возможно меньшую предполагаемую выручку, мне можно будет получить в счет ее сколько-нибудь. Я полагаю, что 1000 руб. чистого дохода получить будет можно, и я просил ссудить мне четвертую часть, чтобы с чем-нибудь перегодить трудное время. В мае, в июне и в июле — у нас деньги будут с переводов моей жены, — но теперь поистине я не знаю, откуда я возьму и как развяжусь с моими делами. Мои литературные друзья, я уверен, выручили бы меня, если бы были в состоянии. Так что я еще раз пробую

обратиться к Вам. Мне надобно рублей 250, с этими деньгами я тотчас переезжаю в Гатчину и стану приводить мои сочинения в порядок. Так как я никуда в течение лета не уеду, то сам буду следить за их печатанием и исправлять. Из 80 листов напечатанных и 33 не напечатанных я составлю 75 листов в 3 томика. Эти 250 р. будут выручаться вслед за тем, как окупятся печать и бумага, — и затем никаких беспокойств и просьб относительно денег я делать не буду. Уверяю Вас, что я рассчитывал прекратить это клянчанье о деньгах, написав теперь уже испорченную повесть, но едва ли была возможность не испортить ее при моих обстоятельствах. Кроме того, я не буду писать и обещать моих писаний до тех пор, пока найду возможность быть уверенным, что могу заняться этим делом более или менее спокойно, и в течение лета подыщу себе другого рода занятие. Вот в каком виде мои дела и вот какая к Вам просьба. Если Вы можете ее исполнить, — исполните ее теперь, т. е. сегодня или завтра, и потрудитесь известить меня, могу ли я заняться приведением в порядок моих сочинений. Если бы Вы были так добры, что заглянули бы ко мне, я бы показал Вам имеющиеся материалы, что печатать и что нет, — это необходимо сделать при Вашем содействии. Если же Вы ни в каком случае не можете исполнить моей просьбы, то, при всем моем искреннейшем желании стать маломальски свободным, я должен неизбежно опять попасть в руки того ж, пожалуй, Базунова, потому что решительно другого исхода нет. Мне ужасно горько, что после 10 лет работы у меня нет условий, при которых бы работа моя могла идти хоть сколько-нибудь лучше; напротив, является полная невозможность продолжать свое дело. Я перед всеми виноват до того, что ходу мне дальше нет никакого. Базунов может выручить 3, 4 т. рублей на моих книгах, а я эти самые тыщи должен Вам и не могу заплатить и заработать, ибо если бы я заработал их, я думаю, мне был бы кредит на 250 рублей. Я ровно ничего не понимаю. Я вполне понимаю, почему Вам трудно увеличить долги мои, и прошу Вас, пожалуйста, не сердитесь на это письмо.

Г Успенский.

Троицкий переулок, д. № 8, кв. № 11.

31

Н. А. НЕКРАСОВУ

<15 апреля 1874 г., Петербург>

Милостивый государь
Николай Алексеевич.

Имея необходимость в 400 рублях, я прошу Вас исходатайствовать для меня эту сумму из Общества для пособия нуждающимся литераторам, — заимообразно под Вашим поручительством, в котором, надеюсь, Вы мне не откажете, так как Вам известно, что к ноябрю настоящего года готовится издание моих сочинений, которое даст мне возможность уплатить этот долг.

Глеб Успенский.

32

Н. А. НЕКРАСОВУ

<Конец ноября 1874 г., Петербург>

Николай Алексеич! Если найдете возможным, то сделайте одолжение, позвольте мне какое-нибудь самое незначительное количество денег, во всяком случае не более 20 р. Поверьте, что я сочтусь аккуратно.

Ваш покорный слуга
Г. Успенский.



1875

33

Н. К. МИХАЙЛОВСКОМУ

(*Отрывок*)

<*Начало марта 1875 г., Париж*>

<.....> Тут был литературно-музыкальный вечер в «салонах» m-me Вьярдо. Кроткий Николай Степанович (Курочкин) вдруг превратился в льва, когда читал свои стихотворения. Вот человек, который менее всего может изобразить на лице своем гнев. А надо было изобразить. Я взглянул на него из-за двери, когда он читал, — и ужаснулся. Н. С. ощетинился на общество и кричал что-то очень сердито. Тургенев прочел мой рассказ «Ходоки» и прочел превосходно. Я не присутствовал на чтении, но присутствовал на приготовлении к чтению: Тургенев прорепетировал этот рассказ раз 7—8, изучил, где каким голосом, как и что сказать до мельчайших подробностей. Я из сил выбился слушать его, но зато вышло отлично. Ох, и фокусники же эти сороковые годы! У m-me Вьярдо голосу нет, но уменье петь действительно поражает. Публика была блестящая, и посланник Орлов улыбался Николаю Степановичу благосклонно, когда тот проклинал в своих стихотворениях человечество.

— Где Вы были? — *в необыкновенной* тревоге (все это совершалось с ужасно озабоченным видом и с действительной тревогой) обратился ко мне Иван Сергеевич. — Вы имели успех! Вас зовет публика! Где Вы пропали? Я Вас хотел вывести! Ведь Вас звала публика! и т. д.

«Вычеркните это! А то княгиня Т. будет недовольна!» — «А мерина можно оставить?» — «О, это оставьте». — Вообще оставляли всякое свинство, а вычеркивали «неприятное».

34

В КОМИТЕТ ЛИТЕРАТУРНОГО ФОНДА

<15 марта 1875 г., Париж>

В ОБЩЕСТВО ДЛЯ ПОСОБИЯ
НУЖДАЮЩИМСЯ ЛИТЕРАТОРАМ

Крайне стеснительные материальные обстоятельства заставляют меня вновь просить Общество для пособия нуждающимся литераторам не отказать в ссуде 300 руб. сроком по 1-ое октября настоящего года. В прошлом году мне было выдано 400 р. заимообразно, и 15 декабря деньги эти возвращены в Общество из редакции «От<ечественных> записок». В исправности взноса просимой мною в настоящее время суммы я могу представить ручательство трех членов Общества — г-д Скабичевского А. М., Лесевича В. В. и Н. К. Михайловского.

Глеб Успенский.

В случае согласия Общества на выдачу просимой мною ссуды прошу передать ее А. М. Скабичевскому, который и перешлет ее мне.

Глеб Успенский.

15 марта <18>75 года.

35

А. В. КАМЕНСКОМУ

Париж, 8 апреля <18>75

Дорогой Андрей Васильевич, — тысячу раз прошу у Вас прощения как за Антонову, так и за то, что не доставил работы. С Антоновой не знаю, что делать, с работой — идет туго, задачу забрал трудную, а главное, ведь, ей-богу, не бывает минуты покою — надо жить, есть, пить, кругом должен — просто ужасное положение. Но начало повести я пришлю Вам через неделю *непременно* и тогда по получении и одобрении Вами ее в цензурном и других отношениях — если будете в состоянии, то дайте Антоновой к святой руб<лей> 50 денег. Теперь

же прямо напишите ей, что так как Вы не получили от меня никаких работ, то отказываетесь от всяких за меня поручительств и просите оставить Вас в покое. Я ей пишу сегодня основательное письмо.

1-й № «Библиотеки» я дал Тургеневу, — что скажет он о переводах и о Григорьеве — напишу Вам.

3-й номер хорош, но вот какое дело — я бы не помещал таких вещей, как «Не вынесла»; действительно, не вынесешь этой муки из-за рублей и на таком количестве страниц. А заплатили Вы за нее рублей 100, наверное, — поэтому вот мой совет. Отдел беллетристики сделать преимущественно переводным, уделяя не более $1^{1}/_{2}$ или 2-х листов для оригинальной, — и то если хороша — и для 2—3 стихов без подписи, а затем лучше всего воспользоваться отделом библиографии, — это превосходный отдел — он вмещает в себе всё решительно, все самые животрепещущие вопросы. Его разделить на две части: *Новые книги*, или нет, лучше один отдел (Вы увидите почему) под назв<анием> «Обзор журналов и новых книг» за такой-то месяц. 1) Беллетристика. *Роман Толстого*. Рассказать роман и перепечатать лучшие страницы; Вы имеете право на 1 печ. лист. Повесть Щедрина, — то же самое и лучшие места. *Проступок аб<бата> Мурэ* — то же самое. Отдельным изданием вышли такие-то книги по беллетристике. — Изложить самое лучшее, что есть в каждой. Затем «*Современное обозрение*», и здесь извлечение из всех совр<еменных> обозрений всех толстых журналов и т. д. Такой отдел, если и займет листа 4 печ. в месяц, то будет ведь полон хорошей пищи. Словом, в этом отделе необходимо передать все, что в вышедших в течение месяца журналах и книгах сказано было интересного и хорошего. Поверьте, этот отдел будет стоить повести «Не вынесла». В самом деле, какое драматическое положение: учитель, жена, дети и целое семейство родителей живут на 28 рублей!!! Что же бы было, если бы на 20? И какое счастие, если бы на 35 р. 50 к. Сейчас видно, что писал В. Н. Никитин. В обзоре Григорьева о Гейне — все пахнет переводом, — ни строчки своей, разве в одном только месте, о любви, да и то, может быть, не его. Но так и надо писать обозрения, о которых я говорю. Если Вы согласны со мной, то с удовольствием буду работать в этом роде

по 15 р. за лист и, если хотите, напишу о двух вещах, *о романе Толстого и об аб<бате> Мурэ.* Григорьев пусть пишет о *Присяжных-крестьянах, рассказывая,* что есть в них *существенного*, и, например, о каких-нибудь отдельных изданиях. Вы берете обзор такого отдела в журн<але>, как современное обозрение; отвечайте, пожалуйста, по этому поводу. Мы переезжаем на другую квартиру, к самой окраине Парижа, к Булонскому лесу, в отей или отейль, — подробный адрес не знаю, хотя уже нанята квартира, — с водой, газом, приспособленным и освещать и варить кушанье, — за 11 руб. в месяц, — 3 ком<наты>, кухня, погреб и пр. Но жить будет скучно, — перед носом лес и виадук железн<ой> дороги. Пустыня. Там у меня будет маленькая отдельная каморка, где я буду усердно работать. Теперь у меня нет ничего подобного. Поставьте Ваш письменный стол в переднюю к самой входной двери, и Вы будете иметь понятие, где я помещаюсь и удобно ли мне.

Как нелеп Прок<офий> Васил<ьевич>! Ведь он пропадет в Петербурге. Он не может расстаться с семьей, точно его присутствие с разодранным в клочья духом может принести ей удовольствие. Если бы он расстался на 3 месяца, и то бы, воротившись, он был другой и мог бы быть и для Борьки и для Кольки гораздо приятней и полезней. Софья Ивановна да Софья Ивановна — ведь, наконец, действительно дойдешь до такой простоты, что голым будешь ездить с голым Колькой на руках по Невскому и по Литейной. Если бы у него было 100 руб., т. е. 350 фр<анков>, он бы прожил здесь очень долго — вот счет: кв<артира> — 12 фр<анков> в месяц, стол — 30, свечи, табак, прачка — 20 фр<анков>, итого 62 фр<анка>, ну 80 фр<анков>, — так и то 3 месяца с дорогой сюда. Скажите ему это, пожалуйста. Ведь издохнет вместе с Софьей Ивановной.

Рассказы Кладеля — все в таком роде. А. В. пошлет Вам их еще 2, — «Нази» лучше всех. Теперь она переводит для Вас роман Кларти, новый, печатающийся в Temps, затем имеются в виду еще два — Фабра и Мало. Если что будет лучшее — разумеется, примемся тотчас. Отн<осительно> Альф<онса> Доде, Тургенев обещал вытребовать от него самого журнальные отзывы о нем. Я буду у Турген<ева> завтра, в пятницу, и если получу

отзывы, то тотчас же вышлю. В сущности, А. Доде весьма узколоб, — но у него есть живые черты, которые только и дороги в нем, в остальном он слаб, т. е. по мысли.

Надо бы написать о русском спектакле в театре Вантадур, и у меня лежит совсем готовая корреспонденция,— но, увы, не принимает цензура, да и она мне стала неинтересна, так что не хочется и посылать никуда, — я ее озаглавил *Варварка в Вантадуре.* Одна из московской труппы, Пушкова, певица, положительно гремит в Париже.

Кланяйтесь всем, кто этого заслуживает, но, напротив, тем, кто не заслуживает этого, — не свидетельствуйте никакого почтения.

Повр Паризьен.

Пишите нам на старую кв<артиру>: Rue Colisée, № 46.

36

А. В. КАМЕНСКОМУ

Мая 9. Париж. <18>75 г.

Андрей Васильевич! На днях Вы непременно, непременно и непременно получите мою статью. Назыв<ается> она *Из памятной книжки.* Я решил все, что думано и что есть у меня в башке теперь, привести в некоторый порядок и печатать так, как думается в самой разнооб<разной> форме, не прибегая к крайне стеснительным в наст<оящее> вр<емя> формам повести, очерка. Тут будет и очерк, и сценка, и размышление, — приведенные, как я сказал, в некоторый порядок, т. е. расположенные так, чтобы читатель знал, почему этот очерк следует за этой сценой. Я пришлю Вам на 2 листа, на июнь — лист и на июль, — хотите печатайте теперь, хотите — в августе, но я предполагаю под назв<анием> *Из памятной книжки* — издать книгой, предварительно напечатав ее у Вас. Тут будет при случае и Париж, и деревня, и Петербург. С романом мне некогда возиться, и я решился — кончить с этого рода работой.

Затем, сию минуту писать о Золя, как я хотел, и о французской литературе я не могу. Но осенью я с вели-

ким удовольствием займусь этим делом, и Вы вполне можете рассчитывать на меня. Кроме того, у Вашей «Библиотеки» по части немецкой литературы будет сотрудник, более деятельный, чем Григорьев. Завтра или послезавтра я пришлю Вам статью под названием: *Фриц Рейтер*, немецкий народный писатель вроде Решетникова, с переводом нескольких его рассказов. Я пришлю 1-ю половину, вторая, с рассказами, пишется. Автор ее Клеменц, которого Григорьев знает. А знаете что, кажется, Григорьев не терял денег в Вильно, — я имею данные. Что это значит? Дело г<......>е, но я его разузнаю в подробности. Очень может быть, что тут что-нибудь не так.

К<леменц>, про которого я говорю, действительно знает немецкую литературу *как нельзя лучше,* он знает в ней все мышиные норки и крайне рад работать, — он теперь здесь и относительно вознаграждения может ждать, лишь бы знать, что статья поместится. Его труды, разумеется, не помешают и работам Григорьева. За лист хорошо бы ему платить руб<лей> 20, словом то же, что Григорьеву. Поверьте — с осени мы жестоко примемся работать. У меня порой на душе становится совсем светло, да и у всех, хотя поминутно видишь гадость и гадость, но этих минут у меня давно-давно не было. Да здравствует Григорьев! Он посадил меня на хлеб, на воду и — что же? Я отрезвел, похудел, потерял жир и живот,— и прозреваю временами... Серьезно, Григ<орьев> — мой спаситель. Он меня так ошарашил, что я действительно очнулся, лучше чем от зельц<ерской> воды. Душевно благодарен ему.

Моя статья о Золя будет называться: *Брем и Золя*. Последним романом он завершил картину фр<анцузского> об<щества>, т. е. не французского, а всякого общества при настоящих условиях жизни, и кончил провозглашением, т. е. не нашел ничего лучше, — скотины, животного (Дезирэ). У него удивительный зверинец больных животных от Тюльери до крестьянской избы. Вот почему я беру Брема.

Г. У.

Андрей Вас<ильевич!> По окончании «Ф<рица> Р<ейтера>» будет 2-й этюд: *Гервег* и т. д.

Общее название им придумайте сами. Помещайте прямо в библиографию под назв<анием>: *Библиогр<афия> немец<кой> лит<ературы>* или *Очерки сов<ременной> немец<кой> лите<ратуры>*. Оч<ерк> 1. «Ф<риц> Р<ейтер>». Как хотите. Что нужно, выбросите. Во второй половине статьи будут переведены некоторые очерки Ф. Р<ейтера>.

37

А. В. КАМЕНСКОМУ

Париж, 8 июня <18>75

Милый Андрей Васильевич! Посылаем Вам при этом начало нового романа Г. Мало, который, как я думаю, очень выгоден для привлечения подписчиков, да и написан тоже очень недурно. Этот роман обещает (как гласят букв<ально> саженные объявления, развешенные по всему городу) коснуться *всех* сторон парижской жизни, от царей до нищих. Я бы даже советовал Вам напечатать хорошую публикацию в газетах, что, мол, с июля «Библиотека общ<едоступная>» будет печатать *большой* (действ<ительно> б<ольшой>) роман Г. Мало (Всесв<етный> тр<актир>», и тут же объявить о полугодовой подписке, увеличив слегка цену. Этот роман, кроме того, по-моему, очень выгоден для отдельной продажи. Посылаю то, что вышло; он начал выходить только на днях, и через каждые 4 дня будем присылать по стольку же.

5-ю книжку «Биб<лиотеки>» получили оч<ень> поздно, только вчера. Она становится все лучше и лучше, но еще много нужно, чтобы стать журналом. Во 1-х, ни под каким видом не печатайте таких стихов, — это просто чорт знает что за вздор. Во 2-х, Катрель — весь выезжает на фарсах и звукоподражаниях, и переводить его так, чтобы можно было читать, — очень трудно. Кроме того, во всем рассказе нет ни одного знака препинания, да и вообще знаки препинания соблюдаются плохо, а это, уверяю Вас, очень важная штука. Добрые люди держат по 8 корректур, для того чтобы в рукописи было соблюдено все — и внешнее и внутреннее для впечатления. Я не

рекомендую Вам этих 8 корректур, — а все-таки не мешало бы повелеть гг. корректорам типографии быть потщательнее. Но стихи Ольхина, Круглова — это бог знает что! Стихов Ольхина *нигде* ни за какие деньги не напечатают, — зачем же это делает «Библиотека». П<отому> ч<то> Ольхин хороший человек? Я в этом не сомневаюсь, но он может быть полезен Вам в другом отделе журнала, а не здесь. Если нужны стихи, то их надо доставать от Плещеева, Михайловского, Минаева <и> пр.— купить у них по 2 стихотвор<ения>, и этого хватит на полгода. Затем, если Вы серьезно хотите поставить «Библиотеку» на настоящую ногу, — то я бы Вам советовал прежде всего *организовать* дело как можно прочнее. Для организации же, по-моему, требуется, во-первых, сговориться относительно направления журнала и подобрать человек 2-х (никак не больше, и незачем это), — которые бы и составляли редакцию, каждый делая свое дело. Цель издания, по-моему, — конкуренция с таким, например, изданием, как «Дело», и это тем удобнее, что цена «Библиотеки» ниже — а сотрудники могут быть и из «Дела» и из других журналов, — т. е. выбор больше и разнообразнее. Вы сами возьмете беллетристический отдел; другой — возьмет отдел под назв<анием> «Литературное обозрение», в который должна войти, во 1-х, литературная критика (например, разбор Печерск<ого> «В лесах»), разбор мелких литературных вещей и статьи по поводу современных русских и европейских вопросов жизни, — которые должны писаться тоже под общим названием. 2) *Библиографии*, так как, кажется, отдела хроники у Вас нет. Этот 2-й отдел литературного обозрения должен быть разделен между двумя лицами, из которых одно ведет исключ<ительно> литературную критику и библиографию, а другое — библиографию по вопросам *общественным* русским и загранич<ным>. Для литер<атурной> критики у Вас есть господ<ин>, пишущий о типах бест<енденциозной> белл<етристики>, — для библиографии общественной или сами оставайтесь, или подыщите человека (Ядринцева, Шашкова), который и будет входить в сношения с множеством лиц, которые будут писать по этому отделу.

Вы же, заведующий беллетрист<ическим> отделом, в течение нынешнего лета войдите в сношения со Смир-

новой, с Наумовым, со Старостиным (в «Деле»), даже с Летневым, — и заручитесь от них работами (дайте денег, если нужно), хотя к сентябрю. Также добудьте рублей на 100 стихов от Плещеева, Михаловского и т. д., переведите сами хорошую английскую вещь, напр<имер> Гринвуда (нов<ая> книга), и когда все это будет запасено, — с сентября сразу выступайте на литературную сцену и тотчас же рассылайте объявление о подписке на будущий год. Уверяю Вас, я не сомневаюсь в успехе.

По этому плану вот как мне представляется должен выйти журнал (примерно).

Например:

Содержание сентябрьской книжки.

I. Очерк Смирновой или Наумова.

II. Стихотв<орение> А. Плещеева.

III. Ром<ан> Гринвуда или Жженкинса (всякий раз непр<еменно> целую вещь).

IV. Америк<анский> очерк Мачтета.

V. Компиляция Прок<опия> Васильевича — ну, хоть о Берне.

VI. Мой рассказ.

VII. Стихи Минаева

и VIII. *В приложении* — роман Андре Лео: Большие надежды маленького буржуа.

Отд<ел> 2-ой.

Литературное обозрение.

1. *Темного царства нет и никогда не было.* Критическая статья по поводу романа из народной жизни А. Печерского *«В лесах»* — того же, кто о Смирновой.

Библиография.

1) Дант, в пер. Минаева (литератур<ная> библиография), Пр<окопий> Вас<ильевич>. 2) *Очерки и рассказы Суворина* (лит<ературная> библиография), Пр<окопий> Вас<ильевич> или т<от> же, кто

о См<ирновой>. 3) Отчеты комиссии по *рабоч<ему> вопросу (обществ<енная>* библиография и в то же время внутреннее обозрение). Ядринцев. 4) *Десятилетие суд<ебной> реф<ормы>* К. Арсеньева (обществ<енная> библиография и продолжение вопросов внутр<енней> жизни, касаясь чего угодно), — это хоть Ольхину). 5) Георг Гервег (назв<ание> книги по-немецки), обозрение движения мысли в Германии. Сотр<удник> есть. 6) *«Les ordures de Paris»* (обозрение новых книг; обозрение обществ<енной> жизни во Франции). 7) Английская книга (и по поводу англ<ийской> литер<атуры> и жизни), Вы. И — *фельетон* — если будет кому писать.

Если выкинуть из 1-го отдела статьи 2, да во втором помещать в каждой книжке по 1 загранич<ному> обозр<ению>, то и тогда отличная все-таки выйдет книга. Если даже переводов сделать до 18 листов, то есть 2 и три приложения.

Итак, во-первых, Вы — хозяин беллетр<истического> отдела, положим, Шашков — библиография по общ<ественным> вопросам. Критик, что п<исал> о См<ирновой>, — литературная библиография, и больше ничего не нужно (Прок<опий> Вас<ильевич> может действовать во всех отделах), — иначе будет толкотня, давка и выйдет ч<орт> зн<ает> что.

К Вам поступают все беллетр<истические> статьи, повести, рассказы, стихи, ориг<инальные> и перев<одные>. К Шашкову — все, что по вопр<осам> русск<ой>жизни, — корреспонденции и т. д., все это он должен облечь в настоящую форму, подогнать под назв<ание> книги. Сюда же корресп<онденции> рус<ские> и иностр<анные>. Этот отдел я бы сам взял с удов<ольствием>, но я скажу ниже, почему я не могу.

И критику — вся литературная библиография.

Вот как я смотрю на это дело. Если Вы найдете одного челов<ека> для всего литер<атурного> обозр<ения> — ему надо дать 1200 р. в год жалов<ания>, кроме полистн<ой> платы, и себе Вы тоже положите жалованье, за переводы тоже получайте отдельно. Поверьте, что если все это будет сделано хорошо и сразу, — дело Ваше выиграно вполне и сразу. Здесь в настоящую минуту ред<актор> «Знания» Гольдсмит. Я говорил

с ним. Они убили без толку 25 000 р. на журнал и теперь еще не получают ни коп<ейки>, — именно оттого, что сначала не было все организовано, — а были приятели, хорошие люди и пр. Такая правильность и прочность организации держит и «От<ечественные> з<аписки>» и «Дело» и тотчас же привлечет новые силы и даст журналу жизнь.

Я все ждал Вашего подробного письма и, не дождавшись, пишу Вам. Относительно себя я Вам скажу следующее: я бы с громадным удовольствием принялся работать для журнала и знаю, как сделать это дело, как поставить его на ноги, — но мне теперь нельзя еще жить в Петербурге, — пот<ому> что у меня долги, которые меня сию же минуту затормошат. Но я сделаю все, что могу. Во 1-х, относит<ельно> переводного отдела с франц<узского>, будьте сов<ершенно> уверены, что получите лучшее, что есть. Тургенев дал мне слово указывать все, что есть замечательного. (Я от него сию минуту получил письмо из Карлсбада.) Хроника парижской жизни (под видом иностр<анной> библиографии) будет вестись, если то нужно, одним из образованнейших молодых людей, и за интерес ее я Вам ручаюсь; хроника германской жизни — у Вас уже есть сотрудник, о котором Вы не судите по Рейтеру, — в Париже нет или трудно достать немец<кие> материалы, — но который с осени будет жить в Лейпциге — в центре литерат<урного> рынка и будет работать добросовестно и интересно. Затем я сам все, что ни напишу, — все будет принадлежать Вам, — но мне необходимо июнь, июль и август провести в России, в деревне. Это для меня необходимо, как воздух, это не отдых, я отдохнул в Париже и окреп окончательно, и я теперь ищу случая облечь мои мысли в плоть и кровь, — мне нужно видеть, жить среди самой настоящей русской народной жизни. Повторяю — это не отдых, а именно настоящее дело. Если Вы только верите этому и сочувствуете мне, то я прошу Вас помочь мне в этом деле. Для поездки в Россию мне нужно 350 р. с<еребром>, 150 р. я оставляю А<лександре> В<асильевне>, а с двумястами уеду, не заезжая ни в Питер, ни в Москву, прямо к брату в лес, у которого возьму лошадь и отправлюсь по Дону. Я уже ездил однажды, и у меня есть

заметки, но их мало. Это степная малотронутая сторона; я буду заниматься этим делом серьезно, основательно — и уверен, что ничто не пропадет для меня, особливо в настоящее время, когда я убедился, что, чтобы выбиться из моего стесненного положения, мне нужно работать и работать. Я теперь очнулся, отрезвел, окреп, — я буду работать много, раз навсегда плюнув и растерев вопросы о личных моих несчастиях. Но без этой основательной поездки я иссохну на чужой стороне и боюсь сорваться снова. Если Вы пришлете мне 350 руб., то я, в уплату их, пошлю Вам на днях два очерка (3-й, готовый для Вас, мне жаль пускать в том виде, как он есть, мне надо обновить его новыми впечатлениями). Назначайте ему какую хотите цену, — но все, что не оплатится, будет покрываться моими дальнейшими раб<отами> пополам: половину — в долг, половину — мне. К сентябрю я обещаюсь Вам доставить работу непременно, прямо из провинции, — а затем опять уеду за границу на осень, откуда и буду писать. Тем временем будет выходить в св<ет> собр<ание> моих сочинений с предисловием, в котором будут даны некоторые очень простые объяснения критикам, напр<имер> Ткачеву, который бранит меня, видя упадок и не зная, что то, что издано мною в 1875 году, — писано не в 75, а в 62 и 63 — 12 лет назад, — а помещено в книге благодаря мошенническим контрактам и условиям издательства. Мне важно покрыть 1000 р. долгу Псков<скому> банку, и я тотчас же возьму ее назад, расплачусь до копейки с Антоновой, и к Рождеству уже буду в Петербурге и могу работать, если Вы не устроитесь гораздо лучше, — вместе с Вами. Вот что я намерен делать. Если же эта поездка не удастся, — я потеряю, да не могу не потерять ту охоту к труду, которая теперь снова поднялась во мне, как 5—6 лет. Этой поездки я добиваюсь два года, и два года не могу сделать. В прошлом году я достал денег, но чорт меня дернул дать в долг Надеину 1100 р. сереб<ром>, и вследствие этого я все лето и всю осень пропьянствовал в Петер<бурге>. Вместо того, чтобы отдать все сразу, он даст мне 100 р. — я пошлю их А<лександре> В<асильевне> и две недели жду других каждый день, ничего

не делая и забирая то 3, то 5 руб., — а через две недели опять даст 100 <руб.>, когда в гостинице уже накопилось полтораста. Ужасное положение. Я не виню его, но знаю и утверждаю, что он был причиной этой непр<оизводительной> тр<аты> денег.

Отвечайте мне, дорогой А<ндрей> В<асильевич>, на это письмо теперь же. Я пишу о том же и Меркульеву. Мне нужно знать это как можно скорей. Затем, будьте так добры, вышлите 200 фр<анков>, если можно, тоже поскорее. Мы буквально без всяких средств сидим эти дни. И только эти 200 фр<анков> — все наши средства. Саша и Юлия поглощают их большую часть, и нам остается едва-едва; даже нехватает, сказать по правде. Я ем раз в день кусок чего-нибудь или же 3 яйца. Пожалуйста, вышлите их, если можно, теперь же и отвечайте на мою просьбу.

Ваш *Г. Успенский.*

Обратитесь также к Златовратскому, но, пож<алуйста>, к А. Михайлову не вздумайте.

38

А. В. КАМЕНСКОМУ

Париж, 9 июня <1875 г.>

Андрей Васильевич! Посылаю Вам еще 2 стран<ицы> рассказа. Теперь начинается самая интересная глава, рассказ дьякона (он займет 3 след<ующих> главы) — вещь трудная и чтобы исполнить ее удовлетворительно — я должен иметь хоть каплю спокойствия духа. Но мысль о том, что я останусь в Париже, что не выеду в Россию, просто угнетает меня, у меня опускаются руки, и голова не хочет ни о чем другом думать. Я не знаю, дадите ли Вы мне денег, состоится ли Ваше дело, не знаю, можете ли Вы или нет достать мне денег, если я пришлю работы руб<лей> на 200, полагая даже по 50 р. за лист — ничего не знаю. Передавать рукоп<ись> в «От<ечественные> з<аписки>» не стоит, потому что там все разъехались и ответ я получу разве 1 августа. Лучше я брошу писать и прекращу всякие мечтания.

Поэтому я Вас убедительно прошу: известить меня *сегодня же,* т. е. по получении этого письма, можете ли Вы мне выслать 200 р. и когда именно. Если не состоится нов<ая> ред<акция>, то не может ли Меркул<ьев> выслать под мою работу, если я ее окончу? Или пришлю на 200 р., т. е. 4 ваших листа? Затем, если не будет ни того, ни другого, то не можете ли Вы, имея у себя мою рукопись и зная, что ее напечатают где-нибудь (если не состоится у Вас) — достать мне руб<лей> 150. А я укажу Вам место, куда послать рукопись и где будут выплачивать деньги по мере печатания. Все это мне надо знать непременно теперь же.

Если ответ будет удовлетвор<ителен> — рукопись будет окончена как нельзя лучше. Если нет, то я теперь же буду знать, что мне ждать нечего.

Глеб Успенский.

Пожалуйста, известите меня, милый Андрей Васильевич.

Ваш *Г. Успенский.*

На стр. 19 — зачеркните строчки после приглашения идти гулять.

Будьте милосерды, Андрей Васильевич! Известите меня, что такое делается с «Библиот<екой>» и с Вами. Я с нетерпением ожидаю Вашего ответа и ответа Меркульева, так как это для меня дело жизни и смерти. Как бы то ни было, а сегодня 9 июня, время идет, а я сижу и жду, быть может, бесплодно. Тогда как все, что ни живут здесь, эмигранты, например, преспокойно получают всевозможные средства, ездят, куда хотят, ровно ничего не работая и не имея лично никаких денег, — я никак не могу добиться побыть в России, прося так мало денег, как только возможно. Мне ужасно грустно и обидно, ужасно обидно. Григорьев *меня обманывает* (буквально). На письма я не получаю ответа, — я не знаю, что это такое? Все это сведет меня, право, окончательно с ума. Ради бога, пишите мне, пожалуйста.

Г. У.

89

А. В. КАМЕНСКОМУ

Париж, 14 июня <18>75 г.

Милый Андрей Васильевич! Сию минуту я сделал непростительную глупость: здесь в Париже проживает сестра Н. А. Шульгиной, которой я должен (я занимал для Антоновой) и часть долга которой должен был уплатить тот же многоуваж<аемый> Пр<окофий> Вас<ильевич>. Эта госпожа — чистая скотина и сволочь, — постоянно разжигает против нас Н<аталию> Алек<сандровну>, думая без сомнения, что у нас есть деньги, и сию минуту так меня разбесила, что я решился написать Вам записку, прося Вас, в случае, если Вы достанете мне 350 р., о которых я Вас просил на поездку, то выдать эти деньги Н. А. Шульгиной, которая и явится к Вам с этой запиской.

Я теперь ужасно раскаиваюсь. Сама Н. А. Шульгина, без всякого сомнения, будет смотреть на все это совершенно иначе, как только будет в Париже, а будет она в Париже скоро; если же я ей отдам деньги, которые мне нужны на поездку, то я совсем пропаду. Мне эти деньги бесконечно и крайне нужны, — а Н<аталия> А<лександровна> хоть и разозлена своей сестрой, но, повидавшись со мной, наверное устроит это дело до осени, когда я буду, несомненно, буду работать много. Поэтому я прошу Вас, если Вы добудете мне просимые деньги, прислать мне их немедленно, а Н. А. Шульгиной сказать, что *никаких денег для меня Вы не достали*. Эти деньги — единственное мое спасение и надежда, я решительно не могу отдавать ни копейки кому бы то ни было теперь, потому что мне необходимо работать.

Пожалуйста, дорогой А<ндрей> В<асильевич>, сделайте это, веря, что Вы не принимаете на душу никакого греха.

Будьте уверены, с меня получат наверное, все!

Всесв<етный> трактир посылаем завтра.

Кроме того, готовим:

1) Компиляцию новой книги В. Гюго.
   До изгнания (до 1852 г.)
   Во время изгнания (в 1852 г.)

и *После изгнания* (с 70-го года).

Его воспоминания, пока 1-й т<ом>.

2) *Изгнанник*, роман Т. Ревильона. Чудеснейший, симпатичнейший романчик из времен послед<ней> войны и коммуны. Он цензурен.

Простите, дорогой Андрей Васильевич.

Ваш *Г. Успенский.*

Денег, ради бога! Не верят в лавках, уверяю Вас! Просто ужас, что делается. Пожалуйста, вышлите А<лександре> В<асильевне> ее 200 фр<анков.>

Г. Успенский.

40

А. В. КАМЕНСКОМУ

Июня 28 <16 июня ст. ст. (?) 1875 г., Париж>

Андрей Васильевич! Письмо Ваше получил и душевно рад Вашему предложению. Если дело состоится — я Ваш верный раб и примусь за дело с тем большей охотой, что я поздоровел. Но если и не состоится, то я все-таки еще раз прошу Вас, не томите меня напрасным сидением в Париже. У меня силы тратятся сов<сем> напрасно, мне дозарезу надо быть в России, а время идет — ведь уж половина июня. Мне дорога каждая минута, поэтому я прошу Вас, если не состоится дело, — добудьте мне, ради самого бога, 200 руб., 150 мне мало, я 100 р. непременно должен оставить в Париже. Посылаю Вам начало работы, завтра пошлю еще, и, пожалуйста, верьте, что, если Вы мне поможете, и помож<ете> *вовремя*, я сделаю для Вас все, что буду в силах.

Это начало целого ряда очерков, в конце 1-го (завтра) вы увидите цель их. Все цензурно, я думаю. Второй должен быть, как мне кажется, очень интересен и смешон.

Пожалуйста, достаньте мне денег и пришлите — у нас нет ни гроша. Мне крайне надо ехать. Пожалуйста же. Если можно, не долее как через 5 дней бы.

Глеб Успенский.

41

П. П. МЕРКУЛЬЕВУ

Париж, <18>75, августа 8

Многоуважаемый Павел Петрович!

Спешу ответить Вам на Ваше последнее письмо. Название романа Мало (Гектор) — «L'auberge du Monde». Роман из парижской жизни, обнимающий период времени от 1867 г. по 71-й. Роман этот, предполагается — будет велик и заключает в себе несколько отдельных романов (связанных, конечно). Первая часть этого ром<ана> — «Полковник Шамберлэн» (я бы назвал «Янки в Париже») уже окончен и может смело составить отдельный том; Ал<ександра> В<асильевна> примет все меры, чтобы как можно скорее выслать Вам окончание этого тома. Сколько всего выйдет — неизвестно. В 1-й части сорок глав, а сколько выходит из главы — я не знаю; это Вам узнать легче. 2-я часть называется *«Маркиза Люсильер»*. Я думаю, Вы можете открыть на этот роман, кроме «Библиотеки», — отдельную подписку, объявив, что вот, мол, в настоящую минуту в Париже стал выходить большой роман такой-то в нескольких томах. В романе этом, обнимающем париж<скую> жизнь со времени Всемир<ной> выставки и оканч<ивающемся> войною, — автор обещает коснуться всех сторон париж<ской> жизни от дворца до клоаки (слова объявления). Если Вам надо, — я Вам пришлю полное объявление, составляющее лист в $2^1/_2$ квадратных аршина.

Роман печатается в газете «Le Siècle». Но Вы этого не объясняйте, а то уж непременно перехватят.

Векселя и доверенность Надеину я послал, — но прошу Вас подробно написать мне, как мне поступить, где и как заключать формальную доверенность и проч. Я очень плохо понимаю письмо Надеина. Мне надо знать, — что, как и зачем мне надо делать? И я тогда сделаю все в точности.

Что Андр<ей> Васильевич? Как-то он добрался до Питера? Что Григорьев? Отчего нет до сих пор «Библиотеки»? Это дурно может действовать на публику.

Г Успенский.

42

Н. К. МИХАЙЛОВСКОМУ

(*Отрывок*)

<Февраль — август 1875 г., Париж>

<......> Я думаю написать рассказ «Царь в дому» — ребенок. Это народное выражение о первом ребенке, и действительно, только эту власть я и согласен признавать за законную.

43

Н. К. МИХАЙЛОВСКОМУ

(*Отрывок*)

<Февраль — август 1875 г., Париж>

<......> Господи, что за ахинея идет в моей жизни, что за чепуха! Я пять лет стремился поездить по Дону и пробраться в Соловецкий, и мне надо сидеть в Париже! Нечего сказать, по моим вкусам устроилось все!

44

А. В. КАМЕНСКОМУ

<12 сентября 1875 г., Калуга>

Дорогой Андрей Васильевич! Только что кое-как устроился в Калуге и пишу Вам свой адрес (он ниже). Прошу Вас, пожалуйста, пишите мне о делах по журналу и не откажите в следующем: пришлите, пожал<уйста>, по 1-му экземпляру имеющихся у Вас английских журналов, хоть, напр<имер>, за июль. Чрез 2 недели они будут возвращены. Я здесь нашел отличного работника — но обо всем я напишу Вам подробно. Журналы эти необходимы. Они будут все целы.

Что Григорьев? Пусть бы он приезжал ко мне в Калугу отдохнуть — он бы нашел тут людей без водки и, право, хороших. Об одном-то из них я и хлопочу, прося журналов английских.

Пишу Вам на лоскутке — ибо сижу *в должности,* — дела нет никакого, и меня совершенно не неволят. Зани-

маюсь покуда чтением романов. Вот еще что: 15 октября (по загранич<ному>) А<лександра> В<асильевна> *должна* непр<еменно> выехать из Отейля, иначе придется жить там зиму, а на это никоим обр<азом> не согласится кормилица, и, след<овательно>, произойдет ссора. Если не может к этому числу выслать Меркульев, не поможете ли Вы А<лександре> В<асильевне>? А меркульевские получите от него, не говоря, что Вы послали. Я теперь ничего не могу сделать, и только в октябре разве удастся послать им что-нибудь. О, эти проклятые деньги! Господи, когда я хоть капельку устроюсь. Боюсь, как бы Антонова не узнала, что я в Калуге — погубит она меня!

Жду Вашего письма непременно скоро; пусть и Пр<окофий> Вас<ильевич> напишет о себе что-нибудь.

Адрес мой: В Калугу, Алексею Михайловичу Верховскому, с перед<ачей> мне.

Ваш *Г. Успенский.*

12 сентября.

45

В КОМИТЕТ ЛИТЕРАТУРНОГО ФОНДА

Калуга, 26 сентября <1875 г.>

В Общество для пособия нуждающимся литераторам.

В апреле месяце настоящего года я получил из Литературного фонда, под поручительством гг. Н. К. Михайловского, М. Е. Салтыкова, А. М. Скабичевского и В. В. Лесевича, ссуду в 300 р. сер. сроком по 1-ое октября. Не имея возможности уплатить эти деньги в срок и не желая вводить в расход моих поручителей, я обращаюсь к Обществу с покорнейшей просьбою отсрочить мне уплату ссуды до 15 декабря настоящего года, что для меня будет большим одолжением, так как к тому времени у меня будет готова для печати большая работа.

В случае согласия Общества сделать мне просимое снисхождение, — я прошу известить об этом и моих поручителей, адресуя известие всем четырем лицам: в Петербурге, в ред<акцию> «Отеч<ественных> записок».

Г. Успенский.

Адрес мой: Калуга, Козмодемьянская улица, д. Хлебниковой.

46

А. В. КАМЕНСКОМУ

<2 октября 1875 г., Калуга>

Дорогой Андрей Васильевич! Во 1-х, вышлите *Библиотеку* в Калугу по такому адресу: В г. Кал<угу>, в библиотеку для чтения, Е. Д. Шевыревой. Во 2-х, знаете, я душевно рад, что *покуда* будет продолжаться маленькая библиотечка, т. е. будет возможность на деле спеться и сойтись во вкусах и мыслях известному кружку людей. В 3-х, пишу Вам рассказ большой, имя которому будет *«Опыт быть веселым.* Рассказ». Пишу не спеша. Верите, лет восемь у меня не было такого времени, удобного для меня, как теперь, я так рад, что я здесь, только бы А<лександра> В<асильевна> не билась в нужде. Если бы «От<ечественные> з<аписки>» послали ей, не вычитая, все, что мне приходится за очерк из пам<ятной> книжки, — то отлично бы было, и я бы ужасно много ст<ал> работать. Я бы совсем мог отдаться работе, если бы еще не настигли меня долги здесь. Пожалуйста, не говорите никому, где я, кр<оме> Григорьева. Не говорите также даже с писат<елями> ни о К<леменце>, ни о Л<опатине> — не надо. Напишите, пожалуйста, где Григорьев и что с ним, и пусть бы написал мне, бессовестный. Думаю сделать так: на Рождество быть за границей, — а с весны перевезти семью прямо в деревню. Можно близ Калуги, верстах в 10 и от жел<езной> дороги верстах в 2, нанять отличное имение с землей, скотом, лошади, коровы, — рублей за 150 в год. В доме мебель, словом, все нужное. Сам буду жить в Калуге и приезжать домой. Не знаю, состоится ли это. Ах, если бы мне так тихо пожить и одуматься, хоть бы до весны, — право, я бы писал гораздо лучше прежнего и больше. Вообще, чувствую себя несравненно лучше, чем в Париже, и без содрогания не могу вспомнить пребывания своего в Петербурге в послед<нее> время. Послали ли А<лександре> В<асильевне>? Простите меня за это, но что делать! Зная, что она без денег — ничего, кроме худого, на душе не чувствую и плохо работаю.

Ваш *Г. Успенский.*

2 окт<ября>, чет<верг>.

47

Н. А. НЕКРАСОВУ

Калуга, 15 октября <1875 г.>

Николай Алексеевич! опять обращаюсь к Вам насчет моего рассказа *Книжка чеков.* Я хочу попробовать напечатать его в Москве в «Русских ведомостях», где уже однажды был напечатан мой рассказ, вырезанный в «От<ечественных> записках», только слегка измененный и без подписи. Необходимы деньги для жены; гг. издатели ее переводов почти два месяца не высылают следуемых ей денег; а в расчете на них я и решился оставить семью за границей, чтобы хоть несколько месяцев спокойно поглядеть на русскую жизнь; пошло бы все отлично, — а теперь вот опять бог знает что! Необходимо поэтому напечатать рассказ поскорее, так как другой работы оконченной нет, я было начал длинную историю, но, кажется, ничего не выйдет. Вообще прошу Вас, Н. А., если рассказ никогда не может быть напечатан в «От<ечественных> зап<исках>», прислать его мне по нижеследующему адресу, — я попробую напечатать его в Москве, переделав; если ж хотя с переделками или измененным заглавием, например, вместо «Кн<ижка> чеков» — «Новый тип купца», — то оставьте рассказ у себя, а жене пошлите 100 р. Все пишу о деньгах — как мне это наскучило — ужас!

Г. Успенский.

Мой адрес: В Калугу, А. М. Верховскому, начальнику движения Ряжско-Вяземской дороги, с передачей мне. Адрес моей жены — на обороте. [1]

Н. С. Преображенский (автор «Простых людей») утонул в колодезе, будучи в белой горячке. Я его не знал, но мне рассказывали, что это тот самый колодезь, который в 1-й главе первой его повести «Простые люди» так превосходно и внимательно описан.

Не откажите написать мне строчку в ответ.

Глеб Успенский.

---

[1] <*На обороте:*> Paris, Auteuil, rue Chanez. M-me A. Ouspensky <Париж, Отейль, ул. Шанэ. М-м А. Успенской>.

48

А. В. КАМЕНСКОМУ

<22 октября 1875 г., Калуга>

Андрей Васильевич! Сейчас получил Ваше письмо и спешу написать по поводу его два словечка.

1-ое и последнее: Ни в каком случае не следует Меркульеву являться к Некр<асову> с просьбой о перемене цензора или вообще о чем-нибудь, прямо не касающемся литературной поддержки. Это сразу заставит его махнуть рукой. От Некрасова нужны стихи — больше ничего, этого и надо добиться. Я его знаю. Сегодн<я>, явись к нему Мерк<ульев> просить о ценз<оре>, он тот<час> подумает: «а завтра явится еще зачем-нибудь, а послезавтра опять. Нет, лучше сразу!» и откажет совсем в участии. Впрочем — не знаю. Может быть, и иначе будет. По мне, так никоим манером не следует делать этого. Что ж Ольхин-то с своим министром? И нельзя ли выхлопотать перемену заглавия, назвав «Русская жизнь» или как-нибудь, хоть осетрина, только не дешевка.

П<рокофия> В<асильевича> письма получил все и буду ему писать ответ на днях. Теперь я сижу *в должности.* На дворе мороз, праздник Казанской, мужичьи дровни, сани, священник несет за заднюю ногу живого поросенка, точно удав поймал какого-нибудь зверька и тащит его жрать. Все это мне теперь в охотку.

Г У.

49

А. В. КАМЕНСКОМУ

27 нояб<ря 1875 г., Калуга>

Андрей Васильевич! Пожалуйста, не упускайте случая в нынешнем же году продолжать «Библиотеку», — право, уверяю Вас, к ней расположена публика, все, кто видел ее — очень и очень хвалят. Теперь не хвалят ни одного журнала. Стало быть, «Библиотека» на хорошей дороге. По-моему, следует хлопотать в другом месте только и нигде больше. Говорю в другом, потому что Вы писали,

что у Вас есть еще в виду другие деньги, кроме тех, за к<ото>рыми поехал Григорьев.

Кстати, А. Ольхин должен знать начальника телеграфа в Харькове, у которого Гр<игорьев> должен был быть. Пусть телеграфирует к нему и узнает, что с ним.

Попробуйте напечатать хоть в 3-х газетах объявление обстоятельное и увидите, как пойдет подписка. В списках журналов «Библиотека» стоит везде и, стало быть, подписка на нее идет. Разочтите, что може<т> быть при самой плохой подписке — например, в 500, котор<ая> уже есть, и нельзя ли продолжать при этом скромном количестве, хотя бы пришлось понизить плату еще ниже?

Если будет продолжаться — работа моя готова. Не будет, надо отдавать в «От<ечественные> з<аписки>» или куда-нибудь.

Прошу Вас, напишите Меркульеву такую записочку:

«А. В. Успенская убедительно просит Вас теперь же выслать следуемые ей за октябрь и ноябрь деньги. Она крайне в них нуждается». Что-нибудь прибавьте... А<лександра> В<асильевна> действит<ельно> очень нуждается, не получая теперь даже за октябрь, когда работа уже послана ею и за декабрь. Пожалуйста, напишите ему.

Ужасно жалею, что за деньгами Вы не поехали сами. Гр<игорьев> хор<оший> человек, но дел никаких делать не может. Это уж надо знать раз навсегда.

Г Успенский.

27 н<оября>.

1876

50

Н. А. НЕКРАСОВУ

<Середина января 1876 г., Петербург>

Николай Алексеевич! До настоящей минуты Надеин не мог выдать мне денег, которые я занимал у одного моего знакомого и уплата которых, к несчастью, переведена на него. Деньги эти были мне необходимы частью потому, что необходимо было бо́льшую часть послать жене, так и потому еще, что надо было отдать маленькие долги. Если бы у Надеина был какой-нибудь порядок, то все бы это устроилось, и я бы уже давно был на месте в Калуге. Вместо того, с 5-го января, я день за днем провожу в напрасном жданье, и очень может быть, что мне откажут в Калуге от места, — не мои приятели, а высшее начальство. А место мне необходимо, стало быть, и ехать необходимо, и необходимо платить и посылать деньги. Я решил — не идти более к Надеину, так как это напрасное ожидание, которому конца не видно, — крайне утомительно. Поэтому, при всем моем нежелании беспокоить Вас, путать мои счеты с «От<ечественными> зап<исками>», которые только было наладились, чему я душевно рад, — мне решительно невозможно поступить иначе, как просить Вас выдать мне теперь те 200 р., которые я должен бы был получить в феврале. Впредь до полного погашения этой суммы — 700 р. — ни об одном рубле я не заикнусь, покуда мне не придется получать вновь заработанного. Эти же 700 р. я непременно покрою в феврале или марте, — надобно немного более 5 листов, — а с окончанием 3-го рассказа (начало которого у Вас),— будет больше 5-ти листов. Уехав покойно из Петербурга, я с удовольствием вновь примусь за работу, — есть у меня

и материал и охота. И, что бы ни случилось с этими очерками, — я оставлю вместо них другие, но до покрытия этих 700 р. — не побеспокою Вас ни письмами, ни разговорами о деньгах. Если просьбу мою возможно исполнить, то прошу Вас вручить эти 200 р. под расписку подателю сего письма. Это мой приятель, сам служащий у Надеина и могущий подтвердить Вам все вышесказанное. Получив эти деньги, я сегодня же раздам их, куда надо, и уеду из Петербурга.

Если Вам почему-либо нельзя исполнить просьбы теперь, то вот мой адрес: На Екатерининском канале, в здании Лаборатории Министерства финансов, кв. № 10.

Глеб Успенский.

51

Н. К. МИХАЙЛОВСКОМУ

(*Отрывок*)

<14 марта 1876 г., Москва>

<. . . . .> Место... я должен был бросить, и как ни скверно это в материальном отношении, но решительно не раскаиваюсь: подлые концессионеры глотают миллионы во имя разных шарлатанских проектов, — а во сколько же раз подлее интеллигенция, которая не за миллионы, а за два двугривенных осуществляет эти разбойничьи проекты на деле, там, в глубине страны? Громадные челюсти концессионеров ничего бы не сделали, ничего бы не проглотили, если бы им не помогали эти острые двухдвугривенные зубы, которые там, в глубине-то России, в глуши, пережевывают неповинного ни в чем обывателя. Я не могу быть в числе этих зубов; если бы мне было хоть мало-мальски покойно, я бы, может быть, и не так был чувствителен ко всему этому, и, понимая, считал бы себя скотиной, но жалованье получал бы аккуратно. Но при том раздражении, которое временами (как в последний приезд в Петербург) достигает поистине глубочайшей невыносимости, я не могу не принимать этих скверных впечатлений с особенной чувствительностью. Место надо было бросать: все, там служащие, знают, что они делают разбойничье дело (будьте в этом уверены), но все знают,

чем оправдать свое положение... а вот зачем литератор-то (каждый думает из них) тоже мокает свое рыло в эти лужи награбленных денег — это уже нехорошо. «Пишет одно, а делает другое». Вот почему нужно было бросить их в ту самую минуту, как только стала понятна вся подлецкая механика их дела <.....>

52

В КОМИТЕТ ЛИТЕРАТУРНОГО ФОНДА

<12 апреля 1876 г., Петербург>

В ОБЩЕСТВО ДЛЯ ПОСОБИЯ
НУЖДАЮЩИМСЯ ЛИТЕРАТОРАМ

Обращаюсь к Обществу с покорнейшей просьбой не отказать мне, ввиду настоятельной надобности, в ссуде трехсот рублей сроком по 1-е декабря настоящего года, за поручительством нижеследующих членов Общества.

Глеб Успенский.

Имеющее последовать на просьбу мою решение покорнейше прошу сообщить по след<ующему> адресу: Екатерининский канал, д. № 134, кв. 10, Ник. Конст. Михайловскому.

В своевременной уплате ручаюсь.

Н. Михайловский

В своевременной уплате ручаюсь.

Григорий Елисеев (Г. З. Елисеев)

В своевременной уплате ручаюсь.

Александр Скабичевский (Скабичевский).

Если число лиц, изъявивших желание поручиться за меня, найдено будет недостаточным, то я имею честь покорнейше просить комитет Общества не отказать мне уведомлением — скольких поручителей, кроме поименованных, должен представить я, чтобы ссуда была разрешена. Многих из моих знакомых писателей, состоящих членами Общества, я не застал сегодня дома, но вполне уверен, что они не откажут поручиться за меня.

Я прошу ссуды потому, что работы мои, вследствие не зависящих ни от меня, ни от редакции обстоятельств, должны по нескольку месяцев, а иные и более года

выжидать удобного времени быть помещенными в журналах. Кроме того, переводы моей жены, по несчастию, попадают на произведения писателей, которые гг. книгопродавцы не рискуют издавать: так, остаются переведенными и неизданными романы: Шатриана «Гаспар Фикс», Ревильона — «Изгнание» и Золя — «Эжен Ругон», переведенный из журнала «Siècle», не куплен ни одним книгопродавцем из-за цензурных опасений.

Ввиду этого я покорнейше прошу не отказать в моей просьбе.

Глеб Успенский.

53

А. В. КАМЕНСКОМУ

<Май — июнь 1876 г., Париж>

Андрей Васильевич! Отвечаю на Ваше письмо: все, что Вы написали в прошении, по-моему, верно, кроме фразы *«и с более расширенной программой»* — никогда программы расширить не позволят, это уж будьте покойны, но уверяю Вас, что право иметь беллетр<истику> и библиографию — это громадное право, или по кр<айней> м<ере> все что нужно для хорошего журнала. Я даже изменил бы в прошении фразу так — «не изменяя разрешенной программы, им<ею> ч<есть> просить о перемене названия журнала» — да и тут не слишком хорохориться, а просить хоть такое: «Общедоступная литературная библиотека», — то есть просить о замене слова (одного только слова) — другим: вм<есто> дешевая — литературная. Из Москвы я не выслал Вам объявления, потому что, прочитав его, нашел совершенно неуместным и с такими требованиями, котор<ые> никоим образом удовлетворены быть не могут. Если будет издаваться журнал, тогда я напишу объявление половчей и поумней, — а теперь это еще не нужно. С Валерианом Панаевым едва ли возможно делать дело, — он начнет самодурничать и не даст никому из нас пикнуть слова. Если бы можно было достать хотя 3000 р., то, право, начинать бы издание и без них. Тургенев написал уже предисловие к рассказам Кладеля, и я не знаю, как поступить — продать, ввиду продолжения «Библиотеки» —

жаль, не продать нельзя — нужны деньги; 600 фр., которые мы с Вами послали, — уж не застал я в живых, когда приехал. Сам я почему-то, не знаю право, еще ничего не могу работать; что и было, все разлетелось прахом, — я думаю, что это с дороги. Работать буду без всякого сомнения.

Своих я застал здоровыми; Саша здоров удивительно, говорит все и много понимает, он сначала звал меня мосье. . «С этим мосье сяду»; теперь говор<ит> Глеб.— «Прощайте, Глеб, здравствуйте, Г<леб>». Главное, что здоров и вырос очень. Пр<окофий> Вас<ильевич> рассказал мне свои похождения, причем история сумасшествия вышла совсем иначе. Сию минуту он ушел к Тургеневу приводить в порядок его библиотеку. Он Вам душевно кланяется. Душевно и я благодарю Вас за Горенку, она — горластая баба, и ее надо было удовлетворить раньше других. Я скоро приду в себя и скоро, скоро поправлю прореху в своих финансах — я буду писать и в «Пет<ербургские> вед<омости>» и в «Русские». Теперь я еще не сообразил, что писать. Я Вам обо всем напишу подробно. Точно я деревянный в настоящую минуту. Кланяйтесь всем Вашим.

Г Усп<енский>.

Прошение в Главн<ое управл<ение> по делам печати, по-моему, должно быть такое:

«Вследствие передачи мне согласно... права издания ж<урнала> «Б<иблиотека> об<щедоступная> и д<ешевая»>, мною были сделаны значительные денежные затраты с целью продолжения этого издания с 1-го янв<аря 18>76 г., но так как прежний издатель и по наст<оящее> вр<емя> не додал подписчикам, согласно бывшего между нами условия, остальных 3 №№ журнала за <18>75 г., — то открыть подписку на <18>76 г. я не мог и вследствие этого понес значительные убытки, не говоря уже о том, что подобный перерыв в выходе книжек журнала, весьма неаккуратно выходившего при прежних двух издателях его, — на этот раз должен был окончательно уронить его во мнении публики. Ввиду этих крайне неблагоприятных условий и необходимости возврата хоть части сделанных мной на продолжение журнала затрат, я нахожу себя вынужденным просить Главное Управление по делам печати, оставляя преж-

нюю программу «Общ<едоступной> дешевой библиотеки», разрешить мне продолжение издания с переменою названия «Дешев<ой> общ<едоступной> биб<лиотеки>» на название «Литературное обозрение» — или, по крайней мере, на замену слова «дешевая» — словом «литературная» — так, чтобы журнал мог называться: «Общедоступная литературная библиотека».

Вот что я могу написать сию минуту. Я думаю, что больше ничего и не нужно; если бы и это позволили, было бы счастье. Мотивировать одним только убытком — самое лучшее, они еще могут пожалеть потерю денег; убедить чем-нибудь другим — едва ли возможно. Пришлю Вам для образца книжку *Республиканского обозрения,* которое начало только что выходить — по-моему, отличная вещь. Она может служить образцом этой библиотечки. Буду писать Вам, может, сегодня, а может, завтра. Не взыщите теперь.

Г. Усп<енский>.

54

А. В. КАМЕНСКОМУ

<5 июля 1876 г., Париж>

Андрей Васильевич! Не пишу я потому, что измучен совершенно. Что будет — не знаю. Жаль мне «Библиотеки» ужасно, — но, если другого исхода нет, то, разум<еется>, надо отдать Якоби. Но купит ли она перевод Ал<ександры> Вас<ильевны> Кладеля с пред<исловием> *Тургенева* за 200 р. — 15 печ. листов больших? У меня нет никаких сил долее биться. Неужели Григорьеву семья не вышлет денег? Рассказывать и толковать об этом я более не буду.

Жаль «Библиотеку». Вина и беда в том, что нет денег. Нужны деньги, и «Библиотека» пойдет, в этом я уверен. Посылаю при этом Вам образчик нового журнала. Вы видите, какое в нем разнообр<азное> содержание? а весь № состоит из 2 печ. листов такой печати, как прилагаемый лист. Так и «Библиотеку» надо издавать и брать пять рублей, давать 5 листов и 2 прилож<ения> убористой печати, — бумага самая дорогая вещь. Если бы Вы

решились рисковать, то вот, по моему мнению, что надо бы сделать. Надобно занять 5 т<ысяч> рублей на три года и издавать журнал самому, не переменяя на заглавии ничего. 5 листов, платя по 50 р., — будет 250, и 250 бумага и печать — пятью тысячью обеспечено 10 книжек. Первое — должна быть аккуратность полнейшая. Если бы Вы выслали нам всем 100 р. в месяц, то мы из 5 листов доставляли бы 3 листа, то есть $1\frac{1}{2}$ листа убористой печати *Литературного обозрения,* русской и франц<узской> литературы, и $1\frac{1}{2}$ листа оригиналу — я бы отдавал все, что пишу для «От<ечественных> зап<исок>», и выходило бы по небольшому рассказу в книжку, под тем же назв<анием> «Люди и нравы», и один хороший рассказ с французского; для Вас остается 2 листа и денег 150 р. Это для перевода с английского, немецкого и для мелких литературных вырезок. Кроме этого в конце книги 2 листа романа, который тоже будем переводить мы, покуда не поправимся, и за эти же 100 р. При этих условиях — полистная плата хороша, и можно с полной любовью отдаться делу, не страшась завтрашнего дня. Все рассказы, которые будут доставлены Вам, — все присылайте сюда. Туда и назад — 7 дней, — это то же, что пролежит в каждой редакции. Право, решившись на это и зная, что тут все наше будущее, — посмотрите, как пошла бы работа. Якоби возьмет, и у нее пойдет, потому что она достанет денег и обратится к тем самым лицам, котор<ые> и к Вам всегда шли с удовольствием. Тогда бы до сентябрьской книжки — мы оставили и тургеневское предисловие. Небольшие книжки эти были бы очень интересны, и я, уверяю Вас, добыл бы и Щедрина и кого угодно. Некрасова бы непременно получил, а главное, испросил бы право *перепечатывать* у первоклассных писателей их статьи у нас. Льва Толстого перепечатали несколько журналов, и это дало им ход. Перепечатывать такие вещи, которые, разум<еется>, гремят. Литературное же обозрение, занимая $2\frac{1}{2}$ листа убористой печати, — велось бы как нельзя лучше, и не было бы в нем ни капли воды. Журнал весь был бы новый для всей читающей публики. Вот сию минуту есть новая книга Гюго, нов<ая> книга Ренана, Тэна — этюд о Жорж Занд — и так каждый день. Стихов, кроме первостатейных, т. е. имен, — не надобно никаких. Я уверен, что надобно даже не 5 т<ысяч>,

а $2^{1}/_{2}$ тысячи, с рекламами, чтобы к новому году была подписка. Новое имя издателя сильно будет говорить о том, что действ<ительно> будет новое, а главное, надо это доказать. Во всех газетах писать содерж<ание> 1-ой книжки на первой странице. Печать должна быть еще убористее той страницы, которую прилагаю. Хорошо бы было, и принялись бы за работу. Ох, измучился я. Не купит ли Якоби Кладеля хоть <за> 175 р. Юлия, наша кормилица, непременно хоч<ет> в Россию. Что я буду делать! Посмотрите, сколько прожито денег зимой! Из русских никого нет, и, право, я не знаю, что со мною будет. Прощайте! Беритесь, ради бога, не бойтесь, — право, будет все оч<ень> хорошо, — надо только взяться как следует, а не то, так отдавайте Якоби.

Ваш *Гл. Успенский.*

5 июля.

55

А. В. КАМЕНСКОМУ

4 августа <18>76, <Париж>

Андрей Васильевич! Отвечаю Вам по пунктам:

1) На условия за 100 р. серебром составить хронику и за рассказ я согласен, и, если только уладится дело на дальнейшее, я прошу Вас мне телеграфировать, и я тотчас примусь за работу.

2) Теперь же приглашать Михайловск<ого>, Некр<асова> и Щедрина — для сотрудничества у Нотовича — вещь сов<ершенно> немыслимая. Если бы я действовал от своего имени, то есть, если бы они знали, что это мое дело — тогда имена их были бы в 1-ой книжке. Но и теперь никто из них не в праве будет отказать, да и не откажет, стоит только две книжки — октябрь и ноябрь — повести как следует. Если бы положились в этом на меня, то есть, если бы не брали ни одной статьи (кроме Ваших работ) без моего указания, то, уверяю Вас, всякий с радостью дал бы журналу свою статью и имя. За эти же самые сто рублей, без всякой приплаты, я бы взялся для этих 2-х книжек сделать все, вместе с пере-

водами с французского. Ни Нотовича, ни Ольхина стихов, ни Круглова не должно быть. Я бы прислал переводы в прозе из Аккерман и из других французских поэтов, которые надобно заказать переложить в стихи Минаеву или какому иному стихотворцу и помещать без подписи, даже Минаева. Нотович с Минаевым должен быть знаком.

3) Тургенева предисловие к Очеркам Кладеля Нотович может приобрести не иначе, как для *отдельного приложения,* что очень хорошо для подписки будущего года. За книгу Карбасн<иков> дает 200 р., и придется отдать. За ту же цену может приобрести ее и Нотович и при начале «Библиотеки» объявить, что книга эта будет разослана в виде приложения, в виде премии всем новым подписчикам. Деньги он за нее должен выслать сразу теперь же и будет иметь право продавать книгу, кроме того, отдельно.

Если он на это согласен, то известите, и тогда сейчас же примемся за работу. Для 1-ой книжки будет мой рассказ — 1 л<ист>, расск<аз> Пр<окопия> Васил<ьевича> — 1 л<ист>, потом будет рассказ Катулла Мандеса в 1 лист, роман Тони Ревильона — $2^{1}/_{2}$ или 3 — «Развращенная буржуазия» (в 3 книгах он кончится) и «Письма из Сербии» — 2 л<иста> (с театра войны) Л. Езерского (переводы). Письма эти полны подробностей быта, нравов, словом — самая живая картина теперешнего положения этой страны. Езерский — специальн<ый> кор<респондент> одной газеты. Потом в хронике французск<ой> лит<ературы> — обзор за два года двух журналов по женскому вопросу. Журналы эти переполнены курьезами. Для русской литературы — введение: обозрение ее за последние годы, ее вес в публике, ее материальное положение и в след<ующем> № — уже о книгах. Все это будет выслано к 15 или 20 августа, все — до последней строки. Кроме того, я бы предлагал печатать в конце книги просто список статей о России в иностр<анных> журналах под назв<анием> «Библиографич<еский> указ<атель> статей о России в иностр<анных> пер<иодических> изд<аниях>». Вам стоит только пересмотреть все, что у Вас есть из английских, и писать: в «Таймс» — за сентябрь в таком-то № о том-то и т. д. Я буду писать здесь то же самое.

Если Нотович на это будет согласен, то извещайте. Если последний приобретает Кладеля за 200 р. — пусть деньги эти высылает сразу и скорее, а 100 руб. за работу отдаст после; если не согласен, то известите, — уйдет время, и у нас за 200 р. не возьмут — и продавайте ему журнал на чистые деньги.

Премию лучше всего объявить для всех подписчиков — как старых, так и будущих, и раздать ее 1-го января. Раздать раньше, она потеряет интерес для новых подписчиков.

Что же касается того, как распределить работы по журналу, то я думаю, что непременно нужно завоевать Вам право исключительное на то, чтобы никто не смел вмешиваться в составление журнала, т. е. вся редакционная часть лежала бы на Вас и ни одна статья не должна быть помещена без Вашего согласия. Нотович должен платить деньги и получать доходы. Необходимо, чтобы он согласился на то, чтобы все статьи помещались только с Вашего согласия; если меня тут нужно, то и моего. Относительно статей самого Нотовича, — разумеется, с ними самая беда и есть, — необходимо, чтобы он соглашался с приговором большинства сотрудников. Выставьте ему меня каким-нибудь страшилищем и скажите, что, мол, без моего согласия ни одна статья пойти не может. Если, конечно, это возможно. В крайнем случае его можно прямо стеснить в его писательстве объемом журнала, т. е. выговорить Вам и мне известное число листов из двенадцати, так, чтобы ему в год оставалась самая малость. Печатают дрянь везде, посмотрите, что такое в «От<ечественных> з<аписках>» в июне «Рамки», повесть. Уж хуже этого не бывает. Если же он не согласен или будет колебаться, прямо отдавайте ему за известную сумму. Прокоф<ий> Васильев<ич> на днях нанял себе комнату около Зоологич<еского> сада. Вместе мы с ним решительно ничего, кроме разговоров, не производили, а теперь он работает, да и мне тоже удобнее. Видимся мы всякий день. Извещайте же, приниматься за работу или нет.

Гл. Успенский.

P. S. Н. С. Кур<очкин> едет в Петербург. Кажется, он явится к Меркульеву за своими экземплярами.

56

Н. А. НЕКРАСОВУ

11 августа <18>76, <Париж>

Николай Алексеевич!

Я послал в редакцию «От<ечественных> з<аписок>» статью, всю до последней строчки (45 лист<ов>), и убедительно прошу Вас выслать мне денег. Вслед за этой статьей буду посылать с завтрашнего дня другую и в течение 1-ой половины августа ее кончу. Стало быть, Вы будете иметь довольно много моей работы, и с высылкою просимых мною 200 р. долг мой все-таки будет покрыт весь.

Настоятельно прошу Вас не отказать мне. Я работал с самого приезда сюда и посылал корренспонденции в Москву, но только три из них попали в печать; где другие, не знаю до сих пор: человек, на имя которого я посылал, арестован, и он сидит в тюрьме, и что будет, не знаю. Человек этот был для меня все, при его помощи я надеялся устроить, наконец, печатание моих книг в течение нынешнего лета, — и, как на грех, все пропало опять. Пожалуйста, не бросьте меня и Вы, не откажите, я потерял голову совершенно...

Если можете выдать эти деньги, то вручите их Ник. Конст. Михайловскому, — он перешлет мне их немедля. 20 р. из этих денег прошу удержать для Н. Ст. Курочкина, которому я должен 65 фр.

Г. Успенский.

Paris, Auteuil, rue Chanez, 11.

57

А. В. КАМЕНСКОМУ

Париж, 18 августа <1876 г.>

Дорогой Андрей Васильевич! Не мог ответить на Ваше письмо тотчас, потому что был в ужасных хлопотах — у меня едва не пропали 200 р. денег, посланные

из «От<ечественных> зап<исок>». Нам деньги нужны были необычайно, и с нас всё требовали; пропажа денег в такую минуту была чистой гибелью, и я просто не знал, что делать. Вчера, однако, нашлись они на ст. Сев<ерной> ж. д., и мы заплатили, отдав все, часть своих долгов. Сегодня я могу писать Вам. Я пишу Нотовичу, что я все, что писал Вам, исполню, но только с некоторыми изменениями, т. е. приглашу я сотрудников только лично, — если он хочет, чтобы это было теперь же, то пусть высылает деньги за Кладеля 200 р. и за первый месяц 100 сразу. Я привезу материал на первую книгу и приглашу. Если он не может этого сделать, то пусть высылает 200 р. (ежемесячных) по доставлении материала на 2-ю книгу и по выходе 1-ой — я тогда приеду в сентябре. Сколько я должен писать, — если уж вести дело серьезно, объяснять о Нотовиче и т. д. — какой массе народу. При личном же свидании можно устроить дело сразу. Если он согласен поступить так, то я сделаю, что обещал, если нет — как хочет. Советую и Вам тогда не ждать и продавать ему издание. Если он не согласится на это, то что же будет потом? Вы, продав, дайте нам, пожалуйста, только издать Кладеля, то есть дайте нам 200 р. эти, — а когда книга выйдет (напечатаем в долг) — то из выручки мы отдадим их.

Если же он согласится, то, пожалуйста, похлопочите, чтобы Ваше участие продолжалось постоянно и никакого выхода из журнала Вас не было возможным или же на самых выгодных условиях. Также и я бы желал, чтобы условия моего участия — за ту плату, какая будет назначена мне теперь, чтобы и эта плата шла, покуда у журнала будет менее 1000 подписчиков, а чтобы потом она обратилась в жалованье, — а работа оплачивалась отдельно, то же, что и всем.

Утомлен я ужасно за последние годы и прямо даже боюсь думать, что со мной будет. . . Я так утомлен ужасно, что не знаю, воротится ли ко мне хоть капелька даже прошлогодних сил. Во всяком случае я сделаю над собою все, что еще возможно, чтобы заняться журналом.

Г. Успенский.

58

О. К. НОТОВИЧУ

Париж, 20 августа <1876 г.>
Paris, Auteuil, rue Chanez

Милостивый государь
Осип Константинович!

Ввиду начатых А. В. Каменским переговоров с Вами относительно возобновления «Библиотеки», позволяю себе высказать все, что касается, при издании этого журнала, лично меня.

Я готов работать в этом журнале только потому, что надеюсь сделать из него издание, крайне, по моему мнению, необходимое; в настоящее время с каждым днем увеличивается масса таких читателей, которых жизнь ставит в необходимость — знать и понимать очень много. Такой читатель большею частию беден, а главное, мало развит, мало образован. Единственное средство для него выйти из затруднительного положения, т. е. узнать, что и как делается на белом свете, — газета, дешевое периодическое издание. Вот такое-то издание я и считаю возможным сделать из «Библиотеки»; несмотря на ее незначительную программу, я считаю возможным за дешевую цену давать читателям книгу, по возможности отвечающую на все вопросы данной минуты; отдел библиографии должен служить этой цели, а матерьялом для него — извлечения из книг, газет и журналов русских и иностранных — таких сведений, какие нужны в данную минуту обществу.

Ввиду только достижения этой цели, которая одна, по моему мнению, даст ход журналу и даст несомненно, я и готов работать больше других, получая меньше других. Я за мои работы получаю 150 р. за лист, например в «От<ечественных> з<аписках>». — Здесь же, ввиду того, что работа моя будет постоянна, а главное, интересна для меня, я согласен работать за 100 р., предлагаемых мне А. В. Кам<енским>, доставляя ежемесячно не менее 3-х листов.

Для того, чтобы облегчить трудное дело начала, первые два месяца, за те же 100 р., я обещал А. В. доставить

бесплатно и все переводные с французского статьи, — кроме обязательных для меня 3-х листов. В числе этих переводов будет роман, 2 рассказа и письма из Сербии одного француза, по-моему, очень хорошие и могущие идти как путешествия.

Если, согласно цели, которую я имею в виду, мне будет предоставлена при редактировании журнала некоторая необходимая свобода действия, — то я приглашу от моего имени многих известных писателей, моих товарищей по журнальной работе в «От<ечественных> зап<исках>» и надеюсь, что никто мне из них не откажет. Приглашать их теперь, когда нет журнала, когда я не знаю Вас, Вы не знаете меня, — я не могу. Я обязуюсь сделать это лично, при первом приезде в Петербург, — а в Петербург я намерен ехать в начале сентября; если Вы считаете мой приезд для личных переговоров как с Вами, так и с лицами, которых необходимо пригласить в сотрудники «Библиотеки», так же необходимым, как считаю это необходимым я, то я бы просил Вас выполнить следующее: во 1-х, выслать 200 р. за рассказы Л. Кладеля — тотчас по получении этого письма; деньги эти необходимы для покупки книг, журналов и заказа переводов и библиографических статей по иностранной литературе, за которые я заплачу сам, — и во 2-х, по получении материалов на 1-ю книгу и по пропуске их цензурой — выслать 100 р. (за 1-й месяц), по получении которых я и приеду в Петербург.

Если Вам будет это удобно — прошу известить А. В. Каменского теперь же. В особенности это надо знать относительно Кладеля с пред<исловием> И. С. Тургенева, который иначе будет уступлен в другие руки, как это ни жаль.

Все, что бы Вы пожелали узнать от меня, кроме того, что сказано в этом письме, прошу Вас положиться на ответ А. В. Каменского, на которого я полагаюсь как на самого себя и которого с давних пор знаю за самого честного и благородного человека, крепко преданного литературе.

Гл. Успенский.

59

Н. К. МИХАЙЛОВСКОМУ

(*Отрывок*)

<1875 — сентябрь 1876 гг. Париж>

<. . . . .> Повесть, которую пишу — автобиография, не моя личная, а нечто вроде Л<опатина>. Чего только он не видал на своем веку. Его метало из губернаторских чиновников в острог на Кавказ, с Кавказа в Италию, прямо к битве под Ментоной, к Герцену, потом в Сибирь на три года, потом на Ангару, по которой он плыл тысячу верст, потом в Шенкурск, в Лондон, в Цюрих, в Париж. Он видел все и вся. Это целая поэма. Он знает в совершенстве три языка, умеет говорить с членом парламента, с частным приставом, с мужиком, умеет сам притвориться и частным приставом, и мужиком, и неучем, и в то же время может войти сейчас на кафедру и начать о чем угодно вполне интересную лекцию. Это изумительная натура. Я и думать не могу охватить все это, но уголок я постараюсь взять в свою власть <.......>

60

А. В. УСПЕНСКОЙ

Мюнхен, суббота, <сентябрь 1876 г.>

Бяшечка! Пишу к тебе с дороги из Мюнхена, где приходится стоять 8 часов. Немедленно по приезде напиши мне, как вы доехали, здоров ли Саша. Потом я бы думал, лучше всего ехать тебе в Крапивну, никуда не заезжая. Мои новые очерки, список которых есть у С<*нрзб.*> — можешь продать хоть Карбасникову за 150 р. с тем, чтобы этим оканчивались все мои дела с ним и разрывался прежний контракт. Я хочу много писать и желал бы хоть 2 месяца думать только о работе, зная, что ты живешь покойно и без нужды. Свои переводы не продавай, а издай сама. Когда явится роман Тургенева, о котором будет много шуму, тогда книга с его предисловием должна пойти отлично. Напиши, пожалуйста, мне о Саше поподробнее. Перестань волноваться, — ведь, зная, что ты в таком состоянии, и я не имею покойной минуты, хоть

и молчу. В этом все и дело. Я еду без особенных затруднений в языке, почти везде говорят по-французски, и не дорого. У меня теперь денег 225 фр. Я проехал 65 фр. — полдороги, стало б<ыть> сто 60 у м<еня> будет по приезде в Белград. Тотчас напишу Баймакову и тебе, — и ты от него получишь деньги. Я чувствую себя хорошо, потому что надеюсь выработать много денег и прожить зиму в деревне. Если я этого добьюсь — тогда, поверь, между нами не будет никаких неприятностей, как теперь, когда между мной и тобой замешана моя потребность литературной работы, у которой есть свои настоятельные требования; не удовлетворив им, — что я могу делать, о чем говорить, чем жить? Остается распроститься с литературой, пойти в чиновники — и тогда, мож<ет> быть, жизнь пойдет ровней. Но я служить не могу. Стало быть, вместо того, чтобы терпеть нужду и неприятности, без которых нельзя обойтись ни мне, ни тебе (не сочиняю же я их), — потерпи некоторое время жизни в глуши, только не волнуясь, а зная, что мое отсутствие есть та же самая работа, что я точно так же на заработках, как и плотник.

Больше не буду говорить об этом и надеюсь, что ты забудешь неприятности, которые я делал тебе. Пожалуйста. С тобой Саша. По приезде в Белград напишу тотчас на имя Симонова.

Гл. Успенский.

61

А. В. УСПЕНСКОЙ

Белград, четверг. Числа не помню
<Конец сентября — начало октября 1876 г.>

Вчера ночью, милый друг Бяшенька, приехали мы в Белград. Мы — я ехал с толпой русских добровольцев от самого Пешта и насмотрелся на них вдоволь. Подробно я напишу в «СПб. вед<омости>» (буду писать сегодня), теперь скажу, что я всю дорогу не знал, куда деться от отвращений, в таком поганом виде явится в Европу этот народ. Что есть хорошего — тоже будет написано. Хорошо только все вообще. В Белград мы приехали ночью, и так как я один не нашел бы места в гостинице, то и пристал к отряду, — меня записали в Санитарный отдел,

и ночевал поэтому вместе со всеми в одном номере (7 человек). Белград — хуже самого незнач<ительного> русского губ<ернского> города. Орел, Тула, все это лучше. Елец, даже и тот красивей и чище. Это уездный наш город. Гостиница, в которой я это пишу, — без всяких удобств, точно постоялый двор. Наутро я отправился на почту, — но писем там не оказалось от Баймакова, что меня огорчило. Денег тоже у меня мало, но здесь все дешево. Счет на франки, как в Париже. Мой № стоит 1 фр. в сутки, т. е. одна кровать, в комнате есть еще другая, и ее также могут отдать за франк кому-нибудь другому, но еще покуда никого нет. Русские занимаются здесь пьянством — больше ничем, по кр<айней> м<ере> большинство, — да и делать тут нечего — негде гулять, не на что смотреть. Никто ничего не знает, в Петербурге знают больше, чем здесь. Скука здесь ужасная, — но я буду писать. Я думаю жить в Белграде, — и ездить то туда, то сюда. Сначала буду ездить по окрестностям, где больницы и лазареты. Русских, несмотря на пьянство и свинство, — хвалят за то, что на войне они ведут себя хорошо и не боятся умирать. Я буду писать тебе подробно, теперь я еще ничего не видел, не знаю. Пожалуйста, напиши мне о себе и о Саше. Пожалуйста, даже телеграфируй, если будут деньги, — здоровы ли вы, здоров ли Сашурушка. Если бы мне знать, что всё хорошо, то есть, что ты маломальски покойна, а Саша здоров, — больше бы ничего не нужно, и я бы этой белградской скукой воспользовался для работы, писал бы множество. Климат здесь отличный, и жара настоящая, летняя. Хожу в одном сюртуке и то постоянно мокрый. Пожалуйста, скажи Михайл<овскому>, что я напишу ему как только отдохну и соображусь. Дорога мне обошлась более 200 фр. Я поехал в 3-м классе — и это-то и дорого. Остановки беспрест<анно> по 3, по 4 и по 8 часов. До Вены я проехал вместо суток почти 3-ое. Везли по Германии в товарных поездах, иной раз попадал не туда, — останавливался в гостиницах (в Мюнхене и Пеште), и это стоило очень дорого, потому что за французские деньги мне давали что хотели, видя, что я языка не знаю. За 20 ф. давали 13 и 14 марок. Наконец, от Мюнхена, чтобы не путаться больше, я стал брать шнельцуг, 2-ой класс (на что я не рассчитывал), и от Мюнхена до Пешта пришлось заплатить фран-

ков более 80, да на пароходе до Белграда в 1-м классе, так как второй хуже нашего третьего, и в нем везли наших солдат, набитых битком,— заплатил я около 30 франков. Но здесь все дешево, и я не боюсь ост<аться> без денег. Пожалуйста, пиши мне в Белград Poste restante. Крайне надо мне знать о тебе. Кругом шум — толкутся по коридору наши добровольцы, не зная, что делать, куда идти. Непременно надо работать — иначе скука. В газетах пишут всё лучше, да так и надо. Целую вас, милые мои.

62

Г. А. ЛОПАТИНУ

<11 декабря 1876 г., Петербург (?)>

Дорогой Герман Александрович!

Позвольте познакомить с Вами моего отличного и старого приятеля Андрея Васильевича Каменского. Быть может, в будущем году мысль о журнале и приведется в исполнение, и А. В. желал бы поговорить с Вами по этому поводу. Кроме того, он и так, просто, интересуется знать Вас, как Г<ермана> А<лександровича> Л<опатина>. Во всяком случае, и Вам, я думаю, будет приятно познакомиться с хорошим человеком, каков А. В. и есть в действительности. О последних петербургских новостях А. В. расскажет Вам, что знает. Опять этот проклятый Петербург. Если бы Вы знали, как он гадок мне — и на беду приходится жить всю зиму!

Будьте здоровы! З. С. поклон нижайший.

1877

63

А. В. ПРАХОВУ

Сопки, 26 июля <18>77 г.

Многоуважаемый
Адриан Викторович!

Сию минуту я получил <сообщение> от г-жи Гризар, близкой знакомой А. П. Хитрова, что он находится в бедственном положении, сидит без копейки в Крашеваце и пишет о своем положении: «о писании теперь и не думаю. Думаю... думаю, как бы добыть хлебца... Живу между небом и землей кое-как, по-нищенски пробиваюсь... Уж и корреспондент, с голоду околевающий!» Привожу это из приложенного [1] к письму отрывка. Между тем статьи Хитрова помещаются почти в каждом нумере «Пчелы», и, след<овательно>, у А. П. Хитрова есть некоторый заработок. Бога ради, Адриан Викторович, пошлите г. Хитрову денег. Я знаю, он крайне умерен в тратах и решительно добросовестней сотен в двадцать раз больше его получающих корреспондентов делает свое дело. Если бы он не нищенствовал, ведь он бы был единственный корреспондент с места собрания теперешней сербской скупщины.

Покорный слуга
Глеб Успенский.

P. S. Я много виноват перед «Пчелой», ничего не работал. Вот в августе и вообще осенью — все будет поправлено. У меня есть несколько небольших вещей.

Адрес Хитрова тот же: в Белград, Сем. Ив. Бимбичу, профессору богословия.

---

[1] Очень может быть, что письмо это писано раньше его поездки по Дунаю, напечатанной у Вас.

1878

64

Н. Я. НИКОЛАДЗЕ

Самара, 1878 г., октября 22

В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «ОБЗОР»

Милостивый государь
г. редактор!

В бытность мою в Петербурге я узнал от моих знакомых, что между мною, редакцией «Обзора» и г-ном Долининым возникли какие-то весьма крупные неприятности. Несмотря на просьбу мою к очень близким Долинину лицам о том, чтобы он посетил меня (я в Петербурге прожил месяц), г. Долинин не явился, и я, таким образом, не мог узнать, почему я оказываюсь ему должным?

Но сознаю себя виноватым перед Вами. Нынешней зимой, дав Вам слово писать журн<альные> обозрения, я не полагал, что некоторые, лично меня касающиеся обстоятельства, до такой степени расстроят меня душевно, что я мог бы пренебречь и выгодной и интересной работой, а главное — взятым мной на себя обязательством. Однакож это случилось. На меня напала такая глубокая тоска, что я даже не мог жить в Петербурге, в январе переехал в Гатчино, а в марте совсем оставил Петербург и уехал в Самару. В таком-то состоянии, желая кому-нибудь передать работу, я вошел в переговоры с г. Долининым, который в короткое время надоел мне хуже горькой редьки и показался борзописцем новейшей формации, т. е. человеком, который в один день может написать фельетоны всех газет в империи и никакого утомления от этого не получит. Признаюсь, я уж надумал писать к Вам о нем, когда 1-го марта г. Антонович вышел из «Слова»,

и один из его знакомых сказал мне, что, вероятно, он будет писать у Вас, так как находился с г. Николадзе в самых хороших отношениях по «Тифлисскому вестнику». Очень может быть, что это были соображения совершенно неосновательные, но я им поверил и уехал в Самару, почти не сомневаясь.

Не написал же я Вам об этом потому, что не мог, сам не знал, что со мною делается. Прошу Вас чистосердечно простить мне всю эту путаницу.

В настоящее время я чувствую себя лучше, так как отдыхал целое лето, и вот что предлагаю Вам, чтоб поправить и восстановить Ваши ко мне добрые отношения.

У меня сложился ряд этюдов под названием *Разговоры об Анне Карениной.* Если Вы помните этот роман, то согласитесь, что он — богатая тема для изучения современной русской жизни, направления современной русской мысли и русского человека вообще. Всех разговоров (не разговаривающих) четыре: физиолог, славянофил, нигилист и мужик (которого расспрашивают). Материал романа, сообразно профессии или типу разговаривающего, перемешан с матерьялом самой действительности.

Эту статью я предлагаю без всякого гонорара и прошу только сто оттисков каждой статьи. И затем, если эта вещь удастся, вновь готов работать на прежних условиях, но без прежней небрежности. Получив Ваш ответ, вышлю первое письмо немедленно.

С Долининым же прошу Вас устроить дело так, чтобы он не считал за мною никаких долгов. Я считаю за собой долг Вам, в 50 р. (за 2 фельетона), 3-й наполовину (там, где пересказ содержания статей) принадлежит Долинину.

Еще раз прошу извинить меня, верьте тому, что были основательные причины моей небрежности, и остаюсь, ожидая Вашего ответа.

Глеб Успенский.

Адр<ес:>
Самара.
По Оренбургской ж. д.,
станция Чариковская, Г. И. Усп<енскому>.

1879

65

Н. Я. НИКОЛАДЗЕ

Сколково (Самарского уезда),
8 января <18>79

Милостивый государь!

Несколько недель тому назад я написал Вам письмо, в котором чистосердечно просил Вас извинить меня за мое безобразное к Вам отношение и просил у Вас позволения искупить мою вину какой Вам угодно работой.

Ответа от Вас я не получил, что меня крайне обижает, так как я имею основание уважать Ваше внимание.

Последнее обстоятельство заставляет меня вновь обратить Ваше внимание на то обстоятельство (о нем я говорил в письме), что причиною моего небрежного отношения к Вам и к Долинину — было мое глубокое душевное расстройство. Я не имею права передавать Вам в подробностях, что именно расстроило меня, но могу Вас уверить, что я перенес такие душевные потрясения, что мне было не до фельетонов и что я только теперь, проживши 8 месяцев в деревне, еле-еле стал приходить в себя.

Если Вы понимаете, что в жизни человека такие минуты возможны, то я надеюсь, что Вы укажете мне средство: каким образом я могу восстановить добрые отношения к Вашему изданию и уладить дело с Долининым.

Мне будет истинно прискорбно, если и это письмо останется без ответа. Мне вообще очень жаль, что Вы с самого начала Вашего издания и моего в нем участия ограничили Ваши ко мне отношения выдачею мне чрез г. Френкеля 100 р. и ни единым словом не уведомили меня ни

о Ваших желаниях (от моих работ), ни о плане, которому бы они, согласно местным условиям, удовлетворяли и т. д. Искренно сожалею об этом.

Покорный слуга
Г. Успенский.

В г. Самаре.
По Оренбургской ж. д., ст. Чариковская,
в с<ель>цо Сколково. Г. И. Успенскому.

66

Г. А. ДЕ-ВОЛЛАНУ

<10 апреля 1879 г., с. Рыбацкое, Петербургского уезда (?)>

Григорий Александрович!

Пожалуйста, не примите на свой счет того нервного раздражения, которое Вы не могли не заметить во мне сегодня. Ничего иного, кроме самого искреннего уважения, я к Вам не могу иметь. Но я действительно ужасно болен, а сегодня целый день буквально я не имел минуты свободной от людей, которые, зная, что мне надобно работать, читать корректуру, иначе Салтыков будет взбешен, и о чем же с ними говорить, — целый день болтают бог знает о чем. Вот причина того состояния, в котором я находился. Завтра к 9 час<ам> Вы будете иметь совершенно окончательный ответ.

Преданный Вам
Г. Успенский.

Учреждение генерал-губернаторства, хватание каждого подозрительного лица не обещает ничего хорошего. Соловьев будто бы сказал: «меня будет судить потомство». Взяли, говорят, Философову. У Салтыкова (Щедрина) произвели обыск, и он, пока у него была полиция, расхаживал по комнате и пел «Славься, славься, святая Русь!» Все это, может быть, относится к области мифов, но интересно, что такие слухи ходят.

67

А. В. УСПЕНСКОЙ

28 июня <1879 г., с. Рыбацкое Петербургского уезда>

Любезный друг Бяшечка!

Я пишу К<онстантину> Мих<айловичу>, чтобы он одолжил тебе 100 руб., так как я теперь ничего не могу дать, ибо работаю большую вещь и к 15 июля приеду, чтобы совсем расплатиться. Приедем с С. Н. Кривенко и сдадим банк <?>. Ни под каким видом оставаться в Самаре ни тебе, ни даже А<лександре> С<идоровне> не надо. Я нынешней же осенью устрою вам обоим по школе в Новгород<ской> губернии или во Псковской, будьте уверены. Советую и А. Сид. уйти, — это самое лучшее. Я же даю *вам слово обеим, что вы будете иметь по школе недалеко от Петербурга и в близком соседстве.* Что стоит одна дорога в этакую глушь, как Самара, и как легко там запутаться в долгах.

Я подаю прошение Дрентельну, пишу Путилову и губернатору самарскому. Уверяю тебя, что всякое подозрение будет снято с тебя. В случае какой крайности я имею случай доставить записку «е<го> и<мператорскому> в<еличеству>государю наследнику цесаревичу».

Помните одно — что это дело я не оставлю и что всем подлецам, не исключая фальшивого мужичонка Долгова, дано будет по заслугам.

Но теперь же объявите, самое лучшее обе, что вы уходите и чтобы искали других учителей. Это необходимо.

Возьми мое письмо у К. М. Сумкина и прочти его; там сказано кое-что, о чем не хочется писать в другой раз.

Скажи всем должникам, что к 15 июля все будет всем уплачено. Алек<сандру> Сидоровну попроси извинить меня. Я ни разу не зашел к Курицкой, чтобы узнать о ее сестрах и братьях и сообщить им что-нибудь о дороге. Я *не мог*, а почему — объясню по приезде. Теперь же пусть она меня извинит и поверит, что причины были основательные.

Отказывайтесь вместе, и все сразу выедем из Сколкова. Будет. Довольно помучились, и скука дьявольская.

Я повторяю — устрою вас отлично, и помещение и жалование будет не хуже. А покойней будет.

Я должен жить в Петерб<урге>, но устрою так, что буду часто приезжать. Недавно встретил на улице Михайловского и не поклонился ему, это его, очевидно, поразило. Так и надо.

Поцелуй ребят и пиши. Целую тебя. До свидания.

Гл. Успенский.



1880

68

А. И. ЭРТЕЛЮ

<2 марта 1880 г., Петербург>

Александр Иванович! Сегодня мне было неудобно принять И. С. Тургенева, и я просил его приехать в какой-нибудь другой день. Он назначил четверг, 8 ч. вечера. Стало быть, в четверг приходите в 8 ч. в<ечера>.

«Отеч<ественные> з<аписки>» посылаю.

Ваш *Гл. Успенский.*

2 марта.

69

М. И. ПЕТРУНКЕВИЧУ

Мыза Лядно, 14 июля 1880 г.

Дорогой Михаил Ильич!

С самых первых строк этого письма, не утаивая его содержания, скажу, в чем оно заключается: я хочу просить Вас, если только Вы можете, занять мне месяца на три рублей 150.

Пожалуйста, простите меня за эту просьбу и за бесцеремонность, с которою я ее высказываю. Вы также можете ответить мне без дальних разговоров отказом.

Просьба ж моя основана на следующем. Салтыков объявил мне, что они вместе с Елисеевым, в видах мало-мальски правильного моего обеспечения в матерьяльном отношении, отводят мне надел во 2-м отделе. Каждый месяц я имею право помещать в этом отделе полтора печатных листа о чем мне будет угодно. У Елисеева есть «Вну-

треннее обозрение», у Михайловского — «Литературные заметки», и я придумаю для своих заметок что-нибудь новое. В этих заметках и о фактах, и о книгах, и о газетах могу говорить, что весьма удобно, а главное нетрудно и выгодно, — что мне давно-давно нужно. Жалованья они мне не дают, но оставляют ту же плату, что и за беллетристику, — 200 р. за лист. Это даст мне в год весьма приличную сумму.

Но мне положительно *необходимо* немного поглядеть на общество. Я слишком засиделся в деревне. Я рассчитывал на статьи о Пушкине, так как Елисеев, бывши со мной в Москве, сказал, что я могу писать хоть две, хоть три, — что было бы весьма хорошо. Но Салтыков сказал, что это лишнее, что торжество было не Пушкинское, а Тургенева и Достоевского, которых он ненавидит.

Для семьи на месяц или месяц с небольшим деньги есть. В сентябре будет рассказ, уже сданный в редакцию еще в мае, но отложенный Салтыковым, несмотря на мою просьбу печатать летом. В случае нужды можно для семьи взять денег в счет этого рассказа.

Но мне *необходимо* лично, на мое дело затратить известную сумму, которой у меня нет. Вот ее-то я у Вас и прошу. Я даже готов так поступить: я намерен съездить в Мальцевские заводы (эксплуатация не европейская, а российская и отеческая), в Царицын и Ростов (работники, продаваемые сельскими обществами за недоимки) — вот мой план. Если, повторяю, хотите, то я буду отовсюду — ничуть не вредя себе — писать корреспонденции, положим, хоть Гольцеву, пусть он печатает и деньги передает Вам. При таком условии я покрою долг в 150 р. в три, много в четыре приема. Но мне бы этого не хотелось. Я сделаю свои заметки с первого же раза интересными, и вот почему я бы хотел, чтобы 150 рублей Вы поверили мне от сего числа сроком на 3 месяца. В сентябре, когда возвратится Салтыков из-за границы, когда у меня будет и рассказ напечатан и когда я доставлю 1-ю статью моих заметок, — я без малейшего труда уплачу вам 150 р. Да не должен ли я еще Вам? Признаюсь, не помню. Но то, что я говорю теперь, будет соблюдено свято и ненарушимо. А благодарен я Вам буду — бесконечно.

Ответьте мне, пожалуйста. Июль уже в половине. Время мало. Пожалуйста, ответьте — что можете.

Адресуйте письмо так:

В Петербург. На углу Бронницкой ул. и Загородного, в аптеку Трофимова, Рафаилу Васильевичу Чернышову с передачей мне.

Письма, адресуемые на мою квартиру, обыкновенно лежат по целым неделям неотправленными.

В Тверь бы я непременно приехал, так как мне ужасно интересна она. Вообще мне надо поглядеть белый свет, теперешний, а работать я хочу и буду много.

Дорогой Михаил Ильич! Отвечайте, пожалуйста.

Глеб Успенский.

70

А. В. КАМЕНСКОМУ

<Конец сентября 1880 г., мыза Лядно>

Дорогой Андрей Васильевич!

Вчера принесли Вашу телеграмму насчет Ник<олая> Сем<еновича> и сена. Ответ Вы уж получили. Насчет сена, действительно — цены поднялись значительно, но вывезти его теперь из Лядна — нельзя. Крестьяне делают так: у кого есть сено, вывозят его малыми частями, пудов по 10, в Почивалово и там грузят воза; в Петербурге 45 к. и 50 и, говорят, более. И это им выгодно, так как они возят на своих лошадях. Леонтию же надобно нанимать, чтобы поездка в Петербург была стоящим делом. На своих лошадях, чтобы продать 100 пудов, он должен сделать 10 концов в Почивалово и обр<атно>, да в Почивалове заплатить хоть рубль за помещение, да издержат они вдвоем никак не меньше как рублей 10. Его поездки, как видите из отчета, за жалованьем стоят почти 70 р., расход непроизводительный. Самое лучшее, как мне кажется, продавать для него, особливо в настоящее время, на месте, получая верный барыш, или вывозить в марте, когда цена ему будет громаднейшая по всем признакам. Сейчас можно продать на месте от 25 до 30 к., и, кроме того, за вывозку (зимой) Леонтию ж будут платить за лошадей. Тут верная прибыль и, как мне кажется, много сберегается ненужных расходов на поездки, на харчи, постоялые дворы и т. д. Зимой сена навезут гибель, но вес-

ной его не будет. Я думаю так: не продавать до весны совсем, а зимой все сено перевезти на большую дорогу, в сарай к Плаксиным или кому другому.

Впрочем, все это мое мнение. Леонтий всячески хлопочет, чтобы продать сено как можно лучше. Овса намолотил он не 30, а 40 кулей.

На днях получите отчет за сентябрь по 1-ое октября.

Мы остаемся до 10—15; начались морозы.

Леонтий хочет попробовать съездить с сеном в Петербург.

Подробно буду писать о делах мызы дня через 2. Теперь же два слова о себе. А именно.

Не согласны ли Вы мне уступить три десятины по Еремину ручью, таких три десятины, которые не касались бы ни пашни ни покоса? Если Вы согласны (условия ниже), то я перевезу домик, — чудовский поп продает такой домишко за 200 р. новый. То, что будет на этих 3-х десятинах лесу, — будет расчищено, то, что будет земли, — под огород, и 1 д<есятина> под овес. Место я постараюсь выбрать такое, чтобы меня с моим домом видно не было, и непременно на окраине, т. е. на границе.

Условия:

1) Я сделаю на свой счет дорогу: к весне, то есть ко времени Вашего переезда, ляги существовать не будет и в помине.

2) Затем я буду платить по 50 р. ежегодно, что окупит пастуха. Я имею право держать 2-х коров, которые будут пастись Вашим пастухом.

3) Покос буду снимать у Вас исполу столько, чтобы хватило коровам, так у Вас снимает, напр<имер>, Фекла, и в том месте, где будет указано Леонтием.

4) Затем обязуюсь участвовать во всех улучшениях мызы, имеющих общественный характер, — дороги, мосты и т. д.

5) Я буду иметь работника, который зимой, живя на мой счет, будет помогать Леонтию.

6) Если место по Еремину ручью неудобно уступить, то укажите такое, которое Вам уступить можно без обиды.

7) Если вздумаете продать Лядно, то в случае несогласия на эти условия другого владельца, и я продам домишко за что купил.

8) Если эти условия неудобны, то — напишите, пожалуйста, на каких бы Вы могли, не обижая себя, уступить мне эти 3 десятины.

9) На каких бы условиях Вы ни согласились, — я бы остался тогда на зиму, немедленно принялся бы за перевозку дома и устройство дороги. Что касается дороги, — то она будет сделана в совершенстве.

10) Можете быть уверены, что от нашего соседства не произойдет никаких неприятностей, а столкновений и быть не может.

11) Будем жить с марта до глуб<окой> осени.

12) Я хочу это устроить в тех видах, что в будущем году с февраля месяца, после напечатания романа, могу оставить Ал<ександре> В<асильевне> рублей 1000 и уехать на год по России и за границу.

13) На 3-х десятинах я могу производить всевозможные не вредные для общества фантазии, кроме рубки больших деревьев.

14) Ни фабрик, ни заводов открывать права не имею.

15) Ни сдавать, ни продавать также никому не могу.

Пожалуйста, А<ндрей> В<асильевич>, ответьте мне насчет этого. Могу Вам поручиться за одно — что никакого ущерба ни в чем не будет, если я займу где-нибудь в углу Лядно 3 д<есятины>.

Простите, что пишу таким образом. Боюсь, как бы поп не продал дом. Перевозить надо по осени же.

Ответьте, пожалуйста, поскорее.

Ваш *Г. Успенский.*

71

П. В. ЗАСОДИМСКОМУ

<11 декабря 1880 г., Петербург>

Многоуважаемый Павел Владимирович!

Душевно и искренно благодарю Вас за Ваше письмо, — необходимо было действительно хоть однажды объясниться насчет литературных мнений, чего, согласитесь сами, ведь до сих пор не было, в течение целого года, между всеми участв<ующими> в «Русском богатстве»; ведь целый год — только и слышалось Жук<овский>,

Жук<овский>, Жук<овский>, Златов<ратский>, Златов<ратский> и т. д. Из этого объяснения никоим образом, конечно и сами Вы видите, не может произойти никакой ни ссоры, ни недоразумений, ни неприятностей. У меня и у Вас и у всех наших общих товарищей — на уме не один заработок, а и желание, — и это главное, — работать по совести. Вот именно из этих-то побуждений я и желал определить нравственные наши отношения. В писаниях моих я сам давным-давно чувствовал и чувствую изъян — и в 12 № «От<ечественных> з<аписок>» поэтому прекращаю писания о народе. Если я возьмусь за это опять, то только года через два. Какие бы мнения об этих писаниях ни высказывались в печати — разве я могу претендовать? В «Слове» я работать желаю, и желаю не разрывать с ним связей; и буду поэтому писать только такие вещи, которые не будут противоречить общему складу журнала.

Затем, если в письме моем было что-либо оскорбительное (впрочем, едва ли?) — извините, все это забудется, и верьте в мое искреннее к Вам уважение.

Ваш *Гл. Успенский.*

11 декаб<ря 18>80 г.

1881

72

Г. А. ДЕ-ВОЛЛАНУ

Петербург, 15 января <1881 г.>

Милостивый государь, Григорий Александрович.

Очень благодарю Вас за память обо мне. Не писал Вам и не отвечал на Ваше письмо так долго потому, что получил пакет с Вашей статьею только на днях; я большею частью зиму провожу в деревне под Новгородом, а в редакцию «Русское богатство» почти не захожу. Статейку Вашу я прочитал, но думаю, что к печати, по крайней мере в большой журнал, она неудобна; в настоящее время можно уже *прямо*, не прибегая к исключительной форме, говорить о нуждах народа и даже следует говорить о них как можно прямее, и яснее, и резче. Печатать же в каком-либо из мелких изданий не стоит. Да я уверен, что Вы и сами этого не пожелаете. Что же касается до Вашего *романа*, то присылайте его непременно, не имею ни малейшего сомнения, что он в высшей степени интересен и что его поместят без затруднения: кроме «От<ечественных> з<аписок>», в нашем распоряжении находится с нового года и журнал *Слово*. Говорю *нашем* потому, что в редактировании его будут участвовать почти те же сотрудники, что и в «От<ечественных> з<аписках>», «Деле» и «Рус<ском> б<огатстве>». Но если Вы пожелаете выслать его, то посылайте прямо мне и по следующему адресу: Большой Царскосельский проспект, д. № 105, кв. 25.

Если роман будет выслан, то согласитесь ли Вы на некоторые поправки или изменения? В случае каких-либо

крупных изменений — я обязуюсь Вас уведомить, и они будут сделаны не иначе, как с Вашего согласия.

В ожидании Вашего ответа прошу Вас быть уверенным в глубоком к Вам уважении

Г Успенский.

73

Г. А. ДЕ-ВОЛЛАНУ

<10—15 мая 1881 г., Волхов>

Григорий Александрович! Роман Ваш я прочитал: он написан лучше «Брожения», но все-таки Вы бы много могли в нем убавить и многое прибавить. Прибавить необходимо главы две о Петрашевском, о его кружке. Это даст роману значительный интерес; материалы для этого есть в «Русской старине» и т. д. Да и лично у Вас, вероятно, есть также. Кроме того, прибавить о Петр<ашевском> необходимо ввиду явного перерыва между 3-й и четвертою частью. Убавить же необходимо те, чисто семейные, фамильные черты и отношения в сем<ействе> Ногайцевых, которые не имеют типического интереса относит<ельно> того времени, например, 1-ую главу 4-й части. Зачем такие подробности? Они могут быть в следующих частях. Начало романа также надобно, 1-ю главу, посократить и ярче выставить студенчество того времени. Это необходимо для того, чтобы фигура Петрашевского и его товарищей была ярче и чтобы вообще ярче было время 40-х годов.

Ввиду всего этого убедительно прошу Вас: у Вас есть целый июнь месяц (Вы сказали, что в июне Вам деньги не нужны), чтобы все это переделать и заполнить недописанные места. Роман должен прочесть Александр Михайлович Скабичевский, который все летние месяцы будет заведовать редакциею, но я уверен, что и он пожелал бы также некоторых изменений, именно тех, кои я указал выше.

Кроме того, дайте, пожалуйста, А. М. Скабичевскому некоторое время на прочтение: он даст Вам полезнейшие советы.

Роман *«Полная чаша»* я препровождаю в редакцию жур<нала> *Слово* с письмом к А. М. Скабичевскому и С. Н. Кривенко. Прошу Вас сначала повидаться

с последним (Невский, 131, кв. 8, лучше всего до 1 ч. дня, и потом вечером, часов с 7-ми, и в ред<акции>, Поварской пер., часа в 2. Но лучше всего дома). У Вас задумана превосходная вещь, — говорю это Вам с полною искренностью, но она разбросана, растянута, словом, писана начерно. Не пожалейте потом, когда хороший план и хороший материал пройдут незамеченными или замеченными мало. Я бы на Вашем месте переделал все собственной рукой от первой строки до последней — и оба романа. 40-е, 60-е и 70-е годы — вот три эпохи, которые можно, с Вашим материалом, очертить великолепно. *Отделывая вполне тщательно* главы по три к каждому месяцу, т. е. листа по три печ<атных>, Вы бы могли печатать роман года два, с постоянным интересом для читателей, и, в конце концов, получилась бы капитальная вещь. Впрочем, как хотите. Наконец, есть еще одна беда: денег теперь в «Слове» мало, и платить оно будет плохо. Вот что могу сказать Вам по совести.

Уважающий Вас
Г. Успенский.

74

М. Е. САЛТЫКОВУ-ЩЕДРИНУ

29 июня <18>81 г. <Петербург (?)>

Многоуважаемый
Михаил Евграфович!

При сем прилагаю одну главу рассказа, а другую непременно доставлю не позже второго июля, до Вашего отъезда. Вместе с тем, этими двумя главами окончится и ряд рассказов «Без опр<еделенных> занятий». Надоела мне эта тема.

Затем моя глубокая к Вам просьба. Я бы крайне желал июль месяц провести не дома. Недавно я недели на две уезжал в провинцию, и это произвело на меня самое благотворное влияние. Окончив эти рассказы, я целый месяц, а может и два, буду сидеть без дела, а следовательно, и без хлеба. Ввиду этого я покорно прошу Вас выдать мне в счет июльской книжки 250 р., так как в моей статье будет около 2-х листов. Долга я не уве-

личу, а себя поправлю, погляжу на людей. Я желаю ехать в Казань, в Пермь, Екатеринбург и Вятку. Недавно я был в Казани, где г. Агафонов, бывший редактор Камско-Волжской газеты, обещал мне дать много писем в разные места по Каме и Вятке.

Вообще теперь так много нового в народе, что сидеть на одном месте невозможно. Если вы не откажете исполнить мою просьбу, то к августу я напишу простую корреспонденцию по Каме и Вятке. Буду видеть сектантов, не крепостных мужиков, рабочих и т. д. У меня есть там знакомые. Убедительно прошу Вас не отказать мне в этой истинно душевной потребности!

В Казани я видел Н. Ф. Анненского и В. В. Лесевича, который только что возвратился из Сибири. Анненский очень болен. Лесевич крайне бы желал получать «Отеч<ественные> записки» в счет заработной платы. Адрес его: *Казань, Покровская улица, д. Депрейс, кв. Крамера.* Не худо бы иметь экземпляр «От<ечественных> з<аписок>» и Анненскому по тому же адресу. Они оба рассказывают много интересного и, вероятно, к осени пришлют интересные работы в «От<ечественные> записки».

Будьте добры, М. Е., не откажите мне в моей просьбе. Долг мой все-таки покрывается понемногу, а осенью, если я только отдохну немного, — я буду работать и больше и, думается мне, лучше.

Деньги могут быть выданы по окончании набора всей статьи. Я пишу об этом, не окончив работы, потому, что после Вашего отъезда мне не к кому будет обратиться.

Извините меня, пожалуйста.

Глубоко Вас уважающий

Г. Успенский.

75

Е. С. НЕКРАСОВОЙ

<31 июля 1881 г., Волхов>

Екатерина Степановна!

Пожалуйста, не сердитесь за мое письмо, а выслушайте внимательно след<ующую> просьбу.

У меня есть рассказ в 2½ печ<атных> листа, который я не могу поместить в «Отеч<ественных> з<апи-

ских>» ранее сентября, а след<овательно>, и деньги за него могу получить только после 20 сентября, т. е. почти через два месяца. Происходит это оттого, что мою статейку, которая должна была быть напечатана в июле, Салтыков отложил до августа, а та статейка, которую я готовил к августу, должна была пойти не ранее сентября. Между тем, во 1-х, мне надо отдавать московские долги, во 2-х, надо непременно ехать по тому же делу, иначе я до того упаду духом под давлением моей гнусной бездеятельности, что, ей-богу, буду не в состоянии работать ни осень, ни зиму. Уверяю Вас, что это так, а для меня это просто разорение. Ввиду всего этого рассказ, который у меня есть, мне надо поместить где-нибудь, кроме «От<ечественных> з<аписок>», так как к сентябрю я напишу другой. Если бы еще был Салтыков в Петер<бурге> — тогда бы я устроил всё, но его нет. Елисеев болен и в Гатчине, в ред<акции> Скаб<ичевский>, который ничего не может. Если бы было разрешено «Слово»,— то я бы печатался там. В *«Деле»* — нельзя, п<отому> ч<то> перессорились из-за «Русского богатства» (Бажин). В «Вестн<ике> Ев<ропы>» — совсем невозможно, это — «лагерь», и Салтыков обидится. Остается одно: попробовать поместить в «Русской мысли».

Я знаю, что Юрьев меня терпеть не может, да и я его тоже терпеть не могу, — вот мы и кв<иты>.

Но, во 1-х, Салтыков Юрьева любит, во 2-х, «Русск<ая> мысль» — почти еще без направления, в 3-х, печатает иногда бог знает что, в 4-х, рассказ мой ни в чем не унизит редакцию. Я действительно могу получить упрек от ред<акции> «От<ечественных> з<аписок>», — но Юрьев ни от кого не получит никакого упрека.

Вот почему, ввиду и Вашей и моей пользы, ввиду крайней необходимости очувствоваться от неудачного путешествия, — серьезно прошу Вас, — или сами лично или чрез Гольцева (если нужно, я ему напишу) — предложите им мой рассказ в 2½ печ<атных> листа с платою по 200 руб. Рассказ совершенно цельный, самостоятельный, написан не лучше и не хуже других. Но резкостей и рассуждений — меньше, а первых и совсем нет. Вновь возвращаюсь к беллетристике в самом деле.

Если цена дорога, то 25 р. можно сбавить ввиду того, что лист «Р<усской> м<ысли>» — меньше.

Если они согласятся, — то я *немедленно* вышлю его Вам, и Вы его просмотрите в корректуре. Кроме этого, ввиду крайности моей, необходимо похлопотать, чтобы уплата денег произошла по наборе корректуры, не дожидаясь выхода книги.

Пожалуйста, ответьте мне поскорее, до 10 ав<густа> это все надо кончить.

Простите.

Г Успенский.

76

Н. В. МАКСИМОВУ

(*Черновое*)

<Осень 1881 г., Петербург (?)>

Любезнейший Николай Васильевич!

Не знаю, по-мужицки или по-барски поступаете Вы, без всякого основания претендуя на то, что я не приехал и что со мной не сваришь каши. Кашу именно варите Вы, а я хотел издавать газету. Для того, чтобы эта газета не была кашей, я и просил Вас нарочно приехать ко мне нынешним летом, просил Вас переменить название на «Русскую жизнь», зная, что должна означать эта перемена. Я просил Вас тогда ж — «пожалуйста, не болтайте, хлопочите о перемене, а потом известите меня». Кое-что, стало быть, руководило мною в этих просьбах. Но из этих просьб Вами не соблюдено ни единой. Вопреки моей просьбе не болтать, то есть не разговаривать об этом понапрасну, без толку, так как эта бестолковая болтовня, ходьба, разговоры, приглашение ненужных и незнакомых лиц к участию и т. д. и т. д. есть, во 1-х, признак того, что человек не знает хорошенько сущности и задачи того дела, за которое принимается, а во 2-х, — решительно вредит всякому делу, охлаждает, путает и т. д. и т. д. — Вопреки, повторяю, этой просьбе, — кто только не был приглашаем Вами и в сотрудники, и в пайщики, и пр., и кто только не был Вами извещен об издании этой газеты, кроме меня, который Вас об этом просил нарочно. Это действительно не по-мужицки, не по-барски

и не по-товарищески. Итак, все дело остановилось потому, что Успенский не приехал. Все было готово, налажено, осталось *только переговорить,* но Усп<енский> не приехал и затормозил все. Ну, а если бы я приехал? Что бы мы делали? Пошли бы к Николадзе, потом разошлись бы, потом оказалось бы, что нет денег, потом Вы пошли бы приглашать Думашевского или Полякова, Николадзе поехал бы на танцевальный вечер, а я опять уехал бы в деревню. Затем Вы пошли бы к Софье Васильевне и вместе с ней назначили бы собрание у Николадзе, Софья Васильевна, Вы и еще Гофштеттер решили бы, что лучше всего осадить всем вместе Кривенку, которого и без того уж достаточно измучило «Слово». Потрудитесь сказать мне — зачем я так необходимо нужен? Если Вы мне это скажете, тогда я приеду. Теперь же могу только сказать, чтобы Вы по возможности умерили Ваше на меня негодование, которое решительно ни на чем не основано. Вы как хозяин газеты можете устраивать ее, как найдете лучше. Наконец, по совести говоря, мое положение до того трудно и исполнено неопределенностей, что я решительно *не могу.* [1]

77

Е. С. НЕКРАСОВОЙ

<7 ноября 1881 г., д. Сябринцы>

Многоуважаемая Екатерина Степановна!

Так как я отдал Орлову письмо к Вам еще в августе или сентябре и Вы мне не писали, то и я не писал, я думал, что Вы сердитесь. Да признаться, все время из-за этой истории с «Рус<ской> мыслью» мне было глубоко скверно. Судите сами: я телеграфирую в редакцию «Рус<ской> мысли» и спрашиваю, сколько вышло? отвечают телеграммой $^3/_4$ листа. Я прошу Орлова узнать подробно в редакции у самого Лаврова, — и он отвечает мне: только *три четверти.* Что же это? Не мошенник ли я? Я обещал около 2-х листов, и выходит, что я даже листа не дал, и это 2 раза (!!) отвеча<е>т мне редакция!

---

[1] Письмо не закончено. — *Ред.*

Теперь что же оказывается? Вышло почти вдвое больше против того, что они говорили, и во всяком случае гораздо ближе к тому, что я обещал, чем к тому, что телеграфировала мне редакция, повторяю, *два раза!!!*

Ну не животные ли это! Ведь они рассказывали другим, что Успенский надул, ведь об этом в Петербурге болтали — канальи они этакие! Слово «надул» родилось вместе с ними на свет и так же крепко сидит в мозгу, как нос на лице. Чисто лавочное миросозерцание! Ведь они и к Вам приезжали с упреком в обмане, но судите теперь сами, — не подлецы ли они? Будь еще одна страница или две, что мне ничего не стоило написать, ведь это было бы именно около двух, они же телеграфировали и сплетничали: *три четверти,* убавляя действительный размер статьи не на 2, а на 6 страниц! Ну чорт с ними! Хорошо тоже дураки эти почтили Салтыкова! Нечего сказать, похоже на юбилей! Островскому был юбилей в Петербурге и не такой. Хоть бы взяли пример с юбилея Крашевского. И что же смотрела ваша вяленая Гамбета, Гольцев, сей ибеяй и ядикай?

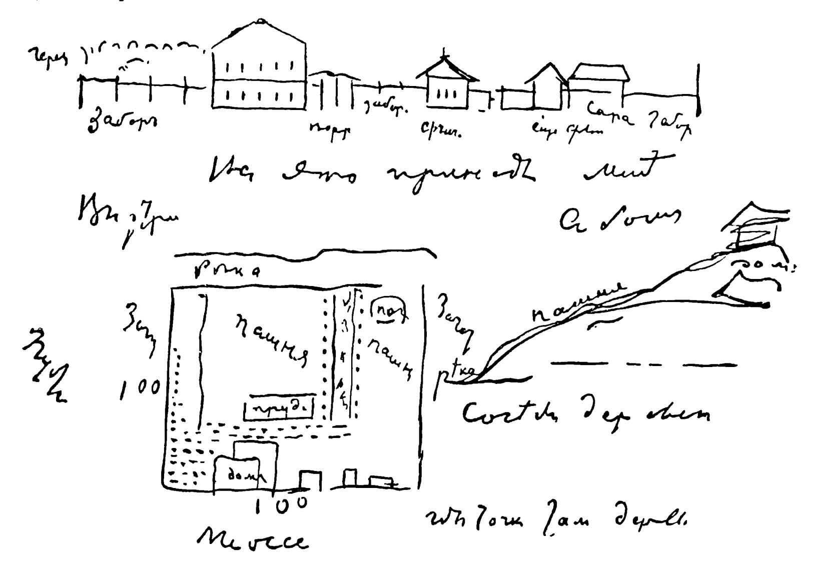
Теперь я послал им мою вторую статью и вполне хорошую, но едва ли она придется им по вкусу, особливо Юрьеву, у которого рука берется за перо только затем, чтобы изгадить и осрамить что-нибудь действительно хорошее. Почитайте его примечания к превосходной статье Дитятина! И подумайте, где и когда бывало что-нибудь подобное. Дитятин, как убежденный человек, вступает в полемику с Аксаковым и со всей его кликой. Клика — это зло явное, всем видимое, — и сильное своими высшими связями. Клика распускает на всю Россию смрад и мракобесие, — виляет, лжет и т. д. Убежденный, умный человек пишет статью, в которой он научным путем разбивает эту шайку лгунов. Общественный деятель выходит на войну, не так, как Гольцев или другой подобный налим, — и что же делает старая ваточная юбка Юрьев? Она навязывает этому писателю примечание об Иване Сергеевиче. По имени по отечеству величает — Ив<ан> С<ергеевич>. Ив<ан> С<ергеевич> отличный человек, кто лично его знает...

Статья Дитятина хороша, за исключением первых страниц, т. е. страниц, в которых автор характеризует Аксаковых как лжецов и проходимцев... Нет у этих

дураков убеждений, впечатления личного знакомства они переносят в общественное дело! Никогда у них не будет никакого толку, если старая юбка будет шляться между статей, как старая приживалка. Буду очень рад, если статья моя не годится этим дуракам — она действительно недурна. Если бы не нужда, разумеется, я бы носа к ним не сунул. Трактирное панибратство и самое подлое купечество — вот что такое эти люди. Торгуют словесностью, как овсом.

Листова (его фамилия Калистов) я видел один раз, года два тому назад, летом, с какой-то жидовкой-акушеркой (жида с лягушкою венчали — это про них сказано). Показался он мне грубой дубиной, кутейником, самым неисправным, хотя жидовка и побуждает его походить на кавалергарда! Все он врет, что пишет, так мне кажется. Скоро я буду писать о народной школе, и Вы увидите, сколько эти подлецы прячут сору своего и чужого для того, чтобы симпатично соврать о своей почти ангельской доброте к народу. И все общие фразы, общие места — до тошноты!

Пишите ему в ред<акцию> «От<ечественных> з<аписок>» — там передадут. А я его терпеть не могу. Дом куплен. Вот его вид.



В доме восемь комнат, вверху четыре и внизу. Где точки, там я насадил деревья, и будет посажено весной вдвое больше. Посею овес. Места — $1^{1}/_{2}$ десятины. Вот я тогда напишу и напечатаю, сколько можно получить с $1^{1}/_{2}$ десятины. Для меня место огромное.

Ну, будьте здоровы. Сибиряков еще не приезжал, но ему отделывают квартиру, и скоро он будет. Я все помню, что обещал, только ваших московских фертов литературных не люблю. Поедете в Петербург, заезжайте, пожалуйста.

Ваш *Г. Успенский.*

Ст. Чудово, д. Сябринцы.

Пожалуйста, не откажите мне написать адрес Дитятина, имя, от<чество> и т. д. Да еще что за безобразная история с господином Пановым? Мне говорят Бурлак и Писарев — идите, идите к нему, что же Вы не идете, он Вас дожидается, идите же, пожалуйста... и т. д. Я, дурак, и пошел. И он снимает с меня пять портретов, *сам* предлагает столько-то экземпляров и т. д. И все выходит в какую-то нелепицу? Что ж это такое? Зачем такое обилие вранья — решительно не понимаю!

Пишите, пожалуйста, ко мне, Е<катерина> С<тепановна>. Я, может быть, скоро буду в Москве на минутку. На днях пришлю Вам 3 моих новых книги. И Ольге Ивановне особо с письмом. И статью в «Рус<ские> вед<омости>».

1882

78

Е. С. НЕКРАСОВОЙ

12 <мая 1882 г., д. Сябринцы>

Огромное Вам спасибо, Екатерина Степановна, за Ваши хлопоты; право, Вы ужасно добры, и мне кажется, что я злоупотребляю Вашей добротой. Но здесь всего не упишешь по этому поводу.

Рукописи я послал Лаврову; не знаю, что он ответит и где пожелает писать условие, здесь или в Москве. Мне бы здесь нужны были деньги, и я бы рад был, если бы он удовольствовался простой распиской моей, пока я не приеду в Москву. Впрочем, я об этом пишу ему, так как это Вас не касается. Я опять-таки благодарю Вас за то, что сделано.

Спасибо!

Приеду тотчас по получении денег и тотчас уеду дальше, повидавшись только с Вами и Лавровым.

Я все в Чудове.

Ваш *Г. Успенский.*

12 ап<реля>.

79

В. М. СОБОЛЕВСКОМУ

<Начало июня 1882 г., д. Сябринцы>

Многоуважаемый Василий Михайлович!

Крайне и глубоко сожалею, что мне не пришлось видеть Вас в Москве еще раз: на другой день после того, как мы виделись на выставке, зашел я в свою гостиницу (у Красных ворот, Северная) и, к удивлению, нашел, что номер мой запечатан, а вещи отправлены в участок. Скандал был полный, несмотря на то, что я нарочно

посылал в гостиницу человека сказать, что ночевать я не буду. Переполох, который произошел в гостинице, заставил меня немедленно уехать домой: я думал, не дали ли они знать о моем исчезновении по месту жительства в Чудово. Возвратясь в Чудово, — до сих пор не собрался извиниться перед Вами и Ольгой Ивановной, — потому что сразу ж по приезде попал в нелепейшую и неприятнейшую историю: за день до моего приезда, в *полночь,* к сельскому старосте явился какой-то проходимец и потребовал составления обо мне протокола. Назвался он агентом тайной полиции и составил протокол в таком смысле, что я социалист и что у меня подручные, что мы собираемся на какой-то мыз в 6 верстах от Чудова. Все это вздор, — но в деревне этот вздор ужасен, — просто житья нет, и ни днем, ни ночью не знаешь покою; ко всему этому — доноситель оставлен следователем в его канцелярии в качестве писаря, а этим и самый донос его получил в глазах народа вероятие. Просто ужас что за жизнь.

Простите, пожалуйста! Я истинно был рад встретить Вас таким, как Вы были, хоть мне и грустно, потому что я очень устал и состарился.

Я просил Вас о том, чтобы похлопотали Вы об «Устоях» у И. И. Баранова. На этих днях в Москве будет Михайловский с Кривенко (на котором лежит все бремя редакц<ии>). Не можете ли Вы дать Кривенко какое-нибудь рекомендательное к Баранову письмо? У Баранова живет Ваш сотрудник В. Пругавин (которого я лично не знаю). Так не можете ли дать письмо к этому Пругавину, чтобы он предварительно переговорил с Барановым о деле Кривенко, — выхлопотать ему свидание с И. Ив. Во всяком случае, — не откажите пособить чем можете. «Устои» — издание артельное, ни хозяина, ни работников нет, и надо ж в самом деле, чтобы когда-нибудь были такие издания.

Будьте добры, многоуважаемый Василий Михайлович, похлопочите и помогите в этом деле чем можете.

Простите за нелепое письмо. Право, я ужасно расстроен.

Глубоко Вас уважающий

Г. Успенский.

P. S. Ольге Ивановне мой искренний поклон.

80

М. Е. САЛТЫКОВУ-ЩЕДРИНУ

Ст. Чудово, Н<иколаевской> ж. д., воскресенье, 11 сентяб<ря 18>82

Многоуважаемый Михаил Евграфович!

Позвольте обратиться к Вам с покорною просьбой: на этих днях, не позже четверга, я окончу и принесу Вам небольшой рассказец. Не найдется ли ему место в октяб<рьской> кн<ижке> «От<ечественных> з<аписок>»? Я был бы искренно благодарен Вам. Бога ради, простите меня за эти беспрестанные записки и беспокойство; я слышал, что Вы очень нездоровы... Простите, пожалуйста, искренно и глубоко Вас уважающего

Г. Успенского.

81

В. М. ЛАВРОВУ

15 ноября <18>82, ст. Чудово

Многоуважаемый Вукол Михайлович!

Сегодня 15 ноября — число, к которому Вы желали иметь рассказ для январской книжки. К несчастию — я не успел окончить начатого рассказа, но могу Вас уверить, что на этих днях, т. е. в течение недели, рассказ будет доставлен *непременно.* Дело в том, что, отправив Вам 10-го октября рассказ «Не случись», я почти тотчас же принялся за работу для 11 № «От<ечественных> зап<исок>», которую и окончил к 28 октября. В этот промежуток была такая пропасть беспокойства с домом, т. е. с покупкой, и т. д., что я очень устал. От этого-то я и не поспел к сроку. Но будьте уверены, что я не запоздаю более недели.

Рассказ этот я привезу в Москву сам для того, чтобы повидаться с Вами по поводу моих книг и по поводу скорейшей уплаты 500 р., полученных мною чрез Николая Павловича. Расписка в получении этих 500 р., вероятно, давно уж у Вас, а благодарить Вас за то великое одолжение, которое Вы сделали мне в труднейшую минуту жизни, — буду я лично, на этих же днях.

Искренне Вас уважающий

Г. Успенский.

82

В. А. ГОЛЬЦЕВУ

<Конец 1882 г. или начало 1883 г., д. Сябринцы (?)>

Виктор Александрович! Во-первых, прошу Вас простить меня за то невольное раздражение, которое иногда было в неприятном разговоре (в Эрмитаже), — оно было вызвано особенными личными моими неприятностями, — и очень важными. К счастию, они миновали благополучно.

Но как бы неприятен ни был Вам этот разговор, я решительно не сомневаюсь и думать даже не хочу о том, чтобы в нем я сказал Вам малейшую неприятность или неуважение. Так как я Вас уважаю и понимаю Вашу деятельность и знаю, как много Вы перенесли, — то хоть бы я был и мертвецки пьян и невозможно ожесточен, — все-таки никоим образом не мог выказать неуважения, так как этого просто-таки не может быть. Поэтому я и не извиняюсь.

По отношению г. Лаврова скажу Вам еще раз — уже в совершенно трезвом виде — бойтесь Вы близкого знакомства с людьми такого рода, — запутают они Вас, а с Вами могут поставить и других в весьма неприятное положение. Г-н Лавров — издатель и ничего больше, никаких литературных прав он не имеет; стихи его пошлы и глупы, а переводы написаны языком гуака и вместе с тем, не имея никаких прав на малейшее значение в литературе, он трактуется вовсе не как только издатель; сколько ни слышишь — все, что то Лавров играет людьми, то вдруг мошенники какие-то его окружат, то честные люди начинают отбивать от мошенников. Нигде слово «мошенник», «подлец», грабитель, подделыватель векселей, шулер и т. д. не упоминается так часто (о литературном круге, где об этом совсем не упоминается, я и не упоминаю), как вокруг Лаврова. Если он имел какую-нибудь цель определенную, — так ему нужно было идти к писателям, а не к шулерам; если он не имел цели, — то он предприниматель, и никаких личных отношений, никаких разговоров о его доброте в лит<ературном>

кругу быть не может. О нашей доброте не разговаривают г-да Лавровы, затрачивающие лабазные деньги, когда мы затрачиваем душевную муку. Никакого одолжения он *не мог* мне сделать, потому что, напротив, ему посчастливилось заполучить труды писателей, которым деваться некуда. Вот всё. Мои статьи *не могли* приносить ему убытку, как статьи тех мошенников, с которыми он имел дело; *я делал ему* честь, а никак не он делал ее мне или кому другому из честных писателей. Обращаться ко мне, как к мошеннику, мог только мошенник, понятия не имеющий о душе писателя и думающий, что все берется только из чернильницы. И между тем Лавров — точно Ильдиз-Киоск; постоянно там что-то не ладят с Лавровым или против Лаврова, постоянно выходят, уходят или выгоняют и т. д. Бахметьев (которого чорт знает также как ругают и чорт знает что про него говорят) уверял всех, что Лавров отказывается от изданий, что он ушел, что Бахм<етьев> принимает на себя все долги и обязательства. Наконец, некуда деваться, негде писать, и Лавровым только разрешают быть редакторами. Деньги, желание изд<авать> журнал есть, — сколько угодно, — но не добьетесь разрешения и *должны* идти к Лавровым, нужда заставляет и больше ничего. Мало переживаешь всю жизнь бог знает каких мук, чисто нравственных, постоянных утрат, постоянных невозможностей вымолвить слово, высказаться, не можешь брать животрепещущих тем, должен рыться бог знает в каких мусорных кучах, — а тут еще придет лабазник, бездельный человек и начнет мудрить! Довольно! Одна мысль о том, что Лавров может что-нибудь значить, — до того меня расстроила и ошеломила, что я, быть может, и сказал что-нибудь неприятное <. . . .>.[1] (Зачеркнутое касается «Р<усской> м<ысли>». Но об этом после). Прилагаю при этом письмо Семиренко. Если найдете возможным, ответьте так, как пожелаете, смело ссылаясь на меня. Если же оно Вам будет не нужно — не откажите возвратить. Вчера только пришла газета «Сибирь».

Ваш *Г Успенский.*

---

[1] В подлиннике зачеркнуто четыре строки. — *Ред.*

1883

83

А. В. УСПЕНСКОЙ

11 февр<аля 1883 г.>, Тифлис

Любезный друг Александра Васильевна! Вчера воротились из Батума (морем до Поти), а завтра, 12, утром едем в Баку. Пишу мало, потому что сегодня пишу много писем — к Салтыкову, Дрентельну, Носову, Кривенко насчет денег и устал, все дни почти без остановки едем и плохо спим. Холод в гостинице и в горах страшный Из Баку я буду писать много. Теперь о делах: я прошу у Салтыкова 250 р., которые он должен передать Кривенко. Вот почему, получив это письмо, поезжай в Петербург, останавливайся в моей комнате и подожди ответа от Салтыкова. Дрентельна также прошу достать тебе 200 р. Если ты получишь все эти деньги, то есть если и Дрентельн и Салтыков дадут их, то у тебя будет 450 р., из них мне ты сейчас же пошли 150 р. чрез Государственный банк, переводом на бакинское отделение в Бакинское нефтяное общество, мне. Если Дрентельн не достанет, а Салтыков выдаст, тогда ты мне пришли только 50 р., а 200 возьми себе.

Когда будешь в Петербурге, то, пожалуйста, съезди к Антоновичу и спроси его: присылать ли Тверитинову перевод книги «Прогресс и бедность» Джоржа. И если он скажет: присылать, то так и ответь Тверитинову в Онегу, Алексею Николаевичу. Не возьмет ли этого перевода Билибин, издатель Тэна? Я так ужасно виноват перед Тверитиновым. Похлопочи, пожалуйста. Пожалуйста, не перепутайте как-нибудь с деньгами: за февральскую книгу получит Дрентельн сполна, а после, дня чрез два, он опять тебе эти 200 р. доставит.

Надо приехать в Петербург дня на 3 и подождать.

Целую вас всех. Я в Баку буду недолго. Если получу 150 р., то тотчас уеду в Тифлис, проживу здесь неделю и немедленно возвращусь домой работать — работать.

Целую тебя.

Г Успенский.

Сашечку целую и всех. Я ему куплю шапку здесь красивую.

84

А. В. УСПЕНСКОЙ

<10—12 марта 1883 г., Ленкорань>

Любезный друг Бяшенька. Я телеграфировал тебе, что посылаю подробное письмо, и сел это письмо писать: это было 7-ое марта, а восьмого я хотел ехать в Ленкорань, — но едва я написал строку, как пришли сказать, что пароход идет седьмого, сейчас, а главное, что с этим пароходом едет сам капитан, Миллер (его знает Леонтина Карловна), к которому я должен был обратиться в Ленкорани за советами. Теперь этот капитан ехал сам, и ехать надо было немедленно, так как второй пароход пошел бы только 22. Таким образом, ни письма, ни даже телеграмм я не отправил и посылаю сегодня по приезде в Ленкорань. Но и здесь беда — я думал, что в Ленкорани телеграф, — а его нет, и почта идет два раза в неделю, — словом, глушь страшная, а главное, ты будешь беспокоиться, не получая моих писем; но вот что я скажу тебе: я все время страшно утомлен, может быть, это к лучшему; но я тебе искренно говорю, что меня одолевает какой-то непробудный сон. Не знаю, от дороги ли это, — 14 дней без остановки, и в эти 14 дней только 3 раза пришлось спать ночью в кровати, потом новые знакомства в Баку, то есть рукопожатия и приглашения к себе, где опять кучи незнакомых людей, — все это меня просто истомило. А главное, я до сих пор не чувствую, чтобы я поправился, я все слабей и слабей. Но вот сейчас по приезде в Ленкорань я и г. Миллер уехали к нему на дачу за Ленкорань, в глухой лес среди татарских деревень, и здесь кроме нас никого нет. Я здесь 2-ой день

и чувствую, что мне лучше, что, кажется, теперь я начну поправляться. Накануне утомление дошло до того, что я не мог подняться к нему на лестницу, а сегодня я уж чувствую себя бодрее и лучше и думаю, что теперь все пойдет к лучшему. Бога ради, только не тоскуй ты, пожалуйста. Да не возись ты очень много с Кривенками, — они любят сплетни и очень-таки не прочь то, что болтают дома, перенести в редакцию. Я уверен, что Салтыков перестал меня уважать вследствие шуточек Сер<гея> Ник<олаевича>. Он только анекдоты рассказывает, — а, глядишь, и сделается начальником, да еще отказывать будет статьи принимать. Тогда как он вовсе не писатель, а просто хороший человек. Им не надо рассказывать подробностей наших дел; вот мне и скверно, что все мои нужды им открыты, тогда как могло бы быть иначе. Они не писатели, а умеют забирать в руки писательские барыши, именно потому, что к ним лезут за рублем, что им выпадает на долю репутация благодетелей. Меня это и убило. Я всегда хотел без благодетелей жить и мог, заставив их моими работами платить мне большие деньги, и вот почему за последнее время, когда нельзя было все-таки стать на ноги, а опять идти ко всякой дряни просить рубля, — я пришел в отчаяние. С господами Николадзе также, пожалуйста, поосторожней. — Когда они узнают подробности моей жизни,— они увидят, как мало во мне силы для деятельности теперь, и отлично изгонят из числа таких писателей, которых нельзя бросать на улицу. Знаю я всех этих людей. Припомни, как бился и бьется, напр<имер>, Плещеев — отжил. И меня к тому же приведут. Я действительно не сумел воспользоваться минутой, когда во мне нуждались как в писателе, и боюсь, что такая минута прошла; я утомлен. Я часто бесновался потому, что я знаю этот круг и его обычаи и что тут надо очень искусно держать себя для того, чтобы не кончить смертью Левитова и т. д. И вот почему я пришел в отчаяние, в последнее время мне показалось, что все пропало: долгов тысячи, и уж не любезность я слышу, а прямую вражду со стороны издателей, и все хуже и хуже, потому что сил меньше, и от жизни сильно, сильно отстал. Когда я уехал, то мною овладел какой-то непробудный сон, точно я пошел ко дну,

смотрю — и не вижу ничего, говорю — еле-еле ворочается язык, говорят — не слышу, вот почему не мог тебе писать, решительно нечего. На душе совершенная пустота — хоть шаром покати, но сегодня первый день, что я чувствую себя несколько бодро; думаю, что поездка моя не бесплодна, что потом я много припомню, — но, бога ради, только не беспокойся. Пусть со мной пройдет этот столбняк. Здесь в Ленкорани я пробуду до 14. 14 уеду в сектантские села, 19 на рыбные промыслы, числа 22 буду в Баку и, получив деньги, — немедленно возвращусь домой. Там будет видно, что делать и как быть. Но ясно мне одно, что с сего дня я начинаю чувствовать себя лучше, бодрей, и интересней становится мне все, что видел. Крепко, крепко целую тебя, — домой мне крепко хочется. Целую ребят, Шурыча. Привезу ему отличную персидскую шапочку и тебе туфли.

До свидания.

Твой *Г. Успенский.*

85

А. В. УСПЕНСКОЙ

<17—22 марта 1883 г., Баку>

Любезный друг мой Бяшечка! Знаю, как тебе, дорогая моя, скучно без писем, но я каждый день рвусь домой: здесь надо жить долго и тогда можно сделать много хорошего. А то только езда и отдых после нее. Был я в Ленкорани и в ленкоранских сектантских деревнях, в секте «общих» — между прочим, самая любопытная, какая только есть, и поговорить мог только с двумя-тремя лицами, и побыть с ними не больше двух дней, а 10—12 дней езды, то на пароходе, то на лодке, то опять на пароходе, перекладной и т. д. Вот отчего я не пишу тебе. Домой надо ехать и устроить эту поездку иначе, чтобы мне не пришлось заводить ненужных знакомств. Впрочем, я рад этому, т. е. что завелись здесь официальные знакомства. В Ленкоране был даже у исправника с визитом, знаком с судьей, прокурором, приставом в деревнях, так что если я опять поеду — то мне будет легче, уж меня знают. Теперь же все эти знаком-

ства только страшно мешали мне, стесняли, не давали поговорить как следует; все-таки я очень много видел и ужасно интересного. Кажется, года целые жить, и то все будет новое и новое. Поеду сюда непременно опять. Писать тебе о прокурорах — и о всем в этом роде — скука. Теперь я переписываю кой-какие материалы, о бунтах в Баку, о земельн<ой> соб<ственности> и т. д. Когда получишь это письмо, мы будем уже в дороге, в Тифлисе, а оттуда я выеду немедленно домой. К празднику ты, кажется, бедная, опять без денег останешься, — но я постараюсь привезти из 100 р. сколько возможно. Хотелось мне заехать к Марье Конст<антиновне> в Сочи, не знаю, как проехать. Хорошо бы на всякий случай уведомить меня телеграммой в Тифлис (но только тотчас по получении письма), в гостин<ицу> «Лондон», до востребования. Кого это Николадзе хотел рекомендовать мне в Тифлисе или кому хотел рекомендовать меня? Я там буду опять у сектантов, но недолго. Дома всячески постараюсь быть к святой неделе. Привезу Саше шапку персид<скую> и 4 крыла — 2 лебединых и 2 фламинго, а Вере и Маше шкурки лебединые, это мне подарили на рыбных промыслах. Время проводим так: в 1 час едим и спим до 5, пот<ом> пьем чай сколько влезет, и не успеем оглянуться, как ужин и сон. Все скучают — нет дела и нет денег, не знают, чем это кончится и что выйдет из бездействия, ходим, как осенние мухи. Но здоровьем я, кажется, поправился, по кр<айней> мере все говорят — «узнать нельзя». Буду писать еще тебе, милый мой друг. Прости ты меня за старые дрязги. Целую всех — Сашечку, и Веру, и Машу.

Г.

86

А. В. КАМЕНСКОМУ

<Начало апреля 1883 г., на пути из Баку>

Дорогой Андрей Васильевич!

Пишу Вам на пароходе. Как я Вам благодарен, как глубоко благодарен за все, что Вы мне сделали, — я чувствую, как много огромной пользы принесла мне эта поездка во всех возможных отнощениях. Не знаю, как

благодарить Вас за нее, — я теперь жив, — без нее я бы издох, как собака. Только теперь, когда приходится ехать опять в наши места, видишь, как много нового накопилось на душе и как это новое все возникает вновь. Не думаю, чтобы Петербург, как он ни противен, мог скоро истребить во мне ожившую жажду работать и хоть капельку смотреть поспокойнее на белый свет. Теперь все мое старанье я употреблю на то, чтобы в конце мая, много в июне, опять проскользнуть в Ленкорань. Это мне необходимо. Я подох в Питере оттого, что уж просто *не знал,* что делать, — теперь я знаю, у меня теперь есть новые интересы, и я не расстанусь с ними. Я буду назад непременно.

Не забудьте передать мою самую искреннюю, самую глубокую благодарность всем собеседникам, и собутыльникам, и соматрасинникам. Конст<антин> Александр<ович>, музыкальная душа, бука Николай Семен<ович>, милый Алек<сей> Мих<айлович>, — все, все — так мне дороги и милы, как никогда никакой «родной» так называемый. И как мне жаль даже Дмитр<ия> Николаевича, который был тоже ко мне чрезвычайно внимателен, хотя и бросал по временам юпитеровский взгляд за Нину Филипповну. Спасибо, огромное, вековечное спасибо Вам всем, за все. Дай бог, чтобы это было «до свиданья», — такого беспрерывного внимания я не видывал десятки лет, — какая прелесть!

До свиданья, дорогой Андр<ей> Васильевич.

Передайте мою глубокую благодарность всем — и муж<чинам>и дамам.

Г. Успенский.

87

Е. С. НЕКРАСОВОЙ

Пятница, 10 июня <1883 г., Петербург>

Дорогая Екатерина Степановна!

Книги я получил — но все некогда. Кучи-кучи неприятностей! Всевозможнейших. Какая там Италия! Поезжайте-ка Вы лучше на Кавказ — лучше всякой Италии. Объезжайте все воды, полечитесь, и все будет превосходно. Главное ведь совсем отрешиться от Москвы, хоть на время. Я бы теперь даже не на Кавказ поехал,

а в Сибирь, да взял бы адреса, да разузнал бы, как живут. Так забывать людей нельзя. А то Италия. *«Ниапыль!»* На Кавказ бы я приехал, но завален работой по горло, т. е. нужна масса денег для дома. И я, пожалуй, все лето просижу за работой, а потом и осень и зиму и т. д. Вот скучно-то и тяжело. «Ужасть» как. Не знаю, попаду ли в Москву, а хотелось бы очень, очень. Надобно развязаться с Лавровым, я ни за что у них работать не буду, — а долг уплатить надо. Поговорите, пожалуйста, с В<иктором> А<лександровичем>. Не пожелает ли он, чтобы я писал в «Курьер» *литературные* обозрения, петербургские литературные письма. 1 раз в неделю, а гонорар он передавал бы в «Рус<скую> мысль». Я подпишусь псевдонимом, и что другим платят — то пусть платят и мне. А лучше нельзя ли, чтобы была назначена огулом известная плата в месяц за 4 фельетона, причем один мог быть больше, другой меньше. Тут будет и о литературе, и о литераторах, и вообще о петерб<ургской> жизни, о студентах, о студентках, литературных начинающих талантах, направл<ениях> и т. д. Пожалуйста, потолкуйте и напишите мне. Вы меня простите, что я не отвечал. Я Вас очень люблю, но меня все гнетет и гнетет работа и масса глупых забот. В Москву приехать — нет денег. Если бы Гольцев добыл у Ланина рублей 200, тогда бы я поехал на Кавказ и написал бы в «Рус<ский> к<урьер>» несколько писем с подписью, о сектантах (в «Отеч<ественные> з<аписки>» уж отдано), а осенью за Литературную хронику бы принялся и стал бы уплачивать долг Лаврову. Поговорите, *не настаивая,* — а так, с достоинством, как это Вы всегда умеете делать.

До свид<ания>.

Ваш *Г. Успенский.*

88

В. А. ГОЛЬЦЕВУ

Ст. Чудово, 21 июня 1883

Виктор Александрович! Я уже писал Екатерине Степановне (но еще не имею от нее ответа), чтобы она переговорила с Вами относительно одной моей просьбы. Мне хотелось бы развязаться с г. Лавровым. Это,

конечно, лучше всего сделать можно бы так: написать ему три печ<атных> листа и покончить, — но решительно нет ни малейшей охоты делать это. Посмотрите, пожалуйста, какие отношения г. Лаврова ко мне с самого начала. 1) *Первый* рассказ я обещал дать объемом около двух листов. В таких приблизительно размерах я его и послал, но *немедленно* же получил от Ек<атерины> Ст<епановны> письмо, в котором она в полном негодовании спрашивает меня: в какое Вы меня ставите положение? Приезжал Бахметьев и сказал, что что ж это такое? Успенский обещал около 2-х листов, а прислал только $^{3}/_{4}$ (письмо у меня цело). Я ответил, что этого быть не может и что, вероятно, г. Бахметьев провозгласил меня надувалой, не имея даже корректуры, и точно, — как только рукопись набрали («Старики»), так в ней и оказалось не $^{3}/_{4}$, а полтора листа; если бы я прибавил две страницы, то это и было бы около двух, а не около $^{3}/_{4}$. Но зачем же я буду прибавлять две ненужных страницы? 2) Относительно 2-ой статьи ничего особенного не случилось, по кр<айней> мере не помню. 3) Затем летом прошлого года я поехал в Москву продать мою книгу «Власть земли». Лавров купил ее за 300 р. (2400 экз.), и при этом у нас был такой разговор (дело было в июне): — К которому числу нужно доставить рукопись, чтобы она попала в августовскую книгу? — спросил я. Лавров сказал: — К 6-му июля. Это мне было необходимо для того, что я собирался ехать и думал: если 1-го августа выйдет книга с моей статьей, то, стало быть, мне могут опять дать вперед денег, и я буду в августе обеспечен насчет поездки. Аккуратно 6-го июля (да! мы уговорились, что статья будет в августе *непременно,* если я пришлю ее в июле 6 ч<исла>) статья моя была в редакции, а около 20-го числа я поехал, полагая, что буду на выставке неск<олько> дней, дождусь книги и поеду далее. В ред<акции> «Рус<ской> мысли» г. Бахметьева не оказалось, он был где-то, потом приехал. Я спросил его: «Что, мол, статья? Печатается ли?» — Он показал мне конверт, в котором она прислана, не распечатанным. Она еще и не читалась, и Лавров на Кавказе. — «Да нам и не расчет печатать ее теперь, для нас лучше поместить ее в ноябре». — Вот самый простой и вразумительный ответ. Для них рас-

чет, а для меня его не должно быть; я должен, во 1-х, отказаться от поездки, ввиду того, что им угодно печатать в ноябре, а не в августе, и, кроме того, должен сейчас же воротиться домой и сесть снова за работу, тогда как я и без того устал. На этом основании я просил Ек<атерину> Ст<епановну> взять мою статью, которая напрасно бы лежала до ноября, так как к ноябрю я мог написать и другую. У меня тоже расчет. А г. Бахметьев опять изволил бранить Ек<атерину> Ст<епановну> и меня, тогда как он первый нарушил условие. В ноябре я решился ждать самого точного уведомления о числе, в которое нужно доставить статью. У меня тоже расчет, чтобы не вздумали отложить ее до января или февраля. Одновременно я получил письмо от Вас и от Лаврова телеграмму, что статья нужна не позже 10. 10-го ноября статья была в редакции, Вы это знаете, и попала в ноябрьскую книгу. Но так как и «От<ечественные> з<аписки>» также налегают на то, чтобы в осенних книгах были мои работы, то за прошлую осень я устал, а в ноябре особенно, я работал без перерыва и в «Рус<ской> мысли» и в «От<ечественных> з<аписках>». В это же время мне надобно было вносить деньги за дом, и я (после напечатания статьи в нояб<ьской> кн<иге> «Рус<ской> мысли») попросил у Лаврова 500 р. Он их дал и ждал моей работы к янв<арской> книге, которую я обещал, но — повторяю — я ужасно захворал в это время, неожиданно свалился с ног и написал об этом Лаврову, сказав, что не могу написать ни в «От<ечественные> з<аписки>», ни в «Рус<скую> мысль», потому что болен, но что *первая статья,* за которую я примусь, — будет для *Рус<ской> мысли.* Г. Лавров на это ответил мне тем, что не выслал ни одного экземпляра моей книги, которую он издал, что уж вполне глупо и невежливо. Я точно был болен, и за это колотить человека по малой мере подло. Что я был болен, это доказывает моя поездка на Кавказ, я уехал туда в январе и действительно умер бы, если бы не поехал. Ввиду уж совершенно нелепой грубости я отдал статью в «От<ечественные> зап<иски>», а в ред<акцию> «Рус<ской> мысли» написал письмо с просьбой, чтобы выслали мне счет. Счет я получил только в марте месяце. Это постоянное хрюканье с первой

статьи, постоянные появления г. Бахметьева у несчастной Ек<атерины> Степ<ановны> то с уведомлением, что я обманул, прислав $^3/_4$ вместо около двух листов, то негодование за обман по поводу взятой статьи, тогда как обман сделала ред<акция> «Рус<ской> м<ысли>», не напечатав статью именно в август<овской> книге, *как было условлено* с Лавровым, то это грубая и глупая выходка — не выслать ни одного экземпляра автору изданной книги за то, что он болен, фактически *не может* писать, наконец какой-то высокомерный тон, взятый г. Лавровым и г. Юрьевым, — все это решительно отбивает охоту иметь с ними дело. Лавров, например, написал мне всего одно письмо, в котором, отвечая на мое предложение писать ему в «Р<усскую> м<ысль>» от времени до времени «Письма из Петербурга», — оканчивает письмо так: «впрочем, у меня так болит голова, что я не сознаю хорошо, что именно пишу». Г. Юрьев, сердитый на меня за выражение — Любим Торцов, — повидавшись с Салтыковым и рассказывая ему своим юродским языком о моем поступке с рукописью: — «деньги взял, рукопись дал, потом взял, напечатал у Вас» — словом, передавая историю по возможности в подлом виде, — на вопрос Салтыкова — «какая рукопись?» отвечал: «Да вот та, где рассказывается про сифилис что-то!» То есть называет рукопись, которая была напечатана именно в «Рус<ской> мысли». Оно не совсем тонко, но достаточно топорно для того, чтобы видеть, что г. Юрьев не считает нужным помнить содерж<ание> моих статей. Наконец, во время печатания моей книги г. Лавров не только не присылал мне корректур, но даже и не уведомил. Я совершенно случайно, зайдя как-то на вокзал Н<иколаевской> дор<оги> с Михайловским, познакомился с Немиров<ичем>-Дан<ченко>, и тот мне сказал: «я читал последние листы вашей книги в корректуре». — А я и не знал, печатается она или нет. Когда я по желанию Солдатенкова (К. Т.) писал биографию Решетникова для полного собрания сочинений, то он вручал корректуру артельщику спального вагона; артельщик приходил ко мне утром, отдавал листы, а вечером заходил за ними. Г. Лавров ничего подобного не сделал. Перепутал все статьи, все страницы, весь порядок статей — точно пьяный. В самой средине

книги стоит приложение, тогда как у него было подробное расписание статей, и приложение должно было состоять из рассказца, на случай, если книга будет мала.

Между тем я, кроме того, что продал г. Лаврову за 300 р. (20 р. лист, 15 л.), — я дал ему в эту же книгу *без всякого вознаграждения шесть печатных листов,* то есть на *120 руб.* Можно бы хоть одно письмо написать о печатании книги и прислать корректуру! Я всегда ему был благодарен за то, что он не отказывал в деньгах, но прибавлять к ним свиное хрюканье — это излишне. За деньги я отвечал ему работой, и сам делал всевозможные уступки в денежном отношении.

6 печатных листов, кот<орые> я ему уступил бесплатно, даже согласно контракту должны были стоить 120 руб.

Затем, получая по 250 руб. за лист в «От<ечественных> з<аписках>», я брал с г. Лаврова 175, то есть терял гораздо больше, чем г. Лавров. В то время, когда я получал 250 руб. — я напечатал в «Рус<ской> м<ысли>» 4 печ<атных>листа, следов<ательно> — я потерял 300 р.

Да в то время, когда я получал 200 р. («Старики»), на полутора листах я также уступил 36 руб. Сочтите все это, пожалуйста (120 + 300 + 36 = 456 р.), — это деньги, которые я *мог* получить непременно (а 120 р. и должен бы был получить), — и Вы увидите, что я не так уж сильно обижал г. Лаврова, как ему кажется. Мои статьи он имел *всегда,* когда было ему нужно, за исключением прошлого января (1883 г.), когда я заболел, о чем свидетельствует моя поездка на Кавказ, предписанная докторами тогда безотлагательно. Я тогда проехал Москву, ни к кому не заезжая. Таким образом, выходит, что если Лавров мне делал одолжения денежные, то и я ему всячески в этом отношении уступал, делал все возможное в пределах моих средств. Право, я сомневаюсь, чтобы сам Лавров стал отдавать свои статьи по 175 р., когда за них дают 250. Работы он всегда имел, когда нужно. От него же я, кроме денег, получал только свинства, беспрерывные скандалы, устраивае<мые> г. Бахметьевым, упреки в обманах, прямо даже «надул», прислав $^{3}/_{4}$ листа, когда на самом деле прислано столько, сколько следует, и т. д. Вот почему я ни переписываться

с ним, ни входить в объяснения не желаю, а желаю развязаться. Поэтому-то я и прошу Вас подумать и ответить мне, если возможно: нельзя ли мне будет писать в «Рус<ском> кур<ьере>» литературные обозрения, 4 р<аза> в месяц, так, чтобы каждый фельетон обходился в 35 руб. при той плате, какую обыкновенно платите всем. По моему расчету, если я начну это дело с 1-го авг<уста>, то к 1-му января я уплачу Лаврову весь долг сполна. Я бы мог войти в соглашение с «Вес<тником> Европы» или «Делом», — но это повредит в моих отн<ошениях> к «От<ечественным> з<апискам>». Деньги эти я брать не буду, и они будут поступать прямо в кассу «Р<усской> м<ысли>» каждый раз или сразу в конце года. Это первое. А второе вот еще что: кроме путевых заметок, которые я буду безостановочно тянуть в «От<ечественных> з<аписках>» до конца года, — у меня есть несколько фельетонов под общим заглавием «В ожидании лучшего». Нельзя ли напечатать их в «Рус<ском> курьере»? Форма их — обыкновенная, как во всех моих статьях. Всех фельетонов 4. Я пришлю их к Вам тотчас по получении Вашего ответа. Они будут подписаны полным именем, и я бы хотел, в случае они годятся, чтобы г. Ланин заплатил за них капельку побольше, чем обыкновенно.

Вот моя к Вам просьба. Пожалуйста, ответьте, когда можно.

Преданный Вам *Г. Успенский.*

Ст. Чудово, Н<иколаевской> ж. д., д. Сябринцы.

89

В. А. ГОЛЬЦЕВУ

<10—13 июля 1883 г., д. Сябринцы>

Виктор Александрович! Посылаю Вам третий фельетон. Чтобы он уместился — все места, отчеркнутые сбоку, — могут быть напечатаны петитом. По моим соображениям, у меня должно выйти более 4-х фельетонов, словом, я даже бы желал продолжать их постоянно от времени до времени под тем же названием.

Что касается подписи, — то Вы увидите, прочитав этот фельетон, что подписывать его неудобно. Мои очерки «На родной ниве» я не подписывал, так как это не беллетристика, и я так чувствую себя свободней.

4-ый фельетон я пришлю скоро, но так как Вы имеете уже три фельетона, то я бы просил Вас окончательно решить: подойдут ли Вам эти работы, под псевдонимом? Если они Вам не подойдут и будут только мешать появлению заготовленного и лучшего материала, то Вы возвратите их мне, и тогда я их напечатаю в августе в «Отеч<ественных> зап<исках>», отложив путевые заметки до сентября. Печатать вместе фельетон и заметки — неудобно: 2 л<иста> заметок и $1^{1}/_{2}$ листа фельетона в одной книге — это составит гонорар более 800 р., чего редакция не может делать, так как с августа до января и далее — будут работы у меня каждый месяц. Печатать их в Петербурге в другом изд<ании> — неудобно, потому что издание не может платить 250 р. за лист, а взять дешевле нельзя, — потому что тогда «От<ечественные> з<аписки>» скажут — и мы будем платить дешевле. Вот почему я очень рад Вашему согласию приютить мои заметки в «Русском курьере».

Если же Вы найдете, что они не повредят Вам и под псевдонимом, — (а я уверен, что когда я распишусь, то они будут живее) — то я бы желал покончить и относительно условий: я желал бы, чтобы как за эти фельетоны, так и за литературные обозрения (на которые я надеюсь), — редакция платила мне одну, постоянную цифру — 35 руб.

Если это удобно и необременительно, — то я прошу выслать мне теперь 105 р. в Петербург, Невский, 131, кв. 8, Сергею Николаевичу Кривенко с перед<ачей> мне. Выслать можно, внеся деньги к Юнкеру и переслав мне квитанцию. Из конторы Юнкера в Петербурге я и получу деньги.

Затем иных условий, которые бы убавляли эту сумму, я никак принять не могу.

Если ж очерки эти не подойдут к Вам и Вы их мне возвратите, — то, пожалуйста, позвольте надеяться на литературные обозрения. Я к 1-му августа непременно вышлю первое. Деньги (также 35 р.) будут полностию поступать Лаврову. Это единственная возможность

расстаться с «Рус<ской> м<ыслью>». *Пожалуйста,* уведомите меня, могу ли я вполне рассчитывать на то, что литер<атурные> обозрения могут принадлежать мне. Это для меня весьма важно. Есть что написать о литературе за 20 лет! Что же касается до имени, — то, если даже Вы эти фельетоны возвратите, — что вовсе не может нарушить добрых отношений наших, — то я в половине августа пришлю Вам за полною подписью 2 маленьких рассказика, оба в 700—800 строчек вместе, — будьте в этом уверены.

Покорный слуга Ваш

Г. Успенский.

90

А. В. УСПЕНСКОЙ

<10—15 июля 1883 г., Петербург>

11 ч. утра.

Сейчас иду к Павленкову переговорить окончательно. Жду Гаршина — обещал прийти в 10 ч., но до сих пор нет. Если сегодня же будет заключено условие, то тотчас приеду домой, привезу деньги. Из Москвы деньги не пришли еще, и что же я буду делать с ними? Ситцу посылаю, если не понравится, то можно переменить на другой. Сшей-ка себе какое-нибудь платье из этого ситцу, какой по вкусу, да, пожалуйста, перестаньте волноваться. Право, и так всю жизнь идет бог знает что. Чем я вас обидел? Я знаю, что вот два месяца проходят совершенно бессмысленно. Я приеду, мы поговорим обо всем *спокойно.* Пожалуйста же, перестаньте.

Г. Успенский.

91

Е. С. НЕКРАСОВОЙ

<3 ноября 1883 г., Петербург>

Во 1-х, я и Орлов — две вещи совершенно разные. Как Вы этого не знаете? Я просил рассказывать мне для *литературных* целей, а не *кабачных разговоров.* Вы все думаете, что я только закусываю, а пишет-то кто? И

Ваше известие, что Вы мне ничего не сообщите, — очень нехорошо. Есть у Вас пенс-не? Вы наденьте его и посмотрите на меня и на Орлова — похожи ли мы друг на друга. Я еще и с Петровым закусывал — может быть, и поэтому со мной разговаривать нельзя? Обидно. Затем вот что: через того же Орлова Вы получите от меня три книги. Одна Вам, другая Гольцеву, а 3-я Янжулу. И прошу я Вас <......> [1] две из этих книг передать Гольцеву (т. е. его и Янжула), которого я прошу (чрез Вас) передать Янжулу.

Чем богат, тем и рад!

Что касается Круглова, то я его совер<шенно> не знаю и не видел. Пишет он бездушно, деревянно. Все может писать. Кроме того, мне передавали, что когда Оболенский обругал меня, то этот самый Круглов пришел в ред<акцию> «Жив<описного> обоз<рения>» и сказал: «Отлично! Так и надо, давно пора!» На меня сердито очень много бездарностей. А не знаю, может Круглов и хорош. Он тоже что-то строчил из народной жизни, но не вышло. А у меня хоть и плохо и нехудожественно, — а выходит, читают по временам. — Вот эти ординарные твари и сердятся.

Пишите мне, пожалуйста, только не о Кругловых. Я сегодня только что кончил работу, всю ночь не спал, устал ужасно и потому кончаю. Скоро приеду в Москву. Адр<ес> мой: Пале-Рояль, 51.

Портрет у Бергамаско. Снимался 6 раз — и всё скверно. Теперь у Шапиро сняли хорошо. Его гравируют в Париже у Панемекера. Получится — сейчас пришлю.

Ваш *Г Успенский.*

---

[1] В подлиннике одна строка зачеркнута. — *Ред.*



1884

92

В РЕДАКЦИЮ «НОВОГО ВРЕМЕНИ»

<24 февраля 1884 г., Петербург>

Милостивый государь.

В статье г. Буренина, помещенной 24 февраля в «Новом времени», между прочим, есть следующие строки: «.. Г. Успенский... не числится в категории столпов издания («Отечественные записки») и рядом с г. Салтыковым стоит не он, а гг. Елисеев и Михайловский. Названные два публициста разделяют все выгоды основных подпор журнала.. Я указываю на это обстоятельство как на характерную черту нравов наших ежемесячных органов, где нередко капралом бывает не тот, кто имеет действительное право на капральство, а тот, «кто раньше встал». Впрочем, г. Михайловский, например, даже и не раньше г. Успенского встал в «Отечественных записках». а г. Успенский, как скромный талант, несмотря на все свои заслуги журналу, капральством не пользуется и до сих пор принужден писать в неблагоприятных для беллетриста условиях, до сих пор принужден насиловать свое дарование спешной работой».

Это неверно. Если мне удалось благополучно перенести невзгоды «писательского» существования, бывшие столь обычными во времена старых журнальных отношений (с чем соглашается и г. Буренин в другой своей статье), то я обязан этим исключительно «Отечественным запискам». Возвысив мой гонорар до степени получаемого г. Салтыковым, обеспечивая мне авансы, заботливо

поспешая удовлетворить мои материальные нужды, когда это бывает необходимо, — «Отечественные записки» сделали что могли; и во всяком случае уже не их вина, если я бываю и теперь «принужден насиловать свое дарование спешной работой». Условия такого «принуждения» ни в каком случае не зависят и не могут зависеть ни от какого «издания», будь оно ежемесячным или ежедневным.

Неосновательно заключение г. Буренина и относительно «капральства», которым, по его мнению, должен бы пользоваться я. Это «капральство» связано с такими особенностями труда, при которых я, без всякого сомнения, еще более был бы принужден «насиловать свое дарование спешной работой». Кроме того, оно предполагает известные способности — навык к редакционной работе, умение разбираться в текущих журнальных материалах, готовность жертвовать для этого временем, дорогим лично *для себя.*

Эти способности и определили «категорию столпов издания». И то обстоятельство, что я «не числюсь в категории», ни в каком случае нельзя назвать «неблагоприятным» для меня как для «беллетриста».

24 февраля 1884. СПб.

93

Н. К. МИХАЙЛОВСКОМУ

(Отрывок)

<Конец февраля 1884 г., д. Сябринцы (?)>

<.... .> Я прочитал фельетон <Буренина>. Начинается нечто глубоко подлое. Если принять к сердцу, то надо бить. по щеке. Но избави господи, если Вы примете к сердцу эти хитрые замыслы вовлечь Вас в беду; какая-то шайка образовалась разбойничья. Совершенно прекратить с ней всякие разговоры — самое лучшее и единственное. Я не хотел Вас огорчать и не писал Вам об этом фельетоне, но если Вы его прочитаете и будете отвечать хотя бы С<уворину> как все-таки человеку...

то будет просто бог знает что, и Вас расстроит до невозможности. Необходимо просто уйти, плюнув им всем в рыло особой статьей в «Русских ведомостях» и раз навсегда. Это вольные казаки, разбойники, шайка — одним словом. Никакой тут литературы нет. Так именно и надо сказать, что это не писатели. Прочитать надо, но не надо огорчаться; начинается чортово, омутовое дело, шабаш ведьм — не ходите туда; надо дунуть и плюнуть, и пусть они безобразничают как угодно. Не огорчайтесь же, дорогой Н<иколай> К<онстантинович.. ...>

94

М. М. СТАСЮЛЕВИЧУ

<20—30 апреля 1884 г., д. Сябринцы>

Милостивый государь
Михаил Матвеевич!

Позвольте обратиться к Вам с покорнейшей просьбой. Закрытие «Отечеств<енных> зап<исок>» вынуждает меня, — как и других сотрудников этого журнала, — навязывать свои работы другим изданиям. Я желал бы по временам помещать свои работы в Вашем издании, и не потому только, что «негде писать», а и потому, что отзывы, печатавшиеся в «В<естнике> Е<вропы>» о моих книгах, дают мне некоторое право думать, что статьи мои не будут особенно противоречить общему направлению журнала.

Позволяю себе, — пользуясь этим случаем, — принести искреннюю мою благодарность А. Н. Пыпину, Е. И. Утину и К. К. Арсеньеву как за их внимание к моим работам, так и за ценные для меня указания, встреченные мною в их критических, обо мне, статьях.

Представить в редакцию «В<естника> Евр<опы>» какую-нибудь готовую, оконченную работу теперь же — я не могу потому, что теперь я работал над очерками, прерванными закрытием журнала, и, следоват<ельно>, должен бросить, — конечно, на некоторое время, — матерьял, приготовленный на май, июнь и июль. Со временем, быть может, я и переработаю то, что осталось недо-

писанным, но сейчас начинать другую, новую работу, когда и старая еще не вышла из головы, мне трудно, да и выйдет она нехорошо.

Мне бы теперь хотелось воспользоваться тремя летними месяцами, чтобы немного отдохнуть, полечиться, почитать и перечитать вновь все, что написано по поводу моего издания, словом подумать о многом и приняться за работу осенью. К 15-му сентября я могу обещать Вам вполне законченную повесть, листов около 4-х. Я бы написал ее не спеша на этот раз, это необходимо, время так сложно.

В «Отеч<ественных> зап<исках>» за последние 2 года я получал полистной платы 250 р. Эта высокая плата назначена была, вероятно, потому, что я работал в «От<ечественных> з<аписках>» с самого основания журнала. Желать, чтобы и «В<естник> Е<вропы>» платил мне такое же вознаграждение, — я не имею ни права, ни намерения и, даже просто сказать, не возьму. Убавьте эту цифру на столько, на сколько найдете нужным, чтобы быть справедливым по отношению к другим, заслуженным сотрудникам Вашего издания, и я буду Вам благодарен.

Какой бы гонорар Вы мне ни назначили, я желал бы, чтобы Вы не отказали мне в кредите за 3 печатных листа, т. е. выдали бы мне теперь сумму за 3 печ. листа, которые я доставлю к 15 сентября. Затем я не буду беспокоить Вас просьбами «денег вперед», и расчеты будут производиться всегда исключительно после того, как статья будет напечатана. Если я позволяю себе теперь беспокоить Вас, то только потому, что перерыв в работе слишком неожиданен, и потому, что сейчас начать новую работу — невозможно по причинам, о которых я сказал выше. По закрытии «От<ечественных> зап<исок>», в которых я работал с <18>68 г., — за мною не числится никакого денежного долга, да и вообще, будьте уверены, что я в этом отношении не сделаю Вам никаких беспокойств и затруднений.

Письмо это я прошу передать Вам мою жену, так как сам я нахожусь в деревне и в настоящую минуту чувствую себя весьма расстроенным. Иначе я бы явился к Вам лично, что и сделаю непременно, едва оправлюсь.

Не откажите чрез нее же, мою жену, передать мне и Ваш ответ на это письмо и примите уверение в искреннем моем к Вам уважении.

Г. Успенский.

P. S. Временный адрес моей жены в Петербурге: Дмитровский пер., д. № 13, кв. 14. Александре Васильевне Успенской.

95

В. А. ГОЛЬЦЕВУ

<Конец апреля — начало мая 1884 г.,
д. Сябринцы>

Многоуважаемый
Виктор Александрович!

Лихорадка треплет меня две недели, и вот почему я не тотчас отвечаю на Ваше письмо. Скажу Вам, что я избрал Фл<орентия> Ф<едоровича> Павленкова, человека вполне честного и справедливого, посредником между мною и г. Бахметьевым, по поводу недоразумений и неприятностей. Я написал Павленкову все подробно, приложил все письма и квитанции; и прошу, чтобы и г. Бахметьев, также ничего не утаивая, объяснил Павленкову, в чем собственно я провинился и какие основания имели редакция и г. Лавров делать мне самые бесцеремонные личные оскорбления. Как решит Павленков, так и будет.

Позвольте обратиться к Вам с покорной просьбой. Я сейчас прочитал рукопись женщины-врача Доры Исааковны Аптекман «Из записок земского врача», исправил ее и просил ее переписать, с тем, чтобы отправить ее Вам. Буду ли я писать в «Р<усской> м<ысли>» или нет, я убедительно прошу Вас обратить внимание на эту рукопись, и, пожалуйста, поместите ее в июне или июле месяцах. И если рукопись будет принята, то не вышлет ли ей редакция немного денег вперед? Такие вещи, по-моему, положительно необходимо печатать. — Это действительно нечто *новое* в русской жизни, *новое* действительно. Г-жа Аптекман вслед за этой статьей приготовит к осени другую, «Годы учения», т. е. все эти Цюрихи, Берны и т. д. Это тоже нечто новое, особливо для боль-

шинства русской публики. Еще раз я убедительно прошу Вас быть снисходительным к первой работе. Я исправил в рукописи все, что нашел нужным, но так как Д. И. еврейка, то при переписке она может опять употребить неправильные обороты, что я думаю легко исправить в корректуре.

Я еще не подносил Вам моих 3 томов книг. Это произошло от ошибки типографии, которая отпечатала меньшее количество экземпляров (на веленевой). Осенью это будет исправлено, и в августе я вышлю Вам 2, 3, 4 и 2 т. новых — 5 и 6-ой.

Всегда преданный уважающий Вас

Г Успенский.

Автора звать: Дора Исаковна — по-еврейски и Дарья Игнатьевна — по-русски. Пишу это для того, что при присылке рукописи она может дать свой адрес по-русски, причем окажется совсем не той, про которую я Вам пишу.

96

Н. К. МИХАЙЛОВСКОМУ

<Начало мая 1884 г., д. Сябринцы>

Дорогой Николай Константинович!

Я глубоко-глубоко нездоров сию минуту. Ехать в Питер не могу, да и незачем мне; не поеду также и в провинцию. У меня к Вам две просьбы. 1-ая состоит в том, чтобы Вы написали инженеру Пыжову, не даст ли он мне при постройке дороги какого-нибудь места рублей в 75, даже в 50. Лишь бы мне пробыть лето в отъезде, в провинции. Чем чернее, т. е. элементарнее работа, — тем лучше. Пожалуйста, напишите ему, если можно, теперь же; а во 2-х, пожалуйста, если поедете в Москву, загляните ко мне и захватите рукопись о Трудолюбии и Тунеядстве. Она мне теперь до крайности нужна. Надо бы работать. Я думаю обделать нечто беллетристическое, а самую рукопись возвращу Вам. И в 3-х, опять-таки загляните ко мне.

Ваш *Г Успенский.*

P. S. Не написать ли мне, грехом, Екат<ерине> Пав<ловне>, чтобы она похлопотала мне местечка у Пыжова? Неужто она не напишет ему, чтобы дал, дьявол?

97

А. В. УСПЕНСКОЙ

<16 июня 1884 г., Нижний-Новгород>

Любезный друг! Сейчас получил твое письмо, — очень, очень спасибо! Я все время сидел за работой и отправил сегодня Павленкову половину 5-го тома, а сейчас — семь часов вечера, — еду на пароход, где и буду пить чай, потом спать, а в 2 часа уеду. Вероятно, буду спать. Не знаю, почему-то мне теперь не хочется, чтобы Саша был в Новгороде. Впрочем, пожалуйста, посмотри Нов<городское> реальное училище. Товарищ Грибоедов<а> говорил, что он узнавал и что оно самое лучшее считается. Грибоедов и приятель его будут у тебя в начале июля, а может быть и раньше.

Да! Если есть какая-нибудь возможность, пожалуйста, пошли Тверитинову 15 руб. Просто возьми у Ивана Николаевича, плотника, он даст с удовольствием. В Тверь, на углу Всехсвятской и Семеновской, д. Лебедевской, А. Н. Тверитинову. Если есть какая-нибудь малейшая возможность, не даст ли Серова дней на десять? Если нет у Ив<ана> Николаевича.

Что еще написать? Если будешь на днях, то есть через день-два после этого письма, в Петербурге, загляни к Павленкову и только спроси — может он послать мне 75 руб., и если может, чтоб послал. Но не торопи и не пугай его.

Ну, прощайте! Будьте все здоровы. Надо ехать. Скучно как-то. В Нижнем-Новгороде какая масса голодного народу. Хотел съездить на побоище — не пускают. И никто не разговаривает — боятся, запрещено говорить. Но мне кажется, что тут еще и не то будет.

Ну, до свидания! Справляйтесь как можно, — приеду, может быть все будет хорошо.

Целую тебя, ребят, а всем знакомым кланяюсь.

Твой *Г. Усп<енский>*.

98

А. В. УСПЕНСКОЙ

Казань, на пароходе <19—21 июня 1884 г.>

Друг любезный. По началу поездка моя не совсем удачна, не знаю, что будет дальше. Говорят, что с следующим пароходом дней через пять придет баржа с переселенцами. Если так, то я ее дождусь в Перми, куда мне перешлют твои письма из Нижнего и где я буду ждать письма от Павленкова и денег. А пока плохо. Скучно. Пароход пустой, нет ни единой души, с кем бы слово сказать, да и не нравится мне этот народ, чухна обруселая, вроде Решетникова. Хотел что-нибудь писать, но пароход так трясет и такой он скверный — что ничего нельзя делать. Даже тошнит, когда ешь, все звенит, дребезжит, мелькает в глазах. Спать почти невозможно от этой тряски. Теперь 4 ч. утра, только что пришли к Казани. Пишу это письмо, чтобы опустить в ящик, и лягу спать, пароход будет стоять до 11 ч. утра спокойно.

Пожалуйста, напиши Н. А. Ярошенко, чтобы он написал мне в Пермь до *востреб<ования>*, какие месяцы он пробудет на заводе и как его разыскать. Пиши ему на квартиру. Сергиевская, 61, кв. 2. Там перешлют. Что с Крив<енко> и Эрт<елем>? Съезди с Сашей к Михайловскому. *«В чем моя вера»* Толстого можно купить у Иван<а> Иван<овича>, и непременно купи. Как жаль, что я забыл книжку, которую купил у Пав<ла> Ник<олаевича>. Что писать? Если все вы здоровы — слава богу. В Перми придется просидеть дней 5—6 за работой и в ожидании денег. Деньги у меня есть, и я, если Павленков пришлет еще 75 р., буду в *Бийске*, оттуда в *Семипалатинск* (вот этот-то промежуток и любопытен), а оттуда уж домой. Если только моя скука не затомит. А ужасно скучно. Все как-то противно и вовсе не интересно. Старость пришла.

Ну, будьте здоровы. Прощай, друг любезный, поцелуй Сашу, Веру.

Твой *Г. Успенский.*

99

Е. П. ЛЕТКОВОЙ

Пермь, 24 июня <18>84 г.

Второй день, дорогая Екатерина Павловна, сижу в Перми, жду разных «до востребований» и безумно скучаю. Не нравится мне пока эта еловая сторона! Как я рад был Вашей телеграмме, которую получил тотчас, как только приехал, — точно истинно родное почудилось в этой чужой стороне. В Екатеринбурге я непременно зайду к инженеру и поговорю и во всяком случае не обеспокою. До чего трудно жить на свете, имея «известность», — просто ужасно: слова не добьешься по-человечески, все говорят как с литератором, чаю нельзя напиться как хочется, сесть поджавши ноги на стул, сказать вздор, — невозможно! Все надо умное, отчего и выходит одна глупость. Впрочем, я еще почти ничего не видал.

Однако к делу. Ну так, дай бог память, — с чего ж *все это* началось-то?

У Эдгара Поэ есть рассказ «Чорт в ратуше». Изображен крошечный немецкий городок, жизнь в котором идет, как часы, ровно, однообразно и действительно «по часам». Часы эти в ратуше на башне. В такой-то час жители городка просыпаются, мальчики идут в школу, хозяйки на рынок, мужья в должность, в лавку. Часы указывают каждому и что делать и что думать. Это была своего рода власть, которой весь городок привык повиноваться. Так и шло дело долгие годы. Но вот в один прекрасный день, и в известный час, именно в двенадцать, жители стали обедать. По обыкновению они при первом ударе садились за стол, когда било шесть — на столе появлялось кушанье, когда раздавался двенадцатый удар, хозяин выпивал рюмку. И так во всем городе и все до единого. И вдруг, в ту самую минуту, когда все подносили ко рту рюмки, когда все кухарки несли миски с супом и т. д. — вдруг в городской ратуше пробило — тринадцать часов; весь город ошалел сразу. Тот, кто хотел уже проглотить рюмку, так и окаменел с ней, держа в руке, кухарки остановились в дверях; руки с вилками и ложками тоже окаменели — словом, все ничего не понимали, — но вслед за этим ударом последовал еще и четырнадцатый. Тут

уже все потеряли голову — испугались; хозяин выплеснул водку и попал жене в морду, кухарка бросила миску с супом, все бросились на улицу, собаки принялись выть, — словом, весь порядок жизни сразу нарушился, все спуталось, мужья перепутались с женами, жены перемешали дома и мужей — чужих со своими. (Часы испортились) — словом, вышло чорт знает что. Я рассказываю из пятого в десятое, но этот рассказ припоминается мне всякий раз, когда я подумаю, «с чего собственно началось-то?»

До декабря прошлого года также был между Москвой, Петербургом и Любанью вполне установившийся порядок. Дядя из Любани ехал в Москву, потому что в Петербурге министром внутр<енних> дел Толстой, и нужно поэтому воздействовать на московскую интеллигенцию. Для того, чтобы все знали о вреде министерства Толстого, — прихватывал Кривенко и Софию Ермол<аевну>, полный комплект и программа в лицах. Затем шествие следовало так: к Орлову, от Орлова *пока* в Московск<ий> трактир, потом в Петровск<о>-Разум<овское>. Там уславливались, день, час, минута — и место, пообедать *сообща,* потому что реакция и Катков дошли до геркулесовых столбов безобразия. Орлов в это время уже едва держится на ногах, закусывая, улыбаясь, опять закусывая, влезая и вылезая из колясок, поднимаясь и спускаясь с лестниц, ничего не понимая, и опять улыбаясь и закусывая; затем, или одновременно с этими хлопотами, шла езда, — к Кат<ерине> Пав<ловне>, — от Кат<ерины> Пав<ловны> к Орлову, к Иванюкову поодиночке, по-двое, по-трое, потом навстречу друг другу из Петров<ского> парка к Кат<ерине> Пав<ловне>, в Слав<янский> базар, в Лоскутный и т. д. Дня два люди жали друг другу руки, говорили многозначительные обиняки, пили, вздыхали, скучали адски, закусывали, тая в душе язву «из ничего ничего не выйдет», «ничего не вышло» и т. п. Наконец, когда «ничего не выходило» в действительности, — дело оказалось возможным и закончить. Все время Орлов то молчал, то бормотал что-то о Пензенской губернии, то заказывал закуски, толковал о грибках и начинке. Сер<гей> Ник<олаевич> действовал на всех своим целомудрием, поминутно возбуждая всеобщее огорчение в том, что не пьет и вообще целомудренно ничего не говорит, С<офия> Ер<молаевна> все время

доказывала своим выраж<ением> лица, что «ничего не выйдет». Михайлов<ский>, жалея, что ничего не выходит, целовал ручки (молчание, молчание), хлопал то по верхней стороне ручки, то с изнанки, то пожмет, то потянет; лучше всех вел себя Иванюков, Кат<ерина> В<асильевна> не знаю лучше ли, но многозначительнее — и, наконец, наступало окончание, — кажется, тут все ехали в одном экипаже и уж потом как-то разделялись.

Но кажется, что вообще ничего не выходило, хотя шло своим порядком. По окончании всего Орлов становился в шкаф-душу... и стоял под дождем два часа, потом два дня спал, в ожидании будущей телеграммы о приезде вновь.

Так все шло своим чередом. И вдруг — тринадцать часов! Это, кажется, было в декабре. Поехали в Москву — как всегда вполне комплектом. Дядя, Сереженька и Соничка. И всё по порядку — и Орлов, и Иванюков, и Кат<ерина> Вас<ильевна>, и Слав<янский> базар, и Ковалев<ский>, и Гольцев, и Ек<атерина> Пав<ловна>, и ручки, и закуски, Макс<имов>, Успен<ский>, и «сообча», и всё как должно. В конце концов — конечно и тяжело и ровно ничего; и Орлов уж влез в свой шкаф, и уж сделал — фффу! . вздох за все мытарства, как вдруг — тринадцать часов! К<атерина> П<авловна> — исчезла неизвестно куда. Дядя дает Орлову телеграмму (всё по телеграфу) — Орлов растерялся и побежал закусывать в М<осковский> трактир, потом принялся телеграфировать. Ек<атерина> Васильевна тоже телеграфировала, куда — неизвестно. Иванюков как ехал куда-то по Тверской, так ошалел, слез с извозчика и неизвестно почему купил летний картуз. Орлов продолжал закусывать и телеграфировать почему-то мне, тогда как Мих<айловский> телеграфировал почему-то Орлову, причем тот только потел, видел, что что-то *«вышло»*, и отвечал телеграммой: «буду с почтовым пятницу». Я тоже поехал с почтовым; С<ергей> Ник<олаевич> Кривенко в этой суматохе разорвал семейные узы, но молчал и ни слова никому не говорил, — а Ек<атерины> П<авловны> — все нет: была, проехала, восьмого видели вот тут, «я видел своими глазами, о самом об этом месте была».— Да она ли? — «Она самая!» — Куда же она девалась? — «А господь ее знает! Сейчас была — и нет!» Наконец

начались аресты. Одного посадили, другого посадили, все, оставшиеся в целости, стали разбегаться, прятаться, — телеграфировать и ехать, — и все толку нет. Наконец, когда обозначилось, что Е<катерина> П<авловна> мелькнула в окне д. № 34 по Бассейной, остатки разбитой «партии», кой-как изуродованные, растрепанные, собрались в Любани, — дядя, Орлов, я.

Долго мы молчали, закусывали молча; дождик, гололедица. Скука необыкновенная, тоска; всем худо, все что-то как будто много лгали, много пили, много боялись, много не верили и вообще чувствовали себя подло. Часа два мы закусывали, пили пиво, молчали, вздыхали, курили...

— Однако! — наконец скажет кто-нибудь.

— Да! — через полчаса ответит другой. — Ничего! С божьей помощью оборот!.. — А через час Орлов произносит:

— Искусно!

Вздыхает и пьет пиво. Дядя ходит из угла в угол, пьет тоже пиво, бороду треплет, остановится против меня и скажет:

— Так вот эдаким-то манером? а?

Я помолчу, выпью стакан пива, подумаю, ничего не придумаю и скажу:

— Д-да! Благосклонно!

А Орлов прибавит:

— На отделку!

И опять молчим, курим, вздыхаем, молчим, пьем. Кто ходит, кто приляжет.

— Да когда же она проехала?

— Да понимаете: я телеграфировал Ник<олаю> Пав<ловичу>, — а он отвечал: «приеду пятницу с почтовым».

— Что же я буду телеграфировать, — оправдывается Н<иколай> П<авлович> (говоря быстро-быстро, без остановки), — когда я сейчас же бросился к тому, как его? в Московский, за Иванюковым, — прождал его пять часов, а тут Лавров поехал в Стрельну. Где я его, чорта, найду? Я тотчас же бросился. Ведь кто ж ее знал... Где? Откуда я возьму. Где? где? Там все: где — где — где... Янжул идет — слышали? и из «Русских ведомостей» Джаншиев догнал на извозчике,—слышали? гов<орит>.

Ну я и телеграфировал: «приеду в пятницу почтовым». Какого же чорта? Что же, есть пивцо-то?

— Пивца надо послать...

Посылаем — пьем и в<з>дыхаем, но вдруг кто-нибудь спьяна, вдруг захохочет и забормочет.

— А-а-аднако! ха-ха-ха! Вот так превосходно! Ей-богу, молодчина Кат<ерина> Пав<ловна>!

— Она молодец! Это уж что... ха-ха-ха-ха... Ведь... Нет! Ей-богу, ловко!..

— И знаете: ей-богу, отлично!

— Н-ну, это еще чорт его знает как... А искусно!

— Понимаете ли: я сам своими глазами видел, говорил... И вдруг! Нет, это что-то... не того!

— Что «не того»?

— Да — так вообще: как-то так... Чорт его знает, что такое вообще... Уехал я, уехал Орлов, — но именно такая же точно тягота от всего этого и сейчас.

Шутки, шутки, — а посмотрите, пожалуйста, как сложилась жизнь, — и это решительно *у всех.* Пожалуйста, не думайте, что есть какие-то счастливцы, у которых все идет хорошо, полно, искренно, правильно. Уверяю Вас, нет этого, и не может быть. Кроме Боборыкиных, которые устроили очень умно свою туалетную жизнь, — не знаю семейства, где бы *теперь* не копошилась беспрестанно мысль, — что же это значит, зачем, что выйдет и что надо делать, чтобы как-нибудь были умней, проще, искренней отношения.

Посмотрите, пожалуйста, какие складываются комбинации: возьмите Сереженьку: жил с женой 15 лет, имеет ребенка, — жена, он и ребенок были одно, совершенно одно, вдруг является С<офья> Ер<молаевна> и привлекает Сер<еженьку> к деятельности, но он бросает жену, чего даже не нужно «для дела», и С<офии> Е<рмолаевне> соверш<енно> не нужно семейства для дела-то. Они толкуют о деле, о семействе, которое вредит делу, С<ергей> Н<иколаевич> жалуется на то, что «семья», а то бы он раньше, — и вновь делают семью. Хорошо, разрывай, тогда и расходись. Нет, страшно. Сойдясь с С<офьей> Е<рмолаевной> на деле, — продолжать его обыкновенной семейной дорогой (ребенок, нянька и т. д.), но ведь это все уже пережито, и *мешало?* Приходится человеку неглупому, честному созидать та-

кие планы: «ты, говорит он жене, будешь ходить за детьми Соф<ьи> Ер<молаевны>, а мы будем дело делать. . .» — «Нет, я не буду. Отчего ты о деле со мной не говорил 15 лет, а теперь я нянчить. . .» — «Если ты меня любишь, ты должна!» — «Но ты меня не любишь». — «Нет, люблю». — «Зачем же с С<офьей> Е<рмолаевной>? Если дело, то *это* зачем. .» И дело, и это, и слезы, и привычка к старой жене, и страх за новую жену, которая хоть и будет матерью, но против семейных забот — воспитана на общественном деле. Разберите, пожалуйста, все это. Как, чем и кому тут можно помочь, высвободить, устроить, облегчить? Везде нужны какие-то огромные силы самопожертвования, — и вместе с тем везде человек, которого приглашают жертвовать собою, оскорблен до глубины костей, а тот, кто оскорбил, знает, что он и виноват, и подл, и слаб, и вообще свинья. Что же тут делать, как распутать?

Уверяю Вас, что это везде, где нельзя облагообразить отношения туалетными приемами, как счастливо может делать Боборыкин с супругой.

Я за то, — чтобы молчать и терпеть до тех пор, пока в душе есть еще хоть капля ощущения, говорящего — «нельзя, нехорошо, неблагородно, подло». Покуда это звучит, — надо молчать и терпеть. Но когда это замолкнет — смело уходить прочь. И тогда это и справедливо и не больно. Надобно изжить (в семейной жизни) все, что считаешь обязанным изжить, — а тогда само собой будет легко. Я испытал это. Кажется, нет выхода, му́ка, смерть, путаница, смерть чаще всего мерещится; кажется, я освобожусь — она погибнет, она освободится — я погибну или он погибнет, — и когда это кажется, — это совершенно верно: есть что-то непережитое, что не дает возможности освободиться ни тому, ни другому. Вот тут (в *благородном* кругу) спасение в постороннем — литература, искусство, «дело», а для дам *лучше всего* дети. Это большое спасение в маяте непонятной и тяжкой (эта *маята* у всех на свете). Но маята эта *непременно* окончится, настанет минута полного успокоения душевного, настанет сразу, как сразу распускается цветок, которого вчера еще и в помине не было; вдруг человек начинает чувствовать право, полное, несомненное право жить по-другому, легкость и твердость вместо тяжести и тоски.

Впрочем, — я решительно не советчик. Кроме слова терпеть, я ничего не знаю.

Ваше большое письмо исполнено какого-то несерьезного волнения; то есть, может быть, Вам и волноваться-то не нужно бы было тем, чем волнуетесь Вы, а Вам кажется, что ужасно все серьезно, что как будто надо волноваться. Ек<атерина> Вас<ильевна> какое-то изречение изрекла. Н<иколай> К<онстантинович> тоже изрек — «слишком быстрый разрыв есть вред». Ек<атерина> В<асильевна> сказала: «нервные люди достойны заблуждения» или что-то такое, — словом, какое-то изречение, над которым стоит ломать голову и волноваться. Все запутаны, все несчастны, все не знают, как выбраться на белый свет. Что уж тут изрекать, прорицать, судить, точно все *знают*, как надо бы было или как не надо, — а Вам кажется, что Вы только не знаете и попали в какие-то сложные отношения. Все в самых ужасных, сложных и глупых положениях, — будьте в этом уверены и спокойны. В этом-то и *вопрос*, и дело, и было бы чрезвычайно хорошо, если бы Вы теперь писали искренно, просто. *Вышло* трудно, — а легко не могло выйти, и это у всех. Отчего же дядя-то Любанец не сделал хорошо? И ему *нельзя,* надо, чтобы выходило худо, трудно, чорт знает что.

Дядю я видел пред отъездом и довольно часто. Он там же. Теперь в Москву ему нельзя ездить. 24 мая полиция пригласила его уехать оттуда, и теперь он будет жить, вероятно, в Твери. Ему скучно, очень и очень, от всего. Но «эпизод», право, хорошо на него подействовал, он стал не только «умным», но умным человеком. Такое огорчение не бывало ему знакомо, т. е. огорчение обыкновенного человека (а не только необыкновенного умника, каков он есть и каким жил). Он по-человечески опечалился и опечалился именно собою, чего не бывало никогда, совестью своею: ведь должен же он теперь совершенно ясно видеть, как трудно *жить* и как легко отлично думать о жизни. Теперь он и о себе, и о Вас, и о Кр<ивенко>, и о С<офье> Ер<молаевне> думает по-живому,— и это хорошо, а то он был точно из проволоки сделанный ум, голый, без человечьего мяса. И писать он будет хорошо, живей и жизненней, но теперь ему тяжело очень, вообще. Теперь он живет с семьей. Жена его неумна, но и не глупа экстраординарно. Именно она ординарна, и ничего

особенно худого в ней нет. Но есть одно — она не врет ничего, не (*1 нрзб.*)... а так все бормочет, что у нее на уме, ничего не утаит, сплошь все выкладывает ровным однозвучным голосом, — она утомительна для так<ого> ч<еловека>, как Михайловский, который правильно мыслит и для которого именно невыносимо, должно быть, это искреннее и безидейное существо, у которого мысли идут, как облака или как мухи ползают по стене. Но что же с ней сделать за это? Расказнить? Но вот именно потому-то, что она глупа и проста до глупости, разиня, рубаха, которой всякий может, если бы захотел, забормотать и запугать, именно ее-то и *невозможно* расказнить, а надо с ней жить, постоянно волнуясь, — «да когда же ты перестанешь говорить вздор?» «Ведь это нелепость!» и т. д. *Именно поэтому-то и нельзя* ее оставить, дубину, на произвол судьбы. Вот она жизнь-то какова чортова!

Не знаю, но во всех этих мучениях, которые видишь и переживаешь, (не знаю еще) почему-то истор<ия> Крив<енко> мне просто противна. Я не могу еще хорошенько объяснить, почему это, но что гнусно тут и глупо и как-то по-свински просто. Не знаю, но знаю, что не могу даже написать С<ергею> Н<иколаевичу> письма в его тяжкое заключение. Не поднимается рука, — а были приятели. И это у меня камнем лежит на душе.

Словом, чорт знает что делается на свете — тоска чортова. Ну, не скучайте, пожалуйста. Все будет хорошо. Сегодня мне тяжело и скучно и вообще очень скверно, не пишется, в голову ничего путного не идет. 2-ой день сижу один в № и жду, — одурел совершенно.

До гроба *Г Успенский.*

P. S. Вот моя маленькая просьба. Я теперь печатаю 5 т. моих ерундиц. Я тут в Перми читал кой-что из старого, поправлял, чтобы послать в Петербург, издателю. Если у Вас будет *совершенно свободная минута*, пожалуйста, прочитайте мои очерки «Крестьянин и крестьянский труд» и рассказ «Пришло на память». Они помещены в моем издании (3 кн.) *Деревенская неурядица.* В этих очерках есть что-то, и мне хочется знать, как они Вам покажутся, о чем я Христом богом прошу Вас мне написать в Нижний до востреб<ования>. В рас-

сказе «Пришло на память» Демьян Ив<анович> то же лицо, что Ив<ан> Ерм<олаевич> (там увидите), только все это изуродовано, потому что надо было писать как будто вновь. Но эти вещи неразрывны. В «Крест<ьянине> и кр<естьянском> труде» прочит<айте>, пожалуйста, первые 3 главы, потом «Пастух», «Мишка», потом «Пришло на память». Здесь нет народн<ых> страданий — напротив. Когда будете читать третью главу (там есть о Кольцове) — то, пожалуйста, после чтения перечитайте «Урожай» Кольцова, *внимательно.* Вот где есть что-то вполне гармоническое и целое, написано без всяких «общин», тайн народного духа и т. д. нет, все побожески.

Когда прочитаете, пожалуйста, напишите.

Отчего это Вы лето в Москве живете? В духоте? Одни квасные бутылки на углах улиц в лавчонках могут свести с ума. Хоть бы Вы близ Троицы или Алексеевского погостили.

Дядя поедет в 1-х числах июля в Тульскую губ. к Толстому, поговорить, не знает ли тот секрета, как жить на белом свете и в чем собственно дело. Хотел и я поехать, но раздумал. Тоска, скучно стало, и дяде стало скучно; в последний раз на станции в Любани мы сидели с ним часа два молча, пили коньяк с зельт<ерской> водой и говорили через час по ложке... «Однако!», «Да, искусно!» и т. д.

Екат<ерина> Пав<ловна>! Ангел превосходный и благосклонный! Сей час получил Ваше письмо. Как будто в бурях есть покой! Нет, я просто ненавижу Москву и ее расказню! *Прилично ли* — это не то слово написано, надо было сказать — «по скусу ли теперь», потому у человека одно время бывает один скус, а другое — другой. Я писать Вам буду. Настоящего письма мне теперь не хочется посылать, но я посылаю; много в нем ерунды, но потому, что я в самом скверном настроении — не нравится мне здесь, да и кончено! Думаю даже уехать в Уфу вместо Тюмени.

Но место в Ек<атеринбурге> — мне будет нужно осенью, и я Вам очень за это благодарен. Теперь вот какие мои дела: надо в августе устраивать сына в Петерб<ург>, он поступает в гимназию, следов<ательно>

надо быть там, воротиться. Кроме того, у меня в голове есть *старые* какие-то мысли, которые надобно оттуда выкинуть, то есть доработать, дописать старое, иначе новому не будет помещения. Это опять-таки надо делать дома, в привычной обстановке. Но этого «старого» хватит месяца на два, а потом я *должен даже* приниматься за новое, и тогда я с удовольствием и благодарностью поеду хоть к чорту на рога.

Я думаю, что *им* все равно, дать мне место в июле или октябре?

Еще раз я прочитал Ваше письмо, — и вижу: «ничего! славу богу! что ж?»

Бури?

— Что ж? — говорит купец у Остров<ского>. — Ничево! . . Можно! . .

Рабенка?

— И это дело не хитрое. У Грибоедова на этот счет сказано вполне справедливо. Ничего! Можно!

Что касается меня, то я купил себе варенье, на банке написано «полявая земляника», и что ж? Ничего, слава богу.

Пожалуйста, уж дозвольте повидаться, когда поеду назад. Я напишу с дороги.

100

Е. П. ЛЕТКОВОЙ

Чудово, 10 июля <1884 г.>

Дорогая Екатерина Павловна! Вот где я очутился вместо Сибири-то! И вышло это так: в Перми я занимался моими книгами и чувствовал некоторую скуку, но один эпизод заставил меня призадуматься, как говорят, крепко. Как-то утром слышу я какой-то отдаленный звук, будто бубенчики звенят, или, как в Ленкорани, караван идет с колокольчиками, далеко-далеко. Дальше, больше,— выглянул в окно (окно у меня было в 1-м этаже), гляжу— из-под горы идет серая, бесконечная масса арестантов. Скоро все они поровнялись с моим окном, и я полчаса стоял и смотрел на эту закованную толпу: всё знакомые

лица, и мужики, и господа, и воры, и политические, и бабы, и все-все наше, из нутра русской земли, — человек не менее 1500, — все это валило в Сибирь из этой России. И меня так потянуло вслед за ними, как никогда в жизни не тянуло ни в Париж, ни на Кавказ, ни в какие бы то ни было места, где виды хороши, а нравы еще того превосходней. Ведь эти люди — отборный продукт тех русских условий жизни, той путаницы, тоски, мертвечины, трусости или отчаянной смелости, среди которых живем мы, не сосланные, томимся, скучаем, мучаемся, пьем чай с вареньем от скуки, врем и лжем, и опять мучаемся: все *эти*, от воров до политических, *не выдержали* этой жизни, и их тащат в новые места. И мне *охотой,* а не на цепи захотелось необузданно идти на новые места: мне также не подходит «жить» (а не бороться) с людьми, с которыми (и которым) приходится много лгать, бесплодно, бесцельно, и изживать русский теперешний век — бесцветно, неинтересно, безвкусно и вообще скучно и неумно.

Вот почему я и забыл отправить Вам письмо, которое теперь посылаю, хотя мне и совестно посылать такую ерунду. Я эту ерунду писал в Перми и удивился, очутившись в Екатеринбурге, увидев ее в числе бумаг неотправленной. В Екатеринбурге меня еще больше одолела жажда ехать дальше на новые места: отчего переселяются только мужики, а интеллигенцию тащат на цепи? И нам надо бросать добровольно запутанные, тяжкие, ненужные отношения, хотя бы они и были старые, привычные, и искать и мест и людей, с которыми можно чувствовать себя искренней и сильней. И тут-то вот я и остановился: так много на меня пахнуло нового и светлого, что я совершенно стал забывать мою работу, которую думал делать в дороге, она мне стала казаться ненужной, а, между тем, не работать было нельзя, — надо устраивать сына в гимназию, платить плотникам (они перестроили мой дом отлично) и т. д. А писать мне *старое* там тоже нельзя; и вот я решил воротиться тотчас домой, устроить семью на всю зиму, покончить с писанием, изданием и т. д., и в августе, после 15-го, а может, и раньше, уехать в Сибирь до весны.

Решив так, я не решился беспокоить г. Пыжова, да и время было неподходящее, как раз туда (29 июня) приехал министр Островский, и я видел, как целая орава

всяких жгутов, погонов, эполет неслась в Екатеринб<ург> с железной дороги; думаю, теперь начнутся обеды и речи, и я только обеспокою кого-нибудь.

Но в августе месяце я поеду туда, и приеду к г. Пыжову, о *чем, пожалуйста, напишите ему,* чтобы он не забывал о месте. Мне оно очень нужно, только не в управлении, но об этом я Вам напишу подробно.

На возвратном пути, в Москве, я остановился на мгновение (ехал без остановки) и у самого вокзала Н<иколаевской> ж<елезной> дор<оги> встретил знакомого, который сказал, что здесь сейчас приехал Ник<олай> Конст<антинович> и проехал в Петров<скую> академию. Мне захотелось его повидать, я решил остаться на сутки и поехал в Академию. Там я застал Ковалев<ского>, кот<орый> приехал из Парижа и едет в Швецию, Мих. Джаншиева, г-жу Ломовскую. Скучно там, натянуто, но «очень прилично все сделано». Только я, кажется, обидел Ек<атерину> Вас<ильевну>, потому что вечером выпил и что-то говорил, как кажется, неприятное для всех картонных человеков. Впрочем, кроме высшей любезности я ничего не видел — и полного радушия. Об Вас Е<катерина> В<асильевна> говорит каждую минуту, *показала* даже *руками,* как дети делают, как она Вас любит и как хочет видеться с Вами. Но что-то ей препятствует, нельзя, невозможно. Хотел я и очень, бесконечно, повидать Вас, но там же я узнал, что в этот день (5 июля, от той же Е<катерины> Вас<ильевны>), что в этот день Вы провожаете в Пермь г. Пыжова и что, стало быть, я помешаю Вам. Да и так просто у меня было что-то нехорошо на душе, а я бы хотел видеть Вас, чтобы на душе было чисто.

Итак, вот как все вышло: Мих<айловский> поехал к сестре в Кострому, 20 июля я должен быть в Москве по делу, и если можно, пожалуйста, тогда повидайтесь, я Вам напишу.

Повторяю, не хотел бы посылать письма прилагаемого, оно неправильное, оно написано до моего воскресения, ветхим человеком, измучившимся в бесплоднейших русских пустяках, и если посылаю, то уж заодно.

Я Вам ужасно благодарен за хлопоты и за телеграмму. Спасибо Вам. Это письмо вздор. Все гораздо лучше, чем описано тут, и все рассуждения глупы. Не напишете ли

2-х — 3-х строчек? До свидания, К<атерина> П<авловна>. Я Вас, право, очень, очень люблю. М<ихайловского> тоже.

Г. Успенский.

101

В. М. СОБОЛЕВСКОМУ

<Конец сентября 1884 г., д. Сябринцы>

Многоуважаемый Василий Михайлович! Позвольте обратиться к Вам с покорнейшею просьбою. Я хотел видеть Вас в Петербурге, — мне Мих<айловский> сказал, что Вы там (он Вас ждал к себе), но не знал, где Вы. Просьба состоит в следующем: Павленков, продолжающий издание моих книг, выдал мне за последние томы 6-ой — 7-ой векселя, на разные сроки. Учесть их в Петербурге я решительно не могу, — не имею никаких знакомых, у которых бы в кармане было не 500 руб., а хоть 500 копеек. Между тем после закрытия «От<ечественных> зап<исок>» пять месяцев пришлось жить без заработка, в августе пришлось отдавать сына в гимназию пансионером и заплатить сразу 230 р., — и деньги мне до последней степени нужны. Михайловский мне говорил, что Вы знакомы с г-жой Морозовой. Не может ли она учесть этого векселя? Павленков издатель вполне солидный, но и его расшатывает цензура, на днях у него уничтожили два издания, Пругавина и Абрамова, и вот почему он вручил мне векселя. О его благонадежности и необыкновенной аккуратности можете навести какие угодно справки, — у Вас есть, кажется, контора в Петербурге. Чрез посредство Вашей конторы получит г-жа Морозова и уплату. Да, наконец, есть же у нее в Петербурге какой-нибудь знакомый, который мог бы зайти в склад Павленкова и получить деньги, но я уверен, что даже этого беспокойства Павленков не допустит, а уплатит деньги минута в минуту туда и тому лицу, куда прикажете Вы.

Если бы это было возможно, я был бы Вам глубоко благодарен.

Книги мои, с выходом 5-го тома, на днях я пришлю Вам. Ольге Иван<овне> также надобно послать; где она живет?

Еще вот какая просьба: как звать по имени и отчеству г-на Джаншиева? Пожалуйста, сообщите. Я ему также на днях хочу выслать мои книги, все 5 томов; будет 7.

Хотел бы я также попросить у Вас работишки. Пошлите меня, пожалуйста, в Бийский округ, к переселенцам. Мне бы там хотелось прожить *именно зиму,* я бы тут наслушался всего; летом люди работают. Зимой же я бы волей-неволей (если бы было очень трудно), а прожил бы там и уж наверно написал бы вещи хорошие. Подумайте, сколько Вы бы могли ассигновать на это дело денег, так чтобы отдельной платы за строчку уж никакой не полагалось, то Вы бы имели от меня письмо разного объема, каждую неделю. Подумайте, бога ради. Я теперь далеко не такой сукин сын, как прежде, и по части увлечений притихнул очень и очень. Что Вы не заглянули ко мне в домишко около Чудова?

Итак, пожалуйста, В<асилий> М<ихайлович>, — если только Вы мало-мальски можете похлопотать — не откажите.

Преданный Вам

Глеб Успенский.

Ответа Вашего жду.

Ст. Чудово, Ник<олаевской> ж<елезной> дороги. Г. Ив. Успенскому.

Адрес Павленкова (Флорентий Федорович): Малая Итальянская, д. № 6. Петербург.

Если необходимы какие-нибудь формальности, то я приеду в Москву. Но лучше если бы приехать мне в половине октября и тогда исполнить эти формальности. В половине октября мне надобно будет быть в Москве.

Жду — жду ответа.

102

М. М. СТАСЮЛЕВИЧУ

<7 ноября 1884 г., д. Сябринцы>

Милостивый государь
Михаил Матвеевич!

Решительно не нахожу слов, которыми я мог бы выразить мое глубокое душевное сокрушение относительно моего поведения с Вами. Никогда в жизни я не чувствовал

себя так позорно и гадко, как теперь, потому что никогда в жизни на мою голову не сваливалось так много неожиданных неприятностей и забот. Весь последний месяц я решительно не знал покою ни днем, ни ночью; сто раз я брался за перо, чтобы написать Вам, но не мог написать ни единого слова, в исполнении которого был бы уверен: весь последний месяц, кроме моих личных забот, я был постоянно волнуем неприятностями неожиданными: арестовали учителя моего сына, арестовали одну постоянно бывавшую у нас даму; у одного знакомого москвича, нотариуса, и у двух знакомых московских дам, писательниц, все людей мне весьма близко знакомых, произошли обыски и отобраны мои письма. Я ничего особенного не знаю за собой, но почем знать, что было в письмах, а теперь такие тревожные времена. И эта тревога по случаю ареста моих близких знакомых тянется целый год, — арестуют Кривенко, который жил вместе со мной в одних комнатах, затем арестуют Эртеля, который жил там же и бывал у меня часто, потом закрываются «От<ечественные> з<аписки>», оставляя не одного меня на улице, а теперь вот осенью раз за разом целых пять случаев ареста и обыска у самых близко знакомых мне людей. Все это меня так угнетает и притом так давит, что последнее время я положительно чувствую сильнейшее нервное расстройство.

Я не думаю, чтобы эти аресты повредили мне, но мне все эти люди были близки как знакомые. Постоянно остаешься в пустыне и один, не с кем сказать слова. Чтобы хоть мало-мальски разъяснить себе причину этих обысков и арестов, я в течение последнего месяца должен был по крайней мере раза четыре съездить в Москву — в Петербург, приезжать на час — на два, чтобы ехать опять то в деревню, то опять в Москву.

Теперь я немного пришел в себя. От всего сердца приношу Вам самое искреннее извинение в неприятностях, сделанных Вам. И теперь решительно могу сообщить Вам следующее: 8-го ноября я должен буду читать на литер<атурном> вечере в пользу Фонда. Если бы я не был обязан Фонду, я бы решительно не мог преодолеть моего расстройства и непременно бы отказался от чтения, которое для меня совершенная пытка. Но я обязан Фонду и буду читать, а затем в тот же вечер я уеду в Чудово.

Я уж давно начал работу для «В<естника> Евр<опы>», но она прервана неожиданностями и тревогами, о которых я говорил. До 15-го ноября остается ровно неделя, и я употреблю все усилия, чтобы к 15-му ноября работа была у Вас. Будьте уверены, что в этот раз я буду исправен.

«В<естник> Евр<опы>» я получил, — приношу Вам глубокую благодарность.

Глубоко виноватый перед Вами

Г. Успенский.

7-го ноября, вторник.

Это письмо я пишу в Чудове, но отправлено оно будет в Петербурге с посыльным.

103

В. И. СЕМЕВСКОМУ

<10—15 ноября 1884 г., д. Сябринцы>

Многоуважаемый
Василий Иванович.

Если издание журнала «Дело» состоится и если Вы будете действительно его редактором, то я буду работать у Вас с истинным удовольствием и постараюсь не писать нигде в другом месте.

Глубоко Вас уважающий

Г. Успенский.

104

Л. Ф. ЛОМОВСКОЙ

<Начало декабря 1884 г., д. Сябринцы>

Лидия Филипповна! Вот каков я молодец! И обманул, и наврал, и невежливо поступил и в такое короткое время и так сразу всё! Но вот в чем дело: не знаю, что со мною

творится — такого холода, от которого руки даже коченеют, — никогда не было в моей душе, как теперь. Вот на Вас одна только утрата такого человека, о котором Вы пишете, утрата одного только *такого* знакомства — произвела такое сильное и многосложное впечатление, — а у меня вся жизнь прошла только в этих утратах. Никаких семейных, «родовых», прочных впечатлений или угла, в котором бы теплилось какое-нибудь родное чувство, всю жизнь дающее право чувствовать себя не чужим на земле, — ничего этого у меня никогда нет и не было. И угол, и дом, и *«предания»* — все это приходилось мне делать самому, — на новом, пустом месте, на камени голом, приходилось собирать крупицами, по зернышку содержание жизни, которая бы этот угол наполнила, — и вот все эти зерна брались из тех минуточек хороших впечатлений, которые выпадали на дороге знакомства с людьми *этого* типа, и всегда мгновениями. Не успеешь обрадоваться, не успеешь сказать: «Ну, вот теперь все-таки чувствуешь, что что-то можешь и должен», — и сейчас же расстаешься; все у меня расхищено: осталась одна виновность пред всеми ими, невозможность быть с ними, невозможность неотразимая, — осталась пустота, холод и тяжкая забота ежедневной нужды, — вот! Теперь на меня находят такие минуты, — что я по три, по четыре дня не могу двинуться с места, слова сказать. Третьего дня я был один в деревне, в пустом доме, и дня два-три находился все в этаком угнетенном душевном состоянии. Так, третьего дня я дошел до такой степени нервного расстройства, что ночью, во время бессонницы, меня обуял какой-то непостижимый страх, что-то вроде какого-то припадка, — я стал звать прислугу, стучал поленом, чтобы меня услышали, наконец, смешно сказать, открыл форточку и во всю мочь стал звать народ — точно меня хотели убить. Это продолжалось минут пять-шесть, и потом я очнулся и вижу, что со мной была какая-то чертовщина. Вот как я расстроен. Будь я помоложе, я бы выдумал себе какое-нибудь утешение, — но я не молод, у меня определенные заботы, — выдумывать уж нет возможности, — я об этом-то и думаю: невозможно выдумать, по кр<айней> мере для меня, — ровно, ровно ничего такого, от чего бы стало потеплей. Если бы и случилось, — так я сам бы прекра-

тил это, я отвык, мне нельзя, мне надобно теперь просто только работать для семьи, и работать не литературно: литературн<ую> работу я кой-как протяну до весны. Но весной окончательно прекращаю это дело и еду в Сибирь служить. А пока, пожалуйста, не забывайте иногда написать мне строчку о себе, о Ваших литературных планах.

Очень Вас уважающий

Г. Успен<ский>.

105

В. М. СОБОЛЕВСКОМУ

<Середина декабря 1884 г., Сябринцы>

Дорогой Василий Михайлович!

Статья Лудмера «Бабьи стоны» наконец появилась в печати. Убедительно прошу Вас позволить мне написать о ней две-три статьи в «Рус<ских> вед<омостях>». Я читал эту статью раньше, хотел даже купить ее у автора, так как она была во всех ред<акциях> и ее нигде не приняли. Я напишу *хорошие статьи,* которые прочтутся с интересом.

Если Вы согласны, то *немедленно* сейчас, т. е. буквально сию минуту, возьмите со стола ред<акции> 11 № «Юридического вестника» и пришлите мне. Еще раз говорю: я хорошо напишу о ней, я думал о ней давно и много.

Если ж бы Вы желали, чтобы в печатании статьи не было задержки, — то я прошу Вас, выхлопочите в ред<акции> «Юр<идического> вестн<ика>» корректуру окончания этой статьи, — так как ждать появл<ения> 12 № долго. Статья моя будет доставлена (первая) через два дня по получении статьи Лудмера.

Я теп<ерь> в Чудове и буду здесь долго. Адресуйте: ст. Чудово. Н<иколаевской> ж. дор. Г. И. У.

Предан<ный> Вам

Г. Успенский.

103

М. М. СТАСЮЛЕВИЧУ

22 дек<абря 18>84 г., <д. Сябринцы>

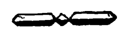
Милостивый государь
Михаил Матвеевич!

Я так глубоко и бесконечно виноват перед Вами, что пишу настоящее письмо не для своего оправдания, а единственно ради того, чтобы вывести Вас из недоумения, в которое я поставил Вас своим невозможным поведением. На мое величайшее несчастие, нынешняя осень была для меня полна неожиданнейших затруднений: все дети переболели — кто дифтеритом, кто брюшным тифом, что заставило делать непредвиденные расходы и входить в обязательство с журналами, с которыми при мало-мальски благоприятных условиях я бы никогда не имел никакой связи. 4 месяца я был без работы, затем неожиданные расходы по определению сына в гимназию (он попал не приходящим, а пансионером, что стоит 410 р.), и чего нельзя было избежать, затем болезни бесконечные, не говоря о моих глубочайших нравственных утратах, все это меня довело до величайшего душевного расстройства. Если ж я и при таком расстройстве могу писать статьи для «Рус<ской> м<ысли>» или «Недели», то это происходит оттого, что в статьях этих кое-как дописывается старое, приготовленное для «От<ечественных> з<аписок>». Читатели «Рус<ской> м<ысли>» уж знакомы со мной, и я могу им писать на старые темы, писать остатки старых вещей, только слегка подновленных; и все это я делаю с величайшими затруднениями, единственно под влиянием только нужды. В «Вестнике Европы» я не могу заниматься дописыванием, пережевыванием старого матерьяла, да я и не хочу уже делать это; слишком все это уж я долго делаю и теряю охоту продолжать. В «Вестнике Евр<опы>» я хотел начать работы в совершенно новом роде, без всякого народничества: я по этой части сделал все, что мне было можно сделать, и пришлось бы переливать из пустого в порожнее. Я начал для «В<естника> Е<вропы>» небольшой очерк «Венера Милосская» — работа совершенно новая и, я уверен,

для многих из моих читателей совершенно неожиданная по теме, хотя ни по содержанию, ни по форме не имеющая ни малейших претензий явиться в чужой шкуре или представиться знатоком художеств<енных> произведений. Нет, это просто *рассказ,* так сказать, о *личном* знакомстве человека улицы с такими неожиданными для него впечатлениями, которых он долго даже понять не может, но от которых и отделаться также не может, критикуя ими ту же самую уличную, низменную действительность, к которой он сам принадлежит. Этот рассказ мне хвалили почтенные люди, — но я решительно не могу взяться за него теперь, я просто утомлен. И вот почему я решил после продолжительнейшего пребывания в самых однообразных условиях и притом большею частию самых утомительных и тягостных, — заложить мой деревенский дом и, уплатив мои литературные долги, уехать месяца на полтора за границу. Залог дома, а также уплата всех моих крупных и мелких долгов по редакциям, состоится никак не позже первой половины января месяца. Затем *первое,* что я сочту *хорошо написанным,* я непременно доставлю Вам, и от Вашей воли будет зависеть наказать меня отказом в напечатании или принять.

Примите уверение в искреннейшем моем
к Вам уважении

Г. Успенский.



1885

107

В. М. СОБОЛЕВСКОМУ

<3 января 1885 г., д. Сябринцы>

Дорогой
Василий Михайлович!

Пишу Вам на куске конверта — нет в доме бумаги, да и не до бумаги было все время: весь декабрь я горел как в огне, — сначала заболела девочка дифтеритом, потом сын заболел тифом, прервали тиф, начался ревматизм во всем теле, а одновременно с ним развился брюшной тиф. Словом, ни дня, ни ночи я не имел покойных от стона, крика и от тысячи хлопот, с которыми сопряжено лечение в деревне, где за 20 верст доктор, за 5 аптека и т. д. Сегодня 3 января — *первый* день, буквально, что я взялся за перо. Я еще в самых перв<ых> ч<ислах> декабря начал ряд статей для «Р<усских> вед<омостей>» — но должен был прервать работу. И сейчас у меня голова идет кругом.

Теперь чрез два-три дня, словом на Крещенье или на другой день Кр<ещенья> — Вы непременно получите мою работу, и уверяю Вас, не беда, что она появится не в декабре, а в январе. Зачем *Неделя* пропечатала, что я буду там сотрудничать? Это неверно. Я был должен давно Гайдебурову 100 р., и он пристал ко мне, не дам ли я ему чего-нибудь. Я дал ему сказки, кот<орые> я хотел напечатать в детском журнале, и не мои, а аварские, только пересказанные мною, и затем всякое сотрудничество с нею прекращается.

В примечании к 1-ой статье, кот<орую> я пришлю к Вам, — будет сказано, что *нигде,* кроме «Р<усских>

в<едомостей>» и «Р<усской> м<ысли>», я раб<отать> не буду и что все издания другие, объявившие мое сотруд<ничество>, — сделали это по собственному желанию. Объявляли такие издания, редакторы кот<орых> даже и не просили меня сотрудничать.

Поверьте, дорогой Вас<илий> М<ихайлович>, что я сторицею искуплю мой грех. Я положительно измучился, сбился с ног. Сегодня первая ночь, что я проспал кряду 4 часа и пишу Вам это письмо на радостях, что дело моего мальчишки пошло на поправку. Работать буду как следует.

Искренно Вам преданный и любящий

Г. Успенский.

«Рус<ские> вед<омости>», пожалуйста, высылайте <в> Чудово. Сегодня 3, а ни одного № нет.

108

Л. Ф. ЛОМОВСКОЙ

<29 января 1885 г., д. Сябринцы>

Лидия Филипповна! Пожалуйста, не думайте, что это я сам развратился до степени аглицкой бумаги, — случайно купили мне такое великолепие, и я с моим кривым пером чувствую себя, благодаря этой бумаге, так же, как мужик в лаптях на паркетном полу.

Нечего мне Вам написать хорошего, да и худого не знаю, много его. Надо работать, — а не знаю что? Последняя статья Льва Толстого меня ужасно смутила, — мне кажется, что это первое фальшивое произведение, и я хочу написать об этом в «Русские ведомости».

Ваши письма очень приятны и умны всегда; всегда в них есть что-нибудь чрезвычайно умное, — а поэтому не лишайте меня, пожалуйста, удовольствия читать их от времени до времени. Когда я еду за границу? Не знаю. Темна моя жизнь, не знаю, что будет завтра, рассчитать не могу на два дня вперед. Но уеду непременно. Желание мое уехать по выходе 2 № «Рус<ской> мысли», —

а не знаю, может, и в марте, и может, и в июле; но после 2 № будет можно кой-что предвидеть.

Я писал Вам о Серовой не для того, чтобы увериться в ее храбрости, а потому, что теперь Москва в особенном внимании правительства. Я так слышал, и всякое пустое слово может наделать много хлопот. Скоро чрез Москву проедет Михайловский в Смоленск, и я думаю, Вы увидите его на вокзале, а пока до свидания. Бахметьев требует работы к 3 февр<аля>, а у меня еще нет строчки: после этого письма сейчас же примусь писать что-то. Вот ведь какая гадость.

Поклонник Вашего ума

Г. Успенский.

29 янв<аря 18>85,
Чудово.

109

Л. Х. СИМОНОВОЙ-ХОХРЯКОВОЙ

<28 февраля 1885 г., д. Сябринцы>

Милостивая государыня, Людмила Христофоровна! Простите, пожалуйста, что так поздно отвечаю на Ваше письмо — я был в Москве. Что касается адреса Лудмера, — то я знаю только одно, что он живет в Архангельске, я писал ему однажды туда, просто адресуя г. Лудмеру, и письмо дошло.

Повесть Вашу я прочитал с большим удовольствием. Кой-что ей вредит — напр<имер>, пьяница мещанин — содер<жатель> постоялого двора, — очень длинно; кой-что мало — напр<имер>, старик, ухажив<ающий> за Марьей, разгульной девицей, на кот<орой> он женится. Все это очень любопытные фигуры. Но Марфа и Степан отличные, безукоризненные, говорю это по сущей справедливости.

Что если бы Вам взяться за одно большое дело, о котором я давно думаю: описать в беллетристической форме воспитательный дом в Петербурге? Я думаю, что там масса такого материала, от которого у читающей публики мороз бы пошел по коже, а ведь надо же, чтобы кожа эта когда-нибудь и что-нибудь чувствовала. От приноса неведомо чьего ребенка, — до деревни и до дальнейшей карьеры его, — ведь это неисчерпаемая тема. И если бы

Вы попробовали посидеть в приемной только, посмотреть, что там делается, — так я уверен, что Вы заинтересовались бы этим делом. А дело это огромное. Если бы пошло удачно, то можно бы было похлопотать, чтоб редакция одного знакомого мне журнала поставила бы Вас в возможность не спешить и писать потихоньку. Конечно, если Вы сами можете не принуждать себя к спешной работе,— так и говорить не о чем.

Покорный слуга Ваш

Г Успенский.

Чудово, 28 февр<аля>.

<*Адрес*:> В Петербург. Пушкинская, д. № 11, кв. 61. Людмиле Христофоровне Симоновой-Хохряковой.

110

Х. Д. АЛЧЕВСКОЙ

Чудово, Н<иколаевской> ж. д.,
4 марта <18>85 г.

Милостивая государыня
Христина Даниловна!

Простите меня великодушно за такой поздний ответ на Ваше письмо: я был некоторое время в отлучке из дома, в Москве и в Петербурге, и только на днях возвратился в Чудово.

С истинным удовольствием прочитал я странички из дневника Вашей школы. Но в последних строках этого дневника и Вашего письма мне почудилось что-то такое, что заставляет думать о некотором утомлении или сомнении, испытываемых Вами теперь, относительно Вашего дела. Если это так, то мне кажется, что Вы ошибаетесь, полагая найти поддержку своему делу в таких результатах его, которые бы «воочию» убеждали Вас в его плодотворности. Напротив, я думаю, что «воочию»-то меньше всего можно рассчитывать на какое-нибудь удовлетворение и успокоение. Чего стóит участь Ваших учениц после того, как они оставляют школу и начинают жить среди всевозможных случайностей, и Вы не можете нс думать

и не печалиться об этой участи: талантливая, умная девушка на Ваших глазах может попасть бог знает в какое положение, и Вы ничего не в состоянии сделать для нее. И таких забот, которые *должны* непременно тяготить Вашу мысль и которых в то же время Вы, за пределами Вашей школы, не можете устранить ни в каком случае,— в Вашем деле должно быть бог знает сколько, несметное множество, неизмеримо больше тех «отрадных явлений», которые Вас могут поддержать. И пока другие общественные учреждения, вслед за школой, имеющей в основании полнейшее отсутствие самой тени фальшивых отношений к человеку, — не получат возможности также по возможности без фальши относиться к дальнейшей участи человека, оставившего школу и вступающего в жизнь, до тех пор, пока, положим, во всех этих земствах и думских делах не получится возможность добросовестному человеку делать что-нибудь простое и нужное именно «для человека», — до тех пор едва ли будет возможность рассчитывать на обилие отрадных результатов и Вашего дела. И при настоящем положении дел вообще невозможно даже и предвидеть, когда ж, наконец, начнут оживать другие, непосредственно следующие за школой, общественные учреждения?

Но из этого вовсе не следует, чтобы одно из живых общественных учреждений, школа, могла бы заглохнуть потому, что хорошее начало не имеет в практической жизни такого же хорошего продолжения. Хорошее начало школы должно иметь продолжение в самой школе, и в этом смысле то, что Вы делаете, имеет огромное значение для школы *вообще,* хотя, быть может, и не принесет Вам никаких иных результатов, «воочию» убеждающих Вас в успехе дела, кроме успешной распродажи Вашей превосходной книги. Книга Ваша — вот результат Ваших трудов, и успокоение Ваше только в том, что Вы этою книгою *вообще* внесли новые черты в школьное дело. Но то, что Вы сделали, — это *начало* — отличное, превосходное, и такое же у этого начала должно быть и продолжение и также *в школе.* Книга «Что читать народу?» вносит в русскую народную школу, во-первых, новизну отношений учителя и ученика, ставя их на настоящую точку; отношения эти не похожи на родительские, не похожи и на наставнические, не похожи вообще

на установившиеся отношения учителя к ученику, старшего к младшему, наставителя к наставляемому, — а прямо товарищеские, основанные на простом желании «с удовольствием» удовлетворить ответом того, кто меня о чем-нибудь спрашивает. Другая также в высшей степени важная и существенная черта, отличающая Вашу школу, — это внимание к учащемуся как к человеку; школа Ваша не торопится отделаться от человека, научив его писать, читать, считать и выпустить потом на все четыре стороны, не обращая внимания на то, что у него на душе и какова его душевная жизнь. Именно оттого-то, что эта душевная жизнь человека не принимается во внимание нашей заурядной школой, — человек, выйдя из нее, почти на другой день уже забывает и читать и считать. Между человеком и книжкой нет никакой связи, а именно эта связь и нужна. Человеку, выйдя из «ученья», надо знать, «как жить» на свете, и точно так же, как и гр. Толстому и всякому образованному человеку, надо знать, что делать, что хорошо, что нехорошо. Наши сектанты, *народ,* простые мужики, — предпочитают учиться по-своему, не по-школьному, и учатся для того, чтобы знать, как правильно, справедливо жить надо на свете; это *первое,* а потом уж и арифметика и т. д. *Начало* сделано Вашей школой превосходно, — вполне по-человечески, — нужно такое же и продолжение, т. е. нужно развивать тип Вашей школы, нужно перерабатывать самостоятельно тот огромный педагогический материал, который у Вас под руками, в смысле удовлетворения потребности учащегося знать, что́ правда в человеческих отношениях и что неправда. В этих видах Ваша деятельность должна бы продолжаться не в практической школьной работе (которая могла уж Вас утомить и которую могут делать люди начинающие), а в литературном деле школы. Если бы Вы продолжали печатать «Что читать народу?» периодически, превратив его в журнал, который бы старался выработать план систематического ученья, в котором бы было, во-первых, *главное* (для чего человек живет и как должен жить) и, во-вторых, прикладное к этому главному — собственно наука, научные знания и сведения, — то работы самой живой и плодотворной оказалось бы у Вас великое множество. Меня давно занимает мысль осуществить эту программу в виде хотя бы *книги для чтения* в народной

школе, где бы описание крестьянского домика, неизвестно почему, не продолжалось описанием зайца, вслед за которым, также неизвестно почему, идет разговор про Христа и т. д. *А с первой* же страницы касалось бы самого серьезного, — как жить свято (хотя бы в виде, самым лучшим образом написанной, биографии и учения Христа), затем переходило бы к действительности, и все, что в ней *не свято,* должно бы быть выставлено во всех подробностях; огромный материал деревенской жизни, заимствованный из лучших русских писателей, тут много бы помог делу и нарисовал бы такую картину, которая ясно показала бы, как трудно и действительно плохо жить и как много неправды. А затем началось бы все, что можно сказать о существующем хорошем: община, о которой *надо* говорить в училище, и т. д. И этакую книгу надобно непременно написать и издать. Извините меня, пожалуйста, за это торопливое письмо. Позвольте засвидетельствовать Вам мое самое искреннее и глубокое уважение.

Глеб Успенский.

111

Ф. Ф. ПАВЛЕНКОВУ

(*Черновое*)

8 марта <18>85 г., Чудово

Милостивый государь
Флорентий Федорович!

Последний разговор между мною и Вами произвел на меня в такой мере дурное впечатление, что, не рискуя вновь пережить что-нибудь подобное, я уже не решился идти к Вам вечером и предпочел уехать домой. А о простой вежливости я как-то даже и позабыл в это невежливое утро.

Итак, Вы до настоящего времени еще не успели составить обо мне никакого определенного мнения и не знаете еще кому верить: тем ли лицам, которые говорят Вам, что я человек непрактический, или тем, которые, как М. П. Надеин, напротив, утверждают, по Вашим словам, что я «чрезвычайно» (Ваши слова) практический человек. Если бы в нашем последнем разговоре этому слову Вы

придавали обыкновенный обиходный смысл, — то и разговора никакого о моей «теоретической» сущности не могло бы быть: с практическими людьми говорят о практических делах и практическим языком. Но Вы почему-то, напирая на авторитет М<итрофана> Петр<овича> о моей практичности, считали возможным в том же разговоре обрисовывать мои дела и побуждения, которыми я руковожусь в них, какими-то небрежными фразами, рисующими эти дела и побуждения в весьма спутанном и темном виде: «У Вас, — говорите Вы мне, — *какие-то* дела и долги с ростовщицами. с судами. у Вас *какие-то* долги Гайдебурову, Стасюлевичу. Вы делаете *новые* долги, несмотря на то, что много получаете денег. Вам *не может* помочь кредит» и т. д. Словом, и во мне и вокруг меня, на Ваш взгляд, происходит какая-то путаница, тьма, а в глубине этой тьмы и путаницы лежит та самая таинственная практичность, о которой свидетельствовал Вам Мит<рофан> Петр<ович> и о которой Вы намекаете мне с какою-то загадочностию. Фигура человека, рисуемого такими чертами, как видите, фигура темная, загадочная, — что-то приближающееся к Расплюеву. А так как именно эту-то фигуру Вы, благодаря Вашей благосклонности,[1] преподносите мне в виде моего собственного портрета (я говорю о Вас Ваши слова теоретически), и в последнее время преподносится довольно-таки частенько, внося Ваши презрительные мнения во всякий мой с Вами разговор о моих литературных работах, мечтаниях и планах, — то Вам будет понятным, почему я во время последнего разговора с Вами не мог не раздражаться, так как *именно Вы-то, Вы,* господин Павленков, *именно* Вы и не имеете ни малейшего права относиться ко мне таким образом. *Именно у Вас-то* перед глазами прошло со времени моего с Вами знакомства такое количество фактов, которые Вы и видели и даже осязали и которые, мне казалось, могли бы дать Вам возможность составить обо мне собственное Ваше понятие, независимое от сбивающих Вас мнений обо мне Мит<рофана> Петр<овича> или кого другого.

Вы мне бросаете такую фразу: «— Вы делаете *новые* долги... Вы должны Стасюлевичу». И забываете, что

---

[1] <*Зачеркнуто:*> Вашей вежливости, вот уж...

450 р., которые я должен Стасюлевичу, я вручил *Вам*, в собственные Ваши руки, именно для того, чтобы они были уплачены Стасюлевичу. Вы тогда попросили эти деньги у меня, и если бы я был не такой темно-практический человек, которым Вы меня рисуете мне самому, а практический в обыкновенном обиходном смысле, то мне следовало бы отказать Вам в Вашем желании; мне пора знать, что деньги, предназначенные на одно дело, могут разойтись по мелочам, если их не употребить тотчас же на дело; ведь это и Вам хорошо известно: учитав мой вексель на 750 р. (деньги необходимы для того, чтобы двинуть в ход дело о займе для Вас), Вы вручили мне только 400 р., а остальные *разошлись* именно потому, что я не явился получить деньги во-время, а запоздал несколько дней. Вот именно ввиду того, что я уже мог отлично знать, что деньги, не отданные сейчас, могут разойтись, особенно у меня, человека постоянно нуждающегося, и что я больше чем кто-нибудь другой рискую истратить их и не уплатить долга, — я как простой практический человек и должен бы был отказать Вам. Но я был так Вам благодарен за те одолжения, какие Вы мне делали, что *с удовольствием* отдал их Вам, зная, повторяю, что они разойдутся если не зря, то вообще пойдут не на то дело, на которое предназначены. За Ваше одолжение я хотел отплатить тем же, а уж ответственность пред Стасюлевичем брал на себя. Стасюлевич — тот имеет полное право порицать меня. Что ж касается до Вас, то Вы, порицая меня, — могли бы выразить это *единственно* только в след<ующей> форме: «Зачем тогда не послали Стасюлевичу, а дали мне, — вот деньги и разошлись. Вам ли давать деньги взаймы, когда Вы сами сейчас же будете нуждаться не в 450 р., а в 4 руб. 50 коп.». Вот в какой форме, и только в этой, а ни в какой иной может выразиться Ваше порицание о неуплате долга Стасюлевичу. Говорить же ни с того ни с сего только: «Вы делаете новые долги, вот Стасюлевичу не платите» — значит забывать, что именно в Ваших собственных руках были деньги для уплаты Ст<асюлевичу>, и именно Вас я просил это сделать, деньги были все полностью, — а уж потом, вследствие разных обстоятельств, разошлись кой на что. Другой *новый* долг Вам — 610 р. В этом новом долге, кроме 200 р., забранных мною мелкими суммами,—

находятся *четыреста* рублей из занятых 750 р. в Камско-Волжском банке. Позвольте спросить Вас, зачем именно я занял у Вас 400 р. и зачем вообще был сделан заем в К<амско>-В<олжском> банке? Вам нужно было достать несколько тысяч рублей, и я обещал Вам достать их у Сибиряковых, — но чтобы иметь право говорить о Вашем деле, я должен был уплатить им мои старые долги. Долгое время я не мог сделать этого из собств<енных> средств: то за сына вместо 25 р. в полугодие приходится платить 230, то вместо Новгорода приходится жить в Петербурге, тратить 200—250 р. на квартиру, мебель, — а дальше начался целый ряд болезней, кончившихся расстройством и квартиры и ученья. Вы уже начали терять веру в мои слова, о чем не один раз писали мне в деревню, писали даже, что окончательно отчаялись в этом деле, — и тогда я объяснил Вам, что дело это быстро пойдет вперед, если ему расчистить дорогу уплатой моих долгов. На эту уплату нужно было 750 р. Вы поняли меня, заняли под мой вексель деньги, — но выдали мне не 750, которые были *необходимо нужны,* а только 400 р., так что для *успеха Вашего дела* я должен был сам, где мне угодно, доставать недостающие, истраченные Вами в мое отсутствие, 350 руб. Таким образом, в видах успеха Вашего дела *я должен был* делать *ненужный мне лично новый заем,* — точно так же, как лично мне не нужно было занимать и 400 р. Лично мне не нужно было сейчас платить Сибиряковым — они знают, что я нуждаюсь, что у меня семья; мне достаточно съездить извиниться; наконец и просто они не пропадут без моих денег, они богаты. Но мне нужно было платить им, чтобы они знали, что даже я, такой постоянно нуждающийся человек, благодаря Вам, — Вашему добросовестному отношению ко мне как издателя, могу, наконец, платить мои старые долги, и что, следов<ательно>, им можно и следует верить Вам и т. д. Вы должны знать и помнить, что без этого займа я бы не мог действовать на Ярошенко, так как нужно было, чтобы она убедилась в моей аккуратности и, поверив мне, стала хлопотать. И именно благодаря этим хлопотам Вы, худо ли хорошо ли, а получили 5000 руб. А теперь Вы изволите удивляться, куда я деваю деньги, и *понять* (!) *не можете* при всех усилиях, что я за бездонная пропасть. «При всех соображениях, —

говорили Вы мне как-то вечером, — решительно нет возможности объяснить Ваших больших денежных трат». Вы, очевидно, говорите так, потому что не все помните. До моего последнего приезда к Вам из Москвы, — я был должен Вам 800 р. — вычеркните из них 400 р., занимать которые *мне* было лично *не нужно*, — останется 400, — вычеркните 200, котор<ые> я привез Вам и отдал, — останется 200, — да и эти я бы покрыл тогда же, если бы мне не было нужно платить *по ненужному* для меня займу 350 р., и у меня бы осталось не 150 р., а 300, и я не пошел бы к Вам просить 10 р. и слушать Ваши презрительные суждения о моей безнадежности. Я и не думал об этом никогда, а делал это дело, потому что его нужно сделать, — но Ваш последний разговор, в котором Вы говорили со мной тоном министра, еле-еле понимающего, что такое бормочет какой-то просителишко, оскорбил меня бесконечно.

Нет, если бы я был не тот темный практик, каким Вы меня удостаиваете рисовать мне самому, — а просто человек практический и хоть чуть-чуть расчетливый, мне бы нужно было отказаться от хлопот по Вашему делу, нужно было отказаться от займа в банке и еще на стороне. Сибиряковы могут ждать годы, а здесь нужно непременно платить в срок, тогда как я не могу рассчитывать на аккуратность, не рискуя сам остаться без копейки. Но Вы *помогли* мне, купив мои книги, и я должен был помочь Вам. И я Вам помог. Нет, если бы я был такой простой практик, — так мне не нужно было бы платить и во Псков 500 р. Мой долг давным-давно включен в долг Надеина и зачеркнут; 500 р. в 40 тысячах зачеркнутого долга — ноль. Но, быть может, благодаря моей только капельной уплате этого сорокатысячного долга Псковский банк и будет лучшего мнения о людях, которые, занимая там деньги, сулили золотые горы и кончили, не отдав ни копейки.

Не нужно было бы мне платить ни Долганову, ни Соболеву, — сумма, составляющая 900 руб. И Долганов и Соболев давно получили то, за что платили деньги мне. Долганов, кроме того, не выполнил условия внести 100 р. в Псковский банк, как было уговорено, — и ни он, ни Соболев не выполнили *буквально* ни одного пункта договора, ни относительно количества томов, ни относи-

тельно количества цен, ни даже содержания, причем, напр<имер>, Соболев вставлял целые страницы своего сочинения и писал предисловие свое, а мое, как раз противоположное его барышнической рекламе, не печатал. Никому из них я *по совести* не должен был платить ни копейки, да и по закону и по всем резонам мог оставить 900 р. у себя в кармане, — однако я это сделал. Сделал для того, чтобы оградить Ваше издание от малейших случайностей барышнического мира, чтобы ему был расчищен свободный путь к продаже, чтобы, наконец, старые издатели были вполне довольны моими к ним отношениями.

Не нужно было мне и Лаврову платить 300 руб., так как ему никто не платил долгов старых; но я не желаю получать подачек от кого бы то ни было и уплачиваю то, что беру в долг.

Мне не нужно бы в видах собственного расчета и кармана позволять так много вычеркивать ред<акции> «Рус<ской> м<ысли>» в моих работах, — такое упорство сохранило бы листа 3 моей работы, которая пропала, — а три листа — 750 р.

Мне не нужно было добровольно брать от Бахметьева (как я сделал это в последний приезд в Москву) уже набранной, напечатанной работы и уничтожать ее, только потому, что она кажется мне плохою, — не нужно, она стоит 400 р., надо их брать, а остальное наплевать!

Вот как я должен бы был поступать, если бы был только просто практический человек, а не тот таинственный незнакомец, которого Вы никак понять не можете. Но это еще не все. В Ваших суждениях обо мне «с теоретической точки зрения», — есть в ряду непонятных для Вас *каких-то* долгов, каких-то темных практических побуждений, есть еще темный и непостижимый пункт, касающийся «каких-то ростовщиц и каких-то судов. .»

Об этих «каких-то ростовщиках» и об этих «каких-то судах» Вы сочли нужным напомнить мне, дабы разрушить мои «*несбыточные мечтания*» о том, что хорошо бы, если бы можно было достать 1000 р. на год и отдохнуть, имея эти деньги (кроме моего заработка) в моем, личном распоряжении. Что такое за ростовщики и за суды, лучше всего Вам может разъяснить М. П. Надеин, живущий

рядом с Вами. Я покорнейше прошу Вас прочитать ему все то, что будет написано ниже.

До <18>73 г., как и до сего дня, я жил литературным трудом исключительно; у меня была в это время жена и сын; но кроме своей семьи, я имел еще на шее, после смерти отца, мать, четыре сестры и три брата, буквально оставшихся без всяких средств, как и я. Я один во всей этой куче народа зарабатывал кой-какие деньги, кот<орые> и должен был делить буквально по грошам, то матери 3 р., то брату в Лисино 2, то дома 5, то в Липецк к другому брату 1, то третьему на книги сколько-нибудь. Разумеется, я никак не мог посылать много, потому что у меня много было домашних нужд, а заработок на всю эту орду — мал. Но орда эта мучила меня, т. е. она была ко мне весьма деликатна, не приставала, но я мучился ее нуждами. Сил во мне было очень много, но они тратились в этих мучениях за участь целой пропасти народу. Пока мне удалось при помощи добрых людей выхлопотать в Минист<ерстве> госуд<арственных> имущ<еств>, где служил отец, — не пенсию (он не дослужил), а 400 р. на воспитание детей, сроком на 7 лет, до тех пор я бился как рыба об лед, и мучился и за себя и за них, и должал, словом, самое лучшее юношеское время моей жизни провел в тяжелых и самых реальных хлопотах. От природы у меня было дьявольское здоровье и большая впечатлительность. Трудно было узнать, что у меня на душе ад, раз меня что-нибудь развеселило. Таким образом, к <18>74 г. мои дела были в весьма запутанном положении; я был должен *ростовщице* 400 р., имел долги разным товарищам, все написанное мною продавалось по 75, по 100, по 50 р. за том Генкелю, Базунову, Печаткину; мне нельзя ни торговаться, ни ждать — дают 50 р. — бери, слава богу. Вот в это время, чрез Н. Е. Битмида, моего товарища по гимназии, я познакомился с М. П. Надеиным. М<итрофан> П<етрович> предложил мне занять в Псковском банке такую сумму денег, которая бы покрыла мои частные долги, дала возможность выкупить у г. Карбасникова право на мои соч<инения> (проданные на многие годы вперед за 300 с чем-то рублей и купленные потом *мною* за 1100 р.) и иметь возможность поехать за границу. Ехать за границу для меня было необходимо, просто чтобы учиться.

Я прошу Вас не забывать, что потребность в литературной работе (спешу и не хочу обдумывать тщательность выражений) была во мне с раннего детства. Из нашей семьи *четверо* человек печатались в «Современнике» времени Добролюбова и неумолчно жили (и живут) во всевозможных житейских затруднениях, с литературой не имеющих ничего общего: бедность, хлопоты о делах отцовской семьи, о разных пособиях, об определении детей, о замужестве сестры, о собственных нуждах своей семьи и т. д. Но все-таки при самых адских условиях такой жизни я успел в это время написать все то, что помещено в двух первых томах Вашего издания, в приложениях к другим томам и множество такого, что не перепечатано и не собрано.

Предложение М<итрофана> П<етровича> было для меня большим счастием; сколько я теперь понимаю, он хотел сделать, между прочим, и для себя также пользу, имея меня в числе банковых членов, — но на первом плане у него стояло желание сделать добро мне, — это верно. Я не буду рассказывать мелочей о хлопотах денег из Пскова, — а прямо перейду к делу. Из Пскова выдали мне 1700 руб. И я с тем же самым желанием, которое руководит мною сейчас, делать дело не откладывая, исполнять задуманное тотчас, *платить в ту же минуту как есть деньги,* немедленно перевез семью из Гатчино (где я жил) в Петербург в гостиницу (чтобы прописаться и взять заграничный паспорт); немедленно же уплатил 200 руб. ростовщице, дал 300 р. жене и *тотчас,* чрез день-два отправил ее за границу (200 р. уплатил в Гатчино), — а сам *остался в гостинице на несколько дней, дней на десять,* пока Мит<рофан> Петр<ович> Надеин отдаст мне 1000 р., которую я ему вручил из занятых денег, также *немедленно* по приезде из Пскова. *«Несколько дней, дней на десять»,* подчеркнутые мною слова, — слова Митр<офана> Петровича; именно потому, что мне нужно было ждать «дней десять», «несколько дней», я и продолжал оставаться в гостинице. Если бы М<итрофан> П<етрович> отдал мне эту тысячу рублей не через десять, а через двадцать, даже тридцать дней, но отдал бы *именно* «тысячу», такую самую, точь-в-точь похожую на ту, которую я ему дал, — то она бы распределилась так —

200 р. ростовщице, остальных 300 р. Карбасникову, — а 500 р. мне. Пятьсот руб., 1500 франков, сумма весьма достаточная для меня, чтобы прожить за границей (вместе с остатком от денег, кот<орые> я дал жене) месяца четыре. Прожить спокойно, тихо, умно. Но именно этого и не случилось, — через неделю М<итрофан> П<етрович> не отдал тысячи, — а дал мне 40 р., из которых я и уплатил в гостинице за неделю, — а остальные *«разошлись»*. Пришли приятели, пошли куда-то, выпили пиво; еще через неделю — еще 50 р., — из них за № в гостинице, — часть *разошлась*, ушла чорт знает куда. Чрез неделю — уже надо платить и в гостиницу, и уже 20 руб. процентов ростовщице на неуплаченную сумму. Она уже узнала, что я уезжаю, и пристает с ножом к горлу; через неделю еще я уж получаю из Парижа письмо о деньгах, — жена прожила там уже месяц; еще через неделю я получаю новое письмо оттуда же и *опять* иду к ростовщице, мне нужно уже 100 р. сразу, а не сорок, не пятьдесят, — эти 40—50 нужны в гостинице, — *занимаю вновь,* пишу двойной вексель, *при 10 процентах в месяц,* — следов<ательно>, я уж ей должен 40 р. в месяц платить процентов. (Это может Вам подтвердить А. В. Каменский, очевидец всех этих мук. Всев<олод> Мих<айлович> знает Каменского.) Затем мне пишут из Парижа, что, не получив следующий месяц жалованья, русская нянька идет жаловаться в посольство. Надо посылать деньги в Париж, постоянно, каждую неделю платить в гостинице, постоянно дрожать перед ростовщицей, которая стережет меня каждую минуту, — а *главное,* ясно видеть, что *пропало* все, что все пошло прахом, что ни Карбасникову, ни ростовщице, ни мне, ни жене, никому ничего *не будет уплачено,* что, напротив, все запутается в сто раз хуже прежнего; *я не в силах* передать Вам того ужасного состояния, в которое я стал. Каждый день я являлся в магазин Надеина, каждый день мне нужно было руб<ля> два, пять, каждый день я должен был мучиться, видя, что Надеин кипит в каком-то котле векселей, ничего не может сделать, кроме как дать 5 — 50 — 25 руб., которые все прахом идут, ни на что не нужно, каждый месяц нужно было 40 р. %, по крайней мере 100 р. за границу и по крайней мере 100 р. в гостинице. М<итрофан> П<етро-

вич> советовал мне тогда (когда я очутился в этом омуте) нанять комнату со столом, и хоть подешевле, попокойнее, когда одни письма из Парижа о том, что жена и Саша мерзнут, и главное живут дураками неведомо зачем, — могли бы заставить меня навеки возненавидеть М<итрофана> П<етровича>. Но я видел, что он запутался, и такая адская мука продолжалась не несколько дней, не дней десять, — *а пять месяцев;* я раза три брал заграничный паспорт, и три раза проходил ему срок. Вместо сентября я уехал в Париж только в январе <18>75, заняв у А. В. Каменского 75 р., — уехал и приехал туда без копейки, в холод и нищету и совершенно разбитый нравственно, упавший духом, без всякой уже цели и с кучей долгов на шее; теперь уже ко всему прежнему прибавились новые долги ростовщице и новый долг в 1700 р., бесплодно в помойную яму выброшенный. Все эти пять месяцев я не видел света божьего, все мои планы разлетелись вдребезги, — а затем не 5 месяцев, *а ровно десять лет* беспрерывно жил под гнетом этой ужасной путаницы, устроенной «непрактическими» людьми со мной, *чрезвычайно практическим человеком.* Отчего М<итрофан> П<етрович> не отдал мне ту самую тысячу, которую взял, и в тот самый срок как обещал, через несколько дней, через десять дней? Взял 1000 и отдавай 1000. Я потом, *запутавшись и потерявши всякую цель существования,* потеряв смысл жизни, перебрал у М<итрофана> П<етровича> гораздо больше чем 1700 р., но мне невозможно было выпутаться, я не мог ни уехать, ни жену выписать, я потерял голову, едва не спился с кругу, — и затем, повторяю, десять лет влачил на своих плечах бремя банковского долга и преследования ростовщицы: где бы я ни был, в Петербурге, в Москве, в деревне, везде меня настигали и рвали деньги эти ростовщики, рвали зря, беззаконно, бессовестно, не давая мне минуты спокойной. Я боялся по улице ходить, у меня все нервы были постоянно напряжены, разбиты вдребезги, и это тянулось до прошлого года августа, когда Нов<городский> суд *отказал* этим подлецам в праве дальнейшего надо мной тиранства, — и из этого решения Вы можете уж понимать, что значат мои дела *«с какими-то ростовщиками и судами».* Гражданский суд, я думаю, во всяком

случае лицо компетентное в определении хоть бы того, «должен» человек или «не должен». Вот что такое эти *какие-то* суды, ростовщицы.

Вот почему я тотчас, как получил от Вас первые деньги, *немедленно* уплатил во Псков. А все девять лет томился и мучился этим долгом, я постоянно писал туда извинения, много раз ездил туда.[1]

112

В. М. ГАРШИНУ

(Отрывок черновика)

<Март 1885 г., д. Сябринцы (?)>

<.. ..> делаете новые долги... Стасюлевичу, в «Неделе».

Мне это показалось странным. Ф<лорентию> Ф<едоровичу> *должно* быть известно, — что у меня в эту зиму были непредвиденные расходы. Плата за сына 400 р. в гимназию, потом непредвид<енная> болезнь его — воспаление мозга, затем воспаление брюшины, расстройство устроенной квартиры, переезд в деревню, где каждое лекарство стоит втрое, потому что надобно за ним посылать мужика, а каждый доктор в 10 раз дороже, п<отому> ч<то> его надо привезти, отвезти, послать ему телеграмму, уплатить за визит и т. д. (У нас не было тогда поблизости док<тора>, как теперь.) Все это Ф<лорентий> Ф<едорович> знал и ставит мне в вину долги, которые я же отрабатываю на его глазах, — статьи печатаются и в «Неделе» и везде, а я окружен в это время тысячами забот.

В полном изумлении относительно того, что мне 1000 р. не поможет — (тогда как 5000 р., которые я только что достал Ф<лорентию> Ф<едоровичу>, вероятно помогли ему) я кажется ничего не нашел сказать ему, но он сказал сам<. .>.[1]

---

[1] Письмо не закончено. — *Ред.*

113

Н. С. ЛЕСКОВУ

Чудово, понедельник, 10 марта <18>85 г.

Уважаемый Николай Семенович! Несколько лет тому назад мне пришлось действительно перечитать решительно все, что написал Решетников (я тогда писал его биографию для изд<ания> Солдатенкова), — и вот что могу сказать Вам по совести: бока, ребра, печенка, селезенка, подоплека, решительно все суставы и все то, что в суставах и под суставами, — все у меня с тех пор треснуло, расселось, болит, ноет, скрежещет и вопиет. Окончив работу, я упал в обморок (это, положительно, верно; работа была спешная, и надо было делать страшные усилия, чтобы приковывать себя к столу. Г. З. Елисеев был свидетелем этого события, а доктор Конради долгое время поил меня хлорал-гидратом).

Вот что такое означают «Неизданные» сочинения Решетникова!

Но вдове надобно помочь, хоть я и решительно не знаю чем: все, что можно было перенести без дурноты, — все было напечатано. Но если Вы решаетесь еще попробовать немного похворать, то можно бы еще кой-что извлечь из его дневника, но едва ли она его даст, — там есть и о ней. И еще кой-что можно бы извлечь из драмы «Раскольник». Можно бы оставить разговоры Решетникова, — а излишнюю чепуху кратко пересказать своими словами, и таким обр<азом>, из драмы сделать «Отрывки из неоконченной повести». А потом и не знаю. Затем уж надобно посылать за доктором и лечиться.

Покорный слуга

Г. Успенский.

P. S. На этих днях Вы получите ту рукопись, о кот<орой> я гов<орил> Вам на пох<оронах> Курочкина. Теперь у меня есть Ваш адрес, — тогда я не записал его.

<Адрес:> В Петербург. Сергиевская, 56, кв. 14. Николаю Семеновичу Лескову.

114

Н. Н. БАХМЕТЬЕВУ

<28 марта 1885 г., д. Сябринцы>

Многоуважаемый Николай Николаевич!

Завтра я отправляю Вам окончание очерков «Через пень-колоду» и вот о чем хочу поговорить относительно будущего.

Я бы хотел писать повесть для ноября и декабря, повесть совершенно беллетристическую, листов в 10. Но для этого нужно иметь средства, а иметь их, не работая ежемесячно, невозможно.

Вот почему я предлагаю Вам, не найдете ли Вы удобным ввести в Вашем журнале отдел *«Русская жизнь»,* нечто вроде фельетона из общ<ественной> жизни. В Сибири, на Кавказе, на Юге, в Центре России, по Волге, на Севере. Для этого редакция на свой счет выписывает мне несколько провинциальных газет. (Не более как на 100 р.) Все эти газеты я перечитываю (с начала нынешнего года) и с 1-го июля, разобравши весь газетный материал на группы, буду вести не внутреннее обозрение, а обозрение *жизни,* тут будет и комедия, и трагедия, и дело.

Разобравши материал с января, — я с 1-го июля буду к разобранному присоединять новое и поровняюсь с текущими интересами русской жизни. Или можно назвать «Что делается на Руси?»

Каждая хроника будет 1 л. мелкого письма, причем газетные вырезки будут печататься еще мельче, — и этот лист будет давать много материала и чтения.

Все, что будет касаться провинциальной литературы,— все будет препровождаться Вам же в виде заметки «о провинциальной литературе» для библиографического листа.

При такой работе, которую я буду делать с большим удоволь<ствием> и интересом, — я буду писать повесть потихоньку, не беспокоясь о срочности работы, которая вредит делу, заставляет портить материал и т. д.

Об условиях (кот<орые> будут самые снисходительные) мы переговорим при свидании, а также и о подробностях. Но я бы убедительно просил Вас ответить мне,

согласны ли Вы вообще, в принципе, на введение этого отдела? и находите ли мое предложение нужным для «Р<усской> м<ысли>»?

Преданный Вам

Г. Успенский.

Чудово. Четверг.

115

А. И. ИВАНЧИНУ-ПИСАРЕВУ

(*Отрывки*)

<10—15 апреля 1885 г., д. Сябринцы (?)>

Дорогой мой А<лександр> И<ванович>! Тысячу миллионов раз собирался и принимался писать Вам, — но так ужасно тяжело жить, такая беда бесконечная тяготит надо мною всю жизнь, что едва-едва с страшным трудом и усилиями способен только строчить кое-что для хлеба. Искренности во мне давно, давно нет. Только нужда, и я уж ни о чем, ни о каких планах не мечтаю. Лишь бы что-нибудь, как-нибудь написать и потом думать о следующей работе. Ни знакомых, ни отдыха никакого никогда. В прошлом году доехал до Екатеринбурга и хотел ехать к Вам и видеть вас всех, — нет! Такая тоска взяла меня в Екатеринбурге, что я только промаялся там три дня и уехал, никого, ничего не видавши. Теперь мне поздно уж толкаться между людьми, смотреть, как живут, и т. д. Надо сидеть с пером и писать, пока не издохнешь. Как Вы счастливы, сколько вы (все) всего видели, и будут у вас хорошие, светлые времена (они, кажется, начинаются), а у меня ничего не будет, — только пиши и пиши. Тут никуда не хочется поехать, все равно надо будет истребить в себе все, что привезешь. Лучше сидеть.

Отчего Вы не пишете мне? Дмитрий Александрович? Мария Павловна? Это не по-суседски...

Рукопись молоканина сокращена, вычеркнуто множество, и потом ведь пишешь положительно с глубоким сознанием, что «не так», и это уж несколько лет подряд. Но она произвела большое впечатление, и массу писем я получил. В сочинении Л. Толстого, которое не напечатано, та же идея, и едва ли не этот молоканин вывел его

из той чепухи, в которую попал Толстой с своей теорией благотворительности, которую практиковал на деле. Теперь он все это попрал и говорит: «пахать!» Я думаю, что и это не пристало к барину. Зачем же тащить из мужицкой теории в свою то, что для барина только извинение не вмешиваться в политику? Ведь пахать-то в самом деле не будет...... Читал у г-жи Минаевой письмо Дмитрия Александровича — чистый академик! С севера, говорит, мы граничим севером, а с юга горами Араратскими, а к западу начинается то-то и то-то... И при том сказано: «письма не читаются». Не знаю... А хорошо, если бы Вы и Д. А. писали о своем житье-бытье подробно, все что угодно, — все важно и все по возможности надо бы проводить в публику теперь...

Скоро к Вам поедет мать Фигнер, т. е. не к Вам, а к дочерям в Иркутск.

Итак, милый мой А. И., и все, милые мои, — пишите! Глубоко Вам благодарен за рукопись.

116

В. М. СОБОЛЕВСКОМУ

Одесса, 7 мая <1885 г.>

Дорогой мой Василий Михайлович! Я в Одессе, куда приехал только вчера. Боюсь, как бы Вы не уехали из Москвы раньше 15 и потому пишу вот что.

Завтра я пошлю Вам 4 фельетон, а затем, каждую неделю аккуратно буду присылать письмо в 600—700 стр<ок> или немного меньше. 5-ый будет беллетристический этюд «Саранча», — о разной наживающейся вокруг мужика сволочи, которою кишит юг, и т. д. Словом, *аккуратно* каждую неделю я буду присылать Вам либо фельетон, либо корреспонденцию.

А Вас я убедительно прошу дать мне еще 100 р. и выслать их в Ростов-на-Дону «до востребования», — и выслать их я прошу Вас теперь. Если неловко сделать этого через редакцию (я так думаю), то, пожалуйста, если можете, одолжите мне свои сто руб. Я заработаю и все взятое и их, постепенно, повторяю, посылая каждую неделю

либо корреспонд<енцию>, либо фельетон. Имейте в виду, что если теперешние мои фельетоны не подойдут к Вам, то я их напечатаю в июне или в июле в «Русской мысли», в виде предисловия к «Очеркам русской жизни», кот<орые> буду писать там, — и деньги могу возвратить оттуда. Но если эти фельетоны печатаются (я не вид<ал> до сих пор «Рус<ских> вед<омостей>») — то я очень рад, я скоро, скоро их покрою. Но деньги мне нужны, — у меня было в Москве 225 р., из них я за время приезда жены и за свои 4 дня отдал больше 40 р., затем я поехал в 3 классе до Курска, но с Курска, при появлении жидов и грязи, решительно не был в состоянии ехать в 3-м классе: грязь, вонь, теснота, духота, бормотанье жидовское, — смерть. Я поехал на Киев с тем, что по карте железной дороги оказывалось удобным доехать до Одессы чрез Николаев, — от Киева до Кременчуга по Днепру, далее по железной дороге и потом 4 ч. на пароходе. Принимая во внимание вообще низкие пароходные цены, я и поехал именно так, — но, можете представить, что вышло: за проезд во 2-м классе очень дешево, — но оказалось, что в Кременчуге пришлось ждать поезда с 5 часов утра (прих<одит> пароход) до 10 с чем-то ночи, брать номер, есть от скуки, ехать в город и из города, платить носильщикам и т. д. Просидеть на станции с 5 ч. утра до 10 вечера — одуреешь. А в городе пыль, жара страшная и пьяные офицеры рядом в номере. Приехал в Николаев — здесь еще хуже: поезд приходит в 10 ч. утра, — а пароход в Одессу идет на другой день в 8 часов утра. Что тут делать? Жара ужасная, белое небо, белая пыль, белая вода — все слепит и палит, точно утюгом горячим гладит по платью. Я и надумал, — чем ждать и сидеть в номере, — поехал в Херсон на пароходе, кот<орый> отх<одит> в 12 ч. В Херсоне я пересел на пароход, идущий в Одессу, — погулял два часа по городу в страшную жарищу и, наконец, добрался до Одессы. Она мне нравится. Вот ввиду таких-то неожиданных расходов, — бессмысленных, я и буду по приезде в Ростов-на-Дону нуждаться в деньгах. Народу так много едет на юг, что даже в Кременчуге я заплатил за № 1 р. 50 к. меньше суток; я ни одной копейки не трачу зря, но я не на месте, каждый день в дороге стоит рублей 7 за одну только дорогу.

Вот почему, голубчик мой, пожалуйста, Вы меня поддержите и вышлите в Ростов 100 р. теперь же, как только получите это письмо, а фельетон я пошлю завтра, и Вы получите его через день после моего письма. Завтра 8<-е>, я пошлю фельетон, а 9-го выеду уж в Ростов, — но в Севаст<ополь> не буду заезжать, а опять в Николаев, — дешевле, чем на пароходе (там обязательно надобно брать пароходный завтрак и обед), да и утомился.

Как бы хорошо тут около Одессы, словом, в этих местах пожить месяц! Сколько ужасно интересного! Менониты, колонисты немцы, штундисты, казаки! Все это до чрезвычайности ново, любопытно. Я чуть-чуть видел и говорил, — а поверите ли, не расстался бы со здешними местами, так много в каждом уголке своего — вер, порядков, взглядов, обществ<енных> отношений, типов и т. д. Но надо ехать в Ростов, потом во Владикавказ и там по указанию Благовещенского и Абрамова утвердиться на 1 месяц, а затем домой.

Милый Василий Михайлович! Пожалуйста, не думайте, что я Вас запутаю в денежных делах! — это ни в каком случае не может быть. Мне Кичеев предлагал 300 р. с тем, чтобы я написал 1 рассказик к концу июня, а другой к концу декабря, — но я не могу и не хочу этого делать. И у Гайдебурова я мог бы спросить вперед, но меня к нему загнала болезнь ребят в декабре, а теперь я все с ним окончил. В «Русской же мысли» я возьму вперед только в крайнем случае: у нас там идут расчеты копейка в копейку. Вот почему мне бы хотелось, чтобы выслали 100 р. мне Вы: я Вам их заплачу полегоньку в течение лета. А приехать в Ростов и сидеть там долго, понапрасну, — ужасно нехорошо. Зачем?

Не сердитесь же, милый мой Василий Михайлович, за это письмо. А главное, не сердитесь за последний вечер: Вы не пили ничего, и Вам было скучно, — а мы все выпили и чорт знает что болтали. Ольге Ивановне я написал письмо, — я так устал тогда и опечалился, что не мог зайти к ней. Напишите мне в Ростов, когда и куда Вы едете? И не встретимся ли мы? Хоть на несколько дней? Сегодня в «Новороссийском телеграфе» напечатано, что на приморских дачах уж начались купанья. Вот бы покупаться! Но надо, надо ехать, — а потом и назад, за работу.

Я не печалюсь, хорошо себя чувствую — покойно и много для меня чрезвычайно нового. Ах, сколько нового на Руси! Не тужите, не скучайте, — не думайте о себе печально, — интересней думать о том, как живут люди. Я всегда исцеляюсь этим.

Где Михайловский? Если он в Москве, пожалуйста, передайте ему, чтобы он написал мне в *Ростов-на-Дону* — где он будет? и когда? Я ужасно хочу его видеть. Хорошо бы съехаться всем 3-м где-нибудь, хоть дня на 3—4.

Не сердитесь же. И если можете, не покиньте меня. Я очень редко отдыхаю на своем веку, а теперь мне это надо до крайности, и Вы увидите, что осенью этот отдых принесет плоды. А Варвара Алексеевна как поживает? Передали ли Вы ей мои книги? Я ее очень почитаю. Передайте ей мой привет. А Вас целую.

Ваш *Г. Успенский.*

117

А. В. УСПЕНСКОЙ

16 мая <1885 г. Севастополь>

Друг любезный, только сегодня добрался до Севастополя. В Одессе меня совсем завертели, хотели давать обед, но я уехал накануне. По приезде я решительно никого не видал и сидел один в №, писал статью в «Русск<ие> ведомости», чувствовал себя очень хорошо и ходил гулять очень много. Но вот на 3-й или 4-й день, смотрю, кто-то стучится, прочитал в газетах, что я приехал (напечатали на другой день), и просит познакомиться: оказывается, сын хозяина гостиницы, человек, занимающийся литературой, знающий всех петербургских литераторов, и говорит, что со мной хотели познакомиться художники Кузнецовы. У этих Кузнецовых 3 огромных имения под Одессой. Не поехать в деревню было просто глупо (Кузнецовых знает Ярошенко, он тоже на передвижной выставке). Прислали за мной четверку лошадей, два дня я жил в деревне. С меня сняли там 5 фотографий, потом поехали в болгарскую деревню на праздник, — праздник удивительно любопытный, там пробыл также около двух

дней и еще день у Кузнецовых. Приехал в Одессу — оказывается, ко мне приходил слепой литератор Е. Колбасин, который работал в «Современнике» при Черныш<евском> и Добролюб<ове>, и я должен был быть у него, и он такой милый человек, что я был у него два раза. Теперь еду в Ростов, денег у меня оч<ень> мало, но в Ростове будут. Я думаю — вышлет Соболевский. Но меня грызет тоска, что вы все там без денег и Померанцевой еще не отдано, и потом еще надо, и надо, и надо. Не знаю, не приеду ли из Ростова тотчас домой, чтобы все это устроить и поехать, если будет можно, опять, хоть в начале июня на 1 месяц. Как ни думаю, но дом непременно надобно продать — иначе трудно выпутаться и устроиться осенью. Посылал на почту, писем нет от тебя. Тверитинова нет, не мог разыскать, да и некогда. Устал, отдохну и уеду тотчас.

Целую вас всех, целую тебя, Сашечку. Надеюсь найти в Ростове письма. Пишите, пожалуйста, — я отвык от чужих людей, и мне только трудно с ними. Ну, до свидания.

Г. Успенский.

118

А. В. УСПЕНСКОЙ

18 ию<ня> 1885 г., Ессентуки

Друг любезный. Сейчас я получил телеграмму «все здоровы», а ответа на вопрос, «возвращаться ли мне», не получил. Я спрашиваю тебя, не больна ли ты, не лежишь ли. Ты должна получить сто рублей из ред<акции> «Недели», никак не позже, как через 3 дня после этого письма, и когда получишь, то телеграфируй мне. Я пробуду здесь самое большее до 28 числа. Говорю *здесь* — не в Ессентуках, а в Кисловодске, потому что мне надобно хоть 5, 6 ванн взять там. Но жить там ужасно дорого, и сегодня мы телеграфируем Ярошенко, чтобы он уступил нам с Мих<айловским> на некоторое время комнату в своем доме в Кисловодске. Мне уж хочется домой и работать. Такая кругом пошлость, гадость, грязь,

такие похабные разговоры, дамы, мужчины. Но я ужасно рад, что видел всю эту мерзость, я опять еще больше почувствовал охоты работать так, как работал. Я этого свинства не видал, одни мужики да заключенные, можно и одуреть, но когда поглядишь на эту золотую сволочь, опять начинаешь глубоко уважать тех, кто пострадал. Теперь в моей душе, кажется, опять нет никакого зла, — и я опять буду работать много. Меня очень почитают, — но надобно не ослабевать, а то и перестанут почитать-то. Прости меня, милый друг, что я тебя все время оставил без денег, — мне надобно было полечиться, — от моей болезни между нами было много напрасных неприятностей, теперь не будет. Будем жить дружно. Если ты заболеешь — телеграфируй, я тотчас ворочусь домой. Целую тебя. Сашечку и Верочку поцелуй.

Г. Усп<енский>.

119

В. М. СОБОЛЕВСКОМУ

<1—15 августа 1885 г., д. Сябринцы>

Дорогой Василий Михайлович!

Во-1-х, не потеряйте письмо Мантейфеля и, если можно, пришлите его мне, — или только адрес Мантейфеля, его имя и отечество. Ему необходимо ответить, — он доставит несомненно превосходный материал. Не худо бы, если бы Вы прислали мне и то письмо, которое Вы получили от крестьянина, — я бы подумал над ним.

Надо работать, сиднем сидеть, — единственное спасение!

Во-2-х, пожалуйста, если Вы только находите возможным, — печатайте теперь же «Безвременье», — тогда я скорей буду продолжать, а то точно загорожена дорога, *статья лежит.* Раз за разом — так мне лучше, одна статья тащит за собою другую. Я напишу четыре, и их надобно печатать одну за одной — тогда будет хорошо.

А в-3-х, не осердитесь: денег я получил от Бахметьева мало, — надо подождать с месяц, да еще доставить

работу, тогда я войду уже в *право* взять сразу 750 р., а деньги между тем крайне нужны, надобно Шурыча устраивать — платье, книги, квартира и т. д. В прошлом году я платил за него как за пансионера 410 р., и он имел все готовое. Теперь платье надобно сдать и сделать все до штанов и подштанников включительно.

Вот поэтому-то и прошу Вас, — печатайте что есть, — и тогда вместе с прежними 4-мя статейками получится некоторое покрытие долга и незазорная мысль о кредите. Если Вы напечатаете то, что у Вас есть, то выйдет всего немного более 3000 строк, а по 10 к. это составит руб. 300. Я должен 550 р. (с теми, что Вы дали мне в Кисловодске), след<овательно>, за мной будет 250. Дайте мне теперь 150 руб., и я не буду беспокоить Вас ни разу до полного покрытия всех 400 р., а осенью, в ноябре-декабре или, вернее, в декабре, — дайте опять — тогда тоже много расхода.

Нельзя ли послать из конторы Вашей мальчика в отель «Рояль» спросить, нет ли там мне писем или телеграмм, и все это прислать ко мне?

Простите меня, милый Василий Михайлович, — сухо мне уж очень жить теперь. Да бога же ради, приезжайте (захватив с собой бутылочки 3<2 *нрзб.*>. Телеграфируйте накануне или со станции, когда поедете, — чтобы я мог дать знать Михайловскому и мог бы провести несколько дней хорошо. Я теперь один, — хочется топить комнату, — но как будто выйдет нескладно, а на дворе не тепло. Все еще пышно и зелено, и в саду у нас хорошо. Алекс<андра> Вас<ильевна> с Сашей в Петербурге, устраиваются, — вот им-то и нужны деньги, да и мне надобно немного.

Письмо Мантейфеля Вы положили в боковой карман. Много я жрал винища с горя в Москве, — теперь прихожу в себя — и много, много буду работать. Если Вы мое «Безвременье» напеч<атаете> скоро, — то я через 4 дня доставлю продолжение.

Не печальтесь: «минует ночи мрак *упрямый!*» (стих. Некрасова).

А писать мне в Чудово. Буду ждать Вашего письма как можно скоро.

Ваш *Г. Успенский.*

120

В. А. ГОЛЬЦЕВУ

<16—19 сентября 1885 г., д. Сябринцы (?)>

Виктор Александрович! Я очень сожалею, что, оставив мне записку в квартире Соболевского о том, что Вы были, Вы не написали, когда я мог бы застать Вас. Утром я от г. Бахметьева узнал, что Вы не будете, а мне решительно не было времени заехать к Вам, так как я и так был в Москве подряд 4 раза — исключительно вследствие всевозможных личных неприятностей.

Я буду Вам очень благодарен (говорю это без экивоков), если Вы объясните мне 558 т<ысяч> заключенных в тюрьмах в период одного года.

В отчете главного тюремн<ого> упр<авления> за <18>83 г. сказано:

К 1883 году *общее число заключенных* равнялось: 101.518 человек.

В том числе:

1)	*Под судом и следствием*	— 22.442
2)	*Присужденных к заключению на срок*	— 56.117
3)	*Ссыльных*	— 14.205
4)	*Пересыльных*	— 4.889
5)	*Остальных категорий*	— 426

Вот подлинные рубрики отчета, и я думаю, что цифра 101.518 челов. есть цифра подлинно — так ли, сяк ли — виноватых в чем-нибудь за текущий год, т. е. таких, о которых суд сказал обв<инительное> слово и нашел нужным оставить в тюрьме.

Далее в отчете сказано:

В течение отчетного года, т. е. <18>83, — *по всем местам* заключения, — *прибыло* вновь: 671.750 чел.

В течение того же времени (я списываю это буквально) — *выбыло* 689.916 чел.

Вы видите, что выбыло больше, чем прибыло, — и что, следовательно, с этими выбывшими выбыла и часть из вышепоименованных категорий.

И затем к 1-му января <18>84-го года *осталось* 83.352.

Теперь позвольте спросить Вас, кто такие составляют эту огромную массу прибывающих и убывающих *по всем* местам тюремных учреждений? Куда девались эти 500 т. к <18>84 году, — если их нет в перечисленных категориях (коих 5-ть)? Я нарочно подчеркиваю по *всем местам*, потому что дело идет *обо всех тюрьмах России.*

И я думаю, что эти 500 есть именно те, не подлежащие обвинению ни по какой категории, но все-таки заключаемые в тюрьмы люди, заключаемые за тысячи якобы всяких грехов, источник которых очень прост.

Тут и старосты, посаженные исправником за невзнос податей, тут неплательщики по случаю неурожая, тут и пьяницы, тут и жены, избитые мужьями, и мужик, который нагрубил, и тот, кого выдрали, и кто, напившись пьян, стал со зла кричать, что, мол, сожгу деревню. Наконец, — позвольте Вас спросить, — Вы сами сидели в тюрьме, — но Вы ни в какой[1] из перечисленных категорий не можете быть введены. У нас живет женщина-врач, которую *взяли* при обыске в чужой квартире и продержали полгода, — и выпустили. Виновна ли она и под какую категорию Вы ее подведете? Политических невинно-заключенных разумеется сотни, — а невинно-заключенных мужиков — сотни тысяч.

Я убедительно прошу Вас объяснить мне это прибыло и убыло, если я понял не так.

А мне кажется, что есть все данные, которыми я хотел воспользоваться в следующей статье (говоря об интеллигенции дельной — и бездельной), что цифра 83.352 заключенных, оставшихся в <18>84-м году, — цифра гораздо меньшая предшествующего года, — прямо зависит от того, что народ сам стал *уходить от зла* (переселения) и что учрежден Крестьянский банк. Вообще *удовлетв<орение> насущных нужд*, о кот<орых> я хотел писать, — просто и добросов<естно> — вот и нет 15 т<ысяч> заключенных, нет 15 т<ысяч> дел.

Еще раз я глубочайшим обр<азом> жалею, что не видал Вас. Выбросив эту страницу, ред<акция> «Р<усской> м<ысли>» расстроила мой план.

Матерьял о пустоте деятельности соврем<енной> провинц<иальной> интеллигенции, — (собр<анный>

[1] Так в подлиннике. — *Ред.*

для след<ующей> статьи), — я хотел вести параллельно с такими простыми делами, как Крестьянский банк, и все, что в этом простом и благородном роде сделано, припомнить — надо ж припомнить наконец, что такое настоящее дело.

В Воронеже убивают ростовщицу, и вся администрация поднимается на ноги. Начинают делать облавы и в течение недели забирают и сажают в чижовки (тоже места тюрем<ного> заключ<ения>) до тысячи человек. Из них не более ста отправляют на места жительства, не более ста заключают в острог, как беспаспортных или попавшихся во 2-ой раз, и 800 *сдают мещанскому обществу,* как доказавших свою *самоличность.* Эти 800 — во-1-х, в числе тех заключенных, которые прибывают и убывают сотнями тысяч, во-вторых, о них затеяно и прекращено 800 дел, в-3-х, эти 800 ни кола ни двора не имеющих человек, т. е. кандидатов в воры и разбойники, — выпускаются опять на свободу, потому что доказали свою *самоличность*, т. е. для них ровно ничего существ<енного> не делается, никакой серьезной заботы о том, чтобы они не были ворами, нет, — а между тем — они составляют предмет — «дел», расходов на тюрьмы и т. д. и т. д. Вот та чепуха — «дела», область которых бесконечна и которые вовсе не дела. В параллель к этому я хотел припомнить дела настоящей интеллигенции.

Во всяком случае я не только жду Вашего письма, а *убедительно прошу* Вас объяснить мне мою ошибку.

Преданный Вам *Г. Успенский.*

Впрочем, я не совсем хорошо понимаю выражение Вашего письма *«совершенно ошибочные»* выкладки. В чем редакция находит *совершенную* ошибочность? В арифметическом ли или в том внутреннем смысле, который я придаю цифрам? Если я ошибаюсь в арифмет<ическом>, то это дело только корректурное, т. е. необходимо было только проверить цифры, — если же я не так понимаю цифру, — то это очень много значит для дальнейших работ. Выкладка же моя вот какая.

К 1-му января было: 101.518 ч. Это количество заключ<енных> было в тюрьмах *первого января* <18>83 года. Затем *в течение года*, т. е. с 1-го ян<варя>

по 31 дек<абря> <18>83 г., к ним прибыло—671.750 ч., т. е. всего перебывало в тюрьмах за <18>83 год 101.518 челов. + 671.750 ч. = 773.268. Вот сколько было в тюрьмах *в течение года.*

Но в этой общей массе — 101.518 ч. осталось от <18>82 года — 83.352 перешли на <18>84.

Следов<ательно>, в течение <18>83 г. — 588.398 челов. перебывало в тюрьмах *таких людей*, которые в том же году и ушли.

Кто же это такие? Откуда они пришли и куда девались?

Что же касается до того, что как остатку от<18>82 г., так и остатку от <18>83 г. (т. е. 101.518 и 83.352) — я *придаю значение* цифр, свидетельствующих о количестве заключенных, *действительно* в чем бы то ни было виновных, т. е. о таких, которые сидели в тюрьме по каким-нибудь законным причинам, — то припомните, пожалуйста, что говорится *о судебных* палатах в той же моей статье.

Вследствие обилия дел, суд<ебные> палаты не могут обсуждать дел, а пропускают *почти все обвинительные акты*, которые туда поступают. (А сколько же прокуроры прекращают дел и не доводят до суда.) И если Вы припомните цифру *дел* на *каждого члена суда палаты*, т. е. таких дел, которые имеют по кр<айней> мер<е> юридически оформленный вид, — то *при* 10-ти *судебных палатах* в России, в которых находится 45 председателей и председателей департаментов, — да, положим, такое же количество, даже вдвое, членов судеб<ных> палат, — то есть при персонале в 130, в 140 человек, персонале, от которого зависит участь подсудимого, персон<але>, который именно и определяет, виновен человек или невиновен, следует его судить или не следует, — полагая по *1000 дел на человека* (кажется, такая цифра в «Русск<их> вед<омостях>»), мы получим 130, 140, 150 тысяч *обвинительных актов* о людях, более или менее действительно виноватых в чем-нибудь; но так как суд<ебные> палаты, хоть и завалены делами, но все-таки рассматривают же их и кассируют, — то, вычтя из 150, даже 160 тысяч дел какую-нибудь цифру кассированных прокурорских обв<инительных> актов, — мы и получим цифру, весьма близкую к 101.518, к 83.352 и т. д., то есть

получим цифру *действительно* содержащихся в тюрьмах по какому-нибудь действительному обвинению в чем-нибудь.

Итак, В<иктор> А<лександрович>, я жду Вашего объяснения, т. е. объяснения редакции «Р<усской> м<ысли>». Большое письмо Ваше я получил. Искреннее Вам спасибо!

Ваш *Г. Успенский.*

121

В. А. ГОЛЬЦЕВУ

Чудово, 29 сент<ября 18>85 г.

Виктор Александрович! В письме Вашем для меня оказываются чрезвычайно важными следующие строки: говоря о причинах, заставивших ред<акцию> выбросить страницу о тюрьмах, и указав на цензуру, Вы прибавляете: *«в данном* случае редакцием *руководила уверенность, что неправильная Ваша выкладка могла бы подорвать всю Вашу аргументацию».*

Вот это-то Ваше сообщение и важно для меня. Я именно и просил Вас разъяснить мне, цифровые ли ошибки были причиною того, что конец, по-моему *необходимый,* исчез, или сама аргументация цифр.

Охотно винясь в цифирных погрешностях, — я никак не могу согласиться с редакцией относительно аргументации. Если неверен конец, — тогда вся статья не нужна и ее не следовало бы печатать вовсе, что меня нисколько бы не обидело.

Повторяю, я совершенно согласен с неверностию цифр, — но, для того чтобы страница осталась цела, мне следовало бы оставить только цифры отчета и сосредоточиться только на одной, на цифре *прибыло*, нимало, *по моему* мнению, не нарушающей моей аргументации.

Все дело состояло в том, чтобы доказать, что в 600 тысячах прибывающих и вообще циркулирующих по тюрьмам людей, — огромная масса таких преступников, источник преступлений которых какой-нибудь неурожай в деревне, глупые розги вместо того, чтобы дать земли и т. д.

Кто же эти 600 т<ысяч> человек, циркулирующих по тюрьмам?

Чтобы попасть на скамью подсудимых окруж<ного> суда, надобно обвинительному акту пройти чрез судеб<ную> палату.

Из статьи Хрулева в «Юр<идическом> в<естнике>» вы можете видеть, что 600 000 обвинительных актов нет, не может их быть, это значило бы, что на члена судебной палаты пришлось бы по 6 тысяч дел в год по крайней мере.

Следов<ательно>, из 600 000 огромная масса *не попадает на скамью подсудимых.* Следовательно, могут их посадить, но прокуроры не найдут ничего, кроме голодного брюха, и выпустят.

Но даже и в тех 120, 130 тысячах обвинительных актов, которые проходят чрез судебную палату без рассмотрения, — так их много и не под силу членам их рассматривать, — десятки тысяч дел «за кражу» оканчиваются полным оправданием подсудимых, и, наконец, сама судебная палата (как сказано в статье «Рус<ских> вед<омостей>» по поводу статьи Хрулева) уже после вердиктов, произнесенных окружными судами, кассирует множество решений.

Аргументация моя заключалась только в том, что в этих 600 тысячах находится огромная масса из тех, которых миллионами дерут *сначала* в волостях *ни за что ни про что,* потому что нет земли, нет хлеба, нет лошади, — из которых *потом* выделяются уже *сотни тысяч ожесточенных,* буйных и жестоких в семье и на миру, — и вот дела мировых судов, — после которых, насидевшись в холодной и расстроившись и в семействе и в хозяйстве, — сотни ж тысяч, но меньшие, совершенствуются дальше, идут на кражу, на воровство со взломом, попадают в тюрьмы, в окружные суды, — а корень-то всего этого — опять-таки *простая невозможность* существовать, невозможность позорнейшая для России, где земельные порядки должны быть на первом плане.

У меня было начало, средина и конец. Начало и средину можно напечатать, а конец почему-то мог бы все это разрушить. Я этого никак разделять не могу, но охотно соглашаюсь принести повинную в *неточности* цифр. Да, в моей статье было сказано только *примерно, и вот в каких размерах должно считать цифру людей, имеющих какие-нибудь резоны быть в тюрьме, т. е. быть серьезно*

обвиненными, и цифра эта исчислена в примерно около 100 тысяч, что согласуется и с колич<еством> обвин<ительных> актов, рассматриваемых суд<ебными> палатами.

На этом мы и кончим историю с зачеркнутой страницей. Я остаюсь при моей аргументации, а ред<акция> «Русской мысли» при своем праве вычеркивать то, что, по ее мнению, следует вычеркнуть.

А затем, будьте здоровы, поклонитесь Ив<ану> Ив<ановичу>, если его увидите, Михаилу Ильичу, кот<орому> я буду писать, Соболевскому и примите уверение в искренней моей преданности.

Г. Успенский.



1886

122

Я. В. АБРАМОВУ

<6 января 1886 г., д. Сябринцы>

Любезнейший Яков Васильевич!

При этом письме прилагается очень любопытная и интересная рукопись, которую положительно надо бы поместить либо в «Неделе», либо в «С<еверном> вест<нике>». В «Неделе» в последнее время очень часто пишут о необходимости работать в народе. Это так. Но надо же и заступаться за этих работников, надо же, чтобы жизнь и работа в народе не была тиранством и мученичеством. Об учителях в *Неделе* писано много сочувственного — и это хорошо. Но горькие условия жизни этих работников надо же выставлять в литературе. Если бы Вы сделали маленькое предисловие к этой рукописи и посократили ее, т. е. поисправили бы вообще в литературном отношении, то я думаю, что она бы могла быть напечатана в книжках «Недели» или в «Сев<ерном> вестнике», во 2-м отделе.

Будьте добры, не откажите обратить внимание на мою покорнейшую просьбу.

Ваш *Г. Успенский.*

Чудово, 6 янв<аря 18>86 г.

123

А. М. ЕВРЕИНОВОЙ

<Февраль—март 1886 г., Петербург>

Многоуважаемая Анна Михайловна! Никаких других изменений в корректуре больше не будет. Общее название «На разные темы» даст мне возможность под тем

же заглавием написать что-нибудь и дельное со временем, теперь я сделать этого не могу.

Интрига и конспираж против Н<иколая> К<онстантиновича>, — как, вероятно, уж Вам известно, — не удалась с первого же раза, т. е. в тот же день, как только интрига была задумана, Ник<олай> Кон<стантинович> пришел и всю мою механику мне же и рассказал. Я же открыл ему и то, чего он не знал, — так все и кончилось по части механики и интриги.

Но я думаю — неужели в самом деле нужны интриги и механика для того, чтобы такой писатель, как Михайловский, работал в хорошем литературном органе? Ник<олай> Конст<антинович> не может бросать литературного дела из-за причин литературных: какие такие могут быть литературные противоречия или несогласия между ним и редакцией? Никаких существенно верных причин этого рода быть не может: ему может не понравиться плохая статья или статья ненужная, — только всего; это неизбежные литературные мелочи. Такого случая, чтобы хорошая статья возбудила в Н<иколае> Конст<антиновиче> неприязнь или он захотел бы отвергнуть дельную работу, — разве может быть что-нибудь подобное? Да и были ли случаи, чтобы какие-нибудь недоразумения возникали между редакцией и им из-за статей действительно дельных? Этого решительно не может быть.

Стало быть, недоразумение не литературного свойства, а если оно не литературное, — то решительно нехорошо делает тот, кто из-за них расстраивает литературное дело. Если в этом виноват Н<иколай> К<онстантинович>, — то он делает большое зло, уходя от хорошего кружка товарищей. Если же сама редакция придает какое-нибудь значение нелитературным недоразумениям — то она делает не лучше Михайловского.

Но я думаю, что Вам, Анна Михайловна, дорого литерат<урное> дело, что на Вас, как на ред<акторе> единственного порядочного молодого органа, *лежит обязанность* совершенно пренебречь всеми совершенно не относящимися до литер<атурного> дела мелочами, не придавать им ни малейшего значения и сделать все, чтобы от

Вас не уходил по каким-то неведомым причинам писатель, не часто попадающийся на свете. Предоставьте на полную его свободу всевозможные, не имеющие прямого отношения к делу, фанаберии, — бог с ним, — но, бога ради, устройте, чтобы он работал. Я не видал его и не говорил с ним; на интригу оказался неспособным, — думаю, что если бы Вы написали ему простое письмо, усовестив его, что он очень дурно делает, бросая журнал, — так это было бы лучше всего — и просто и справедливо. С закрытием «Отеч<ественных> зап<исок>» целые толпы молодых и всяких литераторов, как мухи, идут вразброд, <ищут> работы из-за копейки денег. Нет ни уюта (литературного, а домашний есть у всякого), ни искреннего внимания к работе (как было у Щедрина), — холодно, одиноко и скучно. Вяло пишется, и не видно — каков таков читатель у тебя. В «Сев<ерном> вестнике» опять началось было что-то по-божески, и вдруг уходит Михайлов<ский>. Почему? Что за причина? Литературные несогласия? Я говорю, что это не причина. Они постоянно были в «От<ечественных> зап<исках>». С тысячами вещей Михайлов<ский> не соглашался, — однако работал. Он, напр<имер>, Елисеева не любил и совершенно не разделял его мнений, — однако работал 10 лет. Возможны же какие-нибудь уступки. И я вновь уверен, что Вы, обдумавши это дело беспристрастно и просто, можете сами без всяких интриг и махинаций привлечь опять Мих<айловского> в «С<еверный> вест<ник>» редактором или сотруд<ником> — это безразлично. Но нужно, чтобы он писал здесь.

Так я думаю, а Вы не сердитесь на меня за письмо. Я именно больше всех и чувствую литературную бесприютность, одиночество, довольно я помучился с нелитературными издателями, и меня крайне волнует, если Ваш журнал не приютит Мих<айловского> и он будет шататься где попало.

Интригу, впрочем, я начинал, но не окончил. Хотел было написать здесь, но не напишу. И об интриге отныне не будет помину.

Предан<ный> Вам

Г. Успенский.

124

В. А. ГОЛЬЦЕВУ

16 марта <18>86 г., Чудово

Многоуважаемый
Виктор Александрович!

Я и сам давным-давно хотел видеться с Вами и поговорить и непременно сделаю это очень скоро, так как скоро буду в Москве. Что касается меня лично, то я решительно никогда и никому не говорил про Вас буквально ни единого неприязненного слова; да это было бы и глупо и несправедливо, потому что Вас я могу только искренно уважать и за Вашу деятельность, и за Вашу жизнь, и, наконец, за Ваше ко мне постоянное доброе отношение, — и Вы в этом сами не можете сомневаться. Но против редакции «Рус<ской> мысли» я кое-что имею, — нисколько однакож не смешивая Вас с этой редакцией. Меня просто удивляет поэтому то, что (как мне передают решительно все мои знакомые, бывавшие в эти последние месяцы в Москве) Вы недовольны моим письмом к Бахметьеву, в котором я писал, что поручаю делать в моей статье исправления только ему, а не неведомой мне редакции. Такое письмо я точно писал, но почему *Вы* могли принять это на свой счет, я не понимаю. Исправлениям г. Бахметьева — я безусловно подчиняюсь, не буду спорить ни в одном слове, точно так же безусловно подчинюсь, например, Щедрину. Щедрин — литератор, беллетрист, за которым огромный опыт и огромный труд. Я знаю его, ценю, уважаю и знаю еще, что он может мне указать. Бахметьеву я тоже безусловно подчинюсь, потому что он знает одни цензурные условия: «Это не пройдет; нельзя!» — и этого довольно; я охотно и без спора выкидывал почти по полулисту сразу; в августе я выбросил целый рассказ (но самых малых размеров). Пожалуйста, истребляйте все, что покажется Вам подозр<ительным> в цензурн<ом> отношении.

Надеялся быть в Москве, надеялся поехать, — но, увы, кажется, этому быть не суждено.

Желаю Вам, дорогой Виктор Александрович, хорошенько отдохнуть, очувствоваться и поправиться здоровьем.

Не огорчил ли я Вас своей припиской о Слонимском? Не знаю; я не думал делать этого. Я знаю одно — в петербургском литературном мире — сплетня, мелочная кляуза царит в небывалых размерах и сумеет развить всякую малость, дающую повод к литературной сплетне, до громадных размеров.

Просто тошно и противно жить в Петербурге.

Преданный Вам *Г. Успенский.*

125

В. М. СОБОЛЕВСКОМУ

<1 апреля 1886 г., Ростов-на-Дону>

Дорогой Василий Михайлович! Не было никакой возможности писать из Грязей — спал сном пьяного праведника. С Козлова до Ростова ехал один-одинехонек и большею частию спал и спал. В Ростове сообразил, как мне быть, и вот что придумал: еду сухим путем до Новороссийска, где проживу дня три и буду Вам писать в «Рус<ские> вед<омости>». Из Новороссийска еду к Сибирякову, на что уйдет *неделя*; затем возвращусь опять в Новороссийск — и опять буду писать в «Рус<ские> вед<омости>». После этого уеду прямо в Болгарию; вот план, который будет соблюден в точности. Но вот моя покорнейшая и глубочайшая просьба. Не найдется ли у Вас или у кого из знакомых март и апрель месяцы «Русской мысли» <18>84 года? Эти книги мне крайне необходимы, и если бы было можно прислать их под бандеролью в Новороссийск до востребования. А затем я помышляю в самом деле уехать и дальше за границу. Не скажу еще, чтобы душа была у меня на месте, но думаю, что *должна* быть. Пока и в поле, и на реке, и в городе — нехорошо: ветер свищет, пыль, голые поля, голые деревья — ничего больше. Зелени нет, кое-где только — чуть-чуть заметна. Из Ростова идут пароходы прямо в Керчь, но пароходы шли скверные, да и сухопутьем на лошадях я давно не ездил, да и места всё будут новые. И если на этом пути до Новороссийска что-нибудь остановит меня, — то я останусь лишний день-два, — не буду

лететь сломя голову. Все, что можно делать, буду делать. Большое, большое Вам спасибо, дорогой мой!

Ну, будьте здоровы!

Ваш *Г. Успенский.*

В<арваре> А<лексеевне> мой привет, а Глебычу — поцелуй.

126

В. М. СОБОЛЕВСКОМУ

Апр<еля> 7, Новороссийск, <18>86 г.

Милый мой, дорогой Василий Михайлович! Поездка моя, начавшаяся очень растрепанно и скучно, — понемногу сделалась просто восхитительной, — что дальше, то больше вхожу во вкус. Вчера, 6 апр<еля>, я приехал сухим путем, на лошадях, сделав 300 верст по станицам в 5 суток, в Новороссийск и под первыми впечатлениями хотел сесть работать, — но, оказывается, что пароход, на котором я поеду к Сибир<якову,> идет завтра <в> 8 утром, и мне надобно его ловить, благо погода не особенно ветрена, а то пароходы даже и не заходят сюда, так как бухта кипит постоянно, как котел. Нельзя бросить якорь, дно — камень. Вот почему я и не сел за работу, а поеду к Сибирякову, где, вероятно, буду встречать праздники. Пробуду у него дня 3, никак не больше, ворочусь в Туапсе, здесь сяду немедленно за работу и пришлю Вам на несколько №№ сразу, а затем поеду в Новороссийск же получить письма и взять заграничный паспорт (я справлялся, дают). Но уж не морем, а опять же сухим путем, на Майкоп, и опять по станицам и опять на лошадях. Меня подмывает купить в Туапсе лошадь, даже просто взять у Сибирякова, нанять человека за 15 р. в месяц на его харчах и весь апрель разъезжать по Сев<ерному> Кавказу. Здесь столько выкинуто из России преоригинальнейшего русского народа, что просто глаза разбегаются. В Болгарию и далее — непременно поеду и буду писать вплоть до осени исключительно к Вам в «Рус<ские> вед<омости>». Никуда, и ни в каком случае в «Сев<ерный> вестник». По моему расчету, Вы в самом начале Фоминой должны иметь уже мою работу.

Новороссийск совсем еще девственное место: несколько домиков, несколько лавок и пустая бухта. И домики и лавки пусты и заперты; все это ждет прихода железной дороги, молчит, спит в ожидании того момента, когда



Вот Россия по линии *а — б*, через Харьков до Самары все грузы идут на север к Кенигсбергу. От Самары Пенза, Тамбов, Саратов, Воронеж и сев. Харьковской губ. на Якут к Ростову. Южная часть Харьков⟨ской⟩ губ., Новороссийский край — тянут к Одессе и Николаеву.

сюда в разных видах нахлынет капитал и <.....> эту девственницу, — тогда все оживет, разохотится и пойдет писать. Теперь же только ветер свищет в пустых улицах, в новых запертых лабазах, в новой гостинице, где вот сию минуту один я. От Новороссийска до одной станицы 30 верст идет отличная дорога, ничуть не хуже Военно-

Грузинской, но тоже — тишина, никого нет, и ничего нигде не видно жилого. Всё чисто, девственно, нетронуто — и необыкновенно живописно. Горы в лесах до самых маковок — сплошь. Самые милые горы, какие я только видел, именно милые.

Билеты г. Федорову я отправил на другой день по приезде в Ростов, — в день приезда было воскресенье, и почта заперта. Что же касается до его желания знать, почему в Ростов идут грузы, а в Таганрог нет, то вот что мне сказал один торговец хлебом.[1]

Таким образом, до Таганрога остается только южный уезд Харьковск<ой> губ. и тот треугольник, который на рисунке не зачерчен, словом, нечего туда возить.

В Ростове, уезжая, я хотел купить «Русск<ие> вед<омости>», но мне сказали, что от жандарм<ского> управ<ления> объявлено, что они запрещены. Правда ли это? И если правда — то за что? Нельзя ли мне получить этот № в Новороссийске до востребования? Если будете писать мне (а я очень прошу), то пишите в Новороссийск только *раз*, а затем в Севастополь до востребов<ания>. Ну, дорогой мой, простите! Спасибо, спасибо Вам от глубины души. В<арваре> А<лексеевне> мой искренний поклон, а Глебычу поцелуй. Пусть кормилица не сердится на меня, ради бога. Я поправлюсь — буду говорить только ласковые слова.

Ваш *Г. У.*

127

В. М. СОБОЛЕВСКОМУ

Ялта, 11 мая <1886 г.>

Милый мой Василий Михайлович! в 4 часа ночи по дороге в Одессу остановился пароход в Ялте. Есть у меня тут два дня хороших воспоминаний, и я поехал на берег. Пробегал час, был в сумасшедшем веселье, один. Погода богатейшая, и все славно и хорошо. Купил цветов, посылаю их Вам — лоскутики; плохо я чувствов<ал> себя на Кавказе. Теперь как будто лучше. Давно не имею писем

---

[1] См. рисунок на стр. 406. — *Ред.*

и с нетерп<ением> жду Одессы. Ах, дорогой мой, милый. Теперь ничего не пишу, кроме того, что я рад. Пошлите цветочков Михайловскому. Нет марок.

Ваш *Г. Успенский.*

<*На конверте:*> В Москву. В редакцию газеты «Русские ведомости». Мясницкая, Юшков переулок. Василию Михайловичу Соболевскому.

128

В. М. СОБОЛЕВСКОМУ

<26 мая 1886 г., Севастополь>

Дорогой Василий Михайлович!

Милый, хороший мой! Я бежал из Одессы, как из ада кромешного, в Севастополь, где и работаю теперь. Я так был измучен в Одессе отвратительным строем жизни этого города, что думал только, как бы убежать, и не успел, не мог ответить Вам.

Не огорчил ли я Вас моими письмами? Они произошли исключительно от одесских впечатлений, и, стало быть, не ставьте их в строку.

Седьмое письмо будет написано завтра же, во вторник, а в среду пойдет.

Времени ушло много и много идет его даром. 10 дней в Одессе — убавили меня на 2 месяца поправки и стоили напрасно истраченных денег. Менее 5 руб. невозможно было тратить в день. Номер, обед, табак, купанье с конкой, телеграммы — все это истрачено напрасно. Но чорт с ней.

Теперь я еду в Болгарию, но денег у меня мало, и я прошу Вас, ради того, чтобы мне не сидеть там без денег и не останавливаться в ожидании их, выслать мне в Севастополь до востребования еще 150 руб., и затем *я ни в каком случае не потребую ни себе, ни в Чудово* до обратной поездки и до тех пор, покуда не буду знать, что можно потребовать. Я настоятельно прошу *не замедлить этими деньгами*: скоро в Болгарии открывается *народное собрание*, чрезвычайно важная вещь, — *непременно* надобно ехать.

Я имею самые лестные рекомендации в Филипополь и Софию. К Тончеву, одному из участн<иков> переворота, и к Тошкову, депутату от Софийского округа. Кроме того, в Константинополе я буду у русского военного агента, Чихачова, который не враг Болгарии, у русского консула Сорокина. Буду видеть Каравелова непременно. Словом, непременно присылайте. Все есть для того, чтобы поездка удалась. До Константинополя еду даром, — Об<щество> русск<ого> парох<одства> и тор<говли> выдало мне даровой билет 1-го класса, чрез знакомых, хоть я и не просил. Рекомендации имею от болгар одесских. Итак, В<асилий> М<ихайлович>, милый, знайте, что я в Севастополе жду денег, и чем долее они не придут, тем более я истрачу непроизводительно.

Из Болгарии я, мож<ет> быть, опять ворочусь на Кавказ, — в июле, но теперь непременно в Болгарию.

Всех писем до вторичной поездки на Кавказ, по моим соображениям, будет 10. 6-ое посылаю, 7-ое завтра и, вероятно, восьмое. 9 и 10 из Констант<инополя>. Здесь я увижу (меня поведут) того шарлатана казака, который ездил в Абиссинию. Словом, пожалуйста, не задержите меня понапрасну и дайте написать для «Рус<ских> вед<омостей>» что-нибудь в самом деле хорошее.

Целую Вас, милый и дорогой мой. Неужели Вам нельзя уехать? Поедемте в Константинополь, 24 часа от Севастополя и даром. Если хотите и урветесь, — ей-богу, буду ждать, и все выйдет чудесно.

Целую еще раз и благодарю глубоко за письма и деньги.

Ваш *Г. Успенский.*

129

В. М. СОБОЛЕВСКОМУ

<9—10 июня 1886 г., Севастополь>

Дорогой мой Василий Михайлович! Сейчас получил деньги и перед этим Ваше милое письмо. Глубокое спасибо за то и другое. Завтра, в воскресенье, я еду в Константинополь (2-й класс 15 р. со столом) и оттуда буду

писать Вам подробное письмо, *к несчастью, невозможное к печати.* Теперь скажу, что в ожидании денег я уже был в Константинополе с Максимовым, без паспорта и без платы, и видел там Николая Ивановича, того самого, который ездил в Абиссинию и т. д. Все это будет описано подробно. Я увижу его еще раз. Личность замечательная, как знамение времени. *О разбойниках* Вы слыхали только от старушек нянек, — а с тех пор о них не было помину: были воры, грабители, убийцы, — словом, уголовные преступники, но Степана Разина, Пугачева, — давно не было. Теперь он опять есть и в новом виде. Он очень скоро будет в Петерб<урге>, его треб<ует> государь, — тоже знамение ужасное! В Софии я буду дней через 5 и также буду писать. Но долго едва ли пробуду в Болгарии, — все, кто был там из русских, выносят неприятное впечатление: если не грубость и презрение к нам, — то ужаснейшая подозрительность, — все русские — шпионы, — вот какой взгляд на них. Денег теперь ни в Чудово, ни мне не потребуется, долго я не буду просить денег, иначе — когда поеду обратно: тогда уж будет необходимо переезжать в Петербург на квартиру. Это будет в конце июля месяца. Вы рассчитывайте меня по-божески, то есть сколько следует, не давайте даром мне, — дружба дружбой, а служба службой, и я никогда не спрошу теперь чего не следует, и этих денег я бы не требовал, но огромны расходы. Сочтите день в дороге — и Вы увидите, как это дорого все. Поездка в Константинополь <стоила> мне руб<лей> 20 с едой.

VIII письмо неудовлетворительно по след<ующей> пр<ичине>. Оно было написано раньше — более подробно — и было больше. Но в самый момент отправки я испугался: не сочтут ли подробности о чудаках и фантазерах — как матерьял для доноса? Вот почему я немного сузил всю статью, спешил работать и, написав послед<нюю> строчку, отправил. Письмо думал написать на другой день. Но пришел Максимов и увел на пароход, который шел через полчаса. Ни письмо написать, ни телеграммы дать — не было возможности. Из Константинополя пишу.

Целую Вас.

Г Успенский.

130

В. М. СОБОЛЕВСКОМУ

12 <июня 1886 г.>, Константинополь

Дорогой мой В<асилий> Мих<айлович>. Я со вчерашнего дня опять в Константинополе, — и все русские при консульстве и болгары, которых я встретил, говорят мне — не езди! Сию минуту в Софии происходит совещание комиссии об ответе на речь кн<язя> болгарского. Если эта речь одобрит его политику — то *немедленно* русское правительство отзывает своих агентов (консулов уж нет), прерывает с Болгарией *всякие сношения* и занимает войсками Варну и Бургос, силою выгоняет Батенберга. Если ж речь и политика Батен<берга> будут осуждены, что так<же> вероятно, так как за Батенберга меньшинство, — ибо его партия разделилась на две, — Каравелов во главе того, чтобы оставалось теперешнее соединение, — а Родиванович или Родиславович (не помню) с большею половиною батенберговской партии за провозглашение полной независимости королевства и, наконец, огромная партия, отказавшаяся от выборов, с Цановым во главе, — за соединение с Россией, за добровольный ее протекторат, — с наместником принцем Ольденбургским. Итак, вот какая каша затевается здесь. Попасть в это пекло не знаю, будет ли удобно, — но вот я сию минуту иду к Чичагову, — и как только приду от него и из консульства, опять напишу Вам.

Живу 2-ой день в русском монастырском доме — комнату дали превосходную, но монахами и богомольцами воняет в коридоре и на лестнице. Если мне скажут — годить,— то я перееду в меблир<ованные> комн<аты>. Целую Вас, хороший мой, — до свидания.

Ваш *Глеб Успенский.*

131

В. М. СОБОЛЕВСКОМУ

<14 июня 1886 г., Константинополь>

Дорогой мой!

В Болгарию *не поеду*! Решаюсь сделать это поистине с глубоким горем. Нет средств, запутаю денежные дела, так как в Болгарии необходимо по кр<айней> мере

недели три <жить> *не работая,* а это рублей 200, кроме дороги, кот<орая> 180 р., да от Одессы до Петерб<урга> нужно бы иметь 500 р. — и тогда был бы толк из болгарских писем. Итак, я возвращаюсь, но чрез Кавказ и, может быть, Волгу.

Из Константинополя будет:

IV. См. София и Стамбул,

V. Пера,

VI. В турецкой деревне и Россия. Затем еще три письма с Кавказа. Матерьял прежде заготовлен. Ну, простите меня. Я рассказал Вам все подробно, и Вы увидите, что тронуться в Болгарию на авось — нельзя. В Париж, куда хотите — можно, но не в Болгарию. Этому причин множество.

Целую Вас, милый мой, дорогой.

Ваш *Г. Успенский.*

132

А. И. УРУСОВУ

<Начало августа 1886 г., Петербург>

Александр Иванович,

Я опять к Вам с покорнейшей просьбой по моему делу. Лично Вас я утруждать не смею, но есть же у Вас секретари, люди черной и мелкой работы, наконец писаря, которые все это могут сделать. Необходимо, во 1-х, составить контракт, приняв во внимание, относительно «вечного пользования», — контракт Глазунова с Тургеневым, этого желает г. Сибиряков; контракт этого заключен у нотариуса Кирьякова. След<овательно>, надобно списать его, прочесть и на основании его разработать соответствующие пункты и моего контракта. Не найдете ли возможным поручить этого дела кому-нибудь? Ведь платить буду не я и платить хорошо. Неужели ж этакий заработок, положим в 75 рублей, не нужен никому? Если это мало, то можно и больше, но надобно поскорее сделать. Если Вы будете добры указать кого-нибудь знающего, то я перешлю ему копию с домашнего условия, приложу

Ваши поправки, и изо всего этого, вместе с контрактом Глазунова, выйдет нечто свое.

Если Вы найдете возможным это сделать, то Вам достаточно написать три строчки чрез Ваших соседок о том, чтобы я прислал имеющиеся у Вас документы, — и все будет кончено, — т. е. я Вас беспокоить не буду.

Если можете, то помогите, да кроме того, Вы, кажется, поступили за обедом «не по-суседски», и все это необходимо исправить, наново.

Жду ответа и жму Вашу мягкую руку.

Г. Успенский.

133

А. И. УРУСОВУ

<Начало августа 1886 г., Петербург>

Многоуважаемый
Александр Иванович!

Вот копия нашего условия. Самый важный пункт 7-ой. Вы лучше меня знаете, как его разработать, чтобы деньги эти не пропали и не были потерей ребятам.

Когда у Вас будет время набросать план договора, — известите меня, — и я тотчас зайду к Вам. Хочет повидаться с Вами по делу Н. К. Михайловский. Хорошо, если бы все это можно было сделать не в долгом расстоянии от 15 числа ав<густа>.

Преданный Вам
Г. Успенский.

Адрес: Пушкинская, Пале-Рояль, мне, до востребования оставить в конторе.

ДОМАШНЕЕ УСЛОВИЕ

Мы и т. д.

Пункт 1. Уез<дный> уч<итель> Г<леб> Усп<енский> уступает пот<омственному> поч<етному>

гр<ажданину> И. М. Сибирякову полное право собственности на вечные времена на все его, У<спенского>, сочинения как уже изданные Ф. Ф. Павлен<ковым> в 8 томах, так равно на томы 9 и 10. Кроме того, ему же, С<ибиряко>ву, уступает полное право собственности на вечн<ые> врем<ена> на все другие его, Усп<енского>, произведения, которые не попали в означ<енные> 10-ть томов и напечатаны особо, вообще все то, что где бы то ни было под каким бы ни было наименованием напечатано по 1-ое ав<густа 18>86 г. А также и на тех же условиях, все то, что находится в рукописях его, Успенск<ого>, по 1 ав<густа 18>86 г., уступается И. М. Сибирякову.

2) Относительно повторения издания 8-ми томов, ныне изданных Павленковым, Сиб<иряков> входит с Павл<енковым> во взаимное соглашение.

3) Томы 9 и 10 будут изданы: девятый, когда пожелает г. Сиб<иряков,> и 10 по накоплении материала, не позже, однако, 1 года.

4) По прекращении права Павленкова на первое издание, Сиб<ирякову> принадлежит полное право собств<енности> на веч<ные> врем<ена> на все произведения Усп<енского,> указанные в пункте 1-м сего условия.

5) Сиб<иряков> сам определяет как форму, так и цену издания.

6) Сиб<иряков> уплачивает за уступаемое ему, Сибирякову, право собственности на все, в п. 1-м сего условия указанные, сочинения Успенского 18 750 р. Из них — 750 — при написании сего условия, 3000 р. — 15 августа наст<оящего> года и остальные 15 т<ысяч> — в октябре сего года.

7) Последние 15 т<ысяч> должны быть помещены в государственный банк с тем, чтобы Усп<енский> мог пользоваться с них процентами во все время, пока право буд<ет> принадлежать Сиб<ирякову>.

8) В октябре <18>86 г., по уплате Сибиряковым всей суммы Успенскому, заключится между ними формальный договор у нотариуса. Договор этот, включая в себя вышеозначенные условия, должен заключать в себе и другие условия, по обоюдному соглашению.

134

Н. К. МИХАЙЛОВСКОМУ

<Октябрь 1886 г., Петербург>

Дорогой Николай Константинович!

Еду по делу, о котором и сам еще не знаю, о котором ничего не могу сказать и о котором пока не спрашивайте никого, а о поездке моей не говорите никому. Я, возвратясь с вокзала, приду к Вам.

Ваш *Г Успенский.*

Но вот горе: я должен был перервать работу для «Сев<ерного> вестн<ика>». И вообще все дела на время бросил. Уж, стало быть, что-нибудь есть. Ну так, бога ради, пока молчите до моего возвращения.

Г. У.

Дорогой Николай Константинович!

В этом письме есть квитанция на мой чемодан, находящийся на Николаевском вокзале. Сделайте одолжение, пошлите за ним посыльного, и когда он получит вещи, — то пусть они побудут у Вас в №. Когда я приеду, возьму их. Там разные материалы, а главное письма, которые мне очень дороги, а для А<лександры> Вас<ильевны> составляют почему-то зло и яд. Так вот, чтобы не было отравления, пусть они пока полежат в чемодане до моего приезда.

Г У.



1887

135

В. М. СОБОЛЕВСКОМУ

<Начало января 1887 г., Петербург>

Нет, мой милый Василий Михайлович, нехорошо мое писание. Я вчера прочитал начало и явственно увидел, что надо было бы сделать, чтобы было хорошо: весь конец нужно бы перенести к самому началу в 4-й столбец. И так всегда делаешь, когда силен, т. е. принимаешься сразу за самое настоящее. Но теперь я слаб и вместо 3-х столбцов намахал пропасть, — именно потому, что слаб; нет сил сразу взяться за тяжелое, вот и размахиваешься, взвинчиваешься на десяти столбцах, покуда не возьмешь нервами, а не силой настоящей. 8 числа я буду знать день выезда наверное. Сейчас отправляю статью Евреиновой, — т<аким> образом я, по возможности, исполнил мои обещания, — и могу ехать, и 10-го, *наверное,* выеду в Москву. Непременно! До свиданья!

Г У.

136

В. Г. КОРОЛЕНКО

<15 января 1887 г., д. Сябринцы>

Владимир Галактионович! Получил Вашу книгу и искренно благодарю Вас за этот подарок. Большое Вам и искреннее спасибо! Вероятно, в январе и феврале придется мне быть в Москве, и я надеюсь как-нибудь повидаться с Вами, чего давным-давно желаю. Будьте здоровы и еще раз примите мою благодарность.

Преданный Вам *Глеб Успенский.*

15 янв<аря 18>87.

137

В. М. СОБОЛЕВСКОМУ

Чудово, 1 м<арта 1887 г.>

Дорогой мой Василий Михайлович!

Посылаю 4-й фельетон — и вслед за ним 5-ый. Хочу дописать задуманное раньше и ехать. Но вижу, что всего задуманного не упишу. Ехать, ехать! Вот что, дорогой мой, мне необходимо — *сверток*! Я думал, что Сибиряков подождет 9 том до осени, но он хочет иметь его теперь, и это меня задержит еще на 1 неделю. Не можете ли для скорости вручить 3 рубля кондуктору курьерского поезда и дать ему сверток с тем, чтобы он доставил его в Пушкинскую Пале-Рояль Михайловскому. Это недалеко, и за 3 рубля он это сделает, а мне это расчет, — потому что почтой долго. Я же Михайловского предупрежу. Артельщик в редакции может это сделать, а в расходах мы сочтемся.

В Питере: приехала Давыдова, и началось, кажется, опять падение нравов. Ночью вчера получаю от Михайловского такую телеграмму:

«Не у Вас ли Юлия Ивановна?» Вот какой оборот!

Г. Успенский.

138

В. А. ГОЛЬЦЕВУ

Одесса, 7 апр<еля 18>87 года

Виктор Александрович! Завтра, 8 числа, я еду в Болгарию на пароходе по Дунаю, — и трепещу. Деньжонок у меня мало, и я опасаюсь, что болгарские дела вынудят меня возвратиться в Россию скорее, чем я выработаю там для себя возможность дальнейшей поездки. Вот почему прошу Вас, не откажите передать редакции «Рус<ской> мысли» мою покорнейшую просьбу, — не одолжит ли она мне немного денег, — а я пришлю работу, — рассказ в мае месяце. Хорошо, конечно, если бы редакция подождала до осени, примерно до августа, — тогда мне было

бы приятнее писать после отдыха. Но, если она желает,— то, повторяю, в мае, числу к 10-му, я пришлю небольшой рассказ. Я же прошу, к остающемуся за мною небольшому долгу (в 91 р.) прибавить столько, чтобы образовалась сумма в печатный лист, т. е. доплатить до 250 р.,— и эту доплату выслать мне в Одессу. След<овательно>, мне придется получить рублей 160. Я буду очень доволен, если редакция вышлет мне 150 р. Пожалуйста, окажите мне эту величайшую услугу и вышлите эти деньги, если только ред<акция> согласится выдать этот аванс, — *в Одессу; до востребования Г<лебу> Ив<ановичу> Успен<скому>*. Деньги мне до крайности нужны. В Одессе один мой знакомый будет справляться на почте и по моей доверенности перешлет деньги, куда я потребую. Сделайте одолжение, поддержите меня немного, — и извините за беспокойство.

На прощанье жму Вашу руку.

Г. Успенский.

139

В. М. СОБОЛЕВСКОМУ

<Апрель — первая половина мая 1887 г., Одесса>

Дорогой мой Василий Михайлович.

Вы сердитесь на меня и махнули на меня рукой, — и можно и должно это сделать, не зная положения дела. Но вот оно какое подлое. Вы можете мне сказать: «Два раза ездил в эту Болгарию и два раза не доехал». Нельзя мне доехать! В прошлом году я боялся сунуться туда второпях, т. е. так же легко, как идешь в нашу деревню; боялся наврать, теперь же совсем другое: буквально все люди образованные, всей Болгарии, сколько их ни есть, относятся ко мне самым лучшим образом, *ждут меня*, и вот почему мне нужно крепко подумать, прежде чем быть среди них. Если бы имя мое и мои произведения не были известны и если бы они не были определенны, то есть не исключительно художественны, — тогда другое дело. Но меня знают здесь как-то особенно, как человека, имеющего в России какое-то значение, —

вот что беда! Буфетчик, горничная на пароходе, доктор — все могут идти в город, в Рущук (самый центр теперь борьбы), — если же приду я, то меня не могут оставить так, сидеть где-нибудь в саду и пить пиво; меня они должны, и не могут этого не сделать в своих видах, превознести выше облака ходячего, о чем я сто раз был извещен. Напр<имер>, в прошлом году мне (только по слухам, что я буду) была нанята в Филиппополе от города квартира. Они жаждут чего-то истинного и думают, что я скажу им. Вот где драма, мое глубокое душевное расстройство, горе, от которого я положительно едва жив. [1]

Тихомиров и его книга *Россия* (я посылаю ее Вам на франц<узском> языке) — настольная книга ренегатства. Следов<ательно>, мне выйти на берег — это значит получить овации от страны, кот<орую> я люблю и которая меня якобы глубоко уважает, — и, следов<ательно>, пропасть в самой России, так как я сам в 4 поездки по Дунаю имел удовольствие познакомиться с множеством русских шпионов, настоящих, устраивающих революции, восстания на русские деньги. Яд, подлецы, даже возят — и не смеешь пикнуть, некуда выскочить; они, шпионы (все это имеет непосредственное сношение к Катковым, которого, кстати сказать, все они ругают подлецом. Подробно скажу потом). Вот положение, и Вы меня поэтому не осуждайте. Я столько тут пережил мук, что и рассказать невозможно.

Словом, тут нужно *решаться* на самые рискованные вещи. Я сразу не мог этого сделать, — но *непременно* там буду, только мне нужно сообразиться и списаться и сделать так, чтобы «русская партия» (т. е. все катковство, делающее восстания, яды и эмиграцию и т. д.) забыла, что я тут, близко. Сегодня первый день, что я могу писать даже так, как сейчас, — все время я положительно пропадал. Да! Надобно *действовать*, и действовать *прямо!* «Ты, писатель, сочувствуешь и тому-то и тому-то? — Ну так докажи. Беда тебе будет? Плохо? До этого нам нет дела. Мы ведь не боимся расстреливать подлецов, и не боятся ваши, которые ненавидят подлецов, — умирать. Ты должен быть не зайцем, боящимся всего этого. Если

[1] Второй лист письма утерян. — *Ред.*

вы, писатели, пишете то-то и то-то, — то и на деле пожалуйте». Это все верно, правда сущая, но я уже напуган. Вздохну, обдумаю, немного укреплюсь и, поверьте, сделаю *так!* Если ж я не сделаю так, — то все чепуха, вся жизнь вздор, сочинение, пустяки, презренные пустяки. Боже мой, как мне опротивел *здесь* Толстой! Какой смрад!

Я говорил, что сегодня первый день, что я могу хоть так писать, как сейчас. Завтра я также буду работать и напишу кое-что из поездки по Дунаю. Я никого не обижу, ни болгар, ни «русскую партию», — но коснусь только положения нашего народа и народа болгарского, а также и теперешних отношений между русской и болгарской *ложью*. Пожалуйста, не протестуйте против этого. Есть ложь наша, нами воспитанная, никому иному не свойственная. Если ж эти *новые письма* будут неприятны, то все-таки сохраните их. Трудно! Трудно! Встретиться лицом к лицу со всей нашей подлостью, со всей изменой человеку, предательством, скотством (и в нас, и в болгарах); все вспомнить, что смягчено одинаково цензурой и самой литературой, что урезано капельной политической мыслью газет, — все это видеть без стеснения, во всем видеть свою долю вины, — нет, это дело не простое и не легкое. Врал? Ну, так вот полюбуйся, что вышло.

В этом письме я сто раз упомянул — я, я, я, — меня уважают, мне овации и т. д. Это вовсе не значит, что я говорю о себе, о Глебе Успенском, — а о таком писателе, который, болгары знают, за них должен быть. Это, по их мнению, настоящая сила России, держащая в своих руках все, что в России искренно. Что же касается лично меня, то действительно *знают*, и знают хорошо. Лучше, чем я сам. Лично для меня минута большая. Что если все это пойдет прахом? Тогда надобно будет поступить на железную дорогу, а писать уж и не сметь! .. Не сметь. Надо бы «не соваться», — сиди в Чудове, скучай, ропщи и «пописывай», — ан, время-то и прошло. Но тут-то, отец мой, милый Вас<илий> М<ихайлович>, нужен *прямой ответ* на каждое слово. «Болгария, — сказал мне один польский корреспондент, — *теперь как голый ребенок, что с ним будет?»* Действительно, — пережила всякую дрянь, и всю дрянь разогнала. Что теперь? Что скажет *лучшая русская литература*. Ну-ко, что сказать? <...>

140

В. М. СОБОЛЕВСКОМУ

<Первая половина мая 1887 г., Одесса>

Только несколько дней, когда я чувствую себя немного по-человечески. Болгарская поездка измучила меня нравственно до ужасной степени. Никогда в жизни не был я в таком глубоком отчаянии, положительно не знал, что тут делать, т. е. что думать! Всякая русская грязь, подлость... вся ложь полуславянофильства, такая, как теперь в моде, — все это здесь восстало предо мною в подлинном виде, ошеломило меня, все мне припомнило, всю жизнь, все жертвы, всё лганье, которое постепенно вкрадывалось в душу страха ради иудейского, все уступки совести, вплоть до последнего слова непротивления злу. Словом, положительно я задохнулся и изнемог от этого всего, что здесь на меня нахлынуло вдруг сразу. Не знаю и не уверен, чтобы Вы нашли возможным печатать такие письма, как прилагаемое. Но из него Вы можете иметь понятие о красоте и приятности здешних впечатлений. Писать дипломатические письма, из которых ничего неизвестно, я не могу. Много, много в нас, русских, лжи въелось и вообще ничего радующего! Нехорошо, нескладно, неприятно, творится здесь дело, неведомое буквально и ничего не обещающее в будущем. Хорошие слова — свобода, равенство — нечем наполнить ни нам, ни им. Все это здесь мыльные пузыри, которые, когда лопаются, то пахнут гадко. Я стараюсь быть, елико возможно, беспристрастным, о Болгарии будет на основании болгарской прессы радикального лагеря, и Вы увидите, как много уже в ней шарлатанства. Все это не второй, а сто второй сорт. Другое дело — народ. Он-то, его житье-бытье, и обличитель всей этой скверности. Словом, не знаю, не знаю. Я буду писать, но, кроме глубочайшей скорби, ничего на душе нет от этой работы...

141

В. А. ГОЛЬЦЕВУ

<16 июня 1887 г. Понедельник. Чудово>

Виктор Александрович! Я уехал, не повидавшись с Вами, вследствие того, что из дому получил тревожную

телеграмму и должен был немедленно ехать. По тем же домашним причинам и до сих пор не мог написать, о чем мне нужно было.

Вот в чем мое дело.

При этом письме Вы найдете половину небольшой статейки, касающейся двух литературных произведений. Рассказ сейчас я написать не могу, то есть просто под тяжелейшими впечатлениями поездки по Дунаю не могу разобраться ни в мыслях, ни в чувствах. Кроме того, что впечатления эти тяжелы и безобразны, они еще непередаваемы в печати. Если бы я хотел быть справедлив хоть бы в самой малой степени, — то я ни о чем другом не мог бы писать с Дуная, кроме проклятий русскому правительству. Ведь вся теперешняя борьба Болгарии и России происходит именно вследст<вие> ненависти болгар к России, и, если писать оттуда «о положении дел», то нужно громить наших подлецов без милосердия. Борется с ними целая страна пред всем светом, и, конечно, я должен быть на той стороне, а не на нашей, предательской, разбойничьей. Вот почему при всем моем желании: «хоть что-нибудь» написать о Болгарии для «Рус<ских> вед<омостей>» — ничего не выходит возможного в печати. Может быть, два-три письма и пройдут, — но такие письма и писать скучно. А между тем я истратил много денег на эту поездку, и, чтобы привести в порядок мои денежные дела, мне *надобно тотчас же воспользоваться остающимся в моем распоряжении* свободным временем до 15 августа, когда надобно будет переезжать в Петербург, и *уехать* уж не в Болгарию. Эта поездка нужна, повторяю, для меня и в фин<ансовом> отношении, и просто для того, чтобы изгнать из себя подлые впечатления дунайской слякоти и грязи. Я видел катковцев и царевников в действии, а не в передовицах, т. е. я видел, как грабятся по-разбойничьи чужие жизни, чужие средства, чужие души. Обо всем этом не пишут и нельзя писать. Это разбойничья шайка. Писать под такими впечатлениями невозможно. Надобно ехать и очнуться.

Вот почему я и хотел предложить Вам в бытность в Москве и предлагаю теперь следующее: либо Вы напечатайте пока предлагаемую статейку (во втором отделе),

чтобы покрыть часть моего долга, и дайте мне еще 250 р. с тем, что в сентябре непременно будет рассказ беллетристический, — либо просто вышлите мне 200 р. еще, — и повремените работой до сентября; будьте уверены, что я выполню свое обещание в точности. Рукопись же прилагаемой статейки пусть находится у Вас, для того чтобы г. Лавров не очень беспокоился о моем долге. Если Вы найдете возможным дать мне еще 200 р., то это было бы лучше всего, и в сентябре Вы непременно бы имели рассказ не менее 2-х печ<атных> листов.

Во время же моей поездки я бы покрыл издержки своей неудачной поездки корресп<онденциями> в «Р<усские> в<едомости>», и осенью у меня опять бы был там кредит (хоть и теперь я никогда не слышал отказа — но я сам боюсь брать на себя невыполнимые обязательства).

Так вот, Виктор Александрович, — подумайте и, если можно, устройте это дело. Если рукопись будет отложена, то я хотел бы получить 200 р. Если же Вы ее тиснете, напр<имер>, в июле, — то хорошо бы получить 250, а еще лучше 300.

Вот в чем состоит моя просьба. Осенью же, если дело пойдет хорошо, можно будет поговорить и о дальнейшем. Теперь я нахожусь под впечатлением разбойничьей шайки, стремящейся разорвать Болгарию как скопинский банк, башкирские земли, все! И писать беллетристику мне нет возможности, пока я не освежу себя иными впечатлениями и хоть немного забуду эту подлость. Ехать поэтому необходимо, и было бы хорошо, если бы Ваше решение было благоприятно.

Пожалуйста, простите за все эти признания. Что ж «Русскую-то мысль»? Как бы я хотел еще «Юрид<ический> вестник». Не знаю, где теперь Муромцев, я давно собирался благодарить его за высылку мне «Юр<идического> вестн<ика>». Благодарю искренно и Вас за то же самое.

Преданный Вам *Г. Успенский.*

Общее название этой статейки я напишу в конце ее.

142

А. С. ПОСНИКОВУ

<Около 1-го июля 1887 г., д. Сябринцы>

Дорогой Александр Сергеевич!

Получил я Ваше письмо, телеграмму и рукопись и долгое время был поистине ошеломлен. Что же мне делать с Болгарией? И каким манером я могу пересказать о ненависти борющихся с Россиею болгар, — пересказать так, чтобы русская цензура не помешала и одобрила? Ведь я должен неминуемо писать только об оплеухах, которые дают нашему прав<ительству> уж более 2-х лет, — похвалит ли оно меня?

Делаю еще последнюю попытку, и если это письмо можно будет поместить, то будет еще только одно, и затем — конец с Болгарией, и из головы ее вон! Но вот в чем беда, милый Александр Сергеевич! Мне необходимо отработать деньги, затраченные на эту бесплодную поездку. Если бы письма печатались, то ведь это уже 5-е большое письмо (у Вас<илия> Мих<айловича> — есть 2 и одно у Вас), и никакого долга уж не было бы давно. Но я сам знаю, что *нельзя* писать о Болгарии. Чем больше я припоминаю и чем больше во мне воскресает впечатлений — тем явственнее вижу, что решительно *невозможно* писать ни единой справедливой строки о России. Ругать же болгарских прохвостов, ввиду обилия русских, — не поднимется рука. Итак, Болгарию надобно окончательно бросить, а приняться за другое. Времени у меня, до переезда в Петербург, — *полтора месяца*, до 15 августа. Сделайте милость, не дайте мне пропасть и пропасть лету даром, и исполните мою нижеследующую просьбу, против которой, имею основан<ие> думать, В<асилий> Мих<айлович> не будет протестовать.

Перед моим отъездом у нас с ним был установлен такой договор.

1) Он мне будет высылать каждый месяц 200 р.

2) Я же буду писать в течение месяца больше, чем на 200 р., причем излишек будет поступать в уплату долга.

Если бы письмо, кот<орое> у Вас, могло быть напечатано, — то был бы уж и излишек рублей в 130. Но оно не напечатано, и излишка за июнь нет.

Нельзя ли прилагаемую корресп<онденцию> засчитать за *июнь*, и если она появится в печати, то выслать мне 200 р. за июль? Я бы тотчас уехал, — а что в июле я пришлю корреспонденций гораздо больше, чем на 200 р., это Вы будьте уверены. Я буду в России, а не на войне с Россией, и найду что писать.

Неужели же этого сделать невозможно? Это просто убийственно будет для меня. Необходимо совершенно выкинуть Болгарию из головы и тогда можно что-нибудь делать.

Так вот, Ал<ександр> С<ергеевич>, спасайте, пожалуйста.

Окончание этого письма будет завтра.

Затем будет еще письмо не позже, как к 4 июля. А затем я бы хотел получить 200 р. и уехать. Числа 15 июля и потом около 28 работы мои непременно будут в ред<акции> и убавят долг намного.

Будьте уверены, что я ни Вас, ни Вас<илия> Мих<айловича>, ни редакцию не запутаю, не поставлю в затрудн<ительное> положение. Не дайте только мне пропасть зря.

Как это превосходно и совершенно по-нашему в Вашем письме (*которого, конечно, и не исполнил*). Истинно я так давно не хохотал, как прочитав эти любезнейшие душе моей строчки! Если поеду, то увидимся.

Любящий Вас душевно

Г. Успенский.

На 9 странице я кой-что зачеркнул и зач<еркнул> примечание. А хорошо бы оставить полные имена Ашинова и Магнуса и все, что зачеркнуто вместе с примечанием.

Об этих плутах у Вас<илия> Мих<айловича> хранится весьма солидный документ, взятый мной в Конст<антинопольском> консульстве, и, в случае протеста, было бы превосходно разоблачить этих проходимцев. Право, беды нет. Ведь проходимцы же, в самом деле. Я документально знаю, и документ у Вас<илия>

Мих<айловича> сохраняется. Если же не хотите оставить и букв А-в, М-нус, то зачеркивайте все от слов: «Захотелось мне» до точки, после которой следует: «Словом, разбойничьи» и т. д. Это все надо.

143

А. С. ПОСНИКОВУ

<3 июля 1887 г., д. Сябринцы>

Дорогой Александр Сергеевич!

Вот и окончание. Здесь я переделал и вложил в уста солдата все, что нельзя бы или неловко сказать от своего имени. С солдатом, точно, был самый приятный для Болгарии разговор, и он уже написан во втором моем письме, кот<орое> у Вас<илия> Мих<айловича>. Передать его я теперь не мог, и поэтому кой-что вставил, что нисколько и ни в каком отношении правде не противоречит. Каждое слово подтверждается документально. Необходимо именно писать так для того, чтобы перейти к заправилам, очень мало понимающим дело. Не бойтесь, не обижу их, и след<ующая> глава, V, будет очень любопытна. Можете марать и выбрасывать, что угодно. Пусть читатель видит дыры, он поймет щекотливое положение.

Получил вчера телеграмму Вашу. Дай Вам бог! Поеду, послав Вам 5 письмо. Не иначе. Попадет ли этот фельетон в воскресенье? Хорошо бы!

Целую Вас, милый мой «газетчик»!

Глеб Успенский.

Пятница.

144

А. С. ПОСНИКОВУ

<Начало июля 1887 г., д. Сябринцы>

Дорогой Александр Сергеевич!

На последней странице сказано в самом конце: «поговорим с *образованными* людьми». Образованными зачеркните, а надо написать, — *поговорим с людьми, которые*

смотрят на дело с высшей точки зрения, не снизу, как Иван Семенович, а, прямо сказать, с высоты птичьего полета, — и т. д.

145

А. С. ПОСНИКОВУ

<13 или 14 июля 1887 г., д. Сябринцы>

Милый, хороший Александр Сергеевич!

Напечатайте, пожалуйста, окончание фельетона. Там все *подлинное* по части организации болгарской деревни и может быть документально подтверждено, но, главное, — оно необходимо для следующего письма, которое должно быть хорошо. Если же Вы печатать окончание фельетона не будете, — то я перескажу написанное там иначе, вкратце. Очень это мне важно, потому что, повторяю, последний большой фельетон будет весьма любопытен, и вся [тоска] тьма с этого скучного дела спадет. Мне, по кр<айней> мере, теперь все ясно и стало даже весело. Не затягивайте так долго печатанием. Так, пожалуйста, телеграфируйте в 2-х словах или: «окончание поместим», или: «окончание переделайте». Если Вы окончание поместите, то, пожалуйста, зачеркните последние строчки и закончите так:

«Однако пора идти обедать» (там этакая фраза есть).

Это кто же собирается праздновать мое тысячелетие? очень рад доставить публике удовольствие. Будьте уверены, что если что-нибудь подобное случится, — так это будет такое необыкновенное, что ни пером описать, ни в сказке сказать. Уж я расстараюсь, как говорится, «произ-зведу-у!»

Любящий Вас, миленький мой,

Г. Успенский.

Где же Василий-то Михайлович, наконец. Пожалуйста, известите меня. Я хочу ему написать много.

146

А. С. ПОСНИКОВУ

<Середина июля 1887 г., д. Сябринцы>

Дорогой Александр Сергеевич!

Писать ли мне? Отчего же Вы не окончили печатанием фельетона? У меня был готов уж и 3-й (и последний). Теперь летом самое благоприятное время разделаться с этим путаным писанием. Получил я № «Свободы» Захария Стоянова, где первый фельетон рассказан в сокращении и с похвалами. Я его вышлю.

Телеграфируйте, пожалуйста, — дописывать ли?

И руку Вашу жму, да и целую крепко.

Г Успенский.

147

В. М. ЛАВРОВУ

21 июля <1887 г.,> Москва.
Гостиница Рояль, Мясницкая, № 7.

Милостивый государь Вукол Михайлович! Третьего дня (19 июля), отправив на имя Виктора Александровича окончание моей статьи, я получил с почты письмо от него же, в котором он извещает, что должен уехать из Москвы и чтобы я обращался с моими просьбами к Вам. Позвольте же мне просить Вас о следующем: если статейка моя уже набирается, то не могу ли я иметь корректуру, так как необходимо переделать 1 и 2 и затем сократить 4 и 5 главы, а третью немного дополнить. Если эта статейка еще не в наборе, — то я желал бы иметь рукопись. В Москве я пробуду сегодня — 21, завтра — 22 и 23 до 3-х ч<асов> дня.

Затем, так как статейка моя (предназначенная для 2-го отдела) после сокращений и изменений все-таки будет объемом не менее $1^1/_2$ листа и даже немного больше — и, следовательно, покроет большую часть моего теперешнего долга, — то не найдете ли Вы возможным ссудить мне еще 400 р. Я задумал для «Русской мысли» четыре рассказа, под общим названием *«Воль-*

ные казаки», из них два непременно будут доставлены к 1-му сентября, а остальные два в половине октября. *Будьте, пожалуйста, вполне уверены, что я с точностию исполню мое обещание.* Вы же сделаете мне величайшее одолжение, поддержав меня в теперешнее особенно трудное всегда время, — переезды в город, гимназия и т. д. Я буду работать для «Русской мысли» опять с удовольствием и прошу Вас быть уверенным, что никакой путаницы в денежных делах не будет.

Позвольте мне ожидать Вашего ответа в течение этих трех дней, которые мне придется пробыть в Москве. Необходимо переделать фельетоны, написанные в «Русские ведомости» о Болгарии и, к сожалению, неудобные, так как писать о Болгарии нельзя, чтобы не говорить о России худо: таково положение дела. Всеми этими переделками я думаю заняться здесь же в Москве, чтобы недели 3 совершенно отдохнуть от работы.

Готовый к услугам

Глеб Успенский.

148

А. С. ПОСНИКОВУ

<27 июля 1887 г., д. Сябринцы>

Дорогой мой Александр Сергеевич!

На мои именины я получил около 20 телеграмм, много писем и два адреса, из которых адрес Петровской академии (70 подписей) — превосходен. Надобно отвечать, и вот я написал ответ, который прилагаю и прошу напечатать. Как Вы найдете его? Не юбиляр же я в самом-то деле. . . . ! Ведь тогда мне смерть. Я и так стараюсь думать, что ничего не было.

Все эти телеграммы и адресы и письма теперь я отдал переписывать в 3-х экземплярах и один из них пришлю в ред<акцию> «Русских ведомостей». Есть там удивительные строки и поучительные не для одного меня.

Все это в конце концов меня очень и очень расстроило и выбило из моей рабочей колеи. Начиная с вечера у Варв<ары> Алекс<еевны> Морозовой, все меня

выбрасывает из трудовой и, как я привык, одинокой жизни. Сочувствие ко мне и там, и в Одессе, и даже в Болгарии — все это обязывает. Потом ужаснейшие впечатления Болгарии; два месяца они меня тиранят без отдыха — а всех-то 4. Теперь эти телеграммы, письма и Катков, конец 25-лет<него> тиранства — право, я выбит из колеи и расстроен. Дайте мне, бога ради, уехать поскорей, а то я измучаюсь и пропаду, как юбилейная муха.

Завтра я посылаю Вам последний болгарский фельетон и затем больше не будет о Болгарии, — а Вы, пожалуйста, чтобы мне не ждать, — вышлите 160 руб., причем запишется в мой долг 200 (15 я взял при Вас, — 25 р. Владимиру Сальваторовичу для Никольского, — 160 мне). В августе будет написано много и без всякого нервничанья. До свидания, милый, хороший Александр Сергеевич. Сегодня что-то нет «Рус<ских> ведомостей» — уж не случилось ли чего?

Где Василий Михайлович?

Крепко целую Вас

Г Успенский.

149

В РЕДАКЦИЮ «РУССКИХ ВЕДОМОСТЕЙ»

<27 июля 1887 г., Чудово>

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

24 июля я получил много весьма сочувственных мне писем и телеграмм, из которых иные как бы приурочены ко дню моего юбилея. Когда, каким образом и где именно возникла мысль об этом юбилее, — я положительно не знаю, да если бы и знал, то, право, не решился бы поддержать ее: слово юбилей мне всегда казалось неразлучным с другим тяжеловесным словом мавзолей, а я к такому торжественному сооружению, пока, слава богу, не чувствую еще решительно ни малейшего влечения. Другое дело — простое, участливое слово товарищеской поддержки, не раз и прежде по временам высказывавшееся мне моими читателями и вот теперь так душевно выска-

занное ими 24-го июля. За это доброе слово, всегда ценимое мною, как поучительное указание, всем, сказавшим мне его когда бы то ни было, я и приношу теперь мою глубокую, сердечную и также товарищескую благодарность.

Глеб Успенский.

Чудово, 27-го июля 1887 г.

150

М. А. САБЛИНУ

<Июнь—июль 1887 г., Петербург>

Дорогой Михаил Алексеевич!

Мне очень жаль, что я сделал неприятность г. Панкееву, но сердиться ему на меня, пожалуй что, и не приходится. Именно мне-то, как *заезжему,* случайному посетителю незнакомого места, приходится руководствоваться теми сведениями, которые я могу получить от *местных* жителей, от *местной* печати, т. е. только на месте. Сам я ничего выдумать не могу. Другое дело доброкачественность этих самых местных сведений. Вот против таких-то *местных* клеветников г. Панкееву и следует ополчаться. Несколько лет я получал провинциальные газеты и за Каховкой, как за человечьим рынком, следил давно, — и всегда о Каховке печатались сведения неодобрительные, — причем никогда, нигде не встречалось опровержения. Так и на этот раз. Я должен был руководствоваться чем-нибудь в знакомстве с незнакомым местом и точно руководствовался 129 № «Одесского вестника» и статьей в нем *«Итоги каховской ярмарки».* В моем фельетоне есть и указание на этот №, в примечании. Сожалею, что все, что написано о Панкееве, я также не снабдил примечанием, так как все, что я о нем написал, напечатано в том № «Одесского вестника». Г. Панкеев не протестовал в течение более месяца, — а ведь там хуже написано, чем у меня. Прилагаю вам кусок этого фельетона. Прочитайте сами, что там написано о Панкееве, и посудите, мог ли я, на основании таких *местных* сведений, сказать, что г. Панкеев дерет, тогда как корреспондент говорит уж о ропоте?

Итак, все сведения о Панкееве заимствованы из «Одесского вестника». Пусть г. Панкеев обличит именно «Вестник» и его корреспондента, и если он точно добрый и порядочный человек, то может в своем протесте против «Одес<ского> вестн<ика>» сказать, что такие-то ложные *местные* сведения и клевета *заставляют*[1] и посторонних людей, вроде Успен<ского>, принимать за чистую монету такие-то и такие-то клеветы. Вот именно как должно. А когда он напишет все это, то, если ему угодно, и я извинюсь пред ним печатно, сказав, однако, что откуда же мне брать сведения, раз я приехал *на день*. Именно за это-то и *невозможно* обижаться. О том же, что на г. Панкеева клевещут, — я слышу первый раз.

Между прочим, он пишет: «убедительно прошу Вас, м. г., дать мне высказаться *по поводу тех заметок*, которые *довольно часто* появляются в газетах и на которые я не имею возможности так же *часто* отвечать. . . В разное время в наших местных газетах были помещаемы корреспондентские заметки, *значительную часть содержания которых* составляло *возмущение* теми ценами на ярмарочные места, которые владелец Каховки берет с ярмарочных купцов и *тем разоряет чуть ли не весь уезд*». Видите, какие обвинения уже сыпались на голову г. Панкеева, и это именно из *местной*, ближе нас, столичн<ых> жителей, стоящей к делу *прессы*, которая для заезжего человека *не может не служить* руководством к ознакомлению с новой местностию. И Вы видите, что о г. Панкееве уже давно пишут, и все неблагоприятно. Так он и ополчайся на самый *источник* клеветы, а не на меня, заезжего человека, который вовсе не виноват, что г. Панкеев небрежет по отношению к местным клеветникам.

Итак, дорогой Михаил Алексеевич, главное вот в чем: *сведения о Панкееве не мои, а местные, прямо взятые из газеты* и даже значительно сокращенные. Нужно было только указать № «Од<есского> вест<ника>», из кот<орого> я эти клеветы заимствовал. Но все-таки 5 руб. дерут, и такая цена непременно отразится на ком-нибудь. Т. е. купец, с которого дерут так деньги, выручит их на товаре, и напрасно г. Панкеев говорит: *«Причем здесь уезд — не знаю»*. Уезд тут очень при чем; все

[1] Это слово в подлиннике подчеркнуто дважды. — *Ред.*

уплаченное за аренду, как расход, будет выручено с уезда, с мужика. Я охотно извиняюсь пред Панкеевым только в том, что не упомянул об источнике, из которого почерпнуты сведения, и тогда бы он знал, кто собственно на него клевещет.

Затем, вот что нехорошо. Придирается ко мне г. Панкеев, — а это недобрый знак. Каховка оказывается не на правой стороне Днепра, а на левой, и прибавляет, что потому-то она и бойкое место, что на левой стороне Днепра, а не на правой. Я же по глупости и по шарлатанству говорю совершенную нелепость, утверждая, что она «бойкое место», потому что на правой. Это пустая придирка. Не помню в точности, как у меня написано в фельетоне, но там непременно должен быть указан *путь, каким я ехал*. Если бы *этим путем* ехал г. Панкеев, то и у него Каховка очутилась бы справа, а не слева. У меня именно сказано «по дороге от Херсона *вверх* по Днепру», — тогда Каховка направо, а не налево. Если ж ехать от верховья, то она будет налево. Но я писал, *как ехал,* и Каховка оказалась на том самом месте, где ей и быть следует. Если он в самом-то деле добрый человек, то мог же он видеть, как я пишу. По географии она будет на левом берегу, а *по моей дороге* она будет направо. Затем, вот что верно: это то, что станция Мелитополь действительно ближе к Каховке, чем Александровск. Это верно. Но дело было в том, чтоб указать только удобства пункта для сообщения. Нужно было указать *какой-нибудь* железнодорожный пункт на Севастопольской дороге, чтобы показать удобства Каховки как центрального места. И сам Панкеев на первой же странице доказывает, что именно потому, что Каховка *на левом* берегу, она и центральна. Видите, какие пустяки. Я говорю, что она центральна и удобна для сходбищ народа, потому что и пароходы и железные дороги близко (сам Панкеев прибавляет еще и лодки), а он две страницы пишет острот по поводу того, что и самая-то Каховка вовсе не на том берегу, где я ее видел, а на другом. Он старается доказать, что она не там, где я ее видел!

Изволите видеть, как это добросовестно. Затем, есть и прямые глупости. Так, он пишет: *«Не знаю, что это за Екатерининская железная дорога, по которой можно развозить рабочих из Каховки по всему Новороссийскому*

краю и по Крыму. Быть может, г. Успенский имел в виду ветвь от ст. Синельниково до Екатеринослава? Так ведь эта веточка имеет всего протяжение около 150 верст и от Каховки лежит очень далеко, по Крыму же проходит только Лозово-Севастопольская железн<ая> дорога».

Вы видите, милый Михаил Алексеевич, что он опять *придирается*. Даже *Екатерининской дороги-то нет*. Екатерининская дорога, — огромная линия верст в 500, — есть та дорога, которая соединяет *ст. Зверево* (на Воронежско-Ростовской), потом пересекает ст. Краматоровку на Харьково-Азовской, — ст. Синельниково на Лозово-Севастопольской, идет в Екатеринослав и, не помню на какой станции, впадает в путь из Одессы в Киев. Таким образом, по этой дороге можете из Одессы приехать в Ростов, минуя Киев, Харьков, Воронеж, — и имея возможность попасть в Одессу, Николаев, Крым, Ростов, Мариуполь. То есть в самые бойкие места всего юга. Так вот, этой-то дороги и нет, когда вы можете видеть ее в любом дорожнике.

Итак, вот в чем дело:

1) Я вовсе не обижал Панкеева, а обидел его *местный* клеветник, из которого я заимствовал.

2) Каховка находится на том самом месте, где ей быть следует. Поедешь к ней из Херсона, — будет она стоять направо, поедешь к ней из Киева — будет она тебе налево, и все на том же самом месте.

3) Екатерининская дорога существует вполне.

4) Ст. Александр<овск> действительно дальше Мелитополя, — но ошибка моя в том, что нужно было посмотреть в дорожник и указать станцию более близкую, да и расстояние в 140 верст вовсе не огромное, — народ идет пешком и не такое пространство.

5) Кому попали в карман мои 5 руб. — не знаю и не обижаюсь. И вполне верю, что г. Панкеев совершенно искренен, говоря:

6) «Смешно было бы *возмущаться,* что владелец дома или места на Дерибасовской или на Невском отдает его в наем много дороже, чем нанимаются места и постройки на Выборгской или на Молдаванке. *Мне посоветуют*, конечно, отказаться от ярмарочных сборов, подарить их торговцам и тем увеличить их барыши. *Но какой это имеет смысл, и уместна ли при таком заключении та*

гражданская скорбь, которую обязательно выказывают пишущие о каховской ярмарке и которая не простирается дальше *личных нападок* и *оскорблений*».

Лично я его не знаю и оскорблять не желаю. 5 р. дорого, хотя действительно смешно брать дешевле, если не иметь намерения не то, чтобы *отдавать половину барышей* торговцам, а хотя бы во имя гражданских-то слез, — выстроить бараки для рабочих, ради которых съезжаются купцы, ради которых они платят по 5 р. за «мурью». Ведь ежели ночь или две проберет рабочих дождь, например, до костей, так ведь они возьмут цену в убыток, лишь бы уйти к месту, обогреться и высохнуть. Нет, гражданской скорби тут дело бы нашлось. Но если *смешно* брать дешевле за то, за что надо брать дороже, — то уж нужно просто брать и молчать. Сам же Панкеев пишет, что уже давно его беспокоят и «обязательно» всё в одном направлении, — а молчал.

Так вот, милый Михаил Алексеевич. Как хотите. Вы видите, что разговор про берега — глуп. Про Екатерин<инскую> дорогу — и совсем вздор. Про самого Панкеева, — чужое, местное, заимствованное, а не мое. Что ж с ним делать? Я ничего не имею против печатания его протеста, — и видите, что могу дать объяснения. Но я думаю, что было бы для него лучше просто исправить неточности газетных о нем известий, причем он, не делая пустой газетной свалки, прямо бы указал, что «неточные сведения», заимствованные г. Успенским из № 129 «Одесск<ого> вестн<ика>», обязывают его дать такое-то объяснение. А уж о гражданской скорби и Тряпичкиных — право бы, помолчал.

Искренно Вас любящий

Г. Успенский.

151

А. С. ПОСНИКОВУ

<Начало августа 1887 г., д. Сябринцы>

Дорогой мой Александр Сергеевич!

У меня к Вам *важная просьба.* В моем контракте с Сибиряковым есть пункт, по которому он *имеет право*

(это он сам выдумал) приобретать мои рукописи. Недавно, в Одессе, я получил от него письмо с просьбою выслать ему доверенность на право таких приобретений. Вот я и хочу предоставить ему все мои письма о Болгар<ии>. Сделайте одолжение, пришлите мне их, поищите. Кроме посланного недавно (окончания), у Вас есть письмо о помешанном мальчике, а в столе Вас<илия> Мих<айловича> должны быть еще два письма «По Дунаю» — это верно, итого три. Он их у меня купит.

И затем еще последнее:

Весною мне собрали все №№ *«Русских ведомостей»* с моими статьями. Я обернул их холстом, потом газетой, и какой-то добрый человек обвязал их, и так я их забыл на этажерке у Вас<илия> Михайловича.

Вероятно, они в углу, где книги, или в запертой этажерке. Если Вас<илий> Мих<айлович> приехал, — посмотрите в этажерке. Если же нет, — то, сделайте милость, повелите собрать все эти нумера. Они мне необходимы для 10 тома (9 готов), кот<орые> должны выйти осенью. Кроме того, некоторые я хочу вновь переделать и обработать наново.

Начинается: «Несбыточные мечтания», потом «Безвременье», потом «Халат-халат», потом «Письма с дороги», потом «Мы». Окажите мне величайшую услугу, примите на себя эти маленькие хлопоты, а контора, может быть, отправит мне этот пакет? Мне надо скоро. Я возьму его в дорогу, я уеду прямо на Рыбинск.

Где же Василий Михайлович, безбожник этакой! Умел скрыться, нечего сказать, — искусно.

Если окончание не напечатаете, то также пришлите и его.

Ну, дорогие мои, — спасибо вам за все. Я как-то повеселел, — разделавшись с Болгарией и с Катковым (т. е. с мрачными впечатлениями) и *с злобой* (она была) к правительству (это не нужно, т. е. бесполезно сов<ершенно> и глупо), — я теперь опять хочу видеть только людей и их жизнь. Раздражаться глупым и под<лым> прав<ительством> я уж больше не буду. Под таким впечатлением вчера, *в один день,* написал рассказ для «Сев<ерного> вестника». Вышло совершенно неожиданно.

Целую Вас, миленький мой.

Гл. Успенский.

Влад<имиру> Сальват<оровичу>, Мих<аилу> Ал<ексеевичу> и всей компании по низкому поклону. Пакет адресуйте: в *Чудово, Ник<олаевской> жел<езной> дороги*. Мне.

152

В. А. ГОЛЬЦЕВУ

<Конец августа — начало сентября 1887 г., Москва>

Виктор Александрович!

Сегодня же непременно постараюсь дописать и окончание. Третья глава, на мой взгляд, вышла любопытна, ввиду чего я должен значительно сократить главы I и II и сделать из них одну.

Общее название такое: *Труженичество и трудовая жизнь*. (Отрывки из памятной книжки.)

Всего Вам хорошего. Будьте здоровы.

Ваш *Г. Успенский*.

153

В. М. СОБОЛЕВСКОМУ

<20-е числа сентября 1887 г., Петербург>

Дорогой Василий Михайлович!

Что же, когда Вы приедете в Питер? Всем нам давно хочется видеть Вас, а мне в особенности. Я не писал к Вам эти дни потому, что работал для «Сев<ерного> вестника» и только что кончил; устал и ослаб. Боюсь я, что Вы сердитесь на меня за телеграмму и за письмо к неведомой мне Марье Карловне или Мине Карловне. А мне *нужны очень* очерки, которые у Вас («Пока что») и у П. И. Бларамберга (7 страниц поездки по Дону). Если они пойдут в «Русских ведомостях», — то я, конечно, рад — они и писаны для «Русских ведомостей», — *но если они не пойдут* — пожалуйста, вышлите их. Я их переделаю и помещу где-нибудь, там ведь более печатного листа. А я, право, устал. *Но не в этой устали дело:* дело в том, что *я теперь* поглощен хорошей мыслью,

которая во мне хорошо сложилась, — *подобрала и вобрала в себя* множество явлений русской жизни, которые *сразу* выяснились, улеглись в порядок. Подобно *власти земли,* — то есть условий трудовой народной жизни, ее зла и благообразия, — мне теперь хочется до страсти писать ряд очерков «Власть капитала». Два фельетона, которые Вы напечатали, — это только образчик того, что меня теперь занимает. Так вот, мне и не хочется теперь мучить свою голову, отрываясь от этой *любимой мысли* для нелюбимых, для работы из-за нужды. Если «Пока что» не пойдет, — пришлите ее, и я отделаюсь от долга в 500 р., иначе мне надобно тратить матерьял, который сам собой ложится в новую мою работу, который там будет у места, а тут я должен его с горем выделить, оторвать, обклеить ненужными аксессуарами. *Если рукопись пропала,* — это ничего, — я ее восстановлю вновь, не думая; я уж ее знаю наизусть, и Вы не бойтесь меня известить об этом. Теперь мне ее только переписать, а не написать. *Ответьте мне на этот вопрос телеграммой*: «напечатаем» или «возвратим». Этот ответ мне нужен, так как иначе *сейчас же надобно садиться за работу*. Затем вот как я думаю дальше жить и писать. *До декабря* я буду писать Вам по одному большому фельетону в месяц, а Вы, пожалуйста, высылайте мне, каждое первое число, 125 руб. *Писать я буду больше этой суммы каждый месяц непременно.* До декабря будет продолжаться «*Мы*». А с половины декабря, непременно два раза в месяц, будет «*Власть капитала*». Это будет не трескучая, но дельная работа. Я именно рад, что это будет *дело*. Если «Власть капитала» — название не подойдет, то я назову *«Очерки влияний капитала»*. Влияния эти определенны, неотразимы, ощущаются в жизни неминуемыми явлениями. Теперь эти явления изображаются цифрами, — у меня ж будут цифры и дроби превращены в людей. Эта тема ставит меня на твердую почву; теперь я перестаю мучиться *случайными* муками, которыми меня может мучить наше *начальство,* сумбурное, глупое, — словом начальство, которое мудрит по неведомым для меня соображениям. Мало ли что оно выдумает! Я устал его ругать и не понимать. Пусть это делают более меня молодые писатели. Я же теперь возьмусь за такие явления жизни, которые не зависят ни от каких капризов прави-

тельства — а неминуемы и ужасны. Уверен, что ужасность их будет понята читателями, когда статистические дроби придут к ним в виде людей, изуродованных и искалеченных.

Не разрушайте во мне этой приятнейшей для меня задачи. Не поскупитесь высылать просимое. Болгарское путешествие не окупилось не по моей воле, — нельзя писать о Болг<арии>, так чтобы было цензурно и чтобы было правдиво. Нельзя. Жду Вашего ответа.

Крепко целую Вас.

Г. Успенский.

154

А. С. ПОСНИКОВУ

<17 или 18 октября 1887 г., Петербург>

Ангел превосходный, Александр Сергеич!

Сегодня видел я М. А. Саблина и потом получил Вашу и В<ладимира> С<альваторовича> телеграмму. Всего этого слишком достаточно, чтобы прийти в себя, но чтобы и выйти из своих собственных пределов — также было достаточно оснований.

Вот в чем все дело:

Я проездил по Кавказу *один* (только!) месяц и прислал и привез с собой Вам работ на 3 фельетона. Два из них напечатаны, а первый не мог быть напечатан, и вот этот-то фельетон я просил отдать мне, и вот почему.

В том же сентябре мне надобно было непременно дать что-нибудь в *«Русскую мысль»* и в *«Северный вестник»*. Если Вы представите себе, что я почти не отдыхал, а писал в «Рус<ские> вед<омости>», — то поймете, почему я просил этот фельетон: тогда я бы его чуть-чуть переделал и отдал бы либо в «Рус<скую> мысль», либо в «Сев<ерный> вестник». (Я устал, и много уже напечатано было и написано: *2 л<иста>* в «Рус<скую> м<ысль>», 1 л<ист> <в> «Сев<ерный> вестн<ик>», $1\frac{1}{2}$ л<иста> для «Сев<ерного> вест<ника>», *2 больш<их> фельетона* Вам — это почти в течение 7 недель, не более.) И вот я *вопию* возвратить мне этот фельетон:

Вопию, 1-ое, к П. И. Бларамбергу.

Вопию, 2-е, к Марье Карловне, которой, как оказывается, и не существует.

Вопию 3) к Василию Михайловичу: а) телеграммой, б) письмом.

Вопию 4) к Владимиру Сальваторовичу письмом.

Вопию 5) к Василию Михайловичу письмом.

Вопию 6) к Василию Михайловичу телеграммой.

И наконец получаю телеграмму от В<асилия> М<ихайловича> такого содержания — ее я прилагаю.

Послана она 27 сентября — *а рукописи все-таки не послано.*

Результат этого такой: «Вольные казаки», предназначавшиеся в «Рус<ские> вед<омости>» и написанные неспеша, прочитались бы без скуки и были бы несравненно лучше, чем теперь, когда я их должен был второпях и попыхах писать в *«Русскую мысль»*.

Кроме того, — едва окончив эту работу, я должен был *немедленно* работать для «Сев<ерного> вестника». В «Рус<скую> мысль» надо было достав<ить> к 1-му, а в «Сев<ерный> вестник» к 15.

В этом промежутке я опять вопиял, и ничего в ответ не видал.

И *второй* результат: часть матерьяла, *прямо* назначенная для «Русских вед<омостей>», пошла клоком и обрывком в «Северн<ый> вестн<ик>», и остальные обрывки пойдут там же в декабре. Вместо одного фельетона Вам я, *положительно от усталости*, развел этот матерьял на 2 кн<ижки> «С<еверного> вестн<ика>».

Вот результат моих воплей.

Не вопиял ли я М. А. Саблину, Влад<имиру> Сальв<аторовичу>, Вас<илию> Мих<айловичу>, Петру Иванов<ичу>, Марье Карловне? Вопиял! И что же я этим достигнул? Полного 2-х месячного недоумения, которое сегодня и кончилось благополучно.

Фельетон, утраченный, я кой-как переделал и отдал в «С<еверный> вест<ник>». Все-таки я могу теперь иметь 2 недели своб<одного> времени и буду писать Вам.

Вот моя чистосердечная исповедь, а затем остаемся живы (чуть) и здоровы, хоть тоже чуть-чуть.

Целую Вас, милый мой, крепко, — всем сестрам кланяюсь и шлю искренний привет.

Г. Успенский.

Алекс<андр> Серг<еевич>! Мы, кажется, все помешались здесь. Оказывается, что первой-то страницы моего письма я и не послал Вам! Сейчас порылся на столе, и оказывается, что первая страница лежит под газетами!

155
В РЕДАКЦИЮ «РУССКИХ ВЕДОМОСТЕЙ»

<Конец ноября 1887 г. д. Сябринцы>

М. г., 14 ноября в Петербурге и 17 в Москве мне было высказано (и до сих пор высказывается) моими читателями так много самого искреннего внимания, что я решительно не нахожу слов в себе ответить каждому такою же благодарностью, которую я получил от моих читателей поистине *сторицею*. Могу сказать одно — слава богу! Эти слова не похожи на благодарность, которую обязательно господам юбилярам за «невозможностью каждому из почитателей писать отдельно», — но вот что означают: ни одно простое слово, о простом человеческом деле, ни одно, как говорится (и как на самом деле), мало-мальски добросовестное дело, мысль *<1 нрзб>*, никакими хитросплетениями не изукрашенная, — никогда в русской земле не пропадет, и русская земля простит «вынужденную ложь», зная и свою ложь ужасную. Вот почему я и говорю, прочитав все мне присланное, — слава богу! Положительно во всех сословиях, во всех слоях русского общества, между крайне виноватыми и крайне невинными, между мучителями и мучениками нашлось зерно искреннего желания жить по-хорошему и радость, что есть в этом какая-нибудь поддержка. Пишу об этом для всех тех добрых, умных, талантливых русских людей, которые нуждой или совестью вынуждены участвовать в таком общественном деле, как литература, — для того, чтобы они знали, что у них нет другого читателя, кроме того, который ждет только самого простого и человеческого к нему внимания. Грех сочинять и притворяться художникам с нашим обществом.

156

В. А. ГОЛЬЦЕВУ

<Начало декабря 1887 г., Петербург>

Виктор Александрович! Сегодня, положительно, первый день, когда я в состоянии взять в руки перо, чтобы, во-первых, написать Вам и, во 2-х, с завтрашнего ж дня приняться за работу. Могу Вас уверить, что пережитые мною последние дни — дело вовсе нелегкое и не один только праздник. Я все должен был вспомнить и пережить за все двадцать пять лет и еще не знаю, ободрили ли меня для будущего все эти вновь пережитые годы. Я очень болен и обременен тягостнейшими воспоминаниями. Вот почему я до сих пор положительно не мог взять в руки пера, чтобы написать в газеты благодарность и ответить Вам на Ваши письма. Прежде всего примите мою глубокую благодарность за Ваше радушие и сочувствие мне, которое Вы доказали и словом и делом. Чем мне благодарить Вас? Время, быть может, даст случай и мне ответить Вам таким же выражением сочувствия Вашей деятельности, а теперь я только могу благодарить Вас от всей души!

Теперь необходимо поговорить о деле. Отношения мои к «Сев<ерному> вестнику» таковы, что пока мне нет никакой возможности не оказывать ему постоянного содействия и сотрудничества. Я должен работать там почти постоянно, и Вы обратите на это Ваше внимание. Писать в одни и те же месяцы и в «Сев<ерный> вестн<ик>» и в «Рус<скую> м<ысль>» мне положительно невозможно во всех отношениях. Я уже утомлен *беспрерывной работой* во все 25 лет. Не укажете мне ни одного месяца в эти 25 лет, когда бы я где бы то ни было не работал. Положительно, я не имел отдыха ни одного месяца и если не печатал, то постоянно должен был писать и писать. Я устал, и писать теперь *одновременно* в двух журналах — я не могу. С *величайшими усилиями* я сделаю в нынешнем году последнюю попытку в этом роде, и в январе Вы будете иметь мою работу, — но затем я вот что могу предложить Вам: не стесняйте меня месяцами и сроками: я буду присылать работы, когда мне можно и *свободней* — Вы же можете печатать их, когда Вам удобней. Работу, присланную в мае, можете печатать в ноябре, в январе — когда Вам угодно, а я буду писать,

когда мне можно, и во всяком случае тот кредит, который Вы мне открываете, будет в течение года покрываем непременно работой. Это ведь не первый год, и я всегда должаю умеренно, т. е. в пределах, возможных для меня.

Сию минуту я нуждаюсь в деньгах и прошу Вас, если можно, сделать следующее: прикажите в конторе сосчитать все, что я взял, и все, что заработал, и к остатку, который за мною, прибавить столько, чтобы вышла 1000. Эту прибавку я прошу выслать мне. В январе будет полтора листа, а затем *в течение первого* полугодия Вы непременно получите и другие работы, которые мой долг покроют. По моим расчетам, в августе месяце я опять буду нуждаться в деньгах, и тогда Вы, если будет можно, поддержите меня опять.

Все это будет соблюдено свято, и я буду делать для «Русской мысли» все, что мне возможно сделать по совести. Худого в этом не будет ничего.

Прошу Вас передать мой поклон Вуколу Михайловичу и прочитать ему это письмо. Писать ему отдельно, это значит переписать вновь все, что написано здесь о деле моем с ред<акцией>.

В коротких словах, условия, которые я обязуюсь выполнить, в точности следующие: в течение года редакция «Р<усской> м<ысли>» непременно получит от меня работу, покрывающую сумму моего от нее кредита, причем редакция может печатать, что я напишу, — когда *ей удобно,* — а я буду писать, когда *мне возможно.*

Будьте здоровы! Поклон Григ<орию> Александр<овичу> и Вашему семейству.

Преданный Вам *Г. Успенский.*

От Вук<ола> М<ихайловича> я слышал, что в редакции «Рус<ской> мысли» есть на мое имя телеграммы из Одессы, Твери. Могу ли я их получить? Я бы желал.

157

А. С. ПОСНИКОВУ

<Первая половина декабря 1887 г., Петербург>

Дорогой мой Александр Сергеевич!

Посылаю Вам первый очерк нового ряда фельетонов. 2-ой также будет в этом году, но к 20-му, не раньше.

Пишу одновр<еменно> в «Сев<ерный> ве<стник>» и «Рус<скую> м<ысль>» и изнурен юбилеем. Я Вам расскажу при свидании все, что со мной было в эти дни, — можно устать. Очерки теперешние будут в совершенно новом роде: будет взят *строй* теперешней жизни (независимый от правит<ельственных>безобразий) и разобран по частям, т. е. насколько возможно в фельетоне. След<ующий> очерк будет — о проституции, не бойтесь, это не будет похабство.

Был здесь Вас<илий> Мих<айлович> и говорил, что, кажется, можно мне дать какие-то деньги. Правда ли это? Если можно — то мне бы необходимо было. Положительно, я в величайшей нужде. До свиданья, дорогой А<лександр> С<ергеевич>. Целую Вас крепко.

Глеб Успенский.

<На обороте:> Если не годится, *сохраните.*

158

А. С. ПОСНИКОВУ

<Середина декабря 1887 г., Москва>

Дорогой Александр Сергеевич!

Вместо *«Труд, или Аппетит»* (который мне нужен для очерков начатых) пишу Вам эту заметку, очень любопытную, о книге г. Михайлова (у Вас была маленькая рецензия). Она могла бы идти первым очерком под общ<им> названием «Перед наш<ими> глазами» — всё факты.

Я дома, у меня Мачтет и Сведенцов. Приходите на минуту — а окончание часам к осьми вечера непременно. Эта статейка мне нравится. Приходите позавтракать. Больше часу или полутора не удержу.

Ради бога. Надо поговорить.

Ваш *Г Успенский.*

159

Е. П. ЛЕТКОВОЙ

27 дек<абря 1887 г., Петербург>

Дорогая Екатерина Павловна!

Сто раз хотел я видеть Вас и заходил к Вам нынешней осенью два раза — но Вас не было. Да не в этом дело, а в том, что все наши отношения такие нескладные и так все спуталось, что по желанию — никому как-то жить стало невозможным.

Но и не в этом дело сию минуту; пишу Вам это письмо положительно очертя голову, напропалую и обращаюсь с самой неожиданной просьбой.

Вот в чем дело-то. Нынешней осенью ред<акция> «Русской мысли» всеми возможными способами, юбилеями, поздравительными телеграммами, лавровыми венками и т. п. старалась залучить меня к себе в сотрудники, и я, нуждаясь в деньгах, задолжал им 500 р. За все их любезности необходимо было хоть чем-нибудь их отблагодарить, и я с согласия Михайловского обещал им статейку (почему и взял деньги). Название моей статьи я сказал Гольцеву с неделю тому назад, когда был в Москве, и не видя их декабрьской книжки. Приезжаю в Петербург и в 12 № «Рус<ской> м<ысли>» читаю про «Сев<ерный> вест<ник>» и Н. М<ихайловского> — бог знает что. «Сев<ерный> вест<ник>» виноват, что затеял полемику, зная, что в нем как в подцензурном издании писать трудно, что множество работ пропадает и что по временам надобно иметь дело с «Рус<ской> м<ыслью>» волей-неволей. Виноват «С<еверный> вестн<ик>». Но Гольцев написал такую статью, что мне положительно невозможно исполнить обещание, которое я ему дал. Он только что облаял Н. М<ихайловского> и «Сев<ерный> вестник», — и я моим сотрудничеством поддерживаю их, — это положительно невозможно, и мне необходимо тотчас возвратить им 500 р., иначе все мои отношения по «С<еверному> в<естнику>» к Н. М<ихайловскому> совершенно обезобразятся, и уж будет совершенно невозможно иметь хоть где-нибудь и какой-нибудь уголок (хоть на 2 часа в месяц), где хоть что-то-нибудь понимаешь.

Так вот, мне необходимы эти 500 р., чтобы сейчас, до 1-го янв<аря>, возвратить их Гольцеву. Этим дело кончится без ссоры. 500 р. мне нужно не более как на 1 месяц. В февральск<ой> кн<ижке> у меня будет работы почти на 700 р., но я постараюсь отдать их около 16 января, т. е. после первого в будущем году заседания в Литературном фонде, где я эти деньги и возьму на долгий срок.

Так вот, Ек<атерина> Пав<ловна>!

Есть у Вас кто-нибудь, кто бы дал эти 500 р. на месяц? Я Вас не обману. Тогда эти деньги надобно тотчас послать в «Рус<скую> м<ысль>». Я даже и не возьму их, а, получив известие, что они могут быть посланы, — напишу в тот же день в ред<акцию> «Р<усской> мысли» объяснительное письмо.

Вот какое сумбурное дело, Ек<атерина> Пав<ловна>. Об этом деле, ради бога, не говорите Анне Михайловне. Она даже не прочь, чтобы я печатался в «Рус<ской> м<ысли>», но я-то не могу. Анна Мих<айловна> не должна знать этого, и никто, кроме Вас. Вы же мне ответьте, пожалуйста, — можно ли Вас видеть и когда?

Простите, бога ради. Я просто весь изломан, изуродован и еле-еле жив.

Всегда искренно любящий Вас

Г Успенский.

Вас<ильевский> Остр<ов>, 11 линия, д. 30, кв. 8.

160

В. А. ГОЛЬЦЕВУ

Петерб<ург>, 30 дек<абря> 1887 г.

Многоуважаемый Виктор Александрович! Когда я виделся с Вами в Москве, я еще не видал Вашей статьи в «Русской мысли» о «Северном вестнике» и, главным образом, о Н<иколае> К<онстантиновиче> Михайловском. Приехав в Петербург и прочитав ее, я очутился в самом ужаснейшем положении, в котором пребываю и теперь, и не знаю, как из него выйду.

Я, конечно, весьма не одобряю Мих<айловского> за то, что он начал придираться к «Р<усской> м<ысли>». В Петербурге над этой полемикой смеются и говорят: точно «Гражданин» с «Московскими ведомостями». Но Ваша статейка, мне кажется, поставила дело пререкания между двумя собратьями сразу на борьбу с личностию именно Н<иколая> К<онстантиновича> Мих<айловского>. Это обстоятельство именно и ставит меня в самое недобросовестное положение и по отношению к «С<еверному> вест<нику>» и, главным образом, по отношению к Н<иколаю> К<онстантиновичу>. Мы с ним работаем и живем 10 лет, и теперь, когда вы колете его грехами редакции (именно его, а не редакцию), я должен писать для «Русской мысли». По всему Петербургу я искал денег и хотел их возвратить, вовсе не имея желания ссориться с Вами и редакцией или прекращать с ней всякую связь, напротив, я этим дорожу. Я во многом бесконечно Вам благодарен, в этом Вы не можете сомневаться; не можете сомневаться и в том, что я высоко ценю настойчивость Ваших стремлений и благородство целей; но поймите же мое положение, могу ли я чувствовать себя по-человечески и искренно, будучи лично знаком с вами обоими и видя неприятную, начинающуюся только полемику. За кого ж мне тут стоять, кому сочувствовать и кому не сочувствовать, повторяю Вам — *искренно*? Если Вы в интересах «Русской мысли» берете на себя труд обороны ее (Мих<айловский> не винил никаких лиц, а прямо говорил о направлении журнала, причем, конечно, и я не согласен с ним во многом) от нападок на ее сотрудников и не предоставляете этого дела им самим (хотя бы г-ну библиографу), то в какое ж положение становлюсь я, примыкая своим участием к журналу, который делает нападение именно на самое близкое мне лицо, а не на журнал, в котором я простой работник. Появление моей статьи в «Русской мысли» (обещанной, как Вам хорошо известно, до Вашей статьи о Михайлов<ском>) произвело <бы> как на Мих<айловского>, так и на всю редакцию «Сев<ерного> вестника» самое неприятное впечатление. Я хотел достать денег, уплатить их Вук<олу> Мих<айловичу> и извиниться, но денег не достал, и если бы достал их, то выслал бы непременно вместе с обещанною статьею, предоставляя Вам самим

по-человечески рассудить, каково мое нравственное состояние, когда я своими руками наношу Н<иколаю> К<онстантиновичу> большое, громадное оскорбление и делаю ему огромнейшую неприятность, принимаю участие в журнале, который именно его-то и щипнул. «Сев<ерный> вестн<ик>» и Мих<айловский>, и особенно последний, огорчены до глубины моим поступком, который они считают просто изменой им; все равно, если бы Ремезов или кто из сотр<удников> «Р<усской> м<ысли>» взял да и прислал свою статью в «Сев<ерный> вестн<ик>», точно обрадовавшись тому, что его щиплет «Рус<ская> мысль». Вот мое положение, из которого я не знаю выхода, кроме того, что у меня положительно опускаются руки и тошно жить на свете. В Ваших руках была такая масса всевозможных недостатков и ошибок и чепухи, бывшей в «Сев<ерном> вестн<ике>», что Вам легко бы можно было полемизировать, не ставя нас, сотрудников, лично знакомых между собою людей, в невозможное положение. Не обращая и внимания на наше рабочее положение, Вы, вот меня по крайней мере, ставите положительно в неловкое и мучительное положение также как будто с равнодушием относительно к старым и прочным литературным связям. Мих<айловский> не нападал на Вас и не Вас считал виновником недостатков «Рус<ской> мысли», — Вы же прямо взялись за него. Между тем Вы сами знаете, что и у Вас и в «Сев<ерном> вестнике» работают люди, общие Вам обоим знакомые. Почему ж Вы о нас-то не подумали и не пожалели? Не знаю, как поступил Короленко и Н. В. Шелгунов, — но я уверен, что Вы очутились в самом неискреннем нравственном состоянии совести.

Извините меня, многоуважаемый Виктор Александрович, за это письмо, но положение мое до того мучительно, что я положительно не знаю — что мне делать? Мне просто совестно в глаза смотреть людям — и уж какая тут будет работа!

Для меня было бы величайшим облегчением, если бы Вы отложили мою статью до февраля, приклеив к 1 кн<ижке> ярлычок, что статья запоздала по моей болезни. В этот промежуток времени ошибка, сделанная «Сев<ерным> вестн<иком>» и «Рус<ской>

м<ыслью>», вероятно, забудется, потеряет свой острый характер и в то же время *постепенно восстановятся мои почти прерванные нравственные связи* как с Мих<айловским>, так и с «Сев<ерным> вестн<иком>». «Русск<ая> мысль» не нуждается уж так сильно в моем сотрудничестве, чтобы было невозможно дать мне месяц отдыху. Читатели будут знать, что статья есть (она и есть ведь), — но мне-то Вы сделаете величайшее благодеяние, дав мне возможность быть *просто* вашим сотрудником, а не врагом «Сев<ерного> вестн<ика>» и Ник<олая> Кон<стантиновича>, которым я вдруг стал теперь. Я надеюсь, что Вы поймете всю напрасность накладывать на мою душу такую огромную муку. За что это? Я и так перемучился много на своем веку. Неужели ж я не имею возможности рассчитывать на простое великодушие людей, знающих мою жизнь. Говорю Вам положительно — я оправлюсь и буду у Вас работать беспрепятственно, если Вы дадите время утихнуть против меня негодованию «С<еверного> в<естника>» и Мих<айловского>. Если ж Вы не найдете возможным сделать это, то только *напрасно* навалите на мою душу угнетающую тяжесть и самую удручающую тоску и горе. А я и так уж устал непомерно. Вот мое положение!

Ваш *Г. Успенский.*

Если ж Вы окажете мне эту услугу, ничем не вредящую успеху «Русской мысли», я буду благодарен Вам вечно и от всей души, что и докажу *на деле.*

1888

161

Я. В. АБРАМОВУ

<Середина января 1888 г., Петербург>

Дорогой Яков Васильевич!

Нет ли у Вас той книжки «Недели», в которой был напечатан роман графини Лиды? Если есть, — одолжите мне его, пожалуйста. Если ж нет, то не можете ли написать об этом записку Гайдеб<урову>, пусть он Вам даст эту книжку, а посыльный, который принесет Вам это письмо, отнесет Ваше к нему и книгу (если он даст) ко мне.

Нет ли у Вас также двух моих фельетонов из «Русских вед<омостей>» — «Мелкие агенты» и «Рабочие руки»? Тоже бы нужно было мне очень. Да и «Фабрику раменскую» надо на денек.

Гольцев здесь. Шпалерная, № 6. Лучше всего видеть утром до 11 и *только завтра.* Завтра же уедет. Хотите, я его позову сегодня ко мне вечером, и тогда Вы зайдете. Как Вам лучше?

Ваш *Г. Успенский.*

162

В. Г. КОРОЛЕНКО

<16 января 1888 г., Петербург>

Дорогой Владимир Галактионович!

Сегодня послал я Вам доверенность на получение моего хоботья, но, кажется, переврал адрес, написавши так: Больничная, д. *Пенской*, а надобно, кажется, Попковой. Посылаю это письмо наудачу без всякого адреса, а просто в Нижний к Вам.

Хламье мое пусть лежит у Вас столько, сколько оно захочет.

Есть у Вас в Нижнем некто г. Узембло, который месяца 4 тому назад писал мне довольно внушительное письмо. Письмо это, точно, вполне резонное во всех отношениях, и я отвечал на него немедленно, предложив ему напечатать в какой-нибудь мало-мальски своб<одной> польской газете мои подлинные взгляды на «русскую идею». Он предложил мне одну из газет, издающихся в России. На это я согласиться никак не мог, так как, раз вынужденный соврать по-русски в «Русских ведомостях», я неминуемо должен бы был солгать «что-нибудь» и по-польски. На двух, стало быть, языках. Это много. Но вот сию минуту представляется случай поправить мой грех самым лучшим образом. Теперь издаются мои книги, и в 10-й том войдут письма, где я и напишу все так точно, как было у меня в первонач<альном> виде. То же, что напеч<атано> в «Рус<ских> вед<омостях>», есть уже третья переделка, в которой я должен был всеми возможными способами беспокоиться только о том, чтобы *«не досталось» ред<акции> «Рус<ских> вед<омостей>».* В моем же первоначальном тексте все будет понятно и безобидно. Вероятно (кажется мне, я что-то слышал в Москве), Вы г. Узембло знаете. Так вот, пожалуйста, передайте ему эти слова и скажите ему еще раз, что я очень, очень благодарен ему за его резкое отличное письмо.

Когда же Вы к нам-то?

Будьте здоровы и передайте мой низкий поклон Вашей матушке.

Г. Успенский.

Ник<олая> Фед<оровича>, пожалуйста, поцелуйте.

16 янв<аря 18>88.

163

В. А. ГОЛЬЦЕВУ

<6 февраля 1888 г., Петербург>

Виктор Александрович! Посылаю, наконец, ответ Общ<еству> л<юбителей> р<оссийской> с<ловесности>. Ошибок орфографических множество — привычка

писать ту букву, которую легче написать при спешной работе. Кроме того, перепутаны страницы 5, 4, 6. Надобно читать по нумерации, как есть.

Если эта записка прочтется и, может быть, появится в «Рус<ских> вед<омостях>» (в хронике), то я бы желал прибавить в примечании перечисление всех полученных адресов (недавно с юга России получено 4 адреса с 1271 подписью), чтобы этим случаем воспользоваться и поблагодарить за все это удив<ительное> внимание.

Деньги я получил, душевно благодарю Вас и Вук<ола> М<ихайловича> и буду писать Вам подробно.

Не могу попробовать исправить этой записки. Некогда, боюсь, что стану переделывать, что-нибудь помешает, и я не кончу еще 2 месяца. Посылаю напропалую.

Пред<анный> Вам
Г Успенский.

Если бы Вы завели привычку печатать протоколы Общ<ества> л<юбителей> р<оссийской> с<ловесности> в «Русской мысли», это было бы хорошо. Перепечатали бы все, что было, напр<имер>, о Байроне и т. д. Тогда и эту мазню можно бы было пропеч<атать>, если она только будет прочитана.

Пожалуйста, не откажите исправить слог — я очень спешил.

Если в начале моего письма Обществу надобно сказать «Мм. гг.», то, пожалуйста, прибавьте.

164

В КОМИТЕТ ЛИТЕРАТУРНОГО ФОНДА

<8 февраля 1888 г., Петербург>

В ОБЩЕСТВО ДЛЯ ПОСОБИЯ
НУЖДАЮЩИМСЯ ЛИТЕРАТОРАМ

Обращаюсь с покорнейшею просьбою не отказать мне выдать ссуду в 300 р. на 9 месяцев, — ввиду крайней

необходимости, вследствие сильного утомления и нервного расстройства, теперь же оставить на некоторое время Петербург.

Глеб Успенский.

Поручители: { Анна Евреинова
Ф. Павленков

Адрес мой: Вас<ильевский> Остр<ов>, 11 л., д. 30, кв. 8. Глеб Иван<ович> Успенский.

165

А. С. ПОСНИКОВУ

12 февр<аля 18>88 г. <Петербург>

Дорогой Александр Сергеевич!

Посылаю Вам половину статейки, а сегодня или завтра пришлю остальную часть, и под этим названием я буду по временам отмечать кое-какие *подлинно* симпатичные явления в русской жизни и вообще явления подлинные, в которых, несмотря на всякие калечества, видно дело настоящее. Вероятно, таких очерков будет штуки две-три. И вот две моих просьбы:

1) Когда наберете (если найдете возможным поместить) — то пришлите мне корректуру в двух экземплярах. Одну из них с Вашими пометками. Я ее возвращу в тот же день с курьерским. Присылайте заказным, — и это (т. е. в 2-х экз.) хорошо бы давать всегда. Сегодня пятница. В воскресенье получите окончание, в понедельник мож<ете> выслать коррект<уру>, а в среду получите ее исправленною согласно заметкам редакции.

2) Опять «с прискорбием», — прошу, — пропустите и эту статейку мимо глаз и не глядите на мой счет иначе, как «сквозь пальцы», т. е. выдайте все, что причитается. Осенью у меня будут деньги за 11-й том, который к тому времени напишется, т. е. пополнится до недостающ<его> кол<ичества> листов, и тогда мне легче будет платить редакц<ионные> долги, а теперь трудно.

Я так утомлен за последнее время, что чувствую только непреодолимое желание выспаться. Но едва ли это будет

возможно скоро сделать. Как только окончу статью для № 3 «Сев<ерного> вестни<ка>», так сейчас же приеду в Москву, и мы увидимся и переговорим.

Где болгарская брошюра Вулковича? Отчего нет конторщицы? Отчего шкафа нет? Нет книги для записи? Словом, вижу, что все идет «как должно!».

Крепко целую Вас, дорогой мой.

Г. Успенский.

166

В. Е. ГЕНКЕЛЮ

13 февраля 1888. Петербург.

Дорогой Василий Егорович!

Вы не можете представить себе, как я был рад Вашему письму и тотчас же написал Вам огромное письмо обо всем, что делается в России, — но, откровенно говоря, — побоялся послать его — Петербург любит читать чужие письма.

Я душевно рад, что Вы здоровы и что даже почерк в Вашем письме нимало не переменился с годами, а точь-в-точь такой же, как и был, и, стало быть, Вы не состарились ни душою, ни телом, и занятия литературой не тяготят Вас. Долго жить Вам, добрый Василий Егорович! Но живите пока там, за границей. Нехорошо, мучительно жить в России теперь, и я не посоветовал бы такой жизни врагу. Не знаю, что может европейский читатель почерпнуть в русской литературе. Она убита в самых лучших своих стремлениях и приведена к тому, что писатель, садясь за работу, думает о том, чтобы не написать так, как он думает. Это отупило всю русскую молодежь, и литература еле-еле влачит свое неблагообразное существование.

Сию минуту я посылаю Вам томы 5, 6, 7 и 8, а скоро пришлю и первые четыре тома. Но в этих 4-х томах Вы можете найти много о современном положении народа. Обратите внимание на «Власть земли» — сила заключается в народе. Не так грубо и подло взглянул я на *землю,* как Золя. Он смешивает две формы жизни (как она и смешалась в европ<ейских> госуд<арствах> действительно), — жизнь *на земле* для того, чтобы

добыть *денег*. Это в России не так: либо на земле без денег, либо с деньгами без земли. Так вот в первых главах «Власти земли» представлено в очищенном виде. Некто Michel Delines издал в Париже книгу «La terre dans le roman russe», где, говоря о Тургеневе, Достоевском, Толстом, — делает заключительную главу и из моей «Власти земли», отзываясь с похвалой, но выписал он мало и не подумал, что я смотрю на земледельческий труд как на особый порядок жизни. Вы обратите особенное внимание на первые главы I—V, не больше, а то будет скучно, пожалуй.

Будьте здоровы, Василий Егорович. Желаю Вам всякого успеха и хотел бы видеть Вас, если удастся съездить за границу. А давно бы надо. Россия и русская жизнь и русская мысль заперты в душном чулане, и ох, как отстали от *жизни* других стран. Если бы мы жили по-своему, — но мы *никак* не живем и идем, кажется, к полному душевному омертвению.

Если нужно Вам будет о чем-нибудь спросить меня, — пожалуйста, пишите мне в Петербург, Вас<ильевский> О<стро>в, 11 л., д. № 30, кв. 8. Я душевно рад, что наше знакомство возобновилось письменно. Не могу ли я что-нибудь писать из России с тем, чтобы Вы переводили? Я бы много хотел сказать правды, а для России это нужно, крепко нужно.

Искренно Вас уважающий

Гл. Успенский.

167

В. А. ГОЛЬЦЕВУ

<Около 15 февраля 1888 г., Петербург>

Виктор Александрович! Получили ли Вы, во-1-х, мой ответ Обществу л<юбителей> р<оссийской> с<ловесности>? Он должен быть передан Вам Н. В. Шелгуновым. Я совсем приготовил его послать Вам, но Мих<айловский> взял его прочесть, а утром ехала Давыдова в Москву и взяла этот ответ. Таким образом, письмо мое должно было прийти к Вам позже и, во-2-х, — пришло ли это письмо?

Находите ли Вы возможным, что моя благодарность О<бществу> л<юбителей> р<оссийской> с<ловесности> будет достаточна? Или мне что-нибудь надобно исправить? Пожалуйста, не откажите мне в ответе и совете.

Прошу Вас также обсудить следующее дело, которое я предлагаю Вам только потому, что был в той же «Рус<ской> мысли» подан пример такому же делу. У Вас был перепечатан «Слепой музыкант» Кор<оленко>, который раньше печатался в «Русских ведомостях». Нечто подобное хочу я предложить Вам.

У меня накопилось 35 корреспонд<енций> в «Рус<ские> вед<омости>». Приготовил я теперь 10-ый том, и, собрав все это, я увидел, что корреспонденций этих так много, что одни они, напечатанные сплошь, составят около 22 печ<атных> листов такого формата, как беллетрист<ика> «Рус<ской> мысли». Это бы ничего, но все заключающееся в них так спутано, случайно, написано кое-как, с дороги, матерьял переломан, кусками появляется то в одном месте, то в другом, словом — матерьялу самого живого много, но он растерян в массе всяких случайностей и ненужностей, неизбежных при поспешной работе. Вот из этих-то 22 листов я хочу сделать только 5. В примечании будет сказано, из какого материала будут эти пять листов. Но все эти пять листов будут написаны мной вновь, с первой строки до последней, и будет взят самый существенный материал, разделенный на группы, округленный в отдельные очерки, и я уверен (во время работы не знаешь иногда, как много припомнится), значительно дополненные.

Эти 5 листов я предназначаю для 2-го отдела, мелким шрифтом, и плата 150 р. Вот, если Вы хотите этакой переделки (я уверен, что она не уступит оригинальной работе), так я тотчас примусь за нее, и в марте и апреле у Вас будет по $2^{1}/_{2}$ листа, — а это мне необходимо, *я хочу ехать,* я просто едва жив. Осенью ж — уж Вы будьте уверены, — я поддержу Вас хорошо. Надо же мне немного сообразить — что делать. Я почти паровой насос — вытягиваю из себя последние силы.

Жду Вашего ответа скоро.

Пред<анный> Вам *Г. Успенский.*

Мачт<ету> мой искренний привет и соболезнование о см<ерти> А. Вас. Не видал я ее, и очень глубоко жалею об этом!

168

В. А. ГОЛЬЦЕВУ

<Между 16 и 21 февраля 1888 г., Петербург>

Виктор Александрович! Прилагаю при этом сведения о моих адресах, *но положительно боюсь обратить на себя внимание начальства.* Ну-ко оно воспретит мое дешевое издание в 3 р.? Ведь оно теперь смотрит на меня во всех отношениях сквозь пальцы, — а когда увидит, что ко мне есть сочувствие, — так ведь, как это всегда делается, ничего иного не изобретет, как только *воспретить.* Если же оно воспретит, то мне просто беда. Я на то и рассчитываю, что последующие томы (не больше двух) буду выпускать сам, благо дорога им будет проложена моими первыми 10-ю книгами.

Подумайте, пожалуйста, об этом.

Вот список.

В промежуток времени с 24 июля и до сего дня, — а особенно около 14 ноября (до и после), — я постепенно получил от моих читателей следующие сочувственные мне письма и телеграммы. Перечисляю их по порядку получения.

Письма получены:

1) От студент⟨ов⟩ Петров⟨ской⟩ Акад⟨емии⟩	71 подп.
2) Из Гомеля	20
3) Из Петербурга от разных лиц .	155
от слуш⟨ательниц⟩ Фреб⟨елевских⟩ кур⟨сов⟩	52
Высш⟨их⟩ жен⟨ских⟩ кур⟨сов⟩	87
слуш⟨ательниц⟩ педагог⟨ических⟩ кур⟨сов⟩	42
В тот же день (14 нояб⟨ря⟩) сделали мне честь своим посещением г-да студенты Технологического института.	
4) От земских учреждений	42
5) От разн⟨ых⟩ лиц, жив⟨ущих⟩ и учащ⟨ихся⟩ в Петербурге .	50
6) То же	9
7) Из Тифлиса от 15 ч⟨еловек⟩ (рабочих)	15

8) От студент⟨ов⟩ Мед⟨ико⟩-хир⟨ургической⟩ акад⟨емии⟩ — подпись старост . . 12
9) Четыре адреса «с юга России» в одной роскошной папке 1271
10) С юга же . 50
11) Из г. Мценска 10
12) 2 письма из Саратова 3
13) Из Костромы . . 1
14) Со станции Мерефа 20
15) Со станции Сербиновцы Ю.-З. ж. д. 1
16) Из Кронштадта 1
17) Из Холмогор 1

Телеграммы:

1) *Из Москвы* (44 сл.) с подписью «*из Петровск⟨ого⟩-Разумовск⟨ого⟩*»
2) *Из Москвы* (54) с подписью «из деревни» "
3) *Из Москвы* (18) 5 подп.
4) *Из Москвы* (18) . 51 под⟨п⟩.
5) *Из Москвы*, одно слово «поздравляю» 1 под⟨п⟩.
6) *Из Одессы* (13 сл.) — подпись «Читатель»
7) *Из Одессы* (25) 11
8) *Из Одессы* (22) 5
9) *Из Москвы* (18) 1
10) *Из Твери* (135) . 51
11) *Из Тифлиса* (63) . . 16
12) Со ст. *Ганновка* (21) 1
13) *Из Винницы* (57) (Стихами) 2
14) *Из Петерб⟨урга⟩* (14) 1
15) *Из Петерб⟨урга⟩* (17) . 1
16) *Из Гомеля* (13), подписано «Читатели»
17) От Ред⟨акции⟩ «Рус⟨ских⟩ вед⟨омостей⟩»
18) От Ред⟨акции⟩ «Рус⟨ской⟩ м⟨ысли⟩»
19) От Ред⟨акции⟩ «Одесск⟨ого⟩ листка»

Кроме того, прислано мне: 1) венок из полевых цветов «от детей села Аксиньина». 2) Пресс-папье из замуравленных под толстым стеклом сухих цветов. 3) Живой цветок от неизвестного. 4) Альбом фотографий из Одессы.

Как мне благодарить, господа, всех Вас, почтивших меня таким горячим сочувствием? — Я знаю одно, — что минуты, которые Вы дали мне пережить, — не повторяются в жизни и никогда не забываются. Также никогда не замолкнет во мне и благодарное о Вас воспоминание.

Г. У.

Викт<ор> Александ<рович>! Я думаю, что следует в примечании только последние 5—6 строк, найдя для этого в тексте подходящее слово. Если можно, не откажите изменить начало и вместо: «2 с половиной месяца тому назад» написать: 19 ноября прошлого года и т. д.

Я теперь сижу за переработкой писем и буду высылать их на днях постепенно.

Крепко жму Вашу руку.

Г. Успенский.

169

Х. Д. АЛЧЕВСКОЙ

21 февраля 1888 г., <Петербург>

Простите, глубокоуважаемая Христина Даниловна, что я тотчас по получении Вашего письма не поспешил ответом. Была неотложная работа. Но и не в ней дело, а в том затруднительном положении, в котором я нахожусь относительно необходимости отвечать печатно на полученные мною адресы. Я положительно боюсь делать это так, как бы хотел. Теперь, как, вероятно, Вам известно, приготовляется издание в 10 т. моих книг, дешевые, в 3 р., и не обрати я на себя особенного внимания начальства, — это издание пройдет в цензуре незамеченным. Но если я позволю себе обратиться с благодарностью к обществу в том объеме, как я хотел это сделать, то, уверяю Вас, я тотчас сделался бы самою приметною личностью в глазах петербургского начальства, и с меня бы не спускали глаз. Ведь адрес Оресту Миллеру, составленный в жен<ских> кур<сах> после того, как он вышел из унив<ерситета>, отобран и отобран грубейшим образом, — просто обыскивали ящики в столах и рвали бумаги. Вы не знаете, что это за ужасное место — Петербург. Вот почему я все время не мог ничего нужного придумать и положительно измучился: я знаю, знаю, что мне ответить надо, но погубить дешевое издание — также мне крайне жалко.

И вот что я придумал:

Так как благодарить общество и ссылаться на 25-летний юбилей невозможно, запрещено (юбилей 19 фев-

<раля> не мог быть празднуем), — то я решился придраться к избранию меня почетным членом Общ<ества> люб<ителей> росс<ийской> слов<есности> в Москве. Его мне теперь благодарить надо, и вот я написал туда большой ответ, который, когда его напечатают (в «Русской мысли» и в «Рус<ских> вед<омостях>»), будет прямым ответом всем высказавшим мне сочувствие. Но прямо этого мне сказать опять-таки нельзя, не у места, я должен был сделать *примечание*, в котором перечислил *кстати* все присланные мне адресы — прибавил и особую благодарность. Это все крайне прискорбно, но ничего иного сделать было нельзя, и даже самое слово *адрес* пришлось заменить словом *письмо*. Что прикажете сделать! Но вот что я скажу еще: как только выйдут в свет мои 10 книг, — это будет около октября месяца, я тотчас же напечатаю (в том же формате и тем же шрифтом) в 1 печ<атный> лист брошюру, специально обращенную к публике, где отвечу ей самым достойным образом. И брошюра эта будет бесплатно прилагаться к 10 томам, а в такие места, как Харьков, Одесса, Москва, я разошлю ее в большом количестве экземпляров «на память». Вот что я мог придумать.

Нет, Христина Даниловна, — Вы непременно приняли в этом деле большое участие. Я рад и благодарен всем, — но Вас благодарю больше всех.

В последнее время я очень утомлен, именно беспрестанной, в течение двух лет, подцензурной работой. Главная в ней забота, чтобы не написать того, что надо и что хочешь, — а это действует убийственно. Я чувствую это на себе и боюсь, что раз утраченное, умышленно умерщвленное — не оживет. Вот в чем моя беда. Свирепствуют цензоры и в бесцензурн<ых> изд<аниях>, но писатель-то, работая для них, может сам не стесняться в работе, — «вырезывай, мол!» А здесь заранее, как только взял в руки перо, уж надо думать, чтобы ослабить свою мысль и задачу. Это ужаснейшее дело, гибель и особливо теперь, когда мне надо и можно писать не пустяки. Вот моя участь! Всю жизнь так-то. Когда мне именно хочется и я желаю работать дельно, тут-то я по тысяче причинам должен урезывать себя во всех отношениях: вот даже по совести не могу ответить

на адресы и должен подавлять в себе то, что желал бы сказать.

Будьте здоровы, глубокоуважаемая Христина Даниловна. Всего Вам хорошего желаю и еще раз бесконечно благодарю.

Преданный Вам душевно

Г. Успенский.

170

В. А. ГОЛЬЦЕВУ

<Первая половина марта 1888 г., Петербург>

Виктор Александрович!

Посылаю Вам II и III главы первого очерка «Веселые минуты». Не пугайтесь их видимой обширности, — это только так кажется. Я хотел ограничиться этими 3-мя главами, но оказывается необходимым написать *еще одну, IV, и написать совершенно вновь.* Это я сделаю завтра, и тогда вся первая статья будет иметь совершенно определенный законченный характер, причем 2 главы сов<ершенно> новые. И так будет дальше.

Я крайне желал бы, чтобы Вы печатали эти 4 главы в апреле. Мне хочется перечитать корректуру до отъезда и прибавить в предисловии, что вслед за этими переработками будут печататься новые письма с дороги. Вы хорошо бы сделали, если бы печатали мои 3 статьи в апр<еле>, мае и июне, а в августе и сентябре у Вас были бы уже новые письма. А затем поговорим. Из «Русских вед<омостей>» я получил 2 фельетона, но одного самого *мне необходимого* — не получил, именно фельетона в январских №№ *прошлого 87-го года* «Человек, природа и бумага», где рассказана история ходока Данкова. Этот фельетон *необходим до крайности.* Пожалуйста, не откажите его выслать и извините за беспокойство.

Спешу работать. Григ<орию> Алекс<андровичу> мой привет. Скоро увижу его.

Преданный Вам

Г. Успенский.

171

В. Е. ГЕНКЕЛЮ

15 марта 1888 г. <Петербург>

Дорогой Василий Егорович!

Никаких денег я с Вас не возьму, и Вы совершенно напрасно делаете, что пишете об этом. Четыре первых тома я Вам вышлю, но через некоторое время. Но они хуже тех, которые я Вам прислал. Обратите внимание на первый очерк V тома. На «Власть земли», «Маленькие недостатки механизма», «Иван Ермолаевич», «Пришло на память», «Перестала».

Я сейчас приехал из деревни и уезжаю в Москву, а затем, быть может, буду и за границей 1 месяц.

Со второй недели великого поста начинается новое издание моих сочинений. 10 томов будут стоить 3 руб. Издание в маленьких книжечках. Оно вновь пересмотрено и исправлено. Не лучше ли, если издатель будет присылать Вам, по мере печатания, листами. Лист будет как раз в величину конверта, и печатание пойдет быстро. Да я это и сделаю.

Будьте же здоровы, Василий Егорович, и извините меня, что я замедлил ответом.

Преданный Вам
Г. Успенский.

172

А. М. ЕВРЕИНОВОЙ

15 марта 1888 г. Петербург

Анна Михайловна! В последние дни в «городе», т. е. в кругу лиц, с которыми приходится встречаться по всяким делам и случаям, — ходят слухи о том, что Вы недовольны «Северным вестником» и особенно Н. К. Михайловским как виновником того, что содержание «Северного вестника» тускло, нежизненно — не захватывает

массы живых явлений жизни, о которых должно говорить непременно.

Такая характеристика «Северного вестника» совершенно справедлива, и так его характеризуют уж давно многие из числа сотрудников, мало в нем работающих. Так как я работал очень часто и, следов<ательно>, до некоторой степени, в случае неуспеха «С<еверного> вестн<ика>» должен принять и на свою шею некоторую долю вины, то вот я и хочу обратить Ваше внимание на существенную причину неуспеха (да правда ли еще это?) «С<еверного> вестн<ика>».

Искать «виноватого», который бы собств<енными> руками делал неуспех вместо успеха, — это совершенно несправедливо. Я, мелкая сошка, — знаю по себе, почему может бледнеть не только журнал, а и целый человек и вся его духовная деятельность. Я начал в «Сев<ерном> вестн<ике>» ряд рассказов «Хорошего понемножку». И первая статья была зачеркнута цензурой вся; это заставило меня бросить весь заготовленный и обдуманный для очерков матерьял. Второй раз я начал ряд очерков под названием «Мечтания о трудовой жизни». И первая статья была до того изуродована безбожно и бесчеловечно, что и эту тему я бросил, и матерьялы рассыпались прахом по разным фельетонам. Только тогда я, скрепя сердце, решился писать очерки под бессмысленным названием «Кой про что». Я всегда писал так, что, начиная первый оч<ерк>, знал, какой будет и десятый. Тут в «Сев<ерном> вестн<ике>» я впервые перестал знать — что писать, стал постоянно ослаблять работу своей мысли, стал покоряться безобразиям цензуры и положительно махнул рукой, не протестовал ни словом, являясь перед моими читателями в самом изуродованном, расплюевском виде. Есть корректуры, на которые страшно смотреть. Пять строк от конца одной главы — столько же от начала другой — соединялись метранпажем «ручным способом», и получалась глава. Это было полное унижение, а чувствуя его в совести, — не беспокойтесь, не процветешь. Теперь вот с «Жив<ыми> циф<рами>». Конец последнего очерка так изуродован, что мне невозможно продолжать, и я должен бросить писать то, что задумано, или переделать и перекалечить все вновь для фельетонов.

Если от цензуры, от этой тюрьмы, — может бледнеть и угасать издание, — то потому, что она же угашает и ум, мысль, талант писателя. Следов<ательно>, справедливость требует сожаления к людям, которые сидят в этой тюрьме.

Что, например, я мог бы сделать для моих читателей (об их желаниях и отношениях ко мне Вы знаете из адресов), если я, принимаясь за перо, должен думать только о том, чтобы мое писание прошло. А ведь мне теперь самая пора работать как следует и действительно со всею искренностью! К «Сев<ерному> вестн<ику>» я пристал потому, что натерпелся в барышническом кругу, и потому, что здесь можно было (казалось) дружней работать, здесь больше литературного интереса. Материальной выгоды — нет для меня никакой. Везде я получал и получаю 250 р. за лист. В «Рус<ских> вед<омостях>» — 20 к. за строку, — больше, чем в «Сев<ерном> вестн<ике>». Предполагалось, что все поправится, и будет устранена главная язва, препятствующая успеху журнала, — т. е. цензура. И вот оказывается, что виноваты кой-какие из главных сотрудников. Они виноваты тем, что добровольно подчинились лютому врагу, цензуре, и согласились на унижение — являться перед читателями «не в своем виде». Это долго продолжаться не может. Еще год такой работы, — забудешь, что такое и литература и жизнь и употребишь все усилия, чтобы писать так, чтобы ничего не вышло.

Вот Вы рассудите это серьезно. Какие такие светила работают в «Вестн<ике> Европы», например? Не будь одной только живой души, души Арсеньева, — и что бы он был? В «Русской мысли» также одна только живая душа — Шелгунов, — и вся та орда, которая осуждает литературу и сулит журавля в небе, — либо ничего не пишет, либо пишет то, что никто не читает. В «Сев<ерном> же вестнике» собралось у Вас положительно все мало-мальски талантливое, и все это обречено изничтожиться, превратиться в ничто, если будет свои произведения носить в руки цензуры, т. е. литературной полиции, и добровольно просить ее запретить всякую свободную мысль.

Не сердитесь на это письмо и не обижайте напрасно невиноватых, а если у Вас есть возможность, связи, зна-

комства, — хлопочите о выходе из-под цензуры, и тогда дельные статьи Н<иколая> Конст<антиновича> — вроде ст<атьи> о Сергиевском — будут помещаться в «С<еверном> вес<тнике>» вместо пустяков. За дело примутся и все Ваши сотрудники и будут работать гораздо лучше, чем гениальные Воропоновы или еще там какие мужи. Всем есть что сказать и написать, — беда в том, что именно этого-то и нельзя сделать.

Не смею я входить, мешаться в Ваши планы. Я только хочу сказать: уверены ли Вы, что «Сев<ерный> вестн<ик>», оставаясь под цензурой и обзаведясь какими-либо новыми сотрудниками, будет иметь больше успеха, чем теперь?

«Русское богатство», несмотря на участие Льва Толстого и на всевозможные поддержки в денежном отношении, — умирает, п<отому> ч<то> под цензурой, т. е. потому, что обязано (как и «Сев<ерный> вестн<ик>») не отвечать на предъявляемые обществом литературе требования и может только ходить вокруг да около.

«Дело» подцензурное также окончило свои дни, поглотив множество денег напрасно. Напротив, плюгавый «Наблюдатель» идет и умирать не хочет. Но он не под цензурой.

Нет, Анна Михайловна! Оставьте напрасные личные для Вас неприятности и постарайтесь, если можно, искоренить главного виновника — цензуру. Вот хороший журнал «Юрид<ический> вестн<ик>», но он без цензуры. Словом, — что ни возьми, все хорошо, когда миновало литературного околоточного и участка. Щедрин не пишет в «Сев<ерном> вестн<ике>» единственно только потому, что он под цензурой.

Таким образом, вот где все горе «Сев<ерного> вестн<ика>», Ваше и всех Ваших сотрудников и всех Ваших читателей.

Относительно всех сотрудников «С<еверного> вестн<ика>» могу сказать по совести: все делали то, что только было возможно. И я вполне уверен, что Вы с этим согласитесь, а потому и оканчиваю это письмо заявлением Вам моего искреннего уважения.

Г Успенский.

173

В. М. СОБОЛЕВСКОМУ

<Между 17 и 25 марта 1888 г., Москва>

Милый Василий Михайлович!

Что прикажете делать? Не пойду сегодня к Толстому-то; сделаю это завтра, в тот же час. Сегодня пойду к Пругавину и Златовратскому. Завтра все утро буду дома, — только забегу к Вам рано, пить чай, — потом в 7 ч<асов> пойду к Толстому, а от него, если не будет каких изменений, к В<иктору> А<лександровичу>. Теперь же никак не могу. Этот день лишний — не беда. Так вот какой оборот, — а идти насильно — никакого не будет толка.

Ваш *Г. Успенский.*

174

В. М. СОБОЛЕВСКОМУ

<Между 18 и 25 марта 1888 г., Москва>

Василий Михайлович!

Вчера я, как пришел из Эрмитажа, лег отдохнуть и проспал до 5 часов утра, а затем повернулся на другой бок и проспал до 8-ми. И москов<ский> и петерб<ургский> хмель из меня вышел. Сейчас иду к Толстому, оттуда к Вам.

Ваш *Г. У.*

175

А. М. ЕВРЕИНОВОЙ

<Конец марта — начало апреля 1888 г., Петербург>

Анна Михайловна! Глубоко благодарю Вас за вчерашнее письмо: оно сняло с моей души совершенно незаслуженное мной огорчение, и я со спокойной совестью могу оставаться в «Сев<ерном> вестн<ике>» в тех же безобидных отношениях, как это было до сих пор. Большая и искренняя Вам благодарность. Вы делаете мне важное предложение относительно более близких отнош<ений> к редакции и товариществу «Сев<ерного> вестн<ика>». И за это я искренно благодарен, — но я прошу Вас

дать мне время до осени, и тогда я, быть может, получу возможность говорить с Вами об этом деле положительно. Теперь в течение трех-четырех месяцев я положительно бы желал обдумать только свои литературные и всякие дела. Юбилей и адреса провели в моей жизни значительный след, и мне надобно на время отстать от срочной журнальной работы, сообразить, в чем я погрешил, отстал, чего недодумал и что надо бы делать. Кроме того, до осени есть у меня некоторые неотложные обязательства — исправление почти всех 10 томов, словом, есть много мусорной работы и над книгами и над своими душевными делами. Всему этому я отдам все время до сентября. А вот в сентябре, когда в журнале начнется более острая деятельность, я приду к Вам, и тогда можно будет поговорить обо всем подробно. Пока ж будьте уверены, что осенью мои работы будут в «С<еверном> вестн<ике>» попрежнему. Относительно сборника Гаршину я уж ответил Якову Вас<ильевичу> Абр<амову> и статью дам, *непременно дам*, только надобно знать число. Сию же минуту я сижу над статьей о Гаршине для «Русских ведомостей», — спешу, и работа многосложная. Пытаюсь по возможности подробно выследить причину этой загадочной смерти. Хочу написать о нем без всяких фраз и запоздалых признаний в любви. Есть у меня о нем и личные воспоминания и один момент знаменательный для того, чтобы понять качество нервного расстр<ойства> Гаршина. Какие бы постановления Ваше собрание ни сделало, я охотно им подчинюсь, а Як<ов> Вас<ильевич> мне передаст о них.

Так вот, многоуважаемая Анна Мих<айловна>, дайте мне отдохнуть, одуматься до осени, я крепко утомлен в настоящие минуты.

Преданный Вам *Г. Успенский.*

176

В. А. ГОЛЬЦЕВУ

<Начало апреля 1888 г., д. Сябринцы>

Виктор Александрович! Прилагаю главу вторую третьего отрывка. Теперь осталось еще только две, которые в самом скором времени будут в ред<акции> «Рус<ской>

мысли». *Нехватает только* одной статьи, последней главы второго отрывка. Я прошу Вас, когда будете в «Русских ведомостях», пересмотрите, пожалуйста, январские №№ *прошлого года*, и там есть фельетон, называющийся *«Человек, доверившийся бумаге»* или, кажется, *«Мещанин Данков»*, так как он и есть действующее лицо рассказа. Так вот, этот фельетон необходим мне теперь. Будьте добры, не откажите вырезать его и прислать мне в Чудово, — я исправлю и тогда сдам в «Рус<скую> мысль» весь оригинал. Кроме этого, необходимо окончательно приготовить все мои томы для издания. Я думал, что пока будет довольно 4-х, кот<орые> я сдал уже давно, и что я постепенно летом буду присылать их в исправленном виде, — но оказывается, что необходимо всё. Печатают сразу два тома в двух типографиях, один том нач<ат> с первого, другой с 6-го, и так идет параллельно. Листы первые уже есть.

Не знаю, напечатали ли в ред<акции> «Рус<ских> вед<омостей>» мою статейку о Гаршине. Если нет, прочтите ее, пожалуйста, и, не скрывая недостатков, которые я исправлю, скажите, нельзя ли ее напечатать в «Рус<ской> м<ысли>»?

Затем: когда Вы хотите печатать вторую главу *«Писем с дороги»*? Я бы хотел ее исправить в корректуре, и если бы ее набрали теперь, то есть хоть до святой, — то я бы уехал, прочитав ее и исправив. Там надобно кой-что выкинуть.

Будьте здоровы. А ведь я все-таки забыл отдать Вам за обед в Эрмитаже! Вот ведь какие со мною бывают эпизоды.

Преданный Вам *Г Успенский.*

177

В. М. ЛАВРОВУ

<8 апреля>, пятница <1888 г.>,
Чудово, Н<иколаевской> ж. д.

Вукол Михайлович! Мне оказывается необходимым иметь еще некоторое количество денег, кроме тех, которые я получил от Вас. Чтобы ни в чем не нарушать нашего словесного договора и не обязываться где-нибудь

в другом издании, — я написал новый рассказ, который при этом и прилагаю.

В двух-трех местах надобно его поправить, кое-что прибавить, и я бы, конечно, сделал это до посылки его Вам, — но просто не могу сделать этого сейчас, — так я утомлен, а дело надобно решить скоро. С самого приезда из Москвы я сижу над моими десятью томами, которые уже печатаются дешевым изданием, затем я работал над *«Письмами с дороги»,* писал о Гаршине (не знаю, все ли напечатано, что я написал), наконец, писал прилагаемый рассказ. Через два-три дня я буду иметь полную возможность иметь несколько дней свободных, и вот почему я прошу Вас: *печатайте этот рассказ в майской книжке «Р<усской> м<ысли>».* Отдавайте его теперь же в типографию, чтобы примерно в четверг на страстной я мог иметь его в корректуре. Тогда я самым тщательным образом улучшу его в двух-трех местах и надеюсь, что он не посрамит майской книжки.

Таким образом, если этот рассказ Вы примете, я ничем не нарушу того уговора о работах и о деньгах, который Вам известен, *если попрошу Вас дать мне еще 300 р.* Эту сумму рассказ покроет, — след<овательно>, долгу моего не прибавится, а может быть, и убавится даже немного. *Мне же это крайне необходимо, и 300 р. я бы желал иметь не позже среды на страстной неделе.*

Затем, Вукол Михайлович, еще бы я желал вот чего: чтобы «*Письма с дороги*», главы II и III печатались бы сразу в июле, — и дальнейшие мои работы пойдут в таком порядке.

В августе — не будет ничего. Это месяц всяких хлопот. Но в сентябре будет непременно 3 листа новых очерков «*Проступки господина Купона*». В октябре — не будет. *В ноябре, декабре и январе* будет непременно (ежемесячно в общей сложности) по 2 печ<атных> листа. Я и теперь не знаю, что писать и что будет, но положительно необходимо начать совсем новым образом, надобно отдохнуть. Позвольте же мне теперь дописать то, что задумано раньше. Снимите с моей души тяготу старых тем и печатайте рассказ в мае, а письма в июле.

Относительно же денег будет так:

В мае, в августе, в декабре ред<акция> «Русск<ой> мысли» высылает мне по 250 р., а во все

остальные: июнь, июль, сентябрь, октябрь, ноябрь, — только по 200. У меня будет еще подспорье, так что этого будет достаточно.

Простите, ради бога, за все эти мелочи. Мне необходимо в точности знать мое будущее, чтобы нынешнее лето не только отдохнуть, а обдумать хорошенько продолжение моего дела.

Затем будьте вполне уверены, что я отдам Вам решительно все, что только буду считать лучшим из моих работ, и ничем не нарушу того, что здесь написано.

Буду ждать Вашего ответа уже в Петербурге.

(Вас<ильевский> Остр<ов>, 11 л., д. 30).

Будьте здоровы, на просьбу мою не смотрите сурово и верьте, что я всячески готов за добро платить добром же.

Ваш *Г. Успенский.*

178

В. А. ГОЛЬЦЕВУ

Чудово, 12 апр<еля 18>88 г.

Виктор Александрович!

Вот, наконец, и конец! Слава богу. Из примечания в конце Вы увидите, как я думаю продолжать. Следующие письма будут уже совершенно *новые,* и я прошу Вас, сделайте милость, похлопочите, чтобы 2-я и 3 главы были напечатаны сразу, в мае. С плеч бы долой! Если их тянуть все лето, — ведь это наскучит ужасно. Если бы теперь же набрали, то я мог бы прочитать корректуру до отъезда, — а это было бы хорошо. Продолжение этих писем будет называться «*Проступки господина Купона* (Письма с дороги)», и если бы Вы напечатали всё сразу в мае, то к июню Вы бы имели *первое письмо,* — а второе в сентябре, и т. д. Первое *новое* письмо загладило бы неприятное чтение перепечаток. Похлопочите, пожалуйста. Я знаю, что говорю, и Вы уж мне поверьте.

Преданный Вам *Г. Успенский.*

179

С. А. РАППОПОРТУ

18 апр<еля 18>88 г СПб.
Вас<ильевский> Остр<ов>,
11 линия, д. 30, к. 8

Милостивый государь
г. Раппопорт!

Письмо Ваше и предложение подарить мне Вашу рукопись доставили мне большое удовольствие. Сделайте милость, пришлите мне эту рукопись, а я уж подумаю и напишу Вам, как с ней быть. Во всяком случае, всё что в ней есть существенного — ни в коем случае не пропадет для публики. Душевно благодарю Вас, с нетерпением жду посылки и крепко жму Вашу руку.

Глеб Успенский.

180

Я. В. АБРАМОВУ

<3 мая 1888 г., Петербург>

Дорогой Яков Васильевич!

Простите меня за беспокойство, которое я хочу Вам сию минуту сделать. Прилагаю пакет, который Вы можете распечатать и прочитать, что я пишу Гайдебурову. Если Вы сами найдете, что предложение мое не сумбурное, то, пожалуйста, не откажите ему передать очерки и письмо, — Вы с ним видитесь часто, если же оно вообще неподходящее, — то я получу очерки обратно. Я хотел в «*Сев<ерный> вестн<ик>*» дать 5 таких очерков и 6-й объяснительный (т. е. литературные воспоминания) с тем, чтобы они все разом (около 6-ти печ<атных> л<истов>) были напечатаны в августе. Но об этом податель поговорит лично с Вами. Сделайте милость, не откажите черкнуть мне ответ — я пробуду всю

среду. А если бы можно было повидаться, то я был бы душевно рад. Я теперь занят постоянно. Надобно ехать и непременно, во что бы то ни стало, за границу, так что я положительно не имею минуты свободной.

Искренно Вам преданный

Г. Успенский.

3 мая <18>88 г.

181

Г. А. МАЧТЕТУ

<4 мая 1888 г., Петербург>

Дорогой Григорий Александрович!

Не приду сегодня ни под каким видом: измучился над корректурой рассказа в «Русскую мысль», которая есть просто писанье вновь, а бросить не могу. Если Вы ко мне зайдете сегодня, — я рад, и это мне не помешает нисколько. Если Вам нельзя, то я завтра весь день с Вами, пойдем к Михайловскому, и с 10 ч. утра я свободен совершенно. Не поленитесь сделать одно: напишите Ваш адрес и пришлите с посыльным. Вас<ильевский> Остр<ов>, 11 л., д. 30, кв. 8. А лучше приходите ко мне.

Крепко жму Вашу руку.

Г Успенский.

Если я сегодня приду, — то не кончу работы, а это для меня просто гибель, так как я решительно изнурен работой. Сколько я работал это время, если бы Вы знали! Никто меня не пожалеет!

Виктория Ивановна!

Будьте здоровы! Всего хорошего!

Г У.

182

В. А. ГОЛЬЦЕВУ

<Начало мая 1888 г., д. Сябринцы>

Большое, большое Вам спасибо, Виктор Александрович, за все, что Вы для меня сделали. Глубоко, искренно благодарен Вам!

Теперь настоятельно прошу Вас сказать мне без всякой церемонии: удобно ли печатать «Письма с дороги»? Не возбудит ли это в литератур<ных> кружках неблагоприятных толков? Если так, — то их надобно прекратить печатанием и сумму, взятую под них, разделить на те ежемесячные получения, которые я надеюсь получать с мая, убавив их соответственно взятым под письма деньгам. Словом, если письма неудобны, — то не надо их печатать, а как-нибудь иначе поправить дело.

Если же печатать, то *всю вторую главу* пропустить, а прямо третью — и довольно. Примечание в конце третьей надобно уничтожить. Но матерьял я прошу Вас сохранить, он нужен для моего 10-го тома.

Рассказ можете печатать когда угодно, но я должен иметь его в корректуре не меньше как 3 дня. И когда бы Вы его ни напечатали, — все-таки без моей корректуры невозможно.

Вот что я Вам скажу еще в высшей степени любопытное, *но пусть оно будет только между нами*: Н. К. Михайловский, кажется, склоняется к мысли дать свою работу для «Русской мысли». И, право, это было бы до чрезвычайности хорошо. Я бы похлопотал по этому делу охотно, если бы точно знал, какие условия редакция считает для себя наиболее благоприятными от этого сотрудничества? Т. е.: в каких отношениях должен быть Н<иколай> К<онстантинович> к ред<акции>, чтобы не стеснять ни ее, ни себя?

Ответьте мне, пожалуйста, на это. Тогда осенние книжки «Р<усской> м<ысли>» можно бы сделать несколько поживей, чем где бы то ни было в других изданиях.

Еще раз благодарю Вас от всей души.

Г Успенский.

183

В. А. ГОЛЬЦЕВУ

<Начало мая 1888 г., д. Сябринцы>

Виктор Александрович! Я вчера написал Вам несколько опрометчивое письмо относительно Мих<айловского>. Вышло как будто я уже почти уверен в его желании сотрудничать. Боюсь, как бы из этого не вышло мне неприятного, но вполне надеюсь, что не выйдет, так как пока это дело между нами только. Но вот что было бы хорошо сделать: Вукол Мих<айлович> будет на днях в Петербурге, и в Петербурге же теперь Шелгунов; остановился он в Пале-Рояле, там же, где Михайловский. Пусть бы Вукол Мих<айлович> чрез Шелгунова прямо завел речь о том, чтобы Мих<айловский> давал в «Р<усскую> м<ысль>» свои статьи, а я тогда всячески поддержу это дело. Ведь это дело важное. Пусть же В<укол> М<ихайлович>, как приедет в Петербург, так и заговорит об этом с Шелгуновым, и все это можно будет решить теперь же, а это очень важно. А то мое прошлое письмо может показаться как бы предложением уже сотрудн<ичества> Мих<айловского>, на что я не имею права. Я знаю одно — что его можно устроить, — и что сам он не предложит его, а нужно ему предложить и лучше всего чрез Шелгунова.

Могу ли я в IV главе (первого отрывка «Писем с дороги»), которая уж набрана, сделать одну чрезвычайно важную и необходимую даже вставку? Ответа Вашего буду ждать на этой же неделе, в *Чудов*е.

Григ<орию> Ал<ександровичу> мой поклон.

Г. Успенский.

P. S. Если Вы хотите делать это дело теперь же, то пусть В<укол> М<ихайлович> телеграфирует мне, когда поедет в Петербург. Я к нему приеду. Телеграф<ировать> надо также в Чудово.

184

В. А. ГОЛЬЦЕВУ

<Первая половина мая 1888 г., Петербург>

Многоуважаемый Виктор Александрович! Что же Вы мне ничего не скажете по поводу того, что я Вам писал:

1) Как и когда будут печататься *«Письма с дороги»*, и согласны ли Вы их сократить, напр<имер>, IV гл<аву> 1-ой статьи.

2) Не берет ли «Русская мысль» на себя непроизводительного расхода, печатая эти письма, и может быть, она делает это скрепя сердце? Тогда ведь надобно прекратить это, и можно сделать все иначе.

3) Не отдумала ли «Рус<ская> мысль» выдавать мне ежемесячно 250 р. (я убавил на некот<орые> месяцы до 200) в счет работ, как было условлено. Если письма будут напечатаны, то сию минуту за мной нет долга (кроме 1000 р., кот<орые> я просил подождать год, ввиду того, что буду иметь 2500 р. за одиннадцатый будущий том от Сибирякова).

4) Если же «Русская мысль» не может этого сделать, то, пожалуйста, известите меня, и я придумаю что-нибудь иное. Мне положительно нельзя оставаться в неведении. Я теперь так утомлен, что сил моих нет. Примите же во внимание, что этот год для меня исключительный, во всех отношениях изнурительный. В «Русской мысли» с майским рассказом написано не менее 7 листов (с сентября) да переработок около 7 л<истов>. В «Рус<ских> вед<омостях>» с августа 4 фельетона — $2^1/_2$ листа. В «Неделе» 1 л<ист>, в «Сев<ерном> вестнике» с сентября ежемесячно не менее 12 печ<атных> листов, а с цензурными помарками и все 15. Кроме того, я перечитал и исправил к изданию 250 листов моих 10-ти томов, — это работа не маленькая. Да волнения с моими праздниками и адресами и тысячи личных затруднений, которые свалились на мою голову как на грех в этот же год, — все это меня просто изнурило. Я сейчас не могу взять в руки пера. Вот почему я поставил «Р<усскую> м<ысль>» в такое затруднение с моим рассказом последним.

Я забыл еще сказать, что 2 переработки из старых газет даны мною в «Неделю» (будут в августе), листа два. Сосчитайте и скажите, пожалуйста, чьи это силы вынесут? Сосчитайте все это, вы увидите, что 12 л<истов> для меня облегчение и что я выполню это дело не как-нибудь.

Вот почему я настоятельно прошу Вас либо прямо известить меня телеграммой, что «Рус<ская> мысль» *не может* принять на себя этого расхода, или ж выслать мне первые 250 р. (в июне 200, в июле тоже, а в августе опять 250 и затем двести) в Петербург на имя Александры Вас<ильевны> Успенской: Вас<ильевский> Остр<ов>, 11 л., д. 30, кв. 8. Осенью у меня будут не такие вещи, какие я могу едва-едва писать теперь.

Я слышал, что Вы уже вошли в какие-то соглашения с Н. К. Михайловским. Рад этому душевно, и Вам большая, большая честь в этом деле!

Преданный Вам *Г. Успенский.*

185

В. М. ЛАВРОВУ

<Первая половина мая 1888 г., Петербург>

Многоуважаемый
Вукол Михайлович!

До сих пор я не получил оттисков «*Писем с дороги*». Оттиски, присланные Вами мне раньше, возвратились в Москву потому, что у меня все время не было паспорта, и в участке не могли засвидетельствовать моей личности. Мой паспорт был в Одессе, оставленный в канц<елярии> градон<ачальника> при выдаче мне заграничн<ого> паспорта. Так вот в получении моего паспорта обратно и протянулось все время, так как я едва-едва получил его в конце апреля месяца, со всевозможными затруднениями и путаницами. Затем я желал бы, чтобы оттиски присылались просто под бандеролью.

Затем, Вукол Михайлович, я бы желал поскорее ехать.

Не претендуйте на меня, что мои работы плохи и небрежны. Я так утомлен, что положительно едва-едва могу держать перо. Одно домашнее дело осложнило мои расчеты и задержало поездку. Но осенью я исправлю все свои теперешние путаницы. У меня есть хороший план работы, за которую я не могу взяться теперь.

Я отлично понимаю, что Вы делаете мне все время самые искренние одолжения и прямо снисходите к моим просьбам поддержать меня и легко бы могли обойтись без моих работ и трат на меня. Я все это прекрасно понимаю, искренно и глубоко благодарю, но прошу Вас уж до конца поддержать меня именно так, как было условлено. Если Вы сосчитаете, сколько мне пришлось работать с сентября месяца по 1-ое мая, т. е. в течение 9-ти месяцев, то, уверяю Вас, Вам покажется странным, как я мог еще хоть кой-как вынести этот труд. *В «Сев<ерном> вестн<ике>»* ежемесячно в течение *восьми месяцев* были мои работы, всего около — 13 л<истов>. *В «Русской мысли»* (вместе с расск<азом> для мая) — около $7^{1}/_{2}$ листов да переработано около 7 же. *В «Русских ведом<остях>»* 4 фельетона, в общей сложности не менее $2^{1}/_{2}$ листов, 1 л<ист> в «Неделе», да еще туда я отдал 2 рассказа (переделки для 10-го тома) в феврале еще, и они будут напечатаны в августе — $1^{1}/_{2}$ листа. Кроме того, я привел в порядок все 10 томов моих книг, а ведь это, кроме терзания за все прошлое, за все недомолвки, ошибки, недописки, — труд утомительный. Так вот, в течение 9 месяцев я написал около 24 печ<атных> листов оригинала да около 9 листов переработок и исправил около 250 печ<атных> листов моих книг. Во все это время я был постоянно волнуем неожиданным мне юбилием, адресами, депутациями, — словом, Вы видите, что было от чего устать. Такую массу работы надобно было предпринять вследствие неудачной поездки в Болгарию, кот<орая> стоила много денег и ничего не могла принести. Ведь когда я ездил, семья должала, и вот нужно было работать из всех сил. Немудрено, что и ослабеваешь головой, нервами, всем. Вот отчего мои последние работы и слабы.

Надобно мне ехать, не писать до сентября, и я прошу Вас не изменять нашего условия относительно ежемесячной выдачи, которую я убавил на июнь, июль и затем на осень. Не беспокойтесь, я не выйду из пределов уговора ни на одну лишнюю копейку и выполню все, что обещал.

Жду Вашего ответа и за все сделанное душевно, искренно благодарю.

Ваш *Успенский.*

Вас<ильевский> Остр<ов>, 11 л., д. 30, кв. 8.

186

В. М. СОБОЛЕВСКОМУ

<17 мая 1888 г., Петербург>

Дорогой мой Василий Михайлович!

Посылаю Вам начало маленькой статейки о чудеснейшей книжке, которая заставляет думать о множестве удив<ительных> вещей. Как только я ее допишу, так чрез день или два буду в Москве, и хотел бы Вас видеть, да боюсь, что Вы будете в Клину, и еще боюсь, что если бы я поехал в Клин, то Вас бы не застал. Впрочем, я разыщу Вас. Не знаю, куда мне ехать: за границу или в Сибирь к переселенцам и с переселенцами? А так «отдыхать» зря, — не могу, тоска смертная. В Сибирь любопытно, — но мрачно, чортова яма, холод, и вообще я поустал от мужика, его бороды, лаптей и вообще всего этого голодного и холодного. Больно смотреть, и голова отказывается мучиться об этом, просто утомилась. А за границу — тоже не знаю, будет ли толк.

Вот об этом и поговорим. Книжка, о которой пишу,— превосходная. Какой чудесный свет от нее на будущее, и все ведь дело точное, строгое. Посмотрите, как ею заинтересуются. О ней много разговору, но надо говорить пообстоятельней. Грубо как-то я стал писать, — обалдел и устал.

Крепко целую Вас.

Г. Успенский.

17 мая <18>88 г.

187

Ф. Д. НЕФЕДОВУ

26 мая 1888 г. <*д. Сябринцы*>

Филипп Диомидович! Простите, что так поздно отвечаю на Ваше любезное и радушное письмо. Искреннее Вам спасибо! Ваше приветствие я принимаю с особенным удовольствием: сами Вы знаете, что такое литературный труд, да еще такой поистине изнурительный, как мой. Я ведь без передышки писал чуть не день и ночь, а последние годы дошел до полного изнурения. Я думаю, что это все видели, и рад душевно, что снисходят этому.

Осенью выйдет дешевое издание моих книг <10 частей 3 руб.>, и Вы, конечно, получите полный экземпляр тотчас по выходе. Будьте здоровы, поправляйтесь. Большое спасибо еще раз.

Ваш *Г. Успенский.*

188

С. А. РАППОПОРТУ

<*26 мая 1888 г., д. Сябринцы*>

Любезнейший г-н Раппопорт!

Ваши рукописи я получил только вчера, уже по вторичной повестке, так как все время меня не было в Петербурге. О шахтах я еще не читал, но душевно благодарю Вас за этот подарок. Очерки «В кабаке» и «За Урал» прочитал тотчас же и нахожу их положительно прекрасными, умными, дельными и справедливыми. Только местами неправилен язык. Очевидно, язык малороссийский, который Вам пришлось перевести по-русски — это вообще дело трудное, но все-таки необходимо поправить. Кроме того, рассказ «Кабак», — я думаю, во-1-х, надобно не делить на две вещи, а соединить их (не переделывая сцен в рассказе, — это даже оригинально) и <кой> в чем сократить, а кой в чем дополнить. Дополнить необходимо, сказать несколько слов о местности, где стоит этот кабак, о рабочем населении города и о том, каким образом и отчего выходят такие горькие пьяницы. Вы, я думаю, можете очень хорошо знать жизнь

этих несчастных «до» кабака, надобно же об этом сказать несколько слов. Сцены все хороши, просто потрясающи.

О переселенцах я буду через день-два говорить с ред<акцией> «Русской мысли». Их можно печатать и сейчас, если только у них есть место. Обыкновенно на лето, когда все редакционные люди уезжают, оставляется готовый материал на 2—3 книги — ничего нового никто сунуть туда не может.

Из Москвы я Вам напишу еще подробней. Теперь же скажу одно: не робейте: хорошо, умно Вы пишете. Так и надо писать. Но надобно не спешить и некоторое время, до осенних месяцев, — подождать торопиться печатать.

Пока же больше сказать Вам ничего не могу, а из Москвы напишу.

Будьте здоровы.

Г Успенский.

189

Я. В. АБРАМОВУ

<Май 1888 г., Петербург>

Дорогой Яков Васильевич!

Вчера г. Баранцевич просил меня принять участие в Сборнике памяти Гаршина, который издает их компания. Дело в том, что их именно и обременяет, как они говорят, то, что все участвующие в двух сборниках разделились как бы на две партии, тогда как все они участвовали в работах со всеми теми, кто участв<овал> и в «Сев<ерном> вестн<ике>». Вы писали в «Наблюд<ателе>», где писал и Ясинский, Баранцевич писал в «Сев<ерном> вестнике», где и Короленко, и я, и т. д. Словом, нет никакого резона делиться на партии ввиду одной цели — собрать деньги на памятник Гаршина. Если же будет два издания и, таким обр<азом>, закрепится некоторым образом литерат<урное> несогласие, — то ведь оно будет продолжаться и дальше, — одна партия будет расхваливать свой сборник, а другая — защищать свой и т. д. Словом, ни тот, ни другой сборник не возобладает один над другим, и количество покупателей разобьется на две половины, то есть — для одного и для другого сборника их будет мало. В *их* сбор<ник> —

обещ<али> В. Г. Короленко и Н. К. Михайловский, Г. А. Мачтет. Ведь это, пожалуй, и отзовется плохо.

Так вот, чтобы покончить с могущим быть недоразумением и чтобы сборник был *один* и покупался бы как одно издание, — то есть сохранил бы всех покупателей, а не половину для одного сб<орника> и полов<ину> для другого,— предполагается сойтись обеим партиям на следующем: 1) Как «Сев<ерный> вестн<ик>», так и *те, другие*, издают каждый свой сборник так, как они задуманы, каждый с своими сотрудн<иками>, рисунками и т. д.

2) Но оба сборника, во-1-х, носят одно название *«Красный цветок»,* во-2-х, печатаются в одном формате, одним шрифтом и размером букв в листе и 3) делятся на два тома. «Красный цветок», сбор<ник> в память Гарш<ина> *в двух томах,* цена такая-то. Продаются оба тома вместе нераздельно. И если их напечатать в умеренном количестве экземпляров, хотя и по высокой цене, — то они, наверно, разойдутся. Ведь цель общая, — для памят<ника> Гаршина или для капитала его имени (я не знаю хор<ошо>). От «Сев<ерного> вестн<ика>» вести пер<еговоры> будете Вы, а от *них* Баранцевич. Он и живет от Вас близко.

Обдумайте, пожалуйста, это, посоветуйтесь. На каждом томе можно означить «под ред<акцией> такого-то», и будьте добры ответить на это письмо не мне, а прямо Баранцевичу; ответьте коротко: такое-то предложение (пункты 1, 2 и 3) принимаем или не принимаем, — вот и все, Будьте здоровы.

Преданный Вам

Г Успенский.

P. S. Крайняя надобность знать имя и отечество Мурашкинцева. Забыл совсем. Пожалуйста, ответьте с этим же посыльным, которому заплачено уже.

Г У.

190

А. В. УСПЕНСКОЙ

Нижний, 4 июня <1888 г.>

Сейчас только добрался до Нижнего (ехал чрез Рязань по Оке пароходом) и сейчас же уезжаю дальше. Буду писать из Перми. Деньги должны быть завтра или

в понедельник, — а теперь вот какое дело: перед самым отъездом в Москву из Чудова я получил прилагаемое при сем письмо от председ<ателя> нов<огородского> крестьян<ского> банка и ответил ему, что рад бы тотчас быть у него, да уезжаю, и рекомендовал ему познакомиться с Бередниковым, которого Петр Михайлович знает. Пусть Петр Михайлович прочтет письмо, даже *покажет* его Бередникову и попросит его принять участие в председателе банка, помочь ему. Для этого Бередников должен бы был сам быть деликатным и зайти к нему на квартиру в Новгороде. Я написал председателю и о Петре Михайловиче — есть, мол, человек, который может ему пригодиться летом. Пусть же Бередников съездит к председателю, скажет ему, что он Успенского знает, что председатель нуждается в людях, знающих местные условия жизни, и скажет, что он, как земский деятель, готов служить чем может. Он же упомянет и о Петре Михайловиче, которому может найтись очень хорошее и интересное дело на лето.

И ведь как на грех: какое бы мне-то было дело превосходное, если бы я так не был измучен чорт знает чем, бессмыслицей, — и не поставлен в необходимость куда-то постоянно ехать.

Не знаю, какая это будет поездка. Теперь мне невыносимо скучно. Всё нумера да трактирные половые всю жизнь. Если мне будет еще хуже на душе, то я возвращусь и возьму место в новогор<одском> банке крестьянском.

До свидания, всех крепко целую.

Г. Успенский.

191

В. М. СОБОЛЕВСКОМУ

Казань, 8 июня, <1888 г.>

Дорогой Василий Михайлович!

Посылаю Вам первое письмо и заранее не хвастаюсь им. Но надо же с чего-нибудь начать, лиха беда начало, а потом, я думаю, будет и лучше. Главное, что я необыкновенно утомлен духом моим. Видите, как плетусь? Только

в Казани, — но это потому, что устаю ужасно; в Нижнем два дня не мог встать с постели. Может быть, и хорошо это. Теперь в Казани я уж мог сесть за работу, а завтра, 9-го, еду в Пермь. Меня пока берет раздумье — ехать ли туда? Соблазнительнейшие вещи прочитал я сегодня в газетах о Семеновском уезде, и меня туда тянет неумолимо. Эта поездка была бы мне по душе более, чем в чортову Сибирь. До чего-нибудь решительного я должен непременно додуматься в самом скором времени и завтра должен решить: куда я еду? Завтра же поэтому я буду писать Вам еще; а Вы, если только будете уезжать из Москвы, устройте, пожалуйста, чтобы я знал, с кем буду иметь дело — с А<лександром> С<ергеевичем> или с кем другим? Я буду писать много, но не знаю, из Сибири ли. Если Вы уедете, не дождавшись моего второго письма, — то пошлите мне <в> Пермь до востребования телеграмму: «Посылайте статьи такому-то».

Если Вы это первое письмо напечатаете, т. е. решитесь печатать, то также не откажите телеграфировать в Пермь — «печатаем», больше ничего. Все эти расходы из моего гонорара, пожалуйста. В Перми и в Сибири я буду, только, может быть, не сейчас. Словом, еще не знаю до завтра. До завтра, милый В<асилий> М<ихайлович>! Крепко Вас целую.

Г. Успенский.

192

В. А. ГОЛЬЦЕВУ

Казань, 8 июня 1888 г.

Виктор Александрович! Сейчас уезжаю в чортово место — Сибирь и не знаю, доеду ли туда. Не откажите в моей небольшой просьбе. Когда выйдет июньская книга и если там будет мой рассказ «*Взбрело в башку*», то, пожалуйста, *не высылайте этого № ни в Петербург, ни в Чудово, а также и оттисков этого рассказа, а то и другое перешлите мне в Пермь, до востребования.*

Видите, в чем дело. В этом рассказе под именем Олимпиады изображена супруга Кривенко, которая у нас

в Чудове живет. Она бы и не прочитала этого никогда, да наши знакомые ей прочтут, и выйдет чорт знает что. А кроме моего экземпляра в Чудове нет. От этого-то и рассказ бледен, что нельзя было разойтись, — а то бы он мог быть любопытным.

Не откажите мне в этой покорной просьбе. Надеюсь, что жена моя уже получила деньги, и приношу Вам искреннюю благодарность.

Будьте здоровы!

Ваш *Г. Успенский.*

193

А. В. УСПЕНСКОЙ

Казань, 8 июня <18>88 г.

Друг любезный! Мне до того нестерпимо сразу ехать в Сибирь и я так расстроен вообще, что думаю, прежде чем отправиться туда, поехать по Волге, во-1-х, в Саратовскую колонию, а <во->2-х, в одно раскольничье село, где 22 июня праздник чрезв<ычайно> интересный. После же 22 поеду уж в Сибирь, но дальше Тюмени не поеду, и к концу июля буду дома. Пожалуйста, извести меня в Саратов телеграммой до востребования, всё ли у вас хорошо? В самых коротких словах. Пишу мало потому, что только что окончил письмо в «Рус<ские> ведомости». Если получены деньги, то хорошо бы было, если бы их хватило до 7—10 июня, — тогда будет еще руб. 200 вам. Пишите мне подробно все-таки в Пермь, до востребования. Если, паче чаяния, получите в Чудове «Рус<скую> мысль» за июнь — то не давайте ее Людм<иле> Никол<аевне> Крив<енко>. Я ее там коснулся. «Рус<ские> вед<омости>» будут высылать вам в Чудово. Что поделывают ребята? Будет ли у вас возможность поехать с Шурычем на пароходе хоть в Рыбинск, Ярославль, Тверь или Рыбинск — Нижний, потом Москва? Хотел бы, и очень хотел, написать вам всем что-нибудь хорошее, но решительно не могу и ничего хорошего не чувствую и не вижу. Из Саратова буду писать опять.

Крепко вас всех целую.

Г. Успенский.

194

В. М. СОБОЛЕВСКОМУ

<9 июня 1888 г., Казань>

Дорогой Василий Михайлович!

Еду я в Сибирь. Чрез неделю получите еще письмо, второе, а если первое напечатаете, то, пожалуйста, вышлите за него гонорар в *Пермь до востребования,* почтой, конечно.

В первом письме надобно сделать след<ующие> изменения: там есть рассказ о том, что я встретился с богатым промышленником, — этот рассказ надобно весь выбросить. Это крупн<ый> пром<ышленник> нижегород<ский> Булычев, брат певицы, и по разным соображ<ениям> я вижу, что мне могут быть неприятности, если написанное о нем попадется ему на глаза. Пожалуйста, вычеркните.

Кроме того, в последних страницах, где сказано: «еду в Сибирь», надо сказать: «задумал ехать».

Сколько тут интересного, кроме Сибири! Тут бы около Казани и Нижнего надобно прожить все лето, — вот это было бы дело. Но так как это невозможно, то я и еду сейчас на пристань. До свиданья, милый, дорогой Василий Мих<айлович>!

Ваш *Г. Успенский.*

«Русские ведом<ости>» надобно пересылать теперь *в Чудово.*

195

А. С. ПОСНИКОВУ

<20 июня 1888 г., Пермь>

Дорогой Александр Сергеевич!

В случае, если из этих двух писем во втором найдутся препятствия, — то вот как надобно поступить, чтобы из двух писем вышло одно:

Во втором (вновь написанном) надобно оставить все с начала и до 6-ой страницы, где стоят **. А затем с этой

страницы и до страницы 17-ой *все вон,* — до слов «Еще раз позволяю себе». Вместо этих слов прилагаю лоскутик, на котором сказано, что надобно вставить, чтобы образовался переход к разговору о Светлом озере; с 17-й же страницы можно печатать все сплошь подряд, зачеркнув в 3-ем письме особое заглавие (переезд и т. д.) и оставив общее заглавие второго нового письма. Только там, где начнется то, что теперь написано в третьем, надобно отделить «тире». Тогда из двух будет одно большое. Выкинутое во 2-м новом письме, *ради самого бога, сохраните.* Я все это переработаю осенью и о виноватой России напишу в «Р<усскую> м<ысль>» особый этюд. Христом богом прошу Вас, дорогой А<лександр> С<ергеевич>, *сохранять мои рукописи;* заведите в столе большой пакет и суйте туда все, что написано, но не пошло. Если будет можно, то я сегодня же сяду за окончание третьего письма (оно буд<ет> помечено IV. О немца<х>), если же нет, то пришлю его из Екатеринбурга, где пробуду 1 день. Затем будут письма из Тюмени (2 или 3) и далее с дороги. Не знаю только, ехать ли водой до Томска или же до Омска водой, а оттуда сухим путем в Уфу. Скучно уж очень плыть на пароходах и ехать на машине. Ничего не увидишь.

Милый, милый Александр Сергеевич! Что Вы теперь, чем живы, и что у Вас на душе? Крепко целую Вас, мой дорогой.

Ваш *Г. Успенский.*

196

С. А. РАППОПОРТУ

Пермь, 20 июня <18>88 г.

Любезнейший г. Раппопорт.

Простите, что я задержал и так далеко завез Вашу рукопись. Не было никакой возможности остановиться, чтобы разобраться и окончить в дороге неоконченные в Петербурге дела.

Рукопись о переселенцах остается до осени, так как теперь в редакциях никого нет, и на лето матерьялы запасены заранее. Ворочусь домой к 7-му августа, и если что

Вам будет надо сказать мне по поводу статьи о переселенцах, то напишите к этому времени. К этому же времени хорошо бы прислать и «Кабак». «Шахты» Ваши я также напечатаю *непременно,* и в сентябре, октябре Вы получите деньги.

Всего хорошего.

Г. Успенский.

197

С. Н. КРИВЕНКО

Пермь, 21 июня <1888 г.>

Милый Сергей Николаевич!

Письма Ваши и каталог из Чудова переехали опять в Пермь, куда я до поры до времени просил А<лександру> Вас<ильевну> пересылать адресов<анные> на мое имя письма. Одно уже отправлено в Петербург. Эта проволочка ничего не значит. Павленков будет в Петербурге не ранее 1-го июля, он лечится в Крыму и все равно ничего бы не сделал до тех пор, пока не воротится в Петербург. Теперь же и Павленков и Бакст прибудут в Петербург почти одновременно, и я вновь уверен, что он устроит это дело вполне добросовестно.

Милый С<ергей> Ник<олаевич>, а ведь я, может быть, увижу Вас еще и в Таре. Дело в том, как я решу в Тюмени: ехать ли мне до Тюмени и в Бийск или же в Омск пароходом, а от Омска на лошадях, либо в Тюмень опять, либо к Уфе. Переселенцы, которые меня интересуют, есть и в Омской округе 6 семей, и, стало быть, я могу кое-что видеть, поехав и не так далеко. Когда еще выберешься из Бийска, а я устал и ездить и писать и положительно не чувствую от этой маяты ничего, кроме утомления. Что делать-то! Хоть перед смертью посмотрю уж заодно, что такое и Сибирь.

Так вот: если я решу ехать в Омск, я Вам пришлю телеграмму, и мы повидаемся на пристани, а потом уж и в Чудове.

Дорогой встретился на пароходе с Вашим тарийским врачом — чопорный такой. В другой раз постараюсь не встречаться с этой «загадочной натурой», от которой за пять минут разговора начинается головокружение.

Надюша и все известное Вам молодое поколение, всех известных Вам преступных отцов и матерей, растет не по дням, а по часам, цветет, — но, по к<райней> мере я, ничего не вижу ни для них, ни поэтому для себя в будущем хорошего. Что-то сумбурное, чего не в силах отстранить, мытарит, мучит и уродует их, и иногда от одного <этого> поглядишь на их жизнь, — сам не знаешь, куда деваться, и готов на себя руки наложить. Будьте здоровы, дор<огой> С<ергей> Н<иколаевич>. Михайловский ждал встречи с Вами в Костроме.

Г Успенский.

198

А. С. ПОСНИКОВУ

29 <июня>, Петров день. Тюмень. <1888>

Дорогой Александр Сергеевич! Сегодня вечером сажусь на пароход и еду в Томск, не посылая Вам письма нового. Произошло это так: мне в Тюмени нужно было собрать разные сведения о переселенцах, а следов<ательно>, кой с кем познакомиться. А раз это случилось — житья мне нет. Постоянные неожиданные посещения и разговоры, в которых вам же «своими словами» передают люди буквально то, что напечатано в наших журн<алах> и газетах. Каково бы показалось Вам, если бы Вы, поехав послушать чужих речей, услышали бы только то, что сами же сто раз прокорректировали в «Русских ведом<остях>». Писать поэтому невозможно, и нужно уединение дня на два. Вот почему *я еду до Тобольска,* останусь там до следующего парохода (3 дня) и в эти три дня напишу Вам два письма, «IV. Переселенческая станция в Тюмени», «V. Сибирский *старожил*». Матерьялов у меня много. В этом будьте уверены. Но вот что я прошу убедительно: как только получите это письмо, так, пожалуйста, вышлите мне 100 руб. по телеграфу, чрез Сибирский банк в *Томск*, в редакцию *«Сибирской газеты»* для передачи мне. Если эта передача невозможна,— то просто в ред<акцию> *«Сибир<ской> газеты»,* там будут знать это, и еще сто рублей почтой в Чудово Александре Вас<ильевне> Успенской. Работы я пришлю много, словом, не заберусь в новый долг никаким родом. Но прошу Вас, милый Алекс<андр> Сер-

г<еевич>, послать мне в *Томск,* когда получите это письмо, *не ожидая рукописи, которую получите ровно чрез 4 дня после этого письма.* Необходимо так, чтобы, приехав в Томск, я бы уже нашел деньги и, повидавшись кой с кем не более 3-х дней, мог бы уехать сухим путем опять до Тюмени (1500 верст). Эта-то поездка и будет главное дело. Если ж деньги запоздают, то в Томске я пропаду, меня задержат, затаскают. Уже в «Сибир<ской> газете» есть публикация, что я еду. Все это меня расстроит и затруднит ужасно. Деньги у меня есть, но мне без этих ста рублей никак не воротиться в Москву, а останавливаться я не буду и пошлю Вам с дороги еще только одно письмо 6-ое, а остальные от Томска до Тюмени, сухим путем, буду уже писать в Чудове. Итак, Вы будете иметь от меня 3 письма еще. Много, ужасно много важного. Чего стоит *крестьянин, не знавший крепостного права.* Вот тут-то меня и подирает мороз по коже. Уж истребил, сукин сын, леса до того, что неурожаи стали хроническими. Жрет такой хлеб, что собака не тронет. Все это я должен знать подлинно — и зря не напишу.

В Чудове также очень нужны деньги — не бойтесь послать туда по почте 100 р. — я пришлю много работы. Если даже и вычеркнете много по обстоятельствам (впрочем, в этих 2-х след<ующих> письмах нечего буд<ет> вычеркивать — только факты и сцены), — то и то, все взятое, и то, что прошу, покроется.

Не откажите же, дорогой Александр Сергеевич, исполнить эту просьбу. Жара здесь ужасная. Постоянно около 40 град<усов>. Вот какая Сибирь-то!

Крепко Вас целую.

Г. Успенский.

199

А. С. ПОСНИКОВУ

<5 июля 1888 г., Тобольск>

Дорогой мой Александр Сергеевич!

Прилагаю еще два примечания.

1) Надобно поместить там, где говорится *о бесплатной перевозке от Перми до Тюмени по ходатайству пермского губернатора.*

2) Там говорится о старухе, не попавшей в списки, ушедшей самовольно. Кстати, там сказано «а старуха осталась» — надо сказать «а старуху решили оставить».

Знак примечания надобно поставить там, где говорится: «Вот обстоятельство, не предвиденное никакими постановлениями по переселенческому делу...» (или что-то в этом роде).

Ваш *Г. Успенский.*

P. S. Найдите, пожалуйста, сами такое место в статье, где бы можно было сделать примечание.

* В след<ующем> письме я постараюсь сообщить сведения обо всех расходах по переселенческому делу в Тюмени как частного тюм<енского> общ<ества>, так и М<инистерства> вн<утренних> д<ел>.

Примечание 1-ое.

* Переселенцы, которым помогло добраться до Тюмени вмешательство губернатора, — живые образчики бездушной канцелярщины, в полной силе царющей в российских административных захолустьях. Переселенцы эти из Полтавской губернии пришли в Пермь *буквально без копейки.*

— Отчего же вы не пережидали до осени? — входя в их положение, пытала переселившихся публика и начальство. — Ведь теперь там у вас рабочая пора, вы всё бы в два-то месяца что-нибудь бы сколотили.

— И сами просили Христом богом не выгонять нас до осени, да не дозволили.

— Кто не дозволил?

— Да волость. Как получили в волости бумагу — что нам назначены участки в Сибири — так и погнали вон. Вон, вон и вон! Минуты не дозволили повременить.

— Да зачем же так? Какое они имеют право?

— И бог их знает. Уходите, говорят, сейчас, а не то, говорят, этапом вышлем. [1] Так и ушли. И свои-то долги кой на ком побросали! . .

И вот это дело также надобно сделать как следует. Сначала нужно устроить этих людей, а потом уж начать и переписку.

---

[1] Далее зачеркнуто полторы строки. — *Ред.*

Примечание 2.

* К числу таких «самовольных» переселенцев (не имеющих даже прав на переселение) принадлежат переселенцы из губерний Западного края. Они почему-то не имеют права сделать своего переселения форменным порядком, как это уже может делать великорус и малоросс. Но нужда так их, вероятно, донимает там, что, несмотря на свою поразительную запуганность, приниженность и забитость, они все-таки решаются на риск переселения. Потихоньку, не говоря о своих намерениях никому из посторонних ни слова, выправляют они у ксендза метрическое свидетельство, тайком, при помощи евреев, распродают имущество и не уходят из деревни, а прямо *исчезают*. Крестьяне этих губерний — что-то непонятное даже для нашего, почти донага раздетого переселенца, идущего на край света без копейки: так они забиты, ошеломлены, притуплены. Речь их темная, как темны какою-то мертвой тусклостью их глаза; робость, беспомощность и какое-то трепещущее пред «паном» холопство — все это говорит, что, помимо бедности, безземелья, нищенства и изнурительного труда, — измят, скомкан, изуродован и их дух. Бритые лица без выражения, — точно маски мертвецов, — невольно смущают вас — что там под этой маской? (Беспредельное холопство или же жгучая злоба?) Во всяком случае это человек, вырвавшийся из каких-то железных тисков, и не таков он «внутри», каков кажется «снаружи», а «наруже» — не таков, как «внутри» (должно быть, это-то и есть «быдло»). И с ним поступают так же, «как следует», — сначала устроят, — а потом уж и «в переписку» и «в пререкания». В Западной Сибири уже существуют на юге два поселка крестьян-католиков. Были примеры возвращения на родину — нет костела, и ксендз посещает только два раза в год.

200

Н. И. НАУМОВУ

<28 июля 1888 г.>, ст. Покровское

Дорогой Николай Иванович!

При первой остановке я буду писать Вам и всем томским друзьям, — есть у меня к Вам и к ним просьбы, да и хочется мне всех вас от всей души благодарить.

Напишу и про дорогу и про себя. Настоящее письмо *деловое* и состоит в просьбе след<ующего> содержания.

В Томске существует начальник Почтовой части Том<ской> губ. г. Пятичинский, а на станции Покровск служит уже долгое время писарем Николай Михайлович Попков. Это молодой человек, 25 лет, из крестьян, но больной, с изуродованной грудью и спиной. Жить ему здесь трудно, жалованья 5 р., нет ни книг, ни газет, а между тем все это ему нужно. Он бы желал занять какую-нибудь должность в Каинске в почтовой конторе. Дело почтовое он знает хорошо — и, сколько я вижу, пропадать ему зря на почтовой станции не подобает. Не можете ли каким-либо путем сделать так (хоть через г. Петухова), чтобы г. Пятичинский перевел его в Каинск или в другую почт<овую> контору на такое место, на которое годен человек, хорошо знающий почтовую часть, но негодный для почтовых разъездов? Все ведь это возможно, — г. Попкову надо именно такое место, где бы можно было иметь книги, читать, так как это ему надо, и это единственное, как мне кажется, утешение в его болезненном положении?

Похлопочите, пожалуйста!

Буду писать Вам на этих же днях. Вывалили меня в канаву, на всем скаку (лошадь испугалась, и как я не сломал ногу, — истинно единому богу известно).

Впрочем, обо всем этом подробно — при первом удобном столе, пере, бумаге и чернилах.

Крепко жму Вашу руку. Всем кланяюсь. Татьяне Христоф<оровне> мой глубокий поклон и привет.

Ваш *Г. Успенский.*

28 июля <18>88 г.

201

Н. И. НАУМОВУ

30 июля, Омск <18>88.

Дорогой Николай Иванович!

Так как некот<орые> подробности моего путешествия есть в письме у А<лександра> Ив<ановича>, и он Вам их расскажет, и я в этом письме не буду их пересказывать, я скажу только, что надо сказать Вам. Пер-

вое — спасибо, глубокое спасибо Вам за Ваше радушие, — я так рад <был> видеть Вас и таким простым, милым, задушевным человеком! Как ни плохо в Сибири,— но, ей-богу, она не повредила Вам так, как бы повредил за все эти годы Петербург. Уверяю Вас, что Вы там были бы раздражены не так, как раздражает Вас сибирская кляуза, а смертно, то есть до безнадежности. Я и приехал-то в таком состоянии, только крепился, а увидел Вас, Ваше письмо, простое и радушное, и сохранность полную всего хорошего в Вашей душе, — сам почувствовал себя лучше, и хоть еду опять на смертную казнь беспрерывной, теперь уже насильственной работы журнальной, — но вот все-таки есть капля какого-то облегчения. Татьяна Христофоровна — такой славный человек, каких я редко встречал. Шлю ей самый искренний привет и благодарность. Я мало знал ее, да и Вас, Ник<олай> Ив<анович>. Теперь я рад душевно, что знаю Вас и Татьяну Христофоровну больше. Милые, хорошие, добрые Вы люди, — живите долго и дай бог Вам всего хорошего.

Не забудьте меня, Ни<колай> Ив<анович>, напишите.

Я не взял у Вас бумаги, которую Вы мне давали. Пришлите мне что-нибудь *по домашним семейным делам сибирских крестьян* — это было бы хорошо, но все, что ни пришлете, все будет хорошо, и за все я буду бесконечно благодарен. Что будет Вам надо в Петербурге: скоро справиться, выслать — пишите мне и телеграфируйте. И то и другое лучше всего на *Чудово* ст. Ник<олаевской> ж<елезной> дороги. Всё исполню.

Не может ли г. Розанов (пожалуйста, передайте ему мой поклон и крепко его обнимите) написать мне несколько сцен, анекдотов (пять-шесть) и отдать их в мое распоряжение, — где бы была видна *гордость сибирского мужика*. Он так отлично его знает! Мне же нужны эти черты. Он рассказывал, как сибиряк отвечает нашему мужику.

Наш мужик. Как бог не даст — так и не будет хлеба!

Сибиряк. А не даст, так и сами возьмем!

Пусть он напишет, *на чем* основано это самохвальство, фордыбаченье?

Кроме того, он отлично сказал, как разговаривает хозяйка с гостями. Кушайте или что-то получайте... Не может ли он записать всю ее речь, как говорит?

Кроме этого, я прошу его еще сообщить о той же гордости примера два-три, о разнице нашего и сибирского мужика.

Будьте добры, Н<иколай> И<ванович>, напишите ему об этом поскорее, если он уехал. Настойте на том, чтобы он *немедленно* написал бы, о чем я его прошу. Мне это нужно. Забрала меня Сибирь за живое!

Запоздал я в Россию, шибко запоздал!

Пожалуйста, неотступно вытеребите из Розанова, о чем прошу. Нахрап сибирского мужика, раздолье, его обжорство, «трын-трава», «наплевать», — вот именно все, что касается этих качеств.

Будьте здоровы, дорогие мои! До свиданья! Всего хорошего.

Ваш навсегда

Г Успенский.

202

В ТОМСКУЮ ГОРОДСКУЮ ДУМУ

<30 июля 1888 г., Омск>

Томская Дума почтила меня приглашением на обед, дававшийся по случаю открытия Университета. Но неожиданные личные обстоятельства, заставившие меня поспешить возвращением в Петербург, лишили меня счастия присутствовать среди почтенного томского общества на этом радостном обеде, т. к. я должен был оставить Томск в самый день 24 июля. В настоящее время, имея возможность располагать несколькими часами остановки в дороге, первым долгом своим считаю принести мою глубочайшую благодарность Томской Городской Думе за ее ко мне внимание, искренно присоединяю мою радость по случаю открытия Университета к радости всех сибиряков и всех томских граждан в особенности и прошу верить, что два билета, присланные мне Городской Думой, будут всегда возбуждать во мне наилучшие воспоминания: оказанное мне внимание в такие знаменатель-

ные дни, с которых общественное развитие (что бы там ни было) несомненно должно пойти вперед.

С искренним уважением и благодарностью

Глеб Успенский.

Омск, 30 июля <18>88 г.

203

В. Н. ПОЛЯКУ

Москва, 12 августа <18>88 г.

Владимир Николаевич! Если письмо это пишется на гербовой бумаге правительства «Слав<янского> базара», — то делается это единственно по вине самого этого правительства: нельзя послать за почтовой бумагой иначе, как заплатив комиссионеру 40 к. за комиссию. Надобно просто принять предложение пользоваться гербовой бумагой от гостиницы и волей-неволей писать на ней то, что ей вовсе не приличествует.

Я глубоко страдаю, что уехал из Казани, не повидавшись с Вами.

Я так был рад, что познакомился с Вами и с ред<акцией> «Волжск<ого> вестн<ика>», что мне и самому было прискорбно нарушить обещание — пробыть в Казани до вечера и еще повидаться с Вами. Я забыл поблагодарить ред<акцию> за высылку мне газеты, что и делаю теперь. Не откажите передать г. Загоскину и Вашим сотрудникам искреннюю мою благодарность за получаемый экземпляр и в особенности мое уважение к их трудам — всё они делают добросовестно и хорошо. За великую честь сочту примкнуть в сотрудничество к ним. Весь прошлый год я работал непомерно много и не мог исполнить моего обещания. В нынешнюю осень оно будет исполнено непременно.

Не откажите передать мой искреннейший привет г-же Подосеновой.

Преданный Вам

Г. Успенский.

P. S. Простите меня за беспокойство, которое я хочу Вам сделать. Не откажите выслать мне № «Сиб<ирского> вестн<ика>» последний, *университетский* —

Чудово, Н<иколаевской ж<елезной> д<ороги>. У меня его не оказалось в бумагах, а в Петербурге не знаю, где достать.

В Нижн<ем> Нов<городе> видел В. Г. Короленко, который всех вас, казанцев, любит и уважает.

204

Н. Н. ЗЛАТОВРАТСКОМУ

Чудово, 18 ав<густа 18>88 г.

Николай Николаевич! Письмо Ваше о сотрудничестве в жур<нале> «Эпоха» я получил, возвратившись из поездки, 16 авг<уста>, и отвечаю Вам по адресу, напечатанному в объявлении о журнале, полагая, что Вы уже в городе.

Извольте, я охотно приму в Вашем издании участие и при первой возможности пришлю непременно работу. Теперь же спешу пожелать Вам всякого успеха.

С. Н. Кривенко только что возвратился из ссылки и крайне нуждается в работе. Не дадите ли ему ежемесячной работы? Он бы мог писать нечто вроде «Очерков рус<ской> ж<изни>» Шелгунова. Задумано им много работ, и не худо бы Вам с ним списаться. Он отдохнул, много пережил и со свежими силами много бы сделал для нового журнала.

Писать ему надо: Чудово, Н<иколаевской> ж<елезной> д<ороги>, Люд<миле> Ник<олаевне> Крив<енко> для передачи С<ергею> Н<иколаевичу>.

Пока он еще не знает, где будет жить. Вероятно, в Новгороде. Еще раз желаю Вам полного успеха.

Г Успенский.

205

В. М. СОБОЛЕВСКОМУ

<19 августа 1888 г., д. Сябринцы>

Дорогой мой Василий Михайлович!

Как жаль, что я запоздал с своим писаньем на 1 день. Приезжал Мих<айловский> повидаться с Крив<енко>, и прошли так два дня.

Дальнейшие работы будут такие:

VI. *Письмо опять о переселенцах.* (Разные подробности).

VII. *Поездка от Томска до Тюмени.*
А дальше из того, что я Вам рассказыв<ал>: о ленивом сибиряке-крестьянине и т. д.

6-ое и седьмое письма будут идти одно за другим без остановки. И вот о чем я прошу Вас, дорогой Вас<илий> Мих<айлович>! Теперь мы переезж<аем> в город, и много самых сумбурн<ых> расходов, деньги нужны. Если можно, — прикажите набрать это письмо, и если нельзя его напечатать тотчас, — то сосчитайте как то, что осталось еще в наборе, так и новое это письмо, и *вышлите мне все, что придется за покрытием взятых 200 руб.* То же самое сделайте, пож<алуйста>, и за 6-ое и 7-ое письма, — время требует особ<ых> расходов, и я хотел бы писать только в «Рус<ских> ведом<остях>», не спешить писать в «Рус<скую> мысль», все это будет со временем. Материал есть, надо в нем разобраться и сообразить. Для VI и VII писем я уж знаю все, что надо написать.

Затем об уплате старых долгов вот что я Вам скажу: не назначайте Вы непомерной платы в 25 к. Это безбожно относительно всех ваших сотрудников. Безбожно даже и 20 к., но она извинительна большими расходами поездки. А вот что я Вам скажу: восьмое письмо я *все* уступаю в уплату долга полностью и напишу его огромное — 1500 строк, а затем, по возможности, сделаю то же самое в феврале и еще в июле, если буду жить. Так долг покроется быстро и легко, и для меня это в сто раз лучше.

Деньги, которые причтутся, пожалуйста, вышлите мне чрез Юнкера, по Чудовскому адресу, т. е. юнкеров<ский> вексель прикажите послать в Чудово, мне, а я поеду и получу. Очень нужны деньги, но работа будет непрерывна, пока Вы сами не скажете — «перестань! .»

Если бы мне не было <нужно> так часто просить денег, то я бы вот что сказал и попросил: шестое письмо я начну писать сегодня же (пятница) и буду его посылать Вам по мере писания. След<овательно>, если бы Вы выслали мне теперь же 300 р. — то я бы совершенно устроил все свои дела и не беспокоил бы редакцию до тех пор, покуда мне не пришлось бы получить уже

по расчету без всяких просьб. Мне совестно Вас и ред<акцию> беспокоить, — но это было бы для меня хорошо чрезвычайно.

Впрочем, ни в чем себя не стесняйте, пожалуйста, — я так Вам бесконечно за все благодарен, что и выразить этого не могу.

Если можно, пошлите Кривенко рублей 100. У него нет ни копейки, но он заработает. Я ему дал 30 р. из тех денег, кот<орые> получил в Москве, — это мне трудновато. Но не потому я прошу выслать ему, а потому что он оч<ень> нуждается.

Есть у Вас, как Вы сказали, пакет с надписью «внутренность из моих писем с дороги». Прикажите его переслать мне, в Чудово. Эти внутренности я все преображу, и они мне пригодятся. В «Рус<ские> вед<омости>» я из них ни строчки не возвращу, — буду писать только новое.

Так не сердитесь на мои приставанья, милый-премилый, хороший-прехороший, добрый-предобрый Василий Михайлович! Елико возможно я не хочу делать Вам затруднений, и теперь, мне кажется, я способен не делать их, так я хорошо себя чувствую.

Крепко Вас целую, много и глубоко за все благодарен Вам.

Г. Успенский.

Чудово, пятница, 19 авг<уста>.

206

В. А. ГОЛЬЦЕВУ

Чудово, воскресенье, <28 августа 1888 г.>

...ЧТО НА УМЕ...»

очерки

1. Проступки господина Купона.

Что на уме — то и на языке.
Поговорка

Дорогой Виктор Александрович!

Вот как будут называться мои новые очерки, и Вы их будете иметь каждый месяц до февраля включительно.

Если вы хотите, чтобы дело делалось как следует

(а я теперь чувствую себя очень хорошо и работать *рад*), то печатайте все, касающ<ееся> «Писем с дороги», сразу, в сентябре, в каком-нибудь дальнем углу, а в конце в примечании поместите, что на этом, мол, прекращаются перепечатки, а в *октябре* начнутся новые очерки с эпиграфом — «Что на уме, то и на языке». То есть, чтобы читатель не думал, что его будут морить перепечатками. В январских нумерах «Рус<ских> вед<омостей>» *прошлого года* есть фельетон о переселенческом ходоке *Данкове,* который необходимо присоединить к матерьялам, имеющимся у Вас. Он нужен там непременно.

Крепко жму Вашу руку. Будьте здоровы.

Ваш *Г. Успенский.*

207

В. А. ГОЛЬЦЕВУ

<Конец августа 1888 г., д. Сябринцы>

Виктор Александрович!

Простите за эту кучу лоскутьев, в которые я превратил 5 полос корректуры. Все надобно было выбросить, что о Лудмере. Так это надоело мне, что я не понимаю, зачем я все это восстановил.

Цензуре Вы прямо можете сказать, что все это перепечатки, и указать №№ «Рус<ских> вед<омостей>» и «Сев<ерного> вестн<ика>». Статья Шарапова пропущена цензурой. Дело Данкова — печаталось в газетах.

Затем самое главное. Дело Данкова — *непременно* необходимо для окончания этого последнего письма. Оно напечатано в *«Русских ведомостях»* за моей подписью *либо* в декабре 86-го года, либо в январе 87-го под назв<анием> *«Человек, доверившийся бумаге».* Эта последняя статья *необходима положительно.* В ней никаких поправок делать не надо, за исключением двух-трех слов (приписать или выкинуть), которые Вы легко сделаете сами.

Сделайте милость, пошлите г. Гиляровскому записку, чтобы он потрудился разыскать этот нумер. Это дело однюго часа, но без этой главы нельзя обойтись. Ею

и закончатся «Письма с дороги». К сентябрьской ли книге надо новое? Для меня лучше к октябрю, я много пишу в «Рус<ские> вед<омости>». Но, если *нужно*, телеграфируйте сейчас же, и я сам привезу новую работу к 3-му сентября.

К октябрю же я сделаю лучше то же самое дело. Как лучше — зависит от Вас. Для меня лучше к октябрю.

В конце главы «Процесс Данкова» можно сделать такого рода примечание внизу страницы *:

* Этим письмом оканчиваются переработки газетных корреспонденций и в след<ующем> № «Рус<ской> мысли» начнется ряд вновь написанных очерков.

Это для того, чтобы читатель не думал, что его замучают перепечатками.

Сделайте же милость, — не печатайте, не прибавив процесса Данкова. В переселенческом деле это замечательное лицо.

Если заглавие «Человек, природа и бумага» покажется цензуре неуместным, то слово «и бумага» можно зачеркнуть. Читатель увидит и так, в чем дело.

Будьте здоровы. И до свидания скорого.

Г Успенский.

208

В. М. СОБОЛЕВСКОМУ

Чудово, 8-го сент<ября 18> 88 г.

Дорогой мой Василий Михайлович! Я заехал в Чудово, чтобы окончательно расквитаться со всеми остатками летних долгов, и хоть у меня деньги еще есть, но я вижу, что мое желание *теперь же* уплачивать «Рус<ским> ведомостям» старый долг — дело не совсем для меня удобное, и было бы отлично-хорошо, если бы «Русские ведомости», как было уговорено раньше, не вычитали бы у меня до января. Это было бы положительно прекрасно, и я бы отлично устроил все мои дела.

1-ое) Я бы не брал ничего в «Русской мысли»,— и мои работы (которые я уж знаю и держу в голове давно) за три остающихся месяца с избытком покрыли бы все мои

им долги, а с января они опять бы (в счет осенних работ) стали бы выдавать мне вперед; вот тогда из двух фельетонов (как я предполагаю — скажу подробно ниже) я один бы уступал в уплату; к весне этот долг значительно бы сократился, и я бы мог ехать опять на весну и лето.

2) Теперь у Вас есть два фельетона, — и будет еще только два под назв<анием> *«Пис<ьма> с дороги»*. Один, 9-й, будет весь беллетристический — *«На обратном пути»*, а последний — десятый, *«Хорошие воспоминания о Сибири»*. (Главным образом об *общественных* заботах луч<ших> сиб<ирских> обществ и народ<ном> обр<азовании>. Расскажу о таких учреждениях, которых в России решительно не учреждало ни одно город<ское>общество.) Денег за эти 4 фельетона (9-й будет большой, а 10 маленький) мне будет совершенно *вполне* буквально, чтобы не знать малейшей нужды.

3) Если бы это устроилось, — то вот как бы <я> стал поступать. Так как на два фельетона в «Рус<ские> вед<омости>» есть матерьял (пожалуйста, смело сокращайте и по усмотрению), то эти две недели я бы посвятил исключительно для работы в «Русскую мысль» и освободил бы себя на октябрьскую книжку и ноябрьскую.

4) В то же время надобно теперь же подписаться на некоторые провинциальные издания, которые в течение двух недель (пока буду работать в «Русскую мысль») успеют прийти ко мне. Разобрать их нужно недели три, не меньше, и, таким образом, первый очерк (*«Очерки городской жизни»* или как иначе я придумаю) может появиться *через пять* недель от сего числа (две недели на то, чтобы получить газеты, и три на разборку). После этих пяти недель очерки будут появляться *2 раза в месяц*, а в течение пяти недель этих Вы имеете:

а) Два письма с дороги и

в) Еще два письма, о содерж<ании> которых сказано выше и

с) На пятую неделю рассказик вроде «Парового цыпленка» или что-нибудь легкое, неутомительное для меня.

Из этого Вы видите, что я могу справиться с моей работой без всякого напряжения,•только бы мне не путаться в долговых с редакциями обязательствах.

2 недели мне теперь совершенно свободны, — и я сделаю для «Рус<ской> мысли» пропасть.

9-й фельетон и 10-й давно уже готовы у меня *«в уме»*— и на каждый из них по неделе свобод<ного> времени. В то же время у меня будет разбираться газетный матерьял по программе, которую я составлю и в которой (в разборке) мне поможет один учитель.

Газеты должны быть выписаны сейчас же, дорогой Василий Михайлович, непременно, и сколько бы они ни стоили — я этот расход беру на себя, и покроется он так: из каждого *фельетона,* начиная с *шестого* (от которого осталось дополучить мне 28 р. и которые пойдут в уплату за газеты), — пусть контора вычитает по 25 руб. Таким образом, без малейшего обременения себя я за 6-ое, 7-ое, 8-ое, 9-ое и 10-ое «Письма с дороги» могу уплатить за газеты 125 руб. Если газет будет больше, чем на эту сумму, то вычет пойдет дальше в том же размере.

Вот, дорогой Василий Михайлович! Я в «Рус<ских> вед<омостях>» работаю с истинной радостию и по мере того, как буду освобождаться от ненужных литературных связей, — буду работать гораздо лучше. Задуманные очерки так и манят меня к работе. Подумайте, пожалуйста, дорогой Вас<илий> Мих<айлович>, и простите за это сухое с расчетами письмо. Если контора будет высылать мне деньги после помещения каждого фельетона, т. е. на другой день, — то я уже буду облегчен огромнейшим образом: чего стоит не знать и <не> думать о том, когда и как и откуда добыть денег. Никогда не можешь никому сказать ни дня, ни часа. На одну эту тревогу сколько выходит сил и сколько тут забот совершенно бессмысленных.

С 9-го числа адрес мой — *Васильевский Остров, 7-ая линия, дом № 6, кв. № 4.* По этому адресу пусть бы контора и высылала мне деньги и газету, о чем я пишу в контору особо.

Провинциальные газеты надобно иметь *с января месяца,* чтобы сразу начать дело с большим матерьялом. Да я об этой работе давным-давно думал, и у меня есть множество старых вырезок, не случайных, а характеризующих время и порядки. Словом, работа эта мне решительно любезна.

Если бы ред<акция> нашла возможным сделать это и исполнить мое желание, не скрепя сердце, а веруя, что я всей душой отдамся работе, — то это было бы в моей жизни положительно новым временем, какого не бывало:

постоянное рванье работы на куски, в три-четыре места. При таких же условиях я могу работать спокойно, не обременю ред<акцию> (только теперь 4 фельетона, а всего будет 2 в месяц). От всей души благодарю Вас, дорогой Вас<илий> Мих<айлович>. Всем вам мой искреннейший привет.

Г. У.

Список необходимых мне провинциальных изданий:

Внутренние губ.

1) «Курский листок» .	5 руб.
2) «Дон» (в Воронеже)	7 руб.
3) «Смоленский вестн⟨ик⟩»	

Юг.

1) «Южный край»	Не знаю
2) «Киевлянин»	12 руб.
3) «Одесский листок	Не знаю
4) «Волынь»	4 руб.

Подписка принимается в Житомире и (это скорей) *в Киеве* в книж‹ном› магазине Корейво

5) «Крым» . .	Не знаю
6) «Елисаветградский вестн⟨ик⟩»	6 руб.
7) «Южанин» (в Николаеве)	7 руб.
8) «Таганрогский вестн⟨ик⟩»	7 руб.

Кавказ.

1) «Донская пчела» (в Ростове) . . .	Не знаю
2) «Северный Кавказ» (в Ставрополе)	5 р. 50 к.
3) «Новое обозрение» . .	10 руб.
4) «Бакинские известия» или «Каспий»	

Волга.

1) «Саратовский дневник» (или «Саратовский листок» т. е. то, что издается под ред. Горизонтова) . .	Не знаю.
2) «Самарский листок» . . .	Не знаю.
3) «Нижегородский биржевой листок» . («Казанский вестн⟨ик⟩» я получаю) .	7 руб.
4) «Волго-Донской листок» (в Царицыне)	6 руб.
5) «Казанский биржевой листок»	9 руб.

Север.

1) «Архангельские губерн⟨ские⟩ ведомости»
2) «Известия Вологодского земства»
3) «Известия Пермского земства»
4) «Екатеринбургская неделя»
5) «Пермские губернские ведомости»

Затем решительно *необходимы* (борьба с сектантством) «Епархиальные ведомости» всех губерний; они должны быть в Вашей редакции, и так как они Вам не нужны, то их Вы уступите мне, пересылая их 1 раз в месяц пачками. Они положительно необходимы. Высылайте пока все те №№, которые можно собрать теперь, все сразу, хоть и разрозненные.

Сибирские газеты я буду получать задаром.

Всего выйдет много-много на двести рублей, — да нет! и на 150 не выйдет.

P. S. Название новым очеркам можно дать такое «*Итоги* (очерки соврем<енной> рус<ской> жизни)».

Еще просьба. Не известен ли Вам автор по временам помещаемых у Вас рефератов о том, что делается в расколе, о разных новизнах, спорах, переменах и о собеседованиях. Я бы вступил с ним в переписку.

Поверьте, что поп, особ<енно> совр<еменный>, не последнее дело в русской жизни. Поповский журнал я достану. Надобно, чтобы общ<ество> знало, что такое *теперешний* реформенный батюшка.

209

В. М. СОБОЛЕВСКОМУ

<12 сентября 1888 г., Петербург>

Дорогой Василий Михайлович!

Что же до сих пор в «Рус<ских> вед<омостях>» не появляются сведения, присланные из *Тюмени?* Вам прислан отчет попечительства за *86—87* годы, тогда как в моих письмах были цифры из отчета *85—86*. То, что Вы получили, — издано попечительством только сейчас. Я просил Архипова, чтобы он с точностью сообщал в ред<акцию> «Рус<ских> вед<омостей>» все, что важно и кас<ается> переселен<ческого> дела. Он будет писать на имя А<лександра> Сер<геевича>, а не на имя *редакции* или Ваше, потому что Ваша фамилия как редактора — неудобна для него как для чиновника. Они как чиновники сторонятся даже пожертвования принимать, и вот почему он будет адресовать: Чернышев-

<ский> пер., 7 А. С. Посн<икову>. Окажите же ему внимание, напечатайте,— дело переселенческое будет развиваться все шире, и у Вас будут *подлинные корреспонденты* — Архипов, Чарушин (он Вашу газету получает), как нигде.

Кроме того, Вами получены сведения о пожертвованиях, и их надобно опубликовать. Я ошибкою наименовал председателем благотв<орительного> об<щества> Игнатова. У меня в письмах сказано, что «сведения о деятельности благотв<орительного> общества *будут сообщаться мною впоследствии»,* и это произошло вот почему: когда я был в Тюмени, то обращался с этим же вопросом к Архипову, как бы мне достать устав и отчеты Благотв<орительного> общ<ества>?

— Надо сходить и спросить в конторе *Игнатова.*

Иду в контору и спрашиваю; — отвечают:

— Все дела по этому обществу находятся у г. Левитова, секретаря *Игнатова.*

— Могу ли я видеть Левитова?

— Нет! Он и Игнатов уехали в Иркутск (за день до моего приезда в Тюмень).

— У кого же можно получить сведения?

— А уж, право, не знаем.

Архипов узнал мне, что по отъезде Игнатова и Левитова все бумаги переданы исправнику, который, конечно, ничего в них не смыслит. Да и вообще мне уже не хотелось идти к исправнику и времени не было.

Таким образом, контора *Игнатова,* секретарь *Игнатова* — Игнатов и Игнатов — на каждом шагу. Он и есть *действительный* хозяин дела: не только даровое помещение *для переселенцев он устроил* на свой счет (содержание на обществ<енный> счет), но и для *чистой публики* на пристани есть десять бесплатных номеров, где проезжий может жить в ожидании отхода парохода, не платя ни копейки и не нанимая номера в гостинице. Эти учреждения прямая ему выгода — и чистая, и черная публика постоянно заготовлена для его пароходов. Вот почему совершенно ясно видно, что *Игнатов действительно* главное действующее лицо. Я и махнул его председателем.

Теперь надобно исправить это, напечатавши так:

Из *Тюмени* нас извещают о пожертвованиях в пользу сибирских переселенцев (здесь те сведения на лоскутке,

кот<орые> у Вас есть). Пожертвования адресуются на имя (тут имя и фамилия того лица, которое сообщит Архипов).

Затем при отчете сведения.

Прилагаю Вам вырезку из «Харьков<ских> губ<ернских> ведомостей».

Не заведете ли Вы рубрики: *К переселенческому делу?* Вам там следует по временам помещать сразу, несколько. Ну, уж, дорогой Василий Михайлович! Здесь такая мертвая тоска, что я, бога ради, прошу Вас подумать, можно ли мне рассчитывать на очерки русской жизни? Я буду работать неусыпно. Одно спасенье. Все лезет врознь. Анна Мих<айловна> Евр<еинова> кричит: «Если бы я знала!!! никогда бы не подумала взяться за журнал!» Абрамов ушел из «Сев<ерного> вестн<ика>». Короленко также рвется вон оттуда. Анна Мих<айловна> не находит в нем изящного вкуса. «Русскую мысль» побранивают иногда шибко. Все скучны и унылы. Не надоели ли мои письма? Если да, то прямо скажите мне, и я ограничусь вот только одним «На обратном пути» — и будет. Когда Вы будете в Петербурге? Во всех местах теперь галдят о Тихомирове, который уже подал прошение о возвращении в Россию, об узаконении брака и о детях. Он женился под чужим именем. Дело его плохое. [1]

Вот что в Петербурге-то говорят. Будьте здоровы, дорогой Вас<илий> Мих<айлович>. Не сердитесь на это скучное письмо.

Г. Успенский.

Надобно было зачеркнуть. [2]

210

В. Г. КОРОЛЕНКО

12 сент<ября 18>88 г., <Петербург>

Дорогой мой, милый Владимир Галактионович!

Только вчера я окончательно поселился в Петербурге и прежде всего спешу вывести Вас из недоумения относи-

[1] Далее восемь с половиной строк вычеркнуты Успенским. — *Ред.*

[2] Фраза относится к зачеркнутым строкам. — *Ред.*

тельно моего участия в «Сев<ерном> вестн<ике>». Вот в чем дело: Мих<айловский> мне сказал: «Какие-такие у Вас будто бы есть рассказы в «Сев<ерном> вестн<ике>»? Короленко справлялся — никаких рассказов нет!» И все это точь-в-точь — рассказов там нет «ни на волос». Но вот в чем, милый Владимир Галактионович, дело, — *есть эти рассказы* для «Сев<ерного> вестника», они готовы, — но их надобно выручить от Гайдебурова. В Нижнем я Вам сказал, что у меня есть рассказы для «Сев<ерного> вестника», может быть даже сказал прямо, что они там. Я полагал, что, возвратясь домой, найду возможным взять 200 рублей хоть в «Рус<ской> м<ысли>» и тотчас уплатить их Гайдебурову, рассказы взять и отдать в «Сев<ерный> вестник». Были у меня и 200 руб., и еще 200, и еще 300, — но все исчез<а>ло в тот момент, как только появлялось в руках. Долгов в деревне накопилось тьма, едва выбрался оттуда, предварительно дав возможность переехать семье и то постепенно. Говорят, есть какие-то новые бумажки и будто бы они были в моих руках, — но я решительно не видал их,— знаю, что мелькало что-то синее или красное. Таким образом, из трех рассказов волей-неволей пришлось отдать Гайдебурову один. Он появится 1-го октября. Если он покроет все 200 р., тогда два остальные я возьму у него. Если не покроет, тогда придется доплатить немного уже. Так вот Вы и знайте: если только *Вы будете* в «Сев<ерном> вестнике», — то я дам к № 11 «Сев<ерного> вест<ника>» — 2 небольших рассказа. Если Вы там *не будете,* то ни в каком случае не дам. Пусть печатает Гайдебуров, а деньги передаст в «Сев<ерный> вестн<ик>». Так вот Вы мне черкните — взять ли эти рассказы? А главное — будете ли Вы там? Абрамов ушел, не знаю почему. Тоска какая-то смертная. Сама Анна Михайловна хотела бы бросить все и жить в уединенном месте на вершине Альп. Словом, положение вообще трагическое. А впрочем, все это, может быть, и сплетни. В конце концов одно самое верное: будете Вы, милый, хороший, дорогой, в «С<еверном> в<естнике>», буду я; не будете — не буду я там во веки веков.

Виноват, виноват я пред Ник<олаем> Фед<оровичем> — до сих пор ни прошлогодних 20 р., ни нынешних 25 не препроводил. И сам не знаю, что творится! Работаю

положительно и день и ночь и чувствую, что к ноябрю окончательно обессилею совершенно.

Впрочем, наработано очень много, по кр<айней> мере для «Рус<ских> ведом<остей>», и первые деньги, которые придут оттуда (на днях), — непременно помогут мне снять с себя грех пред Н<иколаем> Фед<оровичем>. На этой же неделе я вышлю долг наверное.

Кланяюсь Вашей матушке, Вашей жене, целую Ваших деток, а также и всей семье Никол<ая> Федор<овича>. Всех я Вас люблю и всегда помню. Будьте здоровы и спокойны. Елпатьевскому, Вашему милому брату Илл<ариону> Гал<актионовичу>, пожалуйста, поклонитесь, а последнего и поцелуйте. Поцеловал бы и Елпатьевского, да он целует свою жену, а я на это не согласен.

Ваш *Г. Успенский.*

211

С. Н. ЮЖАКОВУ

<20 сентября 1888 г., Петербург>

Сергей Николаевич!

Я так нездоров, что решительно не могу прийти слушать г. Карпова. Да если бы и пришел, то при моем нездоровье проку было бы мало. Если бы г. Карпов был так добр, что дал бы мне прочесть его пиесу одному, — я был бы ему благодарен. В Пале-Рояле всегда есть посыльные. Если он пришлет мне свое произведение часов на 5, хоть в конце сегодняшнего вечера, — то рано утром он будет иметь его у себя. Что я буду думать о его произведении, то и напишу.

Г. Успенский.

212

В. А. ГОЛЬЦЕВУ

26 сен<тября> 1888 г., <д. Сябринцы>

Виктор Александрович! Не смущайтесь, бога ради, что я Вам посылаю только семь страниц, т. е. 1-ю главу 1-го очерка. Не только этот первый, но и второй очерк у меня

уж готов — я только перерабатываю их — *лиха беда начало,* а тема будет разраб<отана> до января. Первые-то главы самые трудные. Сегодня, в понедельник, я посылаю только 7, а завтра, будьте вполне уверены, вышлю всю вторую и третью главы первого очерка и в среду конец. Времени для набора у Вас много. Конец Вы получите в четверг, и поэтому начало первых глав в корректуре, кот<орое> может быть набрано раньше четверга, — пришлите мне по мере набора в Петербург, Вас<ильевский> остр<ов>, 7 линия, д. № 6, кв. 4. (Просил бы и «Русскую мысль» высылать также). Я возвращу корректуру в тот же день: надобно посылать заказным в простом конверте, так скорей. Примечание будет приложено к концу. Будьте вполне уверены, что я никоим образом дальше среды не оттяну. Хлопот ужасно много дома, да и в «Рус<ские> вед<омости>» писал много, и неожиданно почувствовал, что утомлен. Ольга Николаевна уехала и будет у Вас. Желаю Вам всего хорошего.

Г Успенский.

213

С. А. РАППОПОРТУ

Чудово, 26 сентября, 1888

Простите меня, любезнейший г. Раппопорт, за мое упорное молчание: я почти только что возвратился из долгой поездки в Сибирь и ввиду больших расходов (конечно, по моим средствам — больших) вынужден был сесть за работу, за которой с конца августа и сижу непрерывно. Не было решительно возможности никому из самых близких людей ответить на их письма, которых накопилось множество, пока не нашлось возможным хотя один день отдохнуть в Чудове и побыть одному. Все, что я Вам обещал, будет исполнено осенью, т. е. напечатаются «Переселенцы», а после них и «Шахтеры». Почему они будут напечатаны позже, я расскажу Вам сейчас. Письмо о том, что «Шахтеры» будут напечатаны, я писал из Перми. Ваша рукопись была со мной. На дороге в Тюмень, между Тюменью и Тобольском, встретил старого знакомого политического ссыльного Швецова, своего человека.

Разговорились. Оказалось, что он трудится по одному и тому же с Вами делу, и его статья о каменноугольной пром<ышленности> напечатана в майской или июньской кн<ижке> «Вестника Европы» за подписью, которую я забыл. Я решительно не мог отказать этому человеку просмотреть Ваш труд, но на всякий случай отделил то, что принадлежит собств<енно> Вам, напр<имер> песни и т. д. Все, что у Вас касается сведений из печатн<ых> источников, я ему позволил взять. Он взял очень немного, но зато и в Ваших сведениях нет кое-чего, что есть у него, и, след<овательно>, Вы для пополнения Вашей рукописи можете свободно брать и из его статьи, но не в этом дело. Рукопись Ваша была у него в Томске, и я, уезжая, признаться, забыл об этом. Но, возвратившись в Петербург, тотчас же писал Швецову, чтоб он возвратил эту рукопись, в ответ на что имею телеграмму, что рукопись Ваша высылается. Скоро она будет опять у меня; я ее вместе с теми главами, которые Швецову даны не были, вышлю Вам. Вы просмотрите, дополните ее, и тогда будем печатать. Ее непременно напечатают. Хорошо, что Вы сделали дополнения к «Переселенцам». Эту статью напечатаем скорее, чем «Шахтеров», — но пока не знаю где. Не обидно ли Вам будет поместить ее в «Эпохе»? Там всё те же лица, что и в лучших журналах. Редактор Златовратский и В. В. (Воронцов). Журнал новый и напечатает скорей. Ответьте мне: Петерб<ург>, Вас<ильевский> Остр<ов>, 7-я линия, д. 6, кв. 4.

Что касается до других Ваших рассказов, то, откровенно говорю, — я решительно не имел времени их прочесть. Мои неотложные работы окончатся к 3 октября, а числа 6 я уже напишу Вам об этих двух рассказах. Затем прошу Вас об одном: не возлагайте на меня никаких особенных и преувеличенных надежд. Я по совести даже и обещать не могу какого-либо особенного содействия кому-либо. Я сам обременен моими личными заботами сверх меры. Но все, что касается содействия в литературных делах, — я всегда готов Вам служить. Стоит лишь появиться в печати хоть одной Вашей работе — и Вы сами будете уж на настоящей дороге.

Преданный Вам

Г. Успенский.

214

В. М. СОБОЛЕВСКОМУ

<15 октября 1888 г., Петербург>

Дорогой мой Василий Михайлович! Ради бога, простите, что я до сих пор не написал обещанного рассказика. Такие тяжкие времена и такое душевное расстройство, какого со мной и не бывало. Между прочим, я написал в это время около 3-х листов для «Русской мысли», обязательно необходимых во всех отношениях. Написал нехорошо, потому что хлопот домашних и неприятностей была тьма-тьмущая. Поверите ли — сухой жар во всем теле вот уж мучает меня с месяц; нет ни сна, ни покою, в таком состоянии я просто не могу взяться за веселую вещь. Вот почему прошу Вас — снизойдите! Напечатайте с какими угодно сокращениями это последнее письмо. Несколько недостающих страниц постараюсь послать сегодня ж с курьерским (сейчас 11 ч. утра). А затем я опять буду *две недели* работать для «Русской мысли» для ноября и декабря. Это необходимо мне во всех отношениях. Необходимо в матерьяльном отношении. В две недели я окончу эту каторжную работу (благо она уж вся ясна) и затем, отдышавшись в течение недели, — непременно начну новые рассказы для «Рус<ских> вед<омостей>». Немного их будет, но я бы все-таки хотел в месяц раза 2 писать о пришествии Купона. Все у меня готово, то есть нужно только вставить в готовые клетки матерьял. Назвал бы я эти очерки *«Проступки господина Купона»*. И первый был бы: *«Пришествие антихриста* (Родшильд в Одессе)». Уж вот бы с удовольствием-то начал работать! Без этой работы, дорогой Вас<илий> Мих<айлович>, — пропаду, пропаду я. Не будет у меня этого любимого дела, — сотруд<ничество> в «Рус<ской> м<ысли>» меня не одушевит, а моя личная жизнь Вы и вовсе не знаете какая. Пропаду, пропаду я, ангел мой.

Крепко Вас целую.

Г. Успенский.

215

В. М. СОБОЛЕВСКОМУ

<15 октября 1888 г., Петербург>

Дорогой Василий Михайлович! Посылаю окончание письма, которое, очевидно, можно разделить на 2 или же печатать сократив. Там, где разделено *F*, в заглавии можно и прервать первую половину, для ровности можно прервать и на 12 странице, там где *. Простите меня, Христа ради. Как только отделаюсь от работы для «Русской мысли», — отдохну неделю, — буду писать изредка. Но хотел бы писать те очерки, о коих писал.

Что же это с Виктором-то Александровичем? Я хотел просить Общество любителей словесности, чтобы оно устроило заседание, на котором сообщило бы, предположим, письмо Гольцева жены о том, что с ним случилось, и постановило бы ходатайствовать пред высшим начальством (или уполномочило бы какого-нибудь изв<естного> адвоката) подать прошение на высоч<айшее> имя о том, чтобы неизвестно почему исчезн<увшего> члена Общества судить обыкновенным судом, если он того достоин. Общество, может быть, и притихло бы навеки, но просьба о простом суде дело не худое и, кажется, законное.

Вукол Мих<айлович> Лавров известил меня, что, к величайшему его сожалению, им пришлось сделать значительные сокращения в моих новых рассказах. [1] А я и сам раньше также уже сделал сокращения самые огромнейшие в корректуре. Что же может выйти из этих сокращений.

Таким образом, наш общий труд с редакцией состоит только в том, что мы сокращали и старались, чтобы никаких рассказов не было.

Вас<илий> Мих<айлович>! Очень мелким шрифтом печатаете о переселенцах и пожертвованиях. Надобно привлекать к этому делу публику. Посмотрите-ка, как поступают К. и С. Поповы, чтобы публика видела слово ЧАЙ, а когда дойдет до переселенцев, то печатается такими бактериями-буквами, что и вовеки не увидишь (принято пож. 1 р. А. З., — 50 к. К. Б.). Попов такими

---

[1] Далее две строки вычеркнуты. — *Ред.*

буквами не напечатает своего объяв<ления>, а то и он пойдет в переселенцы. Уж на что несчастны кухарки и «человек ищет места», а и то публика все-таки может сказать, взглянув в объявления: «Эко кухарок-то!» А переселенцев и не заметит совсем. Я вот знаю тысячу докторов от сифилиса, а мне вовсе их знать не надо; знаю Кнопа, Бутенопа, Зингера, Эрмансдорфера, мыло Тридас, Брокар, знаю, что скончалась Мазурина, Балванкина и Лоханкина, — а переселенцы? поступило в к<онтору> «Р<усских> в<едомостей>» 1 р. 50 к. Всего одна строчка.

О них, по крайности, надобно печатать тем же шрифтом, как корреспонд<енции>, с подчеркиванием жирным шрифтом слова *пожертвовано*. Словом, надо сделать так, чтобы видно было со всех концов Москвы. Неужели Вы в самом деле не думаете, что это значит что-нибудь? А я думаю. Попробуйте напечатать о пожертвованиях семействам, претерпев<шим> на катастрофе разрушения, так, чтобы на первом плане, — и будут пожертвования. А если печатать их не буквами, а инфузориями, то и жертвовать будут также не рублями, а полтинниками.

Крепко-крепко целую Вас, дорогой Вас<илий> Мих<айлович>. Ответьте мне, ради бога, на первое письмо, газет мне надо на 75 руб., из моих же заработков. Согласны ли Вы сделать это? Поверьте, что худого не будет.

А то я, по совести скажу Вам, — близок к полному расстройству душевному.

Г. Успенский.

Заглавие письма на последней странице, его надобно поставить непременно. До свидания бы, В<асилий> М<ихайлович>, не приедете ли к нам?

216

В. М. ЛАВРОВУ

<29 октября 1888 г., Чудово>

Многоуважаемый Вукол Михайлович!

Очерки мои, напечатанные в прошлой книжке, повергли всех читателей в неописуемое недоумение и поставили меня в самое нелепое положение. Все, что напе-

чатано, не имеет никакой живой связи и просто-таки прекращает дальнейшую работу; в этих двух очерках было обрисовано все пережитое обществом под властию лживых временщиков вплоть до пришествия капиталистического строя. В каком виде он застиг нас? Вот очерк нашего действительного состояния — и докажет сколько на нас лежит греха по отношению о незащите против <1 *нрзб.*> своей личности. Из напечатанного ничего путного не выходит, и, чтобы продолжать работу, я должен был прибегнуть к уловке и написать главу о прискорбном событии, которая, во-1-х, осмысливает все напечатанное в прошлой книжке и теперь не имеющую смысла, и, во-2-х, дает мне полную возможность продолжать эти очерки. Глава эта написана совершенно вновь, в шутливом тоне, ничего в ней не заимствовано из вычеркнутого прошлый раз, кроме одного обыденного факта, и она прочтется не без интереса, составляя совершенно новую работу, и в то же время выпутывает меня, и журнал, и читателей из путаницы, в которую все мы ввергнуты прошлой книжкой.

Прошу Вас, когда будете посылать мне корректуру, отмечать сбоку гранки сомнительные места. Я смягчу их, заменю другими, и тогда не будет таких потрясающих эпизодов, как прошлый раз.

Не найдете ли Вы удобным печатать мои очерки таким же шрифтом, как *«Письма с дороги»*, дополняя по расчету платы в 250 р. то количество излишка, которое будет соответствовать большему количеству букв в этом мелком листе? Мне было бы лучше, так как в дальнейших очерках будут этюды не беллетристические и печатать их разгонисто — неудобно.

Следующий очерк IV будет весь беллетристический и будет состоять из трех маленьких рассказиков, имеющих связь. Убедительно прошу Вас напечатать оба эти очерка, III и IV. К декабрю будет один большой — V очерк *«Мужик-безбожник»*.

Настоятельно прошу Вас, многоуважаемый Вукол Михайлович, выслать мне не 150 руб., а 250, — так что в декабре я получу только 100. У меня к тому времени будут иные средства, — теперь же мне необходимо иметь упомянутую сумму. Прошу Вас выслать ее прямо в Петербург на имя моей жены *Александры Васильевны Успенской* — Вас<ильевский> Остров, 7-ая линия, д. № 6,

кв. № 4. Был бы Вам глубоко благодарен, если бы она могла получить эти деньги к 1-му ноября. Корректуры прошу Вас посылать также в Петербург, где я буду по окончании работы, — числа 2-го—3-го. Не будете ли Вы иметь что-нибудь против того, что VI рассказ, под тем же названием «тяжкие грехи», будет перенесен на январь? Мне бы хотелось подольше поработать на эту тему.

Позвольте пожелать Вам всего хорошего.

Многоблагодарный Вам

Глеб Успенский.

Чудово, 29 окт<ября 18>88 г.

217

В. М. ЛАВРОВУ

<Конец октября 1888 г., д. Сябринцы>

Многоуважаемый Вукол Михайлович!

Посылаю окончание и жду корректуры в Петербурге. Сделайте милость, подчеркивайте те места, которые Вам кажутся нецензурными, — ведь все можно переделать, заменить другим. Что же являться перед читателями шутом гороховым, и зачем же пропадать работе. Если нужно много переделок, — так можно и отложить. Я помню, Мачтет переделывал повесть, которая была уже в журнале отпечатана. Мне этого не нужно, такой роскоши, — но и мне появляться перед читателями в раз<о>дранном рубище также не хочется. Все то же я могу сказать иначе и, след<овательно>, все можно исправить и вообще не прерывать связи. То же бывало всегда даже в подцензурном «С<еверном> вест<нике>», где резали в двадцати местах в листе. Я понимаю Ваше труднейшее положение и глубоко искренно виноват пред Вами, что запоздал прошлый месяц. В нынешнем я послал раньше и думаю, что если будут недоразумения, то их можно исправить. Только отметьте, если можно, *подстрочно,* что Вам не по душе.

Преданный Вам

Г. Успенский.

218

В. А. ГОЛЬЦЕВУ

<Конец октября — начало ноября 1888 г., Петербург>

Виктор Александрович! Глубоко, искренно, от всей души обрадовался я, узнав о возвращении Вашем с того света! Все, кого я ни знаю, — воспрянули духом, так как такая ужаснейшая несправедливость положительно пришибла всех, кто Вас знал. Пожалуйста же, не исчезайте более неизвестно куда, не омрачайте всех Ваших знакомых и всех искренно Вас уважающих!

Когда Вы отдохнете и оправитесь, тогда только прочитайте то, что я напишу ниже. Прошлый раз у меня в статье сплошь вырезано более печатного листа. Статья потеряла смысл, тогда как до января должны бы были идти очерки, отмечающие (как последствия) то, что изображено в вычеркнутом, — а с января все по части пришествия купона. В этих двух главах обозрено изнасилование личности русского человека вплоть до нашего времени и дȯ пришествия нового насилователя, купона. Если бы я не был утомлен работой («Письма с дороги»), непрерывной с 15 авг<уста>, и если бы, самое главное, не был пришиблен грозными слухами, которые Вам уж известны, — я бы, конечно, то же самое написал иначе, — тише, опрятней — меньше. Но мне необходимо было доставить к сроку — и вот, как видите, какие получились плоды.

Будьте же ко мне снисходительны. Я помню, что Мачтету дали возможность переделать его повесть, когда она была уже вплетена в книгу и сверстана. Не откажите в подобном и мне. То есть, — если статья неудобна, будьте снисходительны, отложите ее до следующей книжки, и она не пропадет; она будет переделана, изменена, но не наживет мне долга в 300 рублей. В «Сев<ерном> вестн<ике>» цензура драла в пяти-шести местах в одном печ<атном> листе. И все-таки можно было заштопывать эти дыры, смягчать, даже еще выбрасывать для того, чтобы читатель не был удивлен бессмыслицей. Понижался тон, оставлялась какая-нибудь одна, безобидная сторона рассказа, но такой удивительной прорехи, как в прошлой

книжке, не было. И поверьте, что будь три-четыре дня лишних, и я бы не потерял так много и не изумил бы читателей помещением глав без всякой связи.

Примите во внимание мои года и известного рода утомление: отложите на месяц работу. Не беда, если работа уже есть, — она будет только лучше. Все, что я обещаю, я исполню непременно, но мне нужна некоторая снисходительность, которая всегда объяснима. Я Вам глубоко, много, бесконечно благодарен; говорю Вам это от чистого сердца, как и всегда говорил это и искренно чувствовал мою к Вам благодарность, и то, что говорю теперь, говорю никак не в обиду, а только прошу Вас помочь мне еще немного: корректуру я бы просил присылать с отметками, подстрочным подчеркиванием, что именно нехорошо и неудобно — и я все это исправлю. Если исправления большие, — то будьте добры, — откладывайте до следующей книжки, и мне опять будет легче, я не стану в непоправимое затруднение, а читатель и подавно.

Простите ж, дорогой Виктор Александрович, если в этом письме хоть полслова для Вас неприятны: оно пишется в редакцию, а не к Вам; Вам же я ничего, кроме самой глубокой благодарности за все Вами для меня сделанное, — не могу сказать ничего иного. Глубоко ценю Вашу внимательность, постоянную заботливость и никогда не перестану питать к Вам моего глубокого уважения.

Ваш *Г. Успенский.*

219

В. М. СОБОЛЕВСКОМУ

Чудово, 3 ноября <*1888*>

Дорогой мой Василий Михайлович! Что же мне делать-то? Можно ли мне надеяться примерно на два или *один* большой фельетон в месяц «Очерки русской жизни» (главным образом городской) на основании газетных корреспонденций: Василевский пишет в «Новостях» «Среди обывателей», — и собирает разные кляузы и раритеты безобразий. Я бы делал это дело иначе. Можно назвать «Из провинциальной печати» и т. д. Словом, не злоупотреблял бы я многословием и пустословием. Если бы это

было возможно, — то необходимо выписать газет не за целый год, а с 1-го октября, т. е. истратить не 140 руб., а только 50. У меня есть 26 полных экземпляров газет 86 г. Я пробовал их пересматривать и сверять, напр<имер>, с нынешними — одно и то же, кроме беллетристики; ежедневно возникает одно и то же и исчезает. Так что для характеристики жизни, особ<енно> городского общества, скучающей публики, — уж есть множество материала, необходимо его подновить только текущим. Чтобы покрыть этот расход рублей в 60, Вы разрешите мне след<ующее>. Не знаю, будете ли печатать X письмо с дороги или нет, — но если напечатаете, то позвольте написать еще одно: *«Дополнения и поправки* к «Письмам с дороги».

Я получил из Томска, во-1-х, рассказ, написанный крестьянином, о переселенческих странствованиях, во-2-х, кучу телеграмм (копии) о деятельности администрации до появления чиновников. Адм<инистрация> желает, чтобы ее труды не были забыты, и действительно доказывает, что работала, и, в-3-х, весьма любопытные сведения о ссыльных по приговорам обществ, с копиями этих приговоров.

Из всего этого я сделаю одно письмо под назв<анием> дополнение и т. д., и на этом кончится все с Сибирью. Если же Х-ое письмо в том виде, в котором оно у Вас, — не подходит, то пришлите его мне в корректуре, я его переработаю, внесу туда все, что теперь получено из Томска, а на 300 строк пришлю небольшую заметку, и на нее выпишу газеты провинциальные. Я сокрушаюсь, дорогой Вас<илий> Михайлович. Такая работа будет мне надежда на что-нибудь постоянное. Я так теперь устал. В «Русской мысли» выбросили *сплошь* больше печ<атного> листа. Вчера я послал туда 2 рассказа, опять больше 2-х печ<атных> листов, и опять боюсь, что изуродуют. Мне теперь всего лучше именно компилятивная работа, чтобы иметь 150 р. непременно в месяц в известное число. Если также 150 р. мне будет давать «Рус<ская> мысль», — то это составит в год только 7 листов. Это немного. При 25% погашения — на 187—8 р. строк 900. Это один раз в месяц, особливо когда у Вас 6 страниц — не обременительно «Рус<ским> ведом<остям>», <а> 300 руб. мне будет довольно. Все эти

месяцы я должен был расплатиться за расходы семьи: в деревне за все лето, устроиться в Петербурге, платье, все выросли, и другая девочка ходит в гимназию, — так что я изорвался в клочки. Компилятивная работа даст мне вздохнуть.

Слава богу, что освободили Викт<ора> Александ<ровича>. Такая тьма кромешная вдруг было разверзлась от начавшихся арестов. Ведь никаким образом даже чуть-чуть не дадут ободриться духом, повеселеть.

Отличное письмо у Вас из Ельца, из Парижа о психиатрах. Вот такие помещицкие письма, как из Ельца, — право, надобно печатать побольше.

Скоро, вероятно, приедет в Москву Н. К. Михайловский, — хочет у Вас писать. Это было бы отлично.

А легенда кавказская — не знаю что такое! У подножия Казбека стоит Кисловодск. Там же в Кисловодске — Грузия. Кто это умудрился?

Книги мои совершенно окончены печатанием, только Михайловский оканчивает статью, которая будет приложена к первому тому, в ней 3 печ<атных> листах. Я не читал ее и прочту в первый раз, когда книги выйдут. Но утверждают за достоверное, что книг моих не выпустит цензура. И не только я ничего в них не прибавил из цензурных вырезок, которые было вставил, — но, напротив, еще оборвал и урезал.

Словом, все идет к худу!

Как вы живете, дорогой Василий Михайлович? Александр Сергеич? Возвратился ли он в Москву? Вот он, я думаю, поправляется, хотя бы волей-неволей.

Что это Вы не сделаете извлечения из *письма Карла Маркса,* напечатанного в «Юрид<ическом> вестн<ике>» в октябре? Это письмо к Михайловскому. Маркс выра<жа>ет обиду, что Михайловский *позволил* себе заподозрить его в том, что он, Маркс, считает «железные законы развития капитализма» неизбежными для наций, не имеющих ничего похожего в истории экономических порядков с европейскими. Вот что он пишет про себя.

«Чтобы судить со знанием дела об экономическом развитии современной России, я выучился по-русски и затем в течение долгих лет изучал официальные и другие издания, имеющие отношение к этому предмету. *Я пришел*

к такому выводу: если Россия будет продолжать идти по тому же пути, по которому она шла с 1861 года, то она лишится самого прекрасного случая, который когда-либо предоставляла народу история, — чтобы избежать всех перипетий капиталистического строя» (271 ст<р>., Октябрь).

Ведь это смертный приговор! Положительно необходимо Вам перепечатать это в сокращении. Вот тут-то и *было* наше *дело* — да сплыло. Теперь одни, — *самохвалы,* из статистических данных извлекают одни прелести жизни народа, великое будущее (В. Пругавин, В. В.), выбрасывая всю мерзость запустения, — а другие, Марксы *Карлики,* выбрасывают из этих же данных все, что еще живо оригинальностию, конечно, случайно, и повелевают покориться всем «перипетиям». А таких слов, великих и простых, кот<орые> говорит Маркс и какие требуют огромного дела, — мы не говорим, и поэтому дела не делаем никакого. Как это письмо меня тронуло! Ведь это Маркс! Не Лев Толстой, не Вышнеградский, не Катков.

Ночью уеду в Петербург.

220

В. М. СОБОЛЕВСКОМУ

6 нояб<ря 1888 г.> Воскресенье. Чудово.

Дорогой Василий Михайлович! Вот в каком виде я думаю писать мои очерки и под каким заглавием. Вы подождите второго очерка и тогда рассудите — продолжать ли это дело. Будет так. В каждом фельетоне одна половина непременно мой рассказ собственный, а другая из чужих материалов, но на́ ту же тему. Во всяком случае сберегите этот очерк, как он есть, в конверте, 2-й я пришлю быстро, и таких фельетонов будет (если можно в месяц) два.

Прежде чем это дело будет решено, разрешите мне, пожалуйста, *не печатая 10-го письма*, написать *«Дополнения и поправки»*. В них войдут новые материалы, присланные из Сибири. Этот фельетон мне необходим по моим финансовым соображениям. У меня есть должишко

в Москве, который необходимо покрыть прежде всего. *2-й очерк новых рассказов и «Дополнений» я пришлю вместе.* Если Вас затрудняет вопрос о газетах, — бросьте его, я сам раздобуду материал: оказывается, что Публичн<ая> библиотека выдает ежедневно все газеты провинциальные, на что прежде надо было просить разрешения.

Простите меня, что я пристаю и мучаю Вас. У меня дома летом, когда я ездил, истратили такую кучу денег, что все мои расчеты разлетелись по приезде прахом, и я изнурился над работой не в меру. Теперь я оправляюсь понемногу и хочу работать, и вот сейчас для новых очерков есть 5 рассказов, которые я мог бы писать один за другим. Только мне необходимо устроить одно финансовое обстоятельство в Москве, и для этого надобно поместить сначала *Дополнения*, чтобы уж совсем выйти из Сибири вон. Нужно сказать слова два о «Сибир<ском> вестн<ике>». Мне пишут, что они (Корш и Картамышев) обижены мной — я их не посетил. Они меня постоянно хвалили — и я у них не был. Мне прислали вырезки из «Сиб<ирского> вестн<ика>» с упреками, что я мало сделал *для Сибири.* Я делал для России, а в 11 дней Сибирь не узнаешь. Они же, Картамышевы, только плутовали, пользуются репутацией проходимцев. В Иркутске поднялась суматоха, и в один день устроилась переселенч<еская> конт<ора> единственно от моих писем — я имею документы. Ничего этого они не сделали, Картамышевы. Впрочем, все это чепуха. Но в дополнениях будут любопытные вещи. Дайте мне возможность покончить и с Сибирью и с долгом, и я с удовольствием буду писать новые очерки. Почем знать, может, они будут и совсем беллетристические.

Простите, дорогой Василий Михайлович, что я все о своих делах. Я так расколочен был в сентябре и октябре домашними обстоятельствами, что едва не впал в полное отчаяние. На днях должна выйти книга с портретом, кот<орый> снял Ярош<енко>, и с большой статьей Ник<олая> Конст<антиновича>.

Не будете ли в Петербурге? Так бы хотелось повидаться, поободриться. Пришибло меня осенью крепко.

Я скоро оправлюсь; теперь же простите мою скучную

настойчивость в личных просьбах. Простите, пожалуйста. Не забрасывайте меня к чорту на рога. Я дорожу Вами глубоко!

Ваш *Г. Успенский.*

Кажется мне, что очерки эти выйдут недурные, — так мне яснехонько все в этой теме! И так много на нее нанизывается матерьяла.

221

В. М. СОБОЛЕВСКОМУ

<11 ноября 1888 г., Петербург>

Дорогой Василий Михайлович!

Вот последний сибирский лоскут. Если в каком-нибудь фельетоне останется немного места, то вы его там поместите. Его надо поместить, а то придерутся Картамышевы. На этом все окончится о Сибири. А затем, если хотите печатать «Концов не соберешь», то известите, я пришлю. 2-ой очерк, тоже маленький, а затем в нынешнем году еще 3. Пер<вый> и 2-ой надо вместе печатать. Я душевно благодарен за напечат<ание> X письма. Все кончилось, и больше об этом я не буду думать. Если мое вчерашнее письмо неприятно и *не так*,— простите и прошу у М<ихаила> А<лексеевича> извинения.

Ваш *Г. Успенский.*

Пятница.

222

С. Н. ЮЖАКОВУ

<18 ноября 1888 г., д. Сябринцы>

Любезнейший Сергей Николаевич!

Были ли Вы у Ник<олая> Конст<антиновича> Михайловского? Если Вы не были, то вот его просьба, которую должен бы был передать Вам я, если бы у меня было время забежать к Вам, — но я пробыл там всего несколько часов.

Он желает, чтобы Вы прислали ему письмо Маркса и статью Боборыкина для того, чтобы написать (независимо от Вашей статьи) в «Русские ведомости». Это очень хорошо и, пожалуйста, исполните его просьбу. Надобно же, чтобы он, наконец, начал работать. Скоро буду в Петербурге надолго и, разумеется, увидимся.

Ваш *Г. Успенский.*

Сейчас получил от Соболевского телеграмму — он будет у меня в субботу, — приедет и Ник<олай> Констант<инович>, приезжайте и Вы, пожалуйста, — проведем 1 день как-нибудь.

Пожалуйста.

Ваш *Г. Успенский.*

223

В. А. ГОЛЬЦЕВУ

Пятница, <25 ноября 1888 г., Петербург>

Дорогой Виктор Александрович! Обращаюсь к Вам с просьбой уделить несколько времени на рассмотрение моих *финансовых расчетов* с «Русской мыслью» и определить мои отношения к журналу в денежных делах на будущее время. По выходе октябрьской книжки за мной осталось 2230 р. 80 к.

В уплату этого дано:

1) Рассказ «На минутку», уже сданный В<уколу> М<ихайловичу> для *декабря,* который, я думаю, покроет долга около 300 р.

2) *«Грехи тяжкие»,* кот<орые> уже набраны и которые, вероятно, покроют долга 400 р.

Затем в первых числах декабря я представлю продолжение *«Тяжких грехов»*, т. е. допишу все, что у меня теперь заготовлено, и не сомневаюсь, что и эти (для февраля) 3 небольших очерка *покроют также* 400 р.

Итого, примерно, в *первых числах* декабря в редакции *«Русской мысли»* будет иметь<ся> моих работ на 1100 р., а я уверен, что и на все 1200 р.

К январю за мной остается — 1000 р. или 1100.

Я ее предполагаю покрыть так же, как и в нынешнем году, если только, приняв мои *«Письма с дороги»,*

Вы не раскаялись. В этом смысле я делаю Вам два предложения.

1. Я напишу Вам *компиляцию* листов в *пять-шесть* для мая, июня и июля (по 150 р.) под названием «Переселенцы в 88 году». Сюда войдет кое-что из моих писем, причем сведения о числе переселенцев будут дополнены самыми точными дополнениями из Тюмени и из Томска по 1-е января. Затем сюда войдут важнейшие сведения из сибирской прессы по 1-е января, материалы, которые прислал мне Алек<сандр> Иваныч, — и будет пересказано обо всем, что было в беллетристике и в корреспонд<енциях> об этом в больших журналах из статей Чарушина, Пономарева, Петропавловского (в «Запис<ках> географ<ического> об<щества> Зап<адной> Сиб<ири>» и т. д.). Злоупотреблять выписками я не буду и статью в пять печатных листов перескажу на трех страницах. Но будет сделан подробный обзор всего этого дела на основании виденного и читанного. 1) Деревня великорусская, из которой идут ее нужды. 2) Ходоки. 3) Передвижение. 4) Затрудн<ения> в дороге в России и в Сибири. 5) Сибирская деревня и сибирский мужик старожил. 6) Столкновение наших с сибиряками. 7) Чем лучше и чем хуже одни и другие. 8) Несоответствие сибирских дер<евенских> пор<ядков> с нашими общинными и т. д. Для всего этого есть уже масса печатного матерьяла, из которого я сумею сделать обзор. Кроме полученного из Сибири, я получу оттуда еще. О земельных порядках — Зап<адной> и Вост<очной> Сибири, Алт<айского> окр<уга> и Ст<епного> генер<ал>-губ<ернаторства> — будет сказано кратко, но ясно и определенно. Эту работу я сделаю с большой охотой.

Доставлена она будет к *апрелю месяцу*. Ввиду того, что я в декабре покончу мои работы до марта, — у меня сейчас же будет время приняться за это дело, и я сделаю его с удовольствием. В том доме, где я живу, есть превосходная библиотека, из которой я получу решительно все. А все сибирское по части прессы мне дает Ин<нокентий> М<ихайлович> Сибиряков.

К апрелю редакция будет иметь эту рукопись сполна, а посылать я ее буду с января по мере приготовления.

Если ж это предложение Вам не подойдет, то вот другое:

В октябрьской книжке *«Недели»* напечатан рассказ «Расцеловали» с подзаголовком: *«Из забытых страниц»*. В сборник Гаршина, кажется, также успеет попасть (я сдал его только сегодня) рассказ — *«За малым дело»*, также *из забытых страниц*. Какие ж это страницы? Вот какие: во все *десять* томов моих сочинений (которые на днях выйдут с большой статьей Н<иколая> Конст<антиновича>) *не вошло* около *шестидесяти* мелких очерков, начатых и не оконченных, набросанных кой-как вследствие крайней нужды за 3, за 5 руб. под всевозможными псевдонимами. Эти <очерки>, лихорадочно написанные, буквально с голоду, в промежуток времени 62—68 <гг.>, *никогда ни в одно мое издание не входили*, но когда я пересматривал все, что мною написано, приготовляясь к изданию 10 томов, — то я нашел около *пятнадцати* таких отрывков, темы которых ни капли не утратили своего интереса и сейчас и которые решительно желательно переработать наново. Я попробовал сделать это первый раз для «Недели», и Скабичевский нашел возможным об этом рассказике написать целый свой фельетон в хвалебном тоне, даже, по его словам, пришел в восхищение. Такие наброски у писателей 40-х годов могли по 20-ти лет лежать в «портфелях», как у Гончарова, напр<имер>, который в «Ниве» печатал свои *лоскутки* в переработанном виде. У нашего поколения не было портфелей, но наброски были, только лежать в письменном столе они не могли, а тотчас же по напечатании сохранялись на прилавке в овощной лавке. Обо всем этом времени будет написана целая глава *литературных воспоминаний* о нашей бесприютности, об отсутствии таких кружков, которые, как в 40-х годах, воспитывали наших писателей. Когда я появился в Петербурге в 61 г., то было два резких явления — начало движения молодежи и пьянство остатков и полуталантов людей 40-х годов, людей старого воспитания. Я жил между тем и другим. Аполлон Григорьев, Аверкиев, Курочкин, В. Якушкин, Левитов, Решетников, Помяловский, Кущевский, Демерт, С. В. Максимов (его спасло то, что он сделался редактором «Полиц<ейских> вед<омостей>» и получал 5000 в год) и тьмы тем пьяных людей. Никуда нельзя было прийти, чтобы не натолкнуться на пьяные сцены. Я года два только и делал, что возил пьяниц в белой горячке в больницы,

выправлял из квартала, звонил дворнику — «не ваш ли?» Хороших руководящих личностей не было. <В> 61 г. в ноябре я видел Добролюбова в 1-й раз, в гробу, в 63 увезли Черн<ышевского> в Сиб<ирь>. Писарев до 67 был невидим, сидел в крепости. Некрасов написал стихи Муравьеву, Комиссарову. Салтыков был в Рязани начальн<иком> контр<ольной> палаты. Мих<айловский> еще не показыв<ался> на свет литературы. Я готов был наложить на себя руки, но, получив как-то случайно 300 р., уехал за границу и прожил с женой и ребенком там целых два года. Тут я пришел в себя и, несмотря на крайнюю бедность и нищету, стал писать уже по возможности сознательно. Наша хорошая молодежь, среди кот<орой> я был, окончательно прервала мои связи с пьяным миром. Вот все это и будет описано подробно, без всякого злого умысла или бесцельного оплевания. Напротив, этот пьяный гибельный период будет объяснен подробно. В течение этого времени крайняя нужда заставила якшаться бог знает с кем. Писал я в «*Модном магазине*», в «*Новом русском базаре*», в «*Северном сиянии*», в «*Комиссионере*», в «*Народном чтении*» (по 2 р. за рассказ) у того самого Кушнерева, где теперь печатает<ся> «Рус<ская> мысль» и при виде которого, случайно в Москве у Н. П. Орлова, я весь содрогнулся до мозга костей. Писал я в «*Пчеле*» у Мик<ешина> в каком-то изд<ании> *Баумана*. В «*Будильнике*», «*Искре*» всяких ред<акций> — у меня тьма разных заметок, в «*Будильн<ике>*» *москов<ском>* — также, был когда завед<ующим> Орлов Н. П., под псевдон<имом>. Кроме того, осталось множество в «Русск<ом> слове», «Деле», «Луче», сбор<нике>, не говоря об «От<ечественных> записках». Из всего этого я выбрал пятнадцать тем, из которых благодаря совпадениям (всё обрывки) может выйти 10 маленьких рассказов по полулиста. Один из еврейской жизни (я жил 4 года в Чернигове) и сейчас скажу — правдив и интересен. Но все это будет переработано совершенно наново и напишется легко, потому что темы готовые. Общее название этих очерков будет — «*Забытые страницы*». Затем: 1) Объяснение о происхождении их, т. е. Литературные воспоминания (1 лист), и затем 5 листов рассказов. Эта работа также будет доставлена

к апрелю. Но необходимо выбрать что-нибудь одно; с обеими темами я не управлюсь.

И так одна из этих работ, при гонораре 150 р., покроет ту *тысячу,* которая останется за мною к январю.

Но мне надобно жить, и я нуждаюсь в средствах до крайности.

Вот почему я просил Вук<ола> Михайловича выдать мне теперь же 500 р., а когда я доставлю статью для февраля (в первых числах декабря), то выдать еще 500 р.

Таким образом, к январю будет 2000 (старая и та, котор<ую> прошу). Для покрытия остающейся тысячи — к апрелю будет доставлена одна из выбранных Вами работ, и за мной к апрелю останется долгу только *тысяча.* Вы знаете, как мне необходимо сообразиться относительно дальнейшей работы и прекратить это самоубийство беспрерывного писания. Вот почему примите во внимание, что в нынешнем году из долга более 4000 р. уж покрыто (с работой для февраля) 3000 р., а 4-я покрыв<ается> указанным способом, и не бойтесь поверить мне 1000 р. до апреля, — это дает мне возможность обдуматься, не писать ежеминутно, — а с апреля до конца года я отработаю новыми работами и опять останусь должным только тысячу к 1-му января. Но она опять будет покрыта каким-нибудь из предлагаемых здесь способов. Если переселенч<еское> дело — то матерьялу будет еще больше, а если забытыми страницами — то и они могут пойти.

Я желаю после февральской книги до августовской, — ничего *нового н*е писать, — мне необходимо обдумать и не спеша обработать новые темы. У меня есть хорошие замыслы, есть о чем подумать, поверьте мне; эта горячка писания меня мучает, надобно мне очнуться. Я никуда летом не поеду.

Если Вы примете какое-нибудь из моих двух предложений, — то можете считать весь мой долг за 88 г. покрытым. Я Вас не обману и не поставлю в неловкое положен<ие>. Следов<ательно>, дать мне за 4 листа, для того, чтобы спокойно обеспечить себя до апреля, — «Рус<ская> мысль» не имеет основания опасаться. Будьте добры, дорогой Виктор Александрович, не покиньте меня в моем труднейшем положении и, пожалуйста, похлопочите,

чтобы 500 р., которые В<укол> М<ихайлович> согласился мне выдать, были высланы как можно скорее, до получения февральской работы. Я ее окончу лучше, устроив мои дела до января месяца. Другие 500 я могу получить в 1-х числах января. Жду Вашего ответа и желаю всего хорошего.

Г Успенский.

224

В. М. СОБОЛЕВСКОМУ

Воскресенье, <27 ноября 1888 г., Петербург>

Дорогой Василий Михайлович! Посылаю этот рассказик единственно для новогоднего номера в уплату долга и в облегчение моих финансовых дел с «Русск<ими> вед<омостями>». В новогоднем № он может быть подписан моим полным именем, если же Вы вздумаете печатать его теперь, то, пожалуйста, уважьте мою просьбу и оставьте псевдоним Ивана Небалуева. Я под этим псевдонимом иногда буду присылать сценки исключительно из семейной жизни. И прошу пожалуйста, сохраните псевдоним. В новогоднем же нумере можете подписать. *Пожалуйста, пришлите мне начало очерков «Концов не соберешь».* Я их переработаю, и к пятнице Вы получите *два* совершенно беллетристических рассказика. Жду непременно, Вас<илий> Мих<айлович>! Я больной, измученный, не томите меня ожиданием, я положительно истерзан. Присылайте, благо хочу работать, есть время. Крепко Вас целую.

Г. Успенский.

Алекс<андру> Сер<геевичу> мой искреннейший привет.

Вас<илий> Мих<айлович>!

Этот рассказик может быть назван и так: *«Из жизни детей»*. Ах! если бы Вы на 1 день присылали мне корректуры, как бы рассказы эти изменялись к лучшему!

225

Я. В. АБРАМОВУ

<Конец ноября 1888 г., Петербург>

Дорогой Яков Васильевич!

Посылаю Вам и Людм<иле> Ник<олаевне> 2 экземп<ляра> моих книг. Людмиле Ник<олаевне> особо потому, что и адрес у меня от нее есть особенный. Что же сборник Гаршина-то? Тот, который Вы мне дали, я передал Н. К. Михайловскому, но он о нем не написал. Еще моя просьба к Вам. Напишите мне, пожалуйста:

Где издаются газеты:

«Крым».

«Донская пчела». Дон?

Нет ли каких новых газет на Кавказе, в Ростове, в Крыму и вообще на юге.

Потерял я адрес Щербины, которому посылаю книги. Сообщите его, пожалуйста.

Здоровье А<лександры> В<асильевны> поправляется, но не быстро.

Прилагаю экземпляры Дрентельну и Грибоедову. Можете ли переслать их с Вашей прислугой? Буду Вам много благодарен.

Преданный Вам

Г. Успенский.

Я решил разослать экземпляры непереплетенные. Или всем моим знакомым надобно в переплете, или же всем без переплета. Тут разделять невозможно.

226

В. А. ГОЛЬЦЕВУ

<6 декабря 1888 г., Петербург>

Дорогой Виктор Александрович!

Опять я затрудняю типографию поправками, которые, однако, должны быть сделаны. Я всю нынешнюю осень нахожусь в небывалом нервном расстройстве и пишу в лихорадочном состоянии. Пускать работу без исправле-

ний невозможно: этот рассказ весь написан в течение одной ночи, только вторая половина писалась раньше первой и оттого все-таки покрепче написана. Пожалуйста простите, — примите благодарность. Окончание будет выслано завтра, — там не будет ни прибавок, ни убавок. Вуколу Мих<айловичу> буду писать. Книги мои вышли. Скоро я пришлю в Москву много экземпляров для общих знакомых.

Преданный Вам

Успенский.

6 дек<абря 18>88.

227

В. Н. ПОЛЯКУ

Чудово, 9 дек<абря 18>88 г.

Владимир Николаевич! Прилагаю при сем половину статейки, которую допишу на днях. Я нахожу ее подходящей по времени. Кроме этого, раз навсегда, пожалуйста, перепечатывайте Вы из моих заметок и фельетонов, что Вам придется по вкусу.

Жалуюсь Вам на Н. В. Рейнгардта. Пожалуйста, передайте ему, что «чрезвычайно симпатичный писатель» никогда не говорил такой чепухи, какую привел Н<иколай> В<икторович> в своем фельетоне в конце статьи о *Старом трансформисте*. Вот ведь какие времена! Человек желает сказать: вот какую чепуху и глупость говорит Г. Успенский, и чтобы быть вежливым и пред «чрезвычайно симпатичным писателем» и подмигнуть публике, чтобы она поняла в чем дело, — венчает меня в корону горохового шута. Нехорошо! Главное в том нехорошо, что никакой кошки и мышки в 5-м томе, на который указывает Н<иколай> В<икторович>, *нет*. Я выбросил при издании эту кошку и мышку, — которая была действительно в рассказе о конокраде Федюшке (он вошел в 5 т<ом>), но только, когда он печатался в *«Отечеств<енных> записках»*. Н<иколай> В<икторович> помнит что-то о кошке и мышке, — но ему вполне достаточно припомнить это *«что-то»* непременно как *чепуху* для доказательства правоты своей идеи о благе борьбы за жизнь. Если бы он не спешил сунуть себе «под ноги»

«чрезвычайно симпатичного писателя», а в самом бы деле поискал эту кошку и мышку (либо припомнил чью-нибудь чепуху, подходящую более, чем цитата из моих книг), то он увидел бы следующее:

Рассказ о конокраде, напечатанный в *«Отеч<ественных> записках»* (и перепеч<атанный> в 5 т<оме> *с сокращением*), заключается в том, что вся *деревня* убила конокрада, который, однакож, вырос с детских лет в этой же самой деревне. Он был сирота, и в то время деревня не могла быть к нему внимательна. Он шлялся там и там, стал поворовывать. А когда стал конокрадом, деревня его убила. На суде весь мир был оправдан. Нет, не виновен! ск<азали> прис<яжные>. Конокрад это первейший враг хозяйства. И то, что «невиновен» в убийстве злодея, — совершенно понятно и суду и читателю. (Факт заимствован из действ<ительного> суд<ебного> дела в Сам<арском> окр<ужном> суде.) Но когда все это кончилось, — «благополучно», — на деревне стало спокойнее и тише.

— Слава богу, теперь потише стало, — говорит чистосердечнейший и добродушнейший крестьянин, наслаждаясь этой тишиной и *поглаживая бороду*. Вот тут-то и было прибавлено сравнение *с кошкой*, которая *облизывается* и *приятно мурлычет после того*, как слопала *мышь*. Она исполнила свой кошачий долг, *слопала* и лапками оправляет свою окровавленную *морду* (за что «какая-то» женщина ее и гладит). Вот такое же впечатление оставили во мне и убийцы конокрада, оправданные судом. Рыла у них хотя и *невинные* (как же не истребить врага всего общества?), однако казались мне окровавленными, — Федюшка был сирота, на которого в его сиротстве они не обращали внимания, а убить не задумались, когда он стал конокрадом, злодеем. Когда я писал этот рассказ — я искренно ненавидел этих подлецов-мужиков. Подлецов и злодеев я и теперь ненавижу, — но с тех пор «кто виноват?» стало пониматься мною много сложнее. Таким образом, когда этот рассказ печатался в 5 томе, я пожалел мужиков и выбросил параллель с окровавленной мордой кошки, облизывающей и отирающей лапками кровь с своей морды. В пятом томе, на который ссылается Н<иколай> В<икторович> — *нет* поэтому *ни кошки, ни мышки*, — а остался один мужик, который поглаживает

бороду, да намек на то, что физиономия у него *не чиста.* Если бы Н<иколай> В<икторович> цитировал *по подлиннику*, т. е. по «От<ечественным> з<апискам>» — то этого факта ему совершенно не было надобности приводить в доказательство правоты своих идей. Да весь Федюшка — сама борьба за жизнь и всю жизнь. Если же он в самом бы деле раскрыл 5-й том, — то там бы он не нашел ни кошки, ни мышки. А ведь не дрогнула рука, во-первых, — уличить меня перед читателями в том, что я говорю сущую чепуху, глупость, и в то же время плюнуть мне в лицо пустопорожней фразой — «чрезвычайно симпатичного писателя». Вот и живи на свете. Я на Н<иколая> В<икторовича> не имею претензии никакой, — но меня поражает обилие этих пустопорожних фраз и поступков. Зачем все это? Вот что непостижимо.

Пожалуйста, передайте г-же Подосеновой мою глубочайшую благодарность за то, что она ни слова не сказала о новом произведении «чрезвычайно симпатичного писателя», которое печаталось в октябре в «Р<усской> мысли». Это доставило мне истинную отраду. Мало того, что я утомлен работой, я должен был писать *сломя* голову, чтобы поспеть к книжке, да, кроме того, редакция вырезала целиком более печатного листа. Получилась такая бессмыслица, — такая срамота пред читателями, которую только и можно сделать (по близкому знакомству) с чрезвычайно симпатичными писателями. (Чему мы имели примеры.) В январе очерки печатаются в перера<ботанном>виде. Я глубоко, от всей души благод<арен> г. Подосеновой, которая, очевидно, поняла как нельзя лучше, что нельзя меня уж очень срамить-то, а надо дать время очувствоваться. Передайте, пожалуйста, мою глубокую благодарность.

Г Успенский.

P. S. Приношу искреннейшее извинение в том, что в этом письме называю г-жу Подосенову только по фамилии. Что делать. Забыл! Так мало видел. В Казани я видел в такое короткое время так много народу, — да и был под влиянием сибирских впечатлений, что мне приходилось много перетерпеть горя, встречаясь в Петербурге с казанцами: фамилию помню, а имя, отечество —

забыл! Не откажите мне, пожалуйста, сообщить, как звать г-жу Подосенову, потому что я желаю преподнести ей экземпляр моих книг нового издания, в знак моей глубочайшей благодарности и уважения.

Теперь я в Чудове, Ник<олаевской> ж. д.

Всего хорошего Вам.

Г Успенский.

Статейка эта может быть названа «По поводу письма» и т. д.

228

В. А. ГОЛЬЦЕВУ

Чудово, 14 дек<абря 18>88 г.

Дорогой Виктор Александрович!

Получил Ваше письмо. Не имею никакой претензии на то, во-1-х, что «Грехи тяжкие» печ<атаются> в декабре, и, во-2-х, на то, что и «без каламбура» они все-таки мои грехи и весьма тяжкие. Я их писал в неожиданном расстройстве и утомлении, не имея времени хорошенько обработать; вот почему антихрист-то и не вышел как должно и почему все скучно и тяжеловесно. Расстройство у меня и происходило от того, что такие новые явления приходилось писать кой-как, а это всего меня изорвало. И, кроме того, я застал жену нездоровой, — она еще в мае огорчилась тем, что мальчик остался на второй год, не выдержав только одного экзамена, и вот это наше общее расстройство кончилось просто ужаснейшим положением, — и я едва жив, а Алек<сандра> Вас<ильевна> просто слегла, не может встать, ходить и находится в серьезной опасности. Заболел, кроме того, мальчик скарлатиной, и надо было отделить детей — девочки живут в одном семействе, а Саша в Чудове. Я мыкаюсь туда и сюда и должен еще писать в таком аду. Впрочем, вчера я приехал ночью немного спокойней. Алек<сандра> Вас<ильевна> могла есть хоть чуть-чуть и кой-что говорила в здравом уме, а то у нее были минуты полного истощ<ения> сил. Вот какое положение мое. Сегодня я опять поеду ночью в Петербург и буду работать уже там. Брат много помогает в хлопотах, и можно

будет урвать в день несколько часов. Какие мои будущие работы, я Вам напишу завтра же. Спасибо Вам большое за все, за все. Книги мои Вам, Вук<олу> Мих<айловичу>, Стороженко, Муромцевым будут посланы тотчас, как только получатся из переплета.

Преданный Вам

Г. Успенский.

229

В. М. СОБОЛЕВСКОМУ

<Середина декабря 1888 г., д. Сябринцы>

Дорогой Василий Михайлович.

Вот фельетон, который может быть печатаем теперь. Следующий буду писать завтра. Между ними связь неразрывная, но печатать их надобно отдельно. Второй назыв<ается> *«Не знаешь, где найдешь, где потеряешь»*. Он весь рассказ, и если я его напишу, как думаю сейчас, от будет ничего себе. Никаких рассуждений не будет. Но я все-таки страшусь за 6, 7 и далее страницы. Вычеркивайте из них все, что понадобится; на странице 7-ой самое опасное место там, где приведены слова высокопоставленного лица. Эти строчки можно изменить так: *«узнав из газет, что при летней ревизии учебных заведений было прямо и решительно указано молодежи ее» и т. д.* Во всяком случае *концы* эти необходимы, и переход от фокуса-покуса к чорт знает каким явлениям уродства в народе, — необходим.

Я взял тон человека раскаивающегося, в поучение молодого поколения, в своих подлых поступках. Что мы сделали? Довели до фокус-покусов молодежь. Обобрали и обокрали. Прекратили то-то и то-то. Будут взяты самые хорошие явления недавнего прошлого. Не хотите ли для очистки совести вместо очерки русской жизни, написать *очерки недавнего прошлого.*

В прошлое, попранное нами, стариками, я включу отличнейшие явления из земской школьной жизни, всё по подлинным документам и всё в беллетристической форме. В III рассказе будет, например, описан *съезд сельских учителей* в городе (теперь этих съездов нет), а прежде на

них говорили решительно обо всех народных нуждах (это с точностью из печатных отчетов), так что эти общие публичные разговоры влияли и <на> губернскую публику, и на земских людей, присутствовавших на съездах, и <на> живой обмен мысли, связующей разные роды деятельности; теперь учитель чахнет один с учебником; непосещение уроков записывает, а сказать, что мальчик не посещает потому, что отец пьянствует, и рассказать еще, отчего он стал пьяницей (но это было на прежних съездах), — этого теперь нет. Живого наблюдения, поучительного для общественных деятелей и связующего их, нет. Вот почему назовите *«Из прошлого»*.

Будут цитаты из старых провинциальных газет, которые закрыты, напр. «Новгор<одский> листок», «Камско-Волж<ский> вестн<ик>». А оно, прошлое-то, осветит только безобразие настоящего. Не будет нецензурно, не беспокойтесь. Если это начало Вы найдете возможным пустить хотя бы и с помарками, — пришлите мне по телеграфу 5 слов. Чудово, Успенскому. Печатаем. Даже, как видите, всего 3. Я повеселею и напишу хорошо 2-ой очерк.

Спасибо, спасибо, дорогой Вас<илий> Мих<айлович>, за Ваше милое письмо. Умирал я не в шутку всю эту осень. Каждое слово доброе дорого.

Ваш *Г. Успенский.*

230

В. М. СОБОЛЕВСКОМУ

22 дек<абря 18>88 г., <Петербург>

Дорогой мой Василий Михайлович! Вот рассказ, — не знаю, придется ли он Вам по вкусу. Если нет, то прямо надо отдать его в «Рус<скую> м<ысль>», куда я пришлю новое начало. Ред<акция> возвратит 250. Если же он удобен, но надо что-нибудь сократить, — телеграфируйте, и я знаю, где можно в рассказе сделать это.

Продолжение будет непременно и скоро — «Учительский съезд» (сельск<их> учителей). Картинка будет простая и светлая.

Расстроился я, дорогой Вас<илий> Мих<айлович>, ужасно. Не могу этого описать Вам. Нужда у меня в деньгах большая, необычная. Словом, пересказать Вам мое положение невозможно. Не откажите, бога ради, в моей просьбе. Деньги надо иметь до рождества. Простите. Устал я и измучился, как собака. Скоро пришлю книги. А<лександру> Сер<геевичу> поклон.

Ваш *Г. Успенский.*

231

В. Н. ПОЛЯКУ

<Между 22 и 27 декабря 1888 г., Петербург>

Многоуважаемый
Владимир Николаевич!

Прилагаю при сем маленькую статейку, но опасаюсь, что она не придется Вам по вкусу. Ничего иного я не мог до сих пор послать Вам, потому что положительно утомлен и хотел бы не работать хотя полгода. Но работать надо на свою погибель.

В этой статейке есть цитата из «Рус<ских> вед<омостей>». Она вошла в один рассказ «Не знаешь, где найдешь», который должен быть там напечатан. Может быть, ред<акция> и выбросит из него ту вставку, которую я перенес в эту заметку. Когда выйдет № «Р<усских> в<едомостей>», можно просмотреть его и, если там нет того, что приведено здесь, тогда просто нужно зачеркнуть строчки о том, что это вставка. При первой возможности я напишу Вам рассказ, а теперь простите.

Позвольте мне просить Вас сообщить мне имя и отч<ество> г-жи Подосеновой и Загоскина. Я хочу прислать Вам, г. Загоскину и г-же Подосеновой мое новое издание.

Преданный Вам
Г. Успенский.

Вас<ильевский> Остр<ов>, 7 линия, дом № 6, кв. № 4.

232

В. М. СОБОЛЕВСКОМУ

<25 декабря 1888 г., Петербург>

Как сократить рассказ.

На странице 2-ой от слов «— Как так, — может сказать читатель» и т. д. можно выкинуть всё вплоть до бюллетеня из «Смолен<ского> вестн<ика>» и вставить следующее:

Доказать в этом очерке, что дело понимания положения образчика среди *всех* условий жизни — дело действительно трудное, — положительно нет никакой возможности. Но для того, чтобы сам читатель смог также ощутить, хотя бы в слабой степени, ту безысходность, которую ощутил я, когда передо мною предстала такая трудная задача, я приведу пример, взятый из нашего прискорбного прошлого. Прошу читателя обратить особенное внимание именно на то, что пример этот ни в каком случае не может характеризовать настоящего времени. Он всецело принадлежит временам, безвозвратно канувшим в вечность, и не может быть укором времени настоящему, так как в настоящее время ничего подобного быть уже не может. Дело заключается в следующем: девять лет тому назад в газете «Смоленский вестник» № 81 был напечатан следующего рода бюллетень в *июле* и т. д.

Цифры глав можно выбросить, а там, где III, поставить — .

Дорогой Василий Михайлович!

Вот как, по-моему, можно сократить рассказ. Или же так, если Вы опасаетесь за бюллетень смоленский, — то можно и так. Первая страница вся. Вторая *до первого абзаца,* т. е. до того места, где сказано: «Непреоборимость объяснять *всеми*» и т. д., а затем на предпоследней странице 1-ой главы прямо начать с того места, где сказано: «И я бы сам никогда не решился на это дело, если бы не чужое мнение» и т. д.

Главы отбросьте, а вместо III просто тире. Не покиньте меня, бога ради. Всю ночь сидел около Ал<ександры> Вас<ильевны>, которая говорит бог знает что.

Мое личное желание, чтобы рассказ был напечатан *весь*. Тогда в нем будет смысл и для дальнейших очерк<ов>.

Г Успенский.

233

В. А. ГОЛЬЦЕВУ

<Вторая половина декабря 1888 г., Петербург>

Виктор Александрович!

Я вполне согласен с Вами, что написан вздор. Он, этот вздор, всегда меня мучает, когда расстроится задуманная работа, как это случилось нынешней осенью. Всегда я невольно хватаюсь за эти соломинки, когда разные неожиданности разобьют мои совершенно определенные планы вдребезги. Является настоятельная потребность припомнить, во имя чего собирал я разлетевшийся прахом материал, и вот начинаешь долбить одно и то же везде и вовсе притом не так, как было задумано. Нынешней осенью я решительно разбит разными неприятностями, прямо расстраивавшими мою душу, — и вот почему матерьялы мои просто пропали в нын<ешних> работах, прахом рассеялись.

В рассказе «На минутку» все-таки необходимо оставить несколько строк. Именно — «Чей же теперь дом-то будет?» (кажется так говорит парень в конце 2-й главы, подавая самовар).

Эту строчку оставить, а начиная со следующей, вычеркнуть всё, вплоть до того места, где сказано, — что и не один парень, из всей этой истории, забывая старика и старуху, — не забывает «дом». И деревенская интеллигенция и т. д.

(Там есть разговор.)

И затем до конца 3-й главы, если только там немного, т. е. около страницы или $1^{1}/_{2}$. Если там есть явные пустяки, — пожалуйста, вычеркивайте. Необходимо так ли, сяк ли оставить последние строки вставки, иначе надобно будет IV главу переделать. Вместо 4-х глав будет 3.

Будьте здоровы, В<иктор> А<лександрович>.

Ваш *Г. Успенский.*

234

В. А. ГОЛЬЦЕВУ

<Конец декабря 1888 г., Петербург>

Дорогой Виктор Александрович!

Не знаю, как благодарить мне Вас за Вашу поистине неисчерпаемую доброту! Я положительно спасен и выведен из безысходного положения. Теперь я вижу, что все мои дела могут измениться самым лучшим образом. Деньги пришли как раз во-время, сняли с меня такие бремена, от которых я не чаял избавиться. Все теперь пошло хорошо. Благодарю Вас от всей души и от всей моей семьи. Передайте, пожалуйста, мою искреннейшую благодарность Вуколу Михайловичу. Сегодня я посылаю на Ваше имя посылку с книгами. Извините, что все книги без переплета — нет экземпляров, так как, к счастию, книги идут неожиданно хорошо. Из 10 т<ысяч> экземпляров в первую неделю разошлось 3 тысячи. Я никак этого не ожидал. Простите меня, что я посылаю, кроме экземпляра Вам, еще и другим лицам, с которыми Вы близки и встречаетесь и которые поэтому могут взять книги от Вас при случае.

Пожалуйста, сообщите мне имя <и> от<ечество> Стороженко. Если мне надобно послать Тихонравову, то и его имя и от<ечество> необходимо. Существует ли библиотека Общ<ества> люб<ителей> слов<есности>? Тогда я и туда отправлю экземпляр.

Теперь у меня к Вам просьба. Я хочу написать небольшую статейку в объяснение недоумения, почему я не *призывал к чести?* Я напишу ее с удовольствием, и она будет поучительная, интересная для характеристики 25-тилетия прошлого. Я даже писал об этом, но не поместил в сочинениях по забывчивости. В *«Судеб<ной> газете»*, примерно 83 г., у меня были даже начаты очерки *«Водка и честь»*. На них я сошлюсь между прочим. Эту заметку, если вы согласитесь, я доставлю 3—5 января, и она пойдет в янв<арской> книжке. Она для меня живое дело и коснется животрепещущего вопроса. Я рад и благодарен Михайловскому, что он дает мне право сказать

многое, чего я не мог бы сказать, если бы он не определил этого многого словом *честь*. Слово нейтральное и превосходно заменяющее самые нецензурные определения изничтоженной личности. Сделайте милость, разрешите мне это, — а чтобы не замедлилось дело, телеграфируйте одно слово «можно».

Г. Успенский.



1887—1888

235

И. М. СИБИРЯКОВУ

<1887—1888 гг., Петербург>

Дорогой Иннокентий Михайлович!

Привести к субботе в окончательный вид 10-й том, при всем моем желании, оказывается невозможным. Нужно много исправлений, — перестановок, словом, нужна весьма тщательная работа, которая отнимет у меня недели две времени.

Если бы фельетоны печатались журнальным листом, то поправки можно бы приклеивать сбоку страницы; но фельетоны печатаются плотными столбцами, без всяких перерывов, так что ни вставить в самый текст (он тесен), ни перенести куда-нибудь к стороне — невозможно. Надобно иметь два экземпляра фельетонов, чтобы можно было тот или другой столбец вырезать, а оборотную сторону этого столбца заменить вырезкою из другого экземпляра фельетона. Словом, здесь хлопот много. Сделать кой-как я не хочу, и матерьялу много в этих корреспонденциях с дороги.

Так вот я и прошу Вас. Дайте Вы мне две недели сроку для предст<авления> 10-го тома и, если возможно, не откажите в просимой ссуде, так как благодаря ей я не буду ничего другого работать, как только над 10-м томом.

Ни в каком случае за мной не пропадет ни одной копейки, в этом Вы можете быть — да я и надеюсь — совершенно уверены.

Я же в покрытие этого долга прибавлю к 9 тому все новые рассказы, какие теперь есть (кроме матерьяла для 10-го), и в 10-й присоединю все новое, что явится в печати, положим, до августа месяца. Тогда, если количество этих добавочных к 9 и 10 тому листов будет менее должной мною суммы <. . . . . .>

1889

236

А. П. и А. И. КУЛАКОВЫМ

Петербург, 1-го янв<аря 18>89 г.

Дорогие мои Александр Павлович и Анна Ивановна! Не знаю, как благодарить вас за помощь, которую вы оба не задумались оказать мне, выслав квитанцию и разрешив взять 350 р. Теперь я возьму только 150 р., и то не больше как на полтора месяца, все же остальное, вместе с квитанцией, немедленно вышлю вам, но прошу сейчас же *телеграфировать мне ваш адрес,* так как мое письмо дошло к вам окольным путем. Письмо это я написал в решительном расстройстве, думая, что пропадаю во всех отношениях, но вышло как-то не так ужасно, как я воображал. Я сам болен и утомлен работой до невозможности. Редакции не замедлили поддержать меня с искренним радушием, чего я и не ждал. Огромные расходы, — на три дома (дети отделены по случ<аю> скарлатины в доме, а Саша в деревне, так как в семье, где девочки, нет места), — были сразу покрыты, и если я теперь беру у вас 150 р., так потому (я бы никогда не решился нарушать уговора), что расходы по болезням совпали с уплатой займа в 300 р. в Литерат<урный> фонд. Таким образом, и там мой кредит спасен, и я всегда могу взять там ту же сумму. Неловко брать тотчас же по отдаче, а чрез полтора месяца можно, и будьте уверены, что 150 р. я не задержу. Кроме всего этого, я был обрадован и подбодрился от чрезвычайно неожиданного успеха моего нового издания. Павленков и Сибиряков, напечатав 10 тысяч экземпляров, надеялись, что оно разойдется года в 2, а оно в первые три недели уже разошлось более чем 3 тыс<ячи> экземпляров и идет непрерывно. Продолжение издания (том 3-й выпусками по 10 печ<атных>,

л<истов>) — буду уж издавать я сам, и оно будет расходиться в том же колич<естве> экземпляров, как и первые два тома. Это будет 1-ый раз, что за мои книги буду получать я, а не издатели. И с другими писателями было так же — Достоевский продавал за 75 р. том своих сочинений (напр<имер>, «Вечный муж» и т. д.) тому же Глазунову, который за 75 <р.> покупал том и моих рассказов, — а через 5—6 лет после этого сочинения его сразу пошли в ход. Толстой, изданный Стелловским в 2000 экз<емпляров> в 61, — не разошелся и сейчас, и его можно найти у букинистов, — но когда вообще публика поняла, что Толстой что-то значит, — и расхватали 3—4 изда<ния> подряд. Меня не так, конечно, будут расхватывать, но сравнительно книга идет превосходно, сверх всякого ожидания. Пожалуйста, сообщите мне имена всех ваших детей — и вам и им я тотчас пришлю по экземпляру на память.

Желаю вам от души всего хорошего и еще раз глубоко благодарю за бескорыстную готовность поддержать меня.

Ваш *Г. Успенский.*

Вас<ильевский> Остров, 7-ая линия, д. 6, кв. 4.

237

В. М. СОБОЛЕВСКОМУ

11 янв<аря 18>89 г., <Петербург>

Дорогой Василий Михайлович! Жена моя поправляется плохо, не встает, не двигается, и вот почему я постоянно в расстройстве и утомлении. От этого и не писал. Но все-таки по клочкам мной написан фельетон, который сегодня будет с курьерским выслан Вам. А вслед за ним будет следующее. Мое письмо с дороги о Степн<ом> ген<ерал->губ<ернаторстве> вызвало уже два опровержения. Одно Вы знаете, а другое появилось в «Вост<очном> обозр<ении>» № 45. Отвечать на него крайне необходимо тем более, что в нем никакого опровержения нет, а есть уловка между сибирскими газетами помощию моих писем воспользоваться для своих

корыстных целей. От этого-то опровержение это и не попало в «Русские вед<омости>». Я написал его ловко, надо, впрочем, поправить. Притворившись, что я *серьезно огорчен* моими ошибками, я тщательно их проверяю, ничего не оказывается. Почему же все это напечатано в «Вост<очном> обоз<рении>»? И здесь, на основании писем из Сибири ко мне, рассказываю лично ихнюю сибирскую *между собою* плутню. Не беспокойтесь, из этого не будет никакой сплетни. Только смешно и названо буд<ет>: *«Не так страшен чорт»,* но плутовать *потихоньку* в своей тайге они не будут. Дело это затеял *«Сибирский вестник»* (с Коршем и пр.), которому нужно убить *«Сибирскую газету»*, которая теперь запрещена. *«Сибирский вестник»* и прикрылся мной. Можете представить, какие это сукины дети?

Книги Анучину и Богданову посланы, и посланы им письма. Из всех концов России на мои книги не перестают поступать постоянные требования на десятки и сотни экземпляров. Все, слава богу, хорошо в этом отношении.

Будьте здоровы, дорогой Вас<илий> Мих<айлович>! Крепко целую Вас. Глубоко благодарен. Алекс<андру> Серг<еевичу> мое крепкое рукопожатие и поцелуй. Что же Вы Михайловскому не пишете?

Ваш *Г. Успенский.*

238

В. М. СОБОЛЕВСКОМУ

<Середина января 1889 г., Петербург>

Дорогой Василий Михайлович!

Этот фельетон и следующие отвечают на два вопроса: 1) в чем мы за 25 лет *стали лучше* и 2) в чем за то же время стали *хуже.*

Первый написан по поводу только что вышедшего 9 т. соч<инений> Гончарова, а 2-ой на основании газетных материалов из новых пров<инциальных> газет, которых я выписал 10 штук, внеся трехмесячную плату.

Я думаю, что этот обзор существенных черт времени необходим, чтобы была в очерках определенная мысль.

1) *Лучше* мы стали, — в личных своих заботах об общем благе. Они стали сложней, искренней (воспом<инания> Гонч<арова> доказывают, как в этом отношении мы ушли вперед).

2) *Хуже* стали в понимании и проявлении *общественного дела*. Много суеты и забот *на общую пользу*, а обществ<енного> дела и обще<ственной> жизни — нет.

На ту и другую тему и будут писаться очерки. Будут и прямо рассказы. Из двух — один будет, я надеюсь, рассказ. А теперь нельзя уместить в один фельетон этих двух тем.

Не могу ничего писать более: жена моя в опасном положении; хуже и хуже, и я употребляю железные усилия, чтобы не пропасть, не прийти в крайнее отчаяние. Работаю, — потому что надо жить, но положительно нахожусь постоянно в глубочайшем нервном возбуждении и не знаю, чем это кончится.

Если можете, печатайте этот фельетон поскорее и вычеркивайте все излишнее без церемонии.

Крепко Вас целую и жму Вам добрую Вашу руку.

Г. Успенский.

А<лександру> С<ергеевичу> мой душевный привет.

239

В. А. ГОЛЬЦЕВУ

<16 января 1889 г., Петербург>

Дорогой Виктор Александрович!

Посылаю Вам начало рассказа, который окончу числу к 22—24. Он вполне беллетристический, и я думаю, что не очень слаб, даже, право, я сам рад, что так стал писать. Будет в нем листа полтора. Просмотрите начало, будьте уверены, что я его кончу не хуже, и *не откажите, бога ради,* теперь же похлопотать, *чтобы Вукол Мих<айлович> выслал мне 200 руб. по телеграфу.* Жене все хуже и хуже, а мне все трудней и трудней, и не знаю как быть. Теперь идут переговоры с Сибир<яковым> об изменении контракта и о том, чтобы часть моих денег можно

было взять и при жизни. Надеюсь, что он смилуется и даст мне возможность лечить А<лександру> Вас<ильевну> хоть целый год, т. е. уделить на это из моих же денег тысячи 3. Как бы то ни было, но, пожалуйста, не сомневайтесь, что по напечатании этого рассказа в феврале и после получения 200 р. — все-таки будет за мной долгу меньше. Кроме этого очерка, есть матерьял еще на два под тем же названием, не хуже этого.

Болезнь жены продлится долго-долго. И сейчас уже надо опасаться пролежней, — так она недвижима. Спасает меня брат и дает возможность иногда хорошо выспаться и просидеть ночь за работой, как сейчас, а то бы пропал я. Настоятельно прошу Вас, Виктор Александрович, — не откажите мне в этой просьбе. Я положительно без копейки, кроме нескольких рублей исключ<ительно> на лекарство. Не могу больше писать. Сделайте одолжение, не откажите.

Ваш *Г. Успенский.*

240

В. М. СОБОЛЕВСКОМУ

<Вторая половина января 1889 г., Петербург>

Дорогой Василий Михайлович!

Хуже и хуже идут мои дела! Сам я болен ногами, теперь от крайнего расстройства нервов, от постоянной близости к Алекс<андре> Вас<ильевне>, которая больше 2-х месяцев в ненормальном ужаснейшем состоянии, и на меня перешло нервное расстройство. Работаю, чтобы не сойти с ума, и пользуюсь каждой минутой, когда А<лександра> Вас<ильевна> спит или когда к ней вернется на несколько часов здравый рассудок. Никакой надежды на то, чтобы она опять пришла в нормальное состояние, как прежде, — нет. Предстоит маята до конца ее дней. Дети до сих пор в чужих людях, и, кажется, так и будет уж всегда, а А<лександра> В<асильевна> будет уединена от них. Она их забывает. Словом, нельзя рассказать, что такое кругом меня. Денег мне надо, В<асилий> М<ихайлович>. Если напеч<атаете> IV статейку, пришлите 250. Если IV не годится, вот еще о Васильеве, том самом, который хотел когда-то писать у вас

о Болгарии. Мне кажется, что он просто сумасшедший, психопат. В этой статейке масса в высшей степени интереснейших сведений, которые прочтутся с величайшим интересом. *Но мне необходимо иметь эту статью о Васильеве в корректуре.* Надобно вставить страницы, и вообще надо быть с этим кляузником осторожней. Написал я ее единственно из-за бесподобнейших документов, которые можно показать нашей публике. Корректуру этой V статейки жду, пожалуйста. Больше нескольких часов (с 3 до 9 вечера) не задержу.

Работать не перестану и буду, напротив, неустанно ей предаваться, — это мое спасение.

Эко обедов-то сколько в Москве! В<иктор> Алекс<андрович> положительно должен захворать. Мой душевный привет Ал<ександру> Сер<геевичу>, милому, премилому.

Всем сердцем Ваш

Г Успенский.

241

В. М. СОБОЛЕВСКОМУ

3 февр<аля 18>89 г., <Петербург>

Дорогой мой Василий Михайлович! Сейчас получил деньги и благодарю глубоко. Как раз дожил до «бескопейки». Положение Ал<ександры> Вас<ильевны> одно и то же с незначительными проблесками здоровых минут. Лечит исключительно Чечотт, психиатр. Сам я шибко расстроен нервами, — такая ненормальная обстановка день и ночь, два с лишком месяца. Заражает это психическое расстройство, как скарлатина. Я думаю уехать на 3 дня в Москву, чрез неделю. Просто побыть вне этой ужасной атмосферы бреда, галлюцинаций и всяких стонов от нервных болезней ног, рук, головы. Чечотт уверяет, что А<лександра> В<асильевна> может поправиться, но останется в мозгу нечто темное навсегда, а может быть, только надолго. Словом, теперь дни и ночи идут в беспрерывном мучении. Я терпел, терпел и вдруг ослаб.

Но пусть будет, что будет.

Пожалуйста, настоятельно прошу, вышлите мне корректуру *о Васильеве*. Много сокращу. Скажу то же, но спокойней и лучше. Следующий фельетон VI — «Шила в мешке не утаишь» — пишется и будет выслан на днях. Затем VII будет прямо рассказ «Зашли поболтать».

Но о Васильеве, пожалуйста, пришлите корректуру или самую рукопись.

Прилагаю при этом письмо Павленкова, из которого Вы увидите, как положительно блистательно идут мои книги. Рассчитывали в наилучшем случае 10 тысяч экземпляров распродать в 2 года. Они почти разошлись в 2 месяца. Седьмая тысяча на исходе, а вышли они 3 декабря, а сегодня, когда я пишу эту записку, — только 2 февраля. Худо, худо мне жить, — а все-таки нет-нет да и помилует бог!

Крепко Вас благодарю, обнимаю, целую и желаю всего хорошего.

Всем сердцем Ваш

Г Успенский.

А<лександру> С<ергеевичу> мой искренний привет. Какая отличная статья о Буланже и рабоч<их> А. М. Вот это дело, не по-стасюлевичевски. Европа, Европа. Хорошо! Благородно. Правдиво. Так и надо.

242

С. А. РАППОПОРТУ

Февр<аля> 4, СПб., <18>89

Любезнейший г. Раппопорт!

Не знаю как просить Вашего извинения за мое такое убийственное молчание! С осени у меня опасно захворала жена и в настоящее время подает слабые надежды на выздоровление. Положительно у меня не было спокойного дня за все это время. Но сегодня пользуюсь первым спокойным часом, чтобы написать Вам. К истинному моему прискорбию, крайне малое количество журналов и крайне большое количество литературных работников делают то, что в каждой редакции лежит без всякого движения множество рукописей и множество возвра-

щается почти не прочитанными. Куда я ни совался с Вашими работами, везде уже есть пропасть всяких повестей, романов, которые хоть и глупы, но подписаны известными именами, куплены и должны печататься. Столичные литераторы своим хламом не дают возможности протискаться и с хорошей вещью. Таким образом, «Переселенцы», которые я позволил себе поправить и переделать, — возвратились из 3-х ред<акций>. О «Шахтерах», к удивлению моему, нет ни слуху, ни духу, несмотря на телеграммы в Барнаул. Теперь я уже писал туда моему знакомому, чтобы он разыскал г<оспо>дина, которому я дал Вашу статью на некоторое время. Маленькие очерки — также у меня. Все очень скучно и неудачно, т. е. относительно неприветливости редакций, а не Ваших работ. Работы хороши, и я уверен, что все-таки улучу минуту пристроить хоть «Переселенцев», но мне обидно за Вас. У Вас и так много неожиданных неприятностей. — Адрес мой: в Петербург, Вас<ильевский> Остр<ов>, 7-я линия, д. № 6, кв. № 4. Если что нужно и если вообще захотите написать мне что-нибудь, буду рад очень.

Предан<ный> Вам

Г Успенский.

243

А. Н. ПЫПИНУ

В. О., 7 л., д. 6, кв. 4
8 февраля 1889 г., <Петербург>

Глубокоуважаемый
Александр Николаевич!

В 1866 г. в мае месяце Вы были так добры, что дали мне в долг 25 р. Дело было так. Я приехал в Петербург как раз в то время, когда «Современник» был закрыт и майская книжка не выпущена. В редакции «Современника» были мои работы — продолжение «Очерков Растеряевой улицы», почему я и зашел узнать о ней в ред<акцию> «Современника» (на Литейной). Там были Вы и посоветовали мне отнести очерки в «С.-Петербургские ведомости» к Суворину; Суворин их не принял,

и я пришел к Вам на квартиру сказать об этом. Тогда-то Вы и дали мне 25 руб., так как я очень нуждался.

Идет 23-й год с тех пор, когда я состою Вам должным эти 25 р. Почему я не возвратил их на протяжении такого огромного пространства времени? «Не мог», — вот что единственно могу сказать Вам по чистой совести! Сколько бы я ни зарабатывал, — никогда я не имел возможности не увеличивать долгов, не только платить их, и только сначала издание Павленкова (в 8 т.) и затем покупка Сибиряковым всех моих писаний до 86 г. дали мне понемногу возможность выбраться из непрестанных, в течение многих лет, долгов.

Не было дня, в который бы я забыл эти 25 р., — и только явилась малейшая возможность возвратить их, я не откладываю этого ни на одну минуту.

Будьте уверены, глубокоуважаемый Александр Николаевич, что все это так, и не откажите взять эти 25 руб. Я бы сам принес Вам их, если бы тяжкая болезнь моей жены не держала меня дома. Примите от меня также и мои книги, которым, будьте уверены, я знаю настоящую цену и никогда не терял здравого на них взгляда от чьих бы то ни было незаслуженных похвал. Они расходятся среди людей среднего образования и круга, и если не затуманят они у таких людей «мозгов», — так этого для меня будет совершенно достаточно.

Верьте, глубокоуважаемый Александр Николаевич, моему искреннейшему всегдашнему к Вам уважению и глубокой благодарности за всю Вашу неустанную, благородную, поучительную литературную деятельность.

Искренно преданный

Глеб Успенский.

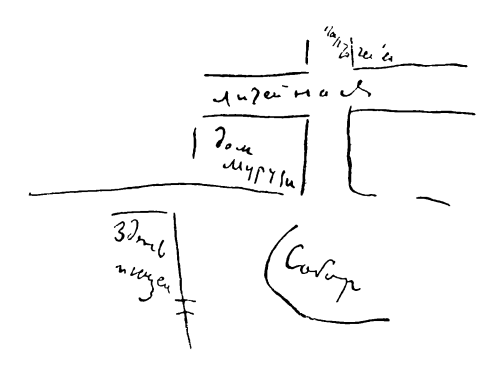
244

В. В. ТИМОФЕЕВОЙ-ПОЧИНКОВСКОЙ

15 февр<аля 18>89 г., <Петербург>

Варвара Васильевна! Я сейчас только воротился из Москвы и прочитал Ваше письмо. Быть может, Вы уже и сами нашли А. Н. Плещеева? Если Вы думаете, что мое мнение о Вашем новом романе (я очень этому рад) бу-

дет для Вас что-нибудь значить, — я с удовольствием его прочитаю. Как у нас в доме ни тяжко и мучительно, — я даже и права не имею бросить или хоть отстать от литературного дела. Часов до 11 утра и часов с 7 вечера я всегда дома. Плещеев живет в той квартире, где в последнее время помещались «Отеч<ественные> записки». Не знаю, какой адрес, но вот рисунок:



В 1-й подъезд, в первом этаже.

Если Вам нужно письмо к нему, — пожалуйста, известите.

Г. Успенский.

245

В. А. ГОЛЬЦЕВУ

22 марта <18>89 г., <Петербург>

Дорогой Виктор Александрович!

Посылаю ужасную корректуру на Ваше имя потому, что если бы ее увидел Вукол Михайлович, то проклял бы меня и по-русски и по-польски, — а там ведь есть по этой части хорошие изречения. Мне положительно совестно пред Вами и В<уколом> Мих<айловичем> за эту невероятную корректуру, — но фельетоны и рассказы для журнала, — не одно и то же. *Новая корректура мне решительно необходима.* Я настоятельно прошу записать в мой счет все расходы по этому делу. Сделайте одолжение, — снимите с моей души этот грех. Теперь рассказ

вполне переработан и цельней, чем разделенный на два фельетона. К этой же книжке я буду писать первое обозрение местной печати. Дело это мне крайне по душе.

Н. К. Михайловскому я передал, что редакция назначила ему 125 р. за лист; он доволен, да это положительно справедливо. Он ожил окончательно и жаждет работы. Вероятно, Вы имеете его письмо о продолжении статей под общ<им> загл<авием> «Страшен сон». Не Слонимского уже, а всяких иных сюжетов будут касаться они. Поддержите его в эту важную для него минуту. Да я и не сомневаюсь в этом ни минуты. С 84 г. он много накопил добра и много надумал, — теперь, случайно, началась в нем вновь жажда литературной деятельности, *настоящей*. Сотрудничество в «Сев<ерном> вестн<ике>» — вздор, пустяки. Он теперь по многим причинам изменился значительно к лучшему.

Можно ли Станюк<овичу> получить когда-либо ссуду в счет имеющего быть написанным романа, которого уже есть 10 печ<атных> лист<ов>? Листы эти могут быть сданы Вам теперь же.

Жена поправляется неожиданно хорошо; отправляем ее в деревню на этой неделе, и я останусь до 1-го апреля положительно без денег. Вукол Михайлович, надеюсь, не покинет меня. Благодарю Вас, дорогой Виктор Александрович, за Вашу не ослабевающую ко мне доброту, хоть и каюсь, что мои иногда неожиданно ужасные личные обстоятельства и не дают мне возможности отвечать на нее достойным образом. Простите и верьте моей сердечной Вам преданности.

Г У.

246

Я. В. АБРАМОВУ

<26 марта 1889 г., Петербург>

Дорогой Яков Васильевич!

Нет ли у Вас книжечки о Томском благотв<орительном> обществе? Она бы мне была нужна на единую минуту. Не знаю, куда девал я мою книжку о том же.

Если у Вас нет книжечки, то не откажите дать мне Вашу статейку об этом же деле. Она была напечатана в «Неделе», я ее возвращу сегодня же.

Преданный Вам

Г. Успенский.

26 мар<та 18>89 г.
СПб.

247

А. И. ЭРТЕЛЮ

27 марта 1889 г., <Петербург>

Дорогой Александр Иванович!

Чтобы не тратить лишних слов для доказательства того, что я решительно не могу ничего обещать сборнику, — прилагаю при сем только две такого же рода, как из Воронѐжа, корреспонденции и всё о тех же сборниках. Спрашивается: в какой сборник давать и в какой не давать статьи? И правильно ли так тиранить нашего брата? В лучшем случае сборник даст 500 р. Не совестно ли из-за них лишать нас каждого на 100, на 200 руб.? Вот почему я решительно никогда на такие просьбы не отвечал: какое-то скверное нищенство, с деревянной чашкой в руках видно в этих мольбах, обращенных к литераторам Христа ради! В Воронеже нет 500 рублей! И я отдавай и в Казань, и в Нижний, и в Симбирск? С ума они сошли, сукины дети! Ленивые твари! Если Вы помните маленькую книжечку «Вятская незабудка» — то есть хроника местной жизни и ее успех, так вот что нужно им делать. И у них будет доход. Но они нищенствуют, собирают объедки, а не хотят потрудиться сами.

Будьте здоровы.

Г Успен<ский>.

248

В. М. СОБОЛЕВСКОМУ

30-го марта <18>89 г., <Петербург>

Дорогой Василий Михайлович!

Посылаю Вам рассказ, который я не считаю сумбурным: если бы Вы решились его напечатать, то два следующие за ним (о чем они, сказано в конце) я бы

написал с истинным удовольствием. Вас может смутить первая страница, газетная выписка — но я могу эту страницу так переделать, что даже имени газеты не будет и вообще будет рассказано только о слухе и сущности этого слуха. Вы все-таки хорошо бы сделали, если бы напечатали его: много у меня накопилось материала из провинц<иальной> печати, и он положительно укладывается сам собой в самые любопытные очерки. Неужели нельзя писать даже о газетном слухе? Ведь никакого официальн<ого> известия о нем не было, а сущность его ужасна. Относительно моих счетов с редакцией я буду писать Вам подробно. До крайности необходимо на некоторое время снять с себя бремя долга и путаницы в счетах. Если рассказ не годится и Вы будете опасаться продолжения еще 2-х очерков на ту же тему, то все-таки Вы припрячьте его. Видел Иоллоса, и он оставил во мне самое хорошее впечатление. Это все Вашей школы! Просто любо посмотреть. Ал<ександра> Вас<ильевна> уже в деревне, а я поеду на буд<ущей> неделе с Шурычем и девочками. Не напишете ли мне строчку — продолжать ли эти очерки? Тогда я на праздниках написал бы 2 следующих и было бы возможно,. отдав их все в распоряжение редакции и в уплату долга полностию, поговорить и о моем плане с моим документом. Вы прочтите только 1-ую главу очерка, — дальше уж нет ничего опасного. В первой же главе (3 стр.) Вы увидите, о чем будет дело, и можете мне теперь же сказать — продолжать или не продолжать.

У меня есть все *учение* того *сектанта* артиллерии шт<абс>-кап<итана> Ильина, процесс которого в Митаве был напеч<атан> недавно в «Рус<ских> ведом<остях>». В этом процессе капитан оказывается сумасшедшим, но уж то, что он судился за свое учение 47 лет, говорит, что за что-нибудь его судят. И точно, — сумасшедшим он начинается с момента, когда думает, что он *пророк,* посланник божий для проповеди учения, но самое учение положительно *оригинально, необыкновенно любопытно.* Я читал Иоллосу отрывки из этого учения, и он нашел, что оно достойно того, чтобы познакомить с ним читателя. Ни толстовщины, ни Христа, никакого ханжества нет. Все так умно, светло и так оригинально ново, как ни в едином сектантском учении

не бывало. Словом — совершенно особенное учение. Хотите ли, я напишу маленькую заметку, не больше 150 строк, и приведу только три выдержки из учения Ильина, каждая не больше как в 10—15 строк, и Вы увидите, как это неожиданно хорошо и ново.

Хорошо бы, если бы Вы черкнули мне строчку! Обрадовала бы она меня — скучно жить на свете, скучно.

Крепко целую Вас

Г Успенский.

А<лександру> Сер<геевичу> искренний привет и поцелуй.

249

В. А. ГОЛЬЦЕВУ

29 апр<еля 18>89 г., <Петербург>

Дорогой Виктор Александрович!

Опять я клянчу о деньгах! Сегодня 29 апреля, [1] а 1-го, 2<-го>, 3-го мне уж крайне будут нужны 200 р. Простите меня, пожалуйста, — я знаю, что я крепко намучил Вас своими личными делами, — но ведь дела-то какие ужасные у меня. Если бы можно выслать в понедельник, *векселем* чрез контору Юнкера, то, ввиду моего отсутствия из Петербурга, — нельзя ли написать его на имя моего брата *Ивана Иваныча Усп<енского>*, который ждет этих денег в Петерб<урге> и распорядится ими как надо.

Что же, дорогой Виктор Александрович, мои очерки? Будут ли они печ<ататься> в мае? Я очень желаю писать их, и матерьяла тьма-тьмущая. Не хотите ли дать им особое название, примерно: «*Своим чередом*» (обзор местной печати), т. е.: как одни яв<ления> жизни развиваются в зло, иные в добро, и какая между ними пропорциональность. Словом, это заглавие будет оправдано. Тогда первый очерк будет такой. Вместо: «От редакции» надо написать просто: «Примечание», а 1-я глава такая:

---

[1] В подлиннике описка: «мая». — *Ред.*

I — *Местная печать. — Деревенские раскольники. — Лжепоп Люцернов.* Ответьте мне, пожалуйста, — сбыточны ли мои мечтания насчет этих очерков? Они будут лучше того, что я мог бы теперь написать беллетристического, и, кроме того, полезны для меня, да и для читателя невредны. Если Вы напеч<атаете> их — то я сейчас же закончу 1-й очерк и приступлю ко второму и т. д. Необходимо как можно больше убавить редакционного долга. Летом я буду шляться «около дома» в Череповце и т. д., но осенью *обязан,* просто обязан уехать на 1 месяц за границу.

Ответа Вашего об очерках жду в *Чудове,* а деньги будет ждать брат в *Петербурге.* Мой глубокий и искренний привет Вашей супруге. Будьте здоровы.

Преданный Вам

Г Успенский.

250

С. А. РАППОПОРТУ

<3 мая 1889 г., Петербург>

Любезнейший г. Раппопорт!

Простите меня, что я мучаю Вас такими длинными промежутками в моих ответах. Измучили меня мои домашние хлопоты! Вот в кратких словах предложение Павленкова. Он напечатает Вашу книгу на свой счет, — причем желает, чтобы я написал к ней предисловие, что я охотно сделаю. Гонорара он Вам теперь не уплатит никакого, но, по покрытии расходов издания, предоставит Вам участие в чистой прибыли. Я об этом подробно не говорил, но знаю Павленкова как честнейшего человека и уверен, что он не возьмет чужой копейки напрасно. Если же книга не будет расходиться так, как бы желательно, то весь расход по изданию он берет на себя. Известное колич<ество> экземпляров Вы получите бесплатно по напечатании. Кроме того, он сам исправит язык, то есть вложит и свой труд в Вашу работу, так как язык Ваш не всегда правилен и, говоря по совести, требует переработки. Кроме хорошего из этого ничего

не выйдет. Печатать книгу будем летом, а в продаже появится осенью.

Напишите мне, согласны ли Вы на эти условия, и еще раз извините за медленность переписки.

Искренно Вас уважающий

Г Успенский.

251

В. М. СОБОЛЕВСКОМУ

Петерб<ург>, 3 <мая 1889 г.>

Дорогой Василий Михайлович!

Посылаю окончание и скоро пришлю последний очерк «Концов». Милый мой Вас<илий> Мих<айлович>! 200 руб. надобно бы мне немного раньше 15 мая, а так числа 10. Работать я буду постоянно, и долг редакции будет убавляться быстро. Теперь, по окончании «Концов», будут две статейки. 2-ая статья *«Не все коту масленица»*. Матерьял новый, любопытный. Всякий раз, когда накопится такой матерьял, буду писать статейку 3-ю, 4-ю и т. д. При малейшем просиянии ума, — напишу рассказ. Но я так измучился за послед<ние> годы и особенно месяцы, — что Вы некоторое время перемогитесь, я очнусь.

Жду № «Рус<ских> вед<омостей>» со статьей Михайловского. Я получил из Москвы превосходное письмо от неизвестн<ого> лица о Салтыкове и его смерти, подписанное *«Гимназист»,* но писал его не гимназист, а какой-то преумнейший человек, повидимому пожилой. Почему он прислал свое письмо мне? Он прямо говорит — кому послать? Успенскому! Видите, как надо быть строгим к себе, постоянно чуять «публику». Смерть М<ихаила> Е<графовича> напомнила мне о «настоящем» писателе и возбудила желание «опомниться», не интересоваться мелкими литерат<урными> дрязгами и временной литературной суетой сует. Может быть, я и опомнюсь.

Крепко целую Вас.

Г. Успенский.

252

В. М. СОБОЛЕВСКОМУ

<Начало мая 1889 г., д. Сябринцы>

Дорогой Василий Михайлович!

Посылаю Вам половину рассказа, который сегодня же надеюсь окончить. Если только одолею, то и другой привезу в Москву, который будет продолжением, но составит статью отдельную.

Этот оканч<ивается> вопросом: «Что будет?» (не «Что делать?», не «Как жить свято?» — этому уж не время), а второй буд<ет> назыв<аться>: «Что будет с фабрикой?», 3-й: «Что будет с бабой?»

Во 2-м очерке будут собраны все обещания «марксистов» о тех *превосходнейших временах,* до которых *должна* дожить фабрика. Это заим<ствовано> из переводн<ых> статей. *Что будет с бабой?* Также компиляция из разных статей, изображающ<ая> бабу как человека, который никаким образом не пропадет без мужика и все сделает и просущ<ествует> на б<елом> свете — одна и с детьми. Как и почему капитализм должен ее *(пока!)* в порошок растереть?

1-й очерк, кот<орый> прилагаю, объясняет, почему теперь нельзя задаваться вопросами: «Что делать» и т. д. и почему нельзя относиться к будущему иначе, как спрашивая его — «Что *будет?*».

Неужели я не уеду из Чудова? Дорогой Василий Михайлович, — я пропаду, пропаду окончательно.

Г. Успенский

253

В. М. СОБОЛЕВСКОМУ

<Начало мая 1889 г., д. Сябринцы>

Дорогой мой Василий Михайлович! Ехать мне оказывается опять делом невозможным — нет денег. Хотел я опять сесть за работу и написать последний большой очерк «Концов», — но, положительно, заело меня глубокое горе. Все дела только что кончились в Петербурге,

только что я выбрался из этого кипучего котла со свадьбами и свахами и смрадом, и оказывается, что мне нет возможности никуда поехать. Писать я положительно не в состоянии. Ведь нынешний год истиранил меня необыкновенно, истиранил на много лет. Уехать надобно, чтобы не вспоминать только того, что было с женой, не видеть ее со всеми следами болезни и нашего давнишнего несчастья. Да надо и работать. Сидеть в этом смертельно надоевшем Чудове или в литературном петерб<ургском> кружке, занимающ<емся> сплетнями, — положительно мне невмоготу. Мне надобно вновь внимательно видеть жизнь, от которой меня понемногу отбивали семейные горести и от которой окончательно отбила 6-тимесячная болезнь жены. Я пропаду без свежего воздуха и без возможности одуматься, сообразиться — что делать? О чем писать?

Посмотрите, как стали набрасываться на меня всякие газетные собаки, увидя, что я ослаб, что пишу не воодушевленный каким-нибудь искренним побуждением. Чем я исцелюсь от этого расслабления, как <не> поездкой, но такой, чтобы *не работать* в это время, не сидеть за столом. Не можете ли Вы выручить меня из великой беды? Ведь у меня есть мои деньги, и пока немало, — но вот я не могу иметь возможности истратить на себя собств<енно> рублей 300, чтобы восстановить свою потребность быть внимательным к жизни, а не подыхать от беспрерывного внимания к несчастьям моей личной жизни. А я обречен подыхать. Подумайте, дорогой Василий Михайлович! Если из 1600 р. я получил только 400 (а 200 из конторы), то ведь могу же я попросить выдать мне еще 300 р.? Эти деньги вдвойне воротятся осенью (летом я не могу писать); если даже мне выдано и все 600 из моих, — то и тогда нет причины не ссудить мне эти 300 руб. Опять-таки они мне необходимы до крайности. Семья не будет нуждаться все лето; 1-го июля она получает % с 10 тысяч — 250 р., и теперь она ни в малейшей степени ни в чем не нуждается. Деньги ушли все в нее; все сшито на лето, куплено, все заплачено и в городе и в деревне. Если бы они и вовсе не имели копейки хоть до августа, — то это ровно ничего не значит, все здесь дают в долг. Да нет в этом надобности никакой. Но я могу только пропадать здесь и иметь

в перспективе ту же петерб<ургскую> квартиру, которую я только что оставил. Я Христом-богом прошу Вас, если можно, не дать мне пропасть. 300 руб. ведь обеспечены [1] не подлежащей сомнению уплатой. Михайловский на днях будет в Москве, Кривенко уехал в Сибирь, Ярошенко в Париже, — я только обречен иссыхать в обстановке, которая только меня пугает, и сам должен на всех производить тяжелое впечатление. Ведь есть же у меня деньги, зачем же мне подыхать? А я пропаду, дорогой Василий Михайлович, пропадаю и пропаду!

Если бы можно было числа до 10 (и то ужасно долго) получить 300 р., я бы немедленно уехал в Череповец, где меня ждут, чтобы рассказать всю историю закрытия земства. Там шла борьба земцев васильчиковского воспитания с кулаками рыковского типа. Кончилось закрытием земства. Оттуда я имею много приглашений и, наверное, съездил бы туда не без пользы для себя и для работы. Путь туда новый: по каналам, мимо Белоозера, по Шексне, а оттуда по Шексне, по Волге до Рыбинска или Ярославля. Тут все ново для меня, и я бы очнулся, почувствовал бы интерес к жизни, чего теперь во мне нет, исключительно под непрестанным гнетом личных несчастий всей зимы и весны (я это предчувствовал давным-давно), а ребята смотрят на меня скучного и сами скучают.

Если бы это можно было сделать, то надобно было бы послать деньги по петербургскому адресу, а меня в Чудове известить по телеграфу только о том, что послано. Тогда я прямо из Петербурга, не заезжая в Чудово, прямо сел бы на шлиссельбургский пароход. Зовут и в Або смотреть народные ремесл<енные> училища.

Но если этого сделать нельзя, то я положительно не знаю, что мне делать и как быть. Слишком долго я жил уединенной жизнью, покоряясь необходимости не раздражать Ал<ександру> Вас<ильевну> моими личными знаком<ыми>, которые ей были не нужны. Слишком долго я кис в литературных петербургских кружках. Н<иколая> К<онстантиновича> спасала его воля. Я не мог не чувствовать омерзения и желал бы исцелиться хоть от его части. Два месяца не поездки, а более или менее близких отношений с людьми всякого звания (как

---

[1] Далее две строки вычеркнуты. — *Ред.*

было бы в Череповце), как голодного волка, насытили бы меня живыми впечатлениями. И если это будет невозможно, — пропаду я, дорогой Василий Михайлович, пропаду. Но Вас в этом не обвиню; нельзя — нельзя. Я ценю Вас, как дорогого мне человека, и так, и без денег каких-то. Нельзя — так нельзя.

Буду сидеть теперь в Чудове.

Крепко целую Вас. *Г Успенский.*

254

В. М. СОБОЛЕВСКОМУ

<8 мая 1889 г., д. Сябринцы>

Дорогой мой Василий Михайлович!

Сегодня ночью я получил Вашу телеграмму и уж не мог заснуть. Может быть, я очнусь во время поездки *и начну понимать мое будущее положение?* Я положительно в отчаянии от пережитого в прошлом году: я просто *потерял самого себя.* Всего не расскажешь.

Посылаю очерк, но боюсь, что он не понравится Вам; вторая половина и мне не совсем по душе. Но вы можете выбрасывать, что следует. Примечание можно выбросить. Глав не надо, только——. Второй будет лучше, дельней и третий. Но сейчас продолжать не могу, немного, две недели, не буду и думать о чернилах. Переписать не одолел, но приклейки и поправки старался делать так, чтобы не трудно было разобраться.

Деньги, т. е. талон на них, *пожалуйста, вышлите в Чудово;* я напишу дов<еренность> брату, и он съездит в Питер. Я устал по этим ж<елезным> дорогам мыкаться. И поеду с Волхова, по Волхову в Новую Ладогу прямо на Лад<ожский> канал. Немного ближе.

Весь этот фельетон идет в уплату полностию. Если *моих* денег остается 900 р., то мне бы надо разделить их так — в августе 100 — и затем сент<ябрь>, окт<ябрь>, нояб<рь>), дек<абрь> 200 в месяц. Все, что напишу до августа, — *все полностию в уплату редакц<ионного> долга;* а с августа нельзя ли мне выдавать *половину* гонорара, *а половину* в уплату.

Если же моих денег осталось 700 р. (т. е. 200 присланы из конторы) — то опять же 100 в августе и по 200 — сент<ябрь>, окт<ябрь>, ноябрь.

Что Николай Константинов<ич>? Ему хорошо жить на свете! Александр Сергеич? На обратном пути я увижу всех.

Вовек не забуду Вашей телеграммы. Нищ я духом до невозможности.

Всем сердцем Ваш

Г. Успенский.

Понедельник.

255

В. Ю. СКАЛОНУ

13 мая <1889>, Вас<ильевский> Остр<ов, 7 л<иния>, д. 6, кв. 4

Дорогой Василий Юрьевич!

Не знаю, получили ли Вы мою записку? Если нет, то вот о чем я писал Вам. Автор рукописи о тюремн<ом> вопросе, — ни под каким видом не желает, чтобы *его имя было кому бы то ни было известно.* Он прямо говорит — *тогда я лишусь куска хлеба.* Он даже переписывался со мной чрез другое лицо. Ввиду этого убедительно прошу Вас прислать мне (а может быть и заглянете) первый лист (программа или оглавление) и последний. Там его фамилия. Если кто-нибудь у Вас увидит, узнает это лицо, — отвечать буду я; а он, повтор<я>ю, умоляет не открывать имени. Рукопись может быть у Вас долго, но эти две странички, пожалуйста, возвратите мне. Я пробуду в Пет<ербурге> до понед<ельника>.

Крепко жму Вашу руку.

Г Успенский.

256

А. Ф. САЛИКОВСКОМУ

14 мая <18>89 года, ст. Чудово, Ник. ж. д.

Крайне опасная болезнь моей жены, продолжавшаяся непрерывно в течение четырех месяцев, — вот причина, почему я до сих пор не мог не только ответить на Ваше

письмо, но даже не мог его и прочитать. Буквально не было минуты, чтобы хоть известить Вас о невозможности исполнить Ваше желание. Искренно прошу у Вас извинения и надеюсь, что Вы не будете на меня сетовать, если я, пользуясь первой свободной минутой, отвечу на Ваше письмо не так подробно, как бы Вы этого желали и как следовало бы ответить.

На мой взгляд, Ваш труд непременно был бы напечатан и прочитался бы с большею пользою, если бы Вы ограничили его содержание двумя только главами, именно *второй* и *третьей*. Здесь толково, дельно и тщательно очерчено дело современного интеллигентного человека. Вопросы личные и общественные объединены прекрасно, вполне постижимо для целой массы даже и таких людей, которые, будучи образованными, однако не в силах выяснить свои мысли о личном и общественном деле. В третьей главе подробнейшим образом указаны все роды общественной деятельности, возможные в настоящее время. Словом, то, что трактовалось разрозненно на тысячи ладов в тысячах статей и книг, писалось десятками тысяч перьев, все у Вас переработано так сжато и толково, что личные и общественные обязанности современного интеллигентного человека могли бы быть широко популяризованы и среди той огромной массы людей просто образованных или даже просто грамотных только, которые теперь чувствуют лишь тяготу жизни и не знают, что с собою делать. Теперь именно такое время, когда человеку грамотному нужно указать его обязанности к самому себе и обществу. Такая популярная статья, *предоставляя каждому свободу выполнять лежащие на нем обязанности,* была бы только в высшей степени полезна для общества.

Но вы не ограничились указанием интел<лигентному> обществу его обязанностей, многосложности и разнообразия обязательной для него деятельности, — словом, не ограничились напоминанием ему того, что оно забыло и в размышлениях о том запуталось и сбилось с толку. Вы, мне кажется, еще более сбиваете его с толку постоянным указанием на *«существующее положение»*, на *существующие обстоятельства* и как бы рекомендуете действовать так, чтобы деятельность интеллигентного человека не касалась, не трогала этих обстоятельств. Вы определяете Ваш *минимум* такими чертами:

«Нам кажется, что в этическом отношении *удобство*(!) этого *идеала* заключается именно в том, *что, будучи меньше по размерам* (ибо он есть минимум) *и не устраняя идеала более высокого, он имеет пред последним практическое преимущество*(!) своею очевидностью, обязательностью, так сказать, арифметическою ясностью» (№ 1).

Затем, ниже, вы прибавляете к удобствам идеала еще такую черту:

Этот определенный и точный характер идеала, *снимая лишние нравственные путы с личности.* (№ 2).

И, наконец, совершенно неожиданно возносите этот минимум до небес:

Заметим лишь, что наряду с текущими, так сказать, обязанностями у личности есть еще великая обязанность — искупление прошлого (№ 3).

Каким образом можно понять это постоянное соединение несоединимого:

(1) Идеал удобен потому, что (2) *мал по размерам,* потому, что (3) снимает *лишние* путы нравств<енные>, (путы! даже не обязанности...) и, в-4-х, он не просто минимум. И в то же время этот же самый минимум 1) не устраняет идеала более высокого, 2) в нем таится *великая обязанность — искупление прошлого!*

А затем опять:

Минимум, малый по размерам, имеет уже прямо *преимущество* пред *высоким идеалом* («имеет пред последним практическое преимущество»).

Все это можно понять как *успокоение* для *интеллигентного* (!) *человека* (!), которому, вероятно, Вы и сами хорошо понимаете, не сладко съеживаться до Вашего минимума. Вы соблазняете и *удобствами* (!) *идеала* (!), и малыми размерами, и тем, что *лишние нравственные* путы будут сняты с его личности, — но зная, что интеллигентный человек не может слушать этих увещаний без некоторого неприятнейшего нравственного ощущения, Вы его уверяете, что минимум *не устраняет и идеала более высокого* и что в нем таится *великая обязанность — искупление прошлого.*

Между тем на каждом шагу Вы все эти *великие идеалы* искупления изображаете, как задачи совершенно непрактические, и на каждом шагу твердите *интеллигент-*

ному человеку, чтобы он принял во внимание *существующие обстоятельства, существующее положение,* да не касаясь их, и действовал бы на общее благо.

Принимать во внимание, пишете Вы, *существующее положение и из него исходить в реализации своих стремлений и целей,* — это не только не фантастический, но, кажется (?), наиболее основательный путь для всякого практического дела. Не фантазией ли будет противоположный путь — *игнорировать данные обстоятельства и требовать от интеллигенции перемены своей деятельности без всякой помощи* (№ 4).

Я здесь не понимаю уж, что такое и *интеллигенция.* Оказывается, что и над нею висит кто-то, кто *требует* от нее чего-то и не помогает. Я всегда понимал *интеллигентного человека* (такого *сословия* нет) именно как такого, который *сам обязан требовать* перемен в окружающем положении, так как он потому и *интеллигентный,* что окружающее положение составляет его личную печаль. Мужик Сютаев не запирает амбара, и тем не вводит бедных людей и в грех воровства: «бери, когда нужно»; это его принцип, которого от него никто *не требует,* тем более в практическом применении; все сютаевские соседи запирают амбары, и если чего и требуют от Сютаева, то именно того, чтобы и он запирал. А он, как интеллигентный человек (этот тип *человека* не составляет сословия), убежденный в неправде таких отношений к ближнему, переводя это убеждение в реальное дело, не запирает — поступает вопреки *требованиям* среды, поступает в смысле несогласия с *окружающими обстоятельствами и положением дел.*

В 3-ей главе Вашего труда Вы указываете на земство, городское управление, сельский сход как на органы практической деятельности на пользу народа. Представьте себе, что Вы вступаете в земство или в городское управление, или на сход с Вашим *удобным идеалом,* с этим минимумом и прежде всего из *практических целей,* — т. е. во имя якобы реального дела, — прежде всего оглядываетесь и принимаете во внимание *существующие обстоятельства и существующее положение.* Но, к Вашему изумлению, окажется, что заседающие в земском собрании земцы давно уже *подобраны* из тех самых минимумов, которые и думать уже не смеют о каком-нибудь

самоуправлении, отлично знают, что значит идти против «окружающих обстоятельств», и уже не хотят идти против них, исполняют, что прикажут, и довольны, что за это дают деньги.

Опыт жизни лучше всяких *теорий* научает наше общество ничего не делать и всего бояться. Писать для этого трактаты, уговаривать его, чтобы оно не фордыбачило, нет ни малейшей надобности. Даже волостной писарь в деревне так утихомирит «интеллигента», как нельзя лучше, без всяких программ и доктрин. По части приведения в «минимум» человека деятелей у нас (да и везде) видимо-невидимо, и вырабатывать их еще теоретически да и к тому ж якобы «на пользу народа» — это дело прямо противуобщественное.

Таким образом, широкая картина обязанностей интеллигентного человека пред народом и указание средств их реализации (точные и дельные), составляющие содержание главы второй и третьей, могли бы сделать большую пользу обществу, осветив, расширив и, главное, точно и просто определив предстоящие ему общественные задачи. Это у Вас сделано прекрасно, но в то же время, быть может, просто гуманное желание *оградить интеллигентного человека от неудач и страданий — чему были примеры* — заставляет Вас на каждом шагу делать ему предостережения, окорачивать его мысль, убавлять нравственные обязанности (*лишние* нрав<ственные> путы), словом, всячески стращать его свободу мысли и действий *окружающею действительностью.* Это совершенно непостижимое явление в произведении, трактующем о благе народа.

Г Успенский.

257

В. А. ГОЛЬЦЕВУ

СПб., 18 мая <18>89 г.
В. О., 7 л., д. № 6, кв. 4

Дорогой Виктор Александрович!

27 мая оканчиваются экзамены, и тогда не хотелось бы оставаться в Петербурге ни одной минуты. Но по уговору нашему деньги 200 р. я просил выдать в начале июня, так как было сказано мне, что экзамены окон-

ч<атся> числа 3—5. Сделайте милость, не дайте мне напрасно томиться в этом раскаленном аду и пустой квартире без всякого дела. Я должен немедленно ехать в Череповец, куда меня зовут настоятельно. Я уж перечитал о нем много всяких писем и осенью буду писать посв<ященные> этому *делу* очерки. Между тем, если еще приехать нарочно в Петербург в июне, — и денег и времени трата напрасная. Корректуру жду: если она в Чудове, то будет здесь в тот же день. Если бы было можно выслать деньги к 28 мая, — я бы был глубоко благодарен Вам и вместе с моим гимназистом — шмыгнул бы в деревню, откуда я дня через два шмыгнул бы в Череповец.

Вышла *о Саратовском расколе* хорошая книга некоего Соколова. Правительственные мероприятия он не боится именовать *«самые нелогичные, неудачные и дышащие нетерпимостию»,* а ведь книга с разреш<ения> цензуры. И он также догматическую сторону раскола, равно как и полемику с ним, — оставляет в стороне. Словом — много нового в этой книге и смелого. Не бойтесь печатать и моего очерка, особливо, когда я его исправлю.

Простите, Виктор Александрович! Но, пожалуйста, не откажите мне в моей просьбе. Для редакции 200 р., посланные раньше или позже, все равно не могут иметь в каком-нибудь отнош<ении> значения, — а для меня это очень важно. Приехать нарочно за деньгами — это значит потерять руб. 15, не меньше, а мне положительно дорога каждая копейка. Поездка необходима.

Простите еще раз.

Преданный Вам *Г Успенский.*

258

А. С. ПОСНИКОВУ

<25 мая 1889 г., Петербург>

Дорогой, милый Александр Сергеевич!

Как я рад, что получил Ваше письмо и что Вы опять в Москве. На днях, очень скоро, я Вас увижу — поеду чрез Ярославль в Рыбинск, а оттуда по Шексне

в Череповец: зовут земские деятели, хотят рассказать всю историю *закрытия* земства. Ведь этого еще нигде не случалось, не было еще такого полного «окончания». Череповецкое земство началось в тоне Васильчикова (он новогородский) и одновременно в тоне Рыкова, — и благодаря этим двум течениям пришло к теперешнему состоянию. Фактов и для одного и для другого течения много, а расскажут еще больше.

Выдрал я из статьи не 200, а 397 строк, но их необходимо было заменить. Чтобы не вычеркивать и не пестрить вставками и пр<очее>, я написал вновь в самом кратком виде о том, что было на зачеркн<утых> полосах сказано. Можете и сами драть эти новые страницы по мере надобности.

Так увидимся, ангел мой, Александр Сергеич! Радехонек я, что увижу Вас!

Г. Успенский.

<*На обороте:*>

Дорогой Алек<сандр> Сер<геевич>!

Я еще посократил переделку, но восстановил на 1-ой полосе один «куплет», который очеркнут и обозн<ачен> «это надо опять» или что-ниб<удь> такое. Те корректурные поправки, которые надобно восстановить, отмечены карандашом.

Скорехонько увидимся!

Г Успенский.

<*Ниже приписка:*>

Милый мой А<лександр> С<ергеевич>!

Если этот фельет<он> напеч<атаете> в воскресенье, то, пож<алуйста>, возьмите *половину гонорара,* а ост<альное> в уплату долга за него и сохраните у себя до моего приезда. Это не будет противоречить уговору с Вас<илием> Мих<айловичем>, тем более что я привезу последн<ий> VIII очерк «Концов», кот<орый> весь пойдет полностью в долг. У меня *там* есть еще оч<ень> много *моих* денег.

Г Успенский.

259

К. А. ВОЕВОДИНОЙ

<Около 30 мая 1889 г., Петербург или д. Сябринцы>

Клеопатра Алексеевна! Я был положительно потрясен Вашим письмом о брате, который не попал в 1-ю партию. Могу Вас уверить, что если я говорил Вам, что дело Вашего брата будет сделано, как он желает, — то только потому, что лица, которые обещались хлопотать, уверяли меня в этом, говорили мне: «Передайте сестре г. Воев<одина>, *что все будет сделано»*. Даже так: «Все сделано!» Вводить Вас и Вашего брата, больного и измученного, в еще более ужаснейшее положение, чем оно было, — значит быть палачом. Я не палач и, если говорил Вам о брате и его деле, то только потому, что меня уверили, что дело уже сделано.

Когда пришло Ваше письмо, я положительно обомлел и бросился хлопотать сам. В тот же день получено было и передано мне известие из самого достоверного источника, что о Вашем брате не окончено еще и *следствие.*

Скажу Вам еще: когда Вы сказали мне о брате, я попросил написать Вас в коротк<их> словах его дело. Все Ваши письма, все это было передано в руки тех, кто брался хлопотать и кто уверял меня, что «дело сделано». Здесь все было известно о Вашем брате, и где и как ведется это дело. Словом, никогда бы я не посмел сказать Вам, что просьба Ваша исполнена, если бы меня не уверили в этом.

Бога ради, снимите с моей души тяготу и му́ку за Вас и брата Вашего мученика. Я сам измучен этой неожиданностью до невозможности.

Имейте в виду, что выражение *«следствие не окончено»* — значит, что оно не поступало к министру, как Вы мне писали. Так мне говорят, но я еще раз прошу Вас написать мне в деревню *все подробно* и то, что вполне *достоверно* Вам известно о Вашем брате. И как можно скорей.

260

В. В. ТИМОФЕЕВОЙ-ПОЧИНКОВСКОЙ

<30 мая 1889 г., д. Сябринцы>

Варвара Васильевна! Сейчас, т. е. сегодня, только в Чудове дочитал я Ваш роман, прошу Вас извинить меня, что я так долго задержал его — я утомлен до невозможности.

Вот что я скажу Вам о нем пока в 2-х словах. Сколько помнится, Вы сказали, что «Пошех<онская> стар<ина>» Салтыкова дала Вам план и вообще навела на мысль написать такую ж хронику из Ваших воспоминаний. Но вот в чем большая разница, которая с первых строк вредит Вашему произведению. Салтыков пишет от своего *я,* но, обратите внимание, заслоняет ли он этим *я* то, что описывает? Нет. Его *я* едва заметно. Это *я* постороннее, это посторонний наблюдатель, и той средой, в которой это *я* живет, никаким образом самого Салтыкова объяснить нельзя. Похож ли он на этих уродов? Словом, *я* Салтыкова не имеет интереса в его очерках, имеют интерес лица, которых он изображает.

У Вас не так: Ваше *я* с первой же строки обязывает читателя ставить на первый план, т. е. Вашу героиню Татьяну. Она, ее психическая жизнь — вот главная тема, и только для объяснения духов<ной> жизни этой героини обрисовано все остальное. Но если бы Таня была лицо типическое, как Елена Тур<генева>, Софья Гонч<арова> и т. д., то есть лицо, определенно выдающееся в массе человеческого хлама, лицо знаменующее «признак времени», — тогда дело другое, — но Татьяна не такое лицо, которое могло бы заставить читателя сосредоточивать на ней так долго свое внимание, и вот почему, будучи главным действующим лицом, она затмевает, прерывает интерес, который Вы возбуждаете в читателях к типам Пошехонья.

Если бы вы низвели свое *я* до размеров *я* Салтыкова, т. е. <смогли> не мешать читателю видеть множество типов, и если бы Ваше *я* только помогало их видеть лучше, — тогда бы у Вас образовался ряд отличных очерков о пошехонских девицах и дамах. Ведь у Салтыкова каждая глава посвящена всегда какому-либо одному типу, причем он в этой главе весь исчерпывается. У Вас

множество типов разрезано страницами о психологии Татьяны на куски. Даже в 3-й части, напр<имер>, еще не ясен образ матери, ее сестер и т. д. А между тем типов женских тьма, и все они до выс<шей> степени любопытны. Затем времена освоб<ождения> крестьян изображены слабо, мало. Пожары то в 61, то в 63 и освоб<ождение> (праздник в инст<итуте>) 63. Такой тип, как Ретивцева — какой прекрасный — не дописан, — а его надо бы тогда же весь закончить, если Вы только потом встречали ее. Самую Таню Вы могли бы сделать предметом отдельного очерка и, как посторонняя ей, изобразить особо. Это вовсе не трудно. Читатель поймет Ваше горе, когда отец бьет брата, — если даже Вы о своих чувствах и о влиянии этой сцены на Вас скажете едва несколько слов. Читатель *сам* хочет чувствовать, читая автора, — Вы же вредите впечатлению его, тотчас заставляя чувствовать, как чув<ствовала> Таня. Салтыков этого не делает, своих страданий не навязывает читателю, а рисует окруж<ающее> и говорит, — пойми и подивись. Вот, я думаю, и Вам надобно переработать Ваши очерки в этом направлении. Уверяю Вас, что с первой строки, где упоминается *я*,— читателю станов<ится> скучно. «Детство и отрочество» даже Толстого — когда его стали понимать? Оно прошло замеченное десятком знатоков, — а уж потом разобрали Толстого, когда он оставил свое *я*. А<поллон> Гр<игорьев> написал о нем 1-ый статью в ряду статей: *«Явления, забытые русской критикой»,* и это было в 62—64 году. А Толстой писал с 47. И главное, Вам надобно сосред<оточить> внимание *на женщинах. Мужчина* изображен и так хорошо.

Ваш роман на этих днях привезет в Петерб<ург> мой посланный. Но необходимо знать Ваш адрес. Изв<естите> в Чудово.

Г Успенский.

261

В. А. ГОЛЬЦЕВУ

<Начало июня 1889 г., д. Сябринцы>

Дорогой Виктор Александрович!

Кажется мне, что обзор мой не будет по душе ред<акции> «Русск<ой> мысли». Сделайте милость, —

скажите по совести и не стесняясь моим желанием. Если так, то вот что бы я просил Вас сделать на общую пользу.

1) Не печатать этой части обзора, — и прислать мне еще ее оттиск.

2) Приняв во внимание матерьял этого первого очерка, я бы много дополнил его новым, особливо компилировал бы отличную книгу, кот<орая> только что вышла, «Раск<ол> в Сарат<овском> крае», и такую компиляцию приготовил бы к августу, под тем же названием или «Раскол в поволжских деревнях». А затем и другие матерьялы также отдельными статейками с припиской (по материалам местной печати) — в год раза три-четыре доставлял бы.

Если же Вы не прочь печатать и так, как есть, — то и этому я рад.

Преданный Вам

Г Успенский.

262

В. В. ТИМОФЕЕВОЙ-ПОЧИНКОВСКОЙ

<Начало июня 1889 г., д. Сябринцы>

Нет, Варвара Васильевна, мне кажется, что мое письмо к Вам не произвело на Вас никакого другого впечатления, кроме неприятного. Между тем желание мое было, чтобы труд Ваш не пропал даром и, во-вторых, чтобы матерьял, которым Вы располагаете, задача, которую преследуете, — были бы выражены в формах, как бы сказать, в формах наиболее *внимательных к читателю.* Вы пишете из желания сказать людям то-то и то-то, желаете осветить их сухие сердца и темные мысли светлой идеей веры. Потрудитесь же, примите ж на себя трудное дело войти в положение читателя и, принимая это положение во внимание, — скажите ему то, что вы думаете *так,* чтобы слово Ваше подействовало на него. Вы пишете для общества, которое утратило веру. Надо крепко думать о нем, чтобы Ваши слова подействовали на него. Не о том, что Татьяна скучна, — писал я Вам, но о том, что в 3-х частях она не выяснена, а ведь только в конце 3-ей части видишь

еще начало ее жизни. Я писал также, что Вы точно так же, как и теперь от своего же *я* — могли бы изобразить Татьяну, — с объективной точки зрения, и тогда вся она могла бы быть ясна и типична. Если бы Вы собрали все черты (т. е. главнейшие и ее типичности) по возможности воедино. Не подражать Салтыкову рекомендую я Вам, — а обратить внимание на силу впечатления, которое одно и то же явление жизни может увеличить и убавить, смотря по тому, как это явление пересказано. Вы пишете, что с утратою *религии и веры в бессмертие души исчезает и великий смысл жизни и наше общечеловеческое родство, исчезает взаимное понимание и искренняя любовь к существу человеческому и что выморочные поколения воскреснут, когда вспомнятся забытые слова.* Каким родом это может случиться, если писатель, желающий воскресить эти забытые слова, наше общечеловеческое родство, сам не руководствуется этой идеей при изображении всех «выморочных» — с «любовью к существу человеческому». Каким образом Вы с такими большими целями могли написать в Вашем письме, что «пошехонские дамы и девицы» — это *канва, без которой не было бы узора,* и потом насчитали целую тьму козлищ, которые как будто бы не имеют с овцами никакого «человеческого родства». Вы выбрасываете за борт целое полчище, хотя бы и не верующих, но все-таки *людей* в целях восстановить «взаимное понимание» между этими людьми. Я не так смотрел на Ваш роман; я видел множество несчастнейших людей и особливо женщин, раздавленных и испачканных именно всем строем старины. Не скрывая ни одной, даже скверной черты своих пошехонцев, Салтыков смотрел на них именно, *не забывая ни на минуту забытых слов,* и поэтому для канвы и узора у него нет ни одной фигуры, ни одного человеческого лица, хотя бы он и изображал уродов и зверообразных тварей. Вы же, не выяснив идеи на протяжении 3-х частей до должных размеров и важности ее, сами приводите из Салтыкова *только одну строчку,* которая Вас вдохновила, и сами в трех строках письма высказываете Вашу задушевную мысль с полной ясностию. Я и думаю, что, держа в себе эту идею крепко и руководствуясь ею (взаимное понимание и искреннюю любовь к существу человеческому) в изображении канвы, — Вы бы сделали Ваши очерки

предметом серьезнейшего внимания литературы и общества и вообще всякого человека, который хочет правоты, вспомнить забытые слова.

Г. Успенский.

263

С. Г. РЫБАКОВУ

Чудово, 8 июня <18>89 г.

Милостивый государь
Сергей Гаврилович!

Из письма Вашего я узнал, что Вы и некоторые из Ваших товарищей и случайных знакомых, *изучая* мои сочинения, пришли к прискорбному выводу, что я как будто бы *«проповедую шествие назад, к прежнему мраку, невежеству, грозящему остановкой цивилизации».* Оказывается, что такое мнение о моей литературной деятельности имеют даже такие люди, *которые пока еще держатся мнения о полезности и необходимости благ культуры во всем их объеме для народа.*

На такие недобрые о моих лит<ературных> работах мысли навело Вас только *одно место,* именно цитата из Л. Н. Толстого, т. е. пять-шесть строк, принадлежащих *не мне.* Не только объяснение этой цитаты с моей точки зрения, которое тотчас же за сим следует, Вы не приняли во внимание, но не обратили внимания и на смысл всей главы, в которой находятся не одна, а две цитаты из Толстого. Не обратив на все это внимания, Вы, приводя цитату *чужих слов,* прямо переходите к обвинению меня и пишете: «*Уже приведение* этой цитаты» и т. д. вплоть до упрека и подозрения в распростр<анении> невежества и т. д. Что бы Вы сказали, если бы и я, не обратив внимания на то, что побудило Вас написать мне письмо, ограничился бы тоже только цитатой Толстого, которая находится в Вашем письме, и ответил бы Вам, что в Вашем письме есть *одно место,* которое и т. д. Затем привел бы эти строки Толстого и тотчас же продолжал бы как у Вас: *«Уже приведение* этой цитаты» и т. д. Вы поступили со мной именно так.

Вся глава, в которой нах<одятся> 2 цитаты из Толстого, трактует не о мужике, не о *простом народе, а о че-*

ловеке вообще, т<ак> сказ<ать> об *идеальной человеческой личности,* почему в самом начале главы и сказано, что глава эта *«пишется на основании выводов и наблюдений, сделанных уже другими русскими писателями; так что предлагаемый очерк есть работа компилятивная»* (стр. 815, строки 9—14 сверху). След<овательно>, глава эта *теоретическая,* пытающаяся, *на основании набл<юдений> и выводов других* русск<их> писателей, определить, во-1-х, наибольшую *полноту* личного существования *человека вообще* и, во-2-х, те общественные условия, при которых полнота личн<ого> сущ<ествования> может быть наименее стесняема. Этот, т<ак> ск<азать>, *идеальный тип человека* необходимо определить именно ввиду распределения культурных благ. Вы полагаете, что они полностью нужны *для народа, для мужика.* Я полагаю, что они нужны *для всякого человека.* Телеграфист, углекоп, кочегар, проститутка и т. д. — несомненно *люди и несомненно необходимы в строе культурного общества.* Оно не может существовать без проституции. Вы не можете не видеть этого, так же как и без кочегара, без тюрьмы, без театра, без целого ряда разнородных профессий, которыми и держится современный культурный строй, Каким образом Вы, желая дать «культурн<ые> блага» — мужику, народу, — не думаете дать их телеграфисту, проститутке, углекопу? И можете ли Вы дать их в настоящее время эти «культурные блага» всем этим *разновидностям* человека, на котором зиждется культурный строй жизни. Как Вы сумеете возвысить имя несчастного сапожника, без которого, однако, не можете обойтись, портного, кухарку, кучера, швею? Все они замучены своим однообразным делом в Вашу пользу. Или только *мужик* достоин внимания, а все то, что держит строй культурной жизни и что понятия *не может* иметь о культурных благах (которые созидает), все это должно остаться так, как есть?

Я этого не полагал, я писал о *человеке,* видя его во всяком человеке культурного и некультурного общества. Ввиду именно того, что общество культурное не дает культурных благ *людям,* которые их созидают, и является наст<оятельная> потребность определить такие обществ<енные> условия, при которых *человек* мог бы пользоваться этими благами, то есть *не стеснять полноту проявлений своих личных свойств и качеств.*

Ввиду этих целей я и заимствую у Н. К. Михайлов<ского> *общую формулу прогресса* как *личности* человеческой, так и *общества,* в кот<ором> она *наилучшим для себя обра<зом> может проявлять полноту существ<ования>.* Теоретическая формула такова (стр. 816):

«Нравственно, разумно, справедливо и полезно только то, что уменьшает разнородность общества (профессор, сапожник, телеграфист, музыкант и т. д.), *усиливая тем самым разнородность отдельных членов общества»,* т. е. личное разнообразие проявлений качеств и свойств человека.

Человек, так ск<азать>, желает жить в обществе, где бы все его члены жили *однородною* жизнью с ним (поэт и кочегар не поймут друг друга), и чтобы каждая личность жила *разносторонним проявлением своих свойств и качеств.*

Такова *теоретическая* формула идеальной челов<еческой> личности. *Реальный образчик* этого образца жизни — народная среда:

1) *Разнородности в обществе нет,* все крестьяне, и все живут в одних условиях труда.

2) *Разнородность в личной жизни — огромная;* крестьянин *сам удовлетверяет всем своим потребностям* (цитата из Толстого) и, след<овательно>, живет *многосложной личной жизнью.*

Таким образом, крестьянин берется здесь как *образец* разносторонности личной жизни и *однородности* общественной.

Для *доказательства* этой *разносторонности личной жизни вообще,* идеальн<ого> челов<еческого> типа и приводится из Толстого две цитаты.

1) «Весь народ, всякий русский человек назовет *богатым* степного мужика, со старыми одоньями хлеба на гумне, никогда не видавшего *заработной платы,* и назовет *бедным* подмосковного мужика в ситцевой рубахе, *который* постоянно получает высокую *заработную плату».*

Т. е. чтобы нуждаться в заработной плате — надобно уже не иметь возможности *самому* удовлетворить *всем своим потребностям* — т. е. *убавить разносторонность* своей личной деятельности, взявшись за наемный *однообразный* труд.

В этой цитате приведена *материальная причина* упадка разносторонности личной деятельности *человека*; во второй цитате приведена причина, истолковывающая нравственный упадок *человека,* упадок его духовной деятельности.

2) «Чтобы человеку из русского народа полюбить чтение Пушкина или Соловьева, надобно перестать быть тем, чем он есть, т. е. *человеком независимым,* удовлетворяющим *всем* своим потребностям». Тотчас же я и объясняю эту цитату *так, как я ее понял,* и говорю:

Пушкин и Соловьев здесь поставлены *только как признак нужды духовной,* которую, оказывается, невозможно удовлетворить *самому,* как в предшествовавшем примере (зараб<отная> плата) *указаны признаки нужды материальной* (т. е. признаки утраты разносторонности от материальных причин). Цитата эта приведена, таким образом, для указания причины, при которой *человек* теряет в нравственном отношении; причина эта: *утрата собственной способности к самостоятельному творчеству, к самостоятельной работе мысли* — присущих *типу* идеальн<ого> человека.

То, что мы, люди культурного строя, в нравственном, духовном отношении, *удовлетворяем* при помощи Шекспира, Пушкина, Гомера, — то удовлетворяется <в> образов<ании> тем<ного> *человека — самобытно, самостоятельно, собственным творчеством.* Народные сказки, легенды, былины, народные сказания *созданы народом самостоятельно, собственным творчеством, без участия Пушкина, Гомера, Шекспира.* Мотивы песен, былин — т. е. музыка, песни, былины — *созданы народом самостоятельно,* без участия Бетховена, Глинки. Напротив, начало поэтического, музыкального, технического твор<чества> исходило из народных масс, масс темных, и вырастало из этого корня. Бетховен, Пушкин, Глинка, Шекспир — получили силу именно в народном самобытном творчестве. Впрочем, это частность, — а вообще: *нужда в чужой духовн<ой> помощи* в идеальном человеке *удовлет<воряется> самостоятельно.*

Ни Н. К. Михайловский, который действ<ительно> изучал мои книги, ни О. Ф. Миллер, который написал о них книжку, ни М. Е. Салтыков, который читал, будучи ред<актором> «От<ечественных> з<аписок>», 14 лет

мои статьи от первой строки до последней, не нашли во мне писателя, который стремится к проповедованию *невежества* и против которого надобно почти обороняться людям, верящим в культурные блага. И все потому, что обратили внимание только на цитату из Толстого, на 5 *чужих* строк, и не обратили никакого внимания на то, что написано. «О книге» — написана целая статья (т. 2, ч. I-я, гл. 9), о науке и применении ее в народной среде (в культурной среде она эксплуатируется несправедливо) — также написана особая статья в конце того же 2-го тома: «Не все коту масленица». Она написана шутливо, но об этих вещах говорить не шутливо пока не всегда возможно.

Имею честь быть покорн<ым> слуг<ою>

Г. Успенский.

P. S. Возвращая Вам письма, прошу возвратить и мое, чему есть основания.

264

В. М. ЛАВРОВУ

Бологое, 14 июня <1889 г.>

Дорогой Вукол Михайлович!

Пишу Вам с дороги и обращаюсь с покорной просьбой. Мало у меня деньжонок, почему я и прошу Вас уделить 100 р. из тех 400, которые мне остается получить в августе. Эти сто рублей не откажите переслать по возможности с получ<ением> этого письма. В *Ярославль, до востребования, мне.*

Относительно осенних работ скажу Вам, что, после того как в моей жизни миновал ужаснейший год и понемногу затихают измученные нервы, — стали и мысли мои приходить в порядок. Задумал я ряд очерков, под общим названием *«Власть машины»*. У меня была «власть земли», изображ<авшая> один порядок влияний на человека. Теперь будет изображен порядок других влияний на человека. Вот поездка мне и нужна в этом смысле. Давно у меня шевелилась мысль об этом, но все не мог собрать концов с концами, и семейные дела всё рассеивали вдребезги, в прах превращали. Но теперь как-то

все стало сходиться к одному, и я стал чувствовать от этого как-то легче на душе. Можно писать с удовольствием, а этого давно не было уж.

Преданный Вам *Г. Успенский.*

265

М. И. ПЕТРУНКЕВИЧУ

17 июня <18>89 г., Самолетский пароход «Сильфида»

Дорогой Михаил Ильич! Сегодня ночью я приехал в Тверь и надеялся, что у меня будет время повидаться с Вами, чего я давно-давно напрасно желаю, — но оказалось, что пароход отходит в 9 ч. утра, то есть в то время, когда весь белый свет спит. Оставаться до след<ующего> дня я не решился, не зная, в Твери ли Вы? Но мне крепко желательно видеть Вас. Во-первых, за последние годы я совсем пропал во всех отношениях, объюродил, отстал от человеч<еского> общества и вообще глубоко ослабел и умом и душой. С осени, с октября прошлого года нагрянула на меня новая беда, — болезнь А<лександры> В<асильевны>, болезнь ужасная и тем более удручающая, что я ее предчувствовал давным-давно! С октября до марта, когда она начала ходить по комнате (конечно, поддерживаемая) и когда у нее начала двигаться рука (лев<ая> рука была парализована), — ни дня, ни ночи не было таких, чтобы не пожелать себе смерти. Убит я этой болезнью до невозможности, что я в это время писал — не помню, но необходима была тьма денег. Теперь А<лександра> В<асильевна> поправляется, живет, как жила, — но все уж не то, и чтобы она как следует поправилась, надобно, чтобы я не производил на нее удручающего впечатления. А я так измучился и так отстал от людей, так забит этими домашними несчастиями, что и при усилии не нахожу возможности не ощущать постоянно глубочайшей тоски. Надобно мне хоть немного побыть «с людьми», — и вот о чем я прошу Вас, милый Михаил Ильич: у Вас в Твери, несомненно, много таких знакомых чинов и «членов», которые обязаны *разъезжать* по губер<нии>, суд<ебные> след<ователи>, статистики, подат<ные> инспект<ора>, чинов<ники>

Крестьян<ского> банка. Не согласится ли кто-нибудь взять меня в какую-нибудь, хотя на 3—4 дня, поездку. Писать я ничего не буду, но, во-первых, буду с людьми, — это мне и нужно, а во-вторых, у меня лично нет причин и оснований забраться в деревню. Кого я там увижу и как отвечу, зачем приехал? Теперь я еду в Череповец с археологической целью «раскопки» того кургана, под которым схоронен труп черепов<ецкого> зем<ства> с боевыми доспехами. Туда меня зовут, расскажут и дадут документы по этому делу — но я долго там быть не могу, потому что поймут цель моего приезда, и, таким образом, к числу 1-му, даже двумя-тремя днями раньше, я буду уж в Рыбинске. В моем распоряжении еще весь июль — и вот этот-то месяц я бы желал пошляться с *кем-нибудь* и при ком-нибудь. Я положительно утратил всякие живые побуждения и едва держусь на ногах. Вот и прошу Вас, если только возможно, поехать с кем-нибудь, по каким-нибудь делам, поехать в какое-нибудь место в Тв<ерской> губ<ернии> (решит<ельно> все равно, хотя с суд<ебным> след<ователем> я бы поехал с особ<ым> удов<ольствием>) — известите меня коротенькой записочкой в *Рыбинск до востребования,* так, чтобы, приехав из Череповца, я знал свою участь. Ни малейшего от меня беспокойства тому, кто будет не прочь взять меня в свою телегу, — не будет; я охотно приму обязанности писаря. Пишу Вам так скучно потому, что пропадаю, пропадаю, дорогой М<ихаил> И<льич>! Пропадаю я! А мне нельзя этого. Ни с кем такого горя не бывало, как со мной. Я все Вам расскажу. Я не писал Вам, не видался с Вами давно, потому что все последние 5—6 лет Ал<ександра> Вас<ильевна> с каждым днем все более и более угнетала меня медленно приближавшимся душевным расстройством. Никого я не видел и потерял всякую связь с общею жизнью. Теперь мне надо бы хоть немного возобновить ее, но без той постор<онней> пом<ощи>, о которой я прошу, — я везде, куда бы ни поехал, буду один, на пароходе, в гостин<ице>. Я и так уж совсем измучен такими поездками. Простите, дор<огой> Мих<аил> Ильич. Все-таки буду ждать Вашего письма *в Рыбинске* и во всяком случае в Твери буду на обр<атном> пути.

Крепко любящий Вас *Г. Успенский.*

266

В. М. СОБОЛЕВСКОМУ

Нижний<-Новгород>. 9 июля <18>89 г.

Дорогой мой Василий Михайлович!

Сию минуту я приехал в Нижний и думал возвратиться домой, — но заела меня тоска, и я хочу еще побыть на воле. Поеду в Череповец и каналами в Питер.

Поездка моя со Скалоном по переселенцам Оренб<ургской> и Уф<имской> губ<ерний,> устроившимся при содейств<ии> Крестьянского банка, — была чистое для меня спасение. Если бы были средства, я бы остался с ним до конца, т. е. до 1-го августа (он ревизором). Давно я живу только «с газетами», а не с людьми. Гибель моя неминучая, но все-таки я употребляю все силы, чтобы мне кое-как протянуть до изд<ания> 3-го тома, который Сиб<иряков> возьмет у меня.

Вот что, дорогой Васил<ий> Михайлович: так как я *не желаю* возвращаться домой, то беру из денег, которые мне должен выдать Лавров в августе (400 р.) — 200 руб.: из них 100 я беру себе и 100 домой. Деньги эти пошлются в Ярославль, куда я завтра еду. Но в августе мне будут крайне нужны эти деньги. — Вот почему я Христом-богом прошу Вас вместо 100 р., которые я просил дать мне к 1-му августа, — *дать 200 р.* (Столько же сент<ябрь>, октяб<рь>, ноябрь и в дек<абре> 100). К декабрю я, работами в «Рус<ских> вед<омостях>» и в «Рус<ской> мысли», покрою много редакционного долга. Для «Русс<кой> мысли» задумано 3 вещи, для «Рус<ских> вед<омостей>» сейчас посылаю первое письмо (От Оренбурга до Уфы) и из Ярославля пришлю второе. Оба они, кажется, дельные. Когда приедет Скалон (1-го августа), я передам ему, что я намерен писать о переселенцах в третьем и четвертом письмах, и если он найдет, что мои дальнейшие письма не повредят его отчету, — то я буду продолжать, если повредят — не буду. В тех двух письмах, из кот<орых> одно послано Ал<ександру> Сер<геевичу> и которое пошло из Яр<ославля>, никакого отношения к ревизии Скалона нет. Впрочем, он, провожая меня из Уфы, спросил: — Ну, когда ж мы будем читать новые «Письма с дороги»? (Если Варв<ара>

Алек<сеевна> *вообще* согласна не дать мне пропасть, то сто ли или двести руб. это — безразлично, и во всяком случае долг этот вполне обеспечен, и мне он нужен для передышки, для того, чтобы опомниться. Варв<ара> Ал<ексеевна>, я уверен, не даст мне пропасть и не захочет смерти грешника. 200 р., Вас<илий> Мих<айлович>, надобно мне получить непременно *к 1-му августа в Чудове.* Ради бога, похлопочите!)

Если Скалон скажет, чтобы я погодил, тогда я буду писать поездку в Череповец. Впрочем, не думаю, чтобы он сказал это. Мы записывали каждый свое и в свои книжки. Ко всему этому надо (и я допишу) два очерка «Концов» последних. Философии не будет. Таким образом, я, во-1-х, *не буду знать нужды в августе* и, во-2-х, во всяком случае буду убавлять мой долг редакции.

Что Ник<олай> Конст<антинович>? Вот поправляется-то, должно быть? Да, наверное, поправляется. Если только на душе будет спокойная минута, я напишу и ему и Вам не о делах, а о разных приключениях, конечно, не любовных. Например.

Капитан на пароходе (между Тверью и Рыб<инском>) стоит на верхушке, рассматривает что-то впереди и сурово (он толстый, грубоватый) говорит матросу отрывисто:

— Михайло! Принеси бараньи. . . ! — Михайло соскользнул вниз и выскочил оттуда с большим *биноклем.*

Вот как бинокль-то называется на Волге!

Дорогой Вас<илий> Мих<айлович>. Шутки шутки — но, ради самого господа, не покиньте меня в эти несчастные времена. Мои просьбы никому не вредны.

Крепко целую Вас.

267

В. М. СОБОЛЕВСКОМУ

Чудово, 7 авг<уста 1889 г.>

Что делать, дорогой Василий Михайлович, — никаким образом не мог справиться. Если бы было напечатано 3-е письмо из Оренб<урга>, то 250 р. были бы покрыты и в уплату поступило бы порядочно. Но я понимаю, что пуб-

лике надоело читать о переселенцах точно так же, как мне невыносимо об этом писать. Я теперь не могу писать и окончательно сбит с толку не домашними делами (я в этом отнош<ении> давно сбит), а вообще течением времени. Не знаешь, что тут делать, и ничего не понимаешь и приближаешься к какому-то безразличн<ому> состоянию.

Надоедать, кажется, я не буду, и вот на каком основании: Сибиряков, уезжая в Сибирь *на целый год,* поручил Павленкову выпустить части XI и XII моих книг. Матерьялу, т. е. *испорченной бумаги,* накопилось не на 2, а на 4 тома, но хламу в этой куче бумаги — тьма, и, следов<ательно>, необходимо решительно всё переработать, за несколько лет, а для этого надобно месяца три сидеть исключительно над этой работой. Вот теперь идет дело о том, чтобы Сибиряков в счет продажи XI и XII части (будет ровно $^{1}/_{2}$ тома такого же форм<ата>, как и первые два — 75 к.) в течение этих 3-х месяцев выдавал бы мне известную сумму, а по выходе тома эта сумма погашалась бы при ежемесячных расчетах. Сию минуту продается уже одиннадцатая тысяча, т. е. пошло в ход третье издание, чему я поистине изумляюсь. Оно вышло 1-го августа и 1-ая тысяча со старыми портретами (на них помешался Павленков, который успел уже насильно снять с меня новый портрет, кот<орый> будет хуже, чем можно себе вообразить).

Затем тот же Сибиряков издает дешев<ое> изд<ание> Решетникова. Но при этом произошло вот какое обстоятельство. Первое издание принадлежало Солдатенкову, и, по его желанию, я написал биограф<ию> и характеристику, большую — в 3$^{1}/_{2}$ печ<атных> листа довольно убор<истого> шрифта. Для этого я перечитал 900 писем каракуль от почтальонов, монахов, писарей и т. д. и тьму всяких записок Реш<етникова>, от которых пришел в нервное расстройство — так ужасна его жизнь. Солдат<енков> уплатил мне 400 р. Теперь г-жа Решетн<икова> продает соч<инения> своего мужа Сибирякову, вместе с моей биографией. Имеет ли она на это право, когда биография принадлежит Солдатенкову так, как биогр<афии> Кольцова, Полежаева, котор<ые> не вошли в соч<инения> Белинского? Я хочу написать Солдат<енкову> и спросить его — почитает ли

он эту биографию своею собств<енною>? Если же он заказал ее для 1-го издания, — то каким образом, во-1-х, г-жа Решетникова могла получить за нее деньги, а Сибиряков заплатить ей же полистную плату и за мою биографию? Я полагаю, что это соб<ственность> Солдат<енкова>, и в книги мои не помещал. Павленков полагает, что статья состав<ляет> мою собственность, и если в I-й раз за нее уплат<ил>Солдатенков, то во 2-й должен плат<ить> Сибиряков. Обо всем этом отвезет письмо Иннок<ентию< Мих<айловичу> его сестра Ан<на> М<ихайловна>, которая едет туда же, к брату, на днях и поговорит с ним подробно. Ответ из Иркутска будет по телеграфу, но все-таки не ранее конца сентябр<я>. Если только уплатит он за Решетн<икова>, — то эти неожиданные деньги прямо поступят Соболеву, — и я с ним не желаю переписываться. Затем относительно *молочного кормления.* Теличеев дал мне давно свой доклад Воспит<ательному> дому, но я его не послал, пот<ому> ч<то> он исключительно направ<лен> против партии в управ<лении> В<оспитательного> д<ома>, противящейся опыту молочного кормления, а о способе не сказано в нем ничего, только приведена смета расходов. Тогда я попросил его написать *о способе* кормления, и он мне прислал письмо, написанное впопыхах и притом таким почерком, что я решительно ничего разобрать не мог и в течение нескольких дней не знал, что с письмом делать. Но общими усилиями нескольких человек некоторые места и слова удалось разобрать, но не все, и что разобрано, прилагается на отдельном листке. Прилагаю и доклад и письмо и думаю, что лучше всего, если Варвара Алексеевна, когда придется ей приехать в С.-Петерб<ург> (и даже следовало бы только для этого приехать), поговорит с Теличеевым, и тогда она убедится, что ни доклад, ни письмо ничего почти не объясняют в его проекте и что задумал он дело умно.

Вот еще какая стряслась на меня пакость. Прилагаю из *«Недели»* лоскут, который Вы прочтите, пожалуйста, и скажите — что бы тут сделать? Я хочу и в «Русск<ий> курьер» Ланину и в «Гражданин» Мещерскому послать из Чудова телеграммы с ответом, — в какой газете Мещ<ерский> и в каком № «Русск<их> вед<омостей>» Ланин нашли то, что они настрочили, и потом написать

шутливую заметку об этих двух дураках. Ведь срамятся же они, дураки этакие. В заметке я поместил бы и их ответные телеграммы. Отчего же не касаться этой поистине современнейшей черты, — бесцеремонного оплевания и безропотн<ого> по этому случ<аю> молчания. Писать им письма — пропадут в ред<акции>. На телеграмму обязательно что-нибудь ответят, а если не ответят — то и того лучше. Я бы написал смехотворную статью и об этих дураках и о Рейнгардте, который защитил хозяина аппарата для извозчиков и написал поэтому огромнейший фельетон в «Каз<анский> вестн<ик>» и еще кой-что по части критики моих произв<едений>, так же внимательно, как г. Мещ<ерский> и Ланин.

Дорогой Вас<илий> Мих<айлович>! Я знаю, что все эти переселенцы намозолили глаза, и вот что говорю: если Вы все-таки не прочь печатать письмо из Орен<бурга>, которое у Вас уже есть (главы IV и V), то *пришлите мне, пожалуйста, один экземпляр* корректуры, и тогда я, выкинув кое-что, *закончу* о черноземном крестьянине, и фельетон кончится так, что обещан<ия> продолжать — не будет. Так, угаснет незаметно.

Или вот что я предл<агаю> — не печатайте ни переселенцев, ни «Концов» и возвратите их. Я найду им другое употребление со временем, — а в «Русск<ие> ведом<ости>», как только мало-мальски опомнюсь, — напишу беллетристический очерк, не такой, конечно, прелестный, какой, очевидно, *на зло мне,* чтобы меня *растереть* в порошок, написал прелестнейший Короленко. Это он все для того, чтобы я с моими сочинениями чувствовал себя сукиным сыном. Кроме того, я думаю, что В. Ю. Скалон сам будет писать о пересел<енцах> в «Русских ведомост<ях>», так как писать о них отчеты в том сочувств<ующем> крестьянству тоне, как можно и даже след<овало> писать при Картавцеве, теперь *невозможно.* Картавцев уволен по желанию самого гос<ударя>, которому разъяснили, что Картавцев умышленно выдавал дворянам большие ссуды, умышленно мирволил им и таким образом, якобы по доброте и сочувствию, дал им задолжать по уши, т. е. довел до неминуемой продажи с публичного торга и имел при этом целью передачу земли крестьянам. Материал у В<асилия> Ю<рьевича> большой, и он может обработать его под псевд<онимом>

Вас<илия> Юрьева беспрепятственно. У меня же речи нет о крестьянском банке и его деятельности, а только речь идет о своем уме крестьян разных местностей России, проявляемом при начале жизни *на новых* местах. Если Вы печатать не будете и возвратите, тогда я переработаю со временем и первые две корреспонденции и дополню все это газетными извест<иями>, которые есть, и помещу в «Рус<скую> мысль», — а Вам пришлю и напишу (также очнувшись немного) нечто беллетристическое.

Н<иколай> К<онстантинович> устроен так хорошо, как нельзя быть лучше, и так уединенно, что, кажется, и писать перестанет: тихо, дом в саду, все окна в сад, и вообще как старинное поместье.

Мешают писать до невозможности. Простите, приезжайте в Петербург. Дорогой Василий Михайлович, надоел я Вам хуже горькой редьки, да и сам себе надоел еще больше и все-таки всегда Ваш

Г. Успенский.

268

В. М. СОБОЛЕВСКОМУ

10 августа <1889 г.>, Чудово

Дорогой Василий Михайлович!

Посылаю Вам продолжение писем IV и V и нахожу их *дельными*, т. е. не пустопорожними. «Беллетристики» здесь больше, чем в прежних. Остается еще одно письмо, которое кончу вскорости. Если будете их печатать, то печатайте их раньше «Концов», — те после. Но вот что крайне необходимо: надобно, чтобы контора *выслала в двух экземплярах* корректуры *этих двух* последних писем. Одну из них я буду передавать Скалону, для прочтения. Все, что он найдет нужным удержать для своего отчета, он может зачеркнуть, — и я тогда только сведу концы с концами, однако постараюсь не говорить вздору, заделывая такие дыры. Это будет нужно сделать только 2 раза, и если будет набрано письмо до 17, то корректуры надобно послать в Чудово, а после — *Петербург, Вас<ильевский> Остр<ов>, 7 л., д. 6.*

О Теличееве. Теличеев находится в наст<оящее> время в Старой Руссе на каком-то съезде, касающемся минер<альных> вод. Только он воротится в Любань, он уже найдет мое письмо о том, чтобы дать мне записку о молоч<ном> кормлении.

Я вполне уверен, что В<арвара> А<лексеевна> найдет его проект как раз подходящим для ее дела. Может быть, она пожелает его и увидеть.

Хорошо у Вас, милый Василий Михайлович, на даче, так хорошо, как нельзя быть лучше. Хорошо положительно во всем. И француженка Ваша относится к Глебу умно и настоящим образом внимательно. Поверьте, что такое отношение, беспристрастное и любящее, — лучше отношения самой любящей матери. Но кажется, что без детского общества, особливо в Москве, — Глебу нельзя быть. Хоть бы изредка он посещал лучший детский сад. Разговаривать с игрушками — изнурит его умок без толку.

Письмо к Соболеву будет послано на днях.

В другом пакете, который здесь прилагается, заключ<ается> след<ующее>. В редакцию «Рус<ских> ведомостей» было прислано из Св<ятого> Ключа письмо, в котором некто, объявляющий себя посторонним Ключу лицом, однакож всячески хочет взвалить вину бунта на мужиков, а Стахеева и Крыжановского оправдать во всех отношениях. Письмо переполнено укоризнами и придирками лично ко мне. Но все это я оставляю без внимания, — а извлекаю из письма главное, т. е.: в чем именно я не прав. Прочитав, Вы увидите в чем дело. Автор, пославший> Вл<адимиру> Алек<сандровичу> Розенбе<ргу> (которого сестра знает автора), — сам из числа крупных хищников. А<лександр> Сер<геевич> Посников, прочитав письмо, плюнул, но я полагаю, что все-таки надобно, на всякий случай, иметь в запасе ответ сукиным детям. Прилагаю его на всякий случай.

Я думал его поместить в примечании, он вышел велик и, кажется, совершенно не нужен.

Шлю Вам искренний привет и благодарность от всех остатков моего помирающего сердца.

Г Успенский.

269

В. А. ГОЛЬЦЕВУ

<14 августа 1889 г., Москва>

Дорогой Виктор Александрович!

Посылаю Вам два рассказика. Без всякой натяжки оба они могут идти под общим названием «Грехи тяжкие». Думаю я одинаково и о том, что пишу в «Рус<скую> мысль», и о том, что пишу в «Рус<ские> вед<омости>», т. е. об одном и том же. Но 2-ой рассказ надобно исправить, чего я сделать не могу теперь. Утром сегодня я не свободен и не могу к Вам зайти, но вечером часов в 6 буду дома. Где и как могу я Вас видеть? Корректуру придется послать мне в Петербург. Если Вы передавали В<уколу> М<ихайловичу> мое предложение — как он к нему отнесся? Видеть Вас мне необходимо и необходимо поговорить о многом, дорогой Виктор Александрович.

Преданный Вам *Г Успенский.*

14 августа 89.
Москва

270

А. С. ПОСНИКОВУ

11 сент<ября 18>89 г., <Петербург>

Дорогой мой Александр Сергеевич!

Теперь я Вас уж не выпущу добром, найду на дне синего моря!

Не смущайтесь размерами прилагаемой при сем охапки бумаги, именуемой фельетоном. Здесь больше клею, чем здравых идей, и вообще

Так осенью (когда приходится подыхать) бурливее река,
но *холодней* бушующие волны < ..>

Уж как холодно мне, дорогой Александр Сергеич, Вы и представить не можете. Распродал<ся> я построчно и полистно, получив за все мое нутро полный расчет, и теперь превращаюсь в вешалку для собственного своего платья. С каждым днем слабею головой, уничтожаюсь в размерах мыслей, деревенею. Словом, теперь я прошу только снисхождения, — ничего путного я уж не напишу, нет источника, а если я как-нибудь и начал бы оживать, то жена опять свалилась бы с ног, потому что увидела бы, что я *опять не весь ее*. В прошлом году, после поездки в Сибирь, я точно чуточку ожил, но это ее окончательно свалило с ног, она всю жизнь не спускает с меня глаз, и сваливается с ног, раз только почует, что во мне есть что-то, что не принадлежит ей и чего она не может понять. Нет, мне никакого выхода уже нет. Она, напротив, начинает поправляться, когда я сам сваливаюсь: тут ей есть полная возможность для бесконечного количества забот обо мне, конечно, пустяшных, но наполняющих, однако, целые дни ее без малейших промежутков. Искренно все это до невозможности, — но для меня это просто тюрьма, и беда в том, что, кажется, я теряю способность не покоряться этой тюрьме, — это значит, что во мне угасает способность и потребность интереса к людям вообще.

Дорогой Алек<сандр> Серг<еевич>! Если напечатаете это послед<нее> письмо, скажите в конторе, *чтоб выслали корректуру на несколько* часов. Пожалуйста. Возвратите мне последний очерк *«Концов»* («На всей своей воле»), он скверный, и его нельзя печатать. Это последнее письмо хорошо бы скорей пропечатать. Вслед за ним постараюсь одолеть рассказик. Уж не взыщите, но все лучше «Концов».

Крепко Вас люблю и обнимаю.

Г Успенский.

271

В. А. ГОЛЬЦЕВУ

<Сентябрь 1889 г., Петербург>

Виктор Александрович!

Вот в чем дело. Г. Лесков поместил в «Р<усской> мысли», как Вам известно, *под своей подписью* и, вероятно, получил обычный гонорар за чужое, переделанное

им произведение, что как будто и нехорошо. Это-то *нехорошо* постоянно меня смущало, и именно потому, что *рукописей,* написанных крестьянами, у меня постоянно накапливается многое множество. Печатать их в подлиннике нельзя, в переработке за своей подписью — нехорошо: в сущности ведь пользуешься чужим материалом. Между тем рукописи эти всегда до чрезвычайно<сти> любопытны и даже важны. Как-никак, а это уже голос действительно народный. Несколько лет тому назад я напечатал в «От<ечественных> зап<исках>» извлечение из такой рукописи крестьян<ской>, под названием *«Крестьянин о соврем<енных> событиях»* (без моей подписи и в мои кн<иги> не вошло), в которой маляр за 2 года до еврейских беспорядков предсказывал, что они будут, и объяснял основания их не в ненав<исти> к «жиду», а как безобразия в предст<авителях> правительств<енной> власти — в духовенстве, в суде, в сельских властях, — которые запутаны жидом и служат его интересам. М<ихаил> Евгр<афович> продержал мою рукопись полтора года, — и когда уже я забыл о ней, а беспорядки начались, он ее напечатал. Об этой статейке, так как она была без подписи, — Аксаков настрочил не одну передовицу *о «показаниях пути».* А затем я постоянно получал рукописи, письма, рассказы, которых нельзя печатать целиком, но в которых положительно есть такие великолепные страницы, что и Л<ев> Ник<олаевич> не напишет (впослед<ствии> Вы убедитесь). Пользоваться же этими страницами как «матерьялом, заимствованным» *из номинально несуществующих источников* (как г. Морозов позаимствовал у Тихонравова), — дело неопрятное, прослывешь на чужой счет.

А между тем оставлять эти *небывалые прежде голоса* из народной массы (бывали челобитные и прошения), которые излагаются в литерат<урной> форме, — ни под каким видом нельзя. Помните, как хаяли мужиковскую литер<атуру>, которая возникла в те времена, когда царств<овал> Тургенев, и т. д. Из нее вышло все<-таки> кое-что, но вышло мало, потому что не было руководителей в людях сороков<ых> годов и поддержки в указании путей. Теперь, за 25 лет непосредственного

наблюдения людей из народной массы, *пережившей* все реформенное время не по газетам, как мы, <а> на собственном опыте, — <голоса> начинают проникать из пров<инции> и глухих мест в литературу, в редакции и прямо к писателям. Это *истинно голоса* из народа, много думавшего за эти 25 лет. Но все это изображено дико безграмотно, каракулями. И я хочу (это просто необходимо) делать такие же компиляции, как сделал и с письмом крестьянина о совр<еменных> событиях. Рукописей у меня и сейчас много. Во-1-х, у меня с весны лежит 8 тетрадей того самого Свешникова, из рукописи котор<ого> переделал Лесков. Автор приходил за ними, но они уже в деревне, и, очевидно, г. Лесков их поглотит. Но я имею буквально множество и других матерьялов, полученных из глубины, и прежде всего хотелось бы обделать биографию одного молодого крестьянина, начавшего жить на свете как раз после освобождения: тут и отн<ошения> к помещ<ику>, и учителя, и люди наживы — словом удивительно интересно, и есть народн<ые> типы и характеры, которых мы никогда не подозревали, нет у нас в литературе ничего. Это новый писатель, — крестьянин, видавший все виды за 25 <лет>, безграмотный. Вот я и желал бы, чтоб такие компиляции печатались так примерно: «*Рассказ крестьянина Кураева*» (т. е. подписано имя автора) с предисловием Усп<енского>.

Работа над такими рукописями гораздо трудней, чем над своим рукописаньем. В день можно написать печатн<ый> лист собственных пустяков. Над этими рукописями, чтоб выделить самое существенное, новое, нам неизвестное (и оч<ень> часто неизвестное самому автору и пропадающее в хламе пустяков) — надобно много трудиться, гораздо более, чем над компиляц<иями>из газет. Там клей способствует прославлению писателя в значит<ельной> степени; здесь надобно собственной рукой не переписать, а то же слово, да не так молвить, как оно молвлено у безграмотного автора; поэтому я по совести полагаю, что труд этот отнимает времени и внимания гораздо больше, чем труд оригинальный или при помощи клея, и, таким образом, полистная плата должна быть та же, т. е. 150 р., т. е. 100 р. мне и 50 р. автору, который сам

их и получит из конторы, ибо и имя его будет поименовано в самом начале очерка. Так вот, Виктор Алек<сандрович>, ответьте мне, пожалуйста, и я тотчас примусь за работу — *с величайшим удовольствием.*

Ваш *Г. Успенский.*

Всего хорошего Вам и Вашей семье.

272

В. А. ГОЛЬЦЕВУ

6 окт<ября 18>89 г., <Петербург>

Дорогой Виктор Александрович! Не смущайтесь малым количеством прилагаемых при сем листиков, — завтра же с курьерским вышлю остальное. Всего будет $^3/_4$ листа, но все-таки не мешало бы прочесть корректуру. Я очень бы желал, чтобы эта заметка (посвященная материальному обесп<ечению> совр<еменного> духовенства) попала в октябр<ьскую> кн<ижку> «Русск<ой> мысли». Ничего нецензурного нет, и прочитать в корректуре надобно только первые листки, которые посылаются, а то, что будет послано завтра, пойдет без корректуры.

Не осерчали ли Вы, Викт<ор> Алек<сандрович>, за мою просьбу, совершенно Вам и Вашим работам не соответствующую, насчет «Рус<ского>курьера»? Я ведь просил возложить все это на артельщика «Рус<ской> м<ысли>». В Петербурге нет возможности даже адреса «Рус<ского> кур<ьера>» узнать.

Затем, немного погодя, я к 24-му пришлю Вам вещь. Сию минуту я чувствую себя немного лучше.

Преданный Вам *Г. Успенский.* [1]

Если бы отдали набрать прилагаемые листки, то корректура вернулась бы 9-го. Не поздно ли? Если ж поздно, то, я думаю, и так можно печатать.

P. S. Сию минуту, В<иктор> Алек<сандрович>, ко мне явилась некая писательница Виницкая с карточкой Н. К. Михайловского, которую прилагаю. *Устроить.* Это

---

[1] Весь текст письма зачеркнут. — *Ред.*

значит просить Вас принять ее роман, и если Н<иколай> К<онстантинович> написал это слово, то значит имел какие-нибудь основания. Из разговора г. Виницкой я понял след<ующее>.

В январе месяце Стасюлевич принял ее роман в «Вестн<ик> Евр<опы>» и выдал ей 250 р. В письме к ней Стасюлевича я *своими глазами* прочитал несколько весьма похвальных для нее строк, хотя всего письма и не читал. Роман, однакоже, в августе, когда она возвр<атилась> в Петербург, был ей неожиданно возвращен *без всяких объяснений* со стороны ред<акции>. По ее объяснению, это результат каких-то интриг Слонимского, которому она когда-то что-то сотворила и который ее ненавидит, да и она ненавидит Слонимского. Здесь замешались письма, и т. д., и т. д. Слонимский показал письма, тот обиделся, я его выругала и т. д. Но дело в том, что роман-то, кажется, хорош, потому что А. Н. Плещеев принял его немедленно, как только она принесла его. Но денег у Евреиновой нет, хотя она и выдала ей поручительство в литературный фонд на 300 р. Это поручительство на бланке редакции «Сев<ерного> вестн<ика>» я сейчас видел также своими глазами и руку Евреиновой знаю; она желает взять роман из «Сев<ерного> вестн<ика>» и поместить в *«Рус<ской> мысли»* по 100 р. за лист. Роман называется *«Ярославцев и Поленов»*. «Северный вестник» крепко прижимает сотрудников и за оригин<альные> произв<едения> платит почти как за переводы. Одно могу удостоверить, что он был принят «Вестником Европы», и теперь принят «Северным вестником». Вы должны ее знать, кажется. Она что-то трещала, что рояль ее была у Вас, но что самой ей почему-то писать Вам нельзя. Если откинуть всю эту бабью пустяковину, — ведь в ее повестях было оч<ень> много интересного; одно уж то, что она психопатка современная. Так вот, Виктор Александрович, что мне ей ответить? «Северн<ый> вестн<ик>» даст ей грош, так как он положительно при последнем издыхании. Взять ей теперь из «Северн<ого> вестн<ика>», — значит, если не примет «Рус<ская> мысль», — остаться без гроша. Евреинова не возьмет. Вот еще одно обстоятельство: по ее словам, роман читал Пыпин и чрезвычайно его хвалил — так она говорит. Если бы Вы имели письмо

Пыпина, подтверждающее эти слова, — то решились ли бы принять роман, не читая (не по 100 р., а все-таки по цене среднего размера)?

Если в этом предположении есть какие-нибудь основания, то напишите мне в ответ на это письмо строчку — «желательно, мол, знать мнение об этом романе Пыпина, который как Вы (я), пишете, читал его». Если она такое мнение получит от Пыпина в виде письма, — то я думаю, что этого достаточно для того, чтобы ее выручить от Анны Мих<айловны>?

Как Вы думаете? Всего хорошего, дорогой Виктор Александ<рович>.

Г Успенский.

273

С. Н. ЮЖАКОВУ

<7 октября 1889 г., Петербург>

Сергей Николаевич! Н<иколай> К<онстантинович> сказал мне (с Ваших слов), что в каком-то английском литературном обозрении помещена заметка и о моих соч<инениях>. Нельзя ли мне получить этот № обозрения дня на два, чтобы перевести заметку? И если это можно сделать, то Ив<ан> Ив<анович>, который принесет эту записку, зайдет к Вам за этим №, — когда Вы ему назначите. Если нельзя получить самый №, то нельзя ли хоть узнать только №?

Буду Вам глубоко благодарен.

Преданный Вам *Г. Успенский.*

P. S. Как Вы чувствуете себя? Вчера, кажется, была пятница?

274

В. А. ГОЛЬЦЕВУ

12 окт<ября 18>89 г., <Петербург>

Виктор Александрович! Статья была окончена, когда принесли Ваше письмо, и я узнал, что окт<ябрьская> кн<ижка> готова. Стало быть, я мог всю статью переделать сызнова и с прибавлением новых документов.

В сущности, вот в чем дело.

Земское дело раздробляется между двумя *сословиями* — дворянством и духовенством, именно как сословиями. К духовенству переходит народное образование, — дело не маленькое. И вот я собрал из «Епархиальных вед<омостей>» сведения о положении и нравственных силах этого сословия. Оказывается, что мы совершенно не знаем, что такое совр<еменный> поп, как он великолепно устроил свои денежные дела и какой в нем развивается нахрап завладевать местами, дающими жалованье их размножающейся жеребячьей породе. Гордость непомерная. Чтобы иметь возможность говорить о попе (с похвалою, а не с порицанием, иначе ничего печатать о попе нельзя), я, в параллель поповскому отъедающемуся сословию, привожу характеристику дворянского сословия, которую, по глупости, делает Мещерский и весь его «Гражданин». Там оно представ<лено> в нищенском виде, расслабленное и в то же время призывается выполнять огромные задачи, возлагаемые на земских начальников, то есть значительную часть земского дела. Попов я буду превозносить (только в денежных делах) в укор Мещерскому как нравоучение, век живи и век учись, а не болтай попусту и не срами дворян. Вот почему эту заметку необходимо переделать всю; жеребячья порода, как только стало известно о переходе школ, стала именовать себя *предизбранной* жеребячьей породой («Тав<рические> Епарх<иальные> вед<омости»>). Вообще не написать всего этого иначе как в упрек дураку Мещер<скому> нельзя никак.

Пожалуйста, В<иктор> А<лександрович>, вышлите мне эти листки (7, кажется) — я их все переработаю. А если есть уже корректура, то и это не беда.

Будьте здоровы! Преданный Вам

Г Успенский.

275

В. А. ГОЛЬЦЕВУ

<26 октября 1889 г., Петербург>

Виктор Александрович! Ужасная смерть Н. В. Усп<енского> омрачила меня и омрачает ужаснейшим образом, и вот почему рукопись, оконченная дней 5 тому назад,

залежалась до сегодня, т. е. до получения Вашего письма, которое мне о ней напомнило.

О духовенстве полож<ительно> необходимо писать в настоящее время: во имя совершенно неопределенных затей св<ятейшего> синода разрушаются самые прекраснейшие зем<ские> учр<еждения> — например. учительские семинарии, где в настоящее время приготовляются в народные учителя почти исключительно молодые люди уже крестьянского сословия, т. е. появляется учитель, имеющий неразрывные связи с народом, так как семья его в деревне, отец пашет и сестра замужем за крестьянином. Прелестнейшие личности такого рода воистину народные учителя, сколько я их ни видел. Но едва только дожили до такого прекраснейшего результата земского дела, как начинают закрываться эти семинарии, так как широта программы не соответствует узости и бессмысл<енности> учительск<их> кур<сов> духовного вед<омства> и, след<овательно>, причетникам там делать нечего, а воспитанникам уч<ительских> семин<арий> нечего делать в глупых церк<овных> школах.

Я написал обо всем этом жеребячьем сословии в самых скромных размерах, старался всячески «не обидеть» и полагаю, что цензуре в этой статейке не к чему будет придраться. Корректуру я желал бы иметь, но об этом я извещу Вас особо, завтра же. Может, дня на два придется приехать в Москву. Это я буду знать в субботу, и тогда либо приеду, либо извещу. К декабрю *непременно* будет три небольших вещи, под одним общим заглавием *«Раздумье»*. Под этим загл<авием> существует сборник статей Герцена. Но ведь не он давал этому сборнику такое название, а издательница? Если это покажется неподходящим, то я изменю. В этих трех [рассказах] вещицах, в первом будет несколько сцен из живой действительности, 3-й будет весь беллетрист<ика>, а во 2-м, к сожалению, будут разные *соображения,* — не мои, а извлечения из соображений других.

Итак, в субботу я буду знать, поеду ли я в Москву или нет.

Будьте здоровы, крепко жму Вашу руку.

Г Успенский.

26 октя<бря 18>89.

276
А. С. ПОСНИКОВУ

26 окт<ября 18>89 г., <Петербург>

Превосходнейший ангел, Александр Сергеевич! Вчера пришел Максимов, говорит — «Сердит на Вас А<лександр> С<ергеевич>. Он Вам писал, а Вы ничего не пишете!» — Нет! ответил я безумному Максимову, — не сердится на меня А<лександр> С<ергеевич>. Он должен чувствовать, что я и затих-то от его сердечного письма, именно затих, то есть вот уже с месяц как я чувствую себя тихо. Хотя мне и невозможно даже и думать, чтобы впереди для меня было лучше, но утих, не мучаюсь жизнью и, пожалуй, даже мало думаю о ней, но во всяком случае не мучаюсь. Пишу трудно, язык у меня стал такой, каким пишут в святейшем синоде, — но и это ничего... Это-то, может быть, пройдет. Только ужаса никакого не чувствую, стараюсь не чувствовать и иной раз тихим манером пролежу часиков пять.

Была и другая причина, почему я не писал, но эта причина особенная. В самое последнее время я прочитал в газетах: «Смоленское дворянское собрание постановило поднести всеподданнейшую благодарность Г. И. (не мне) за дарованные им права дворянству и, пользуясь правом полного доверия верх<овной> власти, ходатайствовать о коренном разрушении системы классического образования».

Когда я прочитал это известие, то сказал: «А! Стало быть, он еще в Смоленске». И в этот раз мне от милого моего А<лександра> С<ергеевича> еще лучше стало на душе: умно и весело!

Надо же мне когда-нибудь *просто* чувствовать себя на душе, и поберегать их там, [1] а не выкрапывать их пером на бумагу, не разводить их чернильной водой!

Вот и не писал, потому что Вы мне дали самое успокоительное лекарство, и я все время испытываю его благотворное действие.

Так вот отчего молчание-то произошло, голубчик Вы мой А<лександр> С<ергеевич>!

---

[1] Так в подлиннике. — *Ред.*

На днях я, может быть, Вас увижу — думаю на два дня приехать в Москву. Смерть Н<иколая> Усп<енского> омрачила меня ужасным образом. Я-то ведь знаю сущность поведения, которое привело его к такой погибели. Но нельзя, да и не надо говорить о растлении его души с детских лет в поповской среде, где он родился и жил и которую, увы, *любил все время,* любил ее безбожество и все то, что известно под наименованием «жеребячья порода»; издевался над свинским житьем этой пьяной, сластолюбивой, жадной до плотских удовольствий поповской толпы, но все-таки любил быть здесь *из удовольствия* издеваться над ней, любоваться распутством. Священник села, где нет барского дома, волостного писаря и кабака, может спиться или стать наряду с мужиком простым пахарем, но не растлить своей души развратом героев пошехонской старины, проживающих в барском доме, окруженном дворней. Дворня именно то культурное общество для деревенской аристократии, кулаков, лавочников, кабатчиков и кутейников, — с которым причт был в дружеских связях. Я не могу изобразить именно безбожия, которое здесь царило в юные годы Ник<олая> Вас<ильевича> и где у него развилось удовольствие издеваться над человеком, желать довести, если можно, всякого знакомого, особенно женщину, до пробуждения в них распутных побуждений и вообще *удовольствие* ощущать в людях дураков, подлецов и мошенников. Ведь вот — Тургенев, Толстой, Григорович, Некрасов, Помялов<ский>, Лев<итов> — словом все, о ком написаны его литературные воспоминания, — все плуты, дураки, мошенники, пьяницы. Что это значит? Человек прожил 52 года, — и помнит, считает нужным помнить почему-то одни только гадости и всегда сочиняет их, врет? И что важно — в этом оплевании нет злобы, — но какое-то неизменное, в крови таящееся желание оправдать свою растленную мысль и, поистине преступные, растленные желания, — подлостями или по его и плутовством всего общества, даже Тургенева, Некрасова и т. д. Если мерзко то, что он написал и наклеветал на писателей, то говорил он на словах во много раз хуже, и когда живописал с своей точки зрения, т. е. своей растленной мысли чужие свинства и скотство (иного он не понимал), то чем подлее играла его мысль и чем гнуснее

созидались его позорящие людей якобы доказательства подлости, — тем ему становилось легче на душе, лицо его оживлялось и с каждой подлостью, по мере возрастания ее омерзения. Тут он был молодцом, юмор блистал у него, он хохотал на всю комнату и чувствовал себя вполне ободренным для собственного своего распутства.

Я знаю, что Вы, да и никто не может приблизительно понять этого растления и среды, в которой единств<енно> оно было существ<енным> свойством взаимных отношений, сущн<остью> жизни. И я знаю, что то, что я написал — не говорит о растлении как бы следовало, — но ведь этих черт никто бы не мог долж<ным> обр<азом> изобразить, даже Мих<аил> Евгр<афович> не постиг бы. Я же руководствуюсь только ужасом. Кстати сказать, Ник<олая> Усп<енского> я видел в теч<ение> всей его жизни много днями, а скорее часами, да в промежутки двух, трех лет, и то я с пятого слова чувствовал уже страх пред растленными мыслями, вот-вот пойдут из него, и он выразит их самым ласковым, любовным тоном с очевидным ощущением удовольствия и понемногу, как гипнотизер, отуманит растленными мыслями всякого, которого ему любо будет видать в подлом виде. Если бы у него не взята была дочь, он бы ее растлил. Да едва ли это уж и не случилось. Вот какая это ужаснейшая личность!

Кстати, дорогой Александр Сергеич, — исправьте непременно ошибку, которая вкралась <в> некролог Н. В. Ус<пенского>. Я даже прямо прилагаю ее.

Поправка к некрологу Н. В. Успенского

В некрологе Н. В. Успенского («Рус<ские> вед<омости>» № 295) между прочим сказано: «Рассказы его печатались преимущественно в *«Современнике» до закрытия этого журнала в 1866 г.»* Это не совсем так. В *«Современнике»* рассказы Н. В. печатались с 58 года по 62 год. В 1862 он поместил народные сцены *«Странницы» в «Русск<ом> вестнике»,* а с 63 г. стал сотрудником *«Отечественных записок»,* ред. А. Краевского. В конце 60 и начале 70 писал в *«Вестнике Европы».*

Если бы он писал в «Совр<еменнике>» до 66 года — это значит, что у него бы были нравств<енные> связи с людьми, — а этого у него не было. Да и вообще для достоверности, пожалуйста, исправьте эту ошибку.

Будет ли напечатана моя *«Червоточина»?* Я бы желал. В том же 295 № «Рус<ских> вед<омостей>» перепечатали из «Нового времени» сведения, доставленные Дворянскому банку землевлад<ельцев>, о количестве инвентаря. Что ж, разве не правда, что я пишу? На 25 десят<ин> чуть не одна лошадь, — а поля между тем все засеяны, все сжаты, зерно вымолочено, и эти засеян<ные> поля — основание для оценки доходности земли, тогда как их засеяла нужда крестьянская. Там сказано — *большей частию исполу.* Это ведь тиранство, а не хозяйство. *Исполу* — это прежде всего — крестьянское безземелье, затем это доходность земли, в обработку которой землевладелец не тратит ни копейки, — да всего не перечтешь!

Я бы, впрочем, мог смягчить язык. И поэтому вот что, дорогой Ал<ександр> Серг<еевич>, письмо это Вы получите в субботу, полагаю, часа в 3 дня. Если Вы не будете печатать ее в воскресенье, но печатать все-таки решитесь, тогда Вы отдайте ее в типографию, а мне пришлите телеграмму: *«Печатать будем»,* — тогда я приеду и при Вас все исправлю.

Да, превосходный мой, А<лександр> С<ергеевич>?

Г Успенский.

277

Я. В. АБРАМОВУ

<Конец ноября 1889 г., Петербург>

Дорогой Яков Васильевич!

Если возможно, — не откажите мне дать на несколько часов отчета о Воскр<есной> школе Тифлиса. Я возьму оттуда несколько строк, и Вы беспрепятственно можете тем же самым содержанием располагать. Разве нельзя об одном и том же жизненном явлении, не противореча во взглядах, писать не одному или двум, а всему коли-

честву писателей, заинтересованных этим явлением? Так будет и тут. Если же Вы с этим не согласны и в Ваши хроники таких новых и хороших явлений жизни не попадет отчет из Тифлиса, — так я тогда не решусь из него заимствовать. У Вас эта хроника новых яв<лений> жизни ведется систематически, подробно, и мне первому будет горько, если там не будет рассказа о тифлисской школе во всех подробностях. Так вот, Я<ков> В<асильевич>, и рассудите. Кстати сказать, если бы я коечто заимствовал, — так это появится в печ<ати> после 15 января. Следов<ательно>, если Вы напишете до того времени, то я сошлюсь на напечатанную Вами статью. Печатать о ней раньше не нарушит летописи этих прекраснейших яв<лений> нашей жизни, — а я воспользуюсь из Вашей хроники в пределах для меня возможных и нужных. Время есть для этого.

Душевно преданный Вам

Г Успенский.

278

А. С. ПОСНИКОВУ

<Конец ноября 1889 г., Петербург>

Дорогой мой, милый Александр Сергеевич!

При всем моем (настоящим образом) болезн<енном> состоянии я не могу не возопиять о том, что творится в «Р<усских> ведомостях» со шрифтом. Поистине происходит бесчеловечное дело для корректоров, для писателей и, главное, для читателей. Способ поистине варварский, бесчеловечный — микроподобным шрифтом увильнуть от необходимости расширения газетного листа. Успех «Р<усских> вед<омостей>» Вам известен, а он обеспечивается читателем, и читатель убеждается в правоте своего сочувствия газете, когда видит, что на его глазах и газета вырастает и материалу для чтения в ней прибавляется. Теперь оказывается, что объявления иногда заполняют сплошь две страницы — первую и последнюю, а для того, чтобы на остающемся месте уместить «литературу», — изобретается такой шрифт, от которого положительно

можно ослепнуть. Это кровная обида и писателю и читателю. У писателя этот шрифт на каждой строке похищает от 3 до 5 букв, т. е.: из ста строк похищает 10—15 строк, а читателя слепит, — с первого же взгляда на лист читатель теряет обычное побуждение узнать, «что там есть?», и неожиданно эта потребность заменяется неприятнейшим ощущением, возбуждаемым микробами, — и рождает непр<иятное> чувство «слепит глаза». Это первое, что теперь возб<уждают> «Рус<ские> вед<омости>». Какое бы там ни было содерж<ание> — *напрягать зрение* — первое, что омрачает душу при виде этой газеты. И положительно эта неприятность мешает понимать, что читаешь; газета неприятна, не деликатна, груба — «прочтешь, небось». — Как Дерунов: «и он достанет». Кроме того, посмотрите, что делает эта экономия в размерах шрифта: никогда в газете не было такого обилия пустых мест, попыток их зачернить какими-то черными оглоблями, — раздвигать абз<ац> на целую строку пустую; вчерашний фельетон Н. К. Михайловского читатель поймет *как недостаток* материала. *Нехватило!* Растянули фельетон, как зубами: между заглавием и текстом — верста полная и на конце целая пустая ладонь, — несмотря на оглоблю и продолжение следует. Будьте уверены, что эти лысины читатель поймет, как недостаток в газете материала. Ничего подобного нет ни в одной газете. Каждая под давлением литературных и коммерч<еских> приб<ылей> расширяет размеры листа, количество слов, букв и строк. Только «*Русские ведом<ости>*» полагают возможным, не затрачивая денег на новую машину и не препятствуя увеличению количества объявлений, выигрывать для них место на тексте и изобретают недобросовестный шрифт. Неужели Вы и прочие добрые люди не будете протестовать против этого посягательства на писателя и читателя? Вы первый ослепнете. Не будут покупать на желез<ных> д<орогах>. Читать в вагоне, на конке невозможно. Вот сейчас я должен был зажечь вместо 2-х свечей четыре, и то противно смотреть — видишь замысел против тебя, кто-то неизвестный задумал тебе, читателю, напакостить и притаился.

Я помню, что Вас<илий> Мих<айлович> *скорбел* о том, что когда газета начала выходить в 7-мь столбцов, и т<аким> обр<азом> изменила вид, — в сущности

было очень мало *прибавлено* строк. Он скорбел о том, что нет действительного расширения газеты. . . Теперь все направлено на то, чтобы покоряться давлению объявлений о врачах, секр<етных> болезнях, — и при помощи невозможного для глаз шрифта умещать текст, уменьшая шрифт. Что бы там ни было, — но в этом деле виден не добрый, не гуманный замысел против читателя. Это поймет, ощутит всякий подписчик. Это будет непременно. И это кладет на «Рус<ские> вед<омости>» какую-то тень, отнимает от них веселое впечатление.

<*Приписка:*>

Милый, хороший Алекс<андр> Сергеич.

Я болен настоящ<им> образом. Грипп и ужаснейшее нервное расстройство. Приедет проф. Шершевский.

Крепко целую, хороший А<лександр> С<ергеевич>.

Г Успенский.

279

А. С. ПОСНИКОВУ

<*Конец ноября — начало декабря 1889 г., Петербург*>

Милый, мой, хороший Александр Сергеевич!

Телеграмма, в которой было Ваше имя, — обрадовала меня до глубины души. И все-то подписавшиеся — милы и приятны мне, но я рад, что Вы тут же. Здоровье мое вот в каком полож<ении>. «Запах» ослабел под влиянием, во-1-х, электричества и 3-х лекарств, действ<ующих> на нервы внешним образом. Дело плохое. Так как, чуть только ослабнет действие, например, хлоралгидрата (вот какое средство), который я, в жидком виде, налив в горсть руки, втягиваю носом, — так запах, как был, так и есть. Иногда можно замазать его на целый день, но с 12 ч. ночи до 3-х — никаких способов, и поэтому засыпаю в 7—8 ч. утра, а просыпаюсь в 3 ч. Ужаснейшее расстройство и невозможность не только работать, да и читать. Особливо читать «Рус<ские> ведомости», — с нынешним их скорченным в комочек шрифтом, похожим

на человечка, который живет не в комнате, а в «углу», скорчившись, подобрав ножки, ручки.

Вот какое стряслось дело, которому я, впрочем, рад. Какой-то доброжелатель прислал мне из Уфы постановление Уфимской палаты уг<оловного> и гр<ажданского> суда о предании меня суду.

Прилагаю это постановление. Прочитав его, обратите внимание на след<ующее> обстоятельство: обвинительные слова они находят в той цитате, которая подчеркнута и начинается со слов «До чего...» и т. д. Когда Вы прочтете эту цитату, то не поймете слов: *такие, новое* и конец: *Мероприятие Прав<ительствующего> Сената.*

К чему относится все это? По словам постановления, к делу *Колосковых;* но на следующей странице, разъясняя дело Колоскова, суд разъясняет дело еще *Уткина.* Откуда он взялся?

Вот здесь и заключается плутовство Уф<имского> суда. Возьмите, пожалуйста, фельетон и прочтите целый столбец выше слов *«До чего»* и т. д. и Вы увидите, что <я> сказал о суде дурно на основании того, что прав<ительствующий> Сенат предал членов суда по делу *Уткина,* и на этом основании я привел равнозначительное дело.

Получив это постановление, я обратился к нотариусу (единств<енному> задушев<ному> другу М. Е. Салтыкова) В. И. Иванову с вопросом о том — *куда меня теперь?* Прилагаю его ответ.

Не сомневаюсь, что прокур<ор> Суд<ебной> палаты пришлет в ред<акцию> *«Русских ведомостей»* повестку на мое имя, — и я бы желал, чтобы меня вызвали в Москву, без проволочек.

———

Маленькая просьба, которую прошу Вас, пожалуйста, обхлопотать в конторе: напечатать два объявления такого содерж<ания>. (Прилагаю листок).

———

Кроме того, нельзя ли поощрить меня небольшой рекламой ввиду того, что в начале марта выйдет *мой собств<енный>* том? Реклама заключается в таком виде.

На днях поступило в продажу третье издание соч<инений> Г. Успенского, в 10 тысячах экземпляров. Изда-

ние 2-ое, в таком же количестве, поступившее в продажу 3 декабря 88 года, разошлось к 1-му августа 89 г.

Это вы увидите на пометке о дне выхода книги. Павленков, потому только, что желал выпустить третье издание с новым портретом, — тысячи две 3-го издания пустил под именем второго со старым портретом. И, таким образом, книга, которая разошлась в 8 месяцев, — обижена прибавкою 4 незаслуженных ею месяцев.

Нельзя ли прибавить после слов к 1-му августа:

Несколько сот экземпляров *третьего* издания, вследствие продолжительной задержки с получением *нового* портрета, после 1-го августа, по необходимости были выпущены в продажу со старым портретом и как *второе* издание. След<овательно>, 2-ое издание разошлось в течение 8 месяцев.

Если это нехорошо, то все-таки воткните туда, где «Нам сообщают» и т. д., вышеприведенные три строчки.

От всего сердца благодарю.

Г Успенский.

280

С. А. РАППОПОРТУ

9 декабря <1889 г., Петербург>

Любезнейший г-н Раппопорт!

(Отчего Вы не сообщите Вашего имени и отчества?)

Не знаю, как Вам объяснить то удручающее состояние, в котором я нахожусь всю осень до настоящего времени. Я до того весь прошлый год, с осени, был измучен моими домашними несчастьями, что, когда осенью нын<ешнего> года случилось неожиданное новое, я просто окончательно потерялся, и сам слег в[1] Я и сейчас лечусь у психиатра д-ра Чечотта, и Вы можете судить о том, в каком я состоянии. Ни читать, ни писать я не в состоянии положительно, за исключением самых последних дней. Вот почему, получая Ваши письма и скорбя о Вас до глубины души, — положительно не мог даже ответить

[1] Далее в копии пропуск. — *Ред.*

Вам чего-нибудь определенного и, главное, не мог потому, что сам едва был жив. Но это не означает, чтобы все обещанное мною не было бы исполнено. Издание книги затянулось потому, что Павленков накопил массу изданий, а летом, как предполагалось, — вовсе не был в Петербурге и уезжал лечиться. Но книга Ваша *непременно* будет напечатана. Не волнуйтесь, что происходит некоторое замедление — так ли еще бывает и бывало даже со мной, — книга будет издана в начале будущего года и в январе *непременно* начнет печататься, в этом будьте совершенно покойны. Далее, «Переселенцы» также, по всей вероятности, будут напечатаны, но в скромном журнальчике «Труд», издающемся при «Всем<ирной> иллюстр<ации>». Журнальчик не имеет с «Иллюстр<ацией>» ничего общего — и опрятен.

Но вот, что я Вам скажу: Вам известно, что начинаются поповские школы, — не дополните ли наблюдениями и эту новость? Затем, — школы грамотности, затем широкое распространение *воскресных школ* и при них *библиотек*. Просьбы об открытии *народных библиотек* не уважаются нач<альством>, а просто библ<иотек> уважают<ся>, только библиотеки эти берут по 5, по 10 к. в месяц за чтение. Все это надо было бы дополнить и обсудить. Если Вы хотите это сделать, то известите, и я Вам пришлю брошюрку Абрамова обо всем этом, и Вы сделаете дополнения. Относительно «Переселенцев» сообщу Вам дня через два.

Что же касается «Шахтеров», — то из Барнаула, куда ее завез господин, которому я Вашу тетр<адь> дал просмотреть — ни слуху ни духу. Едет туда на днях один из брат<ьев> Сибиряковых, и вот он, может быть, раздобудет эту рукопись и возвратит. Все Ваши рассказы и сценки — в сохранности. Я много работал, трудно жить, утомился до чрезвычайности, а в последний год и совсем расслабел, — вот причины, почему я просто обессилел, и Вы, надеюсь, поймете мое непонятное относительно Вас поведение.

Преданный Вам

Г Успенский.

Пет<ербург>, В. О., 7 л., д. 6, кв. 4.

281

В. А. ГОЛЬЦЕВУ

<20-е числа декабря 1889 г., Петербург>

Дорогой Виктор Александрович! Сейчас получил Ваше письмо и приношу Вам самую бесконечную благодарность. Рассказ будет доставлен непременно не дальше субботы. «Отрезки» же, было бы хорошо, если бы Вы возвратили мне по получении этого письма. Я их возвращу в скорейшем времени и положит<ельно> желал бы, чтобы и они шли в январе. Но вот затруднения, кот<орые> я Вам натворил, — это я знаю и глубоко скорблю. Но не зная достоверно, возьмет ли т<оварищест>во «Р<усской> м<ысли>» на себя это трудное дело, я начал переговоры с Павлен<ковым>, имея в виду обстоятельства, которые могли бы затруднить, между проч<им>, и т-во «Р<усской> м<ысли>». Существ<енное> дело — склад. Не иметь склада у Луковникова, у которого на складе первые 2 т<ысячи>, невозможно: читатель должен выписывать из двух мест и 2-х городов. Словом, необходим расход на уплату за склад книг в Петербург. Если бы «Рус<ская> мысль» сделала его в своей конторе у Фену, — то, будьте уверены, Луковников донял бы за это, и можно быть уверенным, что он охотно отказывал бы требовавшим 3 т<ом>. Кроме этого, — черная работа, корректура, — сколько тут хлопот с каждым листом пересылки из Москвы в С.-Петербург и обр<атно>. На каждый печатн<ый> лист, если его прочесть один раз, — 3-ое суток, если отправлять с кондуктором курьерского поезда. Н<иколаю> К<онстантиновичу> прислано сразу три листа, — да и оригинал его безукоризнен. У меня же все написанное за последние годы совершенно переделано, так что, напр<имер>, «Непривычное положение», т. е. сущая скука, — преображено до неузнаваемости и переработано из «Писем с дороги» из очерков «Мы» и из всех прочих случайных заметок о Болгарии. Точно так же «Грехи тяжкие» превращены в 4 отдельных рассказа и выброшена вон вся сибирная тоска, которая меня одолевала и которая тогда отразилась в писанье. Словом, первая корректура необходима для многих из переработанных вещей. Кроме того, лист ужаснейший:

у Ник<олая> Конст<антиновича> из каждого фельетона «Русск<их> вед<омостей>» в 14 ст<олбцов> выходит лист, — у меня из $7^1/_2$ фельетонов ничуть не меньшего размера Павленков насчитал только 2 листа с чем-то. Следов<ательно>, нужно втрое больше времени на набор, втрое на корректуру листа. Таким образом, Виктор Александрович, быть может и лучше, что тов<арищество> избежало этой возни и хлопот и непроизводит<ельных> расходов. Печатаю только 10 тыс<яч> и по 1 рублю. Другое дело 2-е издание, которое пополнится новыми матерьялами и которое не будет надобности поправлять в корректуре так, как это. Тогда и цену можно назначить больше. Но еще более существенное дело это быстрота печат<ания>. Если Павленков не раздумает, — то книга будет готова в первых числах февраля, и вот какой расчет:

10 000 руб.	
Издание, печать, бумага	2300 р.
Луков⟨никову⟩ за склад и $^0/_0$, котор⟨ые⟩ он бу⟨дет⟩ брать с кажд⟨ой⟩ книги 30$^0/_0$	3000 р.
	5300 р.
Мой остаток .	4700 р.

Причем я начинаю получение после того, как покроется 2300 р., а следоват<ельно>, буду иметь возможность в скором времени иметь хоть по 250 р. в месяц. Мало того, тот же Луковников, если я ему уступлю с своего рубля 5—7%, так он мне может дать вперед даже и тотчас после выхода книги в свет, он видит ведь как идет? Первое издание даже в складе не было, и экземпляр доставлен мне прямо от переплетчика.

Что же касается до обещанных работ, — то все будет исполнено с точностию: *«Отрезки»* — пришлите, набраны они или не набраны. Я их возвращу тотчас после того, как окончу рассказ, а рассказ в самом скором времени на этой неделе будет уже непременно не меньше 3-й части.

Книгу Вашу А<лександр> Ив<анович> передал мне. Благодарю Вас от всей души.

Преданный вам *Г. Успенский.*

Письмо превосходное! Вот, В<иктор> А<лександрович>, — *обчесво-то!* Раскисло ли оно? Ведь как пони-

мает положение дела вообще какой-то ктитор, церковный староста? Как он превосходно понимает даже положение литературного дела и видит, что надобно было «сдерживаться» и притворяться не негодующим. Такого же рода сожаление необходимости (плачевной) для писателя держать себя в узде получил я из Витебска. Не знаем мы теперь хорошего земского человека, простого, неученого, но искренно чувствующего и поэтому искренно сознающего разврат предержащих во всем ходе управления.

282

А. С. ПОСНИКОВУ

<Декабрь 1889 г., Петербург>

Дорогой мой, милый Александр Сергеевич!

Вы сами понимаете и знаете, какое животворное впечатление произвела на меня Ваша телеграмма. Я принялся писать в ответ, и писал много, но все это суета сует. Итак, я глубоко счастлив искренним отношением к Вам, Вас<илию> Мих<айловичу> и ко всему умному и сердечному кругу людей, именующемуся «Русск<ие> ведомости». Н<иколай> К<онстантинович> да Салтыков,— вот все, кто, кроме Вас, относились внимательно и снисходительно, когда надо, и вообще сочувственно. Я даже не могу и высказать, что такое в моей нравств<енной> жизни значат «Рус<ские> вед<омости>» и что бы я был, если бы не имел этого теплого пристанища!

На днях же, дорогой А<лександр> С<ергеевич>, я пришлю рассказик, — он сам собой лезет на бумагу; теперь же я прилагаю 6 страничек о значении приплаты в опер<ациях> Кр<естьянского> бан<ка> и завтра пришлю еще странички 3. Прочитайте, во-первых, Вы сами и, во-2-х, пусть прочитает В<ладимир> А<лександрович> Р<озенберг>. Быть может, я своим сованьем не в свое дело помешаю его работам, касающимся банка. Если эти страницы вообще плохи, то возвратите их.

Крепко целую, обнимаю доброго, задушевного Ал<ександра> Сергеича!

1890

283

В РЕДАКЦИЮ «РУССКОЙ МЫСЛИ»

<Середина января 1890 г., Петербург>

М. г. В объявлении о выходе в свет первой книги журнала *«Русская мысль»,* в числе статей, составляющих ее содержание, между прочим, поименована и моя статейка *«Выдался денек»*. Статейка эта такого рода, что всякий, кто ее прочитает, несомненно будет удивлен небрежностию, с которой она написана, и, главное, отсутствием в ней более или менее удобопонятного содержания. В объяснение появления в печати такого нескладного произведения я должен сказать следующее: статейка эта помещена вопреки моему желанию и моей убедительной просьбе, обращенной к ред<акции> «Рус<ской> мысли», — не печатать присланных мною в декабре месяце трех статей, так как я убежден, что написаны они под влиянием того ненормального душевного состояния, в котором я нахожусь с осени и до сего дня и которое потребовало врачебной помощи психиатра. Зная об этом моем ненормальном положении, редакция «Р<усской> м<ысли>» отнеслась к моему положению как нельзя более внимательно, и если одна из трех статеек все-таки появилась в печати, не просмотренная и не корректированная мною, — то это могло произойти лишь вследствие какой-то, неизвестной мне, путаницы в переписке. Но в чем бы эта путаница ни состояла, я всецело принимаю на себя вину появления в почтенном журнале моего нескладного рукописания — и надеюсь, что читатель отнесется к нему как к литературной опечатке, не подлежащей ни чтению, ни суждению.

Г. Успенский.

284

В. А. ГОЛЬЦЕВУ

22 янв<аря 18>90 г. Петров. линия.
Гост. «Россия», 12. <Москва>

Надеюсь, Виктор Александрович, что мое огорчение, высказанное при встрече с Вами у Н. К. М<ихайловского> о безжалостном поступке со мной ред<акции> «Русск<ой> мысли», — не принято и не понято Вами как упрек, относящийся лично к Вам. Нет, я от Вас видел всегда только добро, только искреннее внимание к моим просьбам, довольно часто весьма затруднительным. Но тем не менее «Русская мысль» не раз поступала со мной без малейшей церемонии, раз только в ней в отношениях к писателям начинал по практическим причинам преобладать практический элемент. Иметь *имя* писателя и изуродовать содержание его произведения, и делать это <в>виду *подписки,* — это испытано мною в весьма достаточной степени. Вы сами знаете, что практические соображения решительно Вас не касаются, но что они касаются других деятелей «Русской мысли» — это несомненно. В видах того, чтобы мирно и тихо покончить неприятные отношения, возникшие между мною и «Русской мыслью» в настоящее время, а также и для того, чтобы снять с репутации журнала упрек читателей в помещении бессмысленнейших страниц, только потому что под ними подписано «известное» имя, — я прошу Вас обсудить след<ующее> мое предложение.

По счету конторы «Р<усской> м<ысли>» за мною числится долгу к 1 января 90 г. — 3552 р. 63 к. (за исключением заработанного). Долг этот обеспечен двумя расписками государ<ственного> банка в 1600 р. и в 1700 р. — 3300 руб. Заработать пером, да еще в моем ужаснейшем умственном ослаблении, — дело решительно невозможное. Но уплата денежных долгов деньгами произойдет таким образом: 1600 р. получатся В<уколом> М<ихайловичем> в феврале 91 года, а 1700 будут, как я надеюсь, покрыты раньше. В марте книга моя непременно выйдет сразу в 20 т<ысячах> экз<емпляров> по 1 руб. (так как третье изд<ание> идет непрерывно), и для скорейшего покрытия долга я, кроме расписки, готов сделать

в «Русской мысли» склад такого количества экземпляров, которое бы покрыло 1700 р. с причислением того количества экземпляров, которое потреб<уется> на покрытие уступки книгопродавцам: т. е. 1700 экзем<пляров> +(по 30% с р<убля> книгопродавцам) 510 экз<емпляров> — всего 2210 экз<емпляров>.

Кстати, не откажите уведомить меня, получена ли В<уколом> М<ихайловичем> и вторая расписка г<осударственного> б<анка> в 1700 р.

И следов<ательно>, необеспеченного остается 252 р. 63 к. Эти деньги, предполагаю я, зачтутся за рассказ «Выдался денек», — и тогда я совсем не буду ничего должен. Но этих денег я не возьму, а прошу для общей пользы употребить их таким образом.

Необходимо отпечатать вновь тот 1 лист, который занимает мой рассказ (от 203 ст<раницы> до 218) в исправленном и дополненном виде, и приложить его к февральской книжке (как прилагаются объявления и т. <п.>), сделав такое примечание:

Для переплетчика. Ввиду поспешности печатания 1-й книжки, в несколько страниц 13 и 14 листа вкрались весьма значительные корректурные ошибки. [1] При настоящем № прилагаются те же страницы исправленные, — чтобы при переплете заменить ими те же страницы (от 203 до 218) в № 1 «Р<усской> мысли».

Этим до крайности простым способом совершенно прекратится всякая возможность порицания со стороны читателей как меня, так и редакции.

Прилагаю исправленную корректуру. Если Вы согласны на это, — то я останусь в Москве дня два-три, столько, сколько нужно, чтобы лист был отпечатан и чтобы сократить все, что будет больше листа.

Затем, Виктор Александрович, не откажите возвратить мне *«Отрезки»* и *«Бабьи души»*. У Вас должна быть часть корректуры «Из крестьянской жизни», а остальное — в рукописи. Писать теперь я не могу, но, быть может, если только оживет мой больной мозг, — со временем я и сделаю что-нибудь из них.

Преданный Вам *Г Успенский.*

---

[1] Далее в подлиннике три с половиной строки вычеркнуты. — *Ред.*

285

А. В. УСПЕНСКОЙ

29 янв<аря 18>90 г., <Москва>

Друг мой любезный! Зажился я в Москве прежде всего потому, что не знал, куда ехать, — будет ли толк? Да и сегодня я еще не знаю — на юг ли поеду или устроюсь здесь — по Смоленской дороге какой-то доктор устроил санаторную станцию, где именно и живут во время зимы. Это я узнаю сегодня от самого доктора. Затем каждый день я бывал в «Русских вед<омостях>» и не скучал этим. Потом приехал Короленко, Шелгунов, Посников возвратился с земск<ого> собр<ания>, — и вообще было не скучно, гораздо лучше, чем бы я где-нибудь, хотя бы и в Ялте, сидел один в гостинице. Кроме этого, я не мог бы уехать спокойно, если бы знал, что после апр<еля> опять и опять и всегда будут нужны деньги, а работать я не могу. Поэтому я писал Павленкову и просил его печатать мою книгу пока я езжу, чтобы она вышла во время поста. Но он ответил, что этого делать не нужно, надо издавать осенью. А деньги до осени он достанет мне под мое издание. Таким образом, теперь не будет нужды до осени, и лето можно будет прожить не в Чудове, а в каком-нибудь другом месте, что ведь нам необходимо. Сашечка, ты теперешним летом непременно можешь поездить по Волге. Пусть он знает об этом. Я бы воротился и сейчас, но вижу, что решительно необходимо пожить недели три-четыре не в Петербурге и не в Чудове — только и всего. Сегодня я буду знать, где я устроюсь, — и тогда, пожалуйста, пишите мне. Тогда пусть Сашечка пришлет 2 своих карточки (Короленко и Вас<илию> Мих<айловичу>), а если есть третья, то и мне. Об адресе я извещу, как только устроюсь. Деньги за девочек я пришлю скоро: ведь мои статьи я отобрал из «Русской мысли» и как где-нибудь устроюсь, то поправлю, и они будут нап<ечатаны> в «Рус<ских> вед<омостях>». Вообще о деньгах теперь можно думать меньше, чем всегда. «Русской мысли» не остался должным ни одной коп<ейки>. Но когда выйдет книга, то я выкуплю у них 2 расписки госуд<арственного> банка. Ну, пока больше писать нечего. Всех крепко целую. Поправляйся.

Г. Успенский.

286

В. М. СОБОЛЕВСКОМУ

Козлов, 6 <февраля 1890 г.>, 2 ч. утра

Дорогой Василий Михайлович!

Пишу со станции Козлов и убедительно прошу выслать мне, в *Воронеж до востребования, — еще 50 рублей.* Поездка на лошадях оказалась сущей нелепицей — до Казани 400 верст, а обратно — 800, по ухабам. Словом — никакой возможности к облегчению. В Воронеже я остановлюсь, потому что не в силах переносить долгую езду по железн<ой> дороге, и сейчас у меня в голове помутилось... *50 р. мне необходимы,* и я ни в каком случае не попрошу более ни копейки. С Нижегород<ского> вокзала я прямо приехал на Рязанский и поехал в Ростов с глубочайшей неохотой, точно в неволю. Бога ради, не сердитесь на меня.

Всем сердцем Ваш *Г Успенский.*

287

А. В. УСПЕНСКОЙ

Воронеж, 11-го фев<раля 1890 г.>

Завтра вечером я уеду из Воронежа в Ростов, и если во время дороги со мной не возобновится болезнь, то проеду в Новороссийск без остановки, а оттуда извещу телеграммой, куда писать мне. Во всяком случае, я возвращусь к 1-му марта непременно.

Посылаю 100 р. внести за девочек. На имя Анны Павловны Савиной посылаю в Чудово 20 р. — Гофману, 10 р. Ване и Павлу и 20 руб. Жарову в Саратов. Эти деньги получились при расчете с «Русск<ой> мыслью»; так как там две расписки (обе в 3300 р.), то за мной нет никакого долга, и получился остаток в 250 р. Так что если я что-нибудь буду писать этим подлецам, то буду получать чистыми деньгами. Когда выйдет книга, то я квитанции банка возьму от них.

Спасибо, милый мой друг, за письмо, — слава богу, что всё хорошо. Моя болезнь вовсе не в том, что беспо-

коит жизнь, — а в том, что я *мало* ею стал беспокоиться,— вот от какого несчастия надобно лечиться-то. Сашечка не написал сочинения не потому, чтобы не хотел заняться, а потому, что ему *нечего было* написать. *Как провел праздники*, вот что задано. Что же было ему написать? Никакого праздника он не проводил, а прожил неск<олько> дней с Лаврентьем. Что же тут писать? Это первый раз, что учитель прочел 2 главы «Полтавы». Обыкновенно дают отрывки из «глупейшей» хрестоматии и говорят — «Перескажи».

Посылаю в другом конверте один смешной рассказ, где изображены гимназисты и гимназистки так, как они теперь живут. Отлично написан и нехудо им посмеяться. Пусть-ка Шурыч Коле Михайловскому и Леше даст прочесть, — они точь-в-точь такие обожатели.

В Воронеже я был все время один, — то есть ходил два раза в день гулять и гулял подолгу, — и чувствую себя последние два дня хорошо, т. е. не мучают меня мои болезни; лекарство, однако, принимаю постоянно, как в Петерб<урге>. Я бы уехал раньше, но раз уже пришлось остановиться, — так я и потребовал из «Р<усской> м<ысли>» расчета. Имею телеграмму, что деньги высланы в субботу, пойдут в воскресенье (сегодня), а завтра в 11 ч. будут получены и отправлены. Себе оставлю 150 р., так как у меня денег мало. На эти же деньги я и рассчитывал, когда думал, что остановлюсь где-нибудь в другом месте. Но пришлось ост<ановиться> в Воронеже и <и>стратить все, что было, на дальнейшую дорогу.

Ну, еще раз душевное спасибо за хорошее письмо. Когда получишь телеграмму, куда писать, то пусть напишет мне и Сашечка и все. Крепко всех целую.

Г. Успенский.

288

А. В. УСПЕНСКОЙ

<25 февраля 1890 г.>, Витебск. Воскресенье.

Друг мой дорогой! Сегодня в 3 часа я еду опять в Смоленск (от Витебска 4 часа) и там решу, куда ехать, — в Брянск или чрез Вязьму, Ржев, Осташков по Н<иколаевской> ж<елезной> д<ороге> — домой, или же

в Москву. С Ремезовым (управл<яющий> Кр<естьянского> банка) мы ездили верст за 40, к переселенцам, кот<орые> и здесь есть, и побывал в белорусских деревнях. И города и места скучные, и люди скучные. Болезни не возобновлялись, но один раз я почувствовал себя (в деревне) нехорошо и первый раз после Вор<онежа> принял лекарство. Все письма получил — спасибо, милые мои. Ворочусь я, однако, не вполне поправившись и боюсь, что всем вам будет скучно, и если я увижу, что мне нехорошо, — так я где-нибудь один еще недели две пробуду. Чечотта я известил о моем состоянии и не знаю, как его благодарить, хотя и ему написал четыре строчки, — писать пока ничего не могу, пробовал и неудачно, — вот и письма мои все скучные! Я выехал из Петерб<урга> под впечатлением подлого поступка «Рус<ской> мысли», которая меня расшибла, и не очувствовался даже и до сих пор — вот почему и поездка моя вышла какая-то бесцельная — прошла только болезнь, и я могу думать не о ней только, как было с ноября месяца до отъезда. Детей отпустят месяца на 4 каник<ул>, Сашечка, — вот этим временем и надо воспользоваться, чтобы хорошо поправиться и тебе и мне.

Пишу это утром (вчера ворот<ился> из дерев<енской> поездки), и сейчас надо собираться в дорогу, платить, и уеду на вокзал пораньше. В номере скучно, и надоели мне эти гостиницы до тошноты. Пока до свидания, милые мои, крепко всех целую и хочу видеть.

Г У.

289

В. А. ГОЛЬЦЕВУ

12 марта 1890 г. Петербург.

Виктор Александрович! Прилагаю при сем статейку для 2-го отдела, совершенно измененную и переработанную по существу, хотя она и носит старое название. Из старой статьи этого названия взяты только факты, заимст<вованные> из местной печати, и мои личные наблюдения, — но все это в настоящей статье получило совершенно иной, определенный смысл, чего в старой статье,

написанной не в здравом уме, не одолела моя больная голова.

Статья эта получится во вторник, и я полагаю, что двух дней (среда — четверг) будет достаточно, чтобы определить: будет ли она помещена или нет? Я нахожу ее не лишней вообще в понимании «женского вопроса» и в понимании текущей жизни крестьянства. Таким образом, если Вы найдете возможным ее печатать (в апр<еле> или мае, все равно), — то не откажите в моей насущнейшей просьбе и ссудите еще за один лист — 250 р. Эта статья покроет 250 р., высланные в Воронеж, а покрыть теперь просимые 250 р. я тоже не замедлю — у меня после поездки все-таки есть о чем можно писать не из необходимости.

Первая глава, написанная вся вновь, — укажет цель, с которой написана вся статья.

Итак, если в течение среды и четверга ред<акция> решит вопрос печатать или не печатать, то в случае благоприятного решения, *сделайте милость, похлопочите, чтобы 250 р.* были высланы чрез Юнкера в *пятницу* и чтобы в *субботу* я мог уехать в Чудово на все праздники. Я поправился от тех болезней, от которых *лечился*, но боюсь, что суета сует петербургской жизни (и главное, смердящий воздух — признак ранней петербургской весны) — не дадут мне возможности продолжать выздоравливать. Я несомненно ощущаю на самом себе: какой-то ужаснейший кошмар миновал, — надо по возможности уйти от условий, которые напоминают его происхождение. После 20 мая, когда окончатся экзамены, все мы переедем куда-нибудь в другое место, а не в Чудово, а пока я пробуду в Чудове, по временам возвращаясь в Петербург, чтобы заменить Ал<ександру> Вас<ильевну> и дать и ей возможность отдохнуть в деревне.

Таким образом, Виктор Александрович, отныне мои просьбы о ссудах *не будут превышать 250 р.*, и если я обращусь за ссудой в этих размерах, то не иначе как препроводив в редакцию работу, которая прежнюю ссуду покрывает. Словом, больше 250 р. я никогда должать ред<акции> не буду.

Итак, Виктор Александрович, если только возможно, исполните мою покорнейшую просьбу. Если бы Вы определили — «да или нет» относительно моей статьи,

в течение только *середы,* — то я бы был счастливейший из смертных, п<отому> ч<то> тогда наверное получил бы возможность ехать. Контора Юнкера открыта до 5 часов, — но не всегда приносят московскую почту в 3—4 часа, иногда получаешь и в 6.

Словом, Виктор Александрович, я надеюсь на Вашу помощь и в пятницу или субботу буду ждать Вашего ответа.

Преданный Вам

Г Успенский.

Тревожные известия отозвались и здесь.

290

В. А. ГОЛЬЦЕВУ

<7 апреля 1890 г., д. Сябринцы>

Вот и еще, Виктор Александрович, «нечто», по моему мнению, достойное напечатания во 2-м отделе *«Русской мысли».* Да не смущают Вас цифры, которые нет-нет да и проскользнут там и сям, — я и сам боюсь вести разговор с публикой этого рода способом. Но, по возможности, я избег излишеств и цифрами не злоупотреблял, а на следующих 10 страничках и вовсе никаких цифр не будет, за исключением одной стр<оки>. Окончание будет послано завтра, и если Вы, просмотрев это нечто, увидите, что оно подлежит печатанию, — то сделайте великое одолжение, не откажите потеребить ред<акцию> еще на 150 р., в том только, конечно, <случае>, если «Крестьян<ские> жен<щины>» покрывают получ<енные> в Воронеже 250; «Нечто», по Вашим соображениям, покроет 200 р., полученные в Петербурге. Если мне бог даст поехать на Казанскую выставку, — тогда я что-нибудь и путно изобразил бы для «Р<усской> мысли». Кстати: в «Юр<идическом> вест<нике>» в № 2 (и, кажется, в № 4 будущ<ем>) печатают *«Тюремные порядки».* Рукопись эту передал в «Юр<идический> в<естник>» — я, а получил ее от одного человека. В настоящую минуту у меня есть рукописи того же человека, — в полном моем распоряжении, — но эти рукописи поистине превосходные: «Мертвый дом» изображен автором по личному его

опыту. Так не желаете ли, чтобы я, сославшись на вопросы, *затронутые* «Юрид<ическим> вест<ником>», и особенно ввиду *тюремного конгресса*, написал бы заметку и таким образом воспользовался бы великолепнейшим материалом? Жду в Чудове Вашего ответа, и если будет возможно исхлопотать мне 150 р., то не откажите повелеть конторе расписку Юнкера переслать также в *Чудово;* сам я в Петерб<ург> не могу ехать, т. к. приготовляю к изд<анию> мою книгу, — и на расписке надо написать довер<енность> А<лександре> В<асильевне>, кот<орая> их и получит. Буду Вам глубоко благодарен.

Преданный Вам

Г. Успенский.

7 апр<еля>.

291

А. С. ПОСНИКОВУ

22—24 ав<густа 1890 г., Петербург>

Дорогой, милый Александр Сергеевич!

Сейчас прочитал статью в «Рус<ских> вед<омостях>» *«Конгресс английских тредс-юнионов в Ливерпуле».* Так как я человек неграмотный, то и не знаю, что это значит *«тредс-юнионов»*? Неужто по-русски-то нет подходящих слов? По безграмотству я догадывался, что это, должно быть, рабочие союзы, — да так ли? Можно ли сказать: швейцарский *юнион*? Тройственный *юнион*? Собрание *юнионов* «Русских ведомостей»?

Опять, дорогой мой Александр Сергеевич, впал я в полнейшее расслабление. Это следствие безостановочной поездки в течение 4 недель; едва ли в это время я спал на кровати где-нибудь, кроме Москвы, в последнее время, да в Нижнем две ночи. Ослаб до невозможности и с каждым днем все хуже и хуже. Едва держу в руках перо и боюсь, что написал чепуху. Можно ли мне корректуру с надписью, сколько надобно сократить? Положительно, дор<огой> А<лександр> С<ергеевич>, я теперь вижу, что мне не встать на ноги. Второй год стол заставлен лекарствами. Неужели дело идет к погибели? Вчера я положительно не мог написать Вам двух строк,

да и сейчас не могу. Это не сон (я для сна пью воду с огром<ным> кол<ичеством> валерьяны), а какое-то мертвенное состояние; худоба увеличивается с каждым днем. Из деревни просят денег; бывало, я бы и сам обеспокоился раньше их и постоянно беспокоился, теперь вот лежу и не чувствую, не нахожу сил для беспокойства или спокойствия... Господи боже мой! Вот мое положение теперь.

24 ав<густа>. *Корректуру надобно иметь* и знать, сколько выбросить. Пришлите, пожалуйста. Н. К. Мих<айловский> пишет Вам новое письмо о р<азных> раз<ностях>.

Теперь я живу на новой кварт<ире>.

Вас<ильевский> Остров, 9-ая линия, д. 42, кв. 22.

Пожалуйста, разыщите № 23 *«Восточного обозрения»*. Там жестоко отделали Белоконского за его очерк *«Абаканская степь»* (121 № «Русских вед<омостей>»). Вообще с Белок<онским> надо быть остор<ожным>. О нем худая молва в Нижнем, т. е. среди Корол<енко>, Пис<арева> и других, знающих, что это за птица.

Какой противный рассказ Станюковича! Не печатайте, ради бога, таких «подлюстев». Зачем? Нет хорошей беллетристики — так и не надо. Иной раз у вас появляются корресп<онденции> из России, — специально посвящ<енные> какому-нибудь вопросу, — право, лучше этой мазни. Не знает ведь, что пишет, что будет в след<ующей> строчке. На вашем месте я бы не гнался за фельетоном. 2—3 хор<оших> кор<респонденции> в № — поверьте, прочтутся с бо́льшим удов<ольствием>, чем такая беллетристика.

Затем *самая покорнейшая просьба*. Есть надежда, что очерки Серафимовича могут быть выпущены отдельной книжкой. Да он и сам этого желал бы. Пожалуйста, пришлите все его фельетоны: кажется, 3 или 4, это ничего не значит. Книжка выйдет в таком объеме, как изд<ание> Чехова, — препорядочная. Непременно, дор<огой> А<лександр> С<ергеевич>, присылайте фельетоны.

Вот по части путаницы реформы 12 ию<ня>.

(Из *«Сельск<ого> вестника»*, издающегося при *«Правительств<енном> вестнике»*).

«Сель<ский> вестн<ик>» № 28 *(Ответы редакции)*

<Газетная вырезка:>

Крестьянин Висимоуткинской волости, Верхотурского у., Пермской губ., *Клавдий Шишунин* пишет, что волостной суд присудил с него 66 рублей по иску старшины Худякова, который представил в суд на лоскутках бумаги только свои отметки о заборе у него из лавки товара, между тем как он, Шишунин, должен ему только 10 рублей. На такие неправильные взыскания в пользу Худякова, постановляемые в угоду ему как старшине, были не раз приносимы жалобы, но оставались без последствий. Спрашивается: может ли старшина по своим частным делам судиться в волостном суде, *когда он судом управляет,*[1] а также может ли он во время службы производить в своем доме торговлю, и куда на него жаловаться, чтобы жалобы не оставались без последствий.

Всякое должностное лицо крестьянского управления не лишается права обращаться в местный волостной суд по своим частным делам или заниматься своими частными делами в своем доме. Если волостной старшина *(который по закону не может управлять судом)*[1] злоупотребляет своей властью, или если волостной суд при разбирательстве дел не соблюдает установленных правил, то жалобы можно приносить уездному присутствию, а на бездействие сего последнего — губернскому присутствию.

Теперь волостной старшина — *председатель волостного* суда.

Ред<акция> должна *исправить* то, что пишет правит<ельственный> орган, и показать, как по нынешним законам выйдет. Может *старшина присуждать самому себе!*

Пишу это 24 в 8 часов утра, чувствую себя немного бодрей, но через два-три часа — свалюсь непременно.

Жду корректуры и фельетонов Серафимовича.

Крепко обнимаю и остаюсь болящий, умирающий.

Г. Успенский.

292

В. Г. КОРОЛЕНКО

17 окт<ября 1890 г., Петербург>

Ангел мой, Владимир Галактионович, странничек божий!

Ударил меня Ник<олай> К<онстантинович> «в совесть», — но она не пробудилась, — она принимает в день раз пять три успокоительных лекарства — ничего ровно

[1] Подчеркнуто Успенским. — *Ред.*

не ощущает. Память еще до некоторой степени сохранилась, напр<имер> о деле Серафимовича. Рассказы его я вытребовал давным-давно, и давным-давно говорил с Павленковым (не к Суворину же идти?), но он отказал потому, что не издает якобы беллетристики, в доказательство чего могут служить изд<ания> Решетн<икова> и Успен<ского>. Беллетристики он не издает, анафема! Но дело еще вот в чем — мало! Я пересчитал все количество букв (37 в строке клал), и оказалось всего 131 тысяча, т. е. чтобы вышло 10 листов, надобно изобрести лист в 13 т<ысяч> букв, — но Вы мне такого не укажете листа. Уж на что Чехов издан разгонисто — а в листе непр<еменно> тысяч 25. Единственный образчик издания в 13 т<ысяч> букв — это Джаншиева книги: *«Баловни и пасынки природы»,* но там 20 таких листов, все-таки книга, хотя текст разогнан до невозможности. Мой совет — перепечатать их все целиком в одной из кн<иг> «Русской мысли», *«На крайнем севере»,* без всяких примечаний.

Второй удар в совесть также мне памятен, — но я, во-1-х, завален корректурой — читается не меньше пяти коррек<тур> (огром<ный> лист), а иногда и 6. С 15 августа по сей день 17 окт<ября> я прочитал 10 листов (отпечатано 12) и прочитал, поистине говорю Вам, в величайших страданиях; я так исчах, что Ол<ьга> Н<иколаевна> Фигнер (Флерова) не узнала меня. Если бы Вы знали, как я неминуемо иду к погибели и что я с утра до ночи испытываю на душе, то не думали бы, что совесть забывчива, — она мертва, недвижима.

Вот что происходит, ангелочек мой. Предложен план такой: кое-как дочитать еще 3—4 листа и немедленно лечь в какое-нибудь лечебное заведение или уехать из Петерб<урга> в Архангельск или Ялту, — холод и тепло одинаково действуют на нервы. У Павленкова тьма изданий, и до моей буквы очень еще далеко. Может, я и поправлюсь. Тогда я напишу в тишине два-три эпизодика, которые имели в моей жизни значение, переломили раз, два и три, — и вышла погибель.

Алекс<андр> Ив<анович>, голубчик? Ник<олай> Александ<рович>? Как и что? Здоровы ли, отцы мои? Семен Яковлевич? Что бы Вам, отцы мои, хоть строчку

написать болящему и умирающему. Напишите мне, странники божии, осияйте мне мою душу мертвую!..

Крепко, голубчики мои, всех целую!

Исчахнувший *Г. Успенский.*

17 окт<ября>.

В<асильевский> Остр<ов>. На углу 9 и Среднего, № 42, кв. 22.

На всякий случай посылаю очерк. Странничек божий, может, прямо и пошлет в «Рус<скую> мысль».

Я так и знал, что «<Русская> *мысль»* сделает с Вами подлость. *Подписка*! Разве Вы можете что-то исправлять и просить подождать? Ах, какие сукины дети! Боже справедливый, *<2 нрзб.>* ты их за буфетом.

293

В. А. ГОЛЬЦЕВУ

<30 октября 1890 г., Петербург>

Дорогой Виктор Александрович!

Никоим образом я не могу исполнить обещание — дописать рассказ — идет кипучая работа по изданию, и я утомлен до последней степени. Сию минуту от 30 до 2 у меня будет некоторый перерыв, или некоторое облегчение, — читать свер<станные> листы, и могу окончить статейку, начало которой прилагаю. Она в таком же роде, как «Дер<евенские> раск<ольники>», «Кр<естьянские> ж<енщины>», но любопытней. Если Вы не прочь ее напечатать в ноябр<ьской> кн<ижке>, то окончание будет у Вас 1-го непр<еменно>, и корректуры моей не будет, т. е. корректуру мне надобно прислать, но она у меня останется, а Вы сами уж прокорректируете статейку. Простите, В<иктор> А<лександрович>, что я посылаю такое запачканное письмо, — спешу отправить с почтой. К январю месяцу я исполню свое обещание.

Пред<анный> Вам

Г Успенский.

30 ок<тября 18>90.

294

А. С. ПОСНИКОВУ

25 декаб<ря 18>90 г., Петербург.

Воскрес я, дорогой, милый Александр Сергеевич! Посников — это значит, что я помилован за мои бессовестные поступки, а если и не помилован, то все-таки «Посников» появился у моего одра смертного. Жив, стало быть, я, — слава богу! Скоро-скоро приеду в Москву по пути в теплые места, и все 400 привезу и все будет хорошо!

Относительно произведения — надо бы исправить первую главу. Я попробую ее написать вновь. Но прислать корректуру — будет хорошо, так как половина (с 3-й гл<авы>) не окончена и печатать ее в буд<ущем> году — не подобает, а уж лучше печатать в январе — и 1-ю и 2-ю. Я бы желал в месяц раза два, а то и один, продолжать эти «Вести из дерев<ни>». Право, очень-очень много нового, да и старого-то пропасть.

В большое недоумение впал я, прочитав *«Литературные заметки»* в № 351. Подписана она буквой З. Кто такой? Замаскированный Иванов, очевидно, и его заметка, очевидно, реклама «Северному вестнику».

Охаяв какую-то подлую литературу, он пишет: «Среди *молодых* органов нашей печати, идущих по литературному и общественному пути, *первое место, по старшинству* (?) *и разнообразию программы,* занимает *«Сев<ерный> вестн<ик>».*

Не меньше 50 р. заплатил Глинский в Континентале!

Среди молодых... Стало быть, есть и еще *молодые* органы, «идущие по литературному и общественному пути»? «Рус<ские> вед<омости>», «Рус<ская> мысль», «Вес<тник> Евр<опы>» это *старые* органы, идущие по тем же путям. Среди каких же органов (!) *первое*[1] *место* занимает «Сев<ерный> вест<ник>»? Но оказывается, что он занимает среди *молодых* перв<ое> место *«по старшинству».*

---

[1] Слова: *«первое», «первое место»* подчеркнуты Успенским дважды. — *Ред.*

Не знаю! Таких экивоков я что-то не читывал в «Рус<ских> ведомостях». *Молодой, по старшинству, первое место* по разнообразию программы.

Замаскированный Иванов, чувствуя, что он влияет, говорит о молодом органе, на первом месте стоящем:

<Газетная вырезка:>

Но такова сила господствующего в настоящее время течения; даже несомненно идейные стремления проявляются иногда *в крайне своеобразных формах. Вина лежит не на самом журнале: все даже лучшее всегда и всюду неизменно отмечено духом времени*;[1] явлений. свободных от этого духа, *остается мало*. Нет! З. непременно ел *«Барань Бретонь»*.[2]

Я убедительно прошу Вас, дорогой Александр Сергеевич, взять № 10 *«Юридич<еского> вестника»* и посмотреть *«Обозрение журналов за пер<вую> половину 90 г.»*. Там Вы увидите, *«в каких своеобразных формах»* выражается в *«Сев<ерном> вестнике»* «даже *лучшее*». В этом обозрении идет, между прочим, пересказ статей о финляндском вопросе, причем оказывается, что Глинский (не с октября, а с апреля владеет «С<еверным> в<естником>») — *не* в «Сев<ерном> вестн<ике>», а <в> *«Историческом вестнике»*, пересказывая содерж<ание> книги Ордина, — в конце статьи говорит, что эта книга написана *с злыми* целями. В *«С<еверном>* же *вестн<ике>»* о той же книге пишет некто П. М., — уж не считает ее злою, а похваливает, а в «Ж<урнале> м<инистерства> нар<одного> пр<освещения>» тот же П. М. — превозносит эту книгу. Прочти<те> это непременно, вот где дух-то самый, тех *молодых* органов!

Глинский дает молодому Водовозову книгу для библиогр<афической> рецен<зии>. Книга *Никитина* (который добивался золотой медали за книгу о еврейских колониях... и плут самого высшего качества), — и Глинский, вручая ее Водовозову, сказал:

— *Необходимо похвалить!*

— Очень хороша?

---

[1] Слова *«лучшее»*, *«духом времени»* напечатаны в газете курсивом и подчеркнуты Успенским. — *Ред.*

[2] Такие кушанья публикует Соловьев (б. Палкин) в воскр<есных> обедах с музыкой.

— *Я не читал,* — но *нам надо* ее похвалить... У *нас* есть с ним дела.. Ростовщические.

И вот тоже *дух времени.* Водовозов это рассказал, явившись к Южакову от имени Глинского пригласить его в сотрудники.

В весьма *«своеобразных»* формах видна только «деморализация» молодого по старшинству органа, о чем превосходно расследовано Обнинским!

«*Между* человеком и природой находится *сердце*». Это говорит тот же самый *молодой* орган, стоящ<ий> на *первом* месте.

Вы не верите? Думаете, я перековеркал по-своему? Опять умоляю, — возьмите 12-ю книжку *«Сев<ерного> вестника»* и прочитайте рецензию о книге стихотв<орений> *Я. П. Полонского «Вечерний звон».* На 2-й странице вы найдете не одну строчку о том, что Ваше сердце за окном, а не в Вас, а строк 40 — и *буквально между человеком и природой* — сердце!

В фабричной песне по крайней мере сказано:

Посеред души у Маши
Сердце красное стоит.

А тут *между* человеком, между Машей и поросенком, который принадлежит к природе, конечно.

З.[1]

295

В. А. ГОЛЬЦЕВУ

<30 декабря 1890 г., Петербург>

Дорогой Виктор Александрович! Вы, конечно, удивитесь, что в январской кн<ижке> «Недели» объявлено (в № 52) о помещении в ней, между прочим, моего рассказа *«Тягота»,* и можете подумать, что для Гайдебурова *я мог* написать, а для *«Русск<ой> мысли»* — *отказался.* Однако тайна этого появления моего рассказа в 1 № «Недели» заключается в том, что это рассказ не новый, а *старый,* переделанный несколько для 3-его тома. Целую осень Гайдебуров приставал ко мне «с рассказами».

[1] Злющий.

Я прямо говорил ему, что решительно не могу написать чего-нибудь нового, даже строчки, а что вот есть в 3 т<оме> несколько старых переделанных рассказов; но ведь старые перепечатывать не в обычае. Оказалось в обычае, и, переиначив заглавие, Гайдебуров отделался от поклепа в перепечатке примечанием: «*Из 3-го т<ома> соч<инений> Г И. Успенского*». Сделано Гайд<ебуровым> это дело своевольно. Я предложил это, чтобы прекратить его приставанья напрасные, — и, подумав, написал ему, что я *не согласен* и на эту перепечатку, но Гайдеб<уров> ответил, что уже расск<аз> напечатан, и я не получил даже и корректуры. По некоторым обстоятельствам необходимо перетерпеть это гайдебуровское свинство.

Завтра, 31 декабря, вся остальная часть «Писем переселенцев» будет выслана до конца. Некоторый перерыв произошел вследствие поездки в Чудово за письмами переселенцев, имеющимися у меня в подлиннике, и розыска одной газеты, в которой есть сведения о переменах к лучшему в отнош<ении> к переселенцам в Степн<ом> генерал-губерн<аторстве>.

3-й том получил вчера, 29, вечером. Но он только завтра, 31, поступит в цензуру.

Преданный Вам

Г. Успенский.



1891

296

А. С. ПОСНИКОВУ

<18 января 1891 г., Петербург>

Дорогой Александр Сергеевич! Вчера я прочитал рецензию Н. В. С. о 3-м томе. Решительно не ожидал ничего подобного. Я на этот том смотрел как на «надгробный камень», и когда хотел делать надписи, — то рука моя писала «Под сим камнем...» Теперь я вижу, что я еще пока не под сим камнем.

Изморил я Вас, дорогой Александр Сергеевич, моим долгом. Я надеялся, что Павл<енков> может уже, по окончании расходов на издание, высчитать, сколько придется на мою долю. Он сам обещал мне дать *«обязательство»* в том количестве экземпляров и денег, которое принадлежит мне и не должно войти в коловорот денежных операций всех других изд<аний> Павленкова. Но обязательства этого нет до сих пор, и я вынужден взять 1000 р. из банка. В понедельник, 21, я получу эти деньги и, по возможности, отправлю Вам в тот же день не менее 250 р.

Оказывается, что Ф<лорентий> Фед<орович> не посылал в редакцию «Рус<ских> вед<омостей>», да и вообще никуда, — ни книг, ни объявлений. Из его письма я вижу (по этому поводу), что он старается, чтобы мне больше досталось. Дело это пустопорожнее, просто Ф<лорентий> Фед<орович> забывает о моей книге, так как это в сущности не его издание, а мое. Прилагаю поэтому объявление и прошу Вас не отказать напечатать его 3 раза как объявление, со скидкой 25%, а счет препроводить к Павленкову, адрес которого обозначен.

Нет, слава богу, пока еще не «под камнем сим», а книги-то пришлю все-таки без надписей: половина написана в самые *мрачные* минуты юности, а другая в самые мрачнейшие минуты старости. Рука не поднимается, чтобы преподнести эту мрачную книгу наилучшим друзьям. Пусть она придет без надписи.

Получил я от Павленкова книги только в прошлое воскресенье, — и поэтому запоздал высылкой.

Всем сердцем преданный

Г Успенский.

18 янв<аря 18>91 г.

297

В. А. ГОЛЬЦЕВУ

19 февраля <18>91 г., <Петербург>

Дорогой Виктор Александрович! Меня часто стали поругивать мои близкие знакомые за то, что я, посылая третий том, не делаю поименных надписей и не выражаю вообще уважения, посылая этот том. Есть и такие, что говорят — «бросил полтора рубля и ни слова не сказал». И то и другое несправедливо. Люди пишут об уважении, когда и *сами уважают* книгу, а я третий том *не уважаю,* для меня он надгробная плита, издание, *вынужденное* нуждой, крайней необходимостью не поколеть с голоду и вообще от первой до последней строки напоминающее мне «бедствия» юных лет и бедствия преклонных лет; все, что писалось с 88 г., писалось в ужаснейших условиях, в душевном расстройстве, не предвещающем ничего, кроме гибели. Так Вы можете судить — поднимется ли у меня рука преподнести надгробный камень «в знак уважения»? Не поднимется, и книга посылается единственно для того, чтобы было 3 т<ома> у имеющих 2 пер<вых>. На первом томе — искренние надписи, а на третьем рука пишет: «под сим камнем погребено... пока еще не тело, а сердце, седое».

А<лександру> Ив<ановичу> Эртелю будет также послан 3 том. Отлично он пишет, прелесть! Видимо,

он освободился от толстовского скопчества и дал волю своему сильному таланту. Вся 1-я часть превосходна. Сохрани бог, если у него появится Элиз ди Коман-ву-порте-ву. Во 2-й части и Каронин, кажется, выбрался на дорогу.

Будут ли напечатаны мои «Кочевники»? Если не будут, то все-таки одолжите мне корректуру с моими поправками. Если же будут, то я б значительно дополнил их гибельными опытами правительства, не обращая внимания на почв<енные> и климатические условия, заселять Новороссийский край на разные манеры, кочевников (ногайцев) превращать в земледельцев, а земледельцев помещать в степях кочевников. Об этом киргизском вопросе идут обширные толки. Материал дополнительный готов, и потребуется дня 2. Множество матерьяла об одной Сыр-Дарьинской области. Так вот, Виктор Александрович, во-первых, примите книгу так, просто, не читайте ее, а поставьте на полку; затем не откажите написать строчку в ответ. Искренно преданный Вам

Г Успенский.

298

В. И. СЕМЕВСКОМУ

26 февраля <18>91 г., <Петербург>

Многоуважаемый Василий Иванович!

На этих днях я получил письмо от молодого, начинающего и талантливого писателя Александра Серафимовича Попова с просьбой достать ему 100 рублей, необходимых для лечения тяжелой болезни.

О достоинствах его произведений может свидетельствовать Н. К. Михайловский, а также и то, что Ф. Ф. Павленков изъявил желание издать их осенью отдельной книжкой, о чем Попову уже известно. Очерки его изображают природу и людей полярных стран крайнего севера: «На льдине», «В тундре», «На плотах» и т. д. Все эти очерки печатались в *«Русских ведомостях»* под псевдонимом *Серафимовича.* Судя по письму, бедственное положение А. С. Попова требует пособия гораздо более, чем 100 р. Мне кажется, что ему следует дать ссуду в 200

и 300 р. Ввиду этого я обратился к Ф<лорентию> Ф<едоровичу> — может ли он поручиться за Попова, если бы эти 200—300 рублей были испрошены у Лит<ературного> фонда. И Флорентий Федор<ович> Павленков 25 февр<аля> ответил мне так: *«Я готов поручиться за Попова и на 200 и на 300 руб.»*. Затем он прибавляет, что книжка А. С. Попова не может быть издана раньше осени 91 года и, следовательно, ссуда должна быть выдана на 9—10 месяцев. Поручительства Ф. Ф. Павленкова весьма достаточно, чтобы ссуда была возвращена без малейшего промедления.

Преданный Вам
Г. Успенский.

299

В. А. ГОЛЬЦЕВУ

<16 марта 1891 г., Петербург>

Дорогой Виктор Александрович! Глубоко сожалею, что мне не пришлось видеть Вас в Петерб<урге>. Но я не в своей воле и власти, и болезнь постигает меня, когда ей это будет угодно. Кажется, будет возможность четыре недели великого поста пробыть на юге; это будет известно в воскресенье, и тогда мы увидимся.

Н. А. Шульгина пришлет Вам *полный перевод* психологического этюда Поля Бурже. Никакого романа не оказалось, всего 18 фельетонов, будет листа два с половиной. То, что я прочитал в переводе, — положительно умно и прочтется с большим интересом. Есть у меня и еще просьба: в *«Русских ведомостях»* было помещено три очерка *Серафимовича* из жизни и природы крайнего севера: *«На льдине», «В тундре», «На плотах»*. Если Вы просмотрите их, Вы увидите, какой это большой художественный талант. По-моему, это Брет-Гарт в лучших своих первых рассказах. Ведь «Слепой музыкант» был перепечатан, и ничего кроме благодарности читателей не заслужила эта перепечатка; точно так же с величайшим удовольствием прочтутся одновременно напечат<анные>

и очерки Серафимовича. Павленков дал слово Серафимовичу издать эти очерки, но тогда, когда их прибавится еще четыре или пять. В. Г. Короленко — вот судья истинный, а он первый и надоумил Павленкова издать оч<ерки> Серафимовича (Алек<сандр> Серафим<ович> Попов, казак, сосланный на север, теперь возвращ<енный> в Усть-Медведицкую станицу, на родину). Эти очерки я Вам пришлю на этих днях, и тогда Вы убедитесь в их достоинстве. Поддержка ему нужна. Он болен теперь, и Литературный фонд не усумнился оказать ему пособие в 100 р., раз только Н<иколай> Конст<антинович> и В. И. Семевский заявили о его произведениях с самой лучшей стороны.

До приятного свидания, как говаривали наши отцы и деды, да и нам не мешает говорить такожде.

Преданный Вам
Г. Успенский.

16 марта <18>91 г. СПб.

300

В. А. ГОЛЬЦЕВУ

17 апр<еля 18>91 г., <Петербург>

Дорогой Виктор Александрович! Мчусь в Чудово и пишу коротко: какова участь перевода Н. А. Шульгиной? «Русские вед<омости>» начали печатать; но ведь был пример, что и в «Рус<ских> вед<омостях>» и в «Русской мысли» печатали «Порт Тараскон». *«Озлобленный мученик»,* мне кажется, явственнее изображает тип, чем «Бедное чудовище» — это бессмыслица. Там много вычеркнуто, но и оставить не будет лишним. Во всяком случае перевод лучше оригинала «Император Михаил». Положительно, это написано, как *«Битва русских с кабардинцами».* Да и немец, изображающий итальянские нравы, тоже грубоват, хотя несравненно лучше битвы русских с кабардинцами.

Не откажите мне в покорнейшей моей просьбе: нельзя ли мне получать те провинц<иальные> газеты, которые

получались покойным Н<иколаем> В<асильевичем>? Стоит только конторе известить о перемене адреса, разослав хоть бы отпечатки адреса моего, по кот<орому> посыл<алась> «Рус<ская> мысль».

Я бы с удовольствием принялся бы за такие же компиляции, как *«Крестьянс<кие> жен<щины>»*, публицистику и т. д. Может быть, начав это дело — я бы и перешел к беллетристике. Премного буду Вам благодарен.

О чудеснейших похоронах Н<иколая> В<асильевича> я буду из Чудова писать «всему московскому литерат<урному> миру» особое письмо.

Пробуду в Чудове до 2-го дня пасхи.

Искренно преданный

Г. Успенский.

301

В. А. ГОЛЬЦЕВУ

3 мая <18>91 г., <Петербург>

Премного благодарен, дорогой Виктор Александрович, за газеты. Газеты следует высылать в Петербург по моему адресу. Если, паче чаяния, я скоро ворочусь в Чудово (а я на днях уезжаю и увижу Вас скоро) — то обязательно 2 р<аза> в месяц <буду> ездить из Чудова в город. В конце июня или начале июля я уж должен возвратиться, и тогда швейцар мне будет высылать каждую неделю.

Есть у меня новый превосходный рассказ Серафимовича *«Бегство в Америку»* (из школьных воспоминаний). Я Вам привезу его, и Вы увидите, что его непременно след<ует> напечатать в ближайшей книге «Р<усской> м<ысли>». Это даровитейший молодой писатель.

Скоро увидимся.

Преданный Вам

Г. Успенский.

В июле месяце я непременно сяду за работу, — это необходимо, да и жить без работы — одуреешь окончательно.

Адрес, так<им> обр<азом>, тот же, по кот<орому> пос<ылалась> «Русская мысль».

302

В. А. ГОЛЬЦЕВУ

31 мая <18>91 г., Туманово.
М<осковско>-Брест<ской> ж. д.

Дорогой Виктор Александрович! Не успел я поговорить с Вами относительно газет: первейшая в настоящее время для меня необходимость, — всякого рода *азиатские газеты*. Необходимы и все европейские, — но азиатские дела — первенствуют над страной земских начальников. *«Окраина»,* Областные ведомости, Туркестанские, Самаркандские, Степного генерал-губ<ернаторства>, Омские и *Владивосток. «Окраины»* я получил всего *2 нумера* в первой посылке, *а она необходима* («Сиб<ирский> листок», «Вост<очное> обоз<рение>», «Вол<жский> вест<ник>» — я имею), чтобы иметь возможность составить первое обозрение к августу (а это для меня необходимо); я бы просил ред<акцию> «Русск<их> вед<омостей>» израсходовать несколько рублей на телеграммы с просьбой выслать эти газеты на мое имя в Петербург с *наложенным платежом,* который я и принимаю на себя с величайшим удовольствием: Владивосток, Омск, Самарканд. *«Окраину»* Вы получаете, и надобно сказать в конторе, чтобы ее берегли. Затем я просил бы пересылать в мое отсутствие из Петербурга, недели через две (в б<олее> прод<олжительный> срок газеты могут растеряться), посылками *«до востребования».*

В Туманове у А. С. Посникова было бы очень хорошо пожить, если бы не проклятый холоднейший ветер. 4-го июня уезжаем вместе с Сашей — сыном в Черниговскую губ.

Всего хорошего желаю Вам.

Искренно преданный
Г. Успенский.

303

В. А. ГОЛЬЦЕВУ

22 июня <18>91 г., М. Батурин,
Черн<иговской> губ.

Дорогой Виктор Александрович!

Прилагаю при сем рукопись А. С. Попова (Серафимович) — «*Бегство в Америку*» — и надеюсь, что Вы оцените его по достоинству. «Детство и отрочество» Толстого, «Семейная хроника» Аксакова, детские годы М. Е. Салтыкова (в «Иудушке») и т. д. — ни в чем не подобны детству юнейшего поколения. Ни я, ни Вы, ни Вас<илий> Мих<айлович> Соб<олевский>, ни Н<иколай> К<онстантинович> Михайловский, ни Вук<ол> Мих<айлович>, ни А<лександр> С<ергеевич> Посников и т. д., — никто не бегал в Америку, а юнейшее поколение бегало, и, след<овательно>, в его нравственном настроении есть нечто нам непонятное. Для юнейшего поколения бегство понятно, и у Серафимовича это изображено блистательно, особливо с VIII главы. Я на всякий случай подразделил на 2 части. Но это великий грех пред талантом Сераф<имовича>, и я убедительно прошу Вас печатать рукопись целиком. Широкие размахи пера Сераф<имовича> в печати сократят рукопись до $1^1/_2$ листов.

Все, что написано моей рукой, — все принадлежит Серафимовичу. Сокращения сделаны с его согласия, о чем имею телеграмму.

Затем, если Вы одобрите рукопись (я не сомневаюсь в этом), то не откажите в двух моих след<ующих> просьбах: послать ему рублей *сто* до напечатания; он, очевидно, находится в Новочеркасске для излечения тяжкой болезни, и ему необходимы деньги; вторая просьба — послать корректурные листы, — он исправит те места, которые решил изменить. Если же Вы наберете рукопись теперь же, то и корректуру и деньги можно послать одновременно. Такого отличнейшего писателя необходимо непременно поддержать, особливо в труднейшую минуту тяжкой болезни.

Адрес: г. *Новочеркасск.*

Александру Серафимовичу *Попову.* В аптеку Голлер.

Около 11 июля буду в Москве, если только придет... молчание... молчание. Если же не придет, — то в обиде ни в каком случае не буду и справлюсь как-нибудь.

Искренно преданный и уважающий Вас

Г. Успенский.

Страницы, с конца 35, всю 36 и 37, — те части, которые зачеркнуты *карандашом*, — след<ует> печатать. Не было резинки.

То же на стран<ицах> 47—48.

304

В. А. ГОЛЬЦЕВУ

22 июля <18>91 <г.>, Чудово

Дорогой Виктор Александрович! Вот «кое-что» из того, о чем я хотел поговорить с Вами в Москве. В былое время я бы очень скоро и быстро разобрался в материале провинц<иальных> газет. Теперь не то; в последние годы я писал очень мало, да и жизнь, живописуемая современ<ными> провинциальн<ыми> газетами, — тусклая, мелочная, молчаливая. Много надо подумать над этим множеством газетных листов, чтобы выделился материал и определились темы, достойные внимания читателей, хотя бы и некоторых. Поэтому первый очерк напишется не ранее последних чисел сентября, и вот эти два месяца, август и сентябрь, я и просил бы ред<акцию> «Рус<ской> мысли» поддержать меня в финансовом отношении, чтобы с меня была снята некоторая часть моих личных забот (а их множество, особенно в августе и в сентябре). Не найдет ли <возможным> В<укол> Мих<айлович> ссудить мне к 1-му августа и к 1-му сентября по 150 руб., причем составится новый долг в 500 руб. (200 я получил)). Но с октября у меня будут средства (от 3 т<ома>), которые мне дадут возможность погасить двумя-тремя очерками больше этого нового долга. В октябре, ноябре, а может и в декабре, я не буду нуждаться в деньгах. Если возможно мне оказать эту поддержку — буду глубоко благодарен, и просил

бы, чтобы первые 150 р<ублей> были высланы в Чудово до 1-го августа.

Пишу это письмо под горестным впечатлением письма Н<иколая> Конст<антиновича>. С него взяли подписку о выезде в теч<ение> 3-х дней из Москов<ской> губ<ернии>. Завтра, 23, он уже будет опять в Любани.

Не откажите, Виктор Александрович, написать мне об участи рукописи Серафимовича и в том случае, если она *не принята*.

Искренне преданный Вам

Г. Успенский.

Ст. Чудово, Никол<аевской> ж. д.

305

А. С. ПОСНИКОВУ

1 августа <1891 г., Петербург>

Дорогой мой, милый, живая душа, Александр Сергеевич! Нахожусь с самого первого момента с приезда в Чудово в самом удрученнейшем состоянии. Приехал из тепла в холод, пришлось раза два топить печь, разверзлись все язвы, облегченные купаньем, — купаться негде. Была речонка, но какой-то предприниматель изрыл ямами ее каменистое дно и устроил обширный цементный завод. Вода не течет, а стоит и гниет в глубоких ямах. Как зеницу ока бережем дождевую воду — это хорошо, но проливные дожди и холод сокрушили меня окончательно, с первого дня. Очевидно, я *не долечился*. Сердечная телеграмма — вызвала слезу радости и... отчаяния о видимой моей погибели, если я опять не уеду на месяц в теплые места... Ах, Стефанов Стефанович! Печалит его положение до невозможности. Но беспокоит, что Вы послали ему в общем 100 р. Он также без денег и *только* таких ожидал и от «Рус<ской> мысли». Возьмите его рук<опись> от Гольцева в том виде, как я ее передал (он согласился). Он прислал в «Рус<скую> мысль» весь рассказ, написанный вновь, карандашом; но надобно печатать именно ту руко-

<пись>, кот<орая> была раньше, то есть ту, кот<орая> находилась в моих руках. Будьте уверены, что он ни малейшим образом не усумнится в моем понимании. На мой взгляд, получится из «Бегства в Амер<ику>» — 2 фельет<она> к гл<аве> «Стрелочник» (прелесть), а если разделите, то 2-ой фельетон должен начаться с главы, кот<орая> нач<инается> «После пасхи» и т. д.

Н. К. Мих<айловский> уж не в Клину, а в Любани. Обязан подпиской не жить в Моск<овской> губ<ернии>.

Эх, милый, милый мой А<лександр> Серг<еевич>! Приехал в Петерб<ург>, пишу в пустой квартире и приехал, чтобы устроить поездку. Не знаю, удастся ли это. Что же, писать нечего, кроме повести о лютых скорбях. Если я не совсем погиб, — это животворные впечатления Котова и избушки на курьих ножках. Там именно начинала оздоровляться моя башка, в живой жизни живых людей. Чудеснейший мой, живая душа Александр Сергеевич, хапун (Иом Кипур) души моей. Дай бог хапуну здоровья. Всем сердцем любящий

Чортяка.

306

А. С. ПОСНИКОВУ

<23 ноября 1891 г., Петербург>

Нагрянула беда на милейшего статского советника! Миленький мой, хорошенький! Не дозволяйте Вы петербургскому клоуну-будке вносить в правительственные телеграммы свой клоуновский прием. Я полагал, что второе предостер<ежение> дано за телеграмму в № 319, где клоун, ничто же сумняся, объявил, что в тех местах, куда нельзя доставить хлеб по железн<ой> дороге, *«предположено приступить к реквизиции хлебных запасов»*. Но в 311 № клоун прислал по телеграфу совершенную нелепицу...[1]

...и другими продовольственными хлебами...[2]

---

[1] Далее в письме следы отклеившейся газетной вырезки. — *Ред.*

[2] «...и другими продовольственными хлебами...» — написано рукою Успенского. — *Ред.*

У него выходит — 213, вычтя 160 м<иллионов>, — *следовательно,* нехватает 290 миллионов, — а нехватает 153 м<иллиона>. Не можете ли Вы разъяснить эту нелепицу министру внут<ренних> дел? Большая разница 290 м<иллионов> и 153 — вот это-то и есть *несоответствующие действительности* сведения о полож<ении> прод<овольственного> дела в империи.

Здесь издает<ся> *«Мир божий»* для юношеск<ого> возраста. Присылайте рукопись Серафимовича *«Бегство в Америку»* — как раз подходящее для этого.

Юношеский журнал издает Ал<ександра> Ар<кадьевна> Давыдова. В прошлом году в Петербурге летом было наводнение (или в запрошлом). А<лександра> Арк<адьевна> была у дочери в Харькове, читая газеты прежде всего вспомнила о своем *юноше*-сыне, окон<чившем> гим<назию> Гуревича.

— Где был во вре<мя> навод<нения> мой Коля? — в Аркадии или Ливадии?

Коля отвечал:

— В зоологическом саду — спасал актрис.

К ней явился, м<ежду> пр<очим>, Потапенко с предложением писать.

— Мне очень нравится ваша повесть «Шестеро», — ск<азала> А<лександра> А<ркадьевна>.

Потапенко покрутил усик и сказал:

— Гм. Так Вам надо *«со слезой!»*

Павленков издал еще 2 тома Потапенко, и так как «со слезой» — пошло в ход — и Пав<ленкова> оно не миновало.

<Из> всего, что Потапенко написал, — не все будет напечатано, — но «со слезой» будет по 1 рас<сказу> в каждом томе! Как не помереть со смеху.

Когда же, дорогой, чудесный, живая душа, — можно приехать в Котово? Сейчас я располагаю безо всякого покушения лавочников — 40 р. и быстро мог бы примчаться в <1 *нрзб.*> и в Вязьму. Если теперь нельзя, то во всяком случае 40 р. всегда раздобуду на исцелительную поездку.

Целителя моего крепко целую.

Г. Успенский.

23 ноября.

307

К. М. СТАНЮКОВИЧУ

<30 ноября 1891 г., Петербург>

Премилейший Константин Михайлович!

Приходится вспомнить толстомясого Сытина. Я могу предложить ему три вещицы из 3 тома, но не из народного быта. 3-й том принадлежит мне, а затем я постараюсь выцарапать разрешение моих издателей и еще на 3—4 рассказика. 3 рассказика я, конечно, приспособлю для чтения всякого грамотного. Эти рассказики толстомясый может прочитать, если он знает буки аз — ба, под след<ующими> названиями: *«Невидимка Авдотья», «Простое слово», «Памятливый»*. Если он скажет, что — «неподходящие», — то и пес с ним. Но если образумится, то пусть сам объявит, сколько выбросит он мне из своего портцыгара? Не откажите, любезнейший Константин Михайлович, написать этому сукину сыну о моем ему предложении. Если будете на выставке, — а будете несомненно, — загляните ко мне «во терем песни петь», то есть закусить и выпить, т. е. выпить и закусить.

Ваш *Г Успенский.*

30 ноября <18>91 г.

308

В. А. ГОЛЬЦЕВУ

14 декабря <18>91 г., СПб.

Дорогой Виктор Александрович!

Не сомневаюсь, что моя статейка запоздала, но думаю, что она и в январе может появиться без изменений, и только последние страницы о закрытии кабака и суждение крестьянина будут заменены фактами — переселенческим движением и закончится в сокращ<енном> виде ядовитым параграфом. Бегство переселенцев — также от голодовки. Если статейка не попала, — возвратите мне ее рукопись, и я не замедлю ее прислать. Впрочем,

прежде всего мне необходимо знать — попала рукопись в книгу или нет, и тогда я прямо примусь за писание дополнений и объясню, что следует убавить из рукописи и что прибавить. Не откажите, Виктор Александрович, в этой моей покорнейшей просьбе. *«Сердитых на крестьян»* я хотел бы назвать просто «Сердитые», а лучше всего «Сообщение с Поволжья». Что самарское земство действовало из враждебных целей относительно голодающих, это доказывает выс<очайшее> повел<ение> передать распоряжение продовольственным делом — губернатору.

Не думайте, В<иктор> А<лександрович>, что изо всей массы газет я выбираю материал только о голодовке. Матерьяла о нравственных течениях <в> народе, расстройстве в его семейной жизни, глубокой нар<одной> мысли, как строится в расстройстве личной и хозяйственной жизни, — многое множество. Обо всем этом я буду писать статьи, возможные к напечатанию во всякое время.

На этих днях произойдет мое воскресение из мертвых: будет сделана операция для окончательного прекращения гемороидального кровотечения, которое в последние месяцы изнурило меня до последней степени. Операция потребует нескольких минут, а пролежать недвижимо — 2—3 д<ня>. Такая операция продлила века Г З. Елисеева не меньше как на 12 л<ет>. Лесевич в 87 г. (я встречал его в Севастополе), истощенный кровотечением окончательно, — думал о самоубийстве. Сделана была операция, и он расцвел как маков цвет. Я не расцвету — но буду здоров, прекратятся все жестокие страдания, да и мозг напитается новой кровью. Когда неож<иданно> хлынет кровь, я чувствую, что именно из мозга, распространяя холод по всему телу, и мысль сейчас же потускнела и ослабла. Не зарежут, даже и прижигать не будут.

Надеюсь видеть Вас и всех милых друзей не в чахлом виде.

Ваш *Г. Успенский.*

309

В. А. ГОЛЬЦЕВУ

20 декабря <18>91 г., <Петербург>

Дорогой Виктор Александрович! Чует мое сердце, что моя статейка не попадет в янв<арскую> кн<ижку>. Следовало бы ее назвать «Пособники разоренья». Если действительно статья неподходящая, то возвратите мне рукопись; а чтобы не пропадало извлечение из статей Красноперова (№ 11—89 г. и № 11—91 г.), нельзя ли поместить их в библиограф<ическом> отделе, как помещено обозр<ение> «Юрид<ического> вестн<ика>» за сентябрь и октябрь в 12 № «Рус<ской> мысли». По получении рукописи я извлеч<ения> из статей Кр<асноперова> приведу в порядок. Каждая цифра у Крас<ноперова> — живая, и лучшего, тщательного исследования полнейшего истощения всех средств жизни крестьян Сам<арской> губ<ернии> — я нигде не читывал. Статьи Кр<асноперова> дают ясное объяснение причин разорения и всего голодающего населения.

Затем, В<иктор> А<лександрович>, у меня сейчас начат очерк «Крестьяне о своих невзгодах», будет 1 лист. К какому времени я должен выслать этот очерк, чтобы он попал в первую книжку?

Последнее получение газет, в конце ноября, ограничивается 5-м *числом ноября и именно поволжских газет*. Из Тифлиса, Ставрополя, Крыма и даже из Кишинева все от 15 до 17—19-го ноября. Вот почему я бы просил выслать все, что накопилось до 20 декабря, за исключением *«Южанина»* и *«Варшавского дневника»*.

На будущий год я бы желал получать поменьше тяжеловесных газет и представлю список только необходимых и «стоящих».

Можно мне получить 5 экз<емпляров> сборника с наложенным платежом? Сделайте милость, вышлите; а затем потребуется и больше, и каждый, кто придет ко мне на рождество, — непременно унесет книжку сборника.

Жду Вашего ответа (несколько строк) о первой и второй статейке с великим нетерпением. Черкните ж, пожалуйста.

Преданный Вам

Г. Успенский.

310

В. Г. КОРОЛЕНКО

<Декабрь 1891 г., Петербург>

Дорогой Володимир Галактионович!

Сейчас Н<иколай> К<онстантинович> отправляет письмо к Вам. Пишу две строки: с великим удовольствием через месяц примчусь в «святые места». Кажется, после операции я еще не воскресну, но окрепну и поздоровею.

Всем сердцем любящий

Г. Успенский.



1892

311

В. А. ГОЛЬЦЕВУ

2 января <18>92 г., <Петербург>

Дорогой Виктор Александрович!

Прислать рукопись в послед<них> числах декабря не было никакой возможности: с 28 по сей день я находился в лечебнице профессора Субботина и воротился домой сегодня в два часа. Операция была 29 в 10 ч. утра. Описать ее подробно (а она тем и замеч<ательна>, что бескровна) теперь не могу — ослаб: и до операции и особенно после нее обязательна была голодовка. Оправлюсь недели чрез две, но *новой статьи* не будет, и по следующим существ<енным> основаниям. Полагая, что цифры из ст<атьи> Красноперова не дадут обыкновенному читателю возможность оживить их своим опытом, я и предложил написать другое: *«Крестьяне о своих невзгодах»*. Но одумался — пять дней и ночей, — много было передумано, и в конце концов я убедился, что, именно начав с той истории последовательного разоренья Самарского края, я и буду иметь полную возможность воспользоваться всем накопившимся матерьялом о разложении сов<ременной> деревни. Хронику голода, продовольств<енного> вопроса и вообще современного положения голодающего населения превосходно ведет Л. А. Полонский. Писать одно и то же (а я в этом убедился по той книжке, где напеч<атано> «Бесхлебье») не подобает, да и я не угонюсь за ежедневными всякого рода сообщениями о голодном годе. Летопись Красноперова неизбежного, по таким-то и таким-то основаниям и причинам (общим всему крест<ьянскому> населению), народного разорения напомнит обществу о тех изъедающих крестьянский обиход язвах, которые неисцелимы единым хлебом. Так вот, В<иктор> А<лександрович>, так я и начну

летопись народного разоренья. В эту программу войдут свед<ения> о происхождении недоимки, сдача кулакам земель по 40 к<опеек> и переаренда от них по 4 <рубля?> и т. д. до залога надельной земли под хлеб частн<ых> лиц и продажи этих земель по цене взятого хлеба и всякого продукта, овса, сена и т. д. Во всяком статистич<еском> сборнике каждого уезд<ного> земства — всегда в конце концов оказывается, что крестьянское хозяйство идет к окончательному разорению; но такого итога, который подведен Красноперовым с 80 по 91 <г.>, о медленной погибели одного и того же села, одного и того же крестьянина Ивана Иванова, — этого сделано не было. Первую статейку я сокращу и перескажу ст<атью> Красноперова по порядку причин разорения.

Неурожаи, накопление недоимки, появление в деревне из города мелких торговцев-ростовщиков и т. д., а затем и пойдет в той же статье речь и о крестьянских мыслях о своих невзгодах. Я бы охотно передал Л. А. Полонскому всё, что касается хроники: земские собрания, благотворит<ельные> учреждения, а все те фа<к>ты, касающиеся общ<их> причин разорения, — оставил бы у себя.

Спасенный от погибели

Г. Успенский.

312

И. И. ГОРБУНОВУ-ПОСАДОВУ

4 марта <18>92 г., Чудово

Дорогой Иван Иванович! 3-го марта в ночь я приехал в Чудово, чтобы поотдохнуть два-три дня. К великому моему удивлению, я случайно нашел Ваше письмо от 11 июня, пересланное в Чудово 17 июня. Дело в том, что я с 6 июня, вместе с сыном, уехал в Черниговскую губ<ернию>, к моему брату лесничему. Воротились мы в Чудово 14 ав<густа>, пробыли 15, а в ночь на 16 выбыли в Петербург — начало учения. Причина, что я нашел письмо только в марте (с августа я не был в Чудове, болел тяжко, и кончилось операцией пр<офессора> Субботина 29 декабря, но я плохо поправляюсь),

заключается в том, что даже и во время моего отсутствия прислуга *прибирает* на столе.

Теперь, Иван Иванович, поговорим о Вашем предложении. Из письма Вашего я вижу, что в моих рассказах есть подходящие и неподходящие к направлению *«Посредника»*. Вы подумайте, каково нравственное состояние писателя, когда его рассказ исправляет посторонняя рука? А я много видел собственных моих рассказов, обрезанных именно в целях издательских. «Чуткое сердце» не исправлено ни в одной строке, взята только первая часть (не пропущена цензурой). Поэтому, дорогой Иван Иванович, я раз навсегда решился не подвергать моих рассказов, в каком бы то ни было направлении, ни малейшему оскоплению, и вслед<ствие> этого я решился попробовать издавать и продавать из того же Сытинского короба несколько моих книжек. «Не знаешь, где найдешь», «Простое слово» и «Памятливый» в дек<абре> я представил в цензуру — зачеркнули в «Простом слове» только, как говорится, «отступление». Участвовать в *«Посреднике»* я никоим образом не отказываюсь, а предлагаю, для обоюдного согласия, выбрать из первых 2-х томов [1] какой-нибудь рассказ, подходящий для *«Посредника»*, и указать, какие следует сделать в нем исправления, чтобы эти исправления я имел возможность обдумать и вообще самолично исправить.

Глубоко благодарен Вам, Иван Иванович, за Ваше ко мне внимание. Все книги получились, расхватаны детьми, а письмо прибрала прислуга.

Ваш *Г. Успенский.*

313

А. В. УСПЕНСКОЙ

27 марта <1892 г., Пенза>

Не во-время я уехал, милые мои друзья, весны и в помине нет, самое тяжкое время и необыкновенное, как в прошлом году, — зажурчали ручейки, быстро таял снег,

[1] Без раз<решения> Ин<нокентия> М<ихайловича> я печат<ать> отдельно ничего не могу, но я буду хлопотать и уверен на его согласие, чтобы из 2 том<ов>издать 10 р<ассказов>.

и вдруг ударило морозом и нанесло суровыми ветрами сугробы снега. В Пензе перестали топить печи, началась настоящая весна; было так два дня до моего приезда, вот сейчас, за день до моего приезда, — занесена сугробами снега. Дальше Самары ни в каком случае не поеду; на пасхе возвращусь непременно. Если же в Самаре вскроется Волга (вскрылась от Астрахани до Саратова), то я предпочту ехать в Уфу на пароходе, надышусь свежим воздухом и обратно возвращусь на пароходе в Рыбинск. Словом, из Самары извещу, как будет сделано, чтобы всем нам было удобно.

Везу Сашечке от Соболевского 2 подарка. Моржовый клык, превращенный в разрезной ножик, которым, однако, книгу можно и перерезать, так он огромен, и еще металлического, раскрашенного маленького голубка, которые продаются в Венеции за пять <1 *нрзб.*> на площади С<вятого> Марка. Боречке искал косы, но не нашел, а прочие инструменты привезу. Мамочке также привезу приятнейшие подарки, да и девочкам нехудые, и все по части туалета. Будут прехорошенькие штучки.

Разрыл все ящики в ред<акции> «Русск<их> ведомостей» и не нашел ни единого рассказа Мопассана. Так как они не были напечатаны, то она опять может перевести в «Вестник ин<остранной> литературы». С Сытиным я буду делать дела по возвращении. Но как мне ни трудно от холода, я уже видел множество голодающих — в Ряжске был переполнен огромный третьеклассный вокзал истощенными, молчаливыми, растерянными; отработав в Самаре на бухте зимой, их везут <на> работу шоссе от Нов<ороссийска> до Батума. На кажд<ой> ст<анции> от Моршанска платформы завалены кулями семенного хлеба, и вот приезжают все до единого на истощенных лошадях; нигде ни клочка соломы и сенца. Словом, великое бедствие, особенно от Моршанска, — разорение деревень, истощение скота, — сказывается постоянно. Совесть мешает возвратиться, но жестокий мороз <*1 нрзб.*> не дает возможности сойти с поезда и переночевать на постоялом дворе деревни даже близ станции, чтобы послушать мужицкие толки,

да я уж и от крестьян, приехавших за хлебом, и в Ряжске слышал эти крестьянск<ие> отчаяния жить на свете. В Самаре опять же я решусь на то или другое. . До скорого свидания, миленькие мои, мамочка и все миленькие девчушечки и мальчушечки.

Плачевный родитель

Г. Успенский.

ПРИМЕЧАНИЯ

Первый раздел настоящего тома составляют статьи Г. И. Успенского на литературные и общественные темы; вместе с «Письмом в Общество любителей российской словесности», авторскими предисловиями к собраниям сочинений и «Автобиографией», также помещенными в данном разделе, эти статьи существенно дополняют те суждения по вопросам искусства и литературы, которые имеются в других произведениях Успенского (таковы, например, высказывания о народнической литературе в очерках «Из деревенского дневника», глава «Поэзия земледельческого труда» в очерках «Крестьянин и крестьянский труд», очерк «Выпрямила» в цикле «Кой про что» и др.); вместе с тем эти статьи, разумеется, имеют и вполне самостоятельное значение.

Во втором разделе печатаются избранные письма Успенского. В данном собрании писем редакция стремилась отобрать все наиболее ценное из переписки писателя, что характеризует его литературно-общественные связи, что важно для понимания его взглядов, его отдельных произведений, что существенно для характеристики личности писателя, для ознакомления с важнейшими фактами его биографии. Из писем, характеризующих отношения Успенского к виднейшим представителям литературы его времени, целиком представлены письма к Некрасову, Салтыкову-Щедрину, Короленко.

Публикация эпистолярного наследия Г. И. Успенского началась сразу же после кончины писателя и продолжается вплоть до наших дней. Однако многие из писем Успенского остаются или еще не выявленными, или же их следует считать навсегда утраченными. Так, например, не обнаружено ни одного письма Успенского к И. С. Тургеневу, хотя о их переписке имеется ряд сви-

детельств. Наиболее полный свод писем Успенского ныне дан в Полном собрании сочинений писателя (тт. XIII и XIV, изд. Академии наук СССР, 1951 и 1954), сюда не включены лишь письма периода его болезни.

Тексты писем печатаются по первоисточникам (автографам или — в случае утраты подлинников — первичным публикациям). Даты писем и места их написания помещены справа перед началом текста; даты, не проставленные писателем, приводятся в угловых скобках; в таких же скобках раскрываются в тексте незаконченные слова, отдельные инициалы, названия и т. п. В примечаниях сообщаются данные о первой публикации письма и месте хранения автографа. Даты писем, не проставленные Успенским, устанавливаются на основании биографии писателя, его переписки, сведений о публикации упоминаемых произведений, архивных и иных историко-литературных данных.

Краткие справки об адресатах и упоминаемых лицах даны в указателе имен.

Список сокращений, принятых в примечаниях:

ЛБ — Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина (в Москве).

ГПБ — Государственная Публичная библиотека имени М. Е. Салтыкова-Щедрина (в Ленинграде).

ПД — Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский дом) Академии наук СССР (в Ленинграде).

ЦГЛА — Центральный Государственный литературный архив СССР (в Москве).

ЦГИАЛ — Центральный Государственный исторический архив (в Ленинграде).

Сб. АН — «Глеб Успенский. Материалы и исследования», 1, изд. АН СССР, М. — Л., 1938.

Сб. ЛЛМ — «Летописи Государственного литературного музея», т. 4, М., 1939.

Сб. «Архив Гольцева» — «Архив В. А. Гольцева», М., 1914.

Ст. Н. К. Михайловского — статья «Материалы для биографии Г. И. Успенского». — «Русское слово», 1902, № 3.

Полн. собр. соч. — Полное собрание сочинений Г. И. Успенского, тт. I—XIV, изд. Академии наук СССР, 1940—1954.

Тексты статей «Федор Михайлович Решетников», «Николай Александрович Демерт», «Праздник Пушкина», «Секрет», «Подо-

зрительный бельэтаж», «Смерть В. М. Гаршина», «А. П. Щапов» и «Автобиография», а также примечания к ним подготовлены А. В. Западовым. Остальные статьи и раздел писем (тексты и примечания) подготовил Н. И. Соколов; ему же принадлежат составление «Хронологической канвы жизни и деятельности Г. И. Успенского» и «Указателя имен и названий».

СТАТЬИ

ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ РЕШЕТНИКОВ

Впервые опубликовано в качестве вступительной статьи («биографический очерк») в первом томе сочинений Ф. М. Решетникова, изд. К. Т. Солдатенкова, М., 1874. Перепечатано в III томе Сочинений Успенского (СПБ., 1891) и воспроизводится по этому тексту.

Успенский, лично знавший Решетникова и ценивший его творчество, близкое ему, после смерти писателя (9 марта 1871 г.) выступил с некрологом на страницах журнала «Отечественные записки» (1871, кн. IV). Он проявил большую заботу о литературном наследии Решетникова, собрал и посмертно опубликовал несколько его произведений и принял участие в подготовке издания сочинений Решетникова, для которого написал биографический очерк. Материалами ему служили дневники, письма и другие документы Решетникова, главным же образом текст повести «Между людьми», содержавший, по достоверным свидетельствам современников, ряд фактов из жизни писателя. В результате Успенский создал первое исследование о жизни и творчестве Решетникова, ставшее основой для всех последующих работ об этом писателе.

Главное внимание Успенским обращено на детские и юношеские годы Решетникова. Он рисует потрясающую картину провинциальной забитости и нищеты, обстановку угнетения и жестокости, калечившую талантливого подростка и его сверстников. Картина эта приобретает характер большого социального обобщения.

Вместе с тем Успенский показывает, как настойчиво Решетников, человек из народа, тянулся к знаниям, к литературе, проникнутый стремлением приносить пользу простым трудящимся людям, тяжелое положение которых он так хорошо представлял себе по собственному опыту. Путем затраты огромных усилий

Решетников добивается своей цели, он становится писателем и в своих произведениях смело и глубоко раскрывает судьбы крестьян и рабочих в царской России.

Эта мысль о творческом подъеме талантливого самоучки, о возможности такого пути для одаренных натур даже в условиях самодержавного строя, наиболее занимает Успенского. Петербургский период жизни Решетникова освещен значительно меньше. К тому же, тут пришлось бы говорить о литературно-общественных и бытовых отношениях Решетникова с рядом современников, для чего время еще не настало.

Статья Успенского, выдвигавшая принципиальные вопросы развития литературного творчества писателей-разночинцев, была сочувственно встречена демократическими кругами русских читателей и вызвала ожесточенные нападки реакционной печати.

Стр. 48. *Дядя А-н* — П. А. Алалыкин, брат воспитательницы Решетникова.

Стр. 51. *Некто Т.* — В. А. Трейеров.

Стр. 52. *...статью о библиотеке.*— Имеется в виду статья «Библиотека для чтения чиновников Пермской казенной палаты».

Стр. 53. *...работу этнографическую.*— Решетниковым был написан очерк «Святки в Перми».

Стр. 57. *Брат Н. Г. Помяловского* — В. Г. Комаров.

Стр. 58. *...пойти... в концерт...* — Случай этот описан Решетниковым в очерке «Филармонический концерт», напечатанном после смерти писателя в тифлисском «Новом обозрении» (1884, № 48, 18 февраля) при содействии Успенского. Строки биографии, в которых Успенский рассказывает о происшествии с Решетниковым, цитировал В. И. Ленин в главе «Бей, но не до смерти» статьи «Случайные заметки» (см. В. И. Ленин, Сочинения, т. 4, стр. 376).

НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ДЕМЕРТ

Смерть Н. А. Демерта 20 марта 1876 года вызвала в печати несколько некрологов, посвященных ему. Успенский, лично близко знавший Демерта, находился в это время за границей. Он возвратился в Россию в начале 1877 года и в марте, к первой годовщине смерти Демерта, написал о нем статью для журнала «Пчела». Цензура нашла статью «тенденциозной», выставляющей «в безотрадном виде наш общественный строй», и запретила ее к печати. Успенский написал другую статью, с учетом цензур-

ных требований, которая была помещена в «Пчеле», 1877, № 15 (см. текст ее в Полн. собр. соч., т. VI, 1953, стр. 505—508).

Первоначальный текст статьи, публикуемый в настоящем томе, был обнаружен советским исследователем А. А. Шиловым в архиве Петербургского цензурного комитета в виде корректурных гранок с пометками цензора, опубликован впервые в сборнике «Глеб Успенский. Материалы и исследования», I, Л., 1938. В настоящем издании статья печатается по корректурным гранкам (ЦГИАЛ, ф. 777, оп. 2, № 78) с восстановлением зачеркнутых цензурой мест и исправлением допущенных опечаток и неточностей.

Статья Успенского полна глубокого социального смысла и освещает невыносимо тяжелые условия литературного труда публициста-общественника 70-х годов, каким был Демерт, видный сотрудник демократических изданий. Именно потому она и не могла быть пропущена цензурой.

Стр. 60. ...*«до смерти работает...»* — цитата из поэмы «Кому на Руси жить хорошо?».

— ...*г-ном К.* — Имеется в виду некролог, написанный Н. С. Курочкиным.

Стр. 61. *И сердцем и (даже!) мечом* — неточная цитата из песни Н. В. Кукольника в его романе «Эвелина де Вальероль».

Стр. 62. ...*у помещика Д.* — Возможно, имеется в виду помещик Дашков (Самарской губ.), в имении которого в 1860 году имело место крестьянское возмущение.

Стр. 65. *Пишет и роман и комедию...* — Имеются в виду комедия «Гувернантка третьего сорта» («Современник», 1861, № 7) и начало романа «Черноземные силы» («Невский сборник», 1867).

КОМУ ЖИТЬ НА РУСИ ХОРОШО

Впервые опубликовано в «Пчеле», 1878, № 2, 8 января; в том же году без изменений перепечатано в сборнике «На память о Николае Алексеевиче Некрасове», СПБ., 1878, стр. 56—58. Печатается по тексту «Пчелы».

Данная заметка и последующая статья («Опять о Некрасове!») — одно из ярких свидетельств глубокой идейной и творческой близости Успенского к поэту революционной демократии. В воспоминаниях об Успенском (Н. К. Михайловского, В. Г. Короленко, В. В. Тимофеевой-Починковской и др.) рассказывается о подлинном преклонении Успенского перед поэзией Некрасова,

перед его личностью, как поэта и как организатора передовой журналистики.

Заметка написана в связи с появлением в газете «Новое время» статьи А. С. Суворина (писавшего под псевдонимом «Незнакомец») «Недельные очерки и картинки», о которой и упоминает Успенский в начале своей заметки.

ОПЯТЬ О НЕКРАСОВЕ!

Статья впервые опубликована в серии «Литературные и журнальные заметки» тифлисской газетой «Обзор», 1878, № 27, от 29 января, за подписью «Г — в»; печатается по тексту газеты.

Авторство Успенского установлено на основании его писем к издателю газеты Н. Я. Николадзе (см. «Письма русских литературно-общественных деятелей к Н. Я. Николадзе», изд. «Заря Востока», Тбилиси, 1949, стр. 69—77; в настоящем томе — письма 64, 65).

Непосредственным поводом для статьи послужил некролог о Некрасове, появившийся в «Обзоре», 1878, № 2 от 3 января, и перепечатанный затем в упоминавшемся сборнике «На память о Николае Алексеевиче Некрасове». В этом некрологе содержались неверные утверждения о жизни и творчестве Некрасова. Статья Успенского, опровергая эти утверждения, вместе с тем была направлена и против всей реакционной и либеральной прессы, дававшей искаженное представление об умершем поэте. Значение выступления Успенского подчеркивается тем фактом, что многие положения его статьи (без упоминания имени автора) были процитированы на страницах «Отчественных записок» (1878, № 3, стр. 138 и след.) во «Внутреннем обозрении» Г. З. Елисеевым (подробнее о проблематике статьи и обстоятельствах ее появления см. в работе: Н. И. Соколов. Глеб Успенский и Некрасов. — «Некрасовский сборник», II, изд. Академии наук СССР, М.—Л., 1956, стр. 458—471).

Стр. 72. *...целый месяц... не имели... литературного обозрения.* — Как очевидно, Успенский предполагал начать обозрения сразу же с нового года, фактически же осуществил свое намерение лишь к концу января.

— *...новый литературный орган* — журнал «Слово»; выходу первого номера этого журнала Успенским была посвящена следующая статья серии «Литературные и журнальные заметки» («Первая книжка журнала «Слово»).

Стр. 73. *«Там (у Пушкина) море звуков...»* — Подобное утверждение содержалось в статье Е. Белова, помещенной в «С.-Петербургских ведомостях», 1878, № 8, 8 января.

Стр. 74. *Ранние рассказы Л. Толстого.* — Очевидно, имеются в виду «Детство и отрочество» и «Военные рассказы», вышедшие отдельными книгами в 1856 году; именно в связи с выходом этих произведений была написана известная статья Н. Г. Чернышевского о Толстом.

Записки Аксакова — «Записки об уженье рыбы» и «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии» С. Т. Аксакова; но вероятнее, что Успенский имел в виду более известные произведения Аксакова — «Семейную хронику» и «Детские годы Багрова-внука», которые также написаны в форме «записок».

Стр. 75. *...грубый, неуклюжий, однотонный стих Некрасова* — перефразировка строк из стихотворения Некрасова «Праздник жизни — молодости годы...»:

Нет в тебе поэзии свободной,
Мой суровый, неуклюжий стих!

— *...«в годину горя»* — выражение из стихотворения Некрасова «Поэт и гражданин».

Стр. 76. *Я на все бесполезно дерзал* — неточная цитата из стихотворения Некрасова «Рыцарь на час». У Некрасова: «Я на все безрассудно дерзал».

— *Укоризненно смотрят со стен* — из стихотворения Некрасова «Скоро стану добычею тленья...».

ПРАЗДНИК ПУШКИНА

Впервые опубликовано в журнале «Отечественные записки», 1880, кн. VI, под заголовком «Пушкинский праздник (письмо из Москвы)». Вошло в III т. Сочинений Успенского. Печатается по этому тексту.

СЕКРЕТ

(продолжение предыдущего)

Впервые опубликовано в журнале «Отечественные записки», 1880, кн. VII, под заглавием «На родной ниве (очерки, заметки, наблюдения)». Вошло в III т. Сочинений Успенского. Печатается по этому тексту.

Статьи Успенского посвящены открытию в Москве памятника Пушкину. Средства на создание памятника собирались с 1860 года,

в 1870 году образован специальный комитет по постройке, работа была поручена скульптору А. М. Опекушину, и 6 июня 1880 года состоялось открытие памятника. В числе выступивших с речами были И. С. Тургенев, И. С. Аксаков, академик Я. К. Грот, академик М. А. Сухомлинов, Ф М. Достоевский. Речь последнего привлекла наибольшее внимание общественности. Достоевский истолковал Пушкина по-своему, и против его оценки возражает Успенский.

В условиях реакции 80-х годов русская общественность ждала от выступавших на открытии памятника каких-то ответов на волновавшие ее вопросы социально-политического порядка. Это была одна из немногих возможностей публичного обсуждения актуальных общественных проблем, однако ораторы не воспользовались ею. Н. К. Михайловский, подводя итоги праздника, писал: «Мало кто думал о Пушкине и на пушкинском празднике. Что у кого болит, тот о том и говорит, а специально Пушкиным у нас, кроме разве П. Анненкова и Грота, никто не болен. Г. Достоевский, например, по этой части вполне здоров; он совсем другим страдает, он... самим собою болен».[1]

Речь Ф. М. Достоевского, построенная на призыве: «Смирись, гордый человек!» и далекая от правильного истолкования вольнолюбивого и народного творчества Пушкина, явилась главной темой статей Успенского. Он глубоко разобрал ее содержание и верно определил попытки Достоевского обмануть аудиторию мнимым сочувствием идеалам Пушкина. С истинной проницательностью Успенский вскрыл ложный пафос Достоевского и как общественный деятель показал бесплодность его приглашения «поработать на родной ниве». Передовая молодежь, поняв тезис Достоевского как призыв позаботиться о «народном деле», вначале приняла его сочувственно. Изображая сцены посещения Достоевского представителями самых различных общественных группировок, из которых каждый сумел найти в речи мысль, его занимавшую, Успенский говорит о невозможности следовать советам знаменитого писателя. С полной убедительностью Успенский раскрыл «секрет» речи Достоевского и сделал ее безопасной для читателей, искренно заинтересованных вопросами общественного дела.

Стр. 78. *«Нечто сербское»* — то есть сходное с воодушевлением во время сербско-турецкой войны 1876 года, вызвавшей

---

[1] Н. К. Михайловский. Сочинения, т. 4, СПБ., 1897, стлб. 921—922.

поток добровольцев из России в помощь братскому славянскому народу.

Стр. 82. ...*от любителей российской словесности*...— Имеется в виду Общество любителей российской словесности.

Стр. 90. ...*поэтом-глашатаем*... — Подразумевается Н. А. Некрасов.

Стр. 95. ...*один процесс в форме романа*...— Речь идет о процессе «нечаевцев», материалы которого использованы Достоевским в романе «Бесы».

Стр. 103. ...*с ношей крестной исходил*...— перефразировка строк из стихотворения Ф. И. Тютчева «Эти бедные селенья..

Стр. 104. *В поле бес нас водит, видно*...— из стихотворения А. С. Пушкина «Бесы».

Стр. 109. ...*подобно Власу*. — Имеется в виду герой стихотворения Н. А. Некрасова «Влас».

Стр. 110. ...*казней коммунаров*...— то есть участников Парижской Коммуны.

Стр. 111. *Сатори-Кайенны* — место ссылки осужденных парижских коммунаров.

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ БЕЛЬЭТАЖ

Впервые опубликовано в журнале «Отечественные записки», 1882, кн. VI. Вошло в III т. Сочинений Успенского и печатается по этому тексту.

Статья Успенского является ярким образцом выступлений писателя-демократа против буржуазно-дворянской идеологии и ее носителей. Она направлена против М. Н. Каткова, реакционного публициста, которого В. И. Ленин называл «верным псом самодержавия».[1] Успенский с гордостью говорит о том, что он не принадлежит к дворянской литературе «бельэтажа», и заявляет о своих демократических убеждениях.

Стр. 114. В газете «Голос», 1882, № 126, 13 мая в еженедельном фельетоне Арс. Введенского «Литературная летопись» была разобрана статья реакционного публициста П. К. Щебальского «Наши беллетристы-народники», помещенная в кн. V журнала «Русский вестник» за 1882 год. В ней говорилось о том, что беллетристика, печатающаяся в журнале, — это «бельэтаж», «чистые комнаты» литературного здания. «Остальная беллетристика, это —

---

[1] В. И. Ленин, Сочинения, т. 8, стр. 118.

чердаки и подвалы, грязные чуланы и никогда не вентилируемые, никогда не подметаемые спальни, задние дворы с кучами мусора». «Знаменем этой литературы является Салтыков-Щедрин, а во главе «молодой фаланги» идет Глеб Успенский».

Арс. Введенский высмеивает критика «Русского вестника», разбирая недостатки повестей, помещенных в той же книжке журнала, и обвиняет его в доносе на молодую литературу за ее «связи с нигилизмом».

Стр. 116. *Роман г-жи Толычовой* (псевдоним писательницы Е. В. Новосильцевой). — Имеется в виду ее повесть «Предсмертная исповедь».

Стр. 117. *Рассказы о 12-м годе.* — Толычовой принадлежит ряд произведений об Отечественной войне 1812 года: «Рассказы очевидца о двенадцатом годе» (М., 1870, переизданы в 1880 г.), «Приемыш, повесть из того времени, как французы брали Москву» (М., 1870, переиздавалась в 1880 и 1886 гг.) и др.

Стр. 122. *В Москве на Страстном бульваре* помещались редакция и издательство М. Н. Каткова, выпускавшие реакционные издания — газету «Московские ведомости» и журнал «Русский вестник».

— *...в номере газеты «Новое время»,* 1882, № 2231, статья, посвященная выступлениям «Московских ведомостей», называлась «Охранители или отрицатели?».

Стр. 129. *...целое... исследование...* — Имеется в виду книга А. И. Васильчикова «О самоуправлении» (1869).

ПИСЬМО В ОБЩЕСТВО ЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИЙСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ

Впервые опубликовано в журнале «Русская мысль», 1888, III, стр. 236—240; при жизни писателя не переиздавалось; печатается по журнальной публикации.

«Письмо» явилось откликом Успенского на избрание его 16 ноября 1887 г. почетным членом Общества любителей российской словесности при Московском университете; одновременно писатель ответил на многочисленные приветствия, полученные им в связи с 25-летием литературной деятельности, отмечавшимся в ноябре 1887 года. Большой список этих приветствий Успенский приводит в письме к В. А. Гольцеву от 16—21 февраля 1888 года (см. настоящий том, письмо 168). Особенно писатель дорожил приветственным адресом тифлисских рабочих, выдержки из которого привел в своем «Письме» (полностью адрес опубликован в сб. АН СССР, стр. 366—370).

Адресу тифлисских рабочих и ответу Успенского большое значение придавал Г В. Плеханов, использовавший эти документы в ряде своих работ («Предисловие к брошюре «Первое мая. 1891», «Русский рабочий в революционном движении», «Столетие со дня рождения В. Г. Белинского» и др.) как яркое доказательство растущей активности рабочих масс.

СМЕРТЬ В. М. ГАРШИНА

Впервые напечатано в газете «Русские ведомости», 1888, № 101, 20 апреля. В переработанном виде вошло в сборник «Памяти Гаршина», изд. журнала «Пантеон литературы», СПБ., 1889. Печатается по этому тексту.

В своей статье Успенский показал, что Гаршин явился жертвой невыносимых для чуткого и честного человека условий социального строя царской России. Против Успенского резко выступили либерально-народнические публицисты: Ю. Говоруха-Отрок («Южный край», 1888, №№ 2508—2515) и М. Протопопов («Северный вестник», 1888, № 7). Их статьи имели целью затушевать истинные причины гибели Гаршина, объясняя ее психическим расстройством и мотивами личной трагедии. Эту точку зрения поддержал В. Г. Короленко («Волжский вестник», 1888, № 255), осудивший «смертельно-мрачное мировоззрение» Гаршина и увидевший в пессимизме писателя причину его смерти.

Переделывая свою статью для сборника «Память Гаршина», Успенский учел материалы развернувшейся полемики. Он включил в начало статьи пересказ очерка Эльпе о параличе воли; ссылаясь на научные труды, Успенский объяснил смерть Гаршина причинами общественного порядка. Статья Эльпе позволила Успенскому определить характер болезни Гаршина, течение которой, парализуя волю, не парализует стремления к действию. Таким образом, Успенский изменил положение своей первой статьи о том, что Гаршин стремился к смерти, на другое — он разъяснил, что Гаршин пришел к смерти вопреки желанию. Гаршин «не мог логически додуматься и дойти во имя пессимистических идей до мысли о смерти, — пишет Успенский во второй редакции статьи. — Недуг заставляет его поступить прямо противоположно этим истинным его желаниям».

При переработке статьи Успенский исключил из нее все, что могло дать повод для упреков Гаршину в личном пессимизме, какие делал ему либерал Протопопов, и подчеркнул, что виною смерти писателя были социальные условия русской жизни. Тем

самым ответственность за гибель Гаршина должен был нести погубивший писателя самодержавно-капиталистический строй России.

Стр. 139. *...писем г. Эльпе.*— Статья Эльпе, цитируемая Успенским, помещена в газете «Новое время» 11/23 февраля 1888 года, № 4294, под заголовком: «Научные письма. Душевные состояния и внешние действия». Успенский допускает некоторые несущественные неточности в цитатах из этой статьи.

Стр. 146. *...поступок... весною 1880 года.* — 20 февраля 1880 года было совершено покушение на главного начальника особой «Верховной распорядительной комиссии по охранению государственного порядка и общественного спокойствия» графа М. Т. Лорис-Меликова. В знак протеста против административного произвола И. Млодицкий выстрелил в диктатора, но промахнулся. В тот же день было произведено следствие, на 22 февраля назначена казнь. Приговор стал известен в городе. Желая спасти Млодицкого, Гаршин 21 февраля обратился с письмом к Лорис-Меликову и накануне казни явился к нему, умоляя пощадить осужденного. Заступничество Гаршина, разумеется, успеха не имело, и Млодицкий был казнен. В связи с этим душевные страдания Гаршина чрезвычайно обострились и перешли в психическое заболевание, от которого ему удалось оправиться лишь через полтора-два года.

А. П. ЩАПОВ

Впервые напечатано в «Сибирской газете», 1888, № 55, 22 июля. Воспроизводится по тексту газеты.

Предприняв поездку к сибирским переселенцам, Успенский в июле 1888 года прибыл в Томск. Редакция «Сибирской газеты», в которой участвовали представители политической ссылки, деятели народнического лагеря, готовились к большому культурному событию в жизни царской России — открытию первого сибирского университета в Томске. В номере газеты намечался отдел «Замечательные сибиряки», и для него Успенский написал статью о Щапове.

Афанасий Прокофьевич Щапов — выдающийся историк, разночинец-демократ, сформировавшийся как ученый в период революционной ситуации 1860-х годов, отличался огромным вниманием к изучению народных движений, общинного строя в России, истории раскола. Блестяще начавшаяся профессорская деятельность Щапова в Казани была прервана после его выступления по поводу

расстрела 16 апреля 1861 года крестьян в с. Бездна, Казанской губ., не желавших признать разорявший их манифест об «освобождении» от крепостной зависимости. Щапов был арестован и препровожден в Петербург. Наказание, назначенное ему Александром II — «подвергнуть вразумению и увещанию в монастыре», было отложено вследствие энергичного протеста литературной общественности, организованного Н. Г. Чернышевским, но Щапов поплатился тюремным заключением и потерей профессорской кафедры.

В 1863 году Щапов был выслан из Петербурга на родину, в село Анга, за Байкалом, откуда ему удалось переселиться в Иркутск, где он и провел последние годы жизни.

Щапов предпринял ряд этнографических исследований края, участвовал в экспедициях и оставил ценные работы по вопросам изучения Сибири.

Успенский видит в Щапове потомка «упрямых» великорусов, не желавших смиряться под ярмом самодержавия и после безрезультатного протеста уходивших в Сибирь, подальше от центральной власти. Он отмечает у Щапова уважение к выборному началу общественного строя, потребность в создании «соединенно-областного земского строения», желание заставить царя выслушивать требования земских людей и выполнять их. Склонный переоценивать роль земских учреждений в своем горячем стремлении оказать живую помощь народу, Успенский с благодарным чувством вспоминает о Щапове, показавшем «правоту старинного союзного земского строя». Вместе с тем он осуждает общественный порядок царской России, не дававший места никаким попыткам облегчить тяжелую жизнь трудящегося народа.

При написании статьи Успенский широко воспользовался фактическими материалами, приведенными в книге Н. Я. Аристова «Афанасий Прокофьевич Щапов. Жизнь и сочинения», СПБ., 1883.

Стр. 157. Книга А. П. Щапова *«Земство и раскол»*, вып. 1, вышла в 1862 году в Петербурге, изд. Д. Е. Кожанчикова. В приводимой цитате слов: «по наивным мечтаниям тогдашних земцев» — у Щапова нет.

ГОРЬКИЙ УПРЕК

При жизни писателя статья не публиковалась; впервые в отрывках напечатана В. Н. Поляком в «Саратовском листке», 1902, № 74, 2 апреля; полностью опубликована Н. К. Пиксановым

в журнале «Новый мир», 1929, № 3; в настоящем издании печатается по рукописи, хранящейся в ПД.

Статья написана в связи с перепечаткой в «Юридическом вестнике» в десятой книжке за 1888 год (Успенский ошибочно указывает № 9) письма Маркса в редакцию «Отечественных записок» (см. сборник «Переписка К. Маркса и Ф. Энгельса с русскими политическими деятелями», издание второе, Госполитиздат, 1951, стр. 220—223). Письмо Маркса вызвано статьей Н. К. Михайловского «Карл Маркс перед судом г. Ю. Жуковского», напечатанной в 1877 году в октябрьском номере «Отечественных записок». Маркс возражает против искажений его взглядов, допущенных в статье Михайловского, и высказывается по ряду вопросов пореформенного развития России. Письмо стало известно лишь после кончины Маркса и затем широко дебатировалось в русских общественных и революционных кругах, особенно в период борьбы марксистов с народниками (см. В. И. Ленин, Сочинения, т. 1, стр. 129, 247—248).

Письмо Маркса привлекло Успенского глубиной анализа явлений русской действительности, критикой программных положений народничества. Вместе с тем очевидно, что Успенский далек от подлинного понимания марксистской теории, для него осталась непонятой и та борьба, которая уже в 80-е годы развертывалась между марксистами и народниками. (Подробнее о статье см. в работе Н. И. Пруцкова «Г. И. Успенский о письме К. Маркса в редакцию журнала «Отечественные записки». — «Вопросы философии», 1953, № 3, стр. 81—87).

Работа над статьей относится к ноябрю-декабрю 1888 года (см. письма 227 и 231), в 20-х числах декабря она была послана в редакцию «Волжского вестника». Не пропущенная царской цензурой, статья все же стала известной в литературных кругах Казани. В. Н. Поляк сообщал Успенскому в январе 1889 года: «Ваша статья «Горький упрек» ходит здесь по рукам. Меня просят спросить Вас, — не позволите ли ее списать в нескольких экземплярах, так как желающих прочесть ее — масса». В дальнейшем А. И. Эртель пытался напечатать статью в «Воронежском листке», но также безуспешно.

Стр. 167. *...писал я недавно...* — Имеется в виду очерк «Не знаешь, где найдешь» («Русские ведомости», 1888, № 356, 27 декабря); статья была написана до опубликования очерка, и сам Успенский не был уверен, что процитированные строки редакция

вставит в очерк (см. письмо 232); действительно, эти строки в печатный текст редакция не включила, очевидно, опасаясь цензуры.

Стр. 170. *...приехав в Париж...*— Имеется в виду поездка Успенского в Париж в 1872 году.

Стр. 171. *В брошюре, написанной вместе с Энгельсом...*— Речь идет о воззвании Генерального совета Международного Товарищества Рабочих «Гражданская война во Франции», написанном Марксом в 1870—1871 годах; Энгельс в написании этого произведения не участвовал.

<ЕДИНСТВЕННО ЛИШЬ ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ ВЕЛИКИЕ НАДЕЖДЫ...>

Набросок незаконченной статьи, без заглавия. Впервые полностью опубликован в Полном собрании сочинений, т. XII, изд. АН СССР, 1953, стр. 488—489, под заглавием «О современной литературе». Печатается по автографу, хранящемуся в ПД.

ОТ АВТОРА

Впервые напечатано в качестве предисловия к первому изданию Сочинений Г. И. Успенского в восьми томах, изд. Ф. Павленкова (СПБ., 1883—1886), т. I, СПБ., 1883. Печатается по тексту этого издания.

Стр. 176. *Времена, пережитые русскою журналистикою...* — Имеются в виду многочисленные цензурные гонения, последовавшие в результате подавления революционного движения 1860-х годов и наступления реакции; кульминацией этих гонений явилось закрытие в 1866 году журналов «Современник» и «Русское слово».

— *Аргус* — в греческой мифологии многоглазый великан; здесь под аргусами подразумеваются царские цензоры.

— *«Нравы Растеряевой улицы».* — Об истории печатания этого произведения см. в примеч. к т. 1 настоящего издания.

ОТ АВТОРА

(Заметка о втором издании)

Написано в качестве предисловия к изданию: Глеб Успенский. Сочинения. Издание второе, Ф. Павленкова. Дополненное. СПБ., 1889; перепечатано в третьем издании в том же году. Печатается по последнему изданию. В рукописном отделе ПД имеется черновой автограф заметки, содержащий некоторые разночтения с печатным текстом.

<АВТОБИОГРАФИЯ>

По просьбе книгоиздателя Ф. Ф. Павленкова, готовившего издание сочинений Успенского 1883—1886 годов и предполагавшего поместить биографию писателя, Успенский сообщил ему некоторые факты и обстоятельства своей жизни. Биографии в обычном понятии этого слова не получилось, и сочинения вышли в свет без всяких сведений об авторе. Успенский в данном письме к Павленкову утверждает, что нет необходимости в подробном изучении отдельных фактов жизни того или иного литератора и считает важным прежде всего проследить формирование его взглядов, духовных интересов в связи с социально-политической и литературной обстановкой его времени.

Автобиография Успенского представляет собой чрезвычайно важный для понимания его творчества материал и наряду с предисловиями к первому и второму изданиям сочинений писателя является авторским документом первостепенного значения. Успенский со свойственным ему художественным талантом в небольшом по объему письме сумел точно определить настроение пореформенной эпохи, положение литераторов, зарисовать отдельные типы.

Особенно тяжелыми для русской журналистики второй половины XIX века были указываемые Успенским 1863—1868 годы.

Крупнейший революционно-демократический журнал «Современник», игравший столь важную роль в период первой революционной ситуации в России (1859—1861), потерял своих ведущих сотрудников — Добролюбова, умершего в 1861 году, и Чернышевского, арестованного в 1862 году и затем сосланного в Сибирь. Некрасов, лишившись сотрудничества вождей крестьянской демократии, не мог вести журнал на прежнем уровне. К тому же, после выстрела Каракозова в Александра II (1866) и новой волны правительственной реакции «Современник» был закрыт. Одновременно было прекращено издание и другого демократического журнала — «Русское слово», идейным руководителем которого был Д. И. Писарев. Все большее место стали занимать «темные издания», реакционные органы печати, в которых прогрессивным литераторам участвовать было невозможно. С 1868 года Некрасов и Салтыков-Щедрин встали во главе реорганизованного ими журнала «Отечественные записки», продолжившего традиции «Современника» в своем беллетристическом отделе, но публицистикой журнала завладели народники, и единства в редакции не было.

Успенский болезненно переживал неустройство русской общественной жизни, но и за границей, куда он уехал в 1872 году, не нашел душевного облегчения, ибо увидел расстрелы коммунаров Парижа и все усиливавшуюся власть капитала.

Найти ответы на насущные вопросы народной жизни Успенский пытается в деревне; с этой целью он уезжает сначала в Новгородскую, затем в Самарскую и снова в Новгородскую губернии, где и находит «подлинно важную черту в основах жизни русского народа» — власть земли, сильно преувеличив при этом ее значение. Дальнейшая жизнь Успенского действительно пересказана в его книгах — писатель откликался на все, что волновало народные массы, интеллигенцию, скорбел о разрыве между нею и народом и горячо, взволнованно, страстно делился с другом-читателем своими наблюдениями и раздумьями.

Автобиография Успенского впервые напечатана в тексте статьи Н. К. Михайловского (журнал «Русское богатство», 1902, IV) и воспроизводится по этой публикации. Дата рождения Успенским указана ошибочно. Из документов явствует, что он родился 13 октября 1843 года.

Стр. 182. ...*вся обстановка... жизни лет до 20-ти*...— см. об этом вступительную статью в т. 1 настоящего издания.

Стр. 185—186. *За границу*, в Париж, Успенский выехал весной 1872 года, летом возвратился в Россию. Вторичная поездка состоялась летом 1875 года. Успенский с женой и ребенком побывал в Париже и к августу был уже на родине. В третий раз он ездил во Францию зимой 1876 года. Сентябрь — ноябрь 1876 года Успенский провел в Сербии, в результате чего был написан цикл его очерков «Письма из Сербии».

ПИСЬМА

1864

1

Впервые опубликовано в «Русской мысли», 1911, VI, стр. 66—67. Автограф — в ПД.

Датируется по данным о публикации произведений, упоминаемых в письме.

В Москве... я занимался корректурой...— Имеется в виду работа в университетской типографии «Московских ведомостей»;

в Москву Успенский переехал осенью 1862 года, после того как не осуществилось его намерение учиться в Петербургском университете. В Москве Успенскому также не удалось поступить в университет, так как он не смог представить требуемых документов и не внес плату за слушание лекций (см. сб. АН, стр. 519—527); родителям, однако, Успенский об этом не сообщал.

...историю Григория Яковлевича. — Дядя писателя Г. Я. Успенский, преподаватель греческого языка в Тульской семинарии, изображен в образе дьякона в очерках «Деревенские встречи» («Современник», 1865, X).

Никола — Николай Васильевич Успенский.

Нюня — Анна Ивановна Успенская (в замужестве Кулакова), старшая сестра писателя.

1865

2

Впервые опубликовано в Полном собрании сочинений, т. XIII, стр. 20—22. Подлинник — в ПД.

...вспоминаю Чернигов... — Имеется в виду пребывание Успенского в Чернигове весной и летом 1865 года до переезда с матерью в Тулу.

Фельетон о Чернигове был послан в «Русское слово», где и был напечатан в июньском номере за 1865 год.

В Туле меня ругают за фельетон. — Напечатан в мартовской книжке «Русского слова» в том же году.

...получали у Каткова... — Имеется в виду работа корректором в типографии «Московских ведомостей», издававшихся М. Н. Катковым.

...2-е письмо из Тулы... — в печати не появилось.

Т. и *Д.* — О ком идет речь, не установлено.

Василий Яклич — очевидно, В. Я. Успенский.

1866

3

Впервые напечатано в сб. ЛЛМ, стр. 110—111. Автограф — в ЦГЛА.

Год устанавливается по упоминаемым литературным событиям.

..прекратилось издание «Современника» и «Русского слова»... — Журналы были прекращены в июне 1866 года, в связи с усилением политической реакции после покушения Каракозова на Александра II.

Статью... отдал в «Луч»... — Имеется в виду продолжение «Нравов Растеряевой улицы» (см. примеч. к «Нравам...» в т. 1 настоящего издания).

Экзамен на звание учителя в уездных училищах Успенский выдержал 27 мая 1867 года.

4 апреля 1866 года — покушение Каракозова на Александра II.

В Литературном фонде Успенский взял в первый раз ссуду за поручительством Н. А. Некрасова в ноябре 1865 года. См. также письмо 5.

1867

4

Впервые опубликовано в сб. ЛЛМ, стр. 111—112. Автограф — в ЦГЛА.

Датировано по упоминанию об экзаменах на звание учителя, которые Успенский держал 27 мая 1867 года.

Михаил Васильевич — М. В. Успенский.

Николай Васильевич — Н. В. Успенский.

Искреннее письмо — письмо, относящееся к ноябрю-декабрю 1866 года (опубликовано в Полн. собр. соч., т. XIII, стр. 26—27).

Впервые опубликовано в сб. АН, стр. 156. Автограф — в ГПБ.

...отказало мне в моей просьбе. — Комитет Литературного фонда в заседании от 23 января 1867 года утвердил сообщение П. В. Анненкова, знакомившегося по поручению Комитета с материальным положением Успенского, что «в настоящее время г. Успенский добровольно отказался от вспомоществования, так как сумма, какая могла бы быть назначена ему от Общества, не соответствовала бы его надобностям».

В связи с данным письмом к Анненкову и по представлении

списка своих сочинений Успенский, согласно решению Комитета, получил пособие в 60 рублей.

6

Впервые опубликовано (частично) в «Русской мысли», 1911, VII, стр. 3—4. Автограф — в ПД.

...жития в Епифани. — Пребывание Успенского в Епифани в качестве учителя нашло отражение в очерке «Спустя рукава» (1868); см. также: И. Пархоменко. Глеб Успенский — учитель («Биржевые ведомости», 1903, № 362, 13 июля).

А. П. — Александр Павлович Кулаков.

Анна Ивановна — А. И. Кулакова.

Наталия Глебовна — Н. Г Соколова.

Лизавета Глебовна — Е. Г Соколова.

Леля — о ком идет речь, не установлено.

1868

7

Впервые опубликовано в «Русских записках», 1915, XI, стр. 34—35. Автограф — в ПД.

Моя повесть — очевидно, «Разоренье»; была напечатана в «Отечественных записках», 1869, II, III, IV.

Очерк мой — «Будка», напечатан в «Отечественных записках», 1868, IV.

2 рассказа мои — очерки «Арина» и «Трын-трава» из цикла «Современная глушь».

2 корреспонденции — до сих пор точно не установлены; по предположению А. М. Казиницкого, это могут быть «Московские письма», напечатанные в «Биржевых ведомостях», 1868, №№ 4 и 7, за подписью «Петербуржец».

8

Впервые опубликовано в «Русских записках», 1915, XI, стр. 41. Автограф — в ПД.

Датировано на основании следующего письма.

9

Впервые опубликовано в «Русских записках», 1915, стр. 35—36. Автограф — в ПД.

Мой рассказ — «Остановка. Рассказ проезжего», напечатан в «Отечественных записках», 1868, VII.

...до представления повести... — очевидно, имеется в виду «Разоренье».

В «Неделе» в 1868 году были напечатаны «Тяжкое обязательство» (в № 30) и «Шиньон» (в № 38).

10

Впервые опубликовано в «Русских записках», 1915, XI, стр. 36—37. Автограф — в ПД.

Год устанавливается по связи со след. письмом.

...мою рукопись... — «Разоренье».

11

Впервые опубликовано в «Русских записках», 1915, XI, стр. 36. Автограф — в ПД.

...отложить печатание... — Печатание «Разоренья» началось с февраля 1869 года.

1869

12

Впервые частично опубликовано в журн. «Минувшие годы», 1908, IV, стр. 1—2. Автограф не сохранился. Печатается по копии, хранящейся в ПД.

...три отзыва... — Из первых откликов на «Разоренье» известны отзывы В. П. Буренина в «С.-Петербургских ведомостях» (1869, № 76, 18 марта) и без подписи в «Новом времени» (1869, № 50, 14 марта).

13

Впервые опубликовано в сб. ЛЛМ, стр. 34—35. Автограф — в ЦГЛА.

Год написания писем 13—15 устанавливается по времени пребывания Успенского в Липецке.

...тотчас после отъезда... — Имеется в виду отъезд из Ельца Орловской губернии, где Успенский находился в конце апреля — начале мая 1869 года.

«Листок» — газета «Липецкий летний листок».

14

Впервые опубликовано в Полном собрании сочинений, т. XIII, стр. 67—70. Автограф — в ПД.

2-ая повесть — видимо, «Тише воды, ниже травы», впоследствии печатавшаяся как вторая часть «Разоренья».

...очерк «Липецкие воды»... — Был ли он написан — неизвестно, так как в печати не появился.

...начать занятия с августа... — О каких занятиях идет речь, установить не удалось.

Щедрин написал мне... — Данное письмо не сохранилось.

15

Впервые опубликовано в Полном собрании сочинений, т. XIII, стр. 74—75. Автограф — в ПД.

...читать «Шиньон»... — Имеется в виду стихотворение Полонского.

1870

16

Впервые опубликовано в книге «Глеб Успенский в жизни», М. — Л., 1935, стр. 83—87. Автограф — в ЦГЛА.

Датируется по содержанию письма (см. также упоминание о Петрове дне).

...повесть «Тише воды» наделала здесь дел... — По свидетельству Е. И. Успенской-Марченко, в повести «Тише воды, ниже травы» (вторая часть «Разоренья», см. т. 2 настоящего издания) отражены впечатления от пребывания Успенского в Крапивне.

17

Впервые опубликовано (частично) в книге «Глеб Успенский в жизни», стр. 41—42. Автограф — в ЦГЛА.

Датируется на основании календаря (упоминание Троицы) и по содержанию письма.

Письмо относится ко времени поездки Успенского по Волге в мае 1871 года; в результате путешествия явились «Путевые заметки», напечатанные в «Искре» (1871, № 31, 1 августа).

18

Впервые опубликовано в Полном собрании сочинений, т. XIII, стр. 84—85. Автограф — в ПД.

В автографе отрезана левая часть письма.

Год установлен по упоминанию журнала «Грамотей» и времени поездки Успенского на Волгу в 1871 году.

Успенский занимался *рукописями* Решетникова в связи с работой над его биографией (см. в данном томе «Федор Михайлович Решетников») и подготовкой издания его сочинений (1874). Упоминаемое в письме *сочинение* — очевидно, «Осиновцы (Этнографический очерк)», напечатанное в «Грамотее», 1872, №№ 1 и 3.

19

Впервые опубликовано (частично) в журн. «Минувшие годы», 1908, IV, стр. 11. Автограф — в ПД.

Год устанавливается по времени поездки Успенского по Волге.

...не мог приготовить ему «Разоренья». — Книга «Разоренье», содержавшая и ряд других произведений Успенского, вышла в издании А. Ф. Базунова в 1871 году.

«Лень» — Имеются в виду «Наблюдения провинциального лентяя», затем составившие третью часть «Разоренья».

20

Впервые опубликовано в «Русских записках», 1915, XI, стр. 39—40. Автограф неизвестен.

...моего рассказа. — Имеются в виду «Наблюдения провинциального лентяя», напечатанные в «Отечественных записках», 1871, VIII, X, XII.

В конце письма приписка: «За господина Успенского получил пятьдесят рублей (50), 19 октября 1871 г. Н. Долганов».

21

Впервые опубликовано в «Русских записках», 1915, XI, стр. 40. Автограф неизвестен.

...*статья моя*...— Очевидно, речь идет о том же произведении, что и в письме 20.

Из расписки Н. Долганова от 11 ноября 1871 года видно, что Успенскому было выдано снова 50 рублей.

1872

22

Впервые опубликовано в «Русском богатстве», 1912, I, стр. 236—237. Автограф — в ПД.

Данное письмо — первое из серии писем из-за границы, куда Успенский уехал вместе с сотрудником «Отечественных записок» Н. Е. Павловским. «Денег на поездку им дал Некрасов» (В. Е. Чешихин-Ветринский. Г. И. Успенский, М., 1929, стр. 91).

Датировано по связи с письмом 23.

...*немцы кажутся более победителями*... — Речь идет о победе во франко-прусской войне 1870—1871 годов.

23

Впервые опубликовано в «Русском богатстве», 1912, I, стр. 238—243. Автограф — в ПД.

«Суббота святой недели» в 1872 году приходилась на 15 апреля.

24

Впервые опубликовано в «Русских записках», 1915, XII, стр. 37—38. Автограф — в ПД.

Даты писем 24—27 уточнено по времени пребывания Успенского в Париже.

До представления рукописи... — О каком произведении идет речь, установить трудно, так как до февраля 1873 года Успенский в «Отечественных записках» не печатался.

...изданием 4-й книжки... — Имеется в виду очередной сборник произведений Успенского «Лентяй, его воспоминания, наблюдения и заметки. — Про одну старуху», изданный А. Базуновым (СПБ., 1873) в серии «Библиотека современных писателей».

Клозри (Closerie) — место увеселений в Париже.

25

Впервые (частично) опубликовано в журн. «Минувшие годы», 1908, IV, стр. 6. Автограф — в ПД.

«Рабагас», «Руа-Каротт» — пьесы В. Сарду.

Бобошка — прозвище корректора З—ского, близкого знакомого Н. К. Михайловского.

...святей всего Венера Милосская. — Впечатления от посещения Лувра впоследствии легли в основу очерка «Выпрямила» (1885).

Профессор Киевского университета — историк И. В. Лучицкий.

26

Впервые опубликовано в Полном собрании сочинений, т. XIII, стр. 116—119. Автограф — в ПД.

...парижские заметки... — очевидно, очерк «Больная совесть», напечатанный в «Отечественных записках», 1873, II и IV.

27

Впервые опубликовано в «Русском богатстве», 1912, I, стр. 251 — 255.

...4-го тома моих очерков... — см. примеч. к письму 24.

...мой роман... — Замысел остался неосуществленным.

Макадам — способ мощения улиц (по имени инженера Мак-Адама).

1873

28

Впервые опубликовано в «Русских записках», 1915, XI, стр. 49—50. Автограф — в ПД.

Год установлен по упоминанию сб. «Нашим детям», изд. А. Н. Якоби, СПБ., 1873, в котором был напечатан рассказ Успенского «Про одну старуху».

...последний очерк... — «Больная совесть» в составе цикла «Очерки, рассказы, наблюдения и другого рода отрывки из одних записок».

..от Солдатенкова за работу... — Имеется в виду редактирование сочинений и написание биографического очерка Ф. М. Решетникова в издании Солдатенкова (М., 1874).

29

Впервые опубликовано в сб. АН, стр. 158. Автограф — в ПД.

Датируется на основании решения Комитета Литературного фонда от 3 сентября 1873 года.

...4 тома... — Имеются в виду сборники произведений Успенского в издании А. Ф. Базунова в серии «Библиотека современных писателей».

...журнал, в котором я... работал... — «Отечественные записки».

В заседании комитета было решено «выдать просителю 200 р. и просить В. А. Манасеина оказать ему врачебную помощь».

1874

30

Впервые опубликовано в «Русских записках», 1915, XI, стр. 42—43. Автограф — в ПД.

Датируется приблизительно на основании последующего письма.

Настоящее письмо является ответом на письмо Некрасова от конца марта — начала апреля 1874 года, из которого видно, что между Некрасовым и Успенским шли переговоры об издании сочинений Успенского, для чего нужно было освободиться от обязательств перед Базуновым. Однако намечавшееся издание не было осуществлено, так как Некрасов не смог быстро подыскать подходящего издателя, а сам лично приобрести сочинения Успенского для издания также не имел возможности.

...повесть... — очевидно, «Очень маленький человек (Страницы из одних записок)»; произведение начало печататься в «Отечественных

записках» в феврале, однако продолжение его в майском номере было запрещено вместе со всей книжкой журнала. Некрасов об этом писал Успенскому: «Вас обвиняют в тенденциозности социального свойства» (Н. А. Некрасов. Полн. собр. соч., т. XI, М., 1952, стр. 326).

31

Впервые опубликовано в «Русских записках», 1915, XI, стр. 44. Автограф — в ПД.

Датируется на основании письма Некрасова к Успенскому от 15 апреля 1874 года (см. Н. А. Некрасов. Полн. собр. соч., т. XI, стр. 314—315).

Некрасов дал свое поручительство, и решением Комитета Литературного фонда просимая сумма Успенскому была выдана.

32

Впервые опубликовано в Полном собрании сочинений, т. XIII, стр. 143. Автограф — в ЦГЛА.

Датировано по связи с письмом Успенского к А. В. Каменскому от 30 ноября 1874 года (см. указанный том, стр. 143).

1875

33

Впервые опубликовано в ст. Н. К. Михайловского, стр. 33—34.

Датируется на основании свидетельств о литературно-музыкальном утре, состоявшемся в Париже в салоне Виардо 27 февраля 1875 года. (См. письмо Тургенева к Г. Н. Вырубову от 17 февраля 1875 года — в «Вестнике Европы», 1914, III, стр. 228, и афишу — в книге В. Е. Чешихина-Ветринского. Г. И. Успенский, М., 1929, стр. 114.)

Рассказ «Ходоки» — очевидно, отрывок из «Книжки чеков».

34

Впервые опубликовано в сб. АН, стр. 158—159. Автограф — в ПД

Еще до разбирательства (28 марта 1875 года) заявления

в Комитете Некрасов выдал просимую сумму для Успенского, о чем известил в письме от 22 марта 1875 года В. П. Гаевского. (См. Н. А. Некрасов, Полн. собр. соч., т. XI, стр. 352—353.)

35

Впервые опубликовано в «Русском богатстве», 1912, III, стр. 179—181. Автограф — в ПД.

«Библиотека». — Речь идет о журнале «Библиотека дешевая и общедоступная», организацией и оживлением которого был озабочен Успенский; негласным редактором этого журнала был А. В. Каменский. Далее в письме (и в ряде последующих) говорится о содержании как вышедших, так и намечаемых номеров журнала.

...о переводах и о Григорьеве... — В № 1 «Библиотеки...» были помещены переводы произведений Доде, Уйда, Диккенса; П. В. Григорьеву принадлежало произведение «Волки. Провинциальные сцены».

«Не вынесла» — рассказ Грязевцова (А. В. Круглова).

Роман Толстого — имеется в виду роман «Анна Каренина».

Повесть Щедрина — очевидно, из цикла «Благонамеренные речи».

«Проступок аббата Мурэ» — роман Золя.

«Присяжные-крестьяне» — очерки Н. Н. Златовратского «Крестьяне присяжные».

Рассказы Кладеля в переводе А. В. Успенской печатались в «Библиотеке...» в 1875 году; в 1877 году вышло отдельное издание ее переводов «Очерков и рассказов из жизни простого народа» Кладеля с предисловием Тургенева. Произведения *Кларти* и *Фабра* в «Библиотеке...» не появлялись. Роман *Мало* «Всесветный трактир» печатался в №№ 8, 9 и 10 за 1875 год.

...корреспонденция... «Варварка в Вантадуре» — в печати не появилась.

Повр Паризьен (Pauvre Parisien, — *франц.*) — бедный парижанин.

36

Впервые опубликовано в «Русском богатстве», 1912, III, стр. 181—182. Автограф — в ПД.

...мою статью — очевидно, очерк «Оживленная местность»; произведение не было пропущено цензурой и было опубликовано лишь после смерти писателя («Русское богатство», 1910, III).

Из памятной книжки. — Эти очерки в «Библиотеке...» не появились; под таким заглавием печатались в 1875 году очерки в «Отечественных записках» (впоследствии цикл «Новые времена, новые заботы»), а в 1876 году — в «Русских ведомостях».

...статья о Золя. — Статья не была написана.

Очерк.. «Фриц Рейтер» — в «Библиотеке... не появился.

37

Впервые опубликовано в «Русском богатстве», 1912, III, стр. 182—187. Автограф — в ПД.

.романа Г. Мало... — см. примеч. к письму 35.

Собрание сочинений Успенского было осуществлено лишь в 1883—1886 годах.

...объяснения... Ткачеву... — Имеется в виду статья Ткачева «Беллетристы-эмпирики и беллетристы-метафизики» («Дело», 1875, III), где содержится отзыв на сборник произведений Успенского «Глушь» (СПБ., 1875).

...долгу Псковскому банку... — см. письмо 111.

38

Впервые опубликовано в «Русском богатстве», 1912, III, стр. 187—188. Автограф — в ПД.

Год устанавливается по связи с письмами 36 и 37.

...2 страницы рассказа. — Речь идет о цикле «Из памятной книжки (см. примеч. к письму 36); в цикле «Новые времена, новые заботы» — рассказ «Неизлечимый».

39

Впервые опубликовано в «Русском богатстве», 1912, III, стр. 188—189. Автограф — в ПД.

Упоминаемые в письме произведения В. Гюго и Т. Ревильона в «Библиотеке... не появились.

40

Впервые опубликовано в «Русском богатстве», 1912, III, стр. 189. Автограф — в ПД.

Упоминаемое в письме *дело* касалось, видимо, журнала «Библиотека...».

...начало... ряда очерков... — О каких произведениях идет речь, неизвестно.

41

Впервые опубликовано в «Русском богатстве», 1912, II, стр. 190—191. Автограф — в ПД.

Роман Мало — см. примеч. к письму 35.

42

Впервые опубликовано в ст. Н. К. Михайловского, стр. 39. Автограф неизвестен.

Датируется согласно свидетельству Михайловского.

...рассказ «Царь в дому»... — Замысел не был осуществлен.

43

Впервые опубликовано в ст. Н. К. Михайловского, стр. 35. Автограф неизвестен.

Датируется по содержанию (ср. письмо 37).

44

Впервые опубликовано в Полном собрании сочинений, т. XIII, стр. 175—176. Автограф — в ПД.

Год устанавливается по данным о службе Успенского в Калуге.

...сижу в должности... — Речь идет о службе в управлении железной дороги.

45

Впервые опубликовано в Полном собрании сочинений, т. XIII, стр. 176. Автограф — в ПД.

Как видно из справки П. А. Ефремова на обороте письма, тревога Успенского оказалась необоснованной: ссуда была ему выдана до 15 декабря.

46

Впервые опубликовано в Полном собрании сочинений, т. XIII, стр. 176—177. Автограф — в ПД.

Год устанавливается по связи с письмами 44, 45.

Рассказ *«Опыт быть веселым»*, очевидно, не был закончен и в печати не появился.

47

Впервые опубликовано в «Русских записках», 1915, XI, стр. 47—48. Автограф — в ПД.

Рассказ *«Книжка чеков»* после преодоления цензурных затруднений был напечатан в «Отечественных записках», 1876, IV.

...рассказ, вырезанный в «Отечественных записках»... — вторая часть рассказа «Очень маленький человек» (см. примеч. к письму 30); в «Русских ведомостях» (1874, №№ 278 и 279) напечатан под заглавием «Хорошая встреча».

...начал длинную историю... — Возможно, имеется в виду рассказ «Опыт быть веселым».

48

Впервые опубликовано в Полном собрании сочинений, т. XIII, стр. 182. Автограф — в ПД.

Письмо связано с попытками реорганизации «Библиотеки... (см. письмо 35 и примеч. к нему).

Датировано по календарю («праздник Казанской»).

..*сижу в должности.* — См. письма 44 и 51.

49

Впервые опубликовано в Полном собрании сочинений, т. XIII, стр. 185—186. Автограф — в ПД.

Датировано по связи с предыдущим письмом.

...работа моя готова. — О каком произведении идет речь, неизвестно.

1876

50

Впервые опубликовано в «Русских записках», 1915, XI, стр. 46—47. Автограф — в ПД.

Датировано по содержанию.

..*Надеин не мог выдать мне денег...* — см. письмо 111.

.. *с окончанием 3-го рассказа...* — Имеется в виду цикл очерков «Люди и нравы», печатавшийся в «Отечественных записках» в 1876—1877 годах.

51

Впервые опубликовано в ст. Н. К. Михайловского, стр. 47. Автограф неизвестен.

Датировано по публикации Михайловского.

Место... я должен был бросить... — Имеется в виду служба в Калуге.

52

Впервые опубликовано в сб. АН, стр. 159—160. Автограф — в ПД.

Датировано по протоколу Литературного фонда от 26 апреля 1876 г.

В заседании Комитета Литературного фонда было решено выдать Успенскому 300 рублей до 15 декабря под поручительство Михайловского, Елисеева и Скабичевского.

53

Впервые опубликовано в «Русском богатстве», 1912, III, стр. 192—193. Автограф — в ПД.

Письмо написано, очевидно, вскоре после отъезда в Париж в апреле 1876 года. Каменский пытался приобрести журнал «Библиотека...» в свои руки, однако и эти попытки реорганизовать журнал остались безуспешными.

...*предисловие к рассказам Кладеля...* — см. примеч. к письму 35.

54

Впервые опубликовано в «Русском богатстве», 1912, III, стр. 194—195. Автограф — в ПД.

Год устанавливается по связи со след. письмом.

..*отдать Якоби.* — Передача издания «Библиотеки...» Якоби

не была осуществлена; журнал прекратил существование в ноябре 1877 года.

55

Впервые опубликовано в «Русском богатстве», 1912, III, стр. 195—197. Автограф — в ПД.

...для сотрудничества у Нотовича... — Попытка привлечь к изданию «Библиотеки...» Нотовича также не увенчалась успехом.

«Рамки» — имеется в виду повесть «Тесная рамка», автор неизвестен.

56

Впервые опубликовано в «Русских записках», 1915, XI, стр. 49. Автограф — в ПД.

...послал... статью... — Видимо, один из очерков цикла «Люди и нравы».

...корреспонденции... — Очевидно, «Заграничный дневник провинциала», печатавшийся в «Русских ведомостях», 1876, № 156.

...человек... арестован... — О ком идет речь, не установлено.

57

Впервые опубликовано в «Русском богатстве», 1912, III, стр. 197—198. Автограф — в ПД.

Год устанавливается по содержанию и по связи с письмом 55.

58

Впервые опубликовано в сб. АН, стр. 161—162. Автограф — в ПД.

О попытке передачи издания «Библиотеки...» Нотовичу см. примеч. к письму 55.

59

Впервые опубликовано в ст. Н. К. Михайловского, стр. 46. Автограф неизвестен.

Датировано согласно свидетельству Михайловского.

Повесть, которую пишу... — Произведение не было осуществлено; как сообщает Михайловский, повесть имела заглавие «Удалой добрый молодец».

60

Впервые (частично) опубликовано в журн. «Минувшие годы», 1908, IV, стр. 10. Автограф — в ПД.

В сентябре 1876 года в связи с военными действиями в Сербии Успенский из Парижа поехал в Белград в качестве корреспондента «С.-Петербургских ведомостей»; семья была отправлена в Петербург.

...очерки, список которых... — Упоминаемый список неизвестен.

...роман Тургенева... — «Новь».

61

Впервые опубликовано в Полном собрании сочинений, т. XIII, стр. 209—210. Автограф — в ПД.

Датируется по данным о пребывании Успенского в Белграде.

...напишу в «СПб. ведомости»... — Имеется в виду корреспонденция «Наши добровольцы в дороге» (1876, № 285, 15 октября).

62

Впервые опубликовано с копии из архива III отделения в «Вестнике литературы», 1922, № 1, стр. 9. Автограф неизвестен.

Датируется по первой публикации.

Г. А. Лопатин находился в Лондоне, куда Каменский выехал, по предположению Р. М. Кантора, вскоре после революционной демонстрации у Казанского собора 6 декабря 1876 года. Об этом событии, видимо, и упоминается в письме.

З. С. — Зинаида Степановна Апсеитова, жена Лопатина.

1877

63

Впервые опубликовано в Полном собрании сочинений, т. XIII, стр. 213—214. Автограф — в ПД.

Летом 1877 года Успенский жил в с. Сопки близ ст. Валдайка Новгородской губернии.

...осенью — все будет поправлено. — Произведения Успенского осенью 1877 года в «Пчеле» не появлялись; в 1878 году здесь были напечатаны рассказ «Скоромная щука» и заметка «Кому жить на Руси хорошо».

1878

64

Впервые опубликовано в сб. «Письма русских общественных деятелей к Н. Я. Николадзе», Тбилиси, 1940, стр. 69—71. Автограф — в Лит. музее Грузии.

Написано в связи с сотрудничеством Успенского в тифлисской газете «Обзор», издававшейся Николадзе. Под общим заглавием «Литературные и журнальные заметки» Успенский в 1878 году поместил в «Обзоре» три статьи: «Опять о Некрасове!» (№ 27, 27 января), «Первая книжка журнала «Слово» (№ 36, 7 февраля) и «1-й № «Отечественных записок» за 1878 год» (№ 41, 12 февраля; эта статья написана совместно с Ф. К. Долининым).

...г. Антонович вышел из «Слова»... — Прекращение сотрудничества в «Слове» было вызвано разногласиями Антоновича с редакцией (см. «Биржевые ведомости», 1878, № 61, 3 марта); в «Тифлисском вестнике» он сотрудничал в 1873—1882 годах.

«Разговоры об Анне Карениной». — В «Обзоре» не появились и, видимо, не были написаны; частично замысел осуществлен в очерках «С места на место (Записки наемного человека)», напечатанных в «Русском богатстве», 1880, XI.

1879

65

Впервые опубликовано в сб. «Письма русских общественных деятелей к Н. Я. Николадзе», стр. 71—72. Автограф — в Лит. музее Грузии.

Сотрудничество Успенского в «Обзоре» не возобновилось, хотя с Николадзе впоследствии установились личные дружеские отношения.

66

Впервые опубликовано в «Голосе минувшего», 1914, IV, стр. 133. Автограф неизвестен.

Датировано согласно свидетельству де Воллана.

...*читать корректуру* — видимо, очерка «Черная работа» (цикл «Из деревенского дневника»).

...*окончательный ответ.* — Очевидно, речь шла о произведениях де Воллана.

Учреждение генерал-губернаторства было осуществлено в 1879 году, после покушения Соловьева на Александра II. Слухи об аресте Философовой и обыске у Салтыкова-Щедрина оказались ложными.

67

Впервые опубликовано в сб. ЛЛМ, стр. 45. Автограф — в ЦГЛА.

Успенский выехал весной 1879 года из с. Сколково Самарской губернии, где он служил письмоводителем ссудо-сберегательного товарищества, раньше семьи из-за доноса какого-то кулака.

...*работаю большую вещь...* — Очевидно, речь идет о работе над циклом очерков и рассказов «Вокруг да около».

Банк — имеется в виду ссудо-сберегательное товарищество в с. Сколково.

...*всякое подозрение будет снято с тебя.* — А. В. Успенская и ее приятельница А. С. Григорьева вели в с. Сколково занятия в крестьянской школе, которая затем была закрыта по предписанию властей.

1880

68

Впервые опубликовано в «Голосе минувшего», 1915, V, стр. 218. Автограф — в ЛБ.

Письмо посвящено организации встречи группы писателей с И. С. Тургеневым, состоявшейся на квартире Успенского 6 марта 1880 года (см. письмо Тургенева к Успенскому от 5 марта 1880 года в сб. АН, стр. 257).

69

Впервые опубликовано в «Голосе минувшего», 1915, I, стр. 213—214. Автограф — в ПД.

...*надел во 2-м отделе.* — «Надел» Успенского получил название «На родной ниве»; здесь были напечатаны статьи, посвя-

щенные пушкинским торжествам 1880 года («Праздник Пушкина», «Секрет»), очерк «Народная книга» и цикл очерков, получивший в отдельном издании заглавие «Крестьянин и крестьянский труд».

В сентябре будет рассказ... — Речь идет о небольшом цикле под общим заглавием «Из деревенского дневника» (затем «Непорванные связи»): I. «Лядины новгородские», II. «Непорванные связи», III. «Подгородный мужик». Произведение это вызвало возражения Салтыкова-Щедрина из-за некоторых противоречивых суждений Успенского народнического характера и подвергнуто редакторской правке, с которой Успенский согласился (см. Н. Мордовченко, М. Е. Салтыков-Щедрин — редактор Успенского. — Сб. АН, стр. 397—418).

...намерен съездить в Мальцевские заводы... — Данных об этой поездке не имеется.

Ответьте мне... — Петрункевич в ответ на просьбу Успенского смог выслать 120 рублей (см. письмо Успенского от 8 сентября 1880 года в Полн. собр. соч., т. XIII, стр. 229).

70

Впервые опубликовано в Полном собрании сочинений, т. XIII, стр. 235—237. Автограф — в ПД.

Датируется по содержанию и по связи с письмами к Каменскому от 10 сентября и 2 октября 1880 года (Полн. собр. соч., т. XIII, стр. 229—234, 237—238).

Хозяйственные сообщения связаны с тем, что Успенский по просьбе Каменского, служившего в это время управляющим Бакинского нефтяного общества, вел наблюдения над его имением Лядно около ст. Чудово Новгородской губернии; непосредственно хозяйством ведал крестьянин Леонтий Осипович Беляев, послуживший прототипом для образа Ивана Ермолаевича в очерках «Крестьянин и крестьянский труд».

...три десятины по Еремину ручью... — Это намерение не было осуществлено.

...после напечатания романа... — Очевидно, речь идет о романе, упоминающемся в письме Н. П. Орлова к Успенскому от сентября-октября 1881 года: «С удовольствием воспринял новость, что Вы затеваете роман «Овечьи слезы»... радуюсь Вашему будущему юмористическому роману — в наше время он будет иметь большой успех...» («Голос минувшего», 1915, IV, стр. 226); замысел, однако, не был осуществлен.

71

Впервые опубликовано в Полном собрании сочинений, т. XIII, стр. 238. Автограф — в ЦГЛА.

...объясниться насчет литературных мнений... — Речь идет о разногласиях Успенского с журналом «Русское богатство», редактором которого был в то время Н. Н. Златовратский. Журнал придерживался народнической ориентации.

...в 12 № «Отечественных записок»... — были опубликованы последние очерки цикла «Крестьянин и крестьянский труд»; намерение прекратить писания о народе, вызванное нападками народнической критики, было кратковременным: уже в январском номере «Отечественных записок» за 1881 год начат новый цикл очерков «Без определенных занятий», где вопросы народной жизни занимают центральное место.

В «Слове» произведений Успенского не появилось, хотя он был близок к редакции; в апреле 1881 года журнал вследствие цензурных притеснений был закрыт.

1881

72

Впервые опубликовано в «Голосе минувшего», 1914, IV, стр. 127—128. Автограф неизвестен.

Год устанавливается по связи со след. письмом.

О какой *статье* де Воллана идет речь, неизвестно; в 1881 году в Берлине была издана его книжка «О современном положении в России».

Роман — очевидно, «Полная чаша. Из семейной хроники Ногайцевых», опубликован лишь в 1902 году. Отзыв Успенского см. в следующем письме.

73

Впервые опубликовано в «Голосе минувшего», 1914, IV, стр. 128—129. Автограф неизвестен.

Датируется по связи с письмом от 8 мая 1881 года (Полн. собр. соч., т. XIII, стр. 253—254).

74

Впервые опубликовано в Полном собрании сочинений, т. XIII, стр. 258—259. Автограф — в ЛБ.

...в счет июльской книжки... — Последние главы «Без определенных занятий» были напечатаны не в июле, как предполагал Успенский, а в августе.

Я желаю ехать... — Намерение не было осуществлено.

75

Впервые опубликовано (частично) в «Русской мысли», 1902, IX, стр. 43—44. Автограф — в ЛБ.

Датируется согласно помете адресата.

...есть рассказ... — Речь идет об очерке «Старики (Из памятной книжки)»; этим произведением было начато сотрудничество Успенского в «Русской мысли».

...Салтыков отложил до августа... — см. предыдущее письмо

...ехать по тому же делу. — Видимо, с этим делом была связана поездка Успенского в Казань в июне 1881 года; о каком деле идет речь, не установлено.

В «Вестнике Европы»... это — «лагерь»... — Либеральное направление журнала «Вестник Европы» не могло не вызывать резко отрицательного отношения со стороны «Отечественных записок», руководимых Салтыковым-Щедриным; лишь после закрытия «Отечественных записок» Салтыков-Щедрин оказался вынужденным помещать свои произведения на страницах «Вестника Европы».

76

Впервые опубликовано в «Голосе минувшего», 1915, VII—VIII, стр. 205—206. Автограф — в ПД.

Датировано по связи с письмом С. Н. Кривенко к Успенскому (см. сб. АН, стр. 258—259).

Письмо является ответом на письмо Н. В. Максимова, который упрекал Успенского в невыполнении обещаний, связанных с организацией новой газеты во главе с Николадзе (см. «Голос минувшего», 1915, VII—VIII, стр. 205); проект издания газеты не был осуществлен.

77

Впервые опубликовано в «Голосе минувшего», 1915, IV, стр. 231—234. Автограф — в ЛБ.

Датируется согласно помете адресата.

...истории с «Русской мыслью»... — Имеются в виду недоразу-

мения, связанные с печатанием очерка «Старики (Из памятной книжки)». См. письмо 75.

...почтили Салтыкова! — Имеется в виду празднование 25-летия появления «Губернских очерков», организованное 31 августа 1881 года московским кружком профессоров, журналистов, артистов.

Ибеяй, ядикай — пародирование произношения Гольцева.

...вторую статью... — очерк «Равнение «под одно», был напечатан в январском номере «Русской мысли» за 1882 год.

Статья Дитятина. — Имеется в виду статья «Когда и почему возникла рознь в России между «командующими классами» и «народом» («Русская мысль», 1881, XI, стр. 310—382); С. А. Юрьев снабдил статью вступительной заметкой, в которой бралось под защиту славянофильство И. С. Аксакова.

...жида с лягушкой венчали... — неточная цитата из стихотворения Пушкина «Гусар».

Дом куплен. — Имеется в виду приобретение небольшого участка с домом в д. Сябринцы Чудовской вол., Новгородского уезда; купчая на имя жены писателя была заключена 23 октября 1882 года (см. сб. ЛЛМ, стр. 244—245).

...безобразная история... — Речь идет о фотографировании у Панова, очевидно, потребовавшего деньги вопреки первоначальной договоренности.

...3 моих новых книги — «Деревенская неурядица», в трех томах, СПБ., 1882.

...статью в «Русские ведомости». — Видимо, написана не была.

1882

78

Впервые опубликовано в Полном собрании сочинений, т. XIII, стр. 286. Автограф — в ЛБ.

Датировано согласно помете адресата; Успенский ошибочно поставил «апреля» вместо «мая».

Огромное Вам спасибо... — Имеется в виду посредничество Некрасовой в подыскании издателя для книги «Власть земли», издание В. М. Лаврова, М., 1882. См. также письма 82, 88.

79

Впервые опубликовано (частично) в сб. «Русские ведомости», М., 1913, стр. 217. Автограф — в ПД.

Датировано по связи с письмом к Е. С. Некрасовой от 11 июня 1882 года (Полн. собр. соч., т. XIII, стр. 289—290).

История с *агентом тайной полиции* нашла отражение в очерке «Подозреваемые» цикла «Бог грехам терпит».

80

Впервые опубликовано в Полном собрании сочинений, т. XIII, стр. 292. Автограф — в ЛБ.

Рассказец — очевидно, «Без своей воли (Из деревенского дневника)», напечатан в ноябрьском номере журнала, в октябре же продолжалось печатание очерков «Бог грехам терпит».

81

Впервые опубликовано в Полном собрании сочинений, т. XIII, стр. 294. Автограф — в Гос. историческом музее (Москва).

...начатого рассказа... — О каком рассказе идет речь, трудно сказать, так как в 1883 году Успенский в «Русской мысли» не печатался. О его отношениях к Лаврову см. письма 78, 82 и примеч. к ним.

...для № 11 «Отечественных записок»... — Имеется в виду очерк «Без своей воли (Из деревенского дневника)».

...по поводу моих книг... — Издание очерков «Власть земли» (М., 1882); см. также письмо 82.

82

Впервые опубликовано в сб. «Архив Гольцева», стр. 9—11. Автограф — в ЛБ.

Датируется приблизительно по упоминанию издания сборника «Власть земли».

Никакого одолжения... — Речь идет об издании книги «Власть земли» (см. примеч. к письму 78).

1883

83

Впервые опубликовано в Полном собрании сочинений, т. XIII, стр. 301—302. Автограф—в ПД.

Год устанавливается по данным о поездке Успенского на юг в 1883 году.

...пишу много писем... — упоминаемые письма не сохранились.

...виноват перед Тверитиновым. — Успенский хлопотал о предоставлении работы Тверитинову и позднее помогал ему материально; см. письма к М. И. Петрункевичу от 5 февраля 1884 года (Полн. собр. соч., т. XIII, стр. 349), самому Тверитинову (там же, стр. 412), А. В. Успенской от 16 июня 1884 года и др.

84

Впервые опубликовано в Полном собрании сочинений, т. XIII, стр. 304—306. Автограф — в ПД.

Датировано по содержанию письма.

Письмо относится ко времени поездки Успенского на юг в феврале — марте 1883 года.

...смертью Левитова... — Левитов умер в большой нужде от чахотки.

85

Впервые опубликовано в Полном собрании сочинений, т. XIII, стр. 307—308. Автограф — в ПД.

Датировано по связи с предыдущим письмом.

86

Впервые опубликовано в Полном собрании сочинений, т. XIII, стр. 308—309. Автограф — в ПД.

Датировано по содержанию письма.

87

Впервые опубликовано (частично) в «Русской мысли», 1902, IX, стр. 57—58. Автограф — в ЛБ.

Год устанавливается по связи со след. письмом.

...забывать людей нельзя. — Речь идет о политических ссыльных в Сибири; поездку в Сибирь Успенский смог осуществить лишь в 1888 году.

88

Впервые опубликовано в сб. «Архив Гольцева», стр. 11—16. Автограф — в ЛБ.

Первый рассказ... — «Старики», см. письма 75, 77 и примеч. к ним.

...*2-ой статьи...* — «Равненье «под одно».

...*книгу «Власть земли»* — см. письмо 78 и примеч. к нему.

...*отдал статью в «Отечественные записки»...* — очевидно, очерки «Из разговоров с приятелями».

...*«Письма из Петербурга»...* — Замысел не был осуществлен.

...*писать... литературные обозрения...* — В газете «Русский курьер» были напечатаны только фельетоны «В ожидании лучшего (Очерки, заметки, наблюдения)».

89

Впервые опубликовано в Полном собрании сочинений, т. XIII, стр. 325—326. Автограф — в ЛБ.

Датировано по связи с письмом Успенского к Гольцеву от 7 июля 1883 года (Полн. собр. соч., т. XIII, стр. 324—325).

...*третий фельетон* — «В ожидании лучшего», этот фельетон был последним.

90

Впервые опубликовано в Полном собрании сочинений, т. XIII, стр. 327. Автограф — в ПД.

Датировано на основании данных о переговорах с Павленковым по поводу издания сочинений Успенского; посредником в переговорах выступил В. М. Гаршин, который 10 июля 1883 года сообщал Успенскому об успешном завершении дела (см. В. М. Гаршин. Полн. собр. соч., т. III, М. — Л., 1934, стр. 298).

91

Впервые опубликовано (частично) в «Русской мысли», 1902, IX, стр. 58. Автограф — в ЛБ.

Датировано согласно помете адресата.

Книги — экземпляры первого тома Собрания сочинений в издании Ф. Павленкова.

Оболенский обругал меня... — Имеется в виду его статья «До чего договорился Г. Успенский» в «Русском богатстве», 1883, VII, по поводу очерков Успенского «Из путевых заметок».

1884

92

Впервые опубликовано в «Голосе минувшего», 1915, I, стр. 215—216. Черновик письма, написанный рукою А. И. Эртеля, в ПД.

Письмо не было отправлено.

В статье г. Буренина... — Имеется в виду статья «Беллетрист шестидесятых годов», печатавшаяся в «Новом времени» с 17 февраля по 23 марта 1884 года.

93

Впервые опубликовано в ст. Н. К. Михайловского, стр. 41—42. Автограф неизвестен.

Датировано по связи с предыдущим письмом.

94

Впервые опубликовано в сб. «М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке», т. V, СПБ., 1913, стр. 239—240. Автограф — в ПД.

Успенский обратился с предложением о сотрудничестве в «Вестнике Европы» вскоре после закрытия «Отечественных записок» 20 апреля 1884 года.

...помещать свои работы в Вашем издании... — Несмотря на положительное отношение Стасюлевича к предложению, сотрудничество Успенского так и не наладилось.

...отзывы... о моих книгах... — Имеются в виду статьи в «Вестнике Европы»: Е. Утина — «Литература и народ» (1881, № 10). «Сочинения Гл. Успенского, т. I» (1882, № 1); К. К. Арсеньева — «Лесная правда и высшая справедливость» (1883, № 10), «О сочинениях Гл. Успенского» (1883, № 12); А. Н. Пыпина — «Народничество» (1884, №№ 1, 2).

95

Впервые опубликовано в сб. «Архив Гольцева», стр. 18—19. Автограф — в ЛБ.

Датируется на основании письма Гольцева от 7 мая 1884 года (см. сб АН, стр. 270—271), который от имени редакции «Русской мысли» предложил Успенскому постоянное сотрудничество в журнале; этим самым было покончено со старыми «недоразумениями и неприятностями», о которых идет речь в настоящем письме.

...рукопись... Аптекман... — была опубликована в «Русской мысли», 1884, № 12, за подписью «Д. И—ва».

...моих 3 тома книг — первые три тома Собрания сочинений Успенского в издании Ф. Павленкова.

96

Впервые опубликовано в Полном собрании сочинений, т. XIII, стр. 362—363. Автограф — в ПД.

Датировано по связи с письмом к Е. П. Летковой от 16 июня 1884 года (опубликовано там же, стр. 368).

...не даст ли он... места... — По свидетельству Е. П. Летковой, Успенский намеревался заняться служебной деятельностью на постройке Екатеринбургской железной дороги, где работал упоминаемый Пыжов, муж сестры Летковой (см. «Звенья», V, М.—Л., 1935, стр. 723—724); намерение не было осуществлено.

...рукопись о Трудолюбии и Тунеядстве — изложение труда крестьянина-сектанта Т М. Бондарева «Торжество земледельца, или трудолюбие и тунеядство»; использована в очерке Успенского «Трудами рук своих», впоследствии через А. И. Иванчина-Писарева Успенский получил оригинал рукописи (хранится в ПД).

97

Впервые опубликовано в сб. ЛЛМ, стр. 47—48. Автограф — в ЦГЛА

Датировано по связи с письмом к А. В. Успенской от 10—15 июня 1884 года (Полн. собр. соч., т. XIII, стр. 365—366).

В Нижнем-Новгороде Успенский находился в связи с предпринятой поездкой в Сибирь по маршруту Пермь—Тюмень—Томск — Бийск — Семипалатинск; поездка, однако, не была доведена до конца: Успенский вернулся из Екатеринбурга.

...половину 5-го тома... — Том V Собрания сочинений в издании Ф. Павленкова вышел в свет в 1884 году.

...съездить на побоище... — Имеется в виду еврейский погром в Нижнем-Новгороде 7 июня 1884 года.

98

Впервые опубликовано в Полном собрании сочинений, т. XIII, стр. 369. Автограф — в ПД.

Написано на пути в Пермь.

...вроде Решетникова. — Имеются в виду персонажи повести Решетникова «Подлиповцы».

99

Впервые опубликовано в Полном собрании сочинений, т. XIII, стр. 370—380. Автограф — в ПД.

Большая часть письма посвящена личным отношениям Е. П. Летковой (вышедшей замуж за Н. В. Султанова) и Н. К. Михайловского («дядя»). Письмо было отправлено вместе с письмом от 10 июля 1884 года.

...зайду к инженеру... — Имеется в виду Пыжов, см. письмо 96 и примеч. к нему.

...вновь делают семью. — С. Н. Кривенко порвал с своей первой женой и женился на С. Е. Усовой, участнице народнического движения.

Как будто в бурях есть покой! — Из стихотворения Лермонтова «Парус».

100

Впервые опубликовано (с сокращениями) в ст. Н. К. Михайловского, стр. 37—38. Автограф — в ПД.

...уехать в Сибирь... — Эту поездку Успенский осуществил только в 1888 году.

101

Впервые опубликовано (частично) в сб. «Русские ведомости», стр. 217. Автограф — в ПД.

Датируется по содержанию письма.

...уничтожили два издания... — Имеются в виду книги А. С. Пругавина «Отщепенцы. Староверы и нововеры. Очерки из области современных религиозно-бытовых движений русского народа», СПБ., 1884, и Я. В. Абрамова «В поисках за правдой. Сборник рассказов», изд. 2-е, СПБ., 1884.

...в Бийский округ... — О намерениях поехать в Сибирь см. примеч. к письму 100.

102

Впервые опубликовано в сб. «Стасюлевич и его современники в их переписке», т. V, СПБ., 1913, стр. 243—244. Автограф — в ПД.

В письме к Стасюлевичу от 11 сентября 1884 года (Полн. собр. соч., т. XIII, стр. 384—387) Успенский обещал представить «отдельную работу» к 15 октября.

...арестуют Кривенко... Эртеля... — С. Н. Кривенко был арестован в январе 1884 года в связи с разгромом «Народной воли» и затем сослан в Сибирь; А. И. Эртель подвергался аресту в том же году за связь с революционными организациями.

103

Впервые опубликовано в сб. АН, стр. 167. Автограф — в Фундаментальной библиотеке общественных наук Академии наук СССР.

Датировано по ответному письму В. Н. Семевского от 20 ноября 1884 года. Возобновление журнала «Дела» под редакцией Семевского не осуществилось.

104

Впервые опубликовано (частично) в «Русской мысли», 1913, IX, стр. 39—40. Автограф — в ЦГЛА.

Написано в ответ на письмо Ломовской по поводу ареста Г. А. Лопатина 5 октября 1884 года.

Датируется на основании ответного письма от 16 декабря 1884 года (см. сб. ЛЛМ, стр. 122—123).

105

Впервые опубликовано в сб «Русские ведомости», стр. 217—218. Автограф — в ПД.

Датируется на основании данных о публикации статьи Лудмера.

Статья Лудмера «Бабьи стоны» напечатана в «Юридическом вестнике», 1884, XI и XII. Отклики на темы статьи Лудмера содержатся в очерках Успенского «Скучающая публика» и «Несбыточные мечтания».

106

Впервые опубликовано в сб. «Стасюлевич и его современники», V, стр. 244—245. Автограф — в ПД.

Очерк «Венера Милосская» — в «Вестнике Европы» не появился; очерк на эту тему был опубликован в «Русской мысли» (1885, V) под заглавием «Выпрямила».

1885

107

Впервые опубликовано в сб. АН, стр. 167. Автограф — в ПД. Датировано по содержанию письма.

Я дал ему сказки... — Имеется в виду рассказ «Про счастливых людей», появившийся в январском номере «Книжек «Недели» за 1885 год.

В примечании к 1-ой статье... — Очерки «Несбыточные мечтания» начали печататься в «Русских ведомостях» с 21 апреля 1885 года; примечание в печати не появилось.

108

Впервые опубликовано в сб. ЛЛМ, стр. 125. Автограф — в ЦГЛА.

Последняя статья Льва Толстого... — «Как нам быть?» Успенский с ней познакомился в корректуре; статья была запрещена цензурой и в «Русской мысли» не появилась; естественно, что не могло осуществиться и намерение Успенского выступить по поводу этой статьи.

...еду за границу? — Успенский смог побывать за границей в 1886 году (в Константинополе) и в 1887 году (в Болгарии).

...по выходе 2 № «Русской мысли»... — В этом номере продолжалось печатание очерков Успенского «Через пень-колоду».

Я писал Вам о Серовой... — Имеется в виду письмо от начала января 1885 года, в котором Успенский выражал неудовольствие неумеренными в политическом отношении разговорами В. С. Серовой (Полн. собр. соч., т. XIII, стр. 416).

109

Впервые опубликовано в «Русской старине», 1908, XI, стр. 40. Автограф неизвестен.

Написано в ответ на письмо Л. X. Симоновой от 6 февраля 1885 года (хранится в ПД), благодарившей Успенского за обещание прочесть ее роман «Убила». Отзывом на этот роман («повесть») и является письмо Успенского.

...описать... воспитательный дом в Петербурге? — Разработкой этой темы явился рассказ самого Успенского «Квитанция» в цикле «Живые цифры» (1888).

110

Впервые опубликовано в книге X. Д. Алчевской «Передуманное и пережитое», М., 1912, стр. 118—122. Автограф неизвестен.

Является ответом на письмо Алчевской от 19 февраля 1885 года (см. сб. АН, стр. 292—293), в котором она приводила страницы из дневника воскресной школы в Харькове.

..Вашей превосходной книги... — Имеется в виду книга «Что читать народу? Критический указатель книг для народного и детского чтения», т. I, СПБ., 1884; высокая оценка этой книги дана также в очерках Успенского «Скучающая публика» (1884).

111

Впервые опубликовано (частично) в «Русской мысли», 1911, VII, стр. 10—12. Автограф — в ПД.

Письмо посвящено разъяснению тяжелых материальных обстоятельств, в которых находился длительное время Успенский и которые ставили его в сложные отношения с рядом людей из

литературного и нелитературного окружения. См. также вариант этого письма в Полном собрании сочинений, т. XIII, стр. 439—442.

Расплюев — персонаж пьес А. В. Сухово-Кобылина «Свадьба Кречинского» и «Смерть Тарелкина».

...четверо... печатались в «Современнике». — Имеются в виду сам Г. И. Успенский, Н. В. Успенский, Д. Г. Соколов и Г. Ф. Соколов.

112

Впервые опубликовано в Полном собрании сочинений, т. XIII, стр. 442. Автограф — в ПД.

Датировано по связи с письмом 111.

113

Впервые опубликовано в сб. АН, стр. 169. Автограф — в ПД.

Является ответом на письмо Лескова от 3 марта 1885 года (см. «Голос минувшего», 1915, 1, стр. 217).

...издания Солдатенкова... — «Сочинения Ф. М. Решетникова», тт. I и II, СПБ., 1874.

...из драмы «Раскольник». — Эта пьеса была подготовлена к печати Успенским в 1873 году, но не пропущена цензурой; впервые опубликована в «Невском альманахе», вып. 2, П., 1917.

...рукопись. — О какой рукописи идет речь, не установлено

114

Впервые опубликовано в Полном собрании сочинений, т. XIII, стр. 445—446. Автограф — в ЦГЛА.

Датируется по календарю и на основании ответного письма Н. Н. Бахметьева от 2 апреля 1885 года.

...писать повесть... — Замысел остался неосуществленным.

...отдел «Русская жизнь». — Предложение было принято, и с августа 1885 года в «Русской мысли» начали печататься «Очерки русской жизни (Наблюдения и компиляции)».

115

Впервые опубликовано в «Былом», 1907, X, стр. 47—48. Автограф неизвестен.

Датировано на основании ответного письма А. И. Иванчина-Писарева от 25 апреля 1885 года (см. сб. АН, стр. 283—286).

...вы (все)... — Имеются в виду ссыльные революционеры.

Рукопись молоканина... — Имеется в виду сочинение Т. М. Бондарева «Торжество земледельца, или трудолюбие и тунеядство» (см. письмо 96 и примеч. к нему).

В сочинении Л. Толстого — в статье «Как нам быть?»

116

Впервые опубликовано (частично) в ст. Н. К. Михайловского, стр. 35—36. Автограф — в ПД.

Год устанавливается по времени поездки Успенского на юг.

...4-й фельетон... — четвертый очерк из цикла «Несбыточные мечтания», печатавшийся в «Русских ведомостях».

...этюд «Саранча»... — Под таким заглавием произведений Успенского не появлялось.

117

Впервые опубликовано в Полном собрании сочинений, т. XIV, стр. 546—547. Автограф — в ПД.

Год устанавливается по некрологу о Е. Я. Колбасине в «Одесском вестнике» (1885, № 218, 3 октября).

118

Впервые напечатано в сб. ЛЛМ, стр. 51—52. Автограф — в ЦГЛА.

Успенским ошибочно датировано июлем (на автографе есть помета А. В. Успенской: «Ждали Борю». Б. Г. Успенский родился 10 июля 1885 года).

119

Впервые опубликовано (частично) в сб. «Русские ведомости», стр. 219. Автограф — в ПД.

Датируется по данным о публикации первого очерка «Безвременья» («Русские ведомости», 1885, № 233, 25 августа) и по времени возвращения писателя из поездки на юг.

Шурыч — старший сын, А. Г. Успенский.

Прежние четыре статейки — очерки «Несбыточные мечтания».

«Минует ночи мрак упрямый!» — неточная цитата из стих. Некрасова «Колыбельная песня» (у Некрасова: «Уступит свету мрак упрямый»).

120

Впервые опубликовано в сб. «Архив Гольцева», стр. 20—25. Автограф — в ЛБ.

Датировано на основании письма Гольцева от 15 сентября 1885 года (см. сб. АН, стр. 171).

Письмо посвящено обоснованию расчетов Успенского о количестве заключенных, о которых говорилось в одном из «Очерков русской жизни» («Якобы дела»); выкладка с этими расчетами была изъята из очерка редакцией «Русской мысли».

Женщина-врач — Д. И. Аптекман.

121

Впервые опубликовано в сб. «Архив Гольцева», стр. 25—26. Автограф — в ЛБ.

Из статьи Хрулева... — «Суды и судебные порядки. Очерк второй. Суды и судебные палаты как обвинительные камеры» («Юридический вестник», 1885, т. XVIII, кн. 3).

1886

122

Впервые опубликовано в «Приазовском крае», 1902, № 102. Автограф — в ПД.

О какой *рукописи* идет речь в письме, не установлено.

123

Впервые опубликовано в «Голосе минувшего», 1915, X, стр. 210—212 (с ошибочной датой). Автограф — в ПД.

Датируется 1886 годом по упоминанию разногласий с Михайловским (см. письмо к Е. П. Летковой от 31 марта 1886 года

в Полн. собр. соч., т. XIII, стр. 497—498) и по названию «На разные темы» (под этим заглавием очерки не появились), имеющим общее с очерками «Кой про что», начавшими публиковаться в «Северном вестнике» с марта 1886 года.

124

Впервые опубликовано в сб. «Архив Гольцева», стр. 27—28. Автограф — в ЛБ.

Является ответом на письмо Гольцева от 4 марта 1886 года (см. сб. АН, стр. 274).

...к Бахметьеву... писал... — Письмо не сохранилось.

...в августе я выбросил целый рассказ... — В августе 1885 года в «Русской мысли» печатались «Очерки русской жизни»; о каком-то отрывке из них, видимо, и идет здесь речь.

...припиской о Слонимской — речь идет о несохранившемся письме к Гольцеву.

125

Впервые опубликовано (частично) в сб. «Русские ведомости», стр. 221. Автограф — в ПД.

Датируется по связи со следующим письмом.

126

Впервые опубликовано (частично) в сб. «Русские ведомости», стр. 221—222. Автограф — в ПД.

127

Впервые опубликовано в ст. Н. К. Михайловского, стр. 32—33. Автограф — в ПД.

128

Впервые опубликовано (частично) в сб. «Русские ведомости», стр. 224—225. Автограф — в ПД.

Датировано по содержанию письма.

Седьмое письмо — «Письма с дороги», печатавшиеся в «Русских ведомостях».

Теперь я еду в Болгарию... — Поехать в Болгарию в 1886 году Успенскому не удалось.

...шарлатана казака... — Имеется в виду Н. И. Ашинов.

129

Впервые опубликовано (частично) в сб. «Русские ведомости», стр. 225—226. Автограф — в ПД.

Датировано по связи с предыдущим письмом.

...Николая Ивановича... — то есть Ашинова; об Ашинове Успенский писал в очерках «Вольные казаки», «Ашинов и Буланже».

VIII письмо — из цикла «Письма с дороги», напечатано в «Русских ведомостях» 17 июня 1886 года.

130

Впервые опубликовано в сб. «Русские ведомости», стр. 226—227. Автограф — в ПД.

Месяц и год устанавливается по данным о пребывании Успенского в Константинополе.

...речь князя болгарского. — Имеется в виду князь Баттенберг.

131

Впервые опубликовано в сб. «Русские ведомости», стр. 227. Автограф — в ПД.

Датировано по связи с предыдущим письмом.

Из Константинополя будет... — Речь идет о наметках «Писем с дороги».

132

Впервые опубликовано в Полном собрании сочинений, т. XIII, стр. 525—526. Автограф — в ЛБ.

...по моему делу. — Речь идет о домашнем предварительном соглашении с И. М. Сибиряковым на продажу сочинений Успенского. Оно было заключено 2 августа 1886 года (см. следующее письмо).

133

Впервые опубликовано в Полном собрании сочинений, т. XIII, стр. 526—527. Автограф — в ЛБ.

Формальный договор у нотариуса был заключен 13 ноября 1886 года.

134

Впервые опубликовано в Полном собрании сочинений, т. XIII, стр. 530. Автограф — в ПД.

Датируется по связи с другим письмом к Михайловскому (см. там же, стр. 531). О деле, по которому ездил Успенский в Рязань, Михайловский сообщает: «Глеб Иванович ездил за тысячу верст для улаживания недоразумений, возникших в семье одного ныне уже умершего, горячо любимого им приятеля».

1887

135

Впервые опубликовано (частично) в сб. «Русские ведомости», стр. 231. Автограф — в ПД.

Датируется на основании письма Соболевского от 1—2 января 1887 года (см. сб. АН, стр. 239).

...нехорошо мое писание — ответ на похвальный отзыв в письме Соболевского об очерке «Человек, природа и бумага» из цикла «Мы» на словах, в мечтаниях и на деле».

...статью Евреиновой... — очевидно, очерк «Два строя жизни — монолог Пигасова» (из цикла «Кой про что»), напечатанный в январском номере «Северного вестника».

136

Впервые опубликовано в Полном собрании сочинений., т. XIV, стр. 11. Автограф — в ЛБ.

Получил Вашу книгу... — В. Г. Короленко. Очерки и рассказы, кн. I, изд. «Русской мысли», М., 1886, с дарственной надписью: «Дорогому Глебу Ивановичу Успенскому от автора. Твоя от твоих тебе приносяще».

137

Впервые опубликовано (частично) в сб. «Русские ведомости», стр. 228. Автограф — в ПД.

Год устанавливается по данным о публикации очерков, упоминаемых в тексте.

...4-й фельетон — и вслед за ними 5-ый. — Имеются ввиду очередные очерки цикла «Мы» на словах, в мечтаниях и на деле», печатавшегося в «Русских ведомостях».

Сверток — материалы для предполагавшегося т. IX Собрания сочинений Успенского в издании Ф. Павленкова. Однако вместо продолжения этого издания в 1889 году вышло 2-е издание Сочинений в двух больших томах; в это издание вошли и произведения, намечавшиеся для тт. IX и X по первоначальному плану.

138

Впервые опубликовано в Полном собрании сочинений, т. XIV, стр. 18—19. Автограф — в ПД.

...небольшой рассказ. — В «Русской мысли» ближайшим произведением явилась статья «Трудовая жизнь» и «труженичество», напечатанная в сентябре.

...один мой знакомый... — очевидно, Г. А. Мачтет.

139

Впервые опубликовано в «Русской мысли», 1913, IX, стр. 40—42. Автограф — в ПД.

Письмо не закончено.

Датировано по данным о поездке Успенского в Болгарию.

Нельзя мне доехать! — Поездка Успенского происходила в очень напряженной политической обстановке. Политика царского правительства в Болгарии привела к ряду осложнений. Поддержав сначала антиконституционные мероприятия принца Баттенберга, царское правительство, убедившись в проанглийских и проавстрийских симпатиях принца, пошло на организацию заговора в союзе с болгарской либеральной партией (сторонниками Цанкова). 20—21 августа произошел переворот, но цанковисты не долго удержались у власти. Пришедший затем к власти Стефан Стамбулов проводил политику, враждебную России. Попытки цар-

ского правительства путем грубого политического нажима, интриг и т. п. вернуть влияние в Болгарии вызывали возмущение болгарской демократической общественности, которая вместе с тем отнюдь не отождествляла линию царского правительства с отношением к Болгарии русского народа, оказавшего братскую помощь болгарскому народу во время русско-турецкой войны 1877—1878 годов. Прогрессивные круги Болгарии с сочувствием относились к приезду Успенского в их страну и возлагали на него, как представителя передовой демократической мысли России, определенные надежды по разоблачению интриг царского правительства и прессы Каткова. Но Успенский в подцензурной русской печати не мог выступить открыто с критикой реакционной царской политики, произведения на эту тему, как это видно из переписки Успенского, встречали непреодолимые цензурные затруднения и появлялись в неполном виде. Материалы болгарской поездки нашли отражение в очерках «Под впечатлением поездки по Дунаю» (в цикле «Мы» на словах, в мечтаниях и на деле»), печатавшихся в «Русских ведомостях» в июле — августе 1887 года.

Тихомиров и его книга... — Имеется в виду книга бывшего народовольца Л. А. Тихомирова «La Russie politique et sociale», Paris («Политическая и общественная Россия», Париж), 1887.

140

Впервые опубликовано в ст. Н. К. Михайловского, стр. 36. Автограф неизвестен.

Написано, как указывает Михайловский, «после поездки в Болгарию».

141

Впервые опубликовано в сб. «Архив Гольцева», стр. 29—31. Автограф — в ЛБ.

Является ответом на письмо Гольцева от 12 июня 1887 года (см. сб. АН, стр. 274—275).

...небольшой статейки... — «Трудовая жизнь» и «труженичество». В ней говорится о книге И. Тимощенкова «Борьба с земельным хищничеством. Бытовые очерки» (СПБ., 1887) и о «Записках» Н. И. Пирогова, печатавшихся в «Русской старине» за 1886 год и затем вошедших в отдельное издание его сочинений в 2-х томах (СПБ., 1887).

...скопинский банк... — Имеется в виду крах банка в г. Скопине, вызванный хищениями директора И. Г. Рыкова и членов

правления; судебный процесс скопинского банка происходил в ноябре 1884 года и вызвал многочисленные отклики в печати.

...башкирские земли... — Речь идет об ограблении башкир представителями господствующих классов России под покровительством царского правительства; яркая характеристика этой колонизаторской политики дана в очерке Успенского «Башкир пропадает» (цикл «Поездки к переселенцам»).

142

Впервые опубликовано (частично) в сб. «Русские ведомости», стр. 228—229. Автограф — в ЦГЛА.

Написано в ответ на письмо Посникова от 20 июня 1887 года (не опубликовано, хранится в ПД).

Что же мне делать с Болгарией? — Посников сообщал о необходимости произвести изменения в очерке, посвященном болгарской поездке. См. также письмо 139 и примеч. к нему.

...я кой-что зачеркнул... — в печатном тексте зачеркнутое было восстановлено.

...имена Ашинова и Магнуса... — см. примеч. к письму 129.

143

Впервые опубликовано в сб. «Русские ведомости», стр. 229. Автограф — в ЦГЛА.

Датировано по календарю («пятница») и данных о печатании главы очерка («Под впечатлением поездки по Дунаю»), о которой идет речь в письме.

...в уста солдата... — Имеется в виду И. С. Селиверстов, персонаж вышеназванного очерка.

144

Впервые опубликовано в сб. ЛЛМ, стр. 66. Автограф — в ЦГЛА.

Датировано по связи с предыдущим письмом.

145

Впервые опубликовано (частично) в сб. «Русские ведомости», стр. 229—230. Автограф — в ЦГЛА.

Написано, очевидно, после получения «Русских ведомостей» от 12 июля, где говорилось о намерении отметить 25-летие литературной деятельности Успенского.

...*окончание фельетона* — то есть очерка «Под впечатлением поездки по Дунаю

146

Впервые опубликовано в сб. «Русские ведомости», стр. 228. Автограф — в ЦГЛА.

Датировано по данным о публикации очерков «Мы» на словах, в мечтаниях и на деле».

В болгарской газете «Свобода» (1887, № 67, 24 июня) пересказывался и комментировался первый очерк «Под впечатлением поездки по Дунаю» (из цикла «Мы...»).

147

Впервые опубликовано в Полном собрании сочинений, т. XIV, стр. 37—38. Автограф — в ЛБ.

Год устанавливается по данным об упоминаемых в письме произведениях.

...*окончание моей статьи...* — «Трудовая жизнь» и «труженичество».

...*четыре рассказа...* — Под заглавием «Вольные казаки» был написан один рассказ, напечатан в октябрьском номере «Русской мысли» за 1887 год.

148

Впервые опубликовано (частично) в сб. «Русские ведомости», стр. 230. Автограф — в ЦГЛА.

Датировано по связи со следующим письмом.

...*адрес Петровской академии..* — см. в сб. АН, стр. 371—372.

Телеграммы и адресы были присланы Успенскому к его именинам и в связи с предстоявшим юбилеем по случаю 25-летия литературной деятельности (см. в настоящем томе «Письмо в Общество любителей российской словесности» и примеч. к нему).

Вечер у Морозовой, по свидетельству Розенберга, со-

стоялся весной 1887 года, до поездки в Болгарию (сб. «Русские ведомости», стр. 229).

149

Впервые опубликовано в «Русских ведомостях», 1887, № 207, 30 июля. Автограф неизвестен.

150

Впервые опубликовано в сб. ЛЛМ, стр. 131—133. Автограф — в ЦГЛА.

Датировано по данным о публикации очерка, о котором идет речь в письме

В очередной главе очерка «Под впечатлением поездки по Дунаю» («Русские ведомости», 1887, № 161, 14 июня) Успенский изобразил землевладельца Панкеева, бравшего втридорога за ярмарочные помещения: Панкеев обратился в газету с опровержением, что̀ и вызвало данное письмо Успенского. Однако ни это письмо, ни опровержение Панкеева в печати не появились, так как для редакции газеты была очевидна правота Успенского.

«Итоги каховской ярмарки». — Вырезка этой статьи (без подписи) прилагалась к письму Успенского.

Тряпичкины — это наименование, заимствованное из фельетона Салтыкова-Щедрина «Тряпичкины-очевидцы», Панкеев употребил по адресу Успенского.

151

Впервые опубликовано (частично) в сб. «Русские ведомости» Автограф — в ЦГЛА.

Написано перед поездкой на Волгу и юг в августе 1887 года.

...контракте с Сибиряковым... — см. письма 132 и 133.

.все №№ «Русских ведомостей» с моими статьями — см. письмо 137 и примеч. к нему.

.рассказ для «Северного вестника» — «Недосуг!». (Рассказ деревенского обывателя)».

152

Впервые опубликовано в Полном собрании сочинений, т. XIV, стр. 51. Автограф — в ПД.

Датируется по упоминанию очерка «Трудовая жизнь» и «труженичество» («Русская мысль», 1887, IX).

153

Впервые опубликовано (частично) в сб. «Русские ведомости», стр. 232. Автограф — в ПД.

Датировано по данным о публикации очерков «Мелкие агенты крупных предприятий» и «Рабочие руки» (из цикла «Мы...»), а также письма Соболевского от 15—20 сентября 1887 года (ПД).

«Пока что» — очерк, не пропущенный цензурой в «Русских ведомостях»; Успенский неоднократно просил выслать очерк для переделки, но так его и не получил; на материале этого произведения по памяти Успенский написал очерк «Из путевых заметок», напечатанный в «Северном вестнике», 1887, XI. В первоначальной редакции очерк, найденный в архиве Соболевского, был опубликован лишь в советское время (см. сб. АН, стр. 12—27).

...ряд очерков «Власть капитала». — Частичным осуществлением этого замысла явились очерки «Живые цифры».

Два фельетона... — упомянутые выше очерки из цикла «Мы..

154

Впервые опубликовано в сб. ЛЛМ, стр. 70—71. Автограф — в ЦГЛА.

Датировано на основании телеграммы Посникова и Пагануцци и упоминания об очерке «Пока что», переделанного для «Северного вестника».

Вопию... — Речь идет об очерке «Пока что» (см. примеч. к письму 153).

«Вольные казаки» — см. письмо 147 и примеч. к нему.

155

Впервые опубликовано в Полном собрании сочинений, т. XIV, стр. 59—60. Автограф — в ПД.

Черновик неоконченного письма.

Является ответом на многочисленные приветствия широкой литературной общественности в связи с 25-летием литературной деятельности Успенского, отмечавшемся в ноябре 1887 года.

156

Впервые опубликовано в сб. «Архив Гольцева», стр. 33—34. Автограф — в ЛБ.

Датировано на основании ответного письма Гольцева от 8 декабря 1887 года (см. сб. АН, стр. 275—276).

...последние дни... — Имеется в виду празднование 25-летия литературной деятельности.

...Ваши письма. — В письме от 16 ноября 1887 года Гольцев сообщал об избрании Успенского почетным членом Общества любителей российской словесности.

...мою работу... — очерк «Непривычное положение».

...телеграммы из Одессы, Твери — приветствия по случаю юбилея.

157

Впервые опубликовано в сб. ЛЛМ, стр. 72—73.

Датировано по содержанию и данным переписки с Посниковым.

...нового ряда фельетонов. — Новый цикл очерков «Перед нашими глазами» не был пропущен цензурой. После тщетных попыток напечатать первые два очерка Посников писал Успенскому: «С превеликой скорбью возвращаю, по Вашему желанию, оба прилагаемые фельетона, один из которых в том неоконченном виде, в коем он мог появиться на столбцах «Русских ведомостей». Изуродовав его в этой ужасной степени, я, однако, не мог пустить его — совестно» (Полн. собр. соч., т. XIV, стр. 612). Один из «фельетонов» в переработанном виде был напечатан под заглавием «Громы небесные» в «Книжках «Недели» (1888, 1); второй — очевидно, рукопись «Брошенные дети» — использован в «Дополнении к рассказу «Квитанция» (в цикле «Живые цифры»).

158

Впервые опубликовано в сб. ЛЛМ, стр. 73. Автограф — в ЦГЛА.

Датировано по данным о пребывании Успенского в Москве.

«Труд, или Аппетит» — произведение под таким заглавием в печати не появилось.

Заметку — очевидно, «Брошенные дети», см. примеч. к письму 157.

...о книге г. Михайлова... — «Общая характеристика деятельности наших воспитательных домов», М., 1887.

159

Впервые опубликовано в сб. «Звенья», V, стр. 704—705. Автограф — в ПД.

Год устанавливается по связи со следующим письмом и по содержанию.

...читаю... бог знает что. — Имеется в виду статья Гольцева «Литература и жизнь (Критические заметки)», в которой содержалась полемика с Михайловским. Как сообщает Леткова, по настоянию Михайловского и в результате обмена письмами с Гольцевым Успенский отказался от решения уйти из «Русской мысли».

160

Впервые опубликовано в сб. «Архив Гольцева», стр. 38—42. Автограф — в ЛБ.

...Вашей статьи... — см. примеч. к письму 159.

...я искал денег... — Кроме Е. П. Летковой, Успенский обращался к Л. Ф. Пантелееву (см. письма к нему в Полн. собр. соч., т. XIV, стр. 67—68, 70).

1888

161

Впервые опубликовано в Полном собрании сочинений, т. XIV, стр. 83. Автограф — в ПД.

Датировано по упоминанию о приезде Гольцева (см. Полн. собр. соч., т. XIV, стр. 82).

...роман графини Лиды? — Переписка С. Я. Надсона и графини Лиды, опубликованная в «Книжках «Недели». 1887, XI; этот «роман» использован Успенским в «Живых цифрах» («Четверть лошади» и «Ноль-целых!»).

...«Фабрику раменскую»... — Очевидно, статья И. П. Сидорова «Раменская фабрика» («Юридический вестник», 1886, I—III); она была нужна также для «Живых цифр» («Дополнение к рассказу «Квитанция»).

162

Впервые опубликовано в Полном собрании сочинений, т. XIV, стр. 84—85. Автограф — в ЛБ.

Написано в ответ на письмо Короленко от конца 1887 — начала 1888 года, в котором говорилось о необходимости прислать доверенность на вещи («хоботье»), оставленные Успенским на вокзале в Нижнем-Новгороде в августе 1887 года.

...мои... взгляды на «русскую идею» — Речь идет об очерке «Под впечатлением поездки по Дунаю», впервые напечатанном в «Русских ведомостях», 1887, № 219 от 11 августа; высказанные здесь Успенским взгляды на отношение России к славянским народам вызвали возражения А. И. Богдановича, приславшего Успенскому письмо за подписью «Узембло»; упоминаемое *внушительное письмо* не сохранилось, второе письмо Богдановича в ответ на неизвестное письмо Успенского опубликовано в «Голосе минувшего», 1915, VII—VIII.

Николай Федорович — Н. Ф. Анненский.

163

Впервые опубликовано в сб. «Архив Гольцева», стр. 37. Автограф — в ЛБ.

Датировано по «Письму в Общество любителей российской словесности».

164

Впервые опубликовано в сб. АН, стр. 183. Автограф — в ПД.

Просьба Успенского была удовлетворена.

Датировано по данным архива Литературного фонда (ПД).

165

Впервые опубликовано в Полном собрании сочинений, т. XIV, стр. 89—90. Автограф — в ПД.

...половину статейки... — видимо, «Не все коту масленица», посвященной брошюре П. К. Энгельмейера «Экономическое значение современной техники» (М., 1887).

...деньги за 11-й том... — Намечавшиеся для этого тома произведения вошли в 2-томное издание 1889 года (см. письмо 137 и примеч. к нему).

...статью для № 3 «Северного вестника»... — Имеется в виду очерк «Ноль — целых!» в цикле «Живые цифры».

...брошюра Вулковича? — О какой брошюре Вулковича идет речь, установить не удалось.

166

Впервые опубликовано в «Голосе минувшего», 1915, X, стр. 206—207. Автограф неизвестен.

Написано в ответ на поздравительное письмо Генкеля от 25 ноября 1887 года (см. сб. АН, стр. 303—304).

...огромное письмо... — оно не сохранилось.

...томы 5, 6, 7 и 8... — Имеется в виду первое издание Сочинений Успенского в восьми томах (1883—1886).

...как Золя. — Очевидно, речь идет о романе Золя «Земля».

...издал в Париже книгу... — Книга под указанным заглавием вышла в 1887 году.

167

Впервые опубликовано в сб. «Архив Гольцева», стр. 42—43. Автограф — в ЛБ.

Датируется по связи с письмом Гольцева от 15 февраля 1888 года (см. сб. АН, стр. 277).

...перепечатан «Слепой музыкант» Короленко... — Имеется в виду публикация переработанной повести в «Русской мысли», 1886, VII.

...написаны мной вновь... — Предложение Успенского было принято: переработанные «Письма с дороги» печатались в «Русской мысли», 1888, IV, V, VII, VIII, IX.

...я хочу ехать... — Поездка на Волгу и в Сибирь была осуществлена летом 1888 года.

168

Впервые опубликовано (частично) в сб. «Архив Гольцева», стр. 36. Автограф — в ЛБ.

Датировано на основании письма Гольцева от 15 февраля 1888 года (см. сб. АН, стр. 277) и следующего письма Успенского.

...сведения о... адресах... — список приветствий по случаю 25-летия литературной деятельности Успенского.

...мое дешевое издание... — Речь идет о подготовлявшемся новом издании сочинений Успенского (см. письмо 137 и примеч. к нему).

...за переработкой писем... — то есть «Писем с дороги».

169

Впервые опубликовано в книге Х. Д. Алчевской «Передуманное и пережитое», стр. 124—126. Автограф неизвестен.

Написано в ответ на письмо Алчевской от 6 февраля 1888 года.

...написал туда большой ответ... — Имеется в виду «Письмо в Общество любителей российской словесности».

...напечатаю... брошюру... — Намерение не было осуществлено.

170

Впервые опубликовано в Полном собрании сочинений, т. XIV, стр. 154—155. Автограф — в ЛБ.

Датировано по связи с письмами к В. М. Лаврову и В. М. Гольцеву (см. там же, стр. 102—103).

«Веселые минуты» — первый очерк переработанного цикла «Письма с дороги» (см. письмо 167 и примеч. к нему).

«Человек, природа и бумага» — очерк из цикла «Мы» на словах, в мечтаниях и на деле».

171

Впервые опубликовано в «Голосе минувшего», 1915, X, стр. 208—209. Автограф неизвестен.

Написано в ответ на письмо Генкеля от 24 февраля 1888 года (см. сб. АН, стр. 303—306).

денег... не возьму... — за книги, пересланные Успенским (см. письмо 166 и примеч. к нему).

...новое издание... — см. письмо 137 и примеч. к нему.

172

Впервые опубликовано в «Голосе минувшего на чужой стороне», Париж, 1926, № 1. Автограф неизвестен.

Конец последнего очерка — «Ноль — целых!».

...статьи о Сергиевском... — о книге Сергиевского «Наказание в русском праве».

173 и 174

Впервые опубликованы в Полном собрании сочинений, т. XIV, стр. 110—111. Автограф — в ПД.

Датированы по данным о пребывании Успенского в Москве в марте 1888 года.

...пойду... к Толстому... — Намерение посетить Л. Н. Толстого возникло, видимо, после письма П. И. Бирюкова от 14 января 1888 года, который сообщал о хвалебном отклике Толстого на рассказ «Паровой цыпленок» и приглашал познакомиться с Толстым (см. «Голос минувшего», 1915, VI, стр. 224—225).

175

Впервые опубликовано в «Голосе минувшего», 1915, X, стр. 213—214. Автограф — в ПД.

Датируется по упоминанию о работе над статьей «Смерть В. М. Гаршина».

Является ответом на письмо А. М. Евреиновой (без даты, хранится в ПД).

...исправление почти всех 10 томов... — Речь идет о новом издании сочинений Успенского.

...ответил... Абрамову... — см. это письмо в Полном собрании сочинений, т. XIV, стр. 112—113.

176

Впервые опубликовано в сб. «Архив Гольцева», стр. 47—48. Автограф — в ЛБ.

Датировано по упоминанию статьи о Гаршине, напечатанной в «Русских ведомостях» 12 апреля 1888 года.

...третьего отрывка. — Имеется в виду продолжение «Писем с дороги».

«Человек, доверившийся бумаге» — очерк «Мечтатель, доверившийся бумаге» («Русские ведомости», 1887, № 50, 21 февраля).

177

Впервые опубликовано в Полном собрании сочинений, т. XIV, стр. 115—117. Автограф — ЛБ.

Датировано по связи с письмом к Гольцеву от 9 апреля 1888 года (см. там же, стр. 117—118).

...*новый рассказ*... — «Взбрело в башку. (Из записок деревенского обывателя)», напечатан в июньской книжке «Русской мысли» за 1888 год.

...*новых очерков*...— Новый цикл получил заглавие «Грехи тяжкие»; один из очерков этого цикла имеет заглавие «Пришествие господина Купона».

178

Впервые опубликовано в сб. «Архив Гольцева», стр. 50. Автограф — в ЛБ.

...*конец* — окончание «Писем с дороги», печатание их растянулось до сентября.

179

Впервые опубликовано в Полном собрании сочинений, т. XIV, стр. 121. Автограф неизвестен, копия рукою адресата — в ПД.

В архиве Г. И. Успенского (ПД) хранятся примечания Рапопорта к его переписке с Успенским и рассказывается история их знакомства; см. также статью Н. В. Алексеевой «Г. И. Успенский, русская народная песня и ее собиратели» («Ученые записки ЛГУ», № 122, серия филологических наук, вып. 16, Л., 1949, стр. 184—223).

.*Вашу рукопись*... — Имеется в виду статья «Шахтерская жизнь», впоследствии опубликованная под заглавием «Очерк каменноугольной промышленности» («Русское богатство», 1892, №№ 1 и 2).

180

Впервые опубликовано в Полном собрании сочинений, т. XIV, стр. 122—123. Автограф — в ПД.

...*пишу Гайдебурову*. — Это письмо не сохранилось. Из упоминаемых очерков в «Книжках «Недели» в 1888 году в октябре напечатан очерк «Расцеловали! (Из забытых страниц)».

...*ехать... за границу*...— Намерение не осуществилось.

181

Впервые опубликовано в Полном собрании сочинений, т. XIV, стр. 123. Автограф — в ЛБ.

Датировано по связи с письмом к А. В. Абрамову от 4 мая 1888 года (опубликовано там же, стр. 124).

...корректурой... — рассказа «Взбрело в башку. (Из записок деревенского обывателя)».

Виктория Ивановна — В. И. Ребиндер.

182

Впервые опубликовано в сб. «Архив Гольцева», стр. 44—45. Автограф — в ЛБ.

Датировано по связи со следующим письмом (упоминание о приезде Лаврова в начале мая 1888 г.).

Рассказ... — «Взбрело в башку. (Из записок деревенского обывателя)».

183

Впервые опубликовано в сб. «Архив Гольцева», стр. 45—46. Автограф — в ЛБ.

Датировано по связи с письмом к В. М. Лаврову от 7 мая 1888 года (Полн. собр. соч., т. XIV, стр. 124—125).

184

Впервые опубликовано в сб. «Архив Гольцева», стр. 46—47. Автограф — в ЛБ.

Датируется по связи с предыдущими письмами и письмом Гольцева от 14 мая 1888 года (ПД).

...скрепя сердце? — Гольцев в упомянутом письме отвечал: «Пожалуйста, не беспокойтесь; мы очень рады «Письмам с дороги».

Майский рассказ — «Взбрело в башку», напечатан в июне.

...даны мною в «Неделю»... — см. примеч. к письму 180.

185

Впервые опубликовано в Полном собрании сочинений, т. XIV, стр. 129—130. Автограф — в ЛБ.

Датировано по связи с предыдущим письмом.

Ехать — имеется в виду поездка на Волгу и в Сибирь.

186

Впервые опубликовано в сб. «Русские ведомости», стр. 234. Автограф — в ПД.

...маленькой статейки... — «Не все коту масленица», см. примеч. к письму 165.

187

Впервые опубликовано в «Русской мысли», 1913, 13, стр 44—45. Автограф неизвестен.

Написано в ответ на письмо Ф. Д. Нефедова от 8 апреля 1888 года (не опубликовано, хранится в ПД).

188

Впервые опубликовано (частично) в статье Н. В. Алексеевой «Г. И. Успенский, русская народная песня и ее собиратели». Автограф неизвестен, копия рукою адресата — в ПД.

Датировано по почтовому штемпелю.

Является ответом на письмо Раппопорта от 2 мая 1888 года.

О шахтах... — статья «Шахтерская жизнь».

Очерки «В кабаке» и «За Урал»... — опубликованы позднее, первый под заглавием «Похмелье» («Русское богатство», 1892, III), второй — «На новые земли» («Труд», 1890, №№ 1 и 2).

189

Впервые опубликовано в «Голосе минувшего», 1915, VII—VIII, стр. 216—217. Автограф — в ПД.

Датировано согласно помете адресата.

Предложение объединить сборники, посвященные памяти В. М. Гаршина, не было принято, и они вышли раздельно: 1) «Памяти Гаршина», СПБ., 1889; в этом сборнике помещена статья Успенского «Смерть В. М. Гаршина», являвшаяся переработкой статьи из «Русских ведомостей»; 2) «Красный цветок. Литературный сборник в память В. М. Гаршина», СПБ., 1889; здесь статья Успенского из «Русских ведомостей» была перепечатана без изменений.

190

Впервые опубликовано в Полном собрании сочинений, т. XIV, стр. 137. Автограф — в ПД.

Год устанавливается по данным о поездке Успенского в Сибирь.

Петр Михайлович — видимо, П. М. Бойцов.

Я написал председателю... — Письмо не сохранилось.

191

Впервые опубликовано в сб. «Русские ведомости», стр. 238—239. Автограф — в ПД.

Первое письмо — «Письма с дороги, I. По проселочной дороге»; впоследствии «Письма с дороги», печатавшиеся в «Русских ведомостях», составили в переработанном виде цикл «Поездки к переселенцам» (см. т. 8 настоящего издания).

192

Впервые опубликовано в сб. «Архив Гольцева», стр. 51—60. Автограф — в ЛБ.

Супруга Кривенко — Л. Н. Кривенко.

193

Впервые опубликовано в сб. ЛЛМ, стр. 55—56. Автограф — в ЦГЛА.

...дальше Тюмени не поеду... — Успенский доехал до Томска.

Письмо в «Русские ведомости» — то есть корреспонденция «Письма с дороги».

194

Впервые опубликовано в сб. «Русские ведомости», стр. 239. Автограф — в ПД.

Датировано по связи с письмом 191.

...еще письмо... — «Письма с дороги. II. Искушения на Казанской пристани и благополучное их окончание».

195

Впервые опубликовано в сб. «Русские ведомости», стр. 239—240. Автограф — в ЦГЛА.

Датировано по связи с письмом к Посникову от этого же числа (см. Полн. собр. соч., т. XIV, стр. 142).

В письме речь идет о «Письмах с дороги» для «Русских ведомостей».

Особый этюд — очерк «Промчался!» (в цикле «Грехи тяжкие»), напечатан в «Русской мысли», 1888, X; этой же теме посвящен и очерк «Мед и деготь» (Заметки деревенского обывателя)», опубликованный в «Книжках «Недели» в декабре 1888 года.

...IV. О немцах... — Данное «Письмо» в печати не появилось и опубликовано лишь в советское время (см. сб. АН, стр. 41—46).

196

Впервые опубликовано в Полном собрании сочинений, т. XIV, стр. 143. Автограф неизвестен, копия рукою адресата — в ПД.

...рукопись — имеется в виду «Шахтерская жизнь», см. письма 179 и 188.

Рукопись о переселенцах... «Кабак» — очерки «За Урал» и «В кабаке», см. примеч. к письму 188.

197

Впервые опубликовано в Полном собрании сочинений, т. XIV, стр. 144—145. Автограф — в ЦГИАЛ.

...это дело... — О каком деле идет речь, установить не удалось.

...увижу Вас еще и в Таре. — С. Н. Кривенко находился там в ссылке, но скоро должен был освободиться; заехать в Тару Успенскому не удалось.

Надюша — дочь С. Н Кривенко от первого брака.

198

Впервые опубликовано в сб. ЛЛМ, стр. 75—76. Автограф — в ЦГЛА.

Дата уточнена по календарю.

Письмо *«IV. Переселенческая станция в Тюмени»* появилось в печати под заглавием «Переселенческие бараки в Тюмени».

«V. Сибирский старожил» — под таким заглавием «Писем с дороги» не появилось, данная тема нашла отражение в других «Письмах».

...в «Сибирской газете» есть публикация... — В номере от 9 июня 1888 года сообщалось о предстоящем приезде Успенского.

199

Впервые опубликовано (частично) в сб. «Русские ведомости», стр. 240—246. Автограф — в ЦГЛА.

Датируется по почтовому штемпелю.

Указанные в письме поправки и примечания не были использованы при публикации «Писем с дороги» («II. Переезд по Каме до Перми»), так как запоздали к выходу соответствующего номера газеты (сб. «Русские ведомости», стр. 240).

200

Впервые опубликовано в Полном собрании сочинений, т. XIV, стр. 150—151. Автограф — в Архиве библиотеки Томского гос. университета им. В. В. Куйбышева.

Вывалили меня... — Об этом эпизоде подробнее говорится и в отрывках письма к А. И. Иванчину-Писареву от 30 июля 1888 года (см. Полн. собр. соч., т. XIV, стр. 151—152).

Татьяна Христофоровна — жена Н. И. Наумова.

201

Впервые опубликовано в журн. «Сибирские огни», 1937, IV, стр. 130—131. Автограф — в Архиве библиотеки Томского гос. университета им. В. В. Куйбышева.

...в письме у Александра Ивановича... — см. примеч. к предыдущему письму.

...Ваше письмо... — Письмо Н. И. Наумова от 10 июля 1888 года опубликовано в сб. АН, стр. 342.

202

Впервые опубликовано в Полном собрании сочинений, т. XIV, стр. 154—155. Автограф неизвестен, копия — в ПД.

...по случаю открытия университета. — Открытие университета в Томске состоялось 22 июля 1888 года.

203

Впервые опубликовано в Полном собрании сочинений, т. XIV, стр. 155—156. Автограф — в ПД.

В подлиннике ошибочно отчество: «Львович».

...правительства «Славянского базара»... — Письмо написано на бланке гостиницы «Славянский базар».

№ «Сибирского вестника». — Имеется в виду номер «Сибирской газеты», посвященный открытию Томского университета.

204

Впервые опубликовано в «Голосе минувшего», 1915, X, стр. 216—217. Автограф — в ПД.

Является ответом на письмо Н. Н. Златовратского от 5 июня 1888 года (опубликовано там же, стр. 216).

Сотрудничество в журнале «Эпоха» не состоялось, так как Н. Н. Златовратский и В. П. Воронцов из-за несогласий с издателем вышли из редакции, и журнал прекратился после выхода первого номера.

«Очерки русской жизни» Н. В. Шелгунова печатались в «Русской мысли».

205

Впервые опубликовано в сб. АН, стр. 185—186. Автограф — в ПД.

...запоздал с своим писаньем... — «Письма с дороги. V. Поездка к новоселам».

«Внутренность из моих писем с дороги» — ненапечатанные по различным причинам части «Писем с дороги».

206

Впервые опубликовано в Полном собрании сочинений, т. XIV, стр. 162. Автограф — в ЛБ.

Датируется по содержанию и календарю («воскресенье»).

Проступки господина Купона — см. письмо 177 и примеч. к нему.

...фельетон о... Данкове... — Имеется в виду очерк «Мечтатель, доверившийся бумаге» (см. примеч. к письму 176).

207

Впервые опубликовано в сб. «Архив Гольцева», стр. 48—50. Автограф — в ЛБ.

Датировано по связи с письмом 206.

5 полос корректуры — последний очерк цикла «Писем с дороги» — «Человек, природа и... бумага».

...выбросить... о Лудмере. — Имеется в виду статья Я. И. Лудмера «Бабьи стоны» (см. письмо 105 и примеч. к нему).

Статья Шарапова. — Очевидно, описка: в очерке «Человек, природа и... бумага» Успенский ссылается на статью Н. Шаврова «Проекты колонизации восточного берега Черного моря» («Северный вестник», 1886, VII, стр. 20—48).

Дело Данкова — см. примеч. к письмам 176 и 206.

...примечание... — в печати не появилось.

208

Впервые опубликовано (частично) в сб. «Русские ведомости», стр. 243. Автограф — в ПД.

...двух фельетонов... — Здесь и далее имеются в виду «Письма с дороги», печатавшиеся в «Русских ведомостях».

«Очерки городской жизни». — Цикл получил другое название: «Концов не соберешь. Очерки русской жизни».

...вроде «Парового цыпленка» — очевидно, рассказ «Из жизни детей», был напечатан в «Русских ведомостях» 4 декабря 1888 года.

...автор... рефератов о... расколе... — О ком идет речь, не установлено.

209

Впервые опубликовано (частично) в сб. «Русские ведомости», стр. 241—242. Автограф—в ПД.

Датировано по связи с письмом к В. М. Соболевскому от этого же числа (см. Полн. собр. соч., т. XIV, стр. 173—174).

...сведения... из Тюмени? — Имеется в виду заметка «Переселенцы в Сибири», напечатана в «Русских ведомостях» 16 сентября 1888 года.

Короленко также рвется... — см. следующее письмо.

...галдят о Тихомирове... — в связи с выходом его книги «Почему я перестал быть революционером?», Париж, 1888.

210

Впервые опубликовано в Полном собрании сочинений, т. XIV, стр. 174—175.

В. Г. Короленко отвечал Успенскому письмом от 16 сентября 1888 года (см. В. Г. Короленко, Собр. соч., т. 10, М., 1956, стр. 95—97).

...их надобно выручить от Гайдебурова. — См. письмо 180 и примеч. к нему.

...отдать Гайдебурову один... — очерк «Расцеловали! (Из забытых страниц)».

...2 небольших рассказа. — Произведения Успенского в «Северном вестнике» больше не появлялись.

211

Впервые опубликовано в «Русском богатстве», 1905, VII, стр. 195—196. Автограф — в ПД.

Датировано на основании письма Е. П. Карпова от 21 сентября 1888 года (хранится в ПД).

Пиеса — очевидно, «Тяжкая доля» (напечатана в «Русском богатстве», 1900, II).

212

Впервые опубликовано в Полном собрании сочинений, т. XIV, стр. 179.

...1-ю главу 1-го очерка. — Имеется в виду очерк «Промчался!» из цикла «Грехи тяжкие».

213

Впервые опубликовано (частично) в статье Н. В. Алексеевой «Г. И. Успенский, русская народная песня и ее собиратели» («Ученые записки ЛГУ», № 122, серия филологических наук, вып.

16, Л., 1949, стр. 210. Автограф неизвестен, копия рукою адресата — в ПД.

Является ответом на письма Раппопорта от 16 июля и 5 сентября 1888 года.

«Шахтеры» — «Шахтерская жизнь», см. письмо 179.

...из его статьи... — Имеется в виду статья С. П. Швецова «Донецкие углекопы» (в «Вестнике Европы», 1888, VI, за подписью С. Русов).

...поместить ее в «Эпохе»? — См. прим. к письму 204.

214 и 215

Впервые опубликованы (второе — частично) в сб. «Русские ведомости», стр. 232—233, 242—244. Автограф — в ПД.

Датированы по связи с письмом к М. А. Саблину от этого же числа (Полн. собр. соч., т. XIV, стр. 184—186).

...около 3-х листов для «Русской мысли»... — Имеется в виду цикл «Грехи тяжкие».

...последнее письмо. — Речь идет о «Письмах с дороги»; напечатано в «Русских ведомостях» 10 ноября 1888 года.

«Проступки господина Купона» — см. письмо 177 и примеч. к нему; в «Русских ведомостях» ближайший новый цикл — «Концов не соберешь. Очерки русской жизни».

Что же это с Виктором-то Александровичем? — С 10 по 29 октября В. А. Гольцев находился под арестом по делу нелегальной организации «Самоуправление» (см. об этом в сб. АН, стр. 244).

..газет мне надо... — см. письмо 208.

216

Впервые опубликовано в Полном собрании сочинений, т. XIV, стр. 189—191. Автограф — в ЛБ.

Очерки мои... — «Промчался!», «Случайный разговор. — Сам, да не свой» из цикла «Грехи тяжкие» («Русская мысль», 1888, X); первый очерк из-за цензурных требований был редакцией так сокращен, что писательский замысел оказался совершенно искаженным. С целью оправдания перед читателем Успенским была написана специальная глава «Подробности неожиданной путаницы», опубликованная в декабре.

«Мужик-безбожник» — очерк под таким заглавием неизвестен.

217

Впервые опубликовано в Полном собрании сочинений, т. XIV, стр. 191—192. Автограф — в ЛБ.

Датировано по связи с письмом 216.

...Мачтет переделывал повесть... — очевидно, «Человек с планом» или «Блудный сын», повести, печатавшиеся в «Русской мысли».

218

Впервые опубликовано в сб. «Архив Гольцева», стр. 52—54. Автограф — в ЛБ.

Датировано по ответному письму Гольцева от 3 ноября 1888 года и дате его освобождения из-под ареста — 29 октября 1888 года («возвращение с того света»).

...вырезано более печатного листа. — Имеется в виду публикация очерка «Промчался!» (см. письмо 216 и примеч. к нему).

...отложите на месяц... — Продолжение очерков «Грехи тяжкие» было перенесено на декабрь 1888 года.

219

Впервые опубликовано (частично) в сб. «Русские ведомости», стр. 234—235. Автограф — в ПД.

Год устанавливается по содержанию письма и упоминаемым в нем произведениям.

«Очерки русской жизни» — см. письмо 208 и примеч. к нему.

«Среди обывателей». — Имеется в виду цикл фельетонов И. Ф. Василевского, писавшего под псевдонимом «Буква».

«Дополнения и поправки... были написаны в связи с полемикой, возникшей в печати по поводу седьмого «Письма с дороги»: «Два примера непостижимых канцелярских тайн. — Главное центрально-чернильное депо для всей Западной Сибири»; ответ Успенского под заглавием «Страшен чорт, да милостив бог», однако, не был опубликован и появился в свет лишь в советское время (см. сб. АН, стр. 59—71).

Сведения о ссыльных использованы Успенским в статье «Ссылки по приговорам обществ», напечатанной в «Русских ведомостях» 16 ноября 1888 года.

Отличное письмо... из Ельца, из Парижа... — Имеются в виду фельетоны, помещенные в «Русских ведомостях» в 1888 году, — «Из

Москвы в Елец. Путевые впечатления и земский элеватор» (№ 293, 24 октября, за подписью «Б») и два фельетона Софьи Кирон: «В больнице La Charité... («Милосердие») и «В больнице La salpêtrière» (Приют для престарелых женщин в Париже) (№№ 297 и 301 от 28 октября и 1 ноября).

...легенда кавказская... — фельетон за подписью Е. А. К—ий — «Кавказская легенда. Из воспоминаний о поездке на Кавказ» (№ 298, 29 октября).

Книги мои... — «Сочинения в двух томах». С портретом автора и вступительной статьей Н. Михайловского. Второе, значительно дополненное издание. Изд. Ф. Павленкова, СПБ., 1889; опасения Успенского относительно цензуры не оправдались.

...из письма Карла Маркса... — Речь идет о письме Маркса в редакцию «Отечественных записок», написанном по поводу статьи Н. К. Михайловского «Карл Маркс перед судом г. Ю. Жуковского» (см. об этом в данном томе статью Успенского «Горький упрек» и примеч. к ней).

220

Впервые опубликовано (частично) в сб. «Русские ведомости», стр. 244—245. Автограф — в ПД.

Датировано на тех же основаниях, что и письмо 219.

...мои очерки... — очевидно, «Концов не соберешь. Очерки русской жизни».

«Дополнения и поправки» — см. предыдущее письмо.

...вырезки из «Сибирского вестника»... — О позиции этой газеты в полемике по поводу «Писем с дороги» Успенского см. в сб. АН, стр. 120—131.

221

Впервые опубликовано в сб. АН, стр. 204—205. Автограф — в ПД.

Датируется по календарю и по содержанию письма.

...последний сибирский лоскут — очевидно, «Дополнения и поправки» (см. письмо 219 и примеч. к нему).

2-ой очерк — из цикла «Концов не соберешь» — «Не знаешь, где найдешь».

...мое вчерашнее письмо... — Имеется в виду письмо к Соболевскому от 10 ноября 1888 года, посвященное денежным отно-

шениям с «Русскими ведомостями» (см. Полн. собр. соч., т. XIV, стр. 201—206).

222

Впервые опубликовано в «Русском богатстве», 1905, VII, стр. 194. Автограф — в ПД.

Датировано по упоминанию письма Маркса и телеграммы Соболевского от 19 ноября 1888 года (ПД).

...письмо Маркса... — Имеется в виду письмо Маркса в редакцию «Отечественных записок» (см. письмо 219 и примеч. к нему).

...статью Боборыкина... — О какой статье идет речь, установить не удалось.

223

Впервые опубликовано (частично) в сб. «Памяти В. А. Гольцева», М., 1910, стр. 190—193.

Датировано по связи с письмом к В. М. Лаврову от 27 ноября 1888 года (см. Полн. собр. соч., т. XIV, стр. 215) и календарю («пятница»).

«Переселенцы в 88 году». — Замысел остался неосуществленным.

...прислал мне Александр Иваныч... — А. И. Иванчин-Писарев в письме от 6 октября 1888 года сообщал Успенскому: «Для Вас просмотрел громадное дело томского губернатора о переселенцах, и что нашел заслуживающего внимания, все переписал и посылаю...» (сб. АН, стр. 288).

...статей Чарушина... — Очевидно, имеются в виду годовые отчеты о переселенческом деле в Томске; *...Пономарева...* — Ему принадлежит статья «Сибирская община и переселение» («Северный вестник», 1887, X); *...Петропавловского...* — Имеются в виду очерки Н. Е. Каронина-Петропавловского «По Ишиму и Тоболу».

...рассказ — «За малым дело»... — Был напечатан в «Газете Гатцука» (1890, №№ 1 и 2 от 12 и 20 января).

...целый свой фельетон... — Имеется в виду отзыв А. М. Скабичевского о рассказе «Расцеловали!» («Новости», 1888, № 297, 27 октября).

...как у Гончарова... — Имеются в виду очерки «Слуги» («Нива», 1888, №№ 1—4).

...литературных воспоминаний... — Намерение не осуществлено.

...в 63 увезли Чернышевского... — ошибка: в 1864 году.

«Народное чтение». — Имеется в виду «Грамотей. Народный журнал».

...издании Баумана — «Иллюстрированная неделя».

Один из еврейской жизни... — «День нужды и скуки» («Русское слово», 1865, II).

«Забытые страницы». — Замысел не был осуществлен.

224

Впервые опубликовано (частично) в сб. «Русские ведомости», стр. 245. Автограф — в ПД.

Датируется по ответному письму Соболевского от 29 ноября 1888 года (см. «Голос минувшего», 1915, VII—VIII, стр. 200—201).

...этот рассказик... — «Из жизни детей», напечатан в «Русских ведомостях» 4 декабря 1888 года.

...псевдоним... — Соболевский убедил Успенского подписать рассказ собственным именем.

...два... рассказика — «Осерчал!» и «Не знаешь, где найдешь».

225

Впервые опубликовано в Полном собрании сочинений, т. XIV, стр. 217. Автограф — в ПД.

Датировано по связи с письмом к Я. В. Абрамову от конца ноября или 1 декабря 1888 года (опубликовано там же, стр. 219).

...моих книг. — Имеется в виду второе издание Сочинений Успенского в 2-х томах.

...сборник Гаршина... — «Памяти В. М. Гаршина», СПБ., 1889.

226

Впервые опубликовано в сб. «Архив Гольцева», стр. 54—55. Автограф — в ЛБ.

...этот рассказ... — «На минутку! (Из записок деревенского обывателя)»; напечатан в январском номере «Русской мысли» за 1889 год; рукопись вызвала недовольство руководителей журнала в связи с введением в рассказ рассуждений о Марксе, Лавеле и др. (см. письмо Гольцева от 15 декабря 1888 года в Полн. собр. соч., т. XIV, стр. 654); Успенский был вынужден согласиться на требования редакции.

227

Впервые опубликовано (частично) в «Голосе минувшего», 1915, VI, стр. 212—213. Автограф — в ПД.

...половину статейки... — Имеется в виду статья «Горький упрек» (см. примеч. к статье в данном томе).

...перепечатывайте Вы... — Является ответом на просьбу редакции «Волжского вестника» о перепечатке вновь публикуемых произведений Успенского.

Жалуюсь... на Н. В. Рейнгардта. — Речь идет о его статье «Необходимость борьбы за жизнь и условия ее плодотворности» («Волжский вестник», 1888, № 243, 20 ноября), в которой автор, полемизируя со статьей Н. Г. Чернышевского «Происхождение теории благотворности борьбы за жизнь» («Русская мысль», 1888, IX, за подписью «Старый трансформист»), неоправданно привлек для доказательства своих мнений отрывок из очерков Успенского «Из деревенского дневника» (эпизод убийства конокрада Федюши).

...никакой кошки и мышки в 5-м томе... — Имеется в виду сравнение мужиков-убийц с кошкой, растерзавшей мышь; это сравнение исключено Успенским при переработке очерков для первого издания сочинений (т. V, СПБ., 1884).

...о новом произведении... — Успенский был доволен, что А. П. Подосенова в своей рецензии («Волжский вестник», 1888, № 290) на октябрьский номер «Русской мысли» не коснулась очерка Успенского «Промчался!», сильно искаженного редакцией (см. письмо 216 и примеч. к нему).

228

Впервые опубликовано в сб. «Архив Гольцева», стр. 55—56. Автограф — в ЛБ.

Написано в ответ на письмо Гольцева от 11 декабря 1888 года (см. сб. АН, стр. 279).

229

Впервые опубликовано в сб. «Русские ведомости», стр. 245—246. Автограф — в ПД.

Датировано по данным о публикации очерков «Осерчал!» (18 декабря) и «Не знаешь, где найдешь» (27 декабря), о которых идет речь в письме.

В III рассказе... съезд сельских учителей... — О съезде говорится в четвертом очерке «Концов не соберешь»: «В чем нам стало хуже? Общественное дело».

«Камско-Волжский вестник». — Очевидно, речь идет о «Камско-Волжской газете».

230

Впервые опубликовано в сб. АН, стр. 205. Автограф — в ПД.

Вот рассказ... — «Не знаешь, где найдешь» (из цикла «Концов не соберешь»).

231

Впервые опубликовано в «Новом мире», 1933, III, стр. 246—247. Автограф — в ПД.

Датировано по упоминанию очерка «Не знаешь, где найдешь».

Маленькая статейка — «Горький упрек» (см. настоящий том, стр. 166—173).

...цитата... — В рассказ «Не знаешь, где найдешь» она не вошла.

232

Впервые опубликовано в Полном собрании сочинений, т. XIV, стр. 236—237. Автограф — в ПД.

Датировано по связи с письмом к Соболевскому от 24 декабря 1888 года (Полн. собр. соч., т. XIV, стр. 232—235).

В письме речь идет об изменениях в рассказе «Не знаешь, где найдешь».

233

Впервые опубликовано в сб. «Архив Гольцева», стр. 64—65. Автограф — в ЛБ.

Датировано по связи с письмом 226.

...написан вздор. — Речь идет о рассказе «На минутку!» (см. письмо 226 и примеч. к нему).

234

Впервые опубликовано в сб. «Памяти Гольцева», стр. 196—197. Автограф — в ЛБ.

Датировано по содержанию и по связи с письмом 233.

...почему я не призывал к чести? — Речь идет о тезисе Н. К. Михайловского о чести и совести, высказанном во вступительной статье ко второму изданию сочинений Успенского; заметка Успенского по поводу этого, видимо, не была написана.

Очерки «Водка и честь» впервые напечатаны в «Судебной газете», 1883, №№ 21 и 23 от 22 мая и 5 июня.

1887—1888

235

Впервые опубликовано в Полном собрании сочинений, т. XIV, стр. 243—244. Автограф — в ПД.

Письмо не закончено. Датируется временем работы Успенского над томами, которые должны были явиться продолжением первого издания сочинений (1883—1886). См. также примеч. к письму 137.

1889

236

Впервые опубликовано в сб. ЛЛМ, стр. 139. Автограф — в ЦГЛА.

.помощь... — Кулаковы оказали помощь Успенскому в ответ на его письмо от конца декабря 1888 года (см. Полн. собр. соч., т. XIV, стр. 240—241).

...буду... издавать... сам... — Намерение не осуществилось: 3-й том сочинений был издан в 1891 году также Ф. Павленковым.

Толстой, изданный Стелловским... — Речь идет об издании: Л. Н. Толстой. Сочинения, 2 ч., изд. Ф. Стелловского, СПБ., 1864.

237

Впервые опубликовано (частично) в сб. «Русские ведомости», стр. 247. Автограф — в ПД.

...написан фельетон. — видимо, «Голоса из публики» (из цикла «Концов не соберешь. Очерки русской жизни»).

...два опровержения — в «Сибирском вестнике» (1888, № 69, 16 октября) и в «Восточном обозрении» (1888, № 45, 13 ноября) по поводу «Писем с дороги» Успенского.

«Не так страшен чорт» — см. письмо 219 и примеч. к нему.

238

Впервые опубликовано в Полном собрании сочинений, т. XIV, стр. 256—257. Автограф — в ПД.

Датировано на основании данных о печатании очерка «В чем нам стало хуже? Общественное дело» (в цикле «Концов не соберешь»), о котором идет речь в письме.

...9 т. сочинений Гончарова... — И. А. Гончаров. Полн. собр. соч., т. IX, СПБ., 1889; в томе напечатаны «Воспоминания» и очерки «Слуги старого века».

239

Впервые опубликовано в сб. «Архив Гольцева», стр. 58. Автограф — в ЛБ.

Датировано по связи с письмом к В. М. Лаврову от 16 января 1889 года (см. Полн. собр. соч., т. XIV, стр. 258).

...начало рассказа... — «Невидимка» (из цикла «Грехи тяжкие»).

..об изменении контракта... — О контракте см. письма 132, 133 и примеч. к ним.

Брат — И. И. Успенский.

240

Впервые опубликовано в сб. АН, стр. 207. Автограф — в ПД.

Датировано по связи с 239, 241 и другими письмами.

Никакой надежды... — Опасения, однако, не подтвердились, здоровье А. В. Успенской к весне 1889 года улучшилось.

...вот еще о Васильеве... — В примечаниях к переводу книги Э. Лавеле «Балканский полуостров» (М., 1889) Н. Е. Васильев выступил с критикой очерков Успенского «Под впечатлением поездки по Дунаю» (в цикле «Мы...»); ответ Успенского дан в его очерке «Суетные попытки развеселить скучающую публику» (в цикле «Концов не соберешь»).

241

Впервые опубликовано в сб. «Русские ведомости», стр. 247. Автограф — в ПД.

«Шила в мешке не утаишь», «Зашли поболтать» — под такими заглавиями в 1889 году произведений не появлялось; очевидно, Успенский заглавия изменил (ср. «Шила в мешке не утаишь» в газ. «Вперед», 1876, № 25).

...письмо Павленкова... — В письме от 31 января 1889 года Павленков сообщал, что приступает к третьему изданию сочинений Успенского, которое было осуществлено в том же 1889 году.

...статья о Буланже... — Имеется в виду статья «Буланжизм и рабочие» за подписью «А. М.» («Русские ведомости», 1889, №№ 30 и 31 от 30 и 31 января).

242

Впервые опубликовано в Полном собрании сочинений, т. XIV, стр. 263—264. Автограф неизвестен, копия рукою адресата — в ПД.

«Переселенцы», «Шахтеры», маленькие очерки — см. о них в письмах 179, 188, 196 и примеч. к ним.

...неожиданных неприятностей. — В письме от 9 января 1889 года Раппопорт сообщал о постигшем его аресте, тюремном заключении и последующей высылке в г. Стародуб.

243

Впервые опубликовано в журн. «Северные зори», 1909, I, стр. 15—16. Автограф — в ГПБ.

...продолжение «Очерков Растеряевой улицы»... — Речь идет о «Нравах Растеряевой улицы» (см. т. 1 настоящего издания).

...издание Павленкова (в 8 т.)... — первое издание сочинений Успенского (1883—1886).

...покупка Сибиряковым... — см. письма 132, 133 и примеч. к ним.

...мои книги... — второе издание сочинений в 2-х томах.

244

Впервые опубликовано в Полном собрании сочинений, т. XIV, стр. 267—268. Автограф — в ПД.

...о Вашем новом романе... — см. письма 260, 262.

245

Впервые опубликовано в сб. «Архив Гольцева», стр. 65—67. Автограф — в ЛБ.

...ужасную корректуру... — Имеется в виду очерк «О том, что натворила акушерка Анна Петровна» (цикл «Грехи тяжкие»).

...обозрение местной печати — очерки «Своим чередом. (Обзор местной печати)»; они появились в августовском номере «Русской мысли» за 1889 год.

«Страшен сон» — статья Н. К. Михайловского «Страшен сон, да милостив бог. (Несколько слов г. Слонимскому)» печаталась в «Русской мысли», 1889, III, V, VI.

246

Впервые опубликовано в «Голосе минувшего», 1915, X, стр. 223. Автограф — в ПД.

Статейка — «Абиссинский фарс и переселенческая трагедия» («Неделя», 1889, № 13, 25 марта).

247

Впервые опубликовано в «Голосе минувшего», 1915, V, стр. 220. Автограф — в ЛБ.

Является ответом на письмо А. И. Эртеля от 10 марта 1889 года (опубликовано там же, стр. 219—220), в котором содержалась просьба к Успенскому принять участие в литературном сборнике в пользу Воронежской библиотеки.

«Вятская незабудка» (1877) — сборник, составленный Ф. Павленковым, находившимся в ссылке в Вятской губернии, Н. Блиновым и др.

248

Впервые опубликовано (частично) в сб. «Русские ведомости», стр. 248—249. Автограф — в ПД.

Рассказ — «Теперь не наше дело!» (из цикла «Концов не соберешь. Очерки русской жизни»).

...учение... Ильина... — Отчет о процессе Ильина напечатан в «Русских ведомостях», 1889, № 79, 21 марта; заметка о его учении Успенским, видимо, не была написана.

249

Впервые опубликовано в сб. «Архив Гольцева», стр. 69—70. Автограф — в ЛБ.

Мои очерки — «Своим чередом (Обзор местной печати). I. Два слова о местной печати. II. Деревенские раскольники»; их опубликование откладывалось из-за цензурных препятствий.

...уехать... за границу. — Поездка не осуществилась.

250

Впервые опубликовано в Полном собрании сочинений, т. XIV, стр. 285—286. Автограф неизвестен, копия рукою адресата — в ПД. Датировано по почтовому штемпелю.

...Вашу книгу... — Имеется в виду работа под заглавием «Очерки народной литературы. (Посвящается Глебу Ивановичу Успенскому)»; была впервые напечатана не в издании Ф. Павленкова, а в «Русском богатстве» (1892, VII, VIII, IX, X, за подписью С. Ан—ский); отдельной книгой издавалась в 1894 и 1915 годах.

251

Впервые опубликовано (частично) в сб. «Русские ведомости», стр. 249. Автограф — в ПД.

Дата уточнена по упоминанию о смерти Щедрина.

.последний очерк «Концов» — очевидно, «Извозчик с аппаратом. — Что же будет дальше?» (цикл «Концов не соберешь»).

2-ая статья «Не все коту масленица» — неизвестна и, видимо, не была написана.

..статьей Михайловского — «Памяти Щедрина» («Русские ведомости», 1889, № 119, 2 мая).

.превосходное письмо... — Имеется в виду письмо за подписью «Гимназист», написанное на другой день после смерти М. Е. Салтыкова-Щедрина (28 апреля 1889 г.). В письме, в частности, говорилось: «Вы, Глеб Иванович, спросите, зачем юноша

Вам пишет. Вы — общественный деятель, Вам важно знать, что творится в сердце этого общества, важно для вящей пользы того же общества, которому Вы служите» (хранится в ПД).

252

Впервые опубликовано (частично) в сб. «Русские ведомости», стр. 249—250. Автограф — в ПД.

Датировано по связи с предыдущим письмом.

...половину рассказа... — последние очерки «Концов не соберешь».

Во 2-м очерке... — Замысел, видимо, не был осуществлен.

253

Впервые опубликовано (частично) в сб. «Русские ведомости», стр. 250. Автограф — в ПД.

Датировано по связи с предыдущими письмами.

...газетные собаки... — В частности, имеется в виду В. П. Буренин, поместивший в «Новом времени» (1889, № 4755) статью с нападками на Успенского.

...историю закрытия земства. — Истории закрытия Череповецкого земства Успенский касается в очерке «По Шексне (Впечатления двух дней поездки)» («Русские ведомости»; 1889, № 215, 6 августа).

...с кулаками рыковского типа. — Имеется в виду И. Г. Рыков, директор скопинского банка, растративший огромные суммы и преданный суду в 1884 году (см. примеч. к письму 141).

254

Впервые опубликовано в Полном собрании сочинений, т. XIV, стр. 291—292. Автограф — в ПД.

Датируется по связи с предыдущими письмами и календарю.

...получил Вашу телеграмму... — Успенскому были высланы деньги на поездку, о которой шла речь в предыдущих письмах.

Посылаю очерк... — очевидно, из цикла «Концов не соберешь» (см. письмо 251).

255

Впервые опубликовано в Полном собрании сочинений, т. XIV, стр. 292. Автограф — в ПД.

Автор рукописи... — Речь идет о рукописи Г. П. Енишерлова «Дорога зла и скорби», присланной Успенскому вместе с письмом от 5 марта 1889 года; рукопись осталась неопубликованной (хранится в ПД).

256

Впервые опубликовано в журн. «Образование», 1902, V—VI, стр. 193—196. Часть автографа — в ПД.

Является ответом на письмо Саликовского от 18 апреля 1889 года, который просил дать отзыв о его статье «К злобе современности», была опубликована статья под заглавием «Несколько итогов к злобам дня» в «Русском богатстве», 1889, IX, X, а затем — отдельной брошюрой.

257

Впервые опубликовано в сб. «Архив Гольцева», стр. 67—68. Автограф — в ЛБ.

...ехать в Череповец... — см. письмо 253 и примеч. к нему.

Корректуру жду... — Речь идет об очерках «Своим чередом».

...книга... Соколова — П. С. Соколов. Раскол в Саратовском крае, Саратов, 1888.

258

Впервые опубликовано (частично) в сб. «Русские ведомости», стр. 250. Автограф — в ЦГЛА.

Датировано на основании письма и телеграммы Посникова от 24 мая 1889 года и данных о публикации очерка «Суетные попытки развеселить скучающую публику» (27 мая).

...поеду... — Успенский выехал 14 июня.

Выдрал.. не 200, а 397 строк... — Имеются в виду сокращения в вышеназванном очерке, произведенные по просьбе редакции.

259

Впервые опубликовано в Полном собрании сочинений, т. XIV, стр. 301—302. Автограф — в ПД.

Датировано по ответному письму Воеводиной от 30 мая 1889 года (хранится в ПД). Воеводина хлопотала о своем брате А. А. Воеводине, арестованном 2 января 1888 г. по обвинению в принадлежности к революционной организации и высланном по высочайшему повелению от 3 мая 1889 г. в Восточную Сибирь на 8 лет.

260

Впервые опубликовано (частично) в кн. В. Чешихина-Ветринского «Глеб Иванович Успенский», М., 1929, стр. 187—188. Автограф — в ПД.

Датировано по почтовому штемпелю.

...*Ваш роман...* — см. письма 244, 262.

Елена Тургенева — имеется в виду героиня романа «Накануне».

Софья Гончарова — очевидно, описка: судя по контексту, Успенский имеет в виду не Софью Беловодову из «Обрыва», а Ольгу Ильинскую, героиню романа «Обломов».

261

Впервые опубликовано в сб. «Архив Гольцева», стр. 70. Автограф — в ЛБ.

Датировано на основании ответного письма Гольцева от 8 июня 1889 года (см. сб. АН, стр. 280).

...*обзор мой...* — имеются в виду очерки «Своим чередом (Обзор местной печати)».

...*книгу... «Раскол в Саратовском крае»...* — Предложенная статья, видимо, не была написана.

262

Впервые опубликовано (частично) в журн. «Минувшие годы», 1908, II, стр. 293. Автограф — в ПД.

Датировано по ответному письму Тимофеевой-Починковской от 8 июня 1889 года.

263

Впервые опубликовано в сб. АН, стр. 211—215. Автограф — в ПД.

Является ответом на несохранившееся письмо Рыбакова, в котором содержались упреки по адресу Успенского в связи с очерком «Трудами рук своих» (из цикла «Своим чередом»), перепечатанным в т. II второго издания его сочинений.

...две цитаты из Толстого.— Имеются в виду цитаты из статьи Л. Н. Толстого «Прогресс и определение образования. (Ответ г-ну Маркову)».

...формулу прогресса... — из статьи Н. К. Михайловского «Что такое прогресс?»

...О. Ф. Миллер... написал... — Имеется в виду его книга «Глеб Успенский. Опыт объяснительного изложения его сочинений», СПБ., 1889.

«О книге» — глава в составе очерков «Из деревенского дневника»: «Лечебник от всех болезней, помощник и указатель во всех житейских бедах, несчастьях и затрудненьях».

...статья... «Не все коту масленица» — посвящена книге П. К. Энгельмейера «Экономическое значение современной техники» (М., 1897).

264

Впервые опубликовано в книге: Г. Успенский. Сочинения и письма в одном томе, М.—Л., 1929, стр. 608. Автограф — в ЛБ.

Год устанавливается по времени поездки Успенского в Оренбургскую и Уфимскую губернии.

...ряд очерков «Власть машины». — Замысел не был осуществлен.

265

Впервые опубликовано в «Голосе минувшего», 1915, X, стр. 233—235. Автограф — в ПД.

...в какую-нибудь... поездку. — Вместо поездки по Тверской губернии Успенский вместе с В. Ю. Скалоном совершил длительную поездку по переселенческим местам Уфимской и Оренбургской губерний.

...еду в Череповец... — см. письмо 253 и примеч. к нему.

266

Впервые опубликовано (частично) в сб. «Русские ведомости», стр. 250—251. Автограф — в ПД.

...до издания 3-го тома... — Третий том сочинений издан Павленковым в 1891 году.

...первое письмо... — Цикл очерков «От Оренбурга до Уфы» начал печататься в «Русских ведомостях» с 16 июля 1889 года.

...два очерка «Концов»... — Намерение продолжить цикл «Концов не соберешь» не было осуществлено.

267

Впервые опубликовано (частично) в сб. «Русские ведомости», стр. 252—253. Автограф — в ПД.

...3-е письмо из Оренбурга... — то есть очередная корреспонденция «От Оренбурга до Уфы (Путевые заметки)».

...части XI и XII моих книг — составили т. III сочинений Успенского.

.третье издание — Сочинения Успенского в двух томах (вышло в том же 1889 году, что и второе).

...издание Решетникова. — Имеются в виду его Сочинения в двух томах. Изд. Ф. Павленкова, СПБ., 1890, со вступительной статьей М. Протопопова.

...я написал биографию и характеристику. . — см. письмо 113 и примеч. к нему.

...поступят Соболеву... — У Соболева Успенский выкупил право на издание своих рассказов по соглашению 1879 года (см. сб. АН, стр. 435—436).

Прилагаю и доклад и письмо... — Доклад не сохранился, письмо Теличеева от 18 июля 1889 года находится в ПД.

.из «Недели» лоскут. — В «Неделе» от 30 июля 1889 года сообщалось, что в «Гражданине» (1889, № 197, 18 июня) перепечатан фельетон, якобы принадлежащий Успенскому; «Русский курьер» повторил перепечатку; заметка, опровергающая эти публикации, видимо не была написана.

...о Рейнгардте... — Речь идет о статье Н. В. Рейнгардта «Непростительное отчаяние (по поводу статьи Г И. Успенского «Концов не соберешь» в № 162 «Русских ведомостей», 1889, от 14 июня)», опубликованной в «Волжском вестнике», 1889, № 159, 2 июля.

...написал прелестнейший Короленко. — Очевидно, очерк В. Г Короленко «Птицы небесные», печатавшийся в «Русских ведомостях» в августе.

268

Впервые опубликовано (частично) в сб. «Русские ведомости», стр. 252. Автограф — в ПД.

...*писем IV и V*... — главы IV и V очерков «От Оренбурга до Уфы».

Глеб — сын В. М. Соболевского.

...*из Святого Ключа письмо*... — Владелец имения Святой Ключ генерал Крыжановский незаконно прирезал земли, принадлежавшие башкирам; об этом говорится в одном из очерков Успенского «От Оренбурга до Уфы» («Русские ведомости», 1889, № 194, 16 июня); в опровержение этого очерка и было прислано упомянутое письмо. Ответ Успенского не появился в «Русских ведомостях» и был опубликован лишь в советское время (см. Полн. собр. соч., т. XII).

269

Впервые опубликовано в Полном собрании сочинений, т. XIV, стр. 333. Автограф — в ЛБ.

...*два рассказика.* — О каких произведениях идет речь, не выяснено, так как очерки «Грехи тяжкие» после апреля 1889 года не печатались.

270

Впервые опубликовано (частично) в сб. «Русские ведомости», стр. 253. Автограф — в ЦГЛА.

...*охапки бумаги*... — Имеется в виду последний очерк «От Оренбурга до Уфы».

«*Так осенью... бушующие волны*» — из стихотворения Некрасова «Я не люблю иронии твоей».

271

Впервые опубликовано в сб. «Памяти Гольцева», стр. 197—198. Автограф — в ЛБ.

Датируется по упоминанию очерка Н. С. Лескова «Спиридоны-повороты», напечатано в «Русской мысли», 1889, VIII.

...*Лесков поместил*... — Указанное произведение написано на основании рукописи Н. Н. Свешникова «Путевые впечатления ли-

шенного столицы»; Лесков не скрывал, что публикуемый им очерк является переработкой рукописи другого автора, хотя имя его не названо.

«Крестьянин о современных событиях. (Заметки по поводу еврейских погромов)» — была напечатана в «Отечественных записках», 1882, III, за подписью «—в».

...Аксаков настрочил... — Имеются в виду его статьи в славянофильской газете «Русь».

...как г. Морозов позаимствовал у Тихонравова... — Имеются в виду книги: П. О. Морозов. Очерки из истории русской драмы, СПБ., 1889, и Н. С. Тихонравов. Русские драматические произведения. 1672—1725, СПБ., 1874.

...8 тетрадей... Свешникова... — очевидно, «Воспоминания пропащего человека», впервые опубликованные в «Историческом вестнике», 1896, I—VIII; отдельным изданием вышли в советское время («Academia», М.—Л., 1930).

«Рассказ крестьянина Кураева». — Намерение не осуществлено; об отношениях Успенского и И. И. Кураева см. в упоминавшейся статье Н. В. Алексеевой «Г. И. Успенский, русская народная песня и ее собиратели».

272

Впервые опубликовано (частично) в сб. «Архив Гольцева», стр. 71—72. Автограф — в ЛБ.

...эта заметка... — «Самопомощь в духовном сословии» (из цикла «Своим чередом»), напечатана в «Русской мысли» в ноябре.

...просьбу... насчет «Русского курьера»? — Успенский просил приобрести «Русский курьер» за июнь 1889 года в связи с перепечаткой в нем произведения, необоснованно приписанного Успенскому (см. письмо 267 и примеч. к нему).

...ее роман... — Роман А. А. Виницкой «Поленовы и Ярославцевы» «Русской мыслью» не был принят и опубликован в «Северном вестнике», 1891, I—IV.

273

Впервые опубликовано в «Русском богатстве», 1905, VII, стр. 196. Автограф — в ПД.

Датируется на основании ответного письма Южакова от 8 октября 1889 года.

...заметка о моих сочинениях. — Имеется в виду обзор П. Милюкова в «The Athenaeum», 1889, № 3219, 9 июня; в «Историческом вестнике» было помещено изложение этого обзора (1889, октябрь, стр. 222).

274

Впервые опубликовано (с цензурными изъятиями) в сб. «Архив Гольцева», стр. 72—73. Автограф — в ЛБ.

Статья... окончена... — «Самопомощь в духовном сословии» (см. примеч. к письму 272).

Земское дело раздробляется... — Имеется в виду переход земских школ под контроль духовенства.

275

Впервые опубликовано в сб. «Памяти Гольцева», стр. 189—190. Автограф — в ЛБ.

Ужасная смерть Н. В. Успенского... — самоубийство 21 октября 1889 года в Москве; см. также следующее письмо.

...под... общим заглавием «Раздумье». — Цикл не был осуществлен, в осуществление замысла написан лишь рассказ «Выдался денек! (Из путевых заметок по Волге)».

...сборник... Герцена — А. Герцен. Раздумье. Разные вариации на старые темы, М., 1870.

276

Впервые опубликовано в сб. «Русские ведомости», стр. 253—255. Автограф — в ЦГЛА.

Г. И. — государю императору.

.его литературные воспоминания — печатались в 1888—1889 годах в «Развлечении», а затем вышли отдельным изданием: Н. В. Успенский. Из прошлого. М., 1889.

Поправка к некрологу в печати не появилась.

...моя «Червоточина»? — Статья (другие названия: «Червоточина в земельных наделах», «Отрезки», «Пропащие миллионы») не появилась в печати из-за цензурных препятствий; материалы ее использованы в статье «Неудачные покупки земель» («Неделя», 1890, №№ 46 и 47 от 18 и 25 ноября).

277

Впервые опубликовано в «Голосе минувшего», 1915, X, стр. 224. Автограф — в ПД.

Датировано согласно помете адресата.

Как видно из ответного письма Абрамова (см. Полн. собр. соч., т. XIV, стр. 687), материалы, о которых просил Успенский, были ему высланы, но замысел статьи о воскресной школе он осуществить не смог.

...*Ваши хроники...* — Имеется в виду раздел «Из провинциальной печати», который вел Абрамов в «Северном вестнике».

278

Впервые опубликовано в Полном собрании сочинений, т. XIV, стр. 361—363. Автограф — в ПД.

Датировано по связи с письмом к В. А. Гольцеву от 26. XI. 1889 (см. Полн. собр. соч., т. XIV, стр. 356—359).

Дерунов — персонаж из «Благонамеренных речей» М. Е. Салтыкова-Щедрина.

...*фельетон Н. К. Михайловского...* — видимо, одна из глав работы «М. Е. Салтыков. Критические очерки», печатавшейся в «Русских ведомостях» с июля по декабрь 1889 года.

279

Впервые опубликовано (частично) в сб. «Русские ведомости», стр. 257. Автограф — в ЦГЛА.

Датировано по содержанию и по связи с предыдущим письмом.

Телеграмма... — очевидно, от редакции «Русских ведомостей».

«Запах» ослабел... — Успенский страдал галлюцинацией обоняния.

...*постановление.* — Речь идет о решении Уфимского суда по поводу «фельетона» Успенского «Своим умом» (в цикле «От Оренбурга до Уфы»), в котором критикуется деятельность этого суда.

...*обратился к... В. И. Иванову...* — Ответ его см. в сб. «Русские ведомости», стр. 261.

Реклама — в печати не появилась.

280

Впервые опубликовано в Полном собрании сочинений, т. XIV, стр. 371—372. Автограф неизвестен, копия рукою адресата — в ПД.

Об издании произведений Раппопорта, о которых идет речь в письме, см. письма 179, 188, 196, 250 и примеч. к ним.

...*брошюрку Абрамова* — очевидно: Я. В. Абрамов. Вниманию интеллигентных провинциалок. (Из истории общественной жизни г. Харькова), СПБ., 1889.

281

Впервые опубликовано в сб. «Архив Гольцева», стр. 84—86. Автограф — в ЛБ.

Датировано по связи с письмом к Гольцеву от 19 декабря 1889 года (см. Полн. собр. соч., т. XIV, стр. 378).

Рассказ... — очевидно, «Выдался денек! (Из путевых заметок по Волге)».

«Отрезки» — см. примеч. к письму 276.

...*это трудное дело...* — Имеется в виду издание третьего тома сочинений Успенского (первоначально предполагалось, что издание осуществит «Русская мысль»).

Книгу Вашу... — В. А. Гольцев. Об искусстве. Критические заметки. М., 1890.

Письмо превосходное. — Об этом письме говорится также в письме к А. С. Посникову от 14 декабря 1889 года (см. Полн. собр. соч., т. XIV, стр. 373—374).

282

Впервые опубликовано (частично) в сб. «Русские ведомости», стр. 265. Автограф — в ЦГЛА.

Датировано на основании статьи Розенберга и упоминания о крестьянском банке.

1890

283

Впервые опубликовано (частично) в «Голосе минувшего», 1915, X, стр. 236—237. Автограф — в ПД.

Датировано по данным о выходе январской книжки «Русской мысли» за 1890 год, в которой был напечатан рассказ «Выдался денек! (Из путевых заметок по Волге)».

Этот рассказ так был извращен редакцией «Русской мысли», что в опубликованном виде компрометировал писателя. Данным заявлением Успенский намеревался поправить положение, взяв вину на себя.

Письмо, видимо, не было отослано (см. также следующее письмо).

284

Впервые опубликовано в сб. «Архив Гольцева», стр. 91—93. Автограф — в ЛБ.

...поступке... редакции «Русской мысли»... — см. предыдущее письмо.

...мое предложение. — Успенский намеревался порвать с «Русской мыслью» и с этой целью решил произвести с ней денежные расчеты.

...книга моя... — третий том сочинений.

...отпечатать вновь тот 1 лист... — По цензурным условиям это оказалось невозможным; в переделанном виде рассказ включен в третий том сочинений («Очерки переходного времени. XII. Речные поездки»).

«Отрезки» — см. примеч. к письму 276.

«Бабьи души» — очерк «Крестьянские женщины», напечатан в «Русской мысли», 1890, IV.

«Из крестьянской жизни» — видимо, «Вести из деревни», в печати не появились (см. письмо 294 и примеч. к нему).

285

Впервые опубликовано в Полном собрании сочинений, т. XIV, стр. 396—397. Автограф — в ПД.

...куда ехать... — В феврале Успенский совершил поездку в Витебск, побывав также в Воронеже и Смоленске.

...статьи я отобрал из «Русской мысли»... — см. предыдущее письмо.

286

Впервые опубликовано в Полном собрании сочинений, т. XIV, стр. 398. Автограф — в ПД.

Дата уточняется по связи с письмом к А. В. Успенской от 6 февраля 1890 года (Полн. собр. соч., т. XIV, стр. 400—401).

Поездка на лошадях... — Успенский намеревался совершить поездку в Казань, но затем изменил свой план.

287

Впервые опубликовано в Полном собрании сочинений, т. XIV, стр. 401—403. Автограф — в ПД.

Ваня и Павел — И. Лаврешин и П. Иванов, крестьяне д. Сябринцы.

...*Жарову в Саратов.* — Как видно из писем А. Я. Жарова (хранятся в ПД), он в 1877—1878 годах дал в долг Успенскому 325 рублей.

288

Впервые опубликовано в Полном собрании сочинений, т. XIV, стр. 408. Автограф — в ПД.

Датировано на основании данных о поездке Успенского.

...*подлого поступка «Русской мысли»...* — см. письма 283, 284 и примеч. к ним.

289

Впервые опубликовано в сб. «Архив Гольцева», стр. 95—96. Автограф — ЛБ.

...*статейку...* — «Крестьянские женщины» (см. примеч. к письму 284).

Тревожные известия... — О чем идет речь, не установлено.

290

Впервые опубликовано в сб. «Архив Гольцева», стр. 412—413. Автограф — в ЛБ.

...*«нечто»*.— Возможно, имеется в виду статья, в которой шла речь об отчете Крестьянского банка («Отрезки», «Червоточина», «Пропащие миллионы» — см. письмо 276 и примеч. к нему).

Казанская выставка — научно-промышленная выставка произведений Волжско-Камского края в Казани; открылась 15 мая 1890 года.

«Тюремные порядки» — статья Г. П. Енишерлова в «Юридическом вестнике», 1890, №№ 2 и 4, за подписью «С.Ц.Х.»; о другой его рукописи см. письмо 255 и примеч. к нему; заметка Успенского на эту тему для «Русской мысли», видимо, не была написана.

..*тюремного конгресса*... — IV международный тюремный конгресс проходил в Петербурге с 1 по 12 июня 1890 года.

291

Впервые опубликовано в сб. ЛЛМ, стр. 98—100. Автограф — в ЦГЛА.

«Конгресс английских тредс-юнионов в Ливерпуле». — Статья напечатана в «Русских ведомостях» 1890 года, № 228, 20 августа.

...*поездки*... — Имеется в виду поездка на Волгу и юг в июле-августе 1890 года.

...*корректуру*... — очерка «Мельком. II Крестьяне-богатеи».

...*отделали Белоконского*...— Речь идет о статье Д. А. Клеменца «Нечто о гипнотизме, как источнике ложных представлений о Сибири» («Восточное обозрение», 1890, № 23, 10 июня).

...*рассказ Станюковича!* — «Маленькие рассказы. II. Встречи в Париже» («Русские ведомости», 1890, № 230, 22 августа).

...*очерки Серафимовича*... — Намерение издать отдельной книгой произведения А. С. Серафимовича тогда осуществить не удалось; об отношениях Успенского к начинавшему свою литературную деятельность Серафимовичу см. статью: Н. В. Алексеева. Ранние литературные связи А. С. Серафимовича (А. С. Серафимович и Г. И. Успенский) в «Докладах и сообщениях» филологического факультета ЛГУ, вып. 3, 1951, стр. 163—185.

...*как издание Чехова*... — Речь идет о сборнике «Хмурые люди», СПБ., 1890.

...*реформы 12 июня* — Имеется в виду «Положение о земских участковых начальниках» от 12 июня 1889 года.

292

Впервые опубликовано в Полном собрании сочинений, т. XIV, стр. 445—447. Автограф — в ЛБ.

Ударил меня... «в совесть»... — Имеется в виду напоминание об издании произведений Серафимовича, которое содержалось в письме В. Г. Короленко к Н. К. Михайловскому от 6 октября 1890 года (см. В. Г. Короленко. Письма 1888—1921 годов, П., 1922, стр. 19).

Рассказы его я вытребовал... — см. предыдущее письмо.

...завален корректурой... — в это время шло издание третьего тома сочинений Успенского.

Семен Яковлевич. — Очевидно, ошибка: речь идет, видимо, о Сергее Яковлевиче Елпатьевском, с которым встречался Успенский в минувшую поездку в Н.-Новгород.

...посылаю очерк. — О каком произведении идет речь, не установлено.

Разве... можете... просить подождать? — В том же письме к Михайловскому Короленко сообщал об отказе «Русской мысли» подождать с представлением «Павловских очерков».

293

Впервые опубликовано в Полном собрании сочинений, т. XIV, стр. 448. Автограф — в ЛБ.

...дописать рассказ... — О каком произведении идет речь, установить не удалось; рассказ, видимо, не был написан.

...начало... прилагаю. — Речь идет о статье «Корреспонденты и публицисты (Заметки о текущей народной жизни)»; напечатана в «Русской мысли», 1890, XI.

294

Впервые опубликовано (частично) в сб. «Русские ведомости», стр. 263. Автограф — в ЦГЛА.

«Вести из деревни». — В печати не появились, так как Успенский, не удовлетворенный написанным, затребовал очерки из редакции «Русских ведомостей» обратно.

...заплатил Глинский... — Б. Б. Глинский с мая 1890 года стал редактором «Северного вестника».

Замаскированный Иванов... — очевидно, И. И. Иванов, сотрудничавший в «Русских ведомостях».

Книга Ордина — К. Ордин. Покорение Финляндии. СПБ., 1889.

Книга Никитина — В. Н. Никитин. Евреи-землевладельцы. Историческое, законодательное, административное и бытовое положение колоний со времени их возникновения до наших дней. 1807—1887. СПБ., 1887.

...расследовано Обнинским! — Имеется в виду его статья «Откуда идет деморализация нашей адвокатуры» («Юридический вестник», 1890, сентябрь, стр. 25—51).

295

Впервые опубликовано в сб. «Архив Гольцева», стр. 98—99. Автограф — в ЛБ.

Датируется по содержанию письма.

Рассказ «Тягота», напечатанный в «Книжках «Недели», 1891, I, являлся переделкой рассказа «Из жизни детей» (1888); в собрании сочинений — «Памятливый».

«Письма переселенцев (Заметки о текущей народной жизни)» были напечатаны в январском номере «Русской мысли» за 1891 год.

1891

296

Впервые опубликовано (частично) в сб. «Русские ведомости», стр. 263—264. Автограф — в ЦГЛА.

...рецензию... о 3-м томе. — Рецензия В. Н. Сторожева о т. III сочинений Успенского напечатана в «Русских ведомостях», 1891, № 15, 16 января.

Прилагаю... объявление... — с сообщением о выходе третьего тома сочинений.

297

Впервые опубликовано в сб. «Памяти Гольцева», стр. 194—195. Автограф — в ЛБ.

Отлично он пишет... — Имеется в виду роман А. И. Эртеля «Смена», печатавшийся в «Русской мысли».

Элиз ди Коман-ву-порте-ву (франц.: Elise dit: comment vous portez-vous — Элиз говорит: как вы поживаете), — фраза приведена как образец пустого «светского» разговора.

...Каронин... выбрался... — Речь идет о повести Н. Е. Каронина «Учитель жизни».

«Кочевники» — очерк «Кочевники и русские переселенцы. (Дополнение к «Письмам переселенцев»)»; напечатан в «Русской мысли», 1891, III.

298

Впервые опубликовано в Полном собрании сочинений, т. XIV, стр. 462. Автограф — в Московском отделении Архива Академии наук СССР.

...письмо от... Попова... — Имеется в виду письмо А. С. Серафимовича от 16 февраля 1891 года (его текст приведен в упомянутой статье Н. В. Алексеевой — см. примеч. к письму 291).

..гораздо более, чем 100 р. — А. С. Серафимовичу было выдано 100 рублей.

299

Впервые опубликовано в сб. «Архив Гольцева», стр. 102—103. Автограф — в ЛБ.

...пробыть на юге... — Имеется в виду поездка с сыном в Черниговскую губернию к брату Я. И. Успенскому, осуществленная, однако, лишь в июне.

...психологического этюда... Бурже. — Этюд Бурже «Бедное чудовище!» не был принят «Русской мыслью», так как был уже напечатан в «Русских ведомостях».

...три очерка Серафимовича... — О хлопотах по изданию произведений А. С. Серафимовича см. также письма 291, 298.

300

Впервые опубликовано в сб. «Архив Гольцева», стр. 104—105. Автограф — в ЛБ.

«Озлобленный мученик» — произведение Бурже в переводе Н. А. Шульгиной.

«Император Михаил» — повесть П. В. Безобразова, печатавшаяся в «Русской мысли».

«Битва русских с кабардинцами» — многократно переиздававшаяся лубочная повесть Н. Зряхова.

...получать... провинциальные газеты... — с целью вести обзор провинциальной печати (взамен «Очерков русской жизни» скончавшегося 12 апреля 1891 года Н. В. Шелгунова); написан был лишь один очерк «Бесхлебье (Сообщения поволжской печати)», напечатанный в ноябре; дальнейшая деятельность была оборвана болезнью.

О... похоронах... — Речь идет о столкновениях студенческой молодежи с полицией на похоронах Н. В. Шелгунова.

301

Впервые опубликовано в сб. «Архив Гольцева», стр. 105. Автограф — в ЛБ.

...благодарен... за газеты. — См. предыдущее письмо.

«Бегство в Америку». — Рассказ в «Русской мысли» не появился и был напечатан лишь в 1898 году в «Донской речи».

302

Впервые опубликовано в книге «Г. И. Успенский, Сочинения и письма», М.—Л., стр. 629—630. Автограф — в ЛБ.

...первое обозрение... — см. примеч. к письму 300.

303

Впервые опубликовано в сб. «Архив Гольцева», стр. 108. Автограф — в ЛБ.

.рукопись...«Бегство в *Америку»...* — см. письмо 301 и примеч. к нему.

...в «Иудушке»... — Имеется в виду роман «Господа Головлевы».

304

Впервые опубликовано в сб. «Архив Гольцева», стр. 107—108. Автограф — в ЛБ.

...первый очерк — «Бесхлебье» (см. примеч. к письму 300).

...подписку о выезде... — Н. К. Михайловский был выслан из Москвы за участие в похоронах Н. В. Шелгунова (см. письмо 300 и примеч. к нему).

305

Впервые опубликовано (частично) в сб. «Русские ведомости», стр. 264. Автограф — в ЦГЛА.

Год данного и следующих писем устанавливается по связи с письмами 301, 302, 303 и др.

Стефанов Стефанович! — Речь идет об А. С. Серафимовиче и его рассказе «Бегство в Америку».

Обязан подпиской... — см. предыдущее письмо.

«Иом Кипур» — название рассказа Короленко.

306

Впервые опубликовано в сб. ЛЛМ, стр. 107—108. Автограф — в ЦГЛА.

Нагрянула беда... — Имеется в виду второе предостережение «Русским ведомостям» за статьи о голоде в России.

307

Впервые опубликовано в сб. АН, стр. 224. Автограф — в ПД.

...могу предложить... — В результате переговоров с И. Д. Сытиным вышел сборник произведений Успенского «Четыре рассказа», М., 1893; рассказ «Невидимка Авдотья» не был пропущен цензурой.

308

Впервые опубликовано в сб. «Архив Гольцева», стр. 109—111. Автограф — в ЛБ.

...статейка... — видимо, «Пособники народного разоренья»; не была напечатана из-за цензурных препятствий.

...операция..., — была произведена 29 декабря 1891 года.

309

Впервые опубликовано в сб. «Архив Гольцева», стр. 111—112. Автограф — в ЛБ.

...извлечение из статей Красноперова— Имеются в виду статьи: «К вопросу о причинах недоимочности крестьянского населения» («Юридический вестник», 1889, № 11) и «Форма крестьянского кредита в Самарской губернии» («Юридический вестник», 1891, № 11).

...очерк «Крестьяне о своих невзгодах»... — не был закончен.

...5 экземпляров сборника... — Имеется в виду сборник «Помощь голодающим», изд. «Русской мысли», М., 1892; Успенский поместил в сборнике очерки «Из памятной книжки» (1885): 1. «От совести». 2. «Курлянец».

310

Впервые опубликовано в Полном собрании сочинений, т. XIV, стр. 508. Автограф — в ЛБ.

Датировано по связи с письмом 308.

...примчусь в «святые места». — Очевидно, Короленко приглашал Успенского принять участие в поездке по Керженцу, Вытегре и другим местам, где расположены скиты и монастыри; намерение Успенского не осуществилось.

...после операции... — см. письмо 308 и примеч. к нему.

1892

311

Впервые опубликовано в сб. «Архив Гольцева», стр. 99—101. Автограф — в ЛБ.

В подлиннике письма ошибочно поставлен 1891 год.

...рукопись... — видимо, «Пособники народного разоренья» (см. примеч. к письму 308).

...статьи Красноперова... — см. примеч. к письму 309.

Хронику голода... — Имеется в виду «Внутреннее обозрение» в «Русской мысли».

...начну летопись народного разоренья. — Замысел не был осуществлен.

312

Впервые напечатано в сб. АН, стр. 225—226. Автограф — в ПД.

...о Вашем предложении. — Речь шла об издании произведений Успенского в издательстве «Посредник»; издание не было осуществлено.

«Чуткое сердце»... — Имеется в виду издание: «Как обманывают темных людей. — Чуткое сердце», изд. В. Икскуль. М., 1892.

...из... Сытинского короба... — «Четыре рассказа» (см. примеч. к письму 307).

Иннокентий Михайлович — И. М. Сибиряков.

313

Впервые опубликовано в сб. ЛЛМ, стр. 62. Автограф — в ЦГЛА.

Год и место устанавливаются по данным о поездке Успенского в средние губернии России и Поволжье.

...ни единого рассказа Мопассана.— Очевидно, речь идет о переводах Н. А. Шульгиной, за которую не раз ходатайствовал Успенский (см. письма 299, 300).

С Сытиным... дела... — см. письмо 307 и примеч. к нему.



ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ КАНВА ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Г. И. УСПЕНСКОГО

1843

13 октября. В г. Туле в семье чиновника казенной Палаты Государственных имуществ коллежского секретаря Ивана Яковлевича Успенского и его жены Надежды Глебовны (урожденной Соколовой) родился сын Глеб, названный в честь деда по матери — Глеба Фомича Соколова, управляющего Палатой Государственных имуществ в Туле (до 1848 г.) и Калуге (с 1848 г.).

1843—1852

Годы домашнего обучения и воспитания в Туле (у родителей) и Калуге (в семье деда).

1853—1856

Годы учения в Тульской гимназии (I—IV классы). «Благодаря своим способностям, — свидетельствует об Успенском его сверстник Д. Г. Васин, — он был первым учеником, и имя его всегда красовалось на так называемой золотой доске».

1856—1861

Годы учения Успенского в Черниговской гимназии, куда он перевелся с осени 1856 г. в связи с перемещением отца по службе в Чернигов; Успенский принимает участие в ученическом литературном журнале «Молодые побеги».

1861

28 июля. Подает прошение о поступлении на юридический факультет С.-Петербургского университета.

15 сентября. Принят в число студентов университета.

20 ноября. Присутствует среди студенческой молодежи на похоронах Н. А. Добролюбова.

20 декабря. Отчислен из С.-Петербургского университета в связи с закрытием университета во время студенческих волнений.

1862

Летом. Поездка к родителям в Чернигов.

Переезжает в Москву и подает прошение о поступлении в Московский университет, но так как не были представлены все надлежащие документы и не внесены деньги за слушание лекций, то в число студентов принят не был.

Ноябрь. В печати появляются первые произведения Успенского: «Идиллия» (в журнале «Зритель») и «Михалыч» (в журнале «Ясная Поляна»).

1863

Сотрудничает в московском еженедельнике «Зритель общественной жизни, литературы и спорта» (рассказы и очерки «Под праздник и в праздник», «Народное гулянье во Всесвятском», «Гость», «На бегу», «Летний Сергий у Троицы»); одновременно работает корректором в газете «Московские ведомости», «получал 25 рублей серебром в месяц».

Осенью. Переезжает в Петербург.

Декабрь В «Библиотеке для чтения» появляется «Старьевщик (Очерк из московской жизни)».

1864

9 января. Смерть отца, приведшая семью в бедственное материальное положение; Г. И. Успенский едет в Чернигов, берет затем на себя хлопоты о пенсии, в результате чего было назначено на воспитание детей И. Я. Успенского 400 рублей в год (в течение четырех лет).

Январь. Рассказом «Ночью (Мирные картины московской жизни)» начато сотрудничество в «Русском слове»; в этом же году в журнале появляются «Эскизы чиновничьего быта», «В деревне (Летние сцены)», «Бесприютные».

В художественном альбоме «Северное сияние» помещает очерки «Воскресенье в деревне», «Сельские сцены», «Побирушки»,

1865

Летом. Успенский едет в Чернигов и перевозит мать в Тулу, «на старое пепелище»; впечатления от пребывания в Чернигове и Туле нашли непосредственное отражение в «Фельетонах» того же года, помещенных в «Русском слове» (№№ 3 и 6).

Начинает сотрудничество в «Искре» («Сторона наша убогая», «Неизвестный»), «Будильнике» («Петербургские очерки»); продолжает печататься в «Библиотеке для чтения», «Северном сиянии».

Октябрь. Начало сотрудничества в «Современнике» («Деревенские встречи»).

15 ноября. Комитет Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым (Литературный фонд) решает выдать Успенскому ссуду в 100 рублей под поручительство Н. А. Некрасова.

1866

Февраль, март. Начало публикации в «Современнике» очерков «Нравы Растеряевой улицы».

4 апреля. Покушение Каракозова на Александра II; последовавшее затем усиление политической реакции и запрещение журналов «Современник» и «Русское слово».

Сентябрь, декабрь. В журнале «Женский вестник» печатаются очерки «Медик и пациенты», являвшиеся частью «Нравов Растеряевой улицы».

В сборнике «Луч» (том второй, запрещен цензурой) напечатаны очерки «Из мещанской жизни», также являвшиеся частью «Нравов Растеряевой улицы».

В различных журналах печатаются очерки и рассказы: «Зарок не пить», «Первая квартира», «Нужда песенки поет» и др.

Появляется первая отдельная книга произведений Успенского — «Очерки и рассказы», СПб., 1866.

Успенский готовится к экзаменам на звание учителя русского языка в уездных училищах.

1867

27 мая. Успенский после сдачи экзамена при С.-Петербургском университете утвержден в звании уездного учителя.

Август — декабрь. Работает учителем в уездном училище г. Епифани Тульской губернии; эпизод учительства нашел отра-

жение в произведениях «Спустя рукава» и «Тише воды, ниже травы» («Разоренье»).

В разных журналах публикует ряд очерков и рассказов: «Эпизоды из петербургских сезонов», «Трын-трава», «Современная глушь», «Извозчик», «По черной лестнице» и др.

Выходит вторая книга очерков и рассказов Успенского: «В будни и в праздник. Московские нравы», СПБ., 1867.

1868

Февраль-март. Служит письмоводителем у товарища прокурора А. И. Урусова в Москве.

15 марта. Письмо к Н. А. Некрасову о литературной работе («Разоренье», «Будка»).

Апрель. Очерком «Будка» начато сотрудничество в «Отечественных записках», продолжавшееся до самого закрытия журнала в 1884 г.

Май. Поездка в Орловскую губернию.

Июнь-июль. Успенский живет с группой литераторов (Н. С. Курочкиным, Н. А. Демертом и др.) в Стрельне под Петербургом; знакомится с А. В. Бараевой, своей будущей женой.

Июль. В «Отечественных записках» печатается «Остановка (Рассказ проезжего)».

В этом же году появляются «Спустя рукава» (в журнале «Дело»), «Тяжелое обязательство», «Шиньон» (в газете «Неделя») и др.

Знакомство с Н. К. Михайловским; «с ним мы — ровесники,— вспоминал впоследствии Михайловский,— и как-то сразу... пришлись друг другу по душе, и потом много было в продолжение многих лет вместе передумано, пережито веселого и мрачного».

1869

Январь — март. Успенский продолжает работу над «Разореньем».

Февраль. В «Отечественных записках» появляется начало «Разоренья».

18 марта. В письме к А. В. Бараевой сообщает: «Сегодня в 6 часов утра я, наконец, кончил свое «Разоренье» и уже передал Некрасову» (имеется в виду первая часть «Разоренья» — «Наблюдения Михаила Ивановича»).

Апрель. Поездка в Крапивну Тульской губернии, где проживали сестра писателя (Е. И. Успенская) и мать.

Май — август. Пребывание в Липецке на лечении; встречается с А. В. Бараевой, работавшей учительницей в имении помещицы Л. С. Херадиновой в Елецком уезде Орловской губернии; в конце августа уезжает в Петербург.

1870

Январь. В «Отечественных записках» начала печататься повесть «Тише воды, ниже травы» (вторая часть «Разоренья»).

Май. В «Отечественных записках» появляется очерк «Из биографии искателя теплых мест».

27 мая. Празднование свадьбы Г. И. и А. В. Успенских.

9 июня. В письме к матери Успенский сообщает: «Еще я вам скажу одну вещь — я женился нынешней зимой на одной барышне, которую люблю и которая меня любит крепко».

Вторая половина лета. Пребывание в Туле и Крапивне.

1871

Апрель. В «Отечественных записках» напечатан некролог «Ф. М. Решетников», написанный Успенским.

Май-июнь. Поездка по Оке и Волге; Успенский, в частности, побывал в с. Павлово, известном центре кустарной промышленности; впечатления от поездки нашли отражение в очерках «Путевые заметки» и «Из путевых заметок по Оке».

Август. В «Отечественных записках» началось печатание повести «Наблюдения провинциального лентяя» (третья часть «Разоренья»).

Выход книг (изд. А. Ф. Базунова, серия «Библиотека современных писателей»): «Очерки и рассказы», СПБ., 1871; «Разоренье», СПб, 1871 (кроме первой части «Разоренья», сюда вошел ряд очерков и рассказов).

1872

9 апреля. Отъезд с сотрудником «Отечественных записок» Н. Е. Павловским за границу.

Апрель — июнь. Пребывание в Париже; в ряде писем к жене Успенский передает свои впечатления и переживания от виденного в Германии, Бельгии, Франции; в одном из писем сообщает

о посещении Луврского музея: «Тут больше всего и святей всего Венера Милосская»; намеревается писать «Парижские заметки» для «Отечественных записок».

Около 20 июня. Отъезд из Парижа в Петербург.

Выход в свет сборника очерков и рассказов под общим заглавием «Нравы Растеряевой улицы», СПБ., 1872 (в серии «Библиотека современных писателей»).

1873

Февраль, апрель. В «Отечественных записках» печатается очерк «Больная совесть» (затем вошел в цикл «Новые времена, новые заботы»).

31 мая. Закончил биографический очерк «Федор Михайлович Решетников» (вступительная статья к изданию: «Сочинения Ф. М. Решетникова», тт. I, II, М., 1874).

3 сентября. Комитет Литературного фонда в связи с затруднительным материальным положением и нездоровьем Успенского удовлетворил его просьбу о ссуде, поддержанную М. Е. Салтыковым-Щедриным; одновременно Комитет решил просить доктора В. А. Манасеина оказать Успенскому врачебную помощь.

11 октября. По отзыву управляющего III отделением «Собственной его императорского величества канцелярии» за Успенским учрежден негласный надзор, прекращенный лишь в 1901 г.

Выход в свет книги «Лентяй, его воспоминания и заметки», СПБ., 1873 (в серии «Библиотека современных писателей»).

1874

Февраль. В «Отечественных записках» начала печататься повесть «Очень маленький человек (Страницы из одних записок)».

Май. Запрещение цензурой майского номера «Отечественных записок», в котором печаталось продолжение повести «Очень маленький человек».

Переговоры с Н. А. Некрасовым об издании сочинений Успенского, однако издание не было осуществлено.

Сентябрь. Отъезд жены с сыном в Париж; сам Успенский задержался из-за материальных затруднений; поездка к брату Александру в Крапивенский уезд Тульской губернии, в октябре об этой поездке писал к жене: «У Саши я провел время хорошо... и чувствую теперь себя вполне способным приняться за работу»; виденное во время поездки послужило материалом для рассказа «Книжка чеков» и очерка «Злые новости».

1875

Начало января. Успенский уезжает в Париж.

31 января. И. С. Тургенев в письме к Стасюлевичу рекомендует для опубликования в «Вестнике Европы» рассказ Успенского «Книжка чеков», однако редакция журнала не приняла рассказа.

27 февраля. На литературном утре в доме Виардо в Париже И. С. Тургенев читает рассказ «Ходоки» (отрывок из «Книжки чеков»). «Тургенев прочел мой рассказ «Ходоки», — сообщал Успенский Н. К. Михайловскому, — и прочел превосходно... Тургенев прорепетировал этот рассказ раз 7—8, изучил, где каким образом, как и что сказать до мельчайших подробностей».

В ряде писем к А. В. Каменскому Успенский заботится о реорганизации журнала «Библиотека дешевая и общедоступная», однако вследствие цензурных и материальных затруднений наладить журнал не удалось.

Март. В «Отечественных записках» напечатан очерк «Злые новости».

Сближение с революционной народнической эмиграцией: знакомство с Г. А. Лопатиным, Д. А. Клеменцем, С. М. Степняком-Кравчинским и др.

Начало августа. Поездка в Лондон и знакомство с редактором журнала «Вперед» П. Л. Лавровым.

Конец августа. Отъезд из Парижа в Россию и поступление из-за материальных затруднений на службу в железнодорожное управление в г. Калуге. Бросил службу в конце года, не желая содействовать обогащению «подлых концессионеров»: «Нужно было бросить их в ту самую минуту, — объяснял позднее Успенский, — как только стала понятна вся подлецкая механика их дела».

Сентябрь. Публикация в «Отечественных записках» ряда очерков «Из памятной книжки» (затем — «Новые времена, новые заботы»).

Выход в свет книги: «Глушь. Провинциальные и столичные очерки», СПБ., 1875.

1876

15 января. В журнале «Вперед» в Лондоне напечатан очерк Успенского «Шила в мешке не утаишь».

Апрель. В «Отечественных записках» печатаются «Книжка чеков» и «Неплательщики»; в «Русских ведомостях» — очерки «Из памятной книжки. II. Люди среднего образа мыслей».

Конец апреля — начало мая. Отъезд Успенского в Париж, где находилась его семья.

В ряде писем к А. В. Каменскому продолжает беспокоиться о реорганизации «Библиотеки дешевой и общедоступной».

В одном из писем к Н. К. Михайловскому сообщает о работе над повестью, героем которой являлся революционер «вроде Лопатина»; работа, однако, не была осуществлена, очевидно из-за невозможности опубликовать подобное произведение.

22 июня. В «Русских ведомостях» напечатан «Заграничный дневник провинциала».

Сентябрь. Отъезд в Сербию в связи с движением русских добровольцев в поддержку сербам, выступившим против турецкого владычества; в результате пребывания в Сербии были написаны очерки «Наши добровольцы в дороге», «Наши добровольцы на чужой стороне», «Из Белграда (Письмо невоенного человека)», «Не воскрес» и др., печатавшиеся в «С.-Петербургских ведомостях» и «Отечественных записках».

Вторая половина ноября. Отъезд из Сербии в Петербург.

1877

23 января. В журнале «Пчела» опубликован рассказ Успенского «Грамотный».

Февраль. В «Отечественных записках» напечатан очерк «Не воскрес (Из разговоров про войну)».

10 апреля. В «Пчеле» публикуется некролог «Николай Александрович Демерт», написанный Успенским.

Апрель. В «Отечественных записках» печатается рассказ «Парамон-юродивый».

Весной и летом. Успенский с семьей живет в с. Сопки Валдайского уезда Новгородской губернии; результатом наблюдений над крестьянской жизнью явилась первая часть очерков «Из деревенского дневника» (первоначально «Люди и нравы»), начавшая печататься в «Отечественных записках» с октября месяца.

27 декабря. Смерть Н. А. Некрасова, тяжело поразившая Успенского.

1878

8 января. В «Пчеле» публикуется заметка Успенского «Кому жить на Руси хорошо», написанная в связи со смертью Н. А. Некрасова.

27 января. В тифлисской газете «Обзор» напечатана статья Успенского «Опять о Некрасове!»

Март. Уезжает с семьей в с. Сколково Самарской губернии, где работает письмоводителем ссудо-сберегательного товарищества, а жена — учительницей в крестьянской школе. Длительное пребывание в Самарской губернии (до весны 1879 г.) дало материал для дальнейших очерков «Из деревенского дневника».

Декабрь. В «Отечественных записках» печатается статья «Страстотерпцы мелкого кредита», написанная на основании личных наблюдений в ссудо-сберегательном товариществе.

1879

Весной. Успенский уезжает из Самарской губернии и поселяется на даче С. Н. Кривенко в с. Рыбацком под Петербургом, где остается на все лето.

Сентябрь. В «Отечественных записках» печатаются очерки и рассказы «Вокруг да около».

Октябрь, декабрь. В «Русских ведомостях» печатаются очерки «Петербургские письма».

Вышли в свет книги: «Из памятной книжки. Очерки и рассказы», СПБ., 1879; «Из старого и нового (Отрывки, очерки, наброски)», СПБ., 1879.

1880

Февраль. В «Отечественных записках» начали печататься «Малые ребята»; в «Русском богатстве» начат цикл очерков «С места на место (Записки наемного человека)».

6 марта. На квартире Успенского состоялась встреча группы «молодых литераторов» (Златовратский, Наумов, Эртель, Кривенко и др.) с И. С. Тургеневым.

6 июня. Успенский присутствует на открытии памятника Пушкину и последующих торжествах в Москве в качестве представителя «Отечественных записок»; о пушкинских торжествах затем были написаны статьи «Пушкинский праздник» и «Секрет».

С весны (с небольшими перерывами) живет на мызе Лядно (около ст. Чудово в Новгородской губернии) — в имении А. В. Каменского; в результате наблюдений над жизнью крестьян в усадьбе и окружающих деревнях создан цикл очерков «Крестьянин и крестьянский труд», печатавшийся в «Отечественных записках» в октябре — декабре.

Сентябрь. В «Отечественных записках» напечатаны очерки «Из деревенского дневника» (затем «Непорванные связи»)

Выход в свет книги: «Люди и нравы современной деревни. (Из деревенского дневника)», М., 1880.

1881

Январь. В «Отечественных записках» начали печататься очерки Успенского «Без определенных занятий».

10 января. Письмо И. С. Тургенева к Успенскому с высокой оценкой очерков «Крестьянин и крестьянский труд»: «Тут не одно знание деревенского быта,— которым Вы всегда обладали, — но проникновение в самую его глубь — художественное схватывание характерных черт и типов».

1 марта. Убийство Александра II народовольцами; Успенский вечером был у Н. В. Шелгунова, «где собрались, — по свидетельству Н. Русанова, — несколько его близких литераторов и кое-кто из революционеров».

Летом. Живет на даче Ковровцевых в Волхове.

Сентябрь. В «Отечественных записках» начали печататься очерки «Бог грехам терпит»; Успенский снимает (а спустя год приобретает) дом в деревне Сябринцы (близ Чудова); эта деревня, наряду с Петербургом, стала постоянным местом жительства писателя до конца его литературной деятельности.

Ноябрь. Рассказом «Старики» началось сотрудничество Успенского в журнале «Русская мысль».

1882

Январь. В «Отечественных записках» началось печатание очерков «Власть земли»; в Русской мысли» — очерк «Равненье «под одно».

Июнь. В «Отечественных записках» напечатана статья «Подозрительный бельэтаж»; в Сябринцах в отсутствие Успенского явился полицейский самозванный агент: «Назвался он, — рассказывает Успенский в одном из писем, — агентом тайной полиции и составил протокол в таком смысле, что я социалист и что у меня подручные, что мы собираемся на какой-то мызе в 6 верстах от Чудова».

Вышли в свет книги: «Деревенская неурядица», тт. I—III, СПБ., 1882; «Власть земли. Очерки и отрывки из памятной книжки», М., 1882.

1883

Февраль. В «Отечественных записках» печатаются очерки Успенского «Из разговоров с приятелями».

Февраль-март. Поездка на юг (Тифлис, Баку, Ленкорань); собранные материалы и наблюдения — в сектантских селах, на рыбных промыслах, нефтеразработках и пр. — легли в основу очерков «Из путевых заметок» (печатались в «Отечественных записках» с мая по декабрь).

Июль. В газете «Русский курьер» напечатаны очерки «В ожидании лучшего».

10 июля. В. М. Гаршин сообщает об успешном окончании переговоров с Ф. Ф. Павленковым относительно издания собрания сочинений Успенского.

27 сентября. Успенский присутствует на похоронах И. С. Тургенева в Петербурге.

1 октября. Написано предисловие к первому изданию сочинений.

Декабрь. В письмах появляются жалобы на нездоровье: «Со мной какое-то необычайное нервное расстройство, чего никогда не бывало, — право, я иногда думаю, как бы мне не сойти с ума».

Выход в свет тт. I—III Сочинений Успенского в издании Ф. Павленкова.

1884

Январь. В «Отечественных записках» начали печататься очерки Успенского «Волей-неволей (Отрывки из записок Тяпушкина)».

20 апреля. Постановлением особого совещания министров закрыты «Отечественные записки»; для Успенского, как и других основных сотрудников, это было особенно тяжелым ударом. За два месяца до закрытия журнала Успенский писал: «Если мне удалось благополучно перенести невзгоды «писательского» существования, бывшие столь обычными во времена старых журнальных отношений... то я обязан этим исключительно «Отечественным запискам».

Июнь-июль. Отправляется в поездку с целью изучить на месте переселенческое движение крестьян в Сибири, но, доехав до Екатеринбурга, возвращается; в письме к Е. П. Летковой объясняет это решением основательнее устроить свои личные дела и затем «уехать в Сибирь до весны», однако осуществление данного намерения пришлось отложить.

Сентябрь. В «Русской мысли» начали печататься очерки «Скучающая публика».

5 октября. Арест Г. А. Лопатина в Петербурге, произведший тяжелое впечатление на Успенского.

Выход в свет тт. IV—VII Сочинений Успенского в издании Ф. Павленкова.

1885

Январь. В «Русской мысли» началось печатание цикла очерков «Через пень-колоду» (окончено в мае); в «Книжках «Недели» — «Про счастливых людей. Святочный рассказ».

8 марта. Пишет большое письмо Ф. Ф. Павленкову по поводу запутанных денежных отношений, в которых находился писатель с самого начала своей литературной деятельности.

21 апреля. Очерками «Несбыточные мечтания» возобновилось активное сотрудничество Успенского в газете «Русские ведомости».

Конец апреля — июль. Поездка на юг (Киев, Одесса, Ростов-на-Дону, Ессентуки, Кисловодск); поездка освежила писателя, дала массу новых впечатлений, улучшилось здоровье: «Я не печалюсь, — заявляет в одном из писем Успенский, — хорошо себя чувствую — покойно и много для меня чрезвычайно нового. Ах, сколько нового на Руси!»

Май. В «Русской мысли» напечатан очерк «Выпрямила» (в цикле «Через пень-колоду»).

Август. В «Русской мысли» начали печататься «Очерки русской жизни (Наблюдения и компиляции)»; в «Русских ведомостях» началась публикация цикла очерков «Безвременье (Путевые заметки)».

Октябрь: В «Русской мысли» появился рассказ «Буржуй (Летние воспоминания)»; в «Книжках «Недели» — «Заячье направление».

Декабрь. В «Русской мысли» напечатан рассказ «Перестала! (Из деревенских заметок)».

1886

Январь. Начало сотрудничества в «Северном вестнике» — напечатаны «Мечтания о трудовой жизни (Очерки и заметки)»; в «Русской мысли» появился очерк «Хорошего понемножку (Деревенские размышления)».

Март. В «Северном вестнике» начинает печататься цикл очерков и рассказов «Кой про что».

Март — июль. Поездка на юг и за границу (Ростов-на-Дону, Новороссийск, Ялта, Одесса, Севастополь, Константинополь); творческим результатом поездки явились «Письма с дороги»; в ряде писем к В. М. Соболевскому говорится о намерении осуществить поездку в Болгарию, однако в 1886 г. эта поездка не состоялась.

2 августа. Заключено домашнее предварительное соглашение, по которому Успенский предоставлял И. М. Сибирякову «полное право на свои сочинения» за 18 750 р. (нотариальный контракт подписан 13 ноября 1886 г.); данное соглашение вступало в силу «по прекращении права Павленкова на первое издание».

Начало декабря. В письме к В. М. Соболевскому предлагает для «Русских ведомостей» «взяться за разбор всех русских политических процессов»; предложение не было принято редакцией.

21 декабря. В «Русских ведомостях» начал печататься цикл очерков «Мы» на словах, в мечтаниях и на деле».

Выход в свет т. VIII (последнего) первого издания Сочинений Успенского.

1887

15 января. Получил от В. Г. Короленко книгу «Очерков и рассказов» (кн. 1, М., 1886) с дарственной надписью: «Дорогому Глебу Ивановичу Успенскому от автора. Твоя от твоих тебе приносяще».

Январь, февраль. Продолжение печатанья очерков «Мы» на словах, в мечтаниях и на деле» (в «Русских ведомостях») и «Кой про что» (в «Северном вестнике»).

9 марта. Запись в «Дневнике» В. Г. Короленко: «Познакомился в Петербурге с Глебом Ивановичем. Впечатление от личности замечательно хорошее...

Апрель-май. Поездка на юг и в Болгарию; результатом поездки явились очерки «Под впечатлением поездки по Дунаю»; ряд материалов о поездке в Болгарию, однако, не смог быть напечатан из-за цензурных препятствий.

Август. Поездка на Волгу и юг.

14 августа. Сообщает в письме, что «в Нижнем видел Короленко, Анненского. Вместе провели целый день».

Сентябрь. В письме к В. М. Соболевскому сообщает о замысле очерков «Власть капитала»; частичным осуществлением замысла явились очерки «Живые цифры».

Осенью. Литературная общественность и демократические читательские круги тепло отмечают 25-летие литературной деятель-

ности Успенского; писатель получает большое количество поздравительных адресов, телеграмм, писем.

Успенский публикует ряд новых произведений: «Мы» («Мелкие агенты крупных предприятий», «Рабочие руки»), «Трудовая жизнь» и «труженичество», «Осенью» и др.

16 ноября. Успенский избирается почетным членом Общества любителей российской словесности.

3 декабря. А. П. Чехов в письме к брату сообщает: «Вчера.. сидел у Михайловского в компании Глеба Успенского и Короленко: ели, пили и дружески болтали».

1888

Январь. В «Северном вестнике» начали печататься очерки Успенского «Живые цифры»; в «Русской мысли» — очерк «Непривычное положение (Из впечатлений о поездке по Дунаю)».

10 января. В «Русских ведомостях» напечатан рассказ «Паровой цыпленок».

14 января. П. И. Бирюков сообщает Успенскому хвалебный отзыв Л. Н. Толстого о рассказе «Паровой цыпленок».

6 февраля. Отправлено «Письмо в Общество любителей российской словесности», явившееся ответом Успенского на избрание почетным членом Общества и одновременно на многочисленные приветствия широких кругов читателей в связи с 25-летием литературной деятельности писателя («Письмо» было опубликовано в мартовском номере «Русской мысли»).

18 февраля. Чтение «Письма в Общество любителей российской словесности» на заседании Общества.

15 марта. В письме к А. М. Евреиновой Успенский заявляет о решении бросить из-за цензурных вмешательств продолжение очерков «Живых цифр» (в мартовском номере «Северного вестника» был напечатан последний очерк «Ноль-целых!»).

24 марта. Смерть В. М. Гаршина, с которым Успенский был в близких дружеских отношениях.

Апрель. В «Русской мысли» начали печататься очерки «Письма с дороги», являвшиеся переработкой «Писем с дороги», опубликованных в «Русских ведомостях» в 1886 г.

12 апреля. В «Русских ведомостях» напечатана статья Успенского «Смерть В. М. Гаршина».

Конец мая — начало августа. Поездка Успенского в Сибирь с целью изучения переселенческого движения крестьян и их положения на местах новых поселений; результатом поездки яви-

лись «Письма с дороги» (впоследствии вошли в цикл «Поездки к переселенцам»); во время пребывания в Томске Успенский увиделся с рядом политических ссыльных, с писателем Н. И. Наумовым, принял участие в празднествах по случаю открытия Томского университета.

22 июля. В «Сибирской газете» (Томск) напечатана статья Успенского «А. П. Щапов».

12 августа. В письме к жене сообщает, что на обратном пути из Сибири пробыл «один день в Нижнем, виделся с Короленко, необходимо было».

Октябрь. В «Русской мысли» начали печататься очерки «Грехи тяжкие»; первый очерк («Промчался!») был сильно искажен редакцией, опасавшейся цензурных затруднений.

3 ноября. В письме к В. М. Соболевскому Успенский обращает внимание на «Письмо Маркса в редакцию «Отечественных записок», перепечатанное в «Юридическом вестнике».

3 декабря. Выход в свет Сочинений в двух томах. Издание второе, дополненное. С портретом автора и вступительной статьей Н. К. Михайловского. Изд. Ф. Павленкова. СПБ., 1889.

9 декабря. Посылает в «Волжский вестник» начало статьи «Горький упрек», написанной в связи с письмом К. Маркса в редакцию «Отечественных записок»; статья, однако, не была опубликована из-за цензурного запрета.

18 декабря. В «Русских ведомостях» начал печататься цикл «Концов не соберешь. Очерки русской жизни».

1889

1 января. В письме к А. П. и А. И. Кулаковым Успенский сообщает об успехе нового издания своих сочинений: «Я был обрадован и подбодрился от чрезвычайно неожиданного успеха моего нового издания. оно в первые три недели разошлось более чем в 3 тысячах экземпляров и идет непрерывно».

Январь. В «Русской мысли» появляется рассказ «На минутку». (Из заметок деревенского обывателя)»; в «Русских ведомостях» продолжают печататься очерки «Концов не соберешь».

Февраль. В «Русской мысли» продолжается публикация очерков «Грехи тяжкие».

23 апреля. В «Русских ведомостях» появляется статья Успенского «Новые народные песни (Из деревенских заметок)».

28 апреля. Смерть М. Е. Салтыкова-Щедрина.

14 мая. Успенский пишет большое письмо к А. Ф. Саликов-

скому с критикой либеральных положений его статьи «К злобам современности».

Около 30 мая — начало июня. В письмах к В. В. Тимофеевой-Починковской подвергает критическому разбору ее роман «Выморочные»; в качестве произведения, которое было бы для писательницы поучительным, Успенский называет «Пошехонскую старину» М. Е. Салтыкова-Щедрина.

8 июня. В письме к С. Г. Рыбакову Успенский отвергает упреки в проповеди регресса, содержащейся будто бы в очерке «Трудами рук своих» (цикл «Скучающая публика»).

14 июня — около 20 июля. Поездка в Оренбургскую и Уфимскую губернии с целью дальнейшего ознакомления с положением крестьян-переселенцев; по пути Успенский побывал также в Рыбинске, Нижнем-Новгороде, Ярославле. Результатом поездки явились очерки «От Оренбурга до Уфы (Путевые заметки)» и «По Шексне (Впечатления двух дней поездки)», печатавшиеся в «Русских ведомостях».

11 июля. В. Г. Короленко из Нижнего-Новгорода в письме к жене сообщает: «Сегодня приехал Глеб Успенский, и день мы провели вместе...»

1 августа. Выход в свет Сочинений в двух томах. С портретом автора и вступительной статьей Н. К. Михайловского. Третье издание Ф. Павленкова. СПБ., 1889.

Август, сентябрь. В «Русской мысли» печатаются очерки «Своим чередом (Обзор местной печати)».

21 октября. Смерть Н. В. Успенского, покончившего самоубийством; «Ужасная смерть Н. В. Успенского, — говорится в одном из писем Г И. Успенского, — омрачила меня и омрачает ужаснейшим образом...

1890

Январь. В «Газете Гатцука» печатается рассказ «За малым дело»; в «Русской мысли» — «Выдался денек! (Из путевых заметок по Оке)».

Февраль. Поездка в Нижний-Новгород и затем по маршруту: Воронеж — Орел — Смоленск — Витебск; в Нижнем-Новгороде виделся с В. Г. Короленко; о пребывании в Белоруссии Успенский в письме сообщал: «С Ремезовым (управляющий крестьянского банка) мы ездили верст за 40, к переселенцам, которые и здесь есть, и побывал в белорусских деревнях»; в письмах все чаще появляются жалобы на нездоровье.

Апрель. В «Русской мысли» напечатан очерк «Крестьянские женщины (Из текущей народной жизни)».

20 июня. В письме к А. С. Посникову сообщает о посещении Международной тюремной выставки в Петербурге: «Произвела она на меня впечатление, и я кой-что набросал».

29 июня. В «Русских ведомостях» начали печататься очерки «Мельком (На тюремной выставке)».

Июль — начало августа. Поездка на Волгу и юг; в Нижнем-Новгороде несколько дней провел с В. Г. Короленко, А. И. Иванчиным-Писаревым и др.

22—24 августа. В письме к А. С. Посникову затребовал рассказы А. С. Серафимовича; в дальнейшем неоднократно ходатайствует об издании его произведений.

11 октября. В «Русских ведомостях» появляется очерк «Крестьяне-богатеи» (цикл «Мельком»).

Ноябрь. В «Неделе» печатается очерк «Неудачные покупки земель», в «Русской мысли» — «Корреспонденты и публицисты (Заметки о текущей народной жизни)».

1891

Январь. Выход в свет Сочинений, том третий. Издание Ф. Павленкова. СПБ., 1891; в «Книжках «Недели» печатается рассказ «Тягота»; в «Русской мысли» — «Письма переселенцев (Заметки о текущей народной жизни)».

18 февраля. В письме к Н. К. Михайловскому сообщает: ...Доктор Шершевский... выстукал, выслушал меня и, словом, докопался до самой сути болезни (мозг!)...»

Март. В «Русской мысли» печатается очерк «Кочевники и русские переселенцы (Дополнения к «Письмам переселенцев»)».

12 апреля. Смерть Н. В. Шелгунова, с которым Успенский в последние годы был особенно близок; в связи с кончиной Шелгунова Успенский намеревался заменить его на посту обозревателя русской жизни в «Русской мысли», но болезнь помешала полностью осуществить намерение.

3 мая. В письме к В. А. Гольцеву сообщает: «Есть у меня новый превосходный рассказ Серафимовича «Бегство в Америку»... это даровитейший молодой писатель».

10 августа. В письме к А. С. Посникову говорит о тяжелом состоянии здоровья: «Скрюченный я калека».

7 октября. В письме к В. А. Гольцеву заявляет о своих раздумьях и тревогах в связи с голодом в Поволжье: «Голод решительно затмевает возможность думать о чем-нибудь другом».

Ноябрь. В «Русской мысли» появляется очерк «Бесхлебье. (Сообщения поволжской печати)».

28 декабря — 2 января 1892 г. Находится в лечебнице доктора Субботина.

Издательница В. Икскуль в серии книжек для народа издает ряд произведений Успенского: «Про счастливых людей», «Живые цифры», «Взбрело в башку», «Нужда песенки поет» и др.

1892

2 января. Возвращается из лечебницы доктора Субботина; в письме к В. А. Гольцеву сообщает о замысле новых очерков о положении голодающего крестьянства: «Начну летопись народного разорения. .»; замысел, однако, не был осуществлен.

Март. Поездка в средние губернии России и в Поволжье с целью ознакомления с положением голодающих; в «Русской мысли» печатается статья «Правила самарского земства».

В сборнике «Помощь голодающим» напечатаны очерки: «Из памятной книжки. I. «От совести». II. «Курлянец».

Издательница В. Икскуль издает книжками для народа произведения: «Как обманывают темных людей. — Чуткое сердце», «Аграфена» и др.

Летом. Душевное заболевание.

1 июля — 20 сентября. Успенский находится в больнице доктора Фрея в Петербурге.

21 сентября. Переведен в больницу в Колмово (близ Новгорода) под наблюдение доктора Б. Н. Синани.

1893

31 января. Письмо В. Г. Короленко к Успенскому: «Посылаю при сем вторую книжку («Очерков и рассказов»)... Вспоминайте, любите немножко и почитывайте на здоровье».

Июнь. В «Русском богатстве» напечатан рассказ «Подкидыш», написанный в 1889 г.

12 сентября. В письме к В. М. Соболевскому сообщает: «Начал писать мои воспоминания — и конца не вижу им... — об И. С. Тургеневе, об М. Е. Салтыкове, о В. Н. Фигнер и многом множестве радетелей о русской земле... в осуществление за-

мысла был написан ряд отрывков, в том числе мемуарная запись «Мои дети».

Конец сентября — начало октября. Совершает поездку из Колмова по Новгородской губернии.

Декабрь. В сопровождении сына Александра совершает поездку в Нижний-Новгород, где находился у В. Г. Короленко, С. Я. Елпатьевского и др. близких людей; В. Г. Короленко сообщает, что и в этот период уже тяжко больной писатель в беседах несколько раз повторял: «Смотрите на мужика... Все-таки надо... надо смотреть на мужика».

Выходит в свет сборник произведений Успенского «Четыре рассказа», М., 1893.

1894

Январь. Присутствует на студенческом вечере в зале Дворянского собрания в Петербурге.

1894—1900

Успенский находится в Колмовской больнице близ Новгорода.

18 марта 1900 г. Перевод в Новознаменскую психиатрическую лечебницу под Петербургом.

1900—1902

Находится в Новознаменской больнице.

1902

24 марта. Смерть Г. И. Успенского.

27 марта. Похороны Успенского на Волковом кладбище в Петербурге.

1 мая. В ленинской «Искре» напечатана статья (без подписи): «По поводу смерти Г. И. Успенского».

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН И НАЗВАНИЙ к т. 9[1]

[1] В указатель включены имена, названия произведений и периодических изданий, встречающиеся в статьях и письмах Г. И. Успенского; курсивом обозначены страницы примечаний; имена и названия, встречающиеся только в примечаниях, в указатель не включены; в скобках курсивом даны названия, под которыми произведения упоминаются в статьях и письмах.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ, ПОМЕЩЕННЫХ В 1—9 ТОМАХ[1]

[1] В указателе звездочкой отмечены произведения, входящие в состав циклов; в скобках даны названия циклов.

СОДЕРЖАНИЕ

СТАТЬИ

ПИСЬМА

ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ

Страница	*Строка*	*Напечатано*	*Следует читать*
191	2 снизу	не оставьте	да оставьте
261	9 сверху	Михайловского	Михаловского

Г. И. УСПЕНСКИЙ

Собрание сочинений, т. 9.

Редактор В. И. Морозова *Художник А. Я. Малков*
Художественный редактор А. М. Гайденков
Технический редактор Л. П. Крючкина
Корректор И. Ф. Кузнецова

Подписано к печати 23/VI-1957 г. Бумага 84×108[1]/32—25,75 печ. л. = 42,23 усл. печ. л. 37,99 уч.-изд. л. Тираж 120 000 экз. Заказ № 2001. Цена 11 р.

Гослитиздат. Ленинградское отделение
Ленинград, Невский пр., 28.

Министерство культуры СССР. Главное управление полиграфической промышленности. 4-я тип. им. Евг. Соколовой.
Ленинград, Измайловский пр., 29.

11 р.

ГОСПОЛИТИЗДАТ